

Александр Дюма



ТАЙНЫЙ
ЗАГОВОР



Александр Дюма



**ТАЙНЫЙ
ЗАГОВОР**



**ТПО «Фабула»
Москва
1991**

**ББК 84. 4 фр.
Д96**

Дюма Александр
Д96 Тайный заговор. — М.: ТПО «Фабула», 1991. —
430 с.
ISBN 5-86090-129-1

В основу малоизвестного нашему читателю романа положены исторические события, случившиеся на исходе Великой французской революции, когда генералу Бонапарте оставалось всего несколько шагов до получения заветного императорского титула. Хитросплетения политических интриг, увлекательные повороты действия, как всегда у Дюма, сочетаются с романтическими любовными отношениями героев.

4703010100 — Без объявл.

ББК 84.4фр.

ISBN 5-86090-129-1

© ТПО «Фабула», 1991

АЛЕКСАНДР ДЮМА

Критико-биографический очерк П. В. Быкова

I

Задолго до того, как пала старая наполеоновская Франция, в лице царственного «седанского пленника», над сердцами и умами громаднейшего круга читателей почти безгранично властвовал писатель, известность которого разливалась широкой волной далеко за пределами его родной страны. Один из могикан романтизма, последний блестящий его представитель, он написал миллионы страниц свежих, увлекательных, запечатленных сильным талантом; он мало имел соперников по своей литературной плодovitости и удивительной популярности во всей Западной Европе и России, и долго еще жило его влияние на французский народ, романтическое влияние, породившее столько личностей, целиком взятых из произведений знаменитого повествователя, неподражаемого рассказчика. Не сразу умерло это влияние в возрожденной Франции, когда отживший романтизм уступил свое место иным литературным течениям. Явились новые боги, овладевшие воображением читающего люда, влияние прежнего кумира растаяло, как дым, но не забылись его произведения, и любители легкого чтения с огромным интересом и сегодня поглощают эти живые, пламенные страницы человеческой трагикомедии, страницы яркого колоритного живописца страстей великих и ничтожных. Редко кому из пишущих людей выпадает такое счастье.

Этим счастливым писателем был Дюма, знаменитый автор «Виконта де Бражелона», «Графа де Монте-Кристо», «Трех мушкетеров», «Королевы Марго», «Госпожи Монсоро», целого ряда драм и комедий, путевых впечатлений, дневников — тот самый Дюма, имя которого гремело в продолжение нескольких десятилетий, было предметом разных толков, рассказов, порою довольно фантастических, напоминающих легенды, служило мишенью для остроумия, нападок, нередко доходивших до бесцеремонной клеветы, анекдотов, где интимная жизнь писателя бесцеремонно выворачивалась наизнанку. С именем Дюма мало церемонились и современники писателя и позднейшие их потомки, и тем не менее ему отдавали должное, как талантливому романисту, имевшему европейскую, вполне заслуженную репутацию, как создателю настоящей драмы, как яркому выразителю наиболее отличительных черт своей эпохи. И старая, и новая критика признавала его выдающееся мастерство и находила, что в Дюма, словно в фокусе, ясно, отчетливо отразилась французская нация, с ее положительными и отрицательными сторонами, которые писатель, олицетворяя в своих героях, сумел передать почти

фотографически верно в целом ряде бесчисленных романов, повестей и мемуаров.

Еще в тридцатых годах французская критика называла Дюма замечательным рассказчиком, но порицала за страсть к эффектам, ради которых он часто жертвовал исторической истиной. Однако критика признавала, что если Дюма насилует иногда, заведомо или неумышленно, истину историческую, скоро преходящую, относительную, то ему никогда не приходится действовать наперекор истине вечной, всеобщей и абсолютной. Случается нередко, что он искажает отдельные черты, но суть человека остается для него незыблемой, душа и сердце никогда не ускользают от даровитого писателя. Его владычество, его торжество это — драма интереса, драма внутренняя. С какой бы эпохой ни связал Дюма своего сюжета, к какому бы историческому моменту или событию ни пристегнул его, он все-таки всегда дает почувствовать, как бьется в груди его героев сердце, горячее и живое. Оно бьется одинаково и под средневековой фуфайкой, и под фракком новых веков; его биение заметно и сквозь косынку Адели Гервей, и сквозь брыжи герцогини де Гиз. Живописуя страсти, он нередко простирает логику до преступления, истину простирает до чрезмерной откровенности. На всех главных, любимых автором героях лежит печать удали, веселья, беспечности, беззаботности. Такие качества — прямое отражение личности самого Дюма, много испытавшего на своем веку, много видевшего в своей разнообразной, богатой приключениями жизни и до конца сохранившего эти типичные черты.

II

Александр Дюма родился 24 июля 1803 года в Вилье-Котрэ, небольшом городке Энского департамента, лежащем по пути из Парижа, в двух милях от Ферт-Милона, где родился Расин, и в семи лье от Шато-Тьерри, где родился Лафонтен. Автор героической эпопеи о похождениях трех мушкетеров всегда назывался этой частью своей настоящей фамилии де ла Пальетри, и поэтому, как говорит сам писатель в своих записках, современники оспаривали у него право на эту фамилию, так что Дюма вынужден был опубликовать в печати свое метрическое свидетельство. Оно удостоверяло, что его отцом был Томас-Александр Дюма-Дави де ла Пальетри, известный во время республики генерал, женатый на Марии-Луизе-Елизавете Лабуре, дочери первого метрдотеля Луи-Филиппа Орлеанского. В его жилах текла отчасти негритянская кровь, так как его отец, дед писателя, маркиз Антуан-Дави де ла Пальетри был женат на негритянке Тьенетт Дюма, когда он жил на острове Сан-Доминго в качестве генерал-губернатора. Вернувшись во Францию, он привез с собою мулата, которого официально признал своим сыном, но который принял прозвание матери своей, когда престарелый маркиз вступил во второй брак, женившись на мадемуазель Рету, своей ключнице. Мулат, по словам Дюма, отличавшийся необыкновенной красотой, пошел в солдаты, проявил редкую храбрость (это было в 1792 году, когда производство в чины шло довольно быстро) и, в конце концов, дослужился до дивизионного генерала. В дни империи ему не повезло; он вышел в отставку и умер в Вилье-Котрэ в бедности, оставив сына и вдову почти без средств.

Этим и объясняется то довольно скромное образование, которое она могла

дать сыну. Александр Дюма обязан своим первоначальным воспитанием некоему аббату Грегуару, который с трудом выучил его латыни и ничего не добился, преподавая ему арифметику. Грустно мелькали детские годы Александра; тем не менее, он всегда был жизнерадостен и бодр. Больше ученья он любил ловить птиц на свисток, бегать по улицам и садам, ездить верхом, заниматься фехтованием и стрельбой в цель из пистолета. Унаследовав от отца атлетическое сложение, он физическими упражнениями и вечным пребыванием на воздухе еще больше укрепил свой организм, приобрел железное здоровье и, по собственным словам Дюма, вырос «крепким, хорошеньким мальчиком». Здоровье его не пошатнулось и впоследствии, когда он предался всяким излишствам, когда он работал усиленно, не покладая рук, и его умственное напряжение доходило до крайних пределов. Работоспособность Дюма всех удивляла, наравне с его необычайной подвижностью, предприимчивостью, деятельностью его страстной, увлекающейся натуры.

Мать Дюма жила на свою вдовью пенсию, и юному Александру не хватало средств. Он стал искать работы и на девятнадцатом году поступил писцом в контору королевского нотариуса Менесона в Вилье-Котрэ. В этом городке проживало, изгнанное из Парижа по возвращении Бурбонов, семейство Левен. Один из членов этой семьи, Адольф, писал водевили, и, когда Дюма пожаловался ему на скудный заработок, Левен посоветовал ему испробовать свои силы в драматургии. «Театр, мой милый, — говорил ему водевилист, — это золотое дно. Пишите пьесы, я буду помогать вам!» Дюма последовал его совету и послал в парижские театральные дирекции три пьесы. Их забраковали, но Дюма не упал духом и продолжал писать. Затем, когда Левен уехал в Париж, вслед за ним отправился туда же искать счастья и Дюма в компании со старшим клерком нотариуса Менесона. Молодые люди уехали почти без денег, только с ружьями за плечами. Дорогой они стреляли дичь, продавали ее и таким образом добрались до Парижа. Здесь водевилист Левен принял Дюма с распростертыми объятиями, добыл ему даровой билет на спектакль с участием знаменитого Тальмы, ввел за кулисы и, наконец, представил великому трагику. После довольно благосклонного приема Тальма, как рассказывает Дюма в своих «Записках», стал всматриваться в черты молодого человека и на его челе и во взоре его нашел несомненные признаки гениальности. «Александр Дюма, — сказал он ему, — во имя Шекспира, Корнеля и Шиллера, посвящаю тебя в поэты! Поезжай обратно домой, вернись к своему нотариусу; дух поэзии отыщет тебя повсюду, поднимет за волосы, как древние пророки, и перенесет туда, где тебе найдется работа».

Предсказание великого трагика оправдалось довольно скоро, и злой гений литературы переиес Дюма окончательно в Париж. Он повествует в своих «Записках», что счастливая билиардная игра в Вилье-Котрэ возместила ему все его путевые издержки, кроме того, он взял у матери пятьдесят франков, а у избирателей энского департамента несколько рекомендательных писем к старым генералам империи — и очутился в Париже, на чердаке дома на Итальянской площади. Начались визиты к важным особам. У маршала Журдена Дюма встретил прием совсем холодный, а герцог де Белюнь даже не удостоил его приемом, и только генерал Фуа, друг и сослуживец отца его, принял участие в молодом человеке. Убедившись, что у Дюма недурной почерк, он определил его в сек-

ретарнат герцога Орлеанского сверхштатным переписчиком на оклад в 1200 франков в год. Здесь работы было сравнительно мало, и юноша ревностно принялся за чтение, за внимательное изучение родной литературы. Дюма откровенно сознается, что он тогда был страшный невежда. Жадно поглощал он творения Вальтера Скотта, Шекспира, Гете, Шиллера и классиков французских. Не без гордости говорил он своему покровителю, генералу Фуа, что все это чтение очень пригодится ему впоследствии и что «покуда он живет только своим почерком, но потом будет существовать своим пером». От слов надо было перейти к делу, — и Дюма написал две небольшие комедии для театров «Ambigu» и «Porte St. Martin», за которые получал по четыре франка проспектабельной платы. Умудрился он также, не зная немецкого языка, перевести трагедию Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе» и, не имея еще основательных познаний в истории, сочинить трагедию «Гракхи».

В фельетонах маленьких парижских газет он помещал повести и в 1826 году издал один томик их. На сцене театров «Odéon» и «Théâtre Français» шли его пьесы «Охота и любовь», «Свадьба и похороны» и «Гракхи», — причем последняя была сперва забракowana. Эти пьесы Дюма поставил не под своим именем, а под прозвищем Дави, частью своей фамилии. После «Гракхов» он написал пьесу «Христина» на сюжет из «Memoires de Mademoiselle», заимствовав лучшие драматические положения у Гете. При посредничестве Шарля Нодье, известного писателя и библиофила, пьесу хотели уже поставить на сцене «Французского Театра», но директор его Тайлор вдруг уехал на Восток за каким-то обелиском, и актеры, воспользовавшись отсутствием его, отказались от пьесы. Завязались споры между автором и артистами, и для решения их был приглашен поэт и драматург Пикар. Он почему-то возненавидел эту пьесу, отверг ее для постановки, а Дюма посоветовал бросить литературу и служить. Но Дюма был не из тех малодушных, которые при первой неудаче складывают оружие. Он шел напролом к намеченной цели и скоро написал новую пьесу: «Генрих III и его двор», на что побудили его представления одной английской труппы, гастролировавшей в Париже. По протекции герцога Орлеанского пятиактная драма «Henri III et sa cour» была поставлена в том же «Французском Театре» 10 февраля 1829 года. Ее успех превзошел ожидания автора. На представлении присутствовал сам герцог, рукопожатиям не было конца, и на другой день Дюма был возведен в звание придворного библиотекаря Луи-Филиппа Орлеанского. Это было большой милостью со стороны герцога: жалование было приличное, и служба не стесняла молодого писателя, вполне располагавшего свободным временем.

Переселившись из Сен-Дени на Университетскую улицу, Дюма занял богатую квартиру и со всем пылом своей южноафриканской крови отдался веселью, ведя рассеянную, полную смены разнородных впечатлений, жизнь. Между тем наступил 1830 год, когда умы всех обуяли замыслы славы и честолюбия. Возраставшая известность и популярность Дюма как представителя литературы далеко не вполне удовлетворяли его. Он сам заявляет торжественно, что «с этого дня его занимала одна политика, и литература была забыта». Но это не совсем верно: Дюма домогался почестей, домогался министерского портфеля, менял знамя, делался то роялистом, то боиапартистом, то республиканцем, — но писать не переставал. Он продолжал заботиться о постановке своих старых пьес, и,

между прочим, «Христины», которую театр «Французская Комедия» все еще не хотел принять. Дюма взялся за перо, едва только успели умолкнуть ружейные выстрелы революционных дней и мода прошла на них; он написал драму в шести актах и девятнадцати картинах под заглавием «Наполеон Бонапарте, или Тридцать лет истории Франции», движимый раздражением, что Луи-Филипп упрямится и не дает ему министерского портфеля. Свою пьесу «Христина» он переделал в романтическую драму в стихах и посвятил ее герцогу Орлеанскому, в ту пору еще не бывшему королем и тщетно пытавшемуся выпросить у Карла X орденскую красную ленточку для честолюбивого драматурга. Под живым впечатлением этого неучтывого отказа Дюма сражался в июльские дни против Бурбонов и получил июльский крест.

После революции слава писателя росла с каждым днем, а с нею возрастало и число его драматических произведений. В 1831 году появились его драмы: «Charles VII chez ses grands vassaux», «Richard d'Arlington» и «Antony», а в 1832 — 1834 гг драмы: «Théresa», «Angela» и «Câtharina Howard». Все эти пьесы явились в эпоху расцвета драматического романтизма, и французская публика захлебывалась от восторга, смотря их.

Большая часть пьес Дюма отличается поверхностной психологией, лишь более поздние из них, когда он нашел эпоху, дух которой ему был известен и которым он сумел овладеть, представляют прекрасные изображения давно минувшего времени. Но не пьесами стяжал он себе популярность необычайную.

Популярность Дюма зиждется почти исключительно на его романах и повестях. Его театр отошел в область преданий, устарев совершенно, тогда как романы всегда читались с жадностью и пережили не одно поколение. Они всегда будут представлять чтение интересное, занимательное и поучительное. В них описательная форма превосходна и играет одну из главных ролей в его исторических романах — лучших из всех его разнородных произведений. Она является замечательной чертой таланта Дюма.

Небольшие новеллы «Le coher de Cabriolet», «Blanche de Beaulieu» и другие были дебютами его в области беллетристики. Затем следовали более длинные повести: «Le Capitaine Paul» (1838), «Ascanio», «Le Chevalier d'Armental», «Amaury», «Ferdinand», «Les Frères Corses» и другие.

Уже и в этих произведениях сказался огромный талант писателя, его замечательная способность увлекать читателя, живо и естественно описывать быт настоящего и минувшего, заинтересовывать искусно ведомой интригой, мастерским красивым рассказом. И здесь уже видны обширность замыслов, бездна смелости и оживления, богатство фантазии. Тип этих произведений носит характер романтизма, но приближается к нему лишь внешними приемами, стремлением к блеску языка и местного колорита, к верному, превосходному изображению обстановки того времени, из которого произведения эти взяты. Они производят впечатление, несмотря на относительную бедность внутреннего содержания, на слабый психологический анализ. В них ярко выступает бьющий через край, непосредственный талант его, колоссальный по силе темперамент, его необыкновенная самоуверенность, стремительность, его кипучая кровь. В этих произведениях так же, как и в остальных, более крупных, выдвигается обаятельный рассказчик, не затрудняющийся выйти из самых запутанных обстоятельств, хитросплетенных положений, победоносно разрубая гордые узлы и выказывая поразительную изоб-

ретательность. Он ни перед чем не останавливается. Воображение Дюма пламенно, неугасимо, неугомимо. Он не знает границ, как веселье богов, а плодovitость его неисчерпаема, как воды океана. Горячая голова писателя, никогда не остывавшая, работала без усталости, никогда не затрундылась ни в выборах сюжета, ни в разработке его, и полет фантазии рассказчика приводил в изумление своими неожиданными, нередко крайностями.

Дюма раскрывает перед читателем бесконечно длинную галерею лиц, в сущности обывденных и заурядных, какими полон весь мир, которых, однако, романист силою своего удивительного таланта заставляет жить и кипеть в водовороте самых разнообразных страстей, порывов и чувствований; он вкладывает в их сердца повышенную чувствительность, одаряет неугомонной волей, лихорадочной подвижностью, жаждой приключений, новых переживаний, глубоко захватывающих ощущений. Несмотря на то, что Дюма нередко приходилось творить под давлением материальных обстоятельств, он всегда оставался художником, увлекался своими героями, переживал их ощущения, — и весь выливался в произведениях своих со всей цельностью натуры и чертами характера, веселостью, ловкостью, чрезвычайной изобретательностью. Французско-африканская кровь, беззаботность креольской природы и чувственное пламя черной расы живо чувствуется в его сочинениях.

Как рассказчик, Дюма обладает огромной способностью самому невероятному приключению, небывалому происшествию, чуть не легендарного свойства, придать характер живой действительности, истинного факта. И эта особенность своеобразного творчества писателя является прямою потребностью души его. Он удивительно умеет сочетать фантазию с жизнью. И если фантастичность его рассказов порою отзывается наивностью, ребячеством, то в ней все же много неизъяснимой прелести. Фантазия романиста не останавливается ни перед чем, ее не страшат ни самые широкие горизонты, ни самые смелые замыслы, и, упиваясь ее прихотями, ее капризами до самозабвения, романист возводит их в культ в своих произведениях, отличающихся удивительной ясностью и жизненностью. Для него не существуют размеры расстояний, границы чудесного, прекрасного, низменного, ужасного, — для него, этого своего рода Гулливера, крепкого, твердого, сильного волей, неугомонного и отважного. Неукротимый, неуклонный каратель порока, пламенный защитник добродетели, в какой бы форме она ни проявлялась, романист энергично распоряжается судьбою выводимых им лиц и силою пылкой фантазии словно налагает на них перст Божий.

Дюма не был в состоянии написать ни одной вещи беллетристического характера, если лично не видел места действия задуманного романа, повести, рассказа или если не читал о нем. Но тем или другим путем ознакомясь с этим местом действия, он быстро воспламенялся при одном воспоминании о нем, переносился в него и населял его своими героями, создавать которых он умел стремительно. Его воображение работало изумительно плодотворно, без замедления, почти безостановочно; герои являлись во множестве, так сказать, рождая друг друга. Но что мы говорим, — «во множестве»: под различными именами пред взором нашим предстает один герой, одно главное действующее лицо, это пламенный гений Дюма. Отсюда понятен вывод Сирано де Бержерака, что земля — величайшая, удивительная из планет, Европа удивительнейшая из частей света, Франция со своей революцией самая удивительная из стран Европы, Париж

тридцатых годов самый удивительный из городов Франции, а Дюма самый плодотворный ум Парижа, вместительное, полное чудесных, обворожительных сказок, сюжет которых взят из живой, повседневной действительности и центральная фигура которых является в образе графа Монте-Кристо, героя столь излюбленного, так богато наделенного душевными качествами, до известной степени отразившего и положительные, и отрицательные черты его вдохновенного творца. Надо сказать правду, что в большинстве случаев каждый из героев Дюма непременно наделен одною или несколькими из этих черт. Герои его деятельны, энергичны, предприимчивы, ловки, никогда не теряются в самых затруднительных обстоятельствах, сильны духом и телом, храбры, мудры. Этими качествами наделены мужские фигуры произведений Дюма. Они ему всегда удаются и написаны более уверенно, чем женские фигуры. Последние особенно бледны и слабо начертаны в драматических произведениях Дюма. Он вечно вращался среди женщин, артисток, дам полусвета, искательниц приключений; женщина, переодевая мальчиком, сопровождала даже писателя в путешествии его по Италии. Он прекрасно знал этот мир слабого пола и тем не менее не успел создать ни одной женской фигуры, столь ярко обрисованной, написанной так сочно, как действующие лица мужского персонала.

Произведения Дюма, расхвалившиеся с небывалой быстротой, выдерживавшие множество изданий, все более и более обогащали его; он жил в роскошных палатах, вел веселую жизнь, точнее прожигал ее, окруженный толпою друзей-приятелей, поклонников его таланта, блестящих представителей искусства, литературы. Но при всем своем благополучии он не чувствовал полного удовлетворения. Французы, по крайней мере большинство их, имеют неодолимое влечение к орденам и всяким отличиям. И Дюма не составлял исключения: в его беспокойных мечтах назойливо рисовалась красная ленточка в петличке. Луи-Филипп был еще зол на писателя — и сын его, герцог Орлеанский, принимавший Дюма, однажды в Версале доставил ему случай встретиться с королем. Тут знаменитый автор «Трех мушкетеров» покаялся перед последним в своихвольных и невольных прегрешениях — и получил милостивое прощение. При всем дворе его называли «большим школьником» (*grand écolier*), и, в конце концов, красная ленточка красовалась на его изящном сюртуке. Спустя несколько месяцев он вполне оправдал данное ему название — действительно сошкольничал, перейдя границы светских приличий и придворного этикета. Приглашенный на бал герцога Орлеанского, Дюма явился в сопровождении Иды Феррье, артистки театра *Porte Saint-Martin*, постоянно игравшей в его пьесах. Разумеется, все ахнуло от удивления, но принц поправил дело: он подошел к романисту и его спутнице и с большим достоинством сказал Дюма: «Без сомнения, любезнейший, вы могли представить мне только жену свою?» Слова эти звучали приказанием; обслушании не могло быть и речи, потому что за него избалованный писатель очутился бы в немилости. И Дюма поспешил жениться. Это было в 1842 году.

О женитьбе этой кричал весь Париж. Свадьба была отпразднована великолепно; вся литературная элита присутствовала на ней. Сам знаменитый автор «Замогильных Записок», виконт Франсуа Шатобриан, вызвался быть свидетелем при брачном договоре, причем в церковных книгах Дюма расписался маркизом де Пальетрн. «Маркиз и маркиза» окружили себя безумной роскошью; пирам и забавам, на которые популярный романист был так изобретателен, конца не было. Но спустя три года после свадьбы супруги разъехались, и

маркиза избрала своим местожительством Флоренцию, где и жила до самой смерти, последовавшей в 1859 году. От этого брака родился Александр Дюма-сын, женившийся на иашей соотечественнице, вдове Нарышкина, урожденной Кнорриг, и дочь Мария, известная французская писательница и художница. Здесь кстати будет упомянуть о том, что при всей своей легковесности, достаточном легкомыслии и беззаботности Дюма был необыкновенно нежным отцом. Он обожал сына, как говорится, души не чаял в нем и то и дело упоминал о нем в своих путевых записках. Большой охотник до покупок всякого рода, Дюма приобретал вещь всегда в двух экземплярах — один для себя, другой для сына. Однажды с веселым смехом он рассказывал, что, когда Дмитрий Павлович Нарышкин, у которого Дюма в свой приезд в Россию жил в Петербурге и в деревне, подарил ему дорогую соболью шубу, у романиста так и вертелся на языке вопрос: «нет ли у вас еще одной шубы для моего сына?» Сын, однако, далеко не питал такой нежной, трогательной привязанности к отцу и в своей комедии «*Le père prodigue*» выставил все его слабости, в том числе его нерасчетливость, мотовство, неумение приберечь копейку на черный день. Автор «Дамы с камелнями» отличался необычайной серьезностью, практичностью, бережливостью, и его изумляло легкомыслие отца, несовместимое с его годами. Миллионы франков зарабатывал он — один роман «Монте-Кристо» дал ему более 200 000 франков, — и у него никогда ничего не оставалось. Это не мешало ему помогать бедным, делать добро ближнему, в чем ярко сказывалась юношеская теплота сердца писателя, понимавшего чужое горе и чутко откликавшегося на него. Однажды обратились к нему за помощью: нужно было хоронить полунищую актрису. В этот момент у Дюма не было денег в наличности, и писатель, не задумываясь ни на минуту, тотчас продал все свои иностранные ордена. В подобных случаях он мало стеснялся в выборе средств, лишь бы скорее прийти на помощь. Постоянно находясь в оппозиции по отношению к Наполеону III, он тем не менее нередко прибегал к щедрости императрицы Евгении (Дюма хорошо знал ее как графиню де Монтихо еще в Испании, до переезда ее во Францию), ходатайствуя за других, и никогда не получал отказа. Подчас щедрость писателя не знала границ. Но, проявляя эту симпатичную черту характера по отношению к окружающим, он и сам любил принимать подарки, и, как видно из его собственных признаний, иногда и нигде его так не баловали, как в России, в смысле всяких подношений.

III

Набрасывая облик Дюма как человека, необходимо сказать о нем как о неутомимом путешественнике. Французы очень неохотно покидают насиженное гнездо, не любят оставлять родину. Дюма в этом отношении был совсем не похож на своих соотечественников. Он обожал кочевую жизнь, еще в юности мечтал о путешествиях, о знакомстве с чужими краями. Об этих краях он умудрялся, благодаря начитанности и сильному воображению, писать, не выезжая из Парижа. Любимец двора, Дюма, в качестве историографа по смерти герцога, сопровождал герцога Монпансье в его путешествии по Испании. После первых недалеких прогулок по Вандее, где он собирал разные материалы, и

итем по Швейцарии это была первая продолжительная поездка Дюма. Из Испании романист отправился на побережье Африки, получив в распоряжение казенный французский пароход «Велос». Затем денежные обстоятельства вынудили блестящего романиста покинуть Францию и около года прожить в Бельгии, а по возвращении в Париж он совершил путешествие по Италии. В 1858 году Дюма познакомился с графом Гр. Александр. Кушелевым-Безбородко, основателем журнала «Русское Слово», известным меценатом, жившим тогда в Париже, и с восхищением принял его приглашение отправиться вместе с ним в Россию.

Последней поездкой Дюма было его посещение освободителя Италии Джузеппе Гарибальди. Едва он появился в Сицилии, Дюма уехал к нему и сопровождал его почти во всех его походах и пробыл с Гарибальди около года. Эту поездку романист предпринял после путешествия по России.

С 1844 года Дюма поселился в вилле Медичи, в Сен-Жерменском предместье, платя за нее две тысячи франков. Помещение было невелико, но для него вполне достаточно. И тем не менее, у него явилось желание иметь собственное жилище. Прежде всего он приобрел участок земли на середине холма по дороге из Сен-Жермена в Марли, сделал план, смету. Все должно было стоить около сорока восьми тысяч франков, а обошлось в триста тысяч.

У Дюма был масштаб и в произведениях его, и в жизни, и при сооружении своего великолепного замка Монте-Кристо он дал большой простор фантазии, не сдерживаясь средствами. Два года устраивал взбалмошный романист свой уголок. Из Туниса были выписаны мастера-туземцы, устроившие настоящую арабскую комнату — Альгамбру в миниатюре, — стены которой были расписаны стихами Корана. При этом с мастеров была взята подписка, что они не имеют права повторить свою работу где-либо в Европе. И чего только не было в этом роскошном замке великого фантазера! Павильоны в готическом стиле, башенки с колоколами, сады, островки, водопады, гроты, мостики. Углубленные источники, несколько приподнятые, снабжали водою большой бассейн, посреди которого высился домик из камешков и раковин с плитками и медальонами, на которых высечены были надписи — названия различных творений владельца замка. Красотой и изяществом пленял чудный киоск с лазурным сводом, усеянным звездами, служивший Дюма рабочим кабинетом, ярко-цветные стекла которого бросали причудливые блики на инкрустированные стены и устланный дорогими коврами пол. В замке была и мастерская для художников, двенадцать комнат для гостей, беседка для обезьян, попугаев и собак; конюшня не уступала дворцовой королевской. В приемной, убранной шелками и золотом, были собраны чудеса искусства; в будуаре, служившем и маленькой приемной, на окнах висели драпри из настоящих драгоценнейших кашмирских шалей. Было тесно от картин, статуй, мебели Буля, всевозможных редкостей. Если многое и не отличалось тонким вкусом, зато было дорого и великолепно. Наиболее выдающиеся представители живописи, скульптуры, архитектуры, декоративного искусства, садоводства трудились над созданием, над убранством замка Монте-Кристо, двери которого были широко раскрыты для всевозможных посетителей, стекавшихся в замок чуть не со всех сторон света. Они, что называется, осаждали замок, где находились под необычайно гостеприимным кровом владельца, предоставлявшего в их распоряжение и великолепные покои, и птичники с их

богатым запасом для изысканного стола, и сараи с прелестными экипажами для прогулок, для охоты, рыбной ловли, и места для игр всякого рода. Удивительной терпимостью и снисходительностью, порой не имевшей границ, редкой любезностью к паразитам женского и мужского пола Дюма привлекал все новые и новые тучи прожорливой саранчи... Кажется, только ленивый не посетил редкостного замка. Гости ели, пили, развлекались и, предоставленные себе, хозяйничали как дома.

Что касается самого обладателя «странноприимного дома», этого неисправимого расточителя, то он поднимался к себе наверх в свой роскошный павильон с цветными стеклами, служивший ему, как сказано уже, рабочим кабинетом, куда удалялся, чтобы писать свои обычные три фельетона, столь нетерпеливо ожидаемые читателями. «Я не скажу, — замечал при этом Дюма, — чтобы писание моих фельетонов не доставляло мне удовольствия, но, работая над ними, я во всяком случае получаю меньше удовольствия, чем те, кто совсем не работает!» Чтоб попасть в благодатный замок, многие прибегали к различным способам. Анри Блаз де Бюри в своих воспоминаниях о Дюма рассказывает по этому поводу о следующем случае, похожем на анекдот. Как-то вечером раздался звон колокола на башенке. Перед владельцем замка предстал молодой человек, иностранец.

— Что вам угодно, молодой человек? Мне кажется, я вас вижу впервые? — спросил его хозяин.

— Совершенно верно! — ответил незванный гость. — Вы меня не знаете, но вот что сейчас поможет вам узнать, кто я такой.

И с этими словами незнакомец вручил Дюма ящик, тщательно запакванный и перевязанный, раскрывая который писатель увидел в нем эластичный, лоснящийся предмет.

— Зонтиками вы торгуете, что ли? — спросил он незнакомца.

— Как вы заблуждаетесь, господин Дюма! То, что вы принимаете за обыкновенную, пропитанную гуттаперчей, тафту для зонтика — не что иное, как кожа великолепного удава.

— На какого черта мне эта кожа вашего боа-констриктора, хотел бы я знать? — недоумевал Дюма.

— Она сделается одной из ваших реликвий, когда вы узнаете, что змея, кожу которой я здесь вам показываю, некогда была убита из ружья генералом Дюма, отцом вашим, в бытность его в Египте...

И с него этого было достаточно: с этого момента человек, привезший боа-констриктора, водворился в замке Монте-Кристо. Дюма пригласил его к столу, затем оставил ночевать, и в течение трех лет незнакомец не покидал замка.

Чтобы покончить с этим затейливым обиталищем знаменитого романиста, надо добавить, что в довершение всего на фасаде замка был изображен герб маркиза де ла Пальетри, и на щите этого герба стоял девиз: «Люблю тех, кто меня любит». Открытие Монте-Кристо сопровождалось лукулловским пиршеством. Присутствовало шестьсот человек. После пира был блестящий спектакль. Шла специально для торжества написанная пьеса «Шекспир и Дюма», дружно разыгранная известными артистами. Это было сплошное восхваление превознесенного до небес писателя... так что напечатать пьесу посоветились и даже

побоялись, чтобы не вышло скандала. У Дюма было врагов, недоброжелателей и завистников достаточно.

Но вернемся к произведениям Дюма. Давнишней заветной мечтой его было дать в романах целую историю Франции, начиная с эпохи Франциска I и кончая тем временем, в котором писатель жил и действовал. Но к выполнению задуманного Дюма приступил понемногу, подобно Герберту Спенсеру, который, из боязни внезапной смерти, не доведя до конца своего философского исследования, спешил написать заключение. Отсюда естественные пробелы.

К середине сороковых годов XIX века относятся главные многотомные романы Дюма: «Три мушкетера», вышедший в 1844 году в восьми томах и первоначально напечатанный в газете «Siècle», продолжение первого — «Двадцать лет спустя» и «Виконт де Бражелон» (1845-1846) и, наконец, «Королева Марго» (1845 г.), предварительно помещенные в газете «Presse». Небывалый, неслыханный успех выпал на долю этих романов. Ими зачитывались во дворцах, в великосветских салонах, их прямо пожирала полуобразованная толпа, бульварная публика.

Критика справедливо отмечала в них исторические недочеты, но не могла не признать, что романист дает блестящие картины, рисует яркие образы, дивно иллюстрирует героические эпопеи и сильно волнует сердца, всецело овладевает умами читателей. В этих романах особенно ярко сказался талант Дюма, исполненным, радужным фонтаном бьет его фантазия, и рельефно выступают, так мастерски созданные, цельные, ясные, определенные типы, вроде, например, гасконца д'Артаньяна, бесконечно веселого, храброго до самозабвения, остроумного собеседника, отличного товарища, преданного друга и вместе с тем большого мастера охранять свои интересы. Но и кроме перечисленных романов исторического характера не менее интересны: «Две Дианы», «Госпожа де Монсоро», «Женская война», «Могикане Парижа», «Сорок пять», «Черный тюльпан» («Пленик Левенштейнского замка»), «Шевалье д'Арманталь» («За королеву») и т. д. И в этих менее объемистых произведениях Дюма на исторической канве вышивает богатейшие по рисунку и краскам узоры, поражая обилием своей неиссякаемой, живой фантазии, чаруя сложным фейерверком неожиданностей всякого рода, увлекая разнообразием сюжетов.

Большинство критиков с особым вниманием останавливается на «Кавалере Красного Замка» — лучшем из его исторических романов. Все здесь прекрасно. Способ, с помощью которого Диксмер заставляет любовника своей жены спасти королеву, характер Лорана и самая развязка представляют наиболее захватывающие места. На фоне всего этого, написанного широкими, художественными мазками, наряду с вымышленными лицами, фигуры Марии Антуанетты и Елизаветы Тюдор выступают ярко и имеют историческую ценность. По этому произведению видно, что Дюма уважает святыню. Этот ловкий хитрец, вечно толкующий о том, что он отступает от истории, когда в этом является необходимость, умеет честно и благородно защищать несчастных. Но в этих случаях он не пересаливает в описании чувств и вообще не теряет достоинства повествователя: смеется и плачет когда нужно и всегда в меру. Дюма в совершенстве постиг искусство выдержанности тона на протяжении всего произведения, избегая сентиментальной плаксивости и грубой красочности в манере письма. Это мнение критиков можно применить и к остальным историческим романам его, где перед

читателем проходит целая галерея живых фигур разных эпох, от Карла VII до Людовика XVI, и других, очерченных яркими контурами, образных, верных действительности. В отношении психологии эти фигуры исполнены не особенно тонко, но в историческом смысле автор не грешит против правды. С захватывающим интересом читатель следит за описаниями исторических событий, видит живые портреты Медичи, Бурбонов, Валуа, Анжа Питу, врача Реми, Миледи (в «Трех мушкетерах»), герцога Лорана и проч.

Превосходно изображен у Дюма характер толпы, то рабской, низкопоклонной, то жестокой, жаждущей крови, то сентиментальной, то грубой и циничной. «Королева Марго», «Госпожа де Монсоро», «Сорок пять», «Бальзамо», «Ожерелье королевы», «Анж Питу», «Графиня Шарни», «Кавалер Красного Замка» и другие романы являются живым воплощением души Франции.

Большой вкус Дюма, его широкая натура отражаются целиком во всех романах, и исторических, и иных. Нередко с этим большим вкусом обрисованы женские типы, каковы, например, Екатерина Медичи в «Королеве Марго» или Миледи в «Трех мушкетерах». Дюма особенно любит изобразить женщин пламенных, дышавших страстью или мечтательных, мягких, нежных, женщины, способных воспламениться от одного взгляда мужчины, женщины, все существование которых, весь смысл жизни заключается в любви. Да и герои-мужчины у Дюма это тоже невольники любви, пылкие жрецы страсти, которая не чужда даже и самым светлым личностям, людям, беззаветно преданным королеве («Три мушкетера», «Кавалер Красного Замка»). Что касается худших из героинь и героев, — то они отдаются страсти до самозабвения. Натуры холодные, бесчувственные вызывают у романиста большую иронию; он не жалеет для них сарказма, питая, наоборот, глубокую жалость и симпатию к тем, кто становится жертвой любви, кто сгорает в огне страсти. Дюма умеет прекрасно охарактеризовать ту или другую эпоху, мастерски пользуясь средствами, необходимыми для ее изображения, пользуясь яркими чертами, эпизодами, даже единичными личностями для этой цели. Пусть герцог Наваррский не был королем Франции, пусть Екатерина Медичи не отказывалась от трона, — но эти отступления от исторической правды Дюма охотно и порою довольно смело допускает в виду преследуемых им целей, драматизма положения, тех или других эффектов, заставляющих усиленно биться сердце читателя, бесконечно интересных для толпы. На драматизме, на эффектах, на чудесных приключениях Дюма основывает успех своих произведений. Тут он выказывает во всей силе свой огромный талант, свое удивительное, подчас безграничное воображение.

Тут энергия его неисчерпаема. Если Наполеон и Дантон являются титанами энергии в области политики, то Дюма представляется таковым же в области национального романа, в особенности в «Трех мушкетерах», в его продолжении «Двадцать лет спустя», в «Виконте де Бражелоне».

Мастерство Дюма сказалось и в романе приключений, во главе которого стоит знаменитый «Граф Монте-Кристо» — эта дивная сказка, в которой талант писателя развернулся во всю ширь, явил всю свою мощь. Доходящая до дерзости, до безумия, она обезоруживает читателя, невольно поддающегося обаянию властного таланта.

После виллы Монте-Кристо Дюма пришло на мысль выстроить свой собственный театр исключительно для представления своих пьес. Гостейн, директор театра «Gaité», доставил ему архитектора, сделал план, нашел средства на это предприятие. Герцог Монпансье, в то время почти юноша, подобно брату своему, покойному герцогу Орлеанскому, оказывал покровительство знаменитому писателю, дал ему привилегию и даже позволил назвать новый театр — театром Монпансье.

Шутить этим было невозможно. Луи-Филипп, обладавший большим чутьем в тех случаях, когда дело касалось более или менее рискованных предприятий, денежных афер, узнав о затее Дюма, так или иначе связанной с именем герцога Монпансье, заметил увлекавшемуся сыну:

— Берегись, Монпансье, — ты вовсе не так богат... Пожалуй, строй себе театры, но не забывай одного, что члену королевской фамилии непозволительно сделаться банкротом!

Испугавшись, Монпансье взял назад свое дозволение, и театр Монпансье превратился в «Исторический театр». Дюма переуступил привилегию Гостейну за сто тысяч франков и, пока строился театр, съездил в Испанию, присутствовал на свадьбе герцога Монпансье, бросал деньги направо и налево для поддержания своей известности при дворе королевы Изабеллы, расписался на брачном контракте и уехал на казенном корабле, который был отдан в полное распоряжение романнста министром Сальванди. С Дюма поехал его сын Александр, живописцы Жиро и Дебароль и Огюст Маке, сотрудник писателя. Присталн к берегам Африки. Дюма побывал в разных городах, охотился за львами и, если верить его «Запискам», освободил двенадцать пленников Абдель-Кадера — и вернулся в отечество. Сюда из Мадрида и Туниса он привез множество знаков отличия. В день св. Филиппа всемирно известный писатель и начальник сен-жерменской национальной гвардии, тогда еще владелец Монте-Кристо, явился во дворец Тюильри. Грудь Дюма была в крестах, звездах и орденских лентах. Рассказывают, что, когда он однажды предстал во всем этом своем величии перед Шарлем Нодье, тот не утерпел и сказал ему своим добрым отеческим тоном, за который ему все прощалось:

— Ах, мой милый, мой бедный Дюма, что это на вас навешано?! Неужели вы, негры, никогда не изменяетесь, и вас вечно радуют всякие стеклышки и погремушки?

«Исторический театр», открывшийся 20 февраля 1847 г. «Королевою Марго», пьесой, переделанной из романа того же заглавия, давал доход, и Дюма мог бы поправить свои плохие обстоятельства, дела, расстроенные расточительностью и не в меру роскошной жизнью писателя, но подоспевшая февральская революция отозвалась на сборах. Время для театралов было неподходящее: толпы народа были и зрителями, и артистами в театрах иного рода в разыгрывавшихся сценах революции.

Для поддержания своей репутации демократа, а ещё более, как уверяли злые языки, для поправления дел, Дюма стал издавать журнал «Liberté». Ему хотелось, по уверению его недоброжелателей, заменить роман-фельетон, которого читать было некогда, увеселительной политикой. Но времена были слишком серьезные — шутить не приходилось.

Дюма сравнивали с фокусником, вздумавшим показывать свое искусство на похоронах. Его «Свобода», в борьбе с равнодушием публики, должна была умереть. Однако Дюма все еще не хотел уступить — и начал выпускать «Le Mois», историко-политическое обозрение с эпиграфом: «Провидение диктует — мы пишем». Но республиканцы не поддержали и этого издания, и «Месяц» просуществовал немного более полутора года. На смену ему явилась «La France Républicaine», тоже канувшая в Лету.

Устав от журнальной деятельности, Дюма пытался попасть в учредительное собрание, но в клубах он встречал насмешки. Кто-то заметил ему, что на нем слишком много орденов для республиканца. Со свойственной ему находчивостью остроумный писатель ответил:

— Что же мне делать! Ведь я ношу их из вежливости. Не хотелось бы огорчать этих бедных королей, которые жалуют меня постоянно орденами.

Дюма снова вернулся к театру. Для поддержания своего умирающего детища он заложил замок Монте-Кристо, но жертва эта была напрасна: театр не поднялся, а Монте-Кристо был продан. Прелестное поместье пошло за тридцать тысяч франков. «Нет худа без добра» — говорит пословица; Дюма все-таки сделал хорошее дело, выйдя путем этой продажи из очень затруднительных обстоятельств. После целого ряда неудач Дюма уехал в Бельгию. По словам все тех же злых языков, Дюма мог бы и не уезжать из Парижа, но Виктор Гюго в это время отправился в изгнание, нельзя же было и автору «Монте-Кристо» не показать себя тоже в ореоле мученика политики, отверженного... Дюма поселился в Брюсселе в 1852 году, а в следующем году уже вернулся на родину. Водворившись в Париже, он снова отдается литературной деятельности, издавая журнал «Мушкетер», переименованный спустя четыре года в «Монте-Кристо», просуществовавший, однако, недолго.

V

Некоторые биографы Дюма пытаются доказать, что «Шевалье д'Арманталь» писался в сотрудничестве с неким Маке, который делал для Дюма все черновую работу в его произведениях. Может быть, в этом есть доля справедливости, но тем не менее рука Дюма, а не чья другая, именно его своеобразная манера, лучи его бесспорно огромного таланта явственно видны в каждом произведении его — в пьесе, романе, путевых впечатлениях. Важен не остов произведения, а разработка сюжета, хотя бы и заимствованного. И Дюма прекрасно понимает это. Если «черновую работу» и делали другие, то над разработкой сюжета трудился он сам и всегда штрихами настоящего мастерства скрашивал эту «черновую работу», которая, впрочем, делалась по его плану, по его указаниям. По мнению Дюма, написать роман или драматическое произведение — было делом совершенно пустым. Зарождение идеи, а затем ее воплощение — вот что составляло единственную трудность. Когда с этим делом было покончено, рука работала как бы по инерции, сама собою. Дюма очень часто высказывал эту мысль. Раз кто-то оспаривал это мнение писателя, который тогда работал над своим «Кавалером Красного Замка». План романа в то время у него вполне сложился, и Дюма предложил своему противнику пари, что он напишет первый том в течение всего трех дней, в которые должны

входить и сон, и еда. Пари обусловливалось сотней червонцев, причем в томе должны были заключаться семьдесят пять огромных страниц, по сорока пяти строк каждая, и в строке должно было заключаться не менее пятидесяти букв. В два с половиною дня Дюма написал это число страниц своим красивым почерком, без помарок, и на шесть часов ранее условленного срока. И таким образом Дюма блестяще доказал и быстроту работы своей, и необыкновенную трудоспособность, не говоря уже о мастерстве овладевать сюжетом.

Хулители Дюма предъявляли к нему обвинение в пользовании чужими сюжетами, заимствованными из разных авторов. Он не отрицал этого, но виновным себя не признавал. Чрезвычайно оригинально его мнение о литературных заимствованиях. «Изобретает, — писал он в каком-то предисловии, — не один человек, а люди. Всякий, приходя в свой час и в свою очередь, берет известное отцам, пускает в дело путем новых соображений и умирает, прибавив несколько крох к сумме человеческих знаний. Что же касается до полного создания чего-нибудь, я считаю его невозможным. Когда глупый критик упрекал Шекспира в заимствовании иногда целой сцены у какого-нибудь современного автора, Шекспир отвечал: «Эта сцена — девушка, которую я вывел из дурного общества и ввел в хорошее». Мольер говорил еще нанвнее: «Беру свое добро, где попадется». И Шекспир и Мольер правы: Гений не продает, он завоевывает... Я принужден высказать это, потому что вместо благодарности за то, что я познакомил публику с неизвестными ей сценическими красотами, мне указывают на них пальцем, как на подлог, как на кражу. Мне осталось, правда, в утешение сходство с Шекспиром и Мольером: порицатели их были так ничтожны, что ничья память не сохранила их имен». Обвинение Дюма в заимствовании сюжетов и сцен у авторов старых и новых относится, главным образом, к его драматическим пьесам. Дюма сам говорил иногда, что в течение всей литературной деятельности у него было сотрудников не менее, чем у Наполеона генералов. И правдивые защитники Дюма, его биографы: Жюль Жанен, Блаз де Бюри и другие не отрицают факта заимствования автором «Генриха III» материала для его пьес у Иффланда, Августа Лафонтена, Кальдерона и т. д., но прибавляют при этом, что французский писатель хотя и пользовался чужими набросками сюжетов, но создавал из них вполне самобытные пьесы; он брал чужую канву, но вышивал по ней свои оригинальные рисунки.

Хотя Дюма представлял собою кряжевую натуру, обладал крепким организмом, но рука времени все же стала налагать на него свою печать. Энергия его стала заметно ослабевать, когда он приближался к шестидесятилетнему возрасту. С энергией постепенно угасло и его творчество. После поездки к Гарибальди он уже не пытался создать что-либо цельное и ограничивался большей частью переизданием своих прежних произведений, спрос на которые не уменьшался. Он продолжал оставаться любимым писателем, и его романы по-прежнему имели самое широкое распространение. Но материально он не был уже заинтересован в этом. Обогащался не он, а его издатели, которым давно были проданы самые выдающиеся его произведения. В 1860 году он еще, так сказать, не уходя от общественной деятельности, занимал должность директора музея в Неаполе, где, впрочем, недолго оставался, всего несколько месяцев. Слух о новом театральном предприятии в Париже взволновал его, и Дюма покинул Италию, чтобы встать во главе этого предприятия. В Сент-Антуанском предместье он открыл

свой Grand Théâtre Parisien. Но это мало поправило его дела. В 1864 году начало выходить полное собрание его сочинений, на которые он «любовался издали, потому что они были в чужих руках», как выражается один из его биографов.

Около этого времени Дюма уже удалился из шумного Парижа и стал жить в уединении. Его старость была печальна, средства крайне ограничены, долги доминировали его. Былые картины прошлого еще удерживались в памяти блестящего писателя, но все, что относилось к настоящему, к переживаемому моменту, уже не запечатлевалось в ней. Он говорил — и тут же забывал, о чем шла речь. Делались неоднократно попытки привести в норму его мышление; казалось, ум его прояснялся, но затем явления забвения продолжались. Маститого романиста посещали странные видения: он видел себя на вершине горы, воздвигнутой из книг; но почва под ногами его колебалась все больше и больше, ускользала, и, в конце концов, он замечал, что его Гималаи были не чем иным, как зданием, сооруженным на сыпучем песке. В один из вечеров Дюма-сын застал отца как-то особенно горестно углубленным в свои размышления.

— О чем это ты так задумался, отец? — спросил он старика.

— О том, что слишком серьезно для тебя...

— Почему же?

— Да ведь ты все смеешься...

— Я смеюсь потому, что у меня нет причины грустить. Все мы вместе: ты, моя жена, твои внуки... Это, впрочем, не мешает мне быть и серьезным. В чем же, однако, дело?

— Ты даешь мне слово ответить вполне искренно?

— Даю!

— Так вот, Александр, скажи, как ты думаешь — в твоей душе, в твоём сознании останется ли частица меня?

«Я стал, — рассказывает Дюма-сын, — уверять отца в этом, и, казалось, мои долгие уверения были ему очень приятны. Он крепко пожал мою руку, я обнял его, и отец более не возвращался к этому вопросу».

Спустя несколько дней его не стало...

Автор «Монте-Кристо» тихо скончался в Пюи, близ города Дьеппа, 6 декабря 1870 года. Он отошел в вечность с какой-то нездешней, радостной улыбкой на устах, завершившей это необычайное существование, полное триумфа и шумного успеха, усиленной работы и, наряду с этим, расточительности, — озаренных яркими лучами фантазии.

«Мне делают упреки в том, что я был расточителен, — говорил Дюма перед смертью своему сыну. — Я приехал в Париж с двадцатью франками в кармане. — И, указывая взглядом на свой последний золотой на камине, продолжал: — И вот, я сохранил их... Смотри!»

После этого миновало всего несколько дней, — и порвалась нить жизни того, кто в течение сорока лет отдавался непрерывной сказочной работе, всецело сливаясь с душой французского народа. Он питал его плодами своей редкой энергии и фантазии. С душой нараспашку, с лицом, всегда озаренным веселой, здоровой улыбкой, взвинченный успехом, разжигаемый враждебными нападками, кипя в горниле работы театральной и беллетристической, Дюма поддерживал священный огонь на пылающем жертвеннике творчества, бросал туда драму, коме-

дию, исторический роман, роман приключений и страстей, путевые впечатления, мемуары, сказку, новеллу, этюды по искусствам и, наконец, гастрономию... И в этом непрерывном труде только подчас вытирал он рукавом своей незанятой руки обильный пот на высоком челе. Сорок лет он воссоздавал быт, эпоху и живые лица к великому удовольствию современников. Он не был ни идеологом, ни мыслителем; идеи гражданственности были ему не по плечу; на философские размышления у него не хватало времени. Его стихия была — воображение. Сила жизни трепетала в его мозгу. Всем существом, всем своим творчеством он отдавался фантазии и дару оживлять лица и события. И отсюда проистекала его способность сливаться с героями его творений, сообщать своим иллюзиям характер живой действительности. И отсюда шло создание его замка Монте-Кристо, положившего начало его разорению. Ему были органически нужны собственный замок, собственный театр, собственные газеты, собственные легенды вокруг... «Дюма, — говорил Брандес, — наполнял сцену, книжные лавки и газетные фельетоны своими произведениями. Печатные машины кряхтели и стонали, лишь бы не отстать от его бойкого пера. Следует только пожалеть, что ребяческое легкомыслие не дало ему возможности пройти порядочную школу». «Благодаря этому легкомыслию, — по замечанию Пелисье, — Дюма был необыкновенно расточителен по отношению к своим богатым дарованиям, а иначе он возвысился бы до величайших писателей девятнадцатого века».

ТАЙНЫЙ ЗАГОВОР

Пролог

ГОРОД АВИНЬОН

Не знаем, нужен ли этот пролог, который находится в настоящую минуту перед глазами читателя, но мы не можем устоять против желания сделать из него не первую главу, а предисловие к этой книге.

Чем больше мы продвигаемся вперед в жизни, чем дальше уходим вперед в искусстве, тем более убеждаемся в том, что ничего не существует отдельного, особого, внезапного, что природа и общество идут вперед от вывода к выводу, а не случайными скачками и что события, являющиеся то радостными, то печальными, то смеющимися, то фатальными, которые развертываются перед нашими глазами, таили свои почки в прошедшем и корни в минувших днях, а свои плоды принесут в будущем.

Пока человек молод, он принимает время, как оно есть: он влюблен во вчерашний день, беззаботен о сегодняшнем, не думает о завтрашнем. Молодость — это весна, со своими светлыми зорями и прелестными вечерами. Случается, что нагрянет и гроза, но погремит, посердится и уходит, оставив после себя небо еще более лазурно-чистым, воздух освеженным, всю природу еще более ликующею, чем раньше.

Чего же ради раздумывать над причинами этой грозы, которая промчится, быстрая, как каприз, мимолетная, как фантазия? Ведь прежде чем мы найдем разгадку этой метеорологической загадки, гроза уже исчезнет.

Совсем иначе идет дело при тех страшных явлениях, которые в конце лета грозят нашим жатвам, которые осенью обрушиваются на наши виноградники. Люди с тревогою спрашивают, куда они устремляются, откуда идут, стараются предупредить их.

Для мыслителя, историка, поэта в революции отыщется иной предмет размышлений, чем в грозах. Революции — это бури в общественной атмосфере, которые покрывают землю кровью, разрушают целое поколение людей. Грозы же небесные только

сокрушают жатву или виноградник, и их действие распространяется только на один год. Тут грядущий год часто с избытком покрывает убытки минувшего года, лишь бы Господь не пребывал во днях гнева своего.

В прежнее время, по забывчивости ли, или по беззаботности, пожалуй, по неведению — счастливы, кто не ведает, несчастны, кто знает! — я рассказал бы историю, которую собираюсь сейчас рассказать, совсем не останавливаясь на той местности, где происходила ее первая сцена; я беззаботно написал бы эту сцену, прошел бы по югу, как по всякой иной провинции, назвал бы Авиньон, как любой другой город.

Теперь уж не то. Я уж ушел от вихрей весны, я теперь среди гроз лета, среди бурь осени. Теперь, если я называю Авиньон, я вызываю призрак, и подобно тому, как Антоний, развертывая тогу Цезаря, говорил: «Вот прорезь, которую сделал кинжал Каски, вот след от меча Кассия, вот — от меча Брута», — так и я, видя кровавую пелену папского города, говорю: «Вот кровь альбигойцев, вот кровь севенцев, вот кровь республиканцев, вот кровь роялистов, вот кровь Лекюие, вот кровь маршала Брюна».

И я впал в глубокую грусть и принялся писать. Но с первых же строк я заметил, сам того не подозревая, что в моих пальцах перо романиста уступило место перу историка.

Ну, пусть так; будем и тем и другим. Уступи, читатель, первые пятнадцать-двадцать страниц историку, остальное пусть пойдет на долю романиста.

Скажем же несколько слов об Авиньоне, месте, где происходит первая сцена новой книги, которую мы преподносим публике.

Пожалуй, прежде чем прочитать то, что мы вам скажем, не лишне будет взглянуть на то, что о нем говорит его уроженец — историк Франсуа Нурье.

«Авиньон, — говорит он, — город благородный по своей древности, приятный по своему местоположению, гордый своими стенами, благодатный по своей плодородной почве, очаровательный по легким нравам обывателей, великолепный по своему дворцу, красивый по своим улицам, чудный по устройству своего моста, богатый по торговле и известный по всей земле».

Да простит нам тень Франсуа Нурье, если мы смотрим на его город совсем не теми глазами, какими он смотрел.

Те, кто знает Авиньон, скажут, кто лучше видел его, историк или романист.

Прежде всего, справедливость требует установить, что Авиньон — особенный город, город крайних страстей. Эпоха религиозных распрей, которая ввела в него политические ненависти, восходит к двенадцатому веку. Долины горы Ванту давали приют Пьеру Вальдо и его вальденсам после их бегства из Лиона; это были предки протестантов, которые под именем альбигойцев стоили графам ту-

лузским семерых замков, которыми Раймонд VI владел в Лангедоке, уступленных папству.

Авиньон, могучая республика под управлением Подеста, отказался подчиниться французскому королю. В одно прекрасное утро Людовик VIII, который находил, что проще отправиться в крестовый поход в Авиньон, как сделал Симон Монфор, нежели в Иерусалим, как сделал Филипп Август, Людовик VIII, — говорим мы, — подошел к воротам Авиньона, с копьём наперевес, со шлемом на голове, с распущенными знаменами и с трубными звуками, и требовал сдачи города.

Граждане отказали ему. Они предлагали французскому королю, в виде крайней уступки, вступить в город мирно, с обнаженной головою, поднятым копьём, свернутыми знаменами. Король начал осаду, и она длилась три месяца, в течение которых, по словам летописца, горожане воздали французским солдатам стрелу за стрелу, рану за рану, смерть за смерть.

Наконец, город сдался. Людовик VIII привел с своею армией римского кардинала-легата Сент-Анжа. Он и продиктовал условия сдачи города, как подобало духовному лицу, условия суровые и непреклонные.

Авиньонцы были осуждены на разрушение своих укреплений, на засыпку рвов, на срытие трехсот башен, на выдачу своих судов, на сожжение боевых машин и припасов. Кроме того, их заставили заплатить огромную контрибуцию, отречься от вальденской ереси, содержать в Палестине тридцать вполне вооруженных воинов для освобождения Гроба Господня. А для надзора за исполнением всего этого, записанного в булле, которая и по сей день хранится в городском архиве, было основано братство кающихся, которое просуществовало более шести веков и увековечилось до наших дней.

Этих кающихся называли белыми, а потом, в противоположность им, основались кающиеся черные, пропитанные духом оппозиции по отношению к Раймонду Тулузскому.

С этого дня религиозные ненависти превратились в политические.

Авиньону стало недостаточно быть землею ереси, ему понадобилось стать землею раскола.

Позволим себе сделать по поводу этого французского Рима небольшое историческое отступление. Оно, правда, не необходимо для обработки предмета, которым мы занялись, и, пожалуй, нам лучше было бы одним скачком перейти к драме; но надеемся, что на нас за это не посетуют. Мы пишем это главным образом для тех, которые в романе любят встречать нечто, кроме самого романа.

В 1285 году вступил на престол Филипп Красивый.

Этот 1285 год — очень крупная историческая дата. То самое папство, которое в лице Григория VII смело померялось силой с

германским императором, которое, будучи материально побеждено Генрихом IV, одолело его духовно, — это папство перенесло пощечину от простого сабинского дворянина, и железная перчатка Колонны заставила покраснеть лицо Бонифация VIII.

Но что стало с королем Франции, рукою которого в действительности была дана эта пощечина, что с ним случилось при преемнике Бонифация VIII?

Этот преемник был Бенедикт XI, человек низменного происхождения, но который, пожалуй, мог бы быть гениальным, если бы ему дали время на то, чтобы сделаться гениальным.

Он был слишком слаб, чтоб нанести Филиппу удар прямо в лицо. Он нашел другое средство, в чем ему спустя двести лет завидовал основатель знаменитого ордена: он гордо даровал Колонне прощение.

Но простить Колонну это значило объявить его виновным, ибо только виновные нуждаются в прощении.

Но если Колонна был виновен, то король Франции был, по малой мере, его сообщником.

Поддерживать такой тезис было небезопасно, а потому и удивительно, что Бенедикт XI только через восемь месяцев стал папою.

В один прекрасный день какая-то женщина под покрывалом, выдававшая себя за монахиню из обители святой Петрониллы Перуджийской, пришла к папе в то время, как он сидел за столом, и поднесла ему корзину фиг.

Не был ли в них спрятан ядовитый аспид, как в происшествии с Клеопатрой? Так или нет, но на другой день папский престол оказался вакантным.

Вот тогда-то Филиппу Красивому и пришла удивительно странная мысль, до такой степени странная, что на первый взгляд она представляется каким-то бредом.

Мысль состояла в том, чтобы изъять папство из Рима, перевести его во Францию, заточить в темницу и заставить чеканить монету в свою пользу.

Царствование Филиппа Красивого — это было нашествие золота.

Золото было единственным богом этого короля, давшего пощечину папе. Людовик Святой имел своим министром священника, достойного аббата Сюжэ. Филипп Красивый имел министрами двух банкиров, флорентинцев Бишо и Музиато.

Читатель, пожалуй, подумает, что мы здесь впадаем в общие места, начав воздавать анафемы презренному металлу? Он ошибается.

В XIII веке золото представляло собою прогресс.

До того времени знали только землю.

Золото это была земля, обращенная в монету, земля движимая, разменная, переносная, дробная, так сказать, одухотворенная.

Пока земля не нашла своего выражения в золоте, человек, подобно богу Терму, разграничителю полей, стоял зарыв ноги в землю. Прежде земля брала верх над человеком, теперь человек берет верх над землей.

Но золото надобно извлечь оттуда, где оно было. А где оно было, там оно было зарыто совсем не на такой манер, как в Чили или Мексике.

Золото было у евреев и в церквях.

Чтобы извлечь его из этой двойственной россыпи, мало было одного короля, надо было еще папу.

Вот потому-то Филипп Красивый, великий добытчик золота, и порешил обзавестись собственным папою.

Бенедикт XI умер, и в Перуджии собрался конклав, на котором французские кардиналы оказались в большинстве.

Филипп Красивый остановил взгляд на бордосском архиепископе Бертроне де Го. Он вызвал его на свидание в лес около Сен-Жан-д'Анжели.

Бертран де Го не преминул явиться на свидание.

Король и архиепископ отстояли обедню, и в ту минуту, когда поднимались Дары, они клялись Богом, которого славили, соблюдая тайну.

Бертран де Го пока еще даже и не знал, о чем идет дело.

Но вот обедня отошла, и Филипп сказал архиепископу:

— Архиепископ, в моей власти сделать тебя папою.

Бертран де Го не стал и слушать дальше, а повалился королю в ноги.

— Что надо для этого сделать? — спросил он.

— Оказать мне шесть милостей, о которых я тебя буду просить, — отвечал Филипп.

— Тебе повелевать, мне повиноваться, — сказал будущий папа.

Так была принесена присяга на верность. Король поднял Бертрана де Го, облобызал его и сказал ему:

— Вот те шесть милостей, которые я у тебя испрашиваю:

Первая, — чтобы ты меня вполне примирил с церковью и чтобы ты доставил мне прощение за злодеяние, которое я причинил Бонифацию VIII.

Вторая, — чтобы ты допустил меня и моих к причастию, которого меня лишил римский двор.

Третья, — чтобы ты обеспечил за мною на пять лет десятинную подать в пользу духовенства, которая мне необходима для покрытия расходов войны с Фландрией.

Четвертая, — чтобы ты рушил и уничтожал память папы Бонифация VIII.

Пятая, — чтобы ты сделал кардиналами Якова и Петра Колонна.

Что касается шестой милости, я оставляю за собою право сказать тебе о ней, когда придет время.

Бертран де Го дал клятву исполнить все известные просьбы и

поручился за исполнение оставшейся неизвестной шестой просьбы.

А шестая просьба, которую король не посмел высказать вслед за другими, — это была просьба о разгроме ордена Храмовников.

Кроме обета и клятв, учиненных на *Corpus Domini*, Бертран де Го выдал королю в качестве заложников своего брата и двух племянников.

Король, с своей стороны, дал клятву, что сделает его папою.

Сцена эта, происходившая в лесу, в потемках, гораздо больше походила на вызывание демона колдуном, нежели на договор между королем и папой.

Коронавание короля, совершившееся спустя несколько времени после того в Лионе, с которого началось «пленение» Церкви, было, надо полагать, не очень-то угодно Господу Богу.

В ту минуту, когда проходил по улице королевский кортеж, стена, перегруженная зрителями, обрушилась, ранила короля и убила герцога Бретонского.

Папа был опрокинут, тиара с него свалилась в грязь.

Бертран де Го был избран папою под именем Климента V.

Климент V выплатил все, что обязался выплатить Бертран де Го. Филипп был обелен, ему и его присным было разрешено причащение, на плечи Колонны вернулся пурпур, и церкви пришлось принять на себя расходы по ведению войны во Фландрии и по крестовому походу Филиппа Валуа против Греческой империи. Память папы Бонифация VIII если и не была окончательно уничтожена, то все же в значительной мере помарана. Стены Храма были сравнены с землею, а сами Храмовники сожжены в Париже у Нового Моста.

Все относящиеся к этим событиям эдикты — которые уже не назывались буллами с тех пор, как их стала диктовать светская власть, — исходили из Авиньона.

Филипп Красивый был богатейшим из королей французской монархии. У него была неистощимая казна — папа. Он его купил, он им пользовался, он его клал под пресс, и подобно тому, как из под пресса текут сидр или вино, так и из этого расплюснутого папы текло золото.

Первосвященничество, задушенное Колонною в лице Бонифация VIII, отреклось от мирской власти в лице Климента V.

Мы уже видели, как явились эти кровавый король и золотой папа. Известно, как они удалились со сцены.

Жак Молэ со своего костра назначил им сроку год до того, как они предстанут перед Богом. Климент V отправился первым. Он видел во сне пожар своего дворца.

Седовласые умирающие обладают пророческим духом Сивиллы, говорит Аристофан.

«С этой минуты, — говорит Балюз, — он стал кручинен и не долго прожил».

Через семь месяцев после того пришла очередь Филиппа. Одни уверяют, что он погиб на охоте, будучи повержен кабаном, Данте держится этого мнения. «Тот, кого видели близ Сены, поддельвающего деньги, — говорит он, — умер от клыка кабана».

Но Гильом де Нанжи приписывает королю-фальшивомонетчику другую смерть, резче отмеченную Провидением.

«Изводимый недугом, неведомым врачам, Филипп угас, — говорит он, — к великому изумлению всех, так, что ни пульс, ни выделения не являли ни причины болезни, ни неизбежной гибели».

Людовик X, «король-беспорядок», «король-сутолока», как его называет Ютень, наследовал своему отцу Филиппу, а Иоанн XXII Клименту V.

Авиньон стал тогда поистине вторым Римом. Иоанн XXII и Климент VI возвели его в цари блеска и роскоши. Нравы того времени сделали из него царя распущенности и изнеженности. Вместо его разрушенных башен, он был опоясан стеной. В нем появились распущенные монахи, которые превратили священные места обитателей в места распутства и разгула. В нем завелись прелестные греховодницы, которые выколупывали бриллианты из папской тиары и вставляли их в свои браслеты и ожерелья.

Так шли дела до тех пор, пока Карл V, властелин мудрый и благочестивый, не порешил прекратить этот соблазн. Он послал в Авиньон маршала Бусико с поручением изгнать из города папу Бенедикта XIII. Но при виде солдат французского короля Бенедикт вспомнил о том, что прежде, чем стать папою, он был капитаном, носившим имя Петра де Луна. Он защищался пять месяцев, самолично руководя со стен своего замка боевыми машинами, оказывавшимися много действеннее его папских анафем. Вынужденный в конце концов к бегству, он выскользнул из города через подземный ход, разрушив сотню домов и истребив четыре тысячи авиньонцев, и бежал в Испанию, где его приютил король арагонский. Здесь он каждое утро восходил на башню с двумя патерами, своими советниками и наперсниками, благословлял оттуда весь мир, которому от этого становилось отнюдь не легче, и отлучал от церкви своих врагов, которым от этого несколько не становилось тяжелее. Почувяв близкую кончину и опасаясь, как бы раскол не умер вместе с ним, он сделал своих двух наперсников кардиналами, поручив им, чтобы после его кончины один из них избрал другого в папы. Эти интересные «выборы» состоялись. Новый папа одно время поддерживал раскол, будучи, в свою очередь, сам поддерживаем избравшим его кардиналом. Но кончилось тем, что оба вступили в переговоры с Римом, принесли торжественную покаянную и были восприняты в лоно святой церкви, один в звании архиепископа Севильского, другой — архиепископа Толедского.

С этого времени до 1709 года Авиньон, осиротевший после

своих пап, управлялся легатами и вице-легатами. В течение семи десятков лет в нем пережило семь первосвященников; в нем было семь госпиталей, семь братств кающихся, семь мужских монастырей, семь женских, семь приходов и семь кладбищ.

В эту эпоху, да и в наше время, в городе было два города: город патеров, римский город, и город купцов — французский город.

Город патеров со своим папским дворцом, своими ста церквами, со своими бесчисленными колоколами, всегда готовыми бить в набат, возвещающая пожар или бойню.

Город купцов со своею Роною, своими рабочими-ткачами шелковых материй, со своею транзитною торговлею, шедшею с севера на юг, с запада на восток, от Лиона до Марселя, от Нима до Турина. Город осужденный и отлученный, жаждавший иметь короля, жаждавший воли и изнывавший, сознавая себя рабом, покорным духовенству.

Духовенство — не то благочестивое духовенство, которое предано долгу и милосердию, которое живет среди мира, чтобы приносить утешение и наставлять, не вмещиваясь ни в улады ни в страсти мира, а духовенство такое, каким его сделали интриги аббатов римских, — праздные, разгульные, изящные щеголи, наглые салонные завсегдатаи, целовавшие ручки у дам, около которых пристраивались в роли чичисбеев, и дававшие целовать свою руку женщинам из престолярдю, которым иногда оказывали честь, избирая их своими возлюбленными.

Хотите созерцать представителя подобных аббатов? Возьмите аббата Мори. Он горд, как герцог, нахален, как холоп, сын башмачника, державшийся надменнее сына аристократа.

Легко понять, что эти две части жителей, представляющие одна — ересь, другая — православие, одна — французскую партию, другая — римскую, одна — партию абсолютной монархии, другая — партию конституционно-прогрессивную, никак не могли быть элементами мира и безопасности в старом папском городе. И естественно, что в ту минуту, когда вспыхнула революция в Париже и там ознаменовалась взятием Бастилии, две авиньонские партии, еще сохранившие в себе пыл религиозных войн времен Людовика XIV, не могли оставаться в бездействии, стоя одна против другой лицом к лицу.

Мы назвали Авиньон городом патеров; прибавим еще, что это был город ненавистей. Нигде люди так не научаются ненавидеть, как в монастырях. Сердце ребенка, повсюду в ином месте чистое от дурных страстей, нарождалось на свет полное отеческих ненавистей, переходивших по наследию от отца к сыну восьмисот лет, и, по проществу жизни, полной ненависти, в свою очередь передавало дьявольское наследие своим детям.

Таким образом, при первом же кличе свободы, который испустила Франция, французский город поднялся, исполненный радости

и надежды. Пришел момент искупить грехи города, провинции и вместе с нею полумиллиона душ. По какому праву души эти проданы были на вечные времена самому суровому и придиричивому из всех властелинов, римскому первосвященнику?

Франция только что слилась в братском объятии федерации. Разве Авиньон не Франция? Избрали депутатов; эти депутаты отправились к папскому легату и почтительнейше просили его удалиться. Ему дали суточный срок.

Ночью паписты развлекались, вешая чучело, украшенное трехцветною кокардою.

Отвели Рону, провели канал из Дюрансы, запрудили бурные потоки, которые во время таяния снегов жидкими лавинами устремились с горы Ванту. Но сам Бог никогда еще не пытался остановить того ужасного потока, той людской волны, которая мчалась по крутому уклону авиньонских улиц.

При виде чучела с национальными цветами, качающегося на веревке, французский город сорвался с места, испуская вопли ярости. Четверо папистов, заподозренных в этом кошунстве, — два маркиза, один буржуа и один рабочий — были выхвачены из своих домов и повешены на место чучела.

Это было в июне 1790 года.

Весь французский город в полном составе написал Национальному Собранию, что он отдает себя Франции, а вместе с собою и свою Рону, свою торговлю, Юг, половину Прованса.

Национальное Собрание обреталось в эту минуту как раз в реакционном настроении. Оно не хотело ссориться с папою и щадило короля. Оно отложило это дело.

С этого момента Авиньонское движение превратилось в бунт, и папа мог распорядиться Авиньоном подобно тому, как двор хотел расправиться с Парижем после взятия Бастилии, если б Национальное Собрание отложило декларацию прав человека.

Папа повелел уничтожить все, что было сделано в Авиньоне, восстановить правление дворянства и духовенства и возобновить инквизицию во всей ее суровости. Папские повеления были размножены.

И вот явился человек, единственный человек, который среди бела дня, при всех осмелился подойти к стене, на которой был прибит папский декрет, и сорвать его.

Его звали Лекюйе.

Это был человек уже не молодой; он не мог быть увлечен пылом юности. Нет, это был почти старец, и даже чужой в городе. Это был пикардиец, человек пылкий и осторожный в одно и то же время; он был отставной нотариус, давно поселившийся в Авиньоне.

Его выходка была ему вменена римским Авиньоном в преступление, в такое страшное претупление, что оно даже заставило Пресвятую Деву пролить слезы!

Дело в том, видите ли, что Авиньон уже почти Италия. Ему были нужны чудеса, и чудеса во что бы ни стало. Коли Бог не хотел их творить, так всегда находился кто-нибудь другой, чтобы за него придумать чудо. Только чудо должно было исходить от Пресвятой Девы. Италия — земля поэтическая, для нее Мадонна — все. Мадонна — этим словом полны и ум, и сердца, и язык итальянцев.

Чудо свершилось в церкви Кордельеров.

Толпа ринулась в эту церковь.

Довольно было и того, что Пресвятая Дева плакала. Но наряду с этим распространился слух, который довел возбуждение до высшего предела. Через весь город пронесли какой-то наглухо шпёртый ковчег, возбудивший величайшее любопытство среди авиньонцев. Что мог бы он в себе содержать?

Спустя два часа люди говорили уже не об этом ковчеге, а о каких-то восемнадцати ящиках, которые переносили к Роне.

О том, что в этих ящиках содержалось, поведал публике один из носильщиков — в них заключались заклады из городского ломбарда, которые уносила с собою французская партия, покидавшая город.

Заклады из городского ломбарда — это значит имущество всей городской бедноты. Ведь чем несчастнее город, тем богаче его ломбард. И немного находилось ломбардов, которые могли бы похвастать таким богатством, как авиньонский.

Тут уж дело шло не о политических убеждениях; тут была налицо кража, и кража гнусная. Белые и красные кинулись в церковь Кордельеров, требуя, чтобы городская управа дала им разъяснение.

А Лекюйе был секретарем городской управы.

Кто-то бросил это имя в добычу толпе, но не как имя человека, сорвавшего папский декрет (в этом случае он нашел бы защитников), а как секретаря управы, который подписал приказ хранителю закладов городского ломбарда о том, чтобы он выдал заклады.

Послали четверых выборных схватить Лекюйе и привести его в церковь. Его настигли на улице в то время, как он шел в управу. Те четверо кинулись на него, схватили и с свирепыми криками поволокли в церковь.

Войдя туда, Лекюйе понял, что он очутился не в доме Господнем, а в одном из кругов ада, который Данте забыл описать, — до такой степени поразили его эти сверкающие взоры, которые на него устремлялись, кулаки, которые к нему протягивались, и крики, требовавшие его смерти.

Он не мог придумать другого объяснения этой поднявшейся против него ненависти, кроме того, что на него негодуют папские декреты. Он взошел на кафедру, думая обратить ее в ораторскую трибуну, и, приняв вид человека, который не только ни

в чем не признает себя виновным, но, наоборот, готов еще раз сделать то же самое, он возгласил:

— Братья, я полагал, что революция необходима, и потому воспользовался своей властью, чтобы...

Фанатики понимали, что если Лекюйе объяснится, то он будет спасен. А они совсем не того добивались. Они бросились на него, стащили его с трибуны, толкнули его в самую середину своры, и та его увлекла к алтарю, испуская свой особенный ужасный крик, что-то среднее между шипеньем змеи и ревом тигра, какое-то убийственное, чисто авиньонское «зу-зу!».

Лекюйе хорошо знал этот роковой клич. Он пытался искать защиту у подножия алтаря. Но защиты там он не нашел, он там погиб.

Какой-то рабочий, обойщик, вооруженный дубиной, нанес ему такой ужасный удар по голове, что дубина сломалась надвое.

Тогда все накинулись на это несчастное тело и с тем смешанным чувством свирепости и радости, которое так свойственно южанам, начали с пением плясать на его животе, а женщины, чтобы заставить его искупить свою кощунственную выходку против папы, раскромсали ему губы ножницами.

Из середины этой страшной кучи людей исходил крик или, лучше сказать, вопль:

— Во имя неба! Во имя Пресвятой Девы! Во имя человечности! Убейте меня разом!

Эта мольба была услышана. Убийцы, словно мгновенно стоворившись, ушли, оставив несчастного, окровавленного, изуродованного человека до конца испытать страдания агонии. И это умирание длилось пять часов. Недобитое тело пять часов провалилось на ступеньках алтаря среди взрывов хохота и издевательств толпы.

Вот как убивают в Авиньоне.

Впрочем, погодите, есть еще другой фасон.

Какой-то человек из французской партии вздумал пойти в ломбард навести справки. Там все оказалось в добром порядке; ничего оттуда не брали. Так что Лекюйе был убит с такою жестокостью просто запросто как патриот.

В это время в Авиньоне был некто, располагавший чернью и командовавший ею.

Все эти южные вожаки приобрели такую роковую знаменитость, что стоит только их назвать, чтобы любой, даже не очень ученый, француз припомнил их.

Этот человек был Журдан.

Это был хвостун, бахвал, лгун. Он уверил простонародье, что он собственной рукою перерезал горло коменданту Бастилии.

Его так и прозвали — Журдан Головорез.

Это не было его настоящее имя; его звали Матье Жув. Он был не провансалец, а из Пюи-ан-Валэ. Сначала он был погонщиком

мулов и работал на крутых склонах гор, окружающих его родное местечко; потом был солдатом, только нигде не воевал; быть может, хоть война сделала бы его гуманнее; наконец, он сделался албачиком в Париже.

В Авиньоне он торговал маренюю.

Он собрал триста человек, овладел городскими воротами, оставил около них половину своего воинства, потом с остальными с двумя пушками направился к церкви Кордельеров.

Он поставил пушки перед церковью и начал палить из них наудачу.

Убийцы Лекюйе рассеялись, как стая спугнутых с места птиц, оставив на ступеньках храма несколько трупов.

Журдан и его люди перескочили через трупы и вломились в церковь.

Там оставались только изображение Богоматери да несчастный Лекюйе, который еще дышал.

Журдан и его друзья-приятели даже и не подумали прикончить Лекюйе; его агония могла быть использована, как высшее возбуждающее средство. Они взяли эти живые останки, эти три четверти трупа, и понесли его, истекающего кровью, трепещущего и стонущего.

От этого зрелища все разбежалось по домам, запирали окна, двери.

Через час Журдан и его триста волков стали хозяевами города.

Лекюйе умер, но это ничего не значило; в его агонии больше не было надобности.

Журдан воспользовался ужасом, который он внушал, и частью захватил сам, частью приказал захватить своим людям восемьдесят человек действительных или подозреваемых убийц Лекюйе.

Из них человек тридцать вовсе даже и не были в церкви. Но коли подвертывается добрый случай отделаться от своих супостатов, то как же им не воспользоваться? Добрые случаи так редки.

Эти восемьдесят человек были заточены в башне Трулья. Эта башня была когда-то инквизиторским застенком. Еще и теперь вдоль стен видны потеки какой-то жирной сажи, которая поднималась с дымом человеческого мяса, истязавшегося огнем. Внутри этого колодца можно видеть всю обстановку пыточной камеры, которая тщательно сохраняется: котлы, печь, козлы, цепи, западни, даже старые кости человеческие. Все тут найдется. Башня была сооружена папою Климентом V.

После того, как восемьдесят пленников были ввержены в эту яму, возник затруднительный вопрос: что с ними делать?

Надо их судить, но кто же их будет судить?

Законные судилища в городе были только папские, других не было.

Убить этих несчастных, как они убили Лекюйе?

Мы уже сказали, что среди них добрая треть, если не половина, не только не принимали участия в убийстве, но даже вовсе не были в церкви.

Убить их! Конечно, это убийство сошло бы за простую отместку убийства Лекюйе.

Но для того, чтобы убить восемьдесят человек, надо целую толпу палачей.

Журдан сочинил наскоро некоторое подобие суда. У него был делопроизводитель — Рафель, председатель — полуфранцуз, полуйтальянец, великий оратор на местном наречии — Савурнен де ля Руа, потом еще три-четыре каких-то судьи — булочник, колбасник, имена которых утонули во мраке неизвестности.

Эти «судьи» только одно и сумели — кричать: «Убить их всех! Чтобы ни одного не осталось в живых! Если хоть один останется, будет потом показывать против нас!»

Но мы уже говорили, что убивать-то некому было.

Было под рукой человек двадцать авиньонских мирных обывателей: цирюльник, башмачник, сапожник, каменщик, столяр. Вся эта публика была кое-как вооружена: у кого сабля, у кого штык, у кого просто железный прут, у кого дубина. Вдобавок, холодный октябрьский дождь охлаждал всякий пыл в этих людях. Трудно было обратить их в убийц.

Ну вот, трудно!.. Разве для дьявола существует что-нибудь трудное?

В такого рода событиях бывают моменты, когда Бог решительно отказывается от всякого участия в деле. И тогда, конечно, за дело берется дьявол.

Дьявол и выступил на сцену, в лице и внешности некоего местного аптекаря по имени Мендеса. Он поставил на стол два фонаря, а около них стаканы, кувшины, кружки, бутылки.

Какое такое адское пойло было в этих таинственных посудинах — это осталось неизвестным. Но какое действие от него произошло — это хорошо известно.

Все, кто отведал чертова снадобья, были внезапно охвачены лихорадочным бешенством, неодолимою жаждою убийства и крови.

Теперь им стоило только указать на дверь, и они кинулись в нее, как одержимые.

Бойня длилась всю ночь напролет, и всю ночь во тьме темницы раздавались крики, вопли, стоны умирающих.

Убивали всех сплошь — мужчин, женщин. Дело было нелегкое, убийцы были пьяны и плохо вооружены. Однако справились со своим делом, довели его до конца.

Среди этой стаи убийц особенно выдавался своею звериною яростью один мальчик. Это был сын Лекюйе. Его терзала жажда крови. Он убивал, убивал, не покладая рук. Он хвастал потом, что собственной детскою рукою убил десять мужчин и четырех женщин.

— Ничего, — кричал он в исступлении, — я могу убивать кого хочу и сколько мне вздумается! Мне всего пятнадцать лет, мне ничего за это не будет!

По мере истребления мертвых и раненых, трупы и живые тела спускали в погреб башни, швыряя их туда с высоты шестидесяти футов.

В десять часов утра, после двенадцатичасовой бойни, послышался голос снизу, со дна этой могилы:

— Сжальтесь! Прикончите меня! Я все еще не могу умереть!

Один из палачей, оружейный мастер Буффье, наклонился над колодезем и начал всматриваться; другие не решались даже и взглянуть.

— Кто это там кричит? — спрашивали они у Буффье.

— Лами, — ответил Буффье.

Посмотрев некоторое время, Буффье отошел от колодца.

— Ну, что ты там видел? — спрашивали его.

— Черт его знает!.. Какая-то каша... Мужчины, бабы, попы, хорошенькие девчонки. Можно лопнуть со смеху, глядя на них!..

Так вот, в этот-то город, еще дымящийся от теплой, только что пролитой крови, еще весь волнующийся под впечатлением недавней резни, мы и вводим двух главных действующих лиц нашего повествования.

Глава I

ОБЕД ЗА ОБЩИМ СТОЛОМ

В 1799 году, 9-го октября, в прекрасный день южной осени, когда на двух окраинах Прованса зреют померанцы в Гире и виноград в Сен-Пере, коляска, запряженная тремя почтовыми лошадьми, быстро переезжала мост через Дюрансу, между Кавальюном и Шато-Ренаром, направляясь к Авиньону, старинному папскому городу, присоединенному к Франции декретом 25-го мая 1791 года. Это присоединение было утверждено в 1797 году договором, подписанным в Толентино генералом Бонапарте и папою Пием VI.

Коляска быстро въехала в Эссские ворота, промчалась по узким и извилистым улицам через весь город и остановилась в пятидесяти шагах от Ульских ворот, в гостинице «Дворца Равенства», которую потихоньку начинали называть по-прежнему гостиницей «Пале-Рояля» (Королевского Дворца), как она всегда называлась и называется в наше время.

Это замечание о названии гостиницы, перед которою остановилась почтовая коляска, поясняет состояние, в каком находилась Франция во время правления Директории.

После революционной борьбы, совершившейся между 14-м

июля 1789 и 9-м Термидора 1794, после дней 5-го и 6-го октября, 21-го июня, 10-го августа, 2-го и 3-го сентября, 21-го июля, 31-го мая и 5-го апреля, после того как пали головы короля и судей его, королевы и ее обвинителя, Жирондистов и Кордельеров, умеренных и якобинцев, Франция начала испытывать утомление, самое ужасное и отвратительное — утомление от пролитой крови.

Франция опять желала если не королевской власти, то, по крайней мере, правительства сильного, на которое она могла бы положиться, опереться, которое действовало бы за нее и дало бы ей между тем успокоиться.

Вместо такого правительства, смутно желаемого, у нее была слабая, нерешительная Директория; ее составляли в это время сластолюбивый Баррас, пронырливый Сейес, храбрый Мулен, ничтожный Роже-Дюко и честный, но чересчур простодушный Гойе. Следствием было — плохое уважение извне и очень сомнительное спокойствие внутри.

Правда, в описываемое нами время успехи французских армий несколько восстановили безопасность извне, но внутри дела шли плохо. Директориальное правительство было очень озабочено войною в Вандее и грабежами на юге, в которых авиньонский народ, по своему обычаю, не оставался без участия.

Два путешественника, вышедшие из почтовой коляски перед воротами гостиницы «Пале-Рояль», конечно, имели повод опасаться состояния умов, в каком находились беспокойные жители папского города, потому что немного повыше Оргона, там, откуда идут три различные дороги, одна в Ним, другая в Карпантра, третья в Авиньон, почтальон остановил лошадей и спросил:

— Граждане едут через Авиньон или через Карпантра?

— А которая дорога короче? — спросил отрывистым и пронзительным голосом старший из двух путешественников, старший, по-видимому, немного, потому что ему было едва тридцать лет.

— Авиньонская, гражданин, короче по малой мере мили на полторы.

— Ну, так ступай по Авиньонской!

Экипаж снова помчался так скоро, что путешественники, граждане — как называл их почтальон, хотя и слово «господа» начинало уже вкрадываться в разговоры, — верно, приплачивали су по тридцать расторопному проводнику.

Желание не терять времени проявилось в них и при входе в гостиницу.

И тут, как на дороге, старший летами начал речь. Он спросил, нельзя ли поскорее отобедать, и спросил таким тоном, который доказывал, что он готов был отказаться от гастрономических требований, только бы поскорее подали обед.

— Граждане! — отвечал трактирщик, с салфеткой в руке выбежавший при стуке коляски навстречу путешественникам. — Сейчас

подадут обед в вашей комнате, но если бы я позволил себе посоветовать вам...

Он колебался.

— Советуйте, советуйте! — сказал младший путешественник, заговоривший в первый раз.

— Так извольте обедать за общим столом, как вон тот путешественник, которого ожидает заложенная карета... Обед превосходный, и кушанье уже подано.

Трактирщик указал на карету с щегольскими принадлежностями, в самом деле заложенную парюю лошадей, ударявших копытами, между тем как почтальон терпеливо осушал у окошка бутылку кагора.

Первое движение того, к кому обращалось это предложение, было отрицательное, но, после секунды размышлений, старший, как бы отказавшись от первого своего решения, сделал вопрошительный знак своему спутнику. Взгляд того выражал в ответ: «Ведь вы знаете, что я в вашем распоряжении».

— Хорошо, — сказал этот, по-видимому, обязанный решать же, — мы отобедаем за общим столом.

И, обратившись к почтальону, который, сняв шляпу, ожидал приказаний, он прибавил:

— Чтобы лошади были заложены не позже как через полчаса!

И, по указанию трактирщика, оба путешественника вошли в столовую. Старший шел впереди, другой за ним.

Известно, какое впечатление производят вновь являющиеся за общий стол. Взгляды всех обратились на них; разговор, казавшийся довольно оживленным, прервался.

За столом были обычные посетители гостиницы: путешественник, которого ожидала у ворот запряженная карета, виноторговец из Бордо, временно живший в Авиньоне по делу, которое мы сейчас объясним, и несколько путешественников, проезжавших из Марселя в Лион в дилижансе.

Вновь прибывшие приветствовали собеседников легким наклонением головы и поместились в конце стола, отделившись от других на расстояние трех или четырех приборов.

Такая аристократическая уклончивость удвоила любопытство к новым гостям; впрочем, видно было, что это люди с неоспоримым достоинством, хотя одеты они были чрезвычайно просто.

Оба были в сапогах с отворотами, при коротких штанах, во фраках с длинными фалдами, в дорожных сюртуках и в шляпах с широкими полями — это был костюм почти всех тогдашних молодых людей, но вновь приезжие отличались от парижских и даже провинциальных модников длинными, висячими волосами и черными галстуками, туго повязанными, как у военных. «Мюскадены» — как называли тогда молодых модников — носили «собачьи уши», взбитые на висках, а наверху зачесывали волосы

в виде шиньона; неизмеримый галстук с длинными развевающимися концами поглощал их подбородок.

Наружность обоих молодых людей представляла типы совершенно различные.

Старший из двух, бывший, как мы уже заметили, впереди во всем и показывавший самым тоном голоса, даже в обыкновенных выражениях, привычку повелевать, казался лет тридцати. Черные, висячие волосы его, разделенные посредине передней части головы, упали по вискам до плеч. Загорелое лицо показывало, что этот человек странствовал в жарких климатах. Прямой нос, белые зубы и соколиные глаза, какие Данте приписал Цезарю, отличали его. Роста был он скорее малого, нежели большого, и при том бросались в глаза его нежные руки и маленькие ноги изящной формы. В движениях его было заметно что-то принужденное, как будто его стеснял непривычный костюм. Если бы действие происходило на берегах Луары, а не на берегах Роны, то разговаривавшие с ним заметили бы в его выговоре следы итальянского произношения.

Товарищ казался моложе его года на три, на четыре. Это был красивый молодой человек, белокурый, с розовыми щеками, светло-голубыми глазами, прямым носом, с выдавшимся подбородком и почти безбородый. Он казался повыше своего товарища дюйма на два и хотя был росту больше среднего, но сложен так крепко, так свободен во всех движениях, что в нем можно было предполагать необыкновенную силу или, по крайней мере, ловкость и проворство.

Он был так же одет и казался совершенно равным молодому человеку с черными волосами; однако же он оказывал ему особенное уважение, зависевшее, конечно, не от старшинства лет, а от различного положения в обществе. Сверх того, обращаясь к нему, он говорил: гражданин, а тот называл его просто Роланом.

Эти замечания, высказываемые нами с желанием ввести читателя поглубже в наш рассказ, вероятно, не были так тщательно собраны собеседниками общего стола, потому что после нескольких секунд внимания к вновь пришедшим на них уже не смотрели, — прерванный на минуту разговор продолжался.

Надо сказать, что он шел о таком предмете, который был особенно занимателен для путешественников. Накануне был остановлен дилижанс, где находилось шестьдесят тысяч франков, принадлежавших правительству. Это случилось на дороге из Марселя в Авиньон, между Ламбеском и Пон-Роялем.

При первых словах об этом оба молодые человека стали прислушиваться внимательно. Событие случилось на той самой дороге, по которой они только что проехали, и рассказывал об этом один из главных участников происшествия. Это был вино-торговец из Бордо.

Больше других желали знать подробности те путешественники,

которые приехали в дилижансе и должны были вновь отправиться. Другие собеседники, местные горожане, по-видимому, знали довольно хорошо подобные происшествия и могли сами рассказать подробности.

— Итак, гражданин, — говорил один толстый барин, к которому от страха прижималась женщина высокая, худая, тощая, — вы сказали, что разбой происходил на той самой дороге, по которой мы ехали?

— Да, гражданин, между Ламбеском и Пон-Роялем; заметили вы место, где дорога идет на крутизну, между двумя пригорками? Еще там много скал.

— Да, да, мой друг, — сказала женщина, сжимая руку своего мужа, — я заметила, я даже сказала тебе, ты, верно, помнишь, вот худое место, где лучше проехать днем, нежели ночью.

— О, сударыня, — произнес картаво, как тогда говорили многие, молодой человек, по-видимому, властвовавший разговором за общим столом в обыкновенное время, — вы знаете, что для господ «товарищей Ииуя» нет ни дня, ни ночи.

— Как, гражданин, — спросила дама, испугавшись еще больше, — вас остановили среди белого дня?

— Да, гражданка, в десять часов утра.

— А сколько было их? — спросил толстяк.

— Четверо, гражданин.

— И ждали на дороге?

— Нет, подъехали на лошадях, верхом, вооруженные с головы до ног и в масках.

— Они всегда так, — сказал молодой человек, обычный собеседник общего стола, — и, верно, сказали, не защищайтесь, мы вам зла не сделаем, а возьмем только деньги правительства.

— Слово в слово, гражданин!

— Потом, — продолжал молодой человек, казавшийся таким сведущим в этом, — двое сошли с лошадей, кинули поводья своим товарищам и потребовали у кондуктора деньги.

— Гражданин, — сказал изумленный толстяк, — вы рассказываете так, как будто сами все видели.

— Может быть, гражданин и был там, — сказал один из путешественников, столь же шутя, сколько сомневаясь.

— Не знаю, гражданин, хотите ли вы этим высказать мне невежливость, — возразил небрежно молодой человек, так любезно и хорошо помогавший рассказчику, — но мои политические убеждения таковы, что я не считаю обидою вашего подозрения. Если бы, по несчастию, я принадлежал к тем, на которых напали, или имел честь принадлежать к нападавшим, я высказал бы это с такою же откровенностью, но вчера утром, в десять часов, в то самое время, когда в четырех лье отсюда остановили дилижанс, я преспокойно завтракал на этом самом месте, с двумя гражданами, среди которых имею честь сидеть теперь.

— А, — спросил один из вновь приехавших путешественников, которого товарищ называл Роланом, — много ли мужчин было в дилижансе?

— Позвольте... нас было... да, семеро мужчин и три женщины.

— Семеро мужчин, кроме кондуктора? — повторил Ролан.

— Точно так.

— И вы, семеро мужчин, допустили четырех бандитов обобрать вас? Поздравляю, господа!

— Мы знали, с кем имели дело, — отвечал виноторговец, — и не думали защищаться.

— Как знали, с кем? — возразил молодой человек. — Разумеется, вы имели дело с разбойниками, с бандитами.

— Совсем нет: они назвали себя.

— Как! Они назвали себя?

— Да, они сказали: господа, защищаться бесполезно; милостивые государыни, не бойтесь, мы не разбойники, мы — «товарищи Ииуя».

— Они предупреждают, — прибавил обычный молодой гость общего стола, — предупреждают, чтобы не было ошибки: это их обычай!

— Вот как! — сказал Ролан. — Да кто же этот Ииуй, у которого такие вежливые товарищи? Атаман их?

— Милостивый государь, — сказал человек, по костюму походивший на бывшего духовного и казавшийся тоже обычным собеседником за общим столом и даже посвященным в тайны почтенного сообщества, которого подвиги сделались предметом беседы, — если бы вы побольше читали книги Священного Писания, то знали бы, что лет этак за две тысячи шестьсот Ииуй умер и, следовательно, не может в настоящее время останавливать дилижансов на больших дорогах.

— Господин аббат, — ответил Ролан, признавший в своем собеседнике духовного, — несмотря на ваш резкий тон, вы, кажется, человек ученый; позвольте же бедному невежде попросить вас рассказать подробнее об этом Ииуе, умершем за две тысячи шестьсот лет и все-таки имеющем товарищей, называющихся по его имени.

— Ииуй, — отвечал духовный тем же едким тоном, — был израильский царь, помазанник Елисея, облеченный в свой сан с условием наказывать беззаконие дома Ахава и Иезавели и умерщвлять всех жрецов Ваала.

— Господин аббат, — возразил молодой человек, смеясь, — я благодарю вас за разъяснение; не сомневаюсь, что оно очень точно и очень учено, только, признаюсь, немногому научаюсь из него.

— Как, гражданин, — сказал обычный посетитель общего стола, — вы не понимаете, что Ииуй есть Его Величество Людовик XVIII, принявший корону с условием наказывать преступления

революции и умертвить жрецов Ваала, то есть всех принимавших какое-нибудь участие в этой проклятой неурядице, которая семь лет называется республикой?

— Да, вот что! Понимаю, — возразил молодой человек. — Но к числу тех, кого должны убить товарищи Ииуя, принадлежат ли храбрые солдаты, отразившие иностранцев от границ Франции, и знаменитые генералы, предводители армий: Тирольской, Самбро-Маасской и Итальянской?

— Разумеется, их убьют прежде всех.

Глаза молодого человека засверкали, ноздри расширились, губы сжались, и он поднялся с своего стула, но спутник потянул его за платье и принудил снова сесть, а взглядом заставил мгновенно умолкнуть. После этого доказательства своей власти он заговорил в первый раз, обратившись к молодому человеку, обычному посетителю общего стола:

— Гражданин! Извините двух путешественников, приехавших с края света: они оставили Францию два года тому назад, не знают ничего, что происходило в ней, и желали бы услышать об этом.

— Такое требование совершенно справедливо, гражданин, — отвечал молодой человек, — спрашивайте, и вам будут отвечать.

— Теперь, — продолжал молодой человек с орлиным взглядом, с черными висячими волосами, с гранитным цветом лица, — когда я знаю, что такое общество Ииуя и для чего оно составилось, я желал бы знать, на что товарищи употребляют деньги, которые отбирают.

— О, Боже мой! Это очень понятно, гражданин: вы знаете, что разгорается вопрос о восстановлении Бурбонской монархии.

— Этого я не знаю, — отвечал черноволосый молодой человек и тщетно старался придать простодушие своему выражению, — и только что приехал, как уже сказал вам, с края света.

— Как! Неужели вы не знали этого? Да-с, через шесть месяцев будет все кончено.

— Право?

— Смее уверить вас, гражданин.

Оба молодых путешественника с военной осанкою обменялись взглядом и улыбкою, хотя белокурый, по-видимому, едва удерживался от нетерпения. Разговаривавший с ними продолжал:

— Лион — главная квартира заговора, если только можно называть заговором комплот, который образуется среди бела дня; название временного правительства было бы приличнее.

— Хорошо, гражданин, — сказал черноволосый молодой человек вежливо, но не без оттенка иронии, — назовем его временным правительством.

— У этого правительства есть свой штаб и свои армии...

— Позвольте, штаб у него может быть, но армии...

— Есть свои армии, повторяю.

— Где же они?

— Одна организуется в Овернских горах под начальством г-на Шардона; другая в горах Юры под начальством г-на Тейсоне; третья армия формируется в Вандее под начальством Эскарбовиля, Ахилла, Леблона и Кадудалья.

— Право, гражданин, вы мне делаете истинное одолжение всеми этими новостями. Я полагал, что Бурбоны покорились своему изгнанию, что нынешняя полиция не допустит существования ни роялистского комитета в больших городах, ни бандитов на больших дорогах. Наконец, я полагал, что Вандея совершенно усмирена генералом Гошем.

Молодой человек, к которому обращались эти слова, расхохотался.

— Да из каких вы стран? — воскликнул он. — Скажите, из каких?

— Я уже сказал вам, гражданин, что с конца света.

— И видно!.. Да-с; вы понимаете, что Бурбоны не богаты; у эмигрантов проданы имения, и они разорены; как же организовать две армии и содержать третью без денег?.. Затруднительно... Ведь только республика и могла давать содержание своим неприятелям; но так как невероятно было, чтоб она решилась на это добровольно, то, не вдаваясь в затруднительные переговоры с нею, признали, что короче просто брать у нее, нежели просить деньги.

— А, теперь понимаю.

— Слава Богу!

— «Товарищи Ииуя» — посредники между республикой и контрреволюцией, сборщики роялистских генералов. Это уже не разбой, а военная мера, военное действие не хуже других.

— Именно, гражданин, и вот вы теперь столько же знаете об этом, как и мы.

— Но, — робко начал свою речь бордосский виноторговец, — если господа «товарищи Ииуя» — заметьте, что я не говорю о них дурного слова, — если они берут деньги, принадлежащие только правительству...

— Только правительству, а не кому-нибудь другому: примера нет, чтобы они обобрали частное лицо.

— Примера нет?

— Да.

— Как же случилось, что вчера вместе с деньгами правительства они увезли тючок с двумястами луидорами, которые принадлежали мне?

— Милостивый государь, — отвечал молодой собеседник общего стола, — я уже сказал вам, что тут было какое-нибудь недоразумение. Да, верно, как то, что я называюсь Альфредом де Баржолем, эти деньги будут возвращены вам, не сегодня, так завтра.

Виноторговец вздохнул и покачал головой, как человек еще сомневающийся, несмотря на данное ему уверение.

Но в ту же самую минуту — точно молодой дворянин, который назвал себя и тем открыл свое звание, затронул чувствительную струну тех, за кого ручался, — у ворот остановилась лошадь, в коридоре послышались шаги, растворилась дверь, и на пороге столовой явился человек, замаскированный, вооруженный от головы до ног.

— Господа! — сказал он среди глубокого молчания, наставшего при его появлении. — Есть ли между вами путешественник по имени Жан Пико, бывший вчера в дилижансе, остановленном между Ламбеском и Пон-Роялем?

— Да, — отвечал виноторговец, крайне удивленный.

— Это вы? — спросил замаскированный.

— Я.

— Не взяли ли у вас чего-нибудь?

— Конечно! Взяли тючок с двумястами луидорами, который отдал я на сохранение кондуктору.

— Я должен прибавить, — сказал молодой дворянин, — что этот господин сию минуту говорил о том и считал свои деньги погибшими.

— Несправедливо, — сказал замаскированный, — мы ведем войну против правительства, а не против частных лиц; мы партизаны, а не разбойники; вот ваши двести луидоров, и если вперед случится подобная ошибка, то требуйте и говорите от имени Моргана.

Человек в маске положил мешочек с золотом по правую сторону виноторговца и вышел, вежливо поклонившись собеседникам: одни из них были в ужасе, другие в изумлении от подобной смелости.

Глава II

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПОСЛОВИЦА

Впрочем, хотя названные нами ощущения были господствующими, они проявились не у всех присутствующих в равной степени. Оттенки их выразились сильнее или слабее, сообразно полу, возрасту, характеру и почти, можно сказать, общественному положению каждого.

Виноторговец Жан Пико, ближайшее лицо к тому, что произошло, узнал с первого взгляда, по костюму, по оружию и по маске, одного из людей, у которых он был в руках накануне, и при первом появлении его пришел в оцепенение; потом, когда малопомалу он узнал, зачем явился к нему таинственный бандит, он перешел от оцепенения к радости, постепенно, через все оттенки, разделяющие эти два ощущения. Уже мешок с золотом

был подле него, а вы сказали бы, что он не смеет прикоснуться к нему; может быть, он боялся, что, только подымет руку, мешок исчезнет, как золото, которое находят в мечтах сна и которое, прежде нежели раскрываются глаза, исчезает во время постепенного перехода от крепкого усыпления к совершенному пробуждению.

Толстый господин и его жена, так же как и другие путешественники, проезжавшие в дилижансе, выразили самый откровенный и полный ужас. Толстяк сидел по левую руку Жана Пико, и, когда увидел, что бандит подходит к виноторговцу, он, в тщетной надежде остаться на благородной дистанции от товарища Ииуя, подвинулся со стулом к жене, а та, повинувшись натиску, пыталась подвинуться на соседа. Но соседом ее был Альфред де Баржоль, а он не имел никакого повода бояться людей, о которых высказал самое высокое и выгодное мнение; поэтому стул жены толстого господина встретил препятствие в неподвижности стула молодого дворянина, и отступательное движение остановилось, как при Маренго, восемь или девятью месяцами позже, остановилось отступление другого рода.

Альфред де Баржоль, так же как аббат, припомнивший библейские подробности об Ииуе, казалось, не только не испугался, но как будто наперед ожидал того, что случилось. С улыбкой на устах он следил глазами за человеком в маске, и, если бы внимание собеседников не было поглощено двумя главными участниками описанной нами сцены, они могли бы заметить, как переглянулись бандит и молодой дворянин и как вслед за тем обменялись таким же взглядом молодой дворянин и аббат.

Два путешественника, вошедшие после других в столовую и занявшие места, как уже мы заметили, отдельно от всех, в конце стола, сохранили положение, свойственное различному их характеру. Младший из двух невольно занес руку к левому боку, как бы желая взяться за оружие, которого там не было, и встал, как будто двинутый пружиной, встал, конечно, для того, чтобы схватить за горло человека в маске. Это, верно, и случилось бы, если бы он был один; но старший, который, по-видимому, не только привык, но и обязан был приказывать ему, опять с живостью схватил его за полу и сказал повелительно, почти строго: «Ролан! Садись!»

Молодой человек снова сел на свое место.

Но во время всей этой сцены оставался, по крайней мере по наружности, самым бесстрастным человек лет тридцати трех или четырех, высокий, белокурый, с рыжими бакенбардами, с спокойным, прекрасным лицом, с большими голубыми глазами, с тонкими губами, выражавшими сметливость. Иностранное произношение его показывало, что он уроженец того острова, который вел с Францией непримиримую войну. Но чужеземный выговор этого иностранца, произносившего немного слов, не мешал

ему говорить по-французски необыкновенно правильно. При первых словах его, обличавших британское произношение, старший из двух путешественников вздрогнул. Обернувшись к своему товарищу, привыкшему угадывать его мысль во взгляде, он, казалось, спрашивал, каким образом англичанин находится во Франции в то время, когда война естественно изгоняла англичан из Франции так же, как французов из Англии. Вероятно, объяснение этого казалось невозможным Ролану, потому что он отвечал движением глаз и плеч то же, что сказал бы словами: «Изумляюсь не меньше вас; но если уж вы, математик, не можете разрешить такой проблемы, то не требуйте объяснения от меня».

Для обоих молодых людей сделалось ясно только то, что белокурый молодой человек с англо-саксонским произношением был тот путешественник, щегольская коляска которого, совсем напряженная, дождалась у ворот, и что этот путешественник был из Лондона или, по крайней мере, из Англии.

Некоторые слова, произносимые им, больше походили на восклицания, но при каждом объяснении о тогдашнем состоянии Франции англичанин открыто вынимал из кармана записную книжку и просил виноторговца, аббата или молодого дворянина повторить объяснение, что исполнялось каждым из них с удовольствием, равным вежливости, выраженной в просьбе. Он записал что было сказано важного и необычайного о задержании дилжанса, о состоянии Вандеи, о товарищах Ииуя и всякий раз благодарил голосом и жестами, с тою особенно неуклюжестью, которая свойственна всем его землякам.

Наконец, как зритель, обрадованный неожиданною развязкой, он воскликнул от удовольствия при виде человека в маске, внимательно слушал, глядел, не выпускал его из глаз, и, только когда дверь затворилась за ним, он с живостью вынул свою памятную книжку и сказал своему соседу аббату:

— Ах, когда бы вы были так добры, что, если я не припомню всего сам, повторили бы мне слово в слово то, что говорил этот джентльмен!

Он тотчас начал писать, и при помощи аббата, присоединившего свою память к его памяти, слова человека в маске, сказанные Жану Пико, были с точностью записаны, к удовольствию англичанина, который после этого воскликнул, произнося слова так, что они оттого казались еще оригинальнее:

— Право, только во Франции бывают такие случаи! Франция самая любопытная из всех стран в мире! Я в восторге, что путешествую по ней и узнаю французов.

Последние слова были произнесены с такой вежливостью, что, слыша их от этого степенного человека, оставалось только благодарить за них, хотя бы сказал их потомок победителей при Кресси, Пуатье и Азинкуре.

Младший из двух путешественников отвечал на эту вежли-

вость небрежно-едким тоном, по-видимому, естественным у него:
— Я думаю совершенно так же, как вы, милорд, а называю вас милордом, полагая, что вы англичанин.

— Да, я имею честь быть англичанином, — ответил джентльмен.

— Повторяю вместе с вами, — продолжал молодой человек, — я в восторге, что путешествую по Франции и вижу, что в ней совершается. Только во время правления граждан Гойе, Мулена, Роже-Дюко, Сейеса и Барраса можно видеть такие нелепости! Через пятьдесят лет, когда станут рассказывать, что среди города, где тридцать тысяч жителей, днем разбойник с большой дороги, замаскированный, с двумя пистолетами и с саблей за поясом, пришел возвратить честному negociанту двести луидоров, отнятых у него накануне; когда прибавят, что это произошло за общим столом, за которым сидело двадцать пять человек, и что образцовый бандит удалился, а из двадцати пяти свидетелей сцены ни один не схватил его за горло, я бьюсь об заклад, что назовут бесчестным того, кто осмелится рассказать этот анекдот.

Опрокинувшись на спинку стула, молодой человек захохотал, но таким нервическим и пронзительным смехом, что все взглянули на него с изумлением, между тем как товарищ глядел на него пристально и с беспокойством.

Альфред де Баржоль, вместе с другими пораженный странным выражением голоса путешественника, больше печальным, горьким, нежели веселым, дал время смолкнуть последнему звуку хохота и потом сказал:

— Милостивый государь, позвольте мне заметить, что человек, виденный вами, не разбойник с большой дороги.

— Право? А что же он такое?

— По всей вероятности, он из такой же хорошей фамилии, как вы и я.

— Граф Орн, которого регент велел колесовать на Гревской площади, был также из хорошей фамилии. Доказательством может служить то, что все парижские дворяне прислали свои кареты на место казни.

— Граф Орн, сколько помню, убил еврея, чтобы украсть вексель, по которому не мог заплатить ему, а никто не осмелится сказать, чтобы хоть один товарищ Ииуя взял волос с головы ребенка.

— Хорошо, допустим, что это установление основано с целью филантропической, для уравнивания неимущих с богатыми, для устранения прихотей случая, для уничтожения злоупотреблений общества. Но, сделавшись разбойником на манер Карла Моора, ваш друг Морган... ведь Морганом назвал он этого честного гражданина?..

— Да, — сказал англичанин.

— Прекрасно... Ваш друг Морган тем не менее разбойник. Гражданин Альфред де Баржоль побледнел.

— Гражданин Морган не друг мой, — отвечал молодой аристократ, — а если бы был им, я почел бы за честь его дружбу.

— Конечно, — возразил Ролан с хохотом, — Вольтер сказал: *L'amitié d'un grand homme est un bienfait des deus!* (Дружба великого человека — благодеяние богов!)

— Ролан! Ролан! — сказал ему тихим голосом товарищ.

— О, генерал, — отвечал тот, с намерением проговорившись в присутствии своего товарища, — оставьте меня, пожалуйста, продолжить спор, который чрезвычайно любопытен.

Черноволосый пожал плечами.

— Но, гражданин, — продолжал молодой человек со странным упорством, — мне необходимо снова учиться; два года я не был во Франции, и в это время изменилось так многое — костюмы, нравы, произношение, что, может быть, и язык изменился. На языке, которым говорят теперь во Франции, как называете вы его, что на дороге остановили дилижанс и взяли деньги, бывшие в нем?

— Милостивый государь, — ответил молодой дворянин с выражением человека, готового поддержать спор до конца, — я называю это — вести войну; да вот, спутник ваш, которого сейчас называли вы генералом, скажет вам, как человек военный, что, кроме удовольствия убивать и быть убитым, генералы всех времен делали то же самое, что делает гражданин Морган.

— Как! — вскричал молодой человек, и глаза его засверкали. — Вы осмеливаетесь сравнивать...

— Дайте этому господину развить свою теорию, Ролан, — сказал черноволосый путешественник, которого глаза — в противоположность глазам его товарища, расширившимся и готовым, казалось, сверкнуть пламенем, — укрылись под длинными, черными ресницами, чтобы не дать заметить, что происходило в его сердце.

— А! — сказал молодой человек своим отрывистым голосом. — Видите, что и вас начинает занимать этот спор. — И, обратившись к тому, которого будто вызывал он, прибавил:

— Продолжайте, продолжайте, генерал позволяет.

Молодой дворянин покраснел так же сильно, как за минуту побледнел, и, сжав зубы, упершись локтями в стол, положив свой подбородок на сжатый кулак, чтобы как можно ближе быть к своему противнику, начал говорить, причем прованский акцент его делался заметнее по мере того, как разгорался спор:

— Если генерал позволяет, — сказал он, усилив ударение на слове «генерал», — то я буду иметь честь сказать ему и вам через него, гражданин, что, сколько помню, у Плутарха читал я об Александре: когда он отправился в Индию, с ним было не больше восемнадцати или двадцати талантов золота, то есть сто или сто двадцать тысяч франков. Думаете ли вы, что этими восем-

надцатью или двадцатью талантами золота прокормил он свою армию, выиграл битву при Гранике, покорил Малую Азию, завоевал Тир, Газу, Сирию, Египет, построил Александрию, проник до Ливии, провозгласил себя, посредством Аммонского оракула, сыном Юпитера, прошел до Гифаза и, когда солдаты его отказались следовать за ним дальше, воротился в Вавилон и превзошел там роскошью, буйствами и негой самых сластолюбивых, самых развратных и изнеженных повелителей Азии? Разве из Македонии извлекал он деньги? Не думаете ли вы, что его отец Филипп, один из беднейших царей бедной Греции, платил по переводным бумагам своего сына? Нет, Александр поступал как гражданин Морган, только он не останавливал дилижансов на больших дорогах, а грабил города, заставлял царей платить выкупы, брал контрибуции с завоеванных стран. Перейдем к Аннибалу. Вы знаете, с чем он отправился из Карфагена, не правда ли? У него не было и восемнадцати или двадцати талантов золота, как у предшественника его, Александра, но деньги были надобны, и он, в мирное время, нарушив святость трактатов, захватил и разграбил город Сагунт. После этого он был богат и мог выступить в поход. Извините, это уж не из Плутарха, а из Корнелия Непота. Увольняю вас от воспоминания о его высадке на Пиренейском полуострове, о переходе через Альпы, о трех битвах, выигранных им, причем всякий раз захватывал он казну побежденного, и перехожу к пяти или шести годам, которые провел он в Кампании. Думаете ли вы, что он и его армия платили капуанцам и что карфагенские банкиры, с которыми был он в ссоре, присылали ему золото? Нет, война питала войну: система Моргана, гражданин. Перейдем к Цезарю. Цезарь — иное дело. На нем было миллионов тридцать долга, когда отправлялся он в Испанию, а по возвращении почти столько же. Он проводит в Галлии, у наших предков, десять лет, пересылает в Рим больше ста миллионов, переходит через Альпы, через Рубикон, идет прямо в Капитолий, разламывает двери в храме Сатурна, где казна, берет (для своего домашнего обихода, а не на расходы республики) три тысячи полновесных фунтов золота в слитках и, когда умирает — он, которого двадцать лет кредиторы не хотели выпустить из домика на улице Субурры, — оставляет по две или по три тысячи сестерций на каждого гражданина, десять или двенадцать миллионов Кальпурнии и тридцать или сорок миллионов Октавию. Опять система Моргана, с тою разницею, что Морган, я уверен в том, умрет, не прикоснувшись собственно для себя к золоту Капитолия. Теперь перескочим через восемнадцать столетий и посмотрим на генерала Буонапарте.

Молодой аристократ, по тогдашней привычке ненавистников покорителя Италии, нарочно произнес букву «у», которую Буонапарте выкинул из своего имени, и букву «е» произнес с тя-

желым ударением, также исключенным генералом Бонапарте.

Это явное намерение, как видно, жестоко раздражило Ролана: он сделал движение, будто хотел кинуться вперед, но спутник удержал его:

— Оставьте, Ролан, оставьте; я уверен, гражданин Баржоль не скажет, что генерал Буонапарте, как он называет его, вор.

— Нет, я не скажу этого, но за меня говорит итальянская поговорка.

— Какая поговорка? — спросил генерал, заменяя своего спутника и на этот раз устремив на молодого дворянина светлый, спокойный и глубокий взгляд.

— Вот она, во всей своей простоте: *Francesi non sono tutti ladroni*, та Буонапарте, то есть: «Не все французы воры...»

— Но большая часть, — прибавил Ролан.

— Да, Буонапарте*, — сказал Баржоль.

Едва вылетело это оскорбление из уст молодого аристократа, как тарелка, бывшая в руках Ролана, полетела прямо в лицо оскорбителя.

Женщины вскрикнули, мужчины вскочили с своих мест. Ролан залился нервным смехом и опрокинулся на спинку стула. Молодой аристократ оставался спокоен, хотя струйка крови текла из его брови по щеке.

В это мгновение вошел кондуктор и провозгласил обыкновенную свою формулу:

— Граждане путешественники, пожалуйста в карету!

Путешественники, поспешая удалиться из такого места, где началась при них драка, кинулись к двери.

— Извините, — сказал Альфред де Баржоль Ролану, — вы не из числа едущих в дилижансе, надеюсь?

— Нет, я приехал в коляске, но, будьте спокойны, я не еду отсюда.

— И я не еду, — сказал англичанин, — выпрячь лошадей; я остаюсь.

— А я поеду, — сказал со вздохом черноволосый молодой человек, которого Ролан называл генералом. — Ты знаешь, мой друг: надобно! Присутствие мое там совершенно необходимо. Но я клянусь тебе, что не оставил бы тебя так, если бы только мог...

Когда он говорил эти слова, голос его, обыкновенно твердый и звонкий, обличал волнение, к которому, казалось, он не был способен. Напротив, Ролан казался в полной радости: боевая натура его как будто ожила перед опасностью, которой он если не вызвал сам, то по крайней мере нисколько не старался избегнуть.

— Что ж, генерал, — сказал он, — мы должны были бы рас-

* *Buona parte* буквально «добрая часть», вроде нашего «добрая половина».

статься в Лионе, потому что вы, по своей благосклонности, уволили меня на месяц в Бур, к моему семейству. На шестьдесят лье меньше едем вместе: вот и все. Я приеду к вам в Париж. Но вы знаете: если вам нужен человек преданный, но упрямый, вспомните обо мне.

— Будь спокоен, Ролан! — И, поглядев пристально на двух противников, генерал, обращаясь к своему молодому спутнику, прибавил с нежностью: — Прежде всего, не ищи смерти, Ролан, и, если только можно, не ищи смерти своего противника. Этот молодой человек, по всему видно, одарен сиюю духа, а я хочу, чтобы со временем все такие люди были со мною.

— Что можно, будет сделано, генерал, ручаюсь вам.

— Почтовая коляска в Париж заложена! — проговорил хозяин, явившийся на пороге двери.

Генерал взял шляпу и трость, лежавшие на стуле, но Ролан нарочно пошел за ним без шляпы, чтобы ясно видели, что он и не думает уезжать со своим спутником. Потому-то и Альфред де Баржоль нисколько не препятствовал ему выйти. Впрочем, легко было догадаться, что противник его был скорее из тех, которые лезут в ссору, нежели из тех, которые избегают ее.

Ролан проводил генерала до коляски, и тот, сев в нее, сказал:

— Как бы ни было, а мне тяжело оставить тебя здесь одного, без друга, который мог бы быть твоим секундантом.

— О, не беспокойтесь об этом, генерал! За секундантом дело не станет. Всегда есть люди, которым любопытно посмотреть, как один человек убивает другого.

— До свидания, Ролан! Слышишь ли, я не говорю тебе: прощай; говорю: до свидания!

— Да, мой милый генерал, — отвечал молодой человек голосом почти нежным, — слышу и благодарю вас!

— Обещай известить о себе тотчас, как только будет кончено это дело, или пусть напишет другой, если ты сам не будешь в состоянии писать мне.

— О, не опасайтесь, генерал: не пройдет четырех дней, как у вас будет письмо от меня, — отвечал Ролан и с выражением глубокой скорби промолвил: — Не заметили ли вы, что на мне тяготеет судьба — не быть убитым?

— Ролан, — возразил генерал строго. — Опять!

— Ничего, ничего! — сказал молодой человек, встряхнув головою и придавая своим чертам выражение беспечной веселости, бывшей, по-видимому, всегдашним выражением лица его до того неведомого несчастья, которое заставляло его, в такие молодые лета, желать смерти.

— Я надеюсь. Да, постарайся узнать одно...

— Что такое, генерал?

— Каким образом в то время, когда у нас война с Англией,

англичанин разъезжает по Франции так свободно, так спокойно, как дома.

— Извольте, узнаю.

— Но как?

— Еще и сам не ведаю, но когда я вам обещаю узнать, то узнаю, хотя бы пришлось спросить у него самого.

— О, вздорная голова! Не впутайся в новое дело еще и с этим!

— Во всяком случае, с этим не будет дуэли. Он неприятель: с ним можно сражаться.

— Довольно. Еще раз: до свидания. Поцелуй меня.

Ролан, с выражением страстной благодарности, кинулся на шею к тому, кто позволил ему это.

— О, генерал! — воскликнул он. — Как был бы я счастлив, если бы не был так несчастлив!

Генерал глядел на него с глубокой любовью.

— Когда-нибудь ты расскажешь мне о своем несчастье, не правда ли, Ролан? — сказал он.

Ролан разразился тем скорбным смехом, который два или три раза уже вылетал из его уст.

— Нет, ох, нет, — сказал он, — вы стали бы слишком смеяться надо мною...

Генерал поглядел на него, как на полоумного, и сказал:

— Но должно принимать людей, каковы они есть.

— Особенно, когда они не то, чем кажутся.

— Ты считаешь меня Эдипом и предлагаешь мне загадки,

Ролан.

— А если вы отгадаете эту, генерал, я поздравляю вас Фивским царем. Но, со всеми моими дурачествами, я забываю, что для вас драгоценна каждая минута и что я удерживаю вас здесь бесполезно.

— Это правда. Нет ли от тебя поручений в Париж?

— Есть три: выразите мою дружбу Бурьену, мое почтение вашему брату Люсьену и нежное глубокое уважение госпоже Бонапарте.

— Исполню.

— Где я найду вас в Париже?

— В моем доме, на улице Победы, и может быть...

— Может быть?..

— Кто знает? Может быть, в Люксембурге.

После этого, как бы жалея, что сказал слишком много даже тому, кого почитал своим лучшим другом, он откинулся назад и сказал ямщику:

— По Оранжской дороге, и скорей!

Ямщик, только и ожидавший приказа, ударил по лошадам: коляска с грохотом быстро помчалась и вскоре исчезла за Ульскими воротами.

АНГЛИЧАНИН

Ролан оставался неподвижно не только покуда мог видеть коляску, но и долго после того, как она скрылась. Потом, как бы желая сбросить с чела облако, омрачавшее его, он тряхнул головою, воротился в гостиницу и потребовал себе комнату.

— Проводите господина в № 3-й, — сказал хозяин одной из горничных.

Горничная взяла ключ, висевший на широкой черной доске, где были в два ряда написаны белые нумера, и сделала знак молодому путешественнику, что он может идти за нею.

— Велите принести мне бумаги, перо и чернил, — сказал молодой человек хозяину, — а если г. де Баржоль спросит, где я, дайте ему номер моей комнаты.

Хозяин обещал исполнить распоряжение Ролана, а тот пошел за служанкой, насвистывая «Марсельезу».

Через пять минут он уже сидел перед столом, на котором были чернила, бумага, перо, и готовился писать. Но только лишь он начал писать первую строчку, как в двери его комнаты кто-то постучал три раза.

— Войдите! — сказал он и повернул на одной из задних ножек свое кресло, чтобы очутиться лицом к посетителю, который, по его предположению, был г. де Баржоль или кто-нибудь из его друзей.

Дверь растворилась правильным, как бы механическим движением, и на пороге ее показался англичанин.

— Ах! — вскричал Ролан, обрадованный этим посещением после того, что наказывал ему генерал его. — Это вы?

— Да, — сказал англичанин, — это я.

— Радуюсь вашему посещению.

— О, если радуетесь, тем лучше! Я не знал, должен ли был я входить к вам.

— Почему же?

— Да после Абукира.

Ролан захохотал.

— Под Абукиром были две битвы, — сказал он, — одну мы проиграли, другую выиграли.

— Ну, да после той, которую вы проиграли.

— Прекрасно, — сказал Ролан, — дерутся, убивают, истребляют друг друга в сражении, но это не мешает пожать друг другу руки, когда встречаются на нейтральной земле. Повторяю, что я радуюсь вашему посещению, особенно, если вам будет угодно сказать его причину.

— Благодарю; но прежде всего прочитайте вот это.

Англичанин вынул из своего кармана бумагу.

— Это что? — спросил Ролан.

— Мой паспорт.

— А на что мне он? — спросил Ролан. — Я не жандарм.

— Нет, но я прихожу к вам с предложением моих услуг, и, может быть, вы не приняли бы их, если бы не знали, кто я.

— Ваших услуг?

— Да, но прочитайте.

Ролан прочел: «Именем Французской Республики, Исполнительная Директория приглашает местные власти давать свободный проезд и в случае надобности оказывать помощь и покровительство сэру Джону Танлею, эсквайру, на всех землях Республики». Подписано: «Фуше».

— Прочтите внизу.

«Рекомендую особенно, всем кому следует, сэра Джона Танлея, как филантропа и друга свободы». Подписано: «Баррас».

— Прочитали?

— Прочитал. Что ж дальше?

— Дальше? Мой отец, лорд Танлей, оказал услугу г. Баррасу, который теперь позволяет мне развезжать по Франции, а я очень доволен этой прогулкой, мне очень весело.

— Да, я помню, сэр Джон, вы уже сделали нам честь, сказали это за столом.

— Да, сказал, это правда, и еще сказал, что я очень люблю французов.

Ролан поклонился.

— А особенно генерала Бонапарте, — продолжал сэр Джон.

— Вы любите генерала Бонапарте?

— Я удивляюсь ему, это великий, очень великий человек.

— Ах, сэр Джон, право, мне досадно, что он не слышит этих слов, сказанных о нем англичанином.

— При нем я не сказал бы их никогда.

— Почему же?

— Он подумал бы, что я говорю это, желая сделать удовольствие ему, а я говорю это потому, что это мое мнение.

— Не сомневаюсь в том, милорд, — сказал Ролан, не постигая, к чему ведет свою речь этот англичанин. Между тем, узнав из его паспорта, что было ему нужно знать, Ролан соблюдал осторожность.

— Когда я увидел, — продолжал англичанин флегматически, — как вы заступились за генерала, я испытал удовольствие.

— Право?

— Большое удовольствие, — сказал англичанин, делая подтвердительное движение головой.

— Тем лучше!

— Но когда я увидел, что вы бросили тарелку в голову г. Альфреда де Баржоля, мне было прискорбно.

— Прискорбно, милорд? Почему?

— Потому что в Англии джентльмен не кидает тарелкой в другого джентльмена.

— А, милорд, — сказал Ролан, вставая и хмуря брови, — не за тем ли вы пришли, чтобы дать мне наставление?

— Нет, не за тем, я пришел сказать вам: может быть, вы затрудняетесь найти себе секунданта?

— Откровенно скажу вам, сэр Джон: в ту минуту, когда вы постучали в дверь, я спрашивал себя, у кого мог бы я попросить этой услуги.

— Я буду, если вы хотите, — сказал англичанин, — вашим секундантом.

— Весьма рад! — отвечал Ролан.

— Вот эту услугу я и хотел оказать вам.

Ролан протянул ему руку, говоря: — Я принимаю ее!

Англичанин поклонился.

— Теперь, — продолжал Ролан, — как вы, милорд, прежде чем предложить мне вашу услугу, предупредительно объявили о себе, кто вы, так я, принимая услугу вашу, по справедливости желаю, чтобы вы знали, кто я.

— Как вам угодно.

— Мое имя: Луи де Монревель, я адъютант генерала Бонапарте.

— Адъютант генерала Бонапарте! Очень рад.

— Это объясняет вам, отчего я, может быть слишком горячо, вступился за моего генерала.

— Нет, не слишком горячо, только тарелка...

— О, знаю, знаю: вызов мог быть сделан и без тарелки, но что же делать! Я держал ее в руке, не знал, куда деться с нею, и кинул ее в голову де Баржолья; она полетела сама.

— Вы не скажете этого ему?

— О, будьте уверены, я говорю это вам, чтобы успокоить вашу совесть.

— Очень хорошо, так вы будете драться?

— По крайней мере, я остался здесь для этого.

— А на чем будете вы драться?

— Это касается не меня, милорд.

— Как касается не вас?

— Не меня; г. Баржоль оскорблен: ему избирать оружие.

— Так вы примете то оружие, которое он предложит?

— Не я приму, а вы примете от моего имени, потому что вы делаете мне честь быть моим секундантом.

— А если он выберет пистолет, на каком расстоянии и как желаете вы стреляться?

— Это ваше дело, милорд, а не мое. Не знаю, так ли это делается в Англии, но во Франции противники не вмешиваются ни во что: секунданты устраивают дело, и как они устроят, так и хорошо.

— Значит, что я сделаю, то и будет хорошо?

— Совершенно, милорд!

Англичанин поклонился:

— А час и день?

— Ну, это как можно скорее. Я два года не видал моего семейства и, признаюсь, с нетерпением желаю обнять своих родных.

Он говорил с такой уверенностью, как будто был убежден, что его не убьют. Англичанин посмотрел на него не без удивления.

Раздался стук в дверь, и голос трактирщика спросил: «Можно войти?» Молодой человек отвечал утвердительно, и трактирщик пошел, держа в руках карточку, которую он подал своему гостю, говоря:

— От г. Альфреда де Баржоля.

Ролан прочитал на карточке: «Шарль де Валансолль», — и прибавил:

— Очень хорошо.

Переведя карточку англичанину, он сказал:

— Это касается опять вас; мне нет надобности видаться с этим господином, потому что в здешней земле уже не называются гражданами. Г. де Валансолль — секундант г. де Баржоля, вы — мой секундант. Устройте дело между собою, только, — прибавил молодой человек, сжимая руку англичанина и пристально глядя на него, — постарайтесь, чтобы дуэль была серьезная; я не отступлю от того, что вы устроите, но с одним условием — чтобы непременно один из нас остался на месте.

— Будьте спокойны, — сказал англичанин, — постараюсь, как для себя.

— В добрый час, отправляйтесь; когда условитесь, зайдите ко мне, я не тронусь с места.

Сэр Джон вышел с хозяином, Ролан повернул свое кресло опять к столу, взял перо и начал писать.

Когда сэр Джон возвратился, Ролан уже написал два письма, запечатал их и надписывал адрес на третьем. Рукою сделал он знак англичанину, что сейчас кончит и будет в его распоряжении. Он написал адрес, запечатал письмо и, обернувшись, спросил:

— Ну, все ли устроено?

— Да, — ответил англичанин, — и очень легко. Вы имеете дело с настоящим джентльменом.

— Тем лучше, — сказал Ролан и ожидал продолжения.

— Через два часа вы стреляетесь у Воклюзского фонтана, место очаровательное. Стреляться на пистолетах, подходя друг к другу по воле: после выстрела одного другой имеет право подходить как можно ближе.

— Истину сказали вы, сэр Джон, что все устроится, как нельзя лучше. Ведь вы это устроили?

— Я и секундант г. де Баржоля, ваш противник отказался от всех преимуществ оскорбленного.

— А об оружии подумали?

— Я предложил мои пистолеты, и они приняли их на мое честное слово, что эти пистолеты неизвестны вам столько же, как г. де Баржолю. А уж я ручаюсь за свое оружие: стреляя из любого на двадцать шагов, я разрезаю пулю об острие ножа.

— Славно, милорд! Да вы, стало быть, отлично стреляете?

— Да, говорят, что лучше меня никто не стреляет в Англии.

— Принимаю к сведению и, когда вздумается быть убитым, поссорюсь с вами, сэр Джон.

— Ах, пожалуйста, не ссорьтесь со мной, очень неприятно было бы мне драться с вами.

— Постараюсь не сделать вам этой неприятности, милорд. Итак, через два часа, сказали вы?

— Да, ведь вы говорили, что торопитесь.

— Точно так. А сколько отсюда до очаровательного места?

— До Воклюза?

— Да.

— Четыре лье.

— Итак, полтора часа езды — времени терять нам нельзя; окончим же поскорее скучное, чтобы оставалось одно веселое.

Англичанин посмотрел на молодого человека с удивлением; Ролан, казалось, не обратил на это внимания.

— Вот три письма, — сказал он, — одно к г-же де Монревель, моей матери, другое к девице де Монревель, моей сестре; третье к гражданину Бонапарте, моему генералу. Если меня убьют, вы просто отдадите их на почту. Не трудно это вам?

— Если уж случится несчастье, сам отвезу ваши письма, — сказал сэр Джон. — Где живут ваша родительница и сестра?

— В Буре, главном городе Энского департамента, — отвечал Ролан, пристально глядя на англичанина.

— Бур близехонько отсюда. А к генералу Бонапарте я поеду хоть в Египет. Мне чрезвычайно приятно было бы увидеть генерала Бонапарте.

— Вы говорите, милорд, что сами примете труд отвезти письмо, в таком случае вам не понадобится ехать в Египет: через три дня генерал Бонапарте будет в Париже.

— О! — воскликнул англичанин без малейшего удивления. — Вы думаете?

— Я уверен в том, — отвечал Ролан.

— Да, истинно, генерал Бонапарте необыкновенный человек. Ну, а еще не поручите ли вы мне чего-нибудь, господин де Монревель?

— Еще одно, милорд.

— Поручайте больше, если угодно.

— Нет, благодарю, одно поручение, только очень важное.
— Говорите.

— Если меня убьют... но я сомневаюсь, чтобы это случилось.

Сэр Джон посмотрел на Ролана с изумлением уже в другой или третий раз.

— Если меня убьют, — продолжал Ролан, — потому что ведь надобно же предвидеть все...

— Да, слышу: если вас убьют?..

— Выслушайте хорошенько слова мои, милорд; потому что я желаю, чтобы все исполнилось так, как я вам скажу.

— Так и будет, как вы скажете, — возразил сэр Джон, — я человек очень исполнительный.

— Хорошо, так если меня убьют, — выразительно повторил Ролан, положив руку на плечо своего секунданта, как бы желая тверже запечатлеть в памяти его свое поручение, — вы положите мое тело, как оно будет, одетое, не позволив никому прикоснуться к нему, в свинцовый гроб и при себе велите запаять его, а свинцовый гроб поставите в дубовый и также при себе велите заколотить его гвоздями. Потом вы отправите все это к моей матери, если только не вздумаете лучше бросить все в Рону, что совершенно представляю на ваш выбор.

— Так как я возьму письмо, — возразил англичанин, — то мне уж не трудно будет отвезти и гроб.

— Ну, право, милорд, вы человек восхитительный, — сказал Ролан, расхохотавшись, со своим странным выражением. — Само Провидение хотело, чтобы я встретился с вами. Теперь, милорд, в путь-дорогу!

Оба они вышли из комнаты Ролана, которая была на одной площадке с комнатою сэра Джона. Ролан подождал, покуда англичанин зашел к себе взять пистолеты. Через несколько секунд он вышел оттуда, держа в руках ящик с пистолетами.

— Как же мы едем в Воклюз? — спросил Ролан. — Верхом или в карете?

— В карете, если только вам угодно. Карета, знаете, удобнее для раненого. Моя дожидается внизу.

— Да ведь, кажется, вы сказали, чтобы лошадей выпрягли?

— Я приказал было, но потом велел отыскать почтальона и снова приказал заложить лошадей.

Сошли с лестницы. Там ожидал сэра Джона слуга в строгой ливрее английского груга.

— Том! — сказал ему англичанин. — Ты возьми этот ящик в руки.

— I am going with, mylord? (Я еду с вами, милорд?) — спросил слуга.

— Yes (да), — отвечал сэр Джон.

Указывая Ролану на подножку кареты, опущенную слугой его, он сказал:

— Садитесь, господин де Монревель!

Ролан вошел в карету и откинулся поудобнее на подушку.

— Право, — сказал он, — только одни вы, англичане, понимаете, что значит дорожная карета. В вашей точно как в своей постели! Бьюсь об заклад, что вы приказываете укладывать шелковыми хлопками гроб, прежде нежели ложитесь в него!

— Да, — отвечал сэр Джон, — английский народ хорошо понимает комфорт, но французский народ больше достоин любопытства... Ямщик! В Воклюз!

Глава IV

ДУЭЛЬ

От Авиньона только до Иля можно ехать. На переезд трех лье, отделяющих Иль от Авиньона, был употреблен один час. В продолжение его Ролан, будто взявшись сократить время для своего спутника, был одушевлен, увлекателен, и веселость его увеличивалась по мере того, как приближались к месту боя. Кто не знал причины путешествия, тот и не подумал бы, что этот молодой человек, с неистощимой его болтовней и беспре-рывным смехом, был под угрозой смертельной опасности.

В деревне Иль надобно было выйти из кареты. Осведомились, Ролан и сэр Джон приехали первые. Они отправились по пути к фонтану.

— О! — сказал Ролан. — Мне кажется, что здесь должно быть прекрасное эхо!

Он крикнул раза два; эхо отвечало ему с удивительной услужливостью.

— Ах, в самом деле, какое чудесное эхо! — сказал молодой человек. — С ним можно сравнить только то, которое слышал я в Миланской Шинонетте! Пойдите, милорд.

С модуляциями, которые показывали и удивительный голос и превосходную методу, запел он тирольскую песню, где, казалось, непокорная музыка спорила с человеческим горлом.

Сэр Джон слушал и смотрел на Ролана, уже не стараясь в этот раз скрыть свое изумление. Когда последняя нота замерла в углублениях горы, он сказал:

— Бог меня убей, но я думаю, что у вас сплин!

Ролан вздрогнул и посмотрел на него вопросительно. Не слыша продолжения, он спросил:

— А почему вы это думаете?

— Вы так шумно веселы, что в сердце вашем непременно есть глубокая тоска.

— Да, и эта аномалия изумляет вас?

— Меня ничто не изумляет; всему есть своя причина.

— Справедливо. Извольте: я открою вам ее.

— О, я насколько не принуждаю вас к тому!

— Вы так вежливы, что не станете принуждать, однако согласитесь, что вам было бы приятно составить себе определенное понятие обо мне.

— Из участия к вам, да.

— Хорошо, милорд, я скажу вам разгадку, скажу то, чего не говорил еще никому. Вы видите, как я здоров по наружности; но я болен аневризмом и страдаю от него ужасно: у меня беспрестанно спазмы, слабость, обмороки, постыдные даже для женщины! Жизнь моя проходит в том, что я принимаю смешные предосторожности, и все-таки Ларрей предсказал мне, что я должен исчезнуть из этого мира мгновенно. Пораженная жила может лопнуть в моей груди от малейшего напряжения. Посудите, как это забавно для военного! Вы поймете, что с той минуты, когда мне стало ясно мое положение, я решился умереть с возможным блеском и немедленно приступил к делу. Другой успел бы уже сто раз достичь этой цели; но я, да, я точно как заколдован: ни пули, ни ядра не попадают в меня; сабли, кажется, боятся иступиться о мою кожу. Я, однако ж, не пропускаю ни одного случая: вы знаете это, после того, что было за столом. И что ж? Ну, вот, мы будем драться, не правда ли? Я буду выставлять себя, как сумасшедший, отдам все преимуществу моему противнику — это не поможет нисколько; он выстрелит в пятнадцать, в десяти, в пяти шагах, выстрелит в упор и даст промах, или пистолет его сделает осечку, и все это для прекрасной будущности, не правда ли? Лопнуть, когда я меньше всего буду ожидать, разрушиться, скидывая с себя сапоги!.. Но тише, вот мой противник.

В самом деле, по той же дороге, которою пришли Ролан и сэр Джон, в излуцинах долины и неровностях скалы стали видны до половины тела трех человек, выставившие по мере того, как они приближались. Ролая сосчитал их и вымолвил:

— Трое. Для чего же трое, когда мы только вдвоем?

— Ах! Я и забыл, — сказал англичанин, — г. де Баржоль, столько же для вас, сколько для себя, просил согласия привести знакомого ему хирурга.

— На что это? — спросил Ролан почти сердито и нахмурился.

— На случай, что один из вас будет ранен. Кровопускание в известных случаях может спасти жизнь.

— Сэр Джон, — сказал Ролан с выражением почти свирепым, — я не понимаю таких нежностей в дуэли! Сражаются для того, чтобы убить друг друга. Перед дуэлью пусть оказывают все возможные вежливости друг другу, как мои и ваши предки при Фонтенуа, прекрасно. Но когда шпаги вынуты из ножен или пистолеты заряжены, тогда пусть жизнь человека заплатит за труд и за потерянные биения сердца. Я полагаюсь на ваше

честное слово, сэр Джон, и прошу об одном: чтобы хирург де Баржоля не прикасался ко мне, ни к раненому, ни к убитому, ни к живому, ни к мертвому.

— Однако ж, господин Ролан...

— О, без условий, прошу вас! Ваше честное слово, милорд, или я не дерусь.

Англичанин смотрел на молодого человека с изумлением, замечая, что лицо его посинело и все тело дрожало, как будто от ужаса. Не понимая такого необъяснимого впечатления, сэр Джон дал слово.

— Хорошо, — отвечал Ролан, — но вот вам образчик действий этой восхитительной болезни! Мне делается дурно от одной мысли о хирургическом приборе, от одного взгляда на бистурий или ланцет. Я очень бледен? Да?

— Я подумал, что у вас начинается обморок.

— А, вот это было бы чудесно! — вскричал Ролан с громким хохотом. — Что если бы противники наши застали вас в хлопотах около меня и вы давали бы мне нюхать соли, как женщине в обмороке! Знаете ли, что сказали бы они, да и вы первый? Сказали бы, что я струсил!

Между тем трое вновь прибывших приблизились и были уже на расстоянии человеческого голоса, так что сэр Джон даже не успел ответить Ролану. Они поклонились. Ролан с улыбкою, которая заставила его показать прекрасные зубы, отвечал на их поклон.

— Вы еще немного бледны, — сказал ему сэр Джон на ухо. — Пройдитесь до фонтана, а я приду за вами, когда будет надобно.

— Превосходная идея! — сказал Ролан. — Мне всегда хотелось увидеть знаменитый Воклюзский фонтан, Иппокрену Петпарки. Помните его сонет:

Chiare, fresche e dolci acque
Ove le belle membra
Pose colei, che sola a me perdona*.

А пропущу этот случай, так, может быть, и не представится другого подобного. С которой он стороны, знаменитый ваш фонтан?

— Вы от него в тридцати шагах. Вот, пройдите до того места, где поворот дороги; там, за огромной скалой, которая видна своею верхушкой, увидите и фонтан.

— Милорд, вы самый лучший чичероне, какого только я знаю. Благодарю.

Сделав рукою дружеское приветствие своему секунданту, Ро-

* Светлые, свежие, тихие воды, куда погружает свои прекрасные члены та, которая одна только меня прощает.

лан пошел в направлении к фонтану и запел сквозь зубы прелестную вилланелу:

— «Розетта, вы изменили ваше сердце за время нашей короткой разлуки, а я, зная ваше непостоянство, пристроил свое собственное также в другом месте. Отныне никогда такая легкомысленная красавица уж не будет иметь власти надо мною; увидим, ветренная пастушка, кому первому придется расквашиваться».

Сэр Джон оборотился, прислушиваясь к модуляциям голоса свежего и вместе нежного, на высоких нотах напоминавшего женский голос. Методический, холодный ум его не понимал этой нервной природы. Он видел только, что перед ним была одна из самых удивительных организаций, какие можно встретить.

Два молодых человека ожидали его; хирург стоял несколько в стороне.

Сэр Джон держал в руке ящик с пистолетами; он поставил его на камень, имевший форму стола, вынул из кармана ключик, сделанный, казалось, золотых дел мастером, а не слесарем, и отпер ящик.

Пистолеты были великолепные, хотя отличались простотой. Они были работы Ментона, деда того, который и теперь считается одним из лучших оружейников в Лондоне. Сэр Джон дал их осмотреть секунданту де Баржоля. Тот попробовал замок и увидел, что пистолеты были с одним спуском. Де Баржоль только взглянул на них; он даже не прикоснулся к ним.

— Противник ваш не знает их? — спросил де Валансолль.

— Даже не видел, — отвечал сэр Джон. — В этом я ручаюсь моей честью.

— Довольно было бы просто отрицания, — сказал де Валансолль.

В предупреждение всякого недоразумения еще раз повторили условия боя, и когда снова согласились в них, то, чтобы не терять времени в бесполезных приготовлениях, зарядили пистолеты и уже заряженными опять положили их в ящик, который отдал хирургу. Сэр Джон замкнул ящик, положил ключ в карман и пошел за Роланом.

Что делал Ролан? Разговаривал с мальчиком, пасшим трех коз на крутых и каменистых склонах горы, и кидал камешки в воду. Он не дал англичанину раскрыть рта и, прежде нежели тот сказал, что все готово, спросил у него:

— Знаете ли, милорд, что рассказал мне этот ребенок? Настоящую легенду берегов Рейна! Он говорит, что вот тут, в бездонном бассейне, который будто бы идет на два или на три лье, под горою обитает фея, наполовину женщина, наполовину змея; что в летние, светлые и тихие ночи она выплывает на поверхность воды, зовет к себе горных пастухов, показывая им, разумеется, только свою голову с длинными волосами, нагие плечи и руки удивительной красоты; и дураки прельщаются этим женским при-

раком, манят ее на берег, а фея манит их к себе. Неосторожные идут вперед, не глядя себе под ноги, и вдруг обрушиваются в воду — тогда фея обвивает их своими руками, погружается в воду, уплывает в свои подводные палаты и на другой день снова появляется над водою одна. Кто мог рассказать этим болванам-пастухам ту самую сказку, которую Virgilius передавал в таких прелестных стихах Августу и Меценату?

Он задумался на минуту и пристально глядел на лазуревую воду бездонного бассейна; потом, обернувшись к сэру Джону, сказал:

— Говорят, что самый сильный пловец никогда уже не выплывал из этой бездны, раз нырнув в нее; может быть, если бы я нырнул в нее, милорд, это было бы повернее пули г. де Баржоля. Ну, это может еще остаться, как последнее средство, а между тем, попробуем пулю. Идем, милорд, идем!

Схватив под руку англичанина, изумленного такую подвижностью ума, он привел его к тем, которые ожидали их и успели уже отыскать место, удобное для боя.

Это была площадка, как будто прилепленная к крутому краю горы, освещенная заходящим солнцем и служившая, посреди чего-то похожего на развалившийся замок, убежищем пастухам, застигнутым северо-западным ветром.

Ровное пространство, шагов в пятьдесят длины и в двадцать ширины, бывшее некогда, вероятно, площадью замка, делалось сценою драмы, близкой к развязке.

— Вот и мы, господа, — сказал сэр Джон.

— Мы готовы, — отвечал де Валансолль.

— Противники благоволят выслушать условия боя, — сказал сэр Джон и, обратившись к де Валансоллю, прибавил:

— Повторите условия. Я иностранец, а вы француз: вы изясните их лучше, нежели я.

— Вы из тех иностранцев, милорд, которые могут поучить языку нас, бедных провансальцев, но, когда вы с такою вежливостью уступаете слово мне, я повинуюсь вашему приглашению.

Он поклонился сэру Джону; тот отвечал поклоном.

— Господа! — сказал дворянин, служивший секундантом де Баржоля. — Решено, что вы станете в расстоянии сорока шагов друг от друга и будете подходить один к другому; каждый стреляет по желанию, и после выстрела одного, другой, раненый или нет, имеет право подходить к нему.

Оба противника выразили свое согласие наклонением головы и в один голос, почти в одно мгновение, сказали:

— Пистолеты.

Сэр Джон вынул ключик из своего кармана, отпер ящик и открытым поднес его к де Баржолю. Молодой дворянин хотел предоставить выбор пистолета своему противнику, но тот сделал

рукою отрицательный знак и сказал голосом кротким, как нежная женщина:

— После вас, г. де Баржоль! Я знаю, что вы, оскорбленный мною, отказались от всех ваших преимуществ; позвольте же оставить вам хоть это.

Де Баржоль не упорствовал более и взял без выбора один из пистолетов. Сэр Джон подошел с ящиком к Ролану, и тот взял другой пистолет, взвел курок и, нисколько не рассматривая механизма своего оружия, опустил его вниз.

Между тем де Валансолль воткнул палку в землю и отмерил от нее сорок шагов.

— Угодно ли вам перемерять? — спросил он у сэра Джона.

— Не нужно, — отвечал тот, — г. де Монревель и я совершенно полагаемся на вас.

Де Валансолль воткнул другую палку после сорокового шага.

— Господа! — сказал он. — Начинайте, если угодно.

Противник Ролана был уже на своем месте, скинув с себя шляпу и фрак. Хирург и оба секунданта стояли поодаль. Место было выбрано так хорошо, что ни один из противников не имел преимущества в освещении солнцем.

Ролан сбросил с себя на землю фрак и шляпу и стал против де Баржоля в сорока шагах.

Оба взглянули один направо, другой налево от себя в одну сторону горизонта. Окрестные виды согласовались с торжественностью события, которое должно было совершиться. Налево от де Баржоля и направо от Ролана нельзя было видеть ничего: гора крутым склоном возвышалась с этой стороны, как громадная сторона какой-то кровли. Но с противоположной стороны, то есть направо от де Баржоля и налево от Ролана, зрелище было совсем другое.

Горизонт казался бесконечным. На первом плане была равнина, с красноватою почвою, прорезанная множеством остроконечных скал: она казалась кладбищем титанов, кости которых высовывались из земли. На втором плане, ярко выступавшем при освещении заходящего солнца, был Авиньон, опоясанный стенами, и гигантский дворец его, как лежащий лев, казалось, держал под своею лапою задышавшийся город.

За Авиньоном блестящая полоса, как поток растопленного золота, обозначала Рону.

Далее, на другой стороне Роны, возвышалась темно-лазуревую линией цепь холмов, отделяющих Авиньон от Нима и Юзе.

На самом дальнем плане солнце, вероятно, в последний раз бывшее перед глазами одного из противников, тихо и величественно погружалось в океан золота и пурпура.

Впрочем, оба противника представляли странную противоположность.

Один, черноволосый, смуглый, худощавый, с мрачным взгля-

дом, был тип южного племени, которое считает своими предками греков, римлян, испанцев.

Другой, белокурый, с розовыми щеками, с большими лазуревыми глазами, с пухлыми руками, похожими на женские, был типом племени умеренных стран, считающего своими прародителями галлов, германцев, норманнов. Можно было бы представить себе, что это была дуэль одного народа с другим, одного племени против другого, юга против севера.

Таковы ли были идеи, занимавшие ум Ролана и погрузившие его в грустную мечтательность? Едва ли! Только он на минуту как будто забыл секундантов, дуэль, противника и остался весь в созерцании великолепного зрелища. Голос де Баржоля вывел его из этого поэтического онемения.

— Если вы готовы, — сказал он, — я готов.

Ролан вздрогнул.

— Виноват, что заставил вас ждать, — сказал он. — Не надобно было обращать на меня внимания, я очень рассеян! Но вот и я! — И между тем как вечерний ветер взвевал его волосы, он с улыбкой, не уклоняясь, прямо пошел навстречу де Баржолю, который, с своей стороны, принимал все обыкновенные в таком случае предосторожности.

Физиономия сэра Джона, постоянно бесстрастная, выразила в эту минуту глубокую тоску.

Расстояние быстро исчезало между двумя противниками. Де Баржоль остановился первый, прицелился и выстрелил, когда Ролан был от него не более как в десяти шагах. Пуля отхватила локон волос, но не задела головы Ролана. Молодой человек обратился к своему секунданту.

— Ну? Что я сказал вам? — спросил он.

— Стреляйте! Стреляйте! — сказали оба секунданта. Де Баржоль остановился на том месте, с которого выстрелил. Он был нем и неподвижен.

— Извините, господа, — возразил Ролан секундантам, — но вы, надеюсь, позволите мне решить, как и когда я должен стрелять. После выстрела в меня я могу сказать г-ну де Баржолю несколько слов, которых не мог сказать прежде.

И, обратившись к молодому аристократу, бледному, но спокойному, он сказал:

— Возможно, что в споре нашем утром я погорячился...

Он ожидал ответа.

— Ваша очередь стрелять, — сказал де Баржоль.

— Но, — продолжал Ролан, как будто не слышавший его слов, — вы сейчас поймете причину этой горячности и, может быть, извините ее. Я военный и адъютант генерала Бонапарте.

— Стреляйте, — повторил молодой дворянин.

— Скажите одно слово уступки, — продолжал молодой офицер, — скажите, что честь и благородство генерала Бонапарте

так известны, что дурная итальянская поговорка, составленная побежденными в минуту досады, не может повредить ему; скажите только это, и я брошу от себя это оружие и пожму вашу руку, потому что признаю в вас мужественного человека.

— Я признаю честь и благородство, о которых вы говорите, не раньше чем ваш главнокомандующий употребит влияние, приобретенное гением его во Франции, на то, чтобы, по примеру Монка, возвратить трон законному королю.

— А, — возразил с усмешкой Ролан, — это значит требовать слишком много от республиканского генерала.

— В таком случае остаюсь при том, что я сказал, — отвечал молодой дворянин, — стреляйте!

И, видя, что Ролан не спешит исполнить его требования, он прибавил, топнув ногою:

— Стреляйте же, говорю вам!

При этих словах Ролан сделал движение, показывавшее, что он хочет выстрелить в воздух; но его удержала живость движения голоса, с какою де Баржоль закричал ему:

— Не стреляйте в воздух, прошу вас, или я потребую начать все снова, и чтобы вы первый стреляли.

— Клянусь честью, — вскрикнул Ролан и побледнел так, что, казалось, в нем не было ни кровинки, — ни для кого в мире не сделал я больше!.. Но если так, если он не хочет жить, пусть умрет!

В то же мгновение, не прицеливаясь, он выпрямил руку и выстрелил.

Альфред де Баржоль ухватился за грудь, покачнулся вперед, назад, повернулся и упал лицом к земле.

Пуля пробила ему сердце.

Когда де Баржоль упал, сэр Джон подошел прямо к Ролану и увлек его к месту, где он сбросил фрак и шляпу.

— Третий! — пробормотал Ролан со вздохом. — По крайней мере, вы свидетель, что этот сам желал!

Он отдал пистолет, еще дымившийся, сэру Джону и надел фрак и шляпу.

Между тем де Валансолль поднял пистолет, выпавший из руки его друга, и отдал его, вместе с ящиком, сэру Джону.

— Что же? — спросил англичанин, указывая глазами на Альфреда де Баржоля.

— Умер! — отвечал секундант.

— Действовал ли я, как честный человек? — спросил Ролан, утирая платком пот, который вдруг выступил на его лице при извещении, что противник умер.

— Да, — отвечал де Валансолль, — только позвольте вам сказать: у вас несчастливая рука!

Поклонившись Ролану и его секунданту с совершенною вежливостью, он возвратился к трупу своего друга.

— А вы, милорд, — спросил Ролан, — что вы скажете?

— Я скажу, — отвечал сэра Джон с каким-то принужденным удивлением, — что вы один из тех людей, которых божественный Шекспир заставляет говорить о себе: «Опасность и я — львы-близнецы: мы родились в один день, но я старший».

Глава V

РОЛАН

Грустно и молчаливо было возвращение в город. Казалось, что веселость Ролана исчезла с той минуты, когда опасность смерти удалась от него.

Молчаливость его могла происходить и от того несчастья, которого он был причиной, но спешим сказать, что Ролан, в сражениях и особенно в последний поход против арабов, так часто заставлял своего коня перескакивать через трупы людей, павших от его руки, что смерть незнакомого человека не могла произвести на него слишком сильного впечатления.

Следовательно, была другая причина его грусти, и она могла быть действительно та, о которой он с доверчивостью говорил сэру Джону. Не сожаление о смерти другого, а неудача в собственной смерти внушала ему грусть.

Возвратившись в гостиницу, сэра Джон зашел в свою комнату и оставил в ней пистолеты, думая, что вид их мог возбуждать в Ролане нечто похожее на упрек совести; потом он явился к молодому офицеру отдать три письма, принятые от него.

Ролан сидел в задумчивости, облокотясь на стол. Не пронося ни слова, англичанин положил перед ним три письма.

Молодой человек взглянул на адреса, взял письмо, написанное к матери, распечатал его и прочитал. Во время чтения крупные слезы текли по щекам его.

Сэра Джон с удивлением видел эту новую сторону ощущений Ролана. Он почел бы возможным в этой разнообразной натуре все, только не слезы, а они текли из глаз безмолвного Ролана. Не обращая ни малейшего внимания на стоявшего подле него, молодой человек покачал головою, произнеся тихо:

— Бедная мать! Как плакала бы она!.. Может быть, это и к лучшему!.. Матери не должны плакать о своих детях!

Безотчетно разорвал он письмо, написанное к матери, и потом письмо к сестре и к генералу Бонапарте, тщательно сжег все клочки их, позвонил в колокольчик и сказал вошедшей служанке:

— До какого часа можно отдавать письма на почту?

— До шести часов с половиной, — отвечала она, — остается уже немного минут.

— Подожди же.

Он взял перо и написал:

«Любезный генерал!

Я говорил вам, что будет так: я жив, он умер. Согласитесь, что это походит на заклад.

Преданность до смерти.

Ваш паладин Ролан».

Он запечатал письмо, надписал на нем: «Генералу Бонапарте. Улица Победы. Париж», — и отдал его служанке, приказывая отослать на почту в ту же минуту.

Только тогда, казалось, он заметил сэра Джона и протянул к нему руку, говоря:

— Вы, милорд, оказали мне великую услугу, одну из тех, которые сближают людей навеки. Я уже друг ваш; угодно ли вам сделать мне честь быть моим другом?

— О, благодарю вас очень, очень, — сказал сэр Джон, сжимая руку Ролана, — я не посмел бы просить у вас этой чести, но вы сами предлагаете мне: я принимаю.

Бесстрастный англичанин почувствовал в свою очередь, что сердце его смягчилось, что слеза дрожит на его реснице; он смахнул ее и сказал, глядя на Ролана:

— Какое несчастье, что вы так спешите ехать; я был бы очень доволен и счастлив, если бы мог провести с вами еще день или два.

— Куда ехали вы, милорд, когда я вас встретил?

— Я? Никуда. Я путешествовал от скуки. К несчастью, мне часто бывает скучно.

— Стало быть, вы никуда не ехали?

— Я ехал всюду.

— Ну, это совершенно одно и то же, — сказал молодой офицер, улыбаясь. — Только согласитесь ли вы на то, что я предложу?

— Очень охотно на все, что возможно!

— Это очень возможно и зависит от вас.

— Что такое? Говорите.

— Если бы я умер, вы должны были бы провожать меня мертвого к моей матери или бросили бы в Рону?

— Я препроводил бы вас мертвого к вашей матери, а не бросил бы в Рону.

— Прекрасно! Вместо того, чтобы провожать меня мертвого, проводите меня живого: вас примут еще лучше.

— О!

— Мы проживем две недели в Буре. Это моя родина, город, один из самых скучных во Франции, но ваши соотечественники блистают особенною оригинальностью, и, может быть, вам будет весело там, где другие скучают. Согласны?

— Я был бы очень доволен этим, — сказал англича-

нин, — только не знаю, прилично ли будет это с моей стороны.

— О, милорд, мы не в Англии, где этикет верховный повелитель. У нас, французов, нет больше ни короля, ни королевы, и вместо них мы не подчиняемся власти этикета.

— Мне очень желалось бы, — сказал сэр Джон.

— Вы увидите, что мать моя превосходная женщина и притом прекрасно образована. Сестре моей было шестнадцать лет, когда я отправился, теперь, следовательно, ей восемнадцать; она была красива, теперь должна быть прекрасна. Даже брат мой Эдуард, двенадцатилетний шалун, очень мил. Он станет кидать вам под ноги швермеры и коверкать английский язык. Через две недели мы вместе отправимся в Париж.

— Да я приехал из Парижа, — заметил англичанин.

— Позвольте, ведь вы хотели же ехать в Египет только за тем, чтобы видеть генерала Бонапарте? Отсюда до Парижа не так далеко, как до Каира; я вас представлю генералу, и после этого вы можете быть уверены, что он примет вас хорошо. Сверх того, ведь вы говорили о Шекспире?

— О, да, я всегда говорю о нем.

— Это доказывает, что вы любите комедии, драмы.

— Я люблю их очень, это правда.

— Ну, так генерал Бонапарте готовится представить одну такую, которая будет для вас занимательна, уверяю вас!

— Стало быть, — сказал сэр Джон, все еще колеблясь, — я могу принять ваше предложение, без всякой нескромности?

— Кажется, и доставите удовольствие всем, а мне особенно.

— В таком случае принимаю!

— Bravo! Когда же хотите вы отправиться?

— Когда вы вздумаете ехать! Моя карета была заложена, когда вы кинули эту несчастную тарелку в голову де Баржолю; но без этой тарелки я никогда не узнал бы вас, и я теперь рад, что вы бросили ее в него; да, очень рад.

— Угодно ли, чтобы мы отправились в этот же вечер?

— Сию минуту. Я скажу ямщику, чтобы он прислал одного из своих товарищей с другими лошадьми, и, когда все будет готово, мы поедем.

Ролан изъявил согласие кивком; сэр Джон вышел отдать свои приказания, воротился и сказал, что велел подать две котлеты и холодной дичины. Ролан взял свой чемодан и сошел вниз. Англичанин поместил свои пистолеты в каретный ящик.

Оба закусили, чтобы, уже не останавливаясь, ехать всю ночь. Когда на башне церкви Кордельеров пробило девять часов, они уселись в карету и выехали из Авиньона, оставив там после себя кровавый след. Ролан с беззаботностью своего характера, сэр Джон Танлей с бесстрашием своего народа.

Через четверть часа оба спали; по крайней мере молчание обоих могло заставить подумать, что они поддались сну.

Воспользуемся этой минутой отдыха и сообщим нашим читателям необходимые сведения о Ролане и его семействе.

Ролан родился 1-го июля 1773 года, то есть на четыре года и несколько дней позже Бонапарте, рядом с которым он выведен в нашем рассказе. Он был сын полковника Шарля де Монревеля, долго стоявшего с полком своим на Мартинике, где этот де Монревель женился на креолке Клотильде де ла Клемансьер. У них родились: Людовик, известный под именем Ролана, Амели, о которой Ролан сказал сэру Джону как о красавице, и Эдуард. Возвратившись во Францию, де Монревель успел поместить Людовика в Парижское Военное Училище (потом увидим, как Людовик переименовался в Ролана). В Париже узнал его Бонапарте, когда, по донесению Кералии, был признан достойным перейти из Бриеннского училища в Парижское. Людовик был моложе всех из воспитанников. Но тринадцати лет он уже отличался тем неукротимым и задорным характером, который выразился перед нами в сцене за общим столом в Авиньоне через семнадцать лет. Бонапарте в ребячестве имел хорошую сторону такого же характера, то есть, не бывши задорным, был повелителем, упрямым, неукротимым. Он заметил в ребенке некоторые свои качества, и одинаковость чувствований заставляла его прощать недостатки Людовика. Он полюбил его. Этот с своей стороны видел в молодом корсиканце защитника и надеялся на него. Однажды Людовик пришел к своему большому другу — как он называл Наполеона, — когда тот был погружен в решение математической задачи. Он знал, что будущий артиллерийский офицер чрезвычайно дорожит наукою, которая до того времени доставила ему самые большие или, лучше сказать, единственные его успехи, и стоял подле него безмолвно, без движения. Молодой математик чувствовал присутствие ребенка и углублялся в свои выводы, покуда, минут через десять, не вышел из лабиринта их с честью. Тогда он обратился к молоденькому своему товарищу с внутренним удовольствием человека, вышедшего победителем.

Ребенок стоял перед ним бледный, неподвижный, стиснув зубы, сжав кулаки.

— Ого! — сказал Бонапарте. — Что ж это значит?

— А то, что Валанс, племянник директора, дал мне пощечину.

— Так ты пришел ко мне, — сказал Бонапарте, смеясь, — за тем, чтобы я возвратил ему пощечину?

— Нет, — отвечал ребенок, покачав головой, — я пришел к тебе потому, что хочу драться.

— С Валансом?

— Да.

— Но Валанс приберет тебя, мое дитя: ведь он сильнее тебя вчетверо!

— Потому-то я хочу драться с ним не как дерутся ребята, а как дерутся большие.

— О, неужели!

— Это удивляет тебя?

— Нет. А на чем же хочешь ты драться? — спросил Бонапарте.

— На шпагах.

— Но ведь шпаги есть только у сержантов: они вам не дадут их.

— Мы обойдемся без шпаг.

— Да чем же вы будете драться?

Ребенок указал на циркуль, лежавший на столе молодого математика.

— Ах, душа моя, — сказал Бонапарте, — циркулем можно нанести скверную рану.

— Тем лучше, — возразил Людовик, — я убью его.

— А если он убьет тебя?

— Уж это лучше, нежели остаться с пощечиной!

Бонапарте не стал упорствовать: он любил мужество по инстинкту, а мужество молоденького товарища нравилось ему.

— Ну, изволь, — сказал он. — Я пойду к Валансу и скажу, что ты хочешь с ним драться, только завтра.

— Почему же завтра?

— Ночь останется тебе на размышление.

— И до завтрашнего дня Валанс будет думать, что я трус? Нет, до завтра слишком долго. — Ребенок качнул головой и пошел из комнаты.

— Куда же ты? — спросил Бонапарте.

— Иду спросить у другого, не хочет ли он быть моим другом.

— Разве я уже не друг твой?

— Не друг; ты думаешь, что я трус.

— Хорошо, — сказал молодой человек, вставая.

— Ты идешь к нему?

— Иду к нему.

— Сейчас?

— Сейчас.

— Ах! — вскрикнул ребенок. — Прости же меня; ты всегда мой друг.

И он бросился к нему на шею в слезах: это были первые слезы его с той минуты, когда он получил пощечину.

Бонапарте пришел к Валансу и с важностью объяснил ему зачем.

Валанс был юноша семнадцати лет, и, как бывает это у некоторых скороспелых людей, у него уже росли усы и борода, отчего он казался двадцатилетним. Сверх того, он был на голову выше того, кого оскорбил. Он отвечал, что Людовик дернул его за косу, точно как дергают шнурок звонка, — тогда носили косы, —

что он, Валанс, два раза предупреждал его не делать этого, но Людовик пришел за тем же в третий раз, и тогда, видя в нем только мальчишку-шалуна, он так и поступил с ним, как с мальчишкой.

Ответ Валанса передали Людовику; он возразил, что дернуть товарища за косу была только шалость, а пощечина — оскорбление. Упрямство придало тринадцатилетнему ребенку логику тридцатилетнего человека. Новый Попилий возвратился объявить войну Валансу, который увидел себя в большом затруднении: он не мог драться с ребенком, не сделавшись смешным, и, если бы ранил его, это было бы ужасно, но, если бы сам был ранен, он всю жизнь был бы неутешен. Между тем упрямство Людовика, не уступавшего нисколько, делало случай очень серьезным. Собрали совет больших, как это бывало принято в подобных обстоятельствах. Совет больших решил, что товарищ их не может сражаться с ребенком; но потому, что этот ребенок упорно почитает себя юношей, Валанс скажет ему, в присутствии всех своих товарищей, что очень жалеет об увлечении, в котором обошелся с ним как с ребенком, и впредь будет видеть в нем уже юношу.

Людовик ждал в комнате своего друга, и, когда его позвали и ввели в круг молодых воспитанников, собравшихся во дворе, Валанс, уже наученный товарищами сказать речь, о которой они долго рассуждали, стараясь сохранить честь больших в отношении к маленьким, объявил Людовику, что он в отчаянии о случившемся, что он обошелся с ним сообразно его возрасту, но не сообразно его уму и смелости, и теперь просит извинить минутную горячность и подать руку в знак, что все забыто.

— Я слышал от моего отца, — отвечал Людовик, сделав отрицательный знак головою, — что кто получил пощечину и не дерется, тот трус. В первый раз, когда увижу моего отца, полковника, я спрошу у него, не больше ли трус тот, кто дал пощечину и извиняется для того только, чтобы не драться.

Молодые люди посмотрели друг на друга, но общее мнение было против дуэли, которая походила бы на убийство. Единогласно все, в том числе и Бонапарте, объявили ребенку, что он должен удовольствоваться тем, что сказал Валанс, а Валанс сказал то, что выражало общее мнение.

Людовик удалился бледный от гнева, в досаде на своего друга, и говорил, с неизменно-важным видом, что друг отступился от его чести.

На другой день, во время урока математики у больших, Людовик проскользнул в учебную залу, и, между тем как Валанс писал доказательство на черной доске, он приблизился к нему, никем незамеченный, стал на табурет, чтобы быть на одном уровне с его лицом, и возвратил ему пощечину, полученную накануне.

— Теперь мы квиты, — сказал он, — да сверх того у меня

остаются твои извинения, каких я не стану делать перед тобой: в этом можешь быть уверен.

Скандал вышел огромный, и так как все произошло в присутствии профессора, то он должен был донести о нем директору училища маркизу Тимбюрсу Валансу.

Начальник, не зная обстоятельств, давших повод к пощечине, полученной его племянником, призвал к себе виновного и после жестокого выговора объявил ему, что он не принадлежит больше к училищу и должен быть готов в тот же день отправиться в Бур, к своей матери.

Людовик отвечал, что через десять минут он окончит свои сборы и через четверть часа его уже не будет в училище. Он ни слова не сказал о пощечине, полученной им самим.

Ответ показался маркизу Тимбюрсу Валансу больше нежели неуважительным, и ему очень хотелось засадить наглеца в карцер на неделю; но он не мог в одно и то же время отправить его в карцер и выслать за ворота. К ребенку приставили стража, которому приказали не отходить от него до тех пор, покуда не посадит его в дилижанс, отправляющийся в Макон. Г-жа де Монревель должна была получить уведомление, что она обязана принять сына по выходе его из кареты.

Бонапарте повстречал мальчика в сопровождении стража и спросил, что значит этот почетный телохранитель при его особе.

— Я сказал бы вам это, если бы вы были еще моим другом, — отвечал ребенок, — но вы не друг мне больше; зачем же вам беспокоиться, хорошо мне или худо?

Бонапарте сделал знак стражу, и, покуда Людовик укладывал свои скудные пожитки, страж за дверьми пересказал ему все. Мальчик был выгнан из училища. Эта строгая мера должна была привести в отчаяние целое семейство и, может быть, разрушала всю будущность молоденького товарища Бонапарте.

С быстротою решимости, характерным признаком его организации, Бонапарте решился просить аудиенции у директора, сказав стражу, чтобы он не торопился отправлять Людовика.

Бонапарте был отличный воспитанник, очень любимый в училище и весьма уважаемый маркизом Тимбюрсом Валансом. Просьба его была исполнена немедленно.

Явившись к директору, он рассказал ему все; нисколько не винил Валанса, но старался показать Людовика невиноватым.

— Правда ли то, что вы мне рассказываете? — спросил директор.

— Спросите самого племянника вашего: я ссылаюсь на то, что он скажет.

Послали за Валансом. Он уже знал об изгнании Людовика и шел сам рассказывать своему дяде, как было дело. Его рассказ был совершенно сходен с тем, что говорил молодой Бонапарте.

— Хорошо, — сказал директор, — Людовик не поедет, поедете вы; лета ваши позволяют вам выйти из училища.

Он позвонил и сказал вестовому:

— Принести мне список подпоручичьих вакансий.

В тот же день была отправлена просьба к военному министру о немедленном зачислении молодого Валанса подпоручиком.

В тот же вечер Валанс отправился в свой полк. Он пришел проститься с Людовиком и волею-неволею поцеловал его, между тем как Бонапарте держал его за руки. Мальчик принял поцелуй его неохотно и сказал:

— Ну, покуда пусть будет так, а когда мы встретимся и у обоих будут шпаги на боку...

Движение, выражавшее угрозу, dokonчило его фразу. Валанс отправился.

10-го октября 1785 года Бонапарте сам получил диплом на чин подпоручика: это был один из пятидесяти восьми дипломов, подписанных Людовиком XVI для военного училища.

Одиннадцать лет спустя, 15-го ноября 1796 года, Бонапарте, главнокомандующий итальянской армией, был перед Аркольским мостом, защищаемым двумя полками хорватов и двумя пушками. Видя, что картечь и ружейный огонь истребляют его солдат, чувствуя, что победа ускользает из его рук, страшась колебания, заметного в храбрейших людях, он вырвал из пальцев убитого знаменщика трехцветное знамя и бросился на мост, крикнув:

— Солдаты! Неужели вы не таковы, какими были при Лоди? — Тут он заметил, что один молодой поручик уже впереди и заслонил его своим телом.

Не этого хотел Бонапарте: он хотел идти первый, хотел, если бы только было возможно, пройти один.

Он схватил молодого человека за платье и отвлек его назад, говоря:

— Ты, гражданин, только поручик, а я главнокомандующий. Мне быть впереди!

— Совершенно справедливо, — отвечал поручик и устремился вслед за Бонапарте, а не впереди его.

Вечером, уже зная, что две австрийские дивизии были совершенно истреблены, видя две тысячи пленных, считая пушки и знамена, отнятые у неприятеля, Бонапарте вспомнил о молодом поручике, которого заметил он впереди себя в то мгновение, когда думал, что перед ним была только смерть.

— Бертье, — сказал он, — отдай приказание моему адъютанту Валансу отыскать молодого гренадерского поручика, с которым я столкнулся сегодня утром на Аркольском мосту.

— Генерал, — отвечал Бертье, запинаясь, — Валанс ранен.

— В самом деле, я не видал его сегодня. Ранен? Где? Как? В сражении?

— Нет, генерал, вчера у него была ссора, и ему прокололи грудь шпагой.

Бонапарте нахмурил брови.

— Вокруг меня знают, однако ж, что я не люблю дуэлей; кровь солдата принадлежит не ему, а Франции. Отдай то же приказание Мюирону.

— Он убит, генерал.

— В таком случае Эллиоту.

— Он также убит.

Бонапарте вынул из кармана платок и провел им по лбу, смоченному потом.

— Ну, прикажи кому угодно. Я хочу видеть того поручика.

Он не посмел назвать никого больше, страшась, что в ушах его снова раздастся страшное слово: «Убит».

Через четверть часа молодой поручик был уже введен в его палатку. Лампа кидала слабый свет вокруг.

— Подойдите, поручик, — сказал Бонапарте.

Молодой человек сделал три шага и вошел в круг света.

— Так это вы, — продолжал Бонапарте, — хотели сегодня утром идти впереди меня?

— Я бился об заклад об этом, генерал, — отвечал весело молодой поручик, и его голос заставил главнокомандующего вздрогнуть.

— Так я причиной, что вы проиграли заклад?

— Может быть, да, может быть, нет.

— А о чем был заклад?

— О том, что я сегодня буду капитаном.

— Вы выиграли.

— Благодарю, генерал.

Молодой человек бросился, как будто хотел пожать руку Бонапарте, но тотчас подался опять назад. Блеск лампы осветил на мгновение его лицо, в котором, так же как перед этим в голосе, Бонапарте признал что-то знакомое. Он старался припомнить, но память упрямилась.

— Я вас знаю, — сказал он.

— Может быть, генерал.

— Даже верно, что знаю, только не могу вспомнить вашего имени.

— А вы с своим сделали то, генерал, что его нельзя забыть.

— Кто вы?

— Спросите у Валанса, генерал.

— Людовик де Монревель! — радостно воскликнул Бонапарте и протянул к нему руки.

На этот раз молодой поручик не удерживал себя и кинулся к нему в объятия.

— Хорошо, — сказал Бонапарте, — неделю ты прослужишь в новом своем чине, чтобы привыкли видеть тебя с капитанскими эполетами; потом ты заменишь моего бедного Мюирона в качестве адъютанта. Ступай.

— Еще раз обнимите меня, генерал! — сказал молодой человек, протягивая к нему руки.

— О, да, — весело промолвил Бонапарте и, обняв его в другой раз, прибавил, держа за руки школьного товарища:

— Ты дрался с Валансом и ранил его?

— Как же, генерал, — отвечал новый капитан и будущий адъютант, — я при вас обещал ему это, а у солдата слово то же, что дело.

Неделю спустя капитан Монревель исправлял должность адъютанта при главнокомандующем, который, вместо имени Людовика, неблагозвучного в то время, дал ему вымышленное имя Ролана. Молодой человек утешился, перестав происходить от святого Людовика и сделавшись племянником Карла Великого.

Ролан — никто не думал называть капитана Монревеля Людовиком, как только Бонапарте назвал его Роланом, — Ролан совершил Итальянский поход и воротился с главнокомандующим в Париж после Кампо-Формийского мира.

Когда решено было совершить поход в Египет, Ролан, находившийся у своей матери по случаю смерти бригадного генерала Монревеля, убитого на Рейне в то время, как сын его сражался на берегах Эча и Минчио, Ролан был в числе первых, назначенных главнокомандующим участвовать в бесполезном, но поэтическом крестовом походе, предпринятом им тогда.

Мать Ролана, сестра Амели и маленький брат Эдуард жили менее чем в трех лье от города Бура, в месте рождения генерала Монревеля, у которого был там прелестный дом, называвшийся замок; дом да ферма с несколькими сотнями десятин земли в окрестностях составляли все достояние генерала и приносили от шести до восьми тысяч ливров дохода.

Отъезд Ролана в поход, самый загадочный, был большим прискорбием для несчастной вдовы. Казалось, что смерть отца грозит тем же и сыну, а г-жа де Монревель, тихая и нежная креолка, вовсе не обладала строгими добродетелями спартанских матерей.

Бонапарте любил всем сердцем школьного своего товарища и позволил ему явиться к себе перед самым отбытием из Тулона; но из страха опоздать Ролан не воспользовался данным ему дозволением. Он расстался с своею матерью, обещая ей то, чего не думал исполнить, то есть не вдаваться в опасности без крайней необходимости, и прибыл в Марсель за неделю до отплытия флота.

Мы не намерены рассказывать о походе в Египет больше, нежели рассказали об Итальянском походе, и упомянем только о том, что совершенно необходимо для ясности в нашей истории и для развития характера Ролана.

19-го мая Бонапарте и весь его штаб отплыли на восток; 15-го июня Мальтийские рыцари вручили ему ключи от своей цитадели. 2-го июля армия сделала высадку в Марабу, взяла в тот же день Александрию, а 25-го Бонапарте вступил в Каир, разбив мамелюков при Хебрейссе и при пирамидах.

Во время этих переходов и сражений Ролан был, каким мы знаем его: мужественным, веселым, остроумным офицером; не ду-

мал о палящем жаре дня, о ледяной росе ночей; кидался, как герой или как сумасшедший, навстречу турецким саблям и пулям бедуинов.

Во время сорока дней плавания он неотступно был с толмачом Вентурою, так что с удивительно своею легкостью он научился не то чтобы говорить бегло, а по крайней мере объясняться по-арабски. Потому-то часто случалось, что, когда главнокомандующий не хотел обращаться к присяжному переводчику, он поручал Ролану передавать разные сообщения муфтиям, улемам и шейхам.

Ночью с 20-го на 21-е октября в Каире был бунт. В пять часов утра узнали, что генерал Дюпюи заколот пикой; в восемь часов, когда полагали, что восстание уже усмирено, адъютант убитого генерала прискакал с известием, что бедуины из окрестностей угрожают Баб-эль-Насру, или воротам Победы.

Бонапарте завтракал со своим адъютантом Сулковским, раненым при Салахии так тяжело, что он с трудом вставал с одра своих страданий.

Озабоченный Бонапарте не вспомнил о состоянии молодого поляка и сказал ему:

— Сулковский! Возьмите пятнадцать конвойных и узнайте, чего хотят эти негодяи.

Сулковский встал.

— Генерал, — сказал Ролан, — поручите это мне. Товарищ мой, как вы видите, едва может стоять.

— Правда, — сказал Бонапарте, — ступай.

Ролан отправился с пятнадцатью конвойными. Но приказание было отдано Сулковскому, и последний дорожил его исполнением.

Он также поехал с пятью или шестью всадниками, которых нашел в готовности.

Случайно ли или потому, что он лучше Ролана знал улицы Каира, он несколькими секундами опередил его у ворот Победы. По прибытии туда же Ролан увидел, что арабы уводят какого-то офицера, уже перебив пятерых или шестерых его проводников. Иногда арабы, беспощадно умерщвлявшие солдат, щадили офицеров, в надежде получить за них выкуп.

Ролан узнал Сулковского, указал на него саблю своим пятнадцати конвойным и пустился с ними в атаку.

Через полчаса один конвойный воротился в главную квартиру и объявил, что Сулковский, Ролан и двадцать его товарищей убиты.

Мы уже сказали, что Бонапарте любил Ролана, как брата, как сына, как любил он Евгения. Желая знать несчастье во всех подробностях, он сам расспрашивал конвойного. Тот сказал, что видел, как один араб снес голову у Сулковского и воткнул ее на аркач своего седла. Под Роланом была убита лошадь; он, однако ж, высвободил ноги из стремян и, вскочив, еще бился, но вскоре исчез в дыму ружейных выстрелов: стреляли почти в упор.

Бонапарте вздохнул, выронил слезу, прошептал: «Еще один!» —

и, казалось, не думал больше об этом. Он только осведомился, к какому арабскому племени принадлежали бедуины, умертвившие двух человек, которых он особенно любил. Он узнал, что племя было непокоренное и селение их находилось лье в десяти.

Бонапарте оставил их целый месяц верить, что они не понесут возмездия; потом он приказал одному из своих адъютантов, Круазье, окружить их селение, истребить хижины, отрубить головы всем мужчинам и привезти их в мешках, а остальных людей, то есть женщин и детей, пригнать в Каир.

Круазье в точности исполнил приказание: привел в Каир всех женщин и детей, которых могли захватить, и вместе с ними одного араба живого, связанного и привязанного к его лошади.

— Зачем же этот живой? — спросил Бонапарте. — Я велел отрубить голову всем, кто в состоянии носить оружие.

— Генерал, — сказал Круазье, который также болтал немного по-арабски, — когда хотели отрубить голову этому человеку, я понял из его слов, что он предлагает свою жизнь за одного нашего пленного у них. Можно всегда снести ему голову, подумал я, и привел его. Если он обманул меня, церемония совершится здесь, а не там, вот вся разница. Что отложено, то не потеряно.

Призвали толмача Вентуру, и он допросил пленного. Бедуин сказал, что он спас жизнь французскому офицеру, тяжело раненному у ворот Победы, что этот офицер говорит немного по-арабски и называет себя адъютантом генерала Бонапарте, что он отправил его к своему брату, лекарю в соседнем племени, что офицер в плену у этого племени, и если ему, бедуину, обещают жизнь, он напишет к своему брату, чтобы тот прислал пленного.

Это могло быть баснею, выдуманною для выигрыша времени, но могло быть и истиной. Араба посадили под стражу: дали ему табла, который написал письмо под его диктовку; он запечатал письмо своею печатью, и один каирский араб отправился вести переговоры. В случае успеха бедуин получал жизнь, а переговорщик пятьсот пиастров.

Через три дня посланный возвратился с Роланом. Бонапарте ожидал этого возвращения, но не верил ему. Сердце его, которое казалось не чувствительным к горести, смягчилось от радости. Он принял Ролана в свои объятия, как в тот день, когда он встретил его после разлуки, и две слезы — две жемчужины — слезы у Бонапарте были редки — выкатились из глаз его.

Что касается Ролана — странное дело! — он оставался мрачен, посреди радости, произведенной возвращением его; он подтвердил рассказ араба, просил об освобождении его, но постоянно отказывался расказать хотя малейшую подробность о том, как он был взят бедуинами и как поступил с ним талейб. Сулковского убили и отрезали ему голову перед самим Роланом; о нём нечего было и думать.

Ролан занял свое прежнее место, и только стали замечать, что

его обычная храбрость превратилась в дерзость; что прежде было у него потребностью славы, то, по-видимому, сделалось потребностью найти смерть.

Во время похода в Сирию к Джебцзари-паше посылали двух парламентаров с требованием, чтобы он сдался; ни один из парламентаров не воротился: обоим были отрезаны головы. Надобно было послать третьего. Ролан вызвался, настаивал, чтобы его послали, добился этого неустанными просьбами у главнокомандующего и — возвратился.

Он был на всех девятнадцати приступах, сделанных против крепости; во время каждого видели его на бреши; он был одним из десяти человек, пробившихся в Проклятую Башню; девятеро остались там; он возвратился без царапины.

Во время отступления Бонапарте приказал всем оставшимся в армии кавалеристам давать своих лошадей раненым и больным, но в этом случае всякий избегал зачумленных, боясь заразы. Ролан отдавал свою лошадь преимущественно им: трое свалились с нее; он садился на лошадь после них и прибыл жив и здоров в Каир.

Под Абукиром он бросился в рукопашную схватку, пробился до самого паши, сквозь окружавшую его толпу черных, схватил его за бороду и выдержал огонь двух его пистолетов: один осекся, пуля другого пролетела под рукой Ролана и убила кавалериста, бывшего позади.

Когда Бонапарте решился возвратиться во Францию, он одному из первых Ролану сообщил о своем намерении; всякий подпрыгнул бы от радости при известии о возвращении в отечество; Ролан остался мрачен, печален и сказал:

— А пусть бы мы остались здесь, генерал: мне здесь больше случаев умереть.

Но с его стороны было бы неблагодарно не следовать за главнокомандующим. Он отправился с ним.

Во время плавания от Египта до Франции он был угрюм и бесстрастен. Около Корсики показался английский флот: только при этом он, казалось, ожил. Бонапарте объявил адмиралу Гантому, что бой будет насмерть, и отдал приказание лучше взорвать фрегат на воздух, нежели спустить флаг.

Посреди английского флота прошли незаметно и благополучно вышли на берег во Фрежюсе. При этом каждый старался первым коснуться земли Франции. Ролан сошел на берег последний.

Главнокомандующий, по-видимому, не обращал внимания на эти подробности; но ни одна из них не ускользнула от него. Он отправил Евгения, Бертье, Бурьена, своих адъютантов, свою свиту через Гап и Драгиньян. Сам он поехал инкогнито через Э, желая составить себе понятие о состоянии юга, и взял с собою только Ролана.

В надежде, что свидание с родными снова прольет жизнь в его сердце, пораженное каким-то неведомым недугом, он объявил ему

по приезде в Э, что оставит его в Лионе и даст на три недели отпуск, в виде награды ему и желая нечаянно обрадовать его мать и сестру.

— Благодарю, генерал, — отвечал Ролан, — моя сестра и моя мать будут рады свиданию со мной.

А в прежнее время Ролан отвечал бы:

— Благодарю, генерал, я буду счастлив, свидевшись с матерью и сестрой.

Мы видели, что происходило в Авиньоне, видели, с каким глубоким презрением к опасности, с каким горьким отвращением к жизни Ролан шел на дуэль. Мы знаем также, какую причину своей беззаботности при виде смерти высказал он сэру Джону: хороша или дурна была эта причина, истинна или вымышлена? Сэр Джон должен был удовлетворяться ею, какова она ни была; ясно, что Ролан не хотел сказать другой.

Между тем, как мы уже упомянули, оба путешественника спали или показывали вид, что спят, быстро увлекаемые двумя почтовыми лошадьми по дороге от Авиньона к Оранжу.

Глава VI

МОРГАН

Да позволят нам читатели оставить на минуту Ролана и сэра Джона. Мы видели этих господ в таком расположении, физическом и нравственном, что беспокоиться о них нечего, а между тем мы должны заняться еще одним лицом; оно явилось перед нами на мгновение, но будет играть важную роль в нашем рассказе.

Мы говорим о том человеке, замаскированном и вооруженном, который приходил в столовую Авиньонской гостиницы возвратить Жану Пико тючок с двумястами луидорами, захваченными по ошибке, вместе с деньгами правительства. Мы видели, что дерзкий бандит, назвавший себя Морганом, приехал в Авиньон среди дня, верхом и в маске. Входя в гостиницу Дворца Равенства, он оставил своего коня у ворот, и, точно будто и конь его был в папском и королевском городе таким же неприкосновенным, как его хозяин, — по выходе он нашел его там же, вскочил в седло, выехал из города в Ульские ворота, проскакал подле городских стен и исчез на дороге в Лион.

Отъехав четверть лье от Авиньона, он снова окутался плащом, чтобы прохожие не видели его вооружения, снял маску и спрятал ее в чушку седла.

После этого оставленные им за общим столом в таком недоумении о страшном Моргане, об этом ужасе юга, могли бы, если бы находились на дороге из Авиньона в Бедарид, увериться собственными глазами, была ли наружность бандита так же страшна, как его слава.

Мы прямо скажем, что они увидели бы человека, мало сходного с идеею, какую составило себе о нем предубежденное воображение, и чрезвычайно удивились бы.

В самом деле, когда маска была снята нежною и белою рукою всадника, под нею явилось лицо молодого человека лет двадцати четырех или пяти, правильное, с выражением кротким, как у женщины.

Только одна подробность этого лица могла, по-видимому, придавать ему, по крайней мере в некоторые минуты, характер необыкновенной твердости: под прекрасными светлыми волосами, осенявшими лоб и висевшими по обеим сторонам лица, как это было в обычае, — брови, глаза и ресницы совершенно черные. Во всем остальном, как мы сказали, лицо это походило на женское. Под тучею волос, висевших локонами, которые у щеголей назывались собачьими ушами, два небольшие уха, прямой совершенно правильный нос, рот довольно большой, но с розовыми губами, улыбающийся и выказывавший при этом чудесные зубы, подбородок тонкий и нежный, слегка подернутый синевою и показывавший, что если бы он не был тщательно выбрит, то, в противоположность золотистого цвета волос на голове, борода на нем была бы так же черна, как брови, ресницы и глаза, — таковы были подробности этого лица.

О росте незнакомца можно было судить еще в столовой гостиницы: он был высок, строен, гибок и обличал если не силу мускулов, то по крайней мере необычайную ловкость и подвижность. По уверенности, с какою незнакомец сидел на лошади, можно было видеть в нем превосходного всадника.

Когда он накинул на себя плащ, спрятал маску и надвинул на глаза шляпу, он снова поехал быстро, проскакал через Бедарид и, достигнув первых домов Оранжа, въехал в большие ворота, которые тотчас же затворились.

Слуга ждал его и схватил под уздцы лошадь, с которой всадник быстро прыгнул.

— Господин твой здесь? — спросил он.

— Нет, барон, — отвечал слуга, — он должен был уехать ночью и сказал, что если господин барон приедет и спросит о нем, то отвечать, что, дескать, в отъезде по делам общества.

— Хорошо, Батист, возвращаю лошадь его в исправности, хотя и немного усталую; надобно вымыть ее водкой и два или три дня давать ей не овса, а ячменя; со вчерашнего утра она пробежала лье сорок.

— Угодила ли она господину барону?

— И очень. А карета готова?

— Как же, господин барон, совсем заложенная ждет в сарае, а ямщик пьет с Жюльеном; мне приказали держать его подальше от domu, чтобы он не видел, как вы приедете.

— Он уверен, что повезет твоего барина?

— Как же, господин барон; вот и паспорт моего барина;

с этим паспортом ходили за лошадьми на почту; а так как мой барин поехал в Бордо с паспортом господина барона, а господин барон едет к Женеве с паспортом моего барина, то, кажись, клубок запутан изрядно, и госпожа полиция не вдруг распутает его своими чуткими пальцами.

— Отвяжи чемодан, который на крестце лошади, и дай мне его, Батист!

Батист, исполняя приказание, чуть не уронил чемодан на землю.

— О! — сказал он, смеясь. — Господин барон не предупредил меня!.. Тьфу, пропасть! Видно, господин барон не тратил времени попусту!

— А вот и ошибаешься, Батист! Хотя не все время прошло попусту, однако я потратил его много; потому-то и желал бы отправиться как можно скорее.

— Не позавтракает ли господин барон?

— Съем наскоро что-нибудь.

— Задержки не будет: теперь два часа пополудни, а завтрак ждет с десяти часов утра; счастье, что все холодные кушанья.

Батист почтительно указал ему, куда идти в столовую.

— Не беспокойся, я знаю дорогу, — сказал гость, — займись лучше каретой: чтобы она стояла у самого подъезда и чтобы дверцы были открыты, когда я выйду; ящик не должен видеть меня. А вот ему и плата за первый переезд.

Незнакомец, называемый бароном, отдал Батисту пук ассигнаций.

— Да этим можно заплатить за переезд до Лиона! — сказал слуга.

— Заплати только до Валанса, под предлогом, что я хочу спать; остаток за труды твои по счетам с ним.

— А чемодан прикажете положить в ящик?

— Я сам положу его туда.

Он взял чемодан из рук слуги, не показывая, как было это тяжело, и пошел в столовую, между тем как Батист, приводя в порядок ассигнации, отправился к соседнему кабаку.

Незнакомец правду сказал, что дорога была ему знакома: он прошел по коридору, не задумываясь отворил первую дверь, потом вторую и за этой второй очутился перед роскошно сервированным столом.

Дичь, пара куропаток, окорок, сыры разных сортов, десерт из чудесных фруктов и два графина, один с вином рубинового цвета, другой с вином топазового цвета, — вот что составляло завтрак, приготовленный, как видно было, для одного человека, потому что прибор был поставлен один; но такого завтрака хватило бы для трех или четырех человек.

Войдя в столовую, молодой человек прежде всего подошел к

зеркалу, снял шляпу, поправил волосы гребнем, который вынул он из своего кармана; потом подошел к фаянсовому умывальнику, взял полотенце, по-видимому, нарочно приготовленное, и вымыл себе руки и лицо. Окончив эту заботу о себе, показывавшую человека, привыкшего к опрятности, он сел за стол.

Несколько минут довольно было ему на удовлетворение аппетита, хотя утомление и молодость придали этому аппетиту огромные размеры. Когда Батист явился к одинокому гостю с извещением, что карета готова, он увидел его готовым.

Незнакомец нахлобучил шляпу на глаза, завернулся в плащ, взял свой чемодан под мышку, а так как Батист позаботился подвезти карету ближе к двери, путешественник шагнул в нее почти невидимо для ямщика. Батист запер за ним дверцы и, обратившись к вознице в длинных сапогах, спросил:

— Ведь все заплачено до Валанса? И прогоны и на водку?

— Все, не хочешь ли взять расписку? — отвечал возница, подшучивая на свой лад.

— Нет, но г. маркиз де Рибье, мой барин, желает, чтобы его не тревожили до Валанса.

— И дело! — отвечал возница тем же насмешливым тоном. — Не потревожим гражданина маркиза. Ну, пошел!

Он тронул лошадей и хлопнул своим бичом так шумно-красноречиво, как будто хотел сказать всем близким и встречным: «Берегитесь вы, а не то вам же хуже: везу такую особу, которая хорошо платит и имеет право давить людей своим экипажем!»

В карете мнимый маркиз де Рибье поднял стекла, опустил шторы, открыл ящик под сиденьем, положил туда свой чемодан, сел, завернулся в плащ и, уверенный, что его не разбудят до Валанса, заснул так же, как позавтракал, то есть со всем аппетитом юности.

Переезд от Оранжа до Валанса продолжался восемь часов. Немного не доехав до города, путешественник проснулся. Осторожно приподняв шторы, он увидел, что проезжал через подгородное селение Пальяс. Уже было темно; он нажал пружину часов: они прозвонили одиннадцать. Он решил, что не стоит больше спать. Он сосчитал, сколько придется заплатить до Лиона, и приготовил деньги.

Когда валансский ямщик подошел сменить прежнего, этот сказал ему:

— Кажись, он из прежних, но в Оранже его рекомендовали, и он платит по двадцати су на водку, так уж надо везти его как патриота.

— Так и повезем, — отвечал валансский почталыон.

Путешественник понял, что пора заговорить, и поднял шторы.

— Да, ты и не ошибаешься, — сказал он. — Патриот! Вот еще! Похвалюсь, что я патриот, да еще и первого сорта! А в доказательство вот тебе: выпей за здоровье республики.

И он дал ямщику, который рекомендовал его своему товарищу,

пссигнацию в сто франков. Новый возница с жадностью глядел на клочок бумаги.

— Вот и тебе такая же, если ты станешь рекомендовать другим, как твой товарищ рекомендует тебе.

— О, гражданин! Будьте спокойны, — отвечал почтальон. — До Лиона всем будет один приказ: скачи сломя голову!

— А вот вперед за шестнадцать станций, и в том числе двойная плата за первую станцию, на водку по двадцати су; уж вы устройте это между собой.

Ямщик погнал во всю прыть.

В четыре часа пополудни карета остановилась в Лионе. Покуда переменяли лошадей, человек, одетый как артельщик, с крючком за спиною, встал с тумбы, на которой он сидел, приблизился к карете и сказал потихоньку несколько слов молодому товарищу Ииуя. Этот, по-видимому, чрезвычайно изумленный, спросил:

— Да уверен ли ты в том?

— Говорю тебе, что видел его сам, собственными глазами, — отвечал артельщик.

— Стало быть, я могу объявить об этом нашим друзьям?

— Можешь, только поторопись.

— А в Сервас послано известие?

— Да, уж тебе приготовлена лошадь между Сервасом и Сю.

Подходил ямщик. Молодой человек обменялся последним взглядом с артельщиком, который удалился поспешно, как будто ему передали письмо для доставления кому-нибудь.

— По какой дороге, гражданин? — спросил возница.

— По дороге в Бур; в Сервас быть к девяти часам вечера; на водку тридцать су.

— Четырнадцать лье в пять часов; тяжеленько, но можно.

— Да будет ли так?

— Постараемся.

Ямщик пустил лошадей во всю скачь. Было девять часов, когда въезжали в Сервас.

— Эю в шесть ливров, если не останавливаясь провезешь меня наполовину дороги к Сю! — закричал молодой человек.

— Идет! — отвечал возница, и карета пролетела, не останавливаясь перед почтовым двором.

Проехав полчетверти лье от Серваса, Морган велел остановиться, высунул голову в окно кареты, поднес руки ко рту и прокричал по-совиному.

Подражание было удачно, в ближней роще сова отвечала ему таким же криком.

— Здесь! — вскрикнул Морган.

— А здесь, так незачем и ехать дальше, — сказал ямщик.

Молодой человек взял свой чемодан, отворил дверцу, вышел из кареты и сказал, подошедши к вознице:

— Вот обещанное эю в шесть ливров.

Тот взял экю и вставил его в глаз, как вставляют нынешние модники свой монокль.

Морган понял, что это имело свое значение.

— Ну? Что же это значит? — спросил он.

— А то, — отвечал почтальон, — что я все-таки вижу одним глазом.

— Разумею, — возразил молодой человек, смеясь, — а если я заткну и другой глаз?

— Ну, тогда я не буду видеть ничего.

— Вот проказник, который желает лучше быть слепым, нежели кривым! Но о вкусах спорить не приходится. Возьми!

Он дал ему еще экю. Ямщик вставил его в свой другой глаз, поворотил лошадей и поехал обратно к Сервасу.

Товарищ Ииуя подождал, пока он не скрылся в темноте, и, представив ко рту ключ с трубочкой, произвел им продолжительный, дрожащий свист, какой производят боцманы своими свистками.

Такой же свист отвечал ему; немедленно всадник выехал из рощи и подскочил к нему. Завидев его, Морган снова надел на свое лицо маску. Подъехавший скрывал свое лицо под шляпою с огромными полями.

— Во имя кого приходите вы? — спросил он.

— Во имя пророка Елисея, — отвечал замаскированный.

— Я ожидал вас, — сказал незнакомец и сошел с лошади.

— Ты пророк или ученик? — спросил Морган.

— Ученик, — отвечал тот.

— А где твой начальник?

— Вы найдете его в Сельонском монастыре.

— Не знаешь ли, сколько там собралось товарищей в этот вечер?

— Двенадцать.

— Хорошо, если встретишь еще кого-нибудь из наших, посылай всех в собрание.

Человек, назвавший себя учеником, поклонился в знак повиновения, помог Моргану привязать его чемодан к седлу и почтительно держал под уздцы лошадь, пока тот садился на нее.

Морган еще не успел вложить другой своей ноги в стремя, как уже кольнул лошадь, и она понеслась, вырвавшись из рук ученика.

Направо от дороги чернелся, как море мрака, Сельонский лес, где ночной ветер шевелил ветви и глухо шумел между ними.

Всадник, проскакав еще немного по дороге, поворотил лошадь через луг к лесу, который, с своей стороны, казалось, двигался навстречу к нему. Лошадь, управляемая опытной рукой, смело углубилась туда, и через десять минут всадник явился уже на другой стороне леса.

В ста шагах от него возвышалась темная масса, отдельно видневшаяся посреди равнины. Это было здание старинной архитектуры, обставленное пятью или шестью вековыми деревьями. Всад-

ник остановился перед огромными воротами, над которыми в треугольнике стояли три изваяния, обыкновенно означающие вход в католические монастыри. Всадник был перед Картезианским Сельонским монастырем.

Этот монастырь, двадцать второй в списке монастырей Картезианского ордена, был основан в 1178 году. В 1672 году на месте древнего монастыря были построены новые здания, и их-то остатки видны там и до сих пор. Они представляют снаружи тот фасад, украшенный тремя статуями, перед которым остановился таинственный всадник, а внутри небольшую часовню со входом направо под большими воротами. Крестьянин, его жена и двое детей живут теперь там, и древний монастырь превратился в ферму.

В 1791 году картезианцы были изгнаны из своего монастыря. В 1792 году монастырские здания и земли были назначены в продажу; кроме парка, к ним принадлежал лес, называемый и ныне Сельонским. Но в Буре, населенном роялистами, людьми набожными, никто не решился принять на душу грех покупкой достояния, принадлежавшего уважаемым отшельникам. Следствием было, что монастырь, парк и лес сделались, под именем общественного достояния, собственностью республики, то есть не принадлежали никому. Это очень понятно: республике, с ее 21-м января, 31-м мая, 30-м октября, 9-м термидора, 1-м прериала и 18-м фрюктидора недосуг было поправлять стены, копать гряды в огороде и заниматься правильной рубкой леса. Уже семь лет как монастырь оставался в запустении, и, если случайно любопытный взгляд проникал туда сквозь замочную щель, он видел, что трава росла там во дворах, плелись в огороде, кусты переплетались в лесу, который сделался непроходимым, кроме одной дороги через него и двух-трех тропинок.

Род павильона, называвшийся Ла-Коррери, который принадлежал монастырю и находился от него на четверти лье, оставленный в лесу, вскоре был заслонен со всех сторон ветвями и отпрысками деревьев, обвинивших его самыми фантастическими узорами зелени.

Странные слухи пересказывались об этих двух зданиях. Одни говорили, что там бывают гости, невидимые днем, страшные ночью. Дровосеки и запоздалые поселяне, еще пользовавшиеся иногда в лесу республики правами, как бывало во времена картезианцев, с уверенностью утверждали, что сквозь щели запертых ставней бывают видны огоньки, мелькающие по коридорам и на лестницах зданий, а на плитах помостов бывают слышны звуки цепей. Вольнодумцы не верили рассказам; но в противоположность им, два разряда людей подтверждали слухи и, сообразно своим мнениям и поверьям, объясняли различно ужасные звуки цепей и мелькающие ночью огоньки: патриоты говорили, что это души бедных монахов, которые были зарыты живыми в подземных тюрьмах во время тирании монастырей; что они возвращаются на землю и требуют мщения своим преследователям, а звуки производят цепями, в которые были закованы; роялисты утверждали, что сам дьявол поселился в монасты-

ре, откуда изгнаны благочестивые отшельники, но как те, которые отрицали, так и те, которые утверждали, — никогда не осмеливались прийти туда в торжественный час ночи и удостовериться, точно ли монастырь оставался пустынным или в нем поселились новые жильцы.

Видно, что эти слухи, основательные или нет, ничего не значили для таинственного всадника: несмотря на то, что в Буре уже пробило девять часов, следовательно, было темно, он, как мы уже сказали, подъехал к воротам оставленного монастыря и, не сходя с лошади, вынул один из своих пистолетов и постучал им в запертые ворота три раза. Потом он стал прислушиваться.

С минуту он оставался в сомнении, точно ли было собрание в монастыре, потому что, как он ни приглядывался, как ни прислушивался, не видно было ни огонька, не слышно ни звука. Ему показалось, однако ж, что кто-то осторожными шагами приближался к воротам.

Он постучал снова три раза.

— Кто стучит? — спросил голос.

— Тот, кто послан от Елисея, — отвечал путешественник.

— Какому царю должны повиноваться дети Исаака?

— Иию.

— Какую семью должны они истребить?

— Семью Ахава.

— Пророк или ученик говорит это?

— Пророк.

— Так приветствую тебя в доме Господнем, — сказал голос.

Железные крючья, державшие ворота плотно притворенными, упали, засовы скрипнули в скобках, и одна половина ворот тихо растворилась; всадник на своем коне въехал под темный свод, и ворота снова затворились. Тот, кто отворил их с такой медленностью и затворил так поспешно, был одет в длинный белый балахон картезианцев; капюшон, надвинутый на голову, совершенно скрывал его лицо.

Глава VII

СЕЛЬОНСКИЙ КАРТЕЗИАНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Так же как и первый сообщник, встреченный на дороге в Сю тем, кто присвоил себе название пророка, монах, отворивший ворота, без сомнения, занимал низшую степень в сообществе, потому что он схватил под уздцы лошадь и держал ее, покуда всадник слезал на землю, оказывая таким образом молодому человеку услуги конюшего.

Морган отвязал свой чемодан, вынул из чушек пистолеты и заткнул их за пояс подле тех, которые уже были там, потом он сказал монаху повелительным тоном:

— Я думал, что братья собрались на совет.

— Они точно в собрании, — отвечал монах.

— Где?

— В Ла-Коррери. В последние два дня замечено, что вокруг монастыря бродят подозрительные фигуры, и по верховному приказанию приняты крайние предосторожности.

Молодой человек пожал плечами в знак, что считал эти предосторожности тщетными, и тем же повелительным тоном сказал:

— Вели увести эту лошадь в конюшню и проводи меня в совет.

Монах позвал другого брата и передал ему поводья лошади, а сам зажег факел с лампы, горевшей в небольшой часовне (которую можно видеть даже теперь, направо под главными воротами), и пошел впереди приехавшего.

Он провел его через монастырский двор в сад и там отпер дверь в небольшое здание, похожее на водоем. Когда оба вошли туда, монах тщательно запер дверь и отодвинул ногой камень, по-видимому, лежавший тут случайно: когда под ним открылось кольцо, он поднял за него плиту, закрывавшую вход в подземелье, куда они и спустились по многим ступенькам. Там был коридор со сводом, где могли идти два человека рядом. Минут через пять или шесть подошли к решетке. Монах вынул ключ из-под своего балахона, отпер решетку и, когда прошли за нее, снова замкнул ее, спросив у своего спутника:

— Под каким именем извещу я о вас?

— Под именем брата Моргана.

— Подождите здесь, через пять минут я возвращусь.

Молодой человек сделал знак головою, показывавший, что он знаком со всеми этими предосторожностями и недоверчивостью. Место, где он находился, был погребальный склеп. Он сел на одну из могил и ждал. В самом деле не прошло пяти минут, как монах возвратился.

— Прошу идти за мной, — сказал он. — Братья обрадованы нашим прибытием, они опасались, не приключилось ли несчастья.

Через несколько секунд брат Морган был введен в залу совета.

Двенадцать монахов ожидали его, надвинув капюшоны на глаза, но, как только дверь затворилась за ним и служащий брат исчез, Морган снял с себя маску, — и в то же время все капюшоны откинулись, лица всех братьев открылись.

Никогда ни одна монастырская община не блистала таким собранием прекрасных и веселых молодых людей. Только двое или трое из числа этих странных монахов были лет сорока. Руки всех протянулись к Моргану; двое или трое поцеловали его.

— Ах, право, — сказал один из тех, которые поцеловали его с особой нежностью. — Все время мы были как на иголках! Ведь мы думали, что ты умер или, по крайней мере, в плену...

— Умер, пусть бы так, Амие, но быть пленным — нет, гражда-

нин, как говорят еще иногда, но как не станут говорить скоро, надеюсь. Надобно сказать даже, что дело кончилось с обеих сторон с трогательной вежливостью! Лишь только кондуктор завидел нас, он закричал ямщику: «Остановись!» — и, кажется, даже прибавил: «Я знаю, что это такое». — «А если знаешь, мой друг, — сказал я, — то объяснения будут не длинны». — «Деньги правительства?» — спросил он. «Именно так», — отвечал я. Между тем в карете происходила страшная тревога. «Подожди, мой друг, — прибавил я и прежде всего слез, — да скажи этим господам, и особенно этим дамам, что мы люди порядочные, не тронем их, дам разумеется, не взглянем на тех, которые не высунут голову из окошка». А ведь одна осмелилась, и, правду сказать, очень миленькая. Я послал ей поцелуй, она взвизгнула и укрылась в карету — ну, точно Галатея; однако я не преследовал ее. Между тем, кондуктор шарил в своем сундуке и спешил так, что вместе с деньгами правительства отдал мне двести луидоров, принадлежавших бедному виноторговцу из Бордо.

— А, черт возьми! — сказал тот из братьев, которого Морган назвал именем Амие, употреблявшимся, как и имя Морган, вероятно, только в военное время. — Вот это досадно. Ты знаешь, что Директория организует шайки, действующие нашим именем для того, чтобы заставить думать, будто мы неприятели карманов частных людей, то есть попросту разбойники.

— Постойте, погодите, — возразил Морган. — Отчего же я и запоздал! Я уже слышал нечто подобное в Лионе, а был на половине дороги к Валансу, когда по надписи заметил ошибку. Заметить ее было не трудно. Дуралей будто предвидел, что случится, и написал на своем мешке: Жан Пико, виноторговец во Фронсаке, близ Бордо.

— Ты отослал ему его деньги?

— Нет, сделал лучше: сам отвез.

— Во Фронсак?

— О, нет, в Авиньон. Я не сомневался, что человек такой аккуратный, верно, остановится в первом значительном городе навести справки о своих двухстах луидорах. Я не ошибся: спрашиваю в гостинице, не знают ли гражданина Жана Пико, мне отвечают, что не только знают его, но что он обедает за общим столом. Вхожу в столовую. Вы угадаете, о чем там говорили: о приключении с дилижансом. Судите же, что произвело мое появление! Древний бог, спускавшийся на машине, не развязывал драмы так неожиданно. Спрашиваю, кто из собеседников называется Жан Пико; тот, кто носит это почетное и гармоническое имя, называет себя. Я кладу перед ним двести луидоров и от имени сообщества извиняюсь в беспокойстве, которое причинили ему товарищи Ииуя. Обмениваюсь дружеским знаком с Баржолем, вежливым поклоном с аббатом Рианом — они были тут же, — раскланиваюсь с почтенной компанией и ухожу. Это вздор, но это задержало меня на пятнадцать часов; я

думал, однако ж, что лучше было опоздать, чем оставить ложное мнение о нас. Одобряете ли вы меня?

Общее одобрение было ответом.

— Я нахожу только, — сказал один из присутствовавших, — что с вашей стороны было довольно неосторожно отдавать гражданину Жану Пико деньги лично.

— Любезнейший полковник, — отвечал молодой человек, — есть пословица итальянского происхождения: «Кто хочет, приходит сам, кто не хочет — посылает». Я хотел — и пришел.

— Так, но, если, по несчастию, когда-нибудь вы попадетесь в руки Директории, этот шут, вместо благодарности, поспешит признать вас, а такая признательность дорого обойдется вам.

— Пусть попробует признать!

— А кто помешает ему?

— Да вы думаете, что я с открытым лицом творю свои проказы? Право, любезнейший полковник, вы принимаете меня за кого-нибудь другого. Снять маску хорошо с друзьями, но посреди чужих — извините! Ведь теперь дни карнавала? Почему же не перерядиться мне в Абеллино или Карла Моора, когда господа Гойе, Сейес, Роже-Дюко, Мулен, Баррас наряжаются королями Франции?

— И в маске вы въехали в город?

— Въехал в город, вошел в гостиницу и в столовую. Правда, хотя лицо было закрыто, зато пояс был открыт, а вы видите, он убран довольно красиво.

Молодой человек откинул на стороны плащ и показал пояс, где было заткнуто четыре пистолета и охотничий нож. Потом, с веселостью, которая, по-видимому, составляла главную характерную черту этого беззаботного сообщества, сказал:

— А ведь, вероятно, у меня был свирепый вид? Они непременно приняли меня за покойного Модрена, сошедшего с Савойских гор. Кстати, вот шестьдесят тысяч франков госпожи Директории.

Молодой человек с презрением двинул ногою чемодан, положенный им на пол и издавший при этом металлический звук.

Потом новый собеседник присоединился к своим друзьям, от которых был до тех пор в том расстоянии, какое обыкновенно отделяет говорящего с многими слушателями.

Один из монахов наклонился и поднял чемодан, говоря:

— Презирайте золото сколько хотите, мой любезный Морган, коль скоро это не мешает вам добывать его; но я знаю славных людей, которые с таким же нетерпением ждут шестидесяти тысяч франков, презрительно попираемых вашей ногою, с каким караван в пустыне ждет капли воды.

— Это наши вандейские друзья? Не правда ли? — отвечал Морган. — Эгоисты они, Бог с ними! Они сражаются, они взяли себе розы, а нам оставляют шипы. Да, но неужели они ничего не получают из Англии?

— Как ничего, — отвечал с веселостью один монах, — а в Кибероне ядра и картечь!

— Я говорю не об англичанах, а об Англии, — возразил Морган.

— Оттуда ни одного су.

— Мне кажется, однако ж, — отвечал один из присутствовавших, по-видимому, немножко более рассудительный, нежели его товарищи, — что наши принципиалы могли бы прислать хоть немного золота людям, проливающим свою кровь за монархию! Неужели не подумают они, что Вандея наконец утомится от самой этой преданности, за которую до сих пор, сколько мне известно, она не получила даже спасибо?

— Милый друг, — отвечал Морган, — Вандея — страна великодушия и никогда не утомится, будьте уверены. Да и в чем же было бы достоинство верности, если бы она не имела дела с неблагодарностью? С той минуты, когда преданность встречает признательность, это уже не преданность, а мена, вознагражденная услуга. Будем верны всегда, сохраним преданность сколько можем, господа, и станем просить небо, чтобы оно сделало неблагодарными тех, кому мы преданы, тогда, поверьте, участие наше в истории междоусобных войн будет прекрасно!

Едва Морган окончил свою рыцарскую речь и выразил желание, которому так легко было исполниться, послышались новые три удара в ту дверь, в которую незадолго перед тем ввели его самого.

— Господа! — сказал монах, по-видимому, исправлявший должность председателя. — Скорее капюшоны и маски, мы не знаем, кто войдет к нам.

Глава VIII

НА ЧТО УПОТРЕБЛЯЛИСЬ ДЕНЬГИ ДИРЕКТОРИИ

Все поспешили исполнить приказание: монахи накрылись капюшонами своих длинных балахонов, Морган снова надел маску.

— Войдите, — сказал старшина.

Дверь отворилась: явился брат-служитель.

— Посланный генерала Жоржа Кадудалья просит быть допущенным сюда, — сказал он.

— Отвечал ли он на три слова лозунга?

— Вполне.

— Ввести его.

Брат-служитель вышел и через две секунды воротился, провожая человека, в котором легко было узнать по его костюму крестьянина, а по широкой голове с длинными рыжими волосами — бретонца.

Он вошел почти в середину круга, составленного сидевшими, и, по-видимому, нисколько не робея, глядел попеременно то на одного, то на другого, ожидая, чтобы одна из этих статуй начала говорить.

Президент обратился к нему с вопросом:

— Кто прислал тебя сюда?

— Тот, кто прислал меня, — отвечал крестьянин, — приказал на такой вопрос отвечать, что я пришел от Ииуя.

— Есть у тебя что-нибудь письменное или словесное для передачи нам?

— Я должен отвечать на все ваши вопросы и обменивать клочок бумаги на деньги.

— Хорошо, начнем. Что делают наши вандейские братья?

— Спрятали оружие и ждут от вас одного слова, чтобы снова взяться за него.

— Для чего же они спрятали оружие?

— По повелению Его Величества Людовика XVIII.

— Говорили о воззвании, написанном рукою самого короля?

— Вот копия воззвания.

Крестьянин подал бумагу тому, кто спрашивал его. Тот развернул ее и стал читать:

«Война в высшей степени способствует тому, чтобы сделать королевскую власть ненавистною и грозною. Монархи, возвращающиеся в ее кровавом содействии, никогда не могут быть любимы. Итак, надо оставить кровавые средства и ввериться силе мнения, которое само собою возвращается к спасительным началам. Бог и король вскоре будут общим криком всех французов; надо составить одно могущественное целое из рассеянных элементов роялизма, предоставив воюющую Вандею несчастному ее жребию, идти путем более мирным и менее противоречивым. Западные роялисты пережили свое время, надобно, наконец, опираться на роялистов парижских, которые подготовили все для близкого восстановления монархии».

Председатель поднял голову, ища Моргана взглядом, который сверкнул из-под капюшона.

— Что, брат? — сказал он. — Кажется, вот уж и исполнилось твое недавнее желание. Вандейские и южные роялисты будут иметь все достоинство преданности!

Снова опустив глаза на воззвание, в котором оставалось прочитать две строчки, он продолжал:

«Евреи распяли своего Царя, и с тех пор они скитаются по всему миру; французы казнили своего на гильотине и будут рассеяны по всей земле.

В Банкенбурге, 25-е августа 1799 года, день нашего тезоименитства, год шестой нашего царствования.

Подписано: Людовик».

Молодые люди посмотрели друг на друга.

— Quos vult perdere Jupiter dementat prius *, — сказал Морган.

— Да, — возразил председатель, — но, когда те, кого Юпитер хочет погубить, выражают принцип, надобно поддерживать их не только против Юпитера, но и против них самих. Аякс, среди молний и перунов, цеплялся за скалу и, подымая к небу сжатый кулак, говорил: «Я спасусь, наперекор богам», — и спасся.

Обратившись к посланному Кадудалья, он спросил:

— А что отвечал на воззвание тот, кто прислал тебя?

— Почти то же, что вы отвечали сейчас. Он велел мне увидеться с вами и узнать, решительно ли вы готовы держаться, несмотря ни на что, даже на короля?

— Конечно! — воскликнул Морган.

— Мы готовы, — сказал президент.

— В таком случае, — сказал крестьянин, — все очень хорошо. Вам надобно знать и настоящие, и военные имена новых предводителей. Генерал просит вас употреблять в переписке насколько возможно одни военные имена: он с своей стороны старается поступать так же, говоря о вас.

— Есть список их? — спросил президент.

— Нет, меня могли задержать и захватить список. Я продиктую вам имена: пишите.

Президент сел к столу, взял перо и написал под диктовку вандейского мужа следующие имена:

«Жорж Кадудаль, Иуий или Тэт-Родн; Жозеф Кадудаль, Иуда Маккавей; Лагэ Сент-Илер, Давид; Бюрбан-Малабри, Брав-Ла-Мор, Пульпике, Руайяль Карнаж; Бонфис, Бриз-Барьер; Дамферне, Пиквер; Дюшейла, Курон; Дюпарк, Терибль; Ларош, Митридат; Пюизай, Жан-ле-Блон».

— И вот преемники Шареттов, Стоффле, Кателино, Боншанов, д'Эльбе, Ла-Рошжакленов и Лескюров, — сказал один голос.

Бретонец обернулся к тому, кто сказал это, и возразил:

— Да, если они так же идут на смерть, как предшественники, так чего же еще хотите вы от них?

— Молодец! Славно отвечал! — похвалил его Морган. — Так что...

— Так что, когда наш генерал получит ваш ответ, — прибавил крестьянин, — он тотчас возьмется снова за оружие.

— А если ответ будет таков, что мы не хотим? — спросил кто-то.

— Тем хуже для вас, — возразил крестьянин, — во всяком случае, восстание назначено было на 20-е октября.

— Хорошо, — сказал старшина, — у вашего генерала, благодаря нам, будет чем заплатить жалованье за первый месяц. Где расписка?

* Кого бог (Юпитер) хочет погубить, того он прежде всего лишает разума.

— Вот, — сказал мужик, вынимая из кармана бумагу, на которой было написано:

«Получил от южных и восточных наших братьев, для употребления на общее дело...

Жорж Кадуаль,

Главнокомандующий роялистской армии в Бретани».

Для суммы было оставлено белое место. Председатель спросил:

— Ты умеешь писать?

— Сумею написать три или четыре слова, которых недостает.

— Пиши же: сто тысяч франков.

Бретонец написал и, протягивая руку с бумагой, спросил:

— Вот расписка, где же деньги?

— Наклонись и подыми мешок у твоих ног: в нем шестьдесят тысяч франков. — Обратившись к одному монаху, он спросил: — Монбар! Где еще сорок тысяч?

Монах, названный Монбаром, отпер шкаф, вытащил оттуда мешок, немного поменьше привезенного Морганом, но заключавший в себе довольно круглую сумму, сорок тысяч франков.

— Вот теперь полная сумма, — сказал он.

— Ты, мой друг, поешь и отдохни, — сказал президент. — Отправься завтра.

— Меня там ждут, — сказал вандеец, — наемся и выплещу на лошади. Прощайте, господа. Бог да хранит вас.

Он оборотился и пошел к двери, в которую был введен.

— Подожди, — сказал Морган.

Посланный Жоржа Кадуалья остановился.

— Новость за новость, — продолжал Морган, — скажи генералу Кадуалью, что генерал Бонапарте оставил египетскую армию, вчера вышел на берег во Фрежу и через три дня будет в Париже. Мое известие, конечно, стоит ваших; как вы думаете?

— Это невозможно! — вскрикнули все монахи в один голос.

— А между тем ничего нет вернее, господа, я узнал это от нашего друга Ле-Претра, который за час до меня в Лионе видел, как он останавливался там для перемены лошадей, и узнал его.

— Зачем он приехал во Францию? — спросили два или три голоса.

— О, это мы узнаем не сегодня, так завтра, — сказал Морган. — Вероятно, он возвращается во Францию не за тем, чтобы хранить инкогнито.

— Не теряй же ни минуты и передай эту новость нашим западным братьям, — сказал старшина вандейскому крестьянину. — Еще минуту назад я удерживал тебя, а теперь я говорю тебе: «поезжай».

Крестьянин поклонился и вышел; председатель дождал, пока дверь не затворилась за ним.

— Господа! — сказал он. — Известие, переданное нам братом Морганом, так важно, что я предложу чрезвычайную меру.

— Какую? — спросили товарищи Ииуя в один голос.

— А вот какую: пусть один из нас, выбранный по жребию, отправится в Париж и условленным шифром извещает нас обо всем, что там будет происходить.

— Согласны, — отвечали братья.

— В таком случае, — продолжал председатель, — напишем наши имена, каждое на клочке бумаги, положим все тринадцать клочков в шляпу, и чье имя вынется, тот поедет немедленно.

Все, как будто общим движением, наклонились к столу, написали свои имена на квадратиках бумаги, свернули их и положили в шляпу. Младший был вызван играть роль судьбы. Он вынул одну свернутую бумажку и подал ее председателю; тот развернул ее и прочел:

— Морган.

— Ожидая инструкции от вас, — сказал молодой человек.

— Помните, — произнес торжественно председатель, и монастырские своды придавали необыкновенное величие его словам, — помните, что ваше имя барон де Сент-Эрмин, что ваш отец гильотинирован на Площади Революции, а ваш брат убит в армии Конде. Благородство налагает обязанности: вот ваша инструкция.

— А в остальном? — спросил молодой человек.

— В остальном мы полагаемся на ваш роялизм.

— В таком случае, друзья, позвольте мне проститься с вами сию же минуту. Я желал бы быть на парижской дороге до рассвета, а мне еще необходимо сделать один визит прежде моего отъезда.

Председатель обнял Моргана и сказал ему: «Целую тебя от имени всех братьев. Другому я сказал бы: «Будь храбр, тверд, деятелен», тебе скажу: «Будь осторожен».

Молодой человек приветствовал улыбкой всех своих друзей, обменялся пожатием руки с двумя или тремя из них, завернулся в свой плащ, нахлобучил шляпу на голову и вышел.

ГЛАВА IX

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

В предвидении вновь близкого отъезда конь Моргана был вымыт, вычищен, вытерт, получил двойную порцию овса и снова оседлан и взнуздан, так что молодому человеку оставалось только потребовать его и вскочить на седло.

Едва был он на седле, как дверь, будто волшебством, растворилась перед ним, и конь с ржанием выскочил из нее быстро, позабыв прежний переезд и готовый на новый подвиг.

Выехав из картезианского монастыря, Морган несколько минут оставался в нерешимости, куда ехать: направо или налево? Нако-

нец, он поворотил направо, проехал немного по тропинке, ведущей от Бура к Сельону, опять поворотил направо, но прямо через луг, углубился в угол леса, бывшего на его дороге, вскоре явился на другой стороне его, выехал на большую Понт-Энскую дорогу, скакал по ней с полчаса и остановился перед группой домов, которая называется ныне Сторожевым Домом.

На одном из этих домов, вместо вывески, был пук остролиста: это означало, что тут останавливаются сельские жители и пешеходы утолить жажду, отдохнуть и снова пуститься в длинный и утомительный путь.

Так же, как и у ворот картезианского монастыря, Морган, остановившись, вынул из чушки пистолет и употребил его вместо молотка, но, по всей вероятности, добрые люди, жившие в этой смиренной харчевне, были не заговорщики, и потому отзыв на стук путешественника последовал не так скоро, как у картезианцев.

Наконец, послышались шаги конюха, тяжело ступавшего в своих деревянных башмаках, ворота заскрипели, и добряк, отворивший их, готов был снова запереть ворота, когда увидел всадника, державшего в руке пистолет.

— Это я, Пато, — сказал молодой человек, — не бойся.

— Ах, в самом деле, — сказал мужик, — это вы, г. Шарль. Чего бояться вас! Да ведь знаете, как говаривал наш священник в те времена, как молились Богу: осторожность — матушка безопасности.

— Да, Пато, да, — сказал молодой человек, прыгнув с лошади и опуская серебряную монету в руку конюха, — но будь спокоен: опять станут молиться Богу, а тогда воротится и ваш священник.

— Ох, — простонал добряк, — уж и не верится, чтобы так случилось! Да, скажите, г. Шарль, скоро ли все будет по-старому!

— Обещаю тебе, Пато, сделать все, чтобы ты не вышел из терпения, честное слово! Я так же тороплюсь, как ты, почему и попрошу тебя уже не ложиться спать, мой добрый Пато!

— Э, барин, известное дело: когда вы приезжаете, так мне уж почти в привычку не спать, а о лошадке вашей... Да, что ж это? Вы всякий день на новой лошади? В предпоследний раз была рыжая, намедни в яблоках, а сегодня вороная, да!

— Я прихотлив по природе, любезный Пато, а о лошадке ты не заботься, она всем довольна, только разнуздай ее и оставь оседланную. Постой, сунь этот пистолет в чушку, да побереги вот и эти два.

Морган вынул пистолеты, бывшие у него за поясом, и отдал их конюху.

— Изрядно! Есть чем погорланить!

— Ты знаешь, Пато, говорят, что на дорогах небезопасно.

— Еще бы! Разбойники на всяком шагу, г. Шарль! Слышали вы: остановили, вот на неделе, дилижанс, который шел из Женевы в Бур, да и ограбили все дочиста!

— Право? — сказал Морган. — А кто же это ограбил?

— Да кто! Фарс, больше ничего! Ну, подумайте, они называют себя братьями Иисуса; разумеется, я не поверил им ни слова; ведь братьями Иисуса были двенадцать апостолов.

— В самом деле, — сказал Морган с неизменною своею веселою улыбкой, — не так называют они себя.

— Ну, посудите сами, г. Шарль. Я вам говорю, что плохие времена, и все идет худо.

Качая головою, как мизантроп, которому опротивели люди, Пато повел лошадь в конюшню.

Морган несколько секунд глядел, как удалялся Пато в глубину двора, где мелькали конюшни; потом он обошел плетень, окружавший сад, и спустился к роще, где огромные деревья рисовались в ночном сумраке, с неизменным величием неподвижных громад, осенняя прелестный сельский дом, который был известен в окрестностях под пышным названием замка Черных Фонтанов.

Когда Морган подошел к стене замка, на колокольне деревни Монтаньяк били часы. Он прислушался к этим дрожащим, прерывистым звукам, как бы струею пробегавшим в тишине и спокойствии осенней ночи, и сосчитал одиннадцать ударов. Как много уже совершилось в последние два часа!

Морган ступил еще несколько шагов и стал присматриваться к стене, как будто ища какого-то знакомого места; нашедши его, он вставил носок своего сапога в отверстие между двумя камнями, прыгнул, как тот, кто садится на лошадь, ухватился левою рукою за крышку стены и сначала сел верхом на стене, а потом, с быстротою стрелы, перекинулся на другую сторону.

Все это исполнено было так скоро, ловко, легко, что, если бы случилось кому-нибудь проходить мимо, он подумал бы, что перед ним мелькнул призрак.

И на другой стороне стены Морган сначала остановился и прислушался, между тем как глаза его старались, сколько можно было в темноте, увеличиваемой ветвями осин и тополей, разглядеть глубину небольшой рощи. Все было тихо и пустынно. Морган осмелился продолжать свой путь. Говорим: осмелился, потому что с той минуты, как он приблизился к замку Черных Фонтанов, во всех движениях молодого человека были какая-то робость и нерешительность, мало свойственные его характеру. Ясно было, что он боится не за одного себя.

С такими же предосторожностями вышел он на опушку рощи. Выступив на лужайку, за которою возвышался небольшой замок, он стал рассматривать фасад дома. Из двенадцати окон трех этажей этого дома было освещено только одно окно, угловое, в первом этаже. Небольшой балкон, покрытый молодыми виноградными лозами, которые вились по стене, обвивались вокруг железных прутьев и ниспадали фестонами, выдавался под этим окном и возвышался над садом. С обеих сторон окна были, на самом балконе, ящики с широколиственными деревьями, которые образовывали беседку зелени

под карнизом. Сдвижное жалюзи отделяло балкон от окна; но эта преграда уничтожалась по желанию: стоило только потянуть за шнурок. Сквозь щели этого жалюзи Морган заметил свет в окне.

По первому движению молодой человек хотел пройти по лужайке прямо, но и тут удержали его опасения. Липовая аллея шла вдоль стены до самого дома. Он сделал обход, прошел под темным листовым сводом аллеи до самого конца ее и, как испуганная лань, перебежал пространство между нею и стеною. Там он остановился в густой тени подле дома и отступил на несколько шагов, пристально глядя на окно, но не выходя из сумрака. Потом, дошедши до места, рассчитанного им, он три раза ударил в ладоши.

На этот призыв тень легкая, грациозная, устремилась из глубины комнаты и прильнула к окну. Морган повторил сигнал. Тотчас растворилось окно, быстро взлетело вверх жалюзи, и молодая, очаровательная женщина в белом пеньюаре, с распущенными по плечам светлыми волосами явилась на балконе, в раме зелени.

Молодой человек протянул руки к той, которая сама протягивала руки к нему, и два имени, два крика, вылетевшие из сердца, встретились в воздухе:

— Шарль!

— Амели!

Морган скакнул к стене, уцепился за выпуклости ее, за ветви винограда и через секунду был на балконе.

Началась поэтическая сцена, напоминавшая свидание Ромео и Джульетты, но в это время, посреди тишины и мрака ночи, послышался стук кареты в направлении от большой Понт-Энской дороги к въезду в замок. Стук прекратился подле дома.

Глава X

СЕМЕЙСТВО РОЛАНА

В карете, которая остановилась у ворот, возвратился к своему семейству Ролан, сопровождаемый сэром Джоном.

Его так мало ожидали, что, как уже сказано выше, во всем доме огни были погашены, и все покоилось во мраке и тишине. Ямщик шагов за пятьсот начал из всех сил хлопать своим бичом, но эти звуки не могли пробудить провинциалов, бывших в первом сне.

Когда карета остановилась, Ролан отворил дверцу, выскочил, не прикоснувшись к подножке, и повис у звонка. Минут пять звонил он и при всяком перерыве звона говорил, обращаясь к карете:

— Не прогневайтесь, сэр Джон, потерпите!

Наконец, отворилось одно окошко, и детский, но твердый голос прокричал:

— Кто так звонит?

— А, это ты, Эдуардик, — сказал Ролан, — отворяй скорее!

Ребенок откинулся назад с радостным криком и исчез, но слышно было, как он кричал, пробегая по коридорам: «Мамаша! Проснись! Ролан приехал! Сестра! Приехал большой брат!»

Потом, в своей длинной рубашке и в туфлях, сбегая уже с лестницы, он кричал:

— Сейчас, Ролан, сейчас! Вот и я!

Минуту спустя ключ уже поворачивался в замке, засовы отодвигались, белая фигура появилась на крыльце и не перебежала, а перелетела к решетке, где также прозвучал ключ, и ворота растворились.

Ребенок бросился к Ролану и повис на его шее.

— Ах, брат, брат! — кричал он, целуя молодого человека, и в одно время плакал и смеялся. — Ах, большой брат! Как будут рады мамаша и Амели! Все здоровы! Я самый больной! Да еще Мишель, садовник, ты знаешь, ну? Ушибся! Да зачем ты не в военном? Какой ты гадкий в этом платье! А что же, привез ты мне из Египта пистолеты с серебряным прибором и хорошенькую кривую саблю? Нет? Ах, ты нехороший, не стану целовать тебя. Нет, нет, не бойся! Я все-таки люблю тебя.

Ребенок осыпал брата поцелуями и вопросами.

Англичанин, оставаясь в карете, глядел, высунув голову, и улыбался.

Сквозь восклицания братней нежности послышался голос женщины — голос матери.

— Где он, мой Ролан, мой милый сын? — спрашивала госпожа де Монревель голосом, до того проникнутым радостью, что в нем слышалось страдание. — Где он? Неужели он точно воротился? Он не в плену? Он не убит? Он точно жив?

Заслышав этот голос, Эдуард, как змея, выскользнул из рук брата и, коснувшись ногами земли, отскочил, как мячик, к своей матери.

— Здесь, мама, сюда! — говорил он, увлекая к Ролану свою мать, бывшую в ночном неглиже.

При звуках голоса матери Ролан почувствовал, что лед, тяготивший его грудь, мгновенно растаял, сердце его забилося, как у всех людей, и он вскричал:

— Ах, поистине я был благодарен к Богу, если жизнь еще хранит для меня такие радости.

С рыданием кинулся он на шею к г-же де Монревель, не вспоминая о сэре Джоне, но англичанин, сидя в карете, также почувствовал, что его британская флегма заменилась каким-то живым ощущением: молча утирал он слезы, которые текли по его щекам и смачивали его уста, искривленные улыбкой.

Мальчик, Ролан и мать составляли восхитительную группу, изображавшую нежность.

Вдруг Эдуард, как листик, оторванный ветром, отделился от группы с восклицанием:

— Где же сестра Амели? Где она? — и кинулся к дому, крича: — Сестра Амели! Вставай! Беги сюда!

Слышно было, как малютка начал стучать руками и ногой в дверь; потом стук прекратился, но почти тотчас же послышался снова голос Эдуарда, который кричал:

— Мама! Ролан! Сюда, скорее! Сестре Амели дурно!

Г-жа де Монревель и Ролан бросились на крыльцо; сэр Джон, турист в полном смысле, всегда имевший при себе флакон с солями и ланцеты, вышел из кареты и, повинувшись первому впечатлению, дошел до крыльца, но тут он остановился, сообразив, что еще не был представлен. Эта формальность, несильная для англичанина, оставила его.

Впрочем, та, к которой он хотел идти на помощь, в эту минуту уже сама шла ему навстречу.

Амели при стуке в дверь и криках своего брата, наконец, явилась на верхней площадке лестницы; но, видно, потрясение, произведенное в ней известием о возвращении брата, было так сильно, что, ступив несколько шагов вниз по лестнице почти безотчетно и с величайшим усилием, она тяжело вздохнула и, как цветок от сильного порыва ветра, склонилась, упала или, вернее, легла на лестнице.

Тогда-то Эдуард закричал; но при его восклицаниях Амели снова овладела если не силами, то, по крайней мере, волею, выпрямилась и пролепетала:

— Молчи, Эдуард, молчи, ради Бога! Я иду. — Она ухватилась одною рукою за рампу лестницы, другою оперлась на брата и продолжала сходить по лестнице. На последней ступени она встретила мать и брата Ролана; тогда с усиленным, почти отчаянным движением она кинула обе свои руки на шею Ролана, проговорив:

— Брат! Мой брат!

Ролан почувствовал, что молодая девушка тяжело повисла на его плече, и, говоря: — Ей дурно! Воздуху, больше воздуху! — увлек ее на крыльцо.

Новая группа, совершенно отличная от прежней, явилась перед глазами сэра Джона.

На свежем воздухе Амели вздохнула и выпрямила голову. В это мгновение луна вышла из-за туч и осветила лицо Амели, столь же бледное, как сама луна.

Сэр Джон вскрикнул от удивления: никогда не видывал он мраморной статуи столь совершенной, как этот живой мрамор, бывший перед его глазами.

Надобно сказать, что Амели была удивительно прекрасна в эту минуту.

Формы тела, обрисованные длинным батистовым пеньюаром и напоминавшие древнюю Полимнию, голова, немного склоненная на плечо брата, длинные светлые волосы с золотым отливом,

на красной шали, в которую была закутана Амели обрисовались алебастровые, розовые пальцы, — такую явилась сестра Ролана перед сэром Джоном.

Он не мог не вскрикнуть от удивления. Этот крик напомнил Ролану о нем, и г-жа де Монревель заметила его присутствие.

Эдуард, изумленный при виде чужого человека в доме матери, быстро сбежал на крыльцо и остановился на третьей ступеньке — не от страха идти дальше, но желая остаться в уровень с тем, к кому обращался.

— Кто вы, милостивый государь? — спросил он у сэра Джона. — И что вы здесь делаете?

— Милый Эдуард! — отвечал сэр Джон. — Я друг вашего брата, я привез вам пистолеты с серебряным прибором и дамасскую саблю, которые он вам пообещал.

— Где же они? — спросил ребенок.

— Ах, — сказал сэр Джон, — они в Англии, и пока нельзя привезти их сюда, но ваш большой брат поручится за меня и скажет вам, что на мое слово можно полагаться.

— Да, Эдуард, да, — прибавил Ролан, — если милорд обещает тебе их, то они у тебя будут.

Обращаясь в то же время к г-же де Монревель и к своей сестре, он сказал:

— Извините меня, маменька, и ты, Амели, или, лучше, извинитесь вы сами перед милордом, как умеете: вы заставили меня показаться неблагодарным.

Он подошел к сэру Джону, взял его за руку и продолжал:

— Маменька! Милорд нашел средство в первый день, когда увидел меня, с первой встречи оказать мне великую услугу. Я знаю, что вы не забудете этого, и надеюсь, припомните, что сэр Джон один из ваших лучших друзей. Это он докажет вам сейчас, повторив, что согласен проскучать с нами две или три недели.

— Сударыня, — сказал сэр Джон, — позвольте мне, напротив, не повторять слов друга моего Ролана; не две, не три недели желал бы я провести посреди вашего семейства, а всю мою жизнь.

Г-жа де Монревель сошла с крыльца и протянула к сэру Джону руку; он поцеловал ее с совершенно французскою вежливостью.

— Милорд! — сказала г-жа де Монревель. — Этот дом — ваш; вы вступили в него в день радости, а тот, в который вы оставите его, будет днем сожаления и грусти.

Сэр Джон оборотился к Амели, но она в смущении, что явилась в таком расстроенном состоянии перед чужим, старалась спрятать свою шею под складками пеньюара.

— Я говорю вам и от своего имени и от имени моей дочери. Она еще слишком взволнована неожиданным возвращением своего брата и не может приветствовать вас, как будет приветствовать через минуту, — продолжала г-жа де Монревель, стараясь помочь своей дочери.

— Моя сестра, — сказал Ролан, — позволит моему другу сэру Джону поцеловать ее руку, а он, я уверен, примет это как желание приветствовать его.

Амели пробормотала что-то и медленно протянула свою руку англичанину. На устах ее была болезненная улыбка. Сэр Джон взял руку Амели, но, когда почувствовал, что эта рука была холодна и трепетала, он не поднес ее к губам, а, обратившись к Ролану, сказал:

— Сестра ваша действительно нездорова. Будем думать в этот вечер только об ее здоровье. Я немножко сведущ в медицине, и, если ей угодно переменить честь, которою она удостоивает меня, на дозволение сосчитать удары ее пульса, я буду не менее признателен.

Амели, как будто испугавшись, что угадают причину ее нездоровья, поспешно отняла руку, говоря:

— Ах, нет, милорд знает, что от радости не бывают больны; а только радость свидания с братом причина этого мгновенного расстройства, которое уже прошло. — Обратившись к г-же Монревель, она проговорила быстро, почти лихорадочным голосом:

— Мы забываем, маменька, что эти господа приехали из дальнего путешествия; что, верно, от Лиона и до нашего дома они не останавливались подкрепить себя пищею. Если у Ролана все тот же аппетит, то он не рассердится, что я предоставлю вам принять его и милорда; мой милый братец знает, что я обязана заняться не очень поэтическими, но для него очень важными подробностями хозяйства.

Она действительно оставила свою мать принимать гостей, а сама пошла в дом разбудить горничных и прислугу. В уме сэра Джона произвела она такое же впечатление, какое производит в путешественнике, плывущем по Рейну, явление Лорелеи на скале, с лирою в руках, когда ночной ветер развеивает волны ее золотых волос.

Между тем Морган уже опять сел на своего коня, быстро поскакал по пути к картезианскому монастырю, остановился у ворот его, вынул из кармана листок бумаги, написал на нем несколько слов карандашом, свернул бумагу в трубочку, которую просунул в скважину замка, и выполнил все это, не сходя с седла. Потом он пришпорил своего коня, наклонился к луке, полетел стрелою и исчез в темноте леса, как таинственный Фауст, скачущий на шабаш ведьм горы Брокена.

Слова, написанные им на бумаге, были следующие:

«Луи де Монревель, адъютант генерала Бонапарте, приехал ночью сегодня в замок Черных Фонтанов.

Берегитесь, товарищи Ииуя!»

Но, предупреждая своих товарищей остерегаться Луи де Монревеля, Морган начертил над его именем крест: это означало, что во всяком случае жизнь молодого офицера должна быть для них священна.

Каждый из товарищей Ииуя мог обеспечить таким образом жизнь друга, не давая отчета в своих побуждениях. Морган пользовался своим правом: он оберегал жизнь близкого ему человека.

Глава XI

ЗАМОК ЧЕРНЫХ ФОНТАНОВ

Замок Черных Фонтанов, куда проводили мы двух главных действующих лиц нашего рассказа, занимал одно из прелестнейших мест в той равнине, где находится город Бур.

Парк его, на пространстве пяти или шести десятин усаженный столетними деревьями, был замкнут с трех сторон стенами из песчаного камня, и только перед домом была красивая железная решетка, выкованная по моде времен Людовика XV; с четвертой стороны парк ограничивала речка Рейсусс. Это прелестный ручей, вытекающий из Журно, то есть из подошвы первых разветвлений Юры. Он незаметно льется с юга к северу и впадает в Сону у Флервильского моста против Пон-де-Во, родины Жубера, который, за месяц до описываемой нами эпохи, был убит в кровавом бою при Нови. За Рейсуссом по берегам его вправо и влево от замка Черных Фонтанов тянулись деревни Монтаньяк и Сен-Жюст, над которыми возвышалось местечко Сейзера. Позади его, как воздушные силуэты, рисуются холмы Юры, а над ними можно различить синеватую вершину Бюжейских гор, которые точно будто приподнялись, желая посмотреть через плечо младших своих сестер, что делается в Энской долине.

Против этого восхитительного пейзажа проснулся сэр Джон. Может быть, в первый раз в жизни угрюмый и молчаливый англичанин улыбался природе. Ему казалось, что он в одной из очаровательных Фессалийских долин, прославленных Вергилием, или подле прелестных берегов Линьона, воспетых д'Юрфе, который, что бы ни говорили его биографы, родился недалеко от замка Черных Фонтанов, в доме, еще и теперь не совсем развалившемся.

Три легких удара в дверь отвлекли сэра Джона от созерцания. К нему явился его хозяин Ролан осведомиться, как провел он ночь. Видя его блистающим, как солнце, которое играло на пожелтевших листьях каштановых и липовых деревьев, Ролан сказал:

— Ого, сэр Джон! Позвольте мне поздравить вас: я ожидал увидеть человека, столь же печального, как бедные картезианцы в белых балахонах, пугавшие меня в детстве, — хотя, правду сказать, всегда нелегко было испугать меня, — а нахожу вас в нашем печальном октябре улыбающимся, как майское солнце.

— Мой милый Ролан! — отвечал сэр Джон. — Я почти сирота; я лишился матери в день моего рождения, а отца потерял в двенадцать лет. В те годы, когда детей отдают в школу, я был владельцем

не одного миллиона дохода; но я был одинок в мире, не любил никого, и меня никто не любил. Тихие семейные радости мне совершенно неведомы. С двенадцати до восемнадцати лет я учился в Кембриджском университете; молчаливый, может быть, несколько надменный характер отделял меня от моих молодых товарищей. Восемнадцать лет я путешествовал. Вы — путешественник вооруженный, странствующий по свету под тенью своего знамени, то есть под сенью отечества; у вас всякий день ощущения борьбы, гордости, славы, и потому вы не можете вообразить, что за скука это разъезжанье по городам, областям, государствам для того только, чтобы тут осмотреть церковь, там дворец, оставлять постель в четыре часа утра, по голосу безжалостного путеводаителя, который ведет вас смотреть восхождение солнца на Риги или на Этне, бродить, подобно призраку, мертвецу, посреди этих живых теней, называемых людьми, не зная, где остановиться, не пустить корня ни в какой земле. Да, путешественнику не на кого опереться, не с кем отвести душу! И вот вчера вечером, мой милый Ролан, вдруг в одну минуту, в одну секунду наполнилась пустота моей жизни! Я жил с вами радостями, которых ищущ; я видел, как вы чувствуете их, я видел вокруг вас семью, мне неведомую. Глядя на вашу мать, я сказал себе: верно, такова была и моя! Глядя на вашу сестру, я думал: если бы у меня была сестра, такую желал бы я ее видеть. Целуя вашего брата, я говорил сам себе: у меня мог быть почти таких лет сын, и я оставил бы после себя кого-нибудь в этом мире, между тем как с моим характером, который хорошо известен мне, я умру, как жил, печальный, скучный другим, несносный самому себе. Ах, Ролан, вы счастливец: у вас есть семья, у вас есть слава, юность, и, что не вредит даже мужчине, вы красавец. У вас есть все радости, всякое счастье! Да, вы счастливы, очень счастливы!

— Хорошо, милорд, — отвечал Ролан, — а вы забыли мой аневризм.

Сэр Джон посмотрел на молодого человека с недоверчивым видом. В самом деле, Ролан, казалось, наслаждался несокрушимым здоровьем.

— Отдаю миллион моих доходов за ваш аневризм, — сказал с чувством глубокой грусти лорд Танлей, — только, чтобы с вашим аневризмом вы отдали мне мать, которая плачет от радости при свидании с вами, сестру, которая так глубоко чувствует счастье вашего возвращения, что падает в обморок, и брата, который повис на вашей шее, как чудный, спелый плод на молодом, прекрасном дереве. Вместе с вами отдайте мне этот замок с его свежими рощами, эту речку с зеленеющими и цветущими берегами, эту синюю даль, где белеются, как стаи лебедей, красивые деревушки с их колокольнями, и я беру ваш аневризм, смерть через три, через два года, через год, через шесть месяцев, только дайте шесть месяцев вашей жизни, полной, тревожной, исполненной случайностей и славы! О, я почту себя счастливым человеком!

Ролан захохотал нервическим, особенным своим смехом.

— Ах, — сказал он, — пусть какой-нибудь турист, ветренный путешественник, который нигде не останавливается и не умеет ничего оценить, ни во что углубиться, — пусть он судит обо всем по первому впечатлению и говорит, не отворяя дверей тех хижин, где заперты сумасшедшие, называемые людьми: «Тут счастливы!» Что ж? Вы видите, мой любезнейший, эту прелестную речку, эти цветущие, зеленые луга, эти хорошенькие деревни? Это образ мира, невинности, братолюбия; здесь век Сатурна, золотой век, Эдем, рай! А тут люди, которые режут друг друга! В калькуттских рощах и бенгальских камышах нет таких свирепых тигров, таких кровожадных пантер, какие обитают в этих красивых деревеньках, на этих свежих лужайках, на этой очаровательной речке! После похоронных торжеств в память доброго, великого, бессмертного Марата, которого, наконец-то, бросили, слава Богу, в яму, куда бросают падаль, потому что он был всегда и остался падалью, — после торжеств, на которые каждый приносил урну и выплакивал в нее все свои слезы, наши добрые, кроткие брессанцы, воспитатели кур, выдумали, что республиканцы все убийцы и что они умерщвляли милых брессанцев целыми возами, желая вылечить их от гадкого порока, равно свойственного дикарю и образованному человеку, — убивать подобных себе. Вы не верите? О, мой любезнейший! На дороге в Лон-Ле-Сонье, если вы любопытны, вам покажут место, где, вот не больше, как шесть месяцев тому назад, существовала бойня, от которой сжалось бы сердце у самого жестокого из наших военных рубак. Представьте себе телегу, огромную телегу, в каких возят телят на бойню. В ней-то и везли в Лон-Ле-Сонье груз пленников, тридцать человек. Преступлением их были: безумная восторженность мыслей и угрожающие слова. Все эти люди были связаны, скручены; поникшие их головы качались от толчков; они задыхались от жажды, отчаяния и ужаса; несчастных везли на убой, даже не как во времена Нерона и Коммода — в цирк, умереть в бою, с оружием в руках; нет, их умерщвляли неподвижных, лишенных сил, резали связанных, били не только живых, но и умерших! Когда уже сердце переставало биться в их теле, на него все еще падали удары, глухие, тяжкие, которые терзали мясо, раздробляли кости! И женщины, кроткие и радостные, глядели на это убийство, подымали выше головы детей, хлопавших ручонками! Старики, которым надо было бы думать только о христианской смерти, поощряли возгласами и криками умерщвлять несчастных с возможною утонченностью. Между стариками один семидесятилетний, маленький, напудренный, кокетливый, общелкивал свое кружевное жабо от всякой пылинки, нюхал испанский табак из золотой табакерки с бриллиантовым шифром, клал себе в рот благоуханные лепешки из Севрской бонбоньерки, подаренной ему г-жою Дюбарри и украшенной ее портретом; этот семидесятилетний старичок — заметьте картину, мой любез-

нейший! — топтал каблуками своих башмаков тела, уже превращенные в безобразную массу человеческого мяса, утомлял свою руку, ослабевшую от лет, ударяя камышевою тростью с эмалевым набалдашником по трупам, которые казались ему еще не довольно истолченными! Я видел Монтебелло, Арколе, Риволи, видел пирамиды; думал, что нельзя видеть ничего ужаснее. Поверьте: простой рассказ моей матери, вчера, когда вы удалились в свою комнату, поднял дыбом волосы на голове моей! Боже мой! Вот что объясняет спазмы бедной моей сестры, так же как мой аневризм объясняет мои спазмы.

Сэр Джон смотрел на Ролана и слушал с любопытным изумлением, какое всегда пробуждали в нем мизантропические выходы его молодого друга. В самом деле, Ролан будто подкарауливал в каждом разговоре, где бы ему напасть на человеческий род при малейшем случае. Заметив, какое ощущение внушил он сэру Джону, Ролан совершенно переменял тон и сменил филантропическое увлечение горькою насмешкою.

— Правда, — сказал он, — исключая этого удивительного аристократа, который доканчивал то, что начали убийцы, и подкрашивал человеческого кровью свои выцветшие красные каблуки, убийствами такого рода занимаются люди низшего разряда, мечтатели и мужики, ведь так называли наши предки своих кормильцев. Благородные принимаются за дело, как люди со вкусом. Впрочем, вы видели один случай в Авиньоне и — не правда ли? — не поверили бы, если бы это стал кто-нибудь рассказывать. Эти господа, обиратели дилижансов, действуют с удивительной разборчивостью; у них два лица, кроме маски: иногда они Картуши и Мандрены, иногда Амадисы и Галаоры. Об этих героях больших дорог рассказывают баснословные истории. Вчера мать моя говорила мне об одном Лоране, то есть, вы понимаете, мой любезнейший, что Лоран только военная кличка, под которой скрывают настоящее имя, как под маскою скрывают лицо: этот Лоран соединял в себе все качества героя романов, все совершенства, все экомплишменты, как говорите вы, англичане, потому что, по праву старинных норманнов, вы позволяете себе время от времени обогащать французский язык живописным выражением или словом, которого тщетно просил этот нищий у наших ученых, — они боятся всяких обогащений. Лоран был мужчина идеальной красоты и принадлежал к шайке семидесяти двух товарищей Ииуя, которых недавно судили в Иссенжо; семьдесят были оправданы; он и один из его товарищей были осуждены на смерть. Тотчас же освободили невинных, но Лорана и его товарища приберегли для гильотины. Шутите, господа! Как можно подставить такую красивую голову под неблагоприятное железо палача? Судьи, которые судили, и любопытные, ожидавшие казни красавца Лорана, забыли, что красивое тело само себя рекомендует, как сказал Монтень. У тюремщика была женщина — дочь, сестра, племянница. История — потому

что я рассказываю вам не роман, — история не говорит утвердительно, кто была она, только была женщина, и эта женщина влюбилась в осужденного красавца, да так, что за два часа до казни, когда господин Лоран полагал, что к нему входит палач, и спал или притворялся спящим, как обыкновенно в таких случаях, он увидел ангела-избавителя. Не знаю и потому не могу вам сказать, какими способами освободился он из тюрьмы: любовники не объясняли подробностей, и на то были причины, но верно то — и я повторяю вам, сэр Джон, что рассказываю не сказку, — верно и несомненно, что Лоран освободился, сожалея только, что не мог спасти своего товарища, который был в другой тюрьме. Жансонне в таких же обстоятельствах отказался от бегства и хотел умереть с своими товарищами, но у Жансонне не было головы Антиноя и тела Аполлона; а чем голова красивее, тем больше дорожат ею, это понятно. Итак, он принял услугу и бежал; в ближней деревне ожидала его лошадь, а девушка, чтобы не замедлить или не затруднить его бегства, условилась присоединиться к нему на рассвете. Настал день, а не видать ангела-избавителя. Видно, наш рыцарь больше дорожил своей любовницей, нежели товарищем: он убежал без товарища, но не хотел бежать без любовницы. Было шесть часов утра: время казни; нетерпение одолевало его. С четырех часов он уже три раза оборачивал голову своего коня к городу, и всякий раз приближался к нему больше. При третьем разе в уме его мелькнула мысль, что любовницу схватили и она поплатится за него. Доехав до первых домов города, он пришпорил своего коня и с открытым лицом поскакал по улицам, посреди народа, который только дивился, называя по имени того, кого видел свободным, на лошади, когда ожидал посмотреть, как повезут его связанного на тележке. На месте казни палач узнал, что один из назначенных ему в руки исчез, и в это время Лоран, проезжая по площади, завидел свою избавительницу: она пробиралась сквозь толпу не за тем, чтобы видеть его казнь, а чтобы присоединиться к нему. Он поднял своего коня на дыбы, скакнул к ней, опрокинул трех или четырех зевак грудью своего коня и, добравшись до своей возлюбленной, схватил ее, бросил к себе на коня и с радостным криком ускакал, размахивая шляпою, как Конде в битве при Ленсе. Народ рукоплескал, а женщины признали поступок геройским и влюбились в героя.

Ролан остановился и, заметив, что сэр Джон молчит, посмотрел на него вопросительно.

— Продолжайте, продолжайте, — отвечал англичанин, — я слушаю вас и уверен, что все это вы говорите мне только для того, чтобы дойти до главного, потому-то я и ожидаю.

— Вы правы, мой милейший, — сказал Ролан, смеясь, — и я вижу, что вы знаете меня, точно мы друзья со школьной скамьи. Да! Знаете ли, какая мысль всю ночь вертелась в моем уме? Как бы поближе увидеть этих господ товарищей Ииуя.

— Ну, понимаю. Вы не могли добиться, чтобы де Баржоль убил вас, так хотите попытаться, не убьет ли Морган.

— Или кто другой, мой милый сэръ Джон, — спокойно отвечал молодой офицер, — уверяю вас, что я не имею ничего против Моргана; напротив, хотя первая моя мысль, когда он вошел в залу и сказал свой маленький спич... Ведь вы называете это speech?

Сэръ Джон сделал подтвердительный знак головою.

— Первая мысль моя была схватить его за горло и задушить одною рукою, другою я сорвал бы с него маску.

— Теперь, когда я вас знаю, милый Ролан, я в самом деле спрашиваю себя, как вы могли не привести в исполнение такой прекрасной мысли?

— Клянусь вам, не я виноват в том; я бросился было, но спутник удержал меня.

— Так есть же люди, которые удерживают вас?

— Их немного. Но этот!..

— Стало быть, вы остались при сожалении, что так случилось?

— Нет, право, нет; этот храбрый обиратель дилижансов исполнил свою выходку с дерзостью, которая мне нравится: я инстинктивно люблю храбрых людей. Если бы я не убил Баржоля, я желал бы сделаться его другом. Правда, я мог узнать, до какой степени он был храбр, только тогда, как убил его. Но поговорим о другом. Эта дуэль — одно из скверных моих воспоминаний... Зачем я зашел сюда? Конечно, не за тем, чтобы рассказать вам о товарищах Ииуя или подвигах Лорана... Да, я пришел поговорить с вами о том, что вы предполагаете здесь делать. Я употреблю все усилия, чтобы доставить вам удовольствие, мой милый гость; но против меня в заговоре любезное отечество, вовсе не увеселительное, и ваша нация, которую трудно увеселять.

— Я уже сказал вам, Ролан, — возразил лорд Танлей, протягивая руку молодому человеку, — что замок Черных Фонтанов показался мне раем.

— Согласен. Но чтобы этот рай вскоре не показался вам однообразным, я постараюсь всячески разнообразить ваше время. Любите ли вы археологию, Вестминстер, Кентербери? У нас есть церковь в городе, чудо, кружево мастера Коломбана, а легенду о ней я скажу вам как-нибудь вечером, когда у вас не будет сна. Вы увидите гробницы Маргариты Бурбон, Филиппа Красивого, Маргариты Австрийской. Мы предложим вам великую задачу, ее девиз: *Fortune, infortune, fort' une*, и мне сдается, что я решил ее латинизированным переложением: *Fortuna, infortuna, forti una*. Любите ли вы, мой милый гость; рыбную ловлю? У ног ваших Рейсусс; под вашею рукою коллекция удочек и крючков, принадлежащих Эдуарду, коллекция неводов, принадлежащих Мишелю. Но что касается рыбы, то вы знаете, ее занимаются после всего. Любите ли вы охоту? В ста шагах от нас Сельонский лес; там нельзя охотиться с борзыми, но можно охотиться с ружьем; кажется,

что в рощах прежних моих страшилищ картезианцев уже недостает места для кабанов, диких коз, зайцев и лисиц. Там никто не охотится по той причине, что лес принадлежит правительству, а в наше время правительства нет в наличности. Как адъютант генерала Бонапарте, я заменяю то, чего нет, и посмотрим, осмелится ли кто принять в дурную сторону, что, охотившись против австрийцев на Эге и против мамелюков на Ниле, я охочусь на кабанов, серн, диких коз, лисиц и зайцев на берегах Рейсусса. Итак: день археологии, день рыбной ловли, день охоты; вот уже три. Вы видите, мой милый гость, нам остается позаботиться только о пятнадцати или шестнадцати днях.

— Милый Ролан! — сказал сэр Джон с глубокою грустью и не отвечая на многословную импровизацию молодого офицера. — Неужели вы никогда не скажете мне, какая горячка сжигает вас, какая печаль томит и разрушает?

— Вот это прекрасно! — воскликнул Ролан и захохотал пронзительно и болезненно. — Я никогда не был так весел, как сегодня утром, а у вас сплин, милорд, и вы видите все в черном цвете.

— Когда-нибудь я, — сказал очень серьезно сэр Джон, — буду вашим другом, и вы откроете мне свое сердце, тогда я приму на себя часть ваших печалей.

— И половину моего аневризма... Голодны вы, милорд?

— К чему вы спрашиваете об этом?

— Да вот я слышу на лестнице шаги Эдуарда, он идет сказать нам, что завтрак подан.

В самом деле, Ролан не успел договорить последних слов, как младший брат его вошел и сказал:

— Большой брат Ролан! Маменька и сестра Амели ожидают к завтраку милорда и тебя.

Потом он схватил правую руку англичанина и внимательно стал рассматривать первые три пальца ее.

— Что вы глядите, мой маленький друг? — спросил сэр Джон.

— Я смотрю, есть ли на ваших пальцах чернила.

— А если б были, то что же бы это значило?

— Это значило бы, что вы писали в Англию о моих пистолетах и сабле.

— Нет, я не писал, — сказал сэр Джон. — Но напишу сегодня.

— Слышишь, большой брат Ролан? Через две недели у меня будут пистолеты и сабля!

Радостный ребенок подставил свои розовые щеки, и сэр Джон поцеловал его нежно, как отец сына.

Все трое они сошли в столовую, где ожидали их г-жа де Монревель и Амели.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

В тот же день Ролан отчасти выполнил условленное предположение и повез сэра Джона осматривать Бурскую церковь.

Кто видел прелестную Бурскую часовню, тот знает, что это одно из многих сотен чудес Возрождения. Кто не видел ее, тот, верно, слышал о ней.

Ролан собирался угостить сэра Джона этой исторической редкостью, которой сам не видал лет семь или восемь. Он был чрезвычайно озадачен, когда, остановившись перед фасадом, увидел, что в нишах нет изваяний святых, а все фигуры в портале без голов.

Он потребовал к себе ризничего; на требование его отвечали смехом. Ризничего не было больше. Он осведомился, у кого спросить ключи от церкви. У жандармского капитана, отвечали ему.

Жандармский капитан жил недалеко: близлежащие церковные здания были превращены в казармы. Ролан вошел в комнату капитана, объявил о себе как об адъютанте генерала Бонапарте, и капитан, удостоверенный в том, повинувшись, как младший старшему, подал ему ключи, а сам пошел позади него.

Сэр Джон дожидался у входа и с удивлением разглядывал чудесные украшения фасада, несмотря на то, что они были обломаны.

Ролан отпер дверь и в изумлении отступил назад: церковь была буквально набита сеном, как пушка, заряженная до конца дула.

— Это что такое? — спросил он у жандармского капитана.

— Это, господин офицер, предосторожность муниципальному начальству.

— Как предосторожность муниципального начальства?

— Да.

— К чему? На что?

— На то, чтобы сохранить церковь. Ее хотели сломать, но иешний мэр сделал постановление, что так как в ней производилась служба, ведущая к заблуждению, то в искупление этого церковь должна быть превращена в магазин для фуража.

Ролан расхохотался и, обратившись к сэру Джону, сказал:

— Мой милый лорд! Любопытно было посмотреть эту церковь, но я думаю, что рассказ капитана не менее любопытен. Вы еще найдете в Страсбурге, в Кельне, в Милане церковь или купол, которые стоят Бурской часовни, но не всегда найдете вы таких скотов-правителей, которые решатся сломать образцовое произведение искусства, и такого остроумного мэра, который осмелится превратить церковь в магазин для фуража. Тысячу раз благодарю вас, капитан; вот ваши ключи.

— Я вам говорил в Авиньоне, в первый раз, как имел честь увидеть вас, мой милый Ролан, — возразил сэр Джон, — что французы очень забавный народ.

— На этот раз вы слишком вежливы, милорд, — отвечал Ролан, — вы должны были сказать: очень глупый народ. Послушайте, я понимаю политические катаклизмы, которые тысячу лет коверкают наше общество; понимаю Общины, Пастуро, Жакери, Мальотенов, Варфоломеевскую Ночь, Лигу; понимаю, что пламя междоусобных войн разгорается греческим огнем, а не гаснет в крови; понимаю, что революции, как море, неудержимы во время прилива, а во время отлива уносят с собою установления, ниспровергнутые приливом; я понимаю все это, потому что тут шпага против шпаги, копье против копья, человек против человека, народ против народа; понимаю смертоносный гнет победителей, кровавые противодействия побежденных; понимаю политические вулканы, которые гремят во внутренности земного шара, потрясают землю, ниспровергают троны и монархии, кидают головы на эшафот. Но вот чего я не понимаю: зачем обламывают гранит, лишают покровительства законов памятники, истребляют неодушевленные предметы, которые не принадлежат им, казнят исполинскую библиотеку, где антикварий может читать археологическую историю своей страны!.. Вандалы! Варвары! Нет, дураки! Мстят камням за злодеяния Борджии и беспутства Людовика XVI! О, как хорошо знали эти фараоны, эти Менесы, эти Хеопсы и Озинанды, что человек самое гадкое животное, самое злое, истребительное, — строили пирамиды не из шелковых кружев нашей архитектуры, а из гранитных камней в пятьдесят футов длины! О, как смешно было им в глубине их памятников, когда они видели, что время иступило свою косу об эти памятники, а наши обломали свои ногти! Станем строить пирамиды, милый лорд! Архитектура их не мудреная, изящного в них нет, но они прочны, и это дает случай полководцу сказать через четыре тысячи лет: «Солдаты! Сорок столетий глядят на вас с их вершины!» Клянусь честью, лорд, в эту минуту я желал бы встретить какую-нибудь ветряную мельницу и подрасться с нею.

Разразившись обычным своим смехом, Ролан повлек сэра Джона по направлению к замку.

— Э! — сказал англичанин, останавливая его. — Разве во всем городе нечего осмотреть, кроме Бурской церкви?

— Прежде, мой милый лорд, — отвечал Ролан, — когда она еще не была превращена в сенной магазин, я предложил бы вам сойти в подвалы герцогов Савойских, и вместе поискали бы мы подземного хода, который, говорят, идет на целое лье и находится; как уверяют, в сообщении с гротом Сейзера; притом заметьте, что я не предложил бы такой прогулки никому, кроме англичанина: ведь это было бы возвращение к Удольфским Тайнам знаменитой Анны Редклиф, но вы видите, что это невозможно. Облечемся в траур и пойдем.

— Куда же?

— Право, не знаю. Десять лет назад я повел бы вас в те заведения, где откармливали пулярдок. Вам известно, что бресские пулярдки пользовались европейскою славою; Бур был вспомогательным курятником Страсбурга, этого великого птичника. Но во время Террора воспитателям кур пришлось закрыть свои заведения. Вы помните, что признавали аристократом того, кто ел откормленную курицу, и знаете «братский» припев: «Ah! Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrat'à la lanterne!»* После падения Робеспьера вновь открыли курятники, но с 18-го фруктидора во Франции предписывалось худеть всем, даже птицам. Впрочем, пойдете, за неимением пулярдок я покажу вам другое: площадь, где казнили тех, кто их ел. Да, с тех пор, как я не был в городе, улицы наши названы новыми именами; узнаю их, а не умею назвать.

— А, так вы не республиканец?

— Что вы! Напротив, я считаю себя республиканцем и готов отдать руку на сожжение, как Муций Сцевола, или броситься в пропасть, как Курций, если это нужно для спасения республики, но, к несчастью, у меня так устроена голова, что смешное отражается в ней, схватывает меня под бока, щекочет, — и я могу захохотаться до смерти. Охотно принимаю конституцию 1791 года, но, когда бедный Эро де Сешель пишет к директору Национальной Библиотеки, чтобы он прислал ему законы Миноса, и хочет составить конституцию по образцу той, которою управлялся остров Крит, я нахожу, что мы могли бы удовольствоваться конституцией Ликурга. Мне кажется, январь, февраль, март, сколько бы ни было в них мифологического, не хуже, чем Нивоз, Плювиоз, Вантоз. Не понимаю также, для чего тому, кто в 1789 году назывался Антоном или Хризостомом, называться в 1791-м году Брутом или Кассием? Вот, посмотрите, сделайте милость: эта честная улица называлась Рыночною; спрашиваю: что тут неприличного или аристократического? Нет, теперь она называется... постойте (Ролан посмотрел на надпись)... теперь это улица Революции. Вот другая: она называлась Богородицкою, а теперь называется улицей Храма. Почему она улица Храма? Потому, вероятно, что хотели увековечить то место, где подлый Симон старался научить ремеслу мыловара наследника шестидесяти трех королей; может быть, двумя или одним я ошибаюсь: вы уж не вступайтесь. Наконец, посмотрите, вот третья; она называлась Кревкер; имя Кревкер знаменитое в Брессе, в Бургони, во Фландриях; теперь она именуется улицей Федерации (союза). Федерация дело хорошее, но имя Кревкер было прекрасно. Наконец, видите, она ведет прямо на площадь Гильотины: вот уже это не хорошо, по-моему. Я желал бы, чтобы вовсе не было улиц, которые вели бы на такие площади.

* «Пойдет, пойдет! Бей аристократию!» — припев песенки времен Великой французской революции.

Эта площадь представляет ту выгоду, что она в ста шагах от тюрьмы — экономия, видите ли! Нашему палачу — господину de Bourg — не надобно экипажа. Заметьте, что палач остался с частицею de, означающей дворянство. А площадь удивительно устроена для зрителей, и мой дед Монревель, по имени которого она называется, верно, предвидя ее назначение, решил великую задачу, еще не решенную для театров: тут отовсюду хорошо видно. Если когда-нибудь мне станут отрезать голову — что вовсе не было бы удивительно в наше время, — я пожалею только об одном, что хуже других буду видеть это: место хуже... Ну, теперь взойдем вот сюда, на возвышение, которое называется des Lices. Наши революционеры оставили за ним это имя, верно, потому, что не знали его значения, да и я не знаю его, но помнится мне, что какой-то сэр д'Этавейер вызвал на поединок какого-то фламандского графа и они дрались на этой площадке. Теперь, мой милый лорд, здание нашей тюрьмы даст вам понятие о превратностях человеческой судьбы. Жильбляз переменял звание не чаще, чем этот памятник назначения. До прибытия Цезаря тут был Галльский храм; Цезарь сделал из него римское укрепление; какой-то неизвестный архитектор превратил его в военное укрепление средних веков; владельцы Бейские, по примеру Цезаря, опять сделали его крепостью. Государи Савойские имели в нем резиденцию, и тут-то жила тетка Карла Пятого, когда она посещала свою Бурскую церковь; впрочем, она не имела удовольствия видеть ее оконченною. Наконец, после Лионского трактата, когда Бресская область вновь присоединилась к Франции, тут устроили тюрьму и вместе Палату Правосудия. Милорд! Если вы не любите скрипа железных решеток и скрежета засовов — подождите меня. Мне надобно побывать в одной из темниц.

— Скрип решеток и скрежет засовов не веселят слуха, но все равно; если уж вы приняли на себя мое воспитание, то ведите меня в вашу темницу.

— Так войдем же скорее; мне кажется, будто целая толпа людей хочет говорить со мной.

В самом деле мало-помалу распространился в городе какой-то говор; выходили из домов, составляли группы на улице и указывали на Ролана с любопытством.

Ролан позвонил у решетки, которая и тогда была на том же месте, где теперь, только отворялась на тюремный дворик. Привратник подошел отворить ее.

— А, ты все еще тут, дядя Куртуа? — спросил молодой человек и, обратившись к сэру Джону, сказал:

— Прекрасное имя для тюремщика, милорд? Не правда ли? («Куртуа» значит почти то же, что «учтивец».)

Тюремщик посмотрел на молодого человека с удивлением и спросил сквозь решетку:

— Да как же это вы знаете мое имя, а я не знаю вашего?

— Я знаю не только твое имя, но и твои мысли: ведь ты старый роялист, дядя Куртуа!

— Сделайте милость, оставьте такие дурные шутки и скажите, что вам надо? — проговорил испуганный тюремщик.

— Я желал бы, почтенный мой дядя Куртуа, посмотреть ту темницу, где сидели моя мать и сестра, госпожи де Монревель.

— Как? — воскликнул тюремщик. — Так это вы, господин Луи де Монревель? Ну, правду сказать, где же мне узнать вас! Право, какой вы сделали молодец!

— Неужели, дядя Куртуа? Ну, так в отплату я скажу тебе, что Шарлотта, дочь твоя, сделалась прехорошенькая! Шарлотта горничною у моей сестры, милорд.

— И почитает себя счастливою: говорит, что там ей лучше, чем здесь; да правда ли, что вы адъютантом у генерала Бонапарте?

— Ах, увы, Куртуа: имею эту честь! Ты ведь лучше желал бы видеть меня адъютантом графа д'Артуа или герцога Ангулемского?

— Да замолчите же, господин Людовик!

Сказав это, Куртуа прибавил почти на ухо молодому человеку:

— Скажите-ка: истинная ли правда?

— Что такое, дядя Куртуа?

— А что генерал Бонапарте вчера проехал через Лион?

— Сколько-нибудь правды есть в этой новости, потому что вот уже два раза я слышу ее. А! Теперь понимаю, отчего эти добрые люди так любопытно глядели на меня и, кажется, хотели приступить с вопросами. Они, как ты, дядя Куртуа, желают знать, что им делать по приезде генерала Бонапарте.

— А вы не знаете, что говорят еще?

— Разве говорят еще что-нибудь, дядя Куртуа?

— Еще бы! Говорят, да только потихоньку.

— Что же такое?

— Говорят, что он приехал потребовать у Директории трон его величества Людовика XVIII и возвести короля на его трон; а если гражданин Гойе, как президент, не захочет отдать волею, так он заставит его силою.

— Неужели? — сказал молодой офицер с видом сомнения, явно насмешливым. Но Куртуа подтвердил свои слова, значительно кивнув головой.

— Дело возможное, — сказал молодой человек, — только это не вторая новость, а первая. Теперь, дядя Куртуа, когда ты узнал меня, хочешь ли отворить?

— Вам! Я думаю!

Тюремщик отворил дверь так же охотно, как, по-видимому, прежде не хотел он отворять. Ролан вошел, сэр Джон за ним; тюремщик запер решетку и шел впереди.

Англичанин начинал привыкать к фантастическому характеру

ру своего молодого друга. Сплин — то же, что мизантропия, только без грубостей Тимона и ума Альсеста.

Тюремщик прошел через весь дворик, отделенный от Палаты Правосудия стеною в пятнадцать футов вышины. На середине ее был выступ в несколько футов, и на выдавшейся части была вделана массивная дубовая дверь, чтобы заключенные не имели надобности делать обход через улицу, а проходили бы прямо. Тюремщик, сказали мы, прошел через весь дворик и в левом углу двора взошел на круглую лестницу, которая вела во внутренность тюрьмы.

Мы входим здесь в подробности для того, что после нам надобно будет воротиться к этим местностям, и мы желаем, чтобы тогда они не были незнакомы читателю.

Лестница вела прежде всего в переднюю комнату сторожа-судилища; отсюда другая лестница, в десять ступенек, вела вниз, в первый двор, отделенный от двора заключенных стеною, вроде той, которую мы описали, только в ней было три двери. На оконечности этого двора, через коридор, входили в комнату тюремщика, а из нее, по другому коридору, в темницы, живописно называвшиеся клетками.

Тюремщик остановился перед первою из этих клеток и, удаляясь в ее дверь, проговорил:

— Вот куда засадил я вашу маменьку и сестрицу, чтобы им стоило только постучать, когда понадобится бы позвать Шарлотту или меня.

— А теперь есть кто-нибудь тут?

— Никого нет.

— Так отопри же, пожалуйста, дверь. Лорд Танлей, мой друг, англичанин-филантроп, путешествует для того, чтобы узнать, где лучше содержатся тюрьмы, во Франции или в Англии. Войдите, лорд, войдите.

Ролан вдвинул сэра Джона в дверь, отворенную тюремщиком. Англичанин, очутившись в квадратной конуре футов десяти или двенадцати, сказал:

— Ох, какое мрачное помещение!

— Не правда ли? И вот где, милый лорд, моя мать, достойнейшая из женщин, и сестра, виденная вами, пробыли шесть недель в ожидании, что их выведут отсюда на площадь Бастиона. Заметьте: после этого прошло пять лет, следовательно, сестра моя была только двенадцатилетняя девочка!..

— В чем же состояло их преступление?

— Преступление? Ужасное!.. В годовщину смерти друга народа, Марата, город Бур устроил торжество, и моя мать не согласилась, чтобы сестра Амели представляла при этом одну из дев, назначенных нести урны со слезами Франции. Что же делать? Бедная женщина думала: довольно для отечества, что кровь ее сына и мужа лилась в Италии и Германии. Она ошибалась. Отечество, как видно, требовало еще слез ее дочери, а она полагала,

что это уж слишком много, особенно когда слезы должно было проливать по гражданину Марату. Следствием было, что вечером в день торжества, посреди энтузиазма, возбужденного великим воспоминанием, мать моя подверглась обвинению. К счастью, в Буре не так быстро совершались дела, как в Париже. Один из наших друзей служил в суде; он затянул производство дела, и вдруг было получено известие о падении и смерти Робеспьера. Это остановило многое, между прочим и действие гильотин. Наш друг внушил судилищу, что ветер из Парижа повеял милосердием; подождали неделю-две и, по окончании их, объявили моей матери и сестре, что они свободны. Сообразите же, мой любезнейший, — а это вызывает высшие философские соображения, — что если бы девица Тереза Кабарюс не приехала из Испании во Францию, не вышла замуж за парламентского советника г-на Фонтене, не была схвачена и приведена к проконсулу Гальену, сыну метрдотеля маркиза де Берси; если бы этот сын метрдотеля, в свое время бывший писарем у прокурора, фактором типографии, экспедитором, секретарем Парижской Общины, не находился тогда в командировке в Бордо и не влюбился в Терезу, взятую под арест; если бы 9-го термидора она не послала ему кинжала с словами: «Или тиран умрет сегодня, или я умру завтра»; если бы Сен-Жюст не был остановлен среди своей речи, если бы в этот день у Робеспьера не было перхоты в горле и Гарнье не закричал ему: «Тебя душил кровь Дантона!» Если бы Фуше не потребовал взять его под стражу и если бы Робеспьер не был взят, потом освобожден Общиною и опять взят; если бы ему не раздробило челюсти выстрелом из пистолета и на другой день не казнили его — мать моя, по всем вероятностям, пожертвовала бы головою за то, что не позволила своей дочери плакать по гражданину Марату в одну из двенадцати урн, которые город Бур хотел наполнить своими слезами. Прощай, Куртуа! Ты добрый человек; ты давал моей матери и сестре воды с вином, немножко говядины к их хлебу, немножко надежды их сердцу; ты посылал свою дочь к ним, чтобы они не сами мели пол в своей темнице, — за это стоило бы обогатить тебя; к несчастью, я не богат; но со мною есть пятьдесят луидоров — они твои! Пойдемте, милорд.

Молодой человек увлек сэра Джона прежде, нежели тюремщик опомнился от удивления и успел поблагодарить Ролана или отказаться от его пятидесяти луидоров, — что, надо сознаться, было бы величайшим доказательством бескорыстия тюремщика, особенно когда он был противного мнения с правительством, которому служил.

По выходе из зданий тюрьмы Ролан и сэр Джон увидели, что площадь *des Lices* была наполнена людьми: эти люди узнали, что генерал Бонапарте возвратился во Францию, и кричали во все горло: «Да здравствует Бонапарте!» — одни потому, что действительно удивлялись победителю при Арколе, Риволи и пирамидах,

другие потому, что им, как дяде Куртуа, сказали: он одержал все победы для его величества Людовика XVIII.

Ролан и сэра Джон посетили все, что город Бур мог представить любопытного, и затем отправились по дороге к замку Черных Фонтанов, куда и пришли уже без остановок. Г-жи де Монревель и Амели не было дома. Ролан усадил сэра Джона в кресла и попросил его остаться тут пять минут. Едва прошли эти пять минут, как молодой человек возвратился, держа в руке нечто вроде брошюры, напечатанной на серой бумаге и довольно дурно.

— Мой милый гость! — сказал он. — Мне показалось, будто вы не совсем поверили, что действительно было торжество, о котором я рассказывал вам и которое едва не стоило жизни моей матери и сестре. Вот его программа. Прочитайте, пожалуйста, пока я пойду посмотреть, что сделалось с моими собаками, — потому что, надеюсь, вы уволите меня от дня рыбной ловли и согласитесь перейти прямо к охоте.

Он ушел, оставив в руках сэра Джона постановление муниципалитета города Бур о торжестве в память Марата, происходившем в день его смерти.

Глава XIII

КАБАН

Сэр Джон дочитывал этот любопытный документ, когда г-жа де Монревель и ее дочь вошли в комнату.

Амели, не зная, что Ролан так много говорил о ней с сэром Джоном, удивилась выражению, с каким англичанин смотрел на нее.

Она показалась ему еще восхитительнее, чем прежде. Он понял мать, которая с опасностью для жизни не согласилась, чтобы это очаровательное существо унизило свою юность и красоту, явившись немым лицом, статисткою в торжестве, где смердящая пададь, этот Марат, играл роль божества.

Он вспоминал о холодной, сырой темнице, час назад виденной им, и содрогался при мысли, что нежный и белый горностаий, бывший перед его глазами, оставался там взаперти шесть недель без воздуха и солнца.

Он смотрел на эту шею, может быть, слишком длинную, но, как у лебедя, исполненную неги и грации, и припомнил меланхолическое выражение бедной княгини Ламбаль, которая сказала, проведя рукою по своей шее: «Она не затруднит палача!»

Мысли, проходившие в уме сэра Джона, придали его физиономии выражение, столь отличное от того, какое она представляла обыкновенно, что г-жа де Монревель не могла не спросить, что с ним сделалось.

Тогда сэр Джон рассказал ей о посещении тюрьмы и о том, с каким чувством Ролан входил в темницу, где были заключены его мать и сестра.

Сэр Джон оканчивал свой рассказ, когда послышался звук охотничьего призыва и Ролан вошел, держа у рта охотничий рог. Тотчас отняв его от рта, он сказал:

— Мой милый гость, благодарите мою мать: ей обязан я тем, что завтра у нас будет великолепная охота.

— Как, мне обязан? — спросила г-жа де Монревель.

— Каким образом? — прибавил сэр Джон.

— Ведь я пошел от вас посмотреть, что сделалось с моими собаками? Не так ли?

— По крайней мере, так вы сказали мне.

— У меня были две чудесные собаки: Барбишон и Равода.

— Что же они, издохли? — промолвил сэр Джон.

— Как бы не так! Вообразите, что вот эта баловница, моя маменька, — сказал Ролан, взяв г-жу де Монревель за голову и целуя в обе щеки, — не приказала кидать в реку ни одного щенка от Барбишона и Раводы под предлогом, что это мои собаки, и теперь, мой милый лорд, дети, внуки и правнуки их расплодилось, как потомки Измаила, и у меня уже не пара, а целая свора, двадцать пять чудесных, одинаковых, черных с белыми лапами собак. Вы полюбуетесь их видом и огнем их собачьей природы!

Тут Ролан снова затрубил в рог, и на этот звук прибежал его младший брат.

— Ты завтра на охоту, Ролан! — вскричал он. — И я с тобой, и я, и я!

— Хорошо, — сказал Ролан, — да знаешь ли, какая будет охота?

— Нет, но знаю, что пойду с тобой.

— Мы будем охотиться на кабана.

— О? Вот счастье-то! — проговорил ребенок, хлопнув ручонками.

— Ты с ума сходишь! — сказала г-жа де Монревель, бледнея.

— Почему так, позвольте спросить, госпожа маменька?

— Потому что охота на кабана чрезвычайно опасна.

— Ну, не так же опасна, как охота на людей, а ты видишь, что брат воротился с этой; так и я вернусь с моей.

— Ролан, — сказала г-жа де Монревель, между тем как Амели, глубоко задумавшись, не принимала никакого участия в разговоре. — Ролан, образумь Эдуарда и скажи ему, что он сам не знает, что говорит.

Но Ролан видел и узнавал самого себя в этом ребенке; он не порицал его детской храбрости, а любовался ею.

— Я был бы рад взять тебя с собой, — сказал он ребенку, — но ехать на охоту может только тот, кто по крайней мере знает, что такое ружье.

— А, господин Ролан, — возразил Эдуард, — не угодно ли пойти со мной в сад, да положить вашу шляпу в ста шагах от меня: я покажу вам, что значит ружье.

— Несчастный! — вскрикнула г-жа де Монревель, трепеща всем телом. — От кого ты узнал это?

— А от оружейника в Монтаньяке, ведь у него ружья папаша и Ролана. Ты иногда спрашиваешь, куда я деваю мои деньги? Покупаю порох и пули и учусь убивать австрийцев и арабов, как брат Ролан.

Г-жа де Монревель подняла руки к небу.

— Как быть, маменька! — сказал Ролан. — Кровь говорит в нем! Ведь он Монревель, как же ему бояться пороху? Завтра ты отправляешься с нами, Эдуард.

Ребенок кинулся на шею своему брату.

— А я, — сказал сэр Джон, — берусь сегодня же вооружить вас охотником, как в старину вооружали людей рыцарями. У меня есть прелестный небольшой карабин: я отдам его вам, и это даст вам терпение подождать присылки ваших пистолетов и сабли.

— Что ж? Доволен ли ты, Эдуард? — спросил Ролан.

— Да, но когда же карабин? Если опять надо писать в Англию, так уж, право, я не верю.

— Нет, мой милый друг, стоит только войти в мою комнату и открыть мой ружейный ящик. А это, кажется, можно сделать скоро.

— Сейчас же и пойдемте в вашу комнату.

— Идем, — промолвил сэр Джон и вышел вместе с Эдуардом.

Через минуту, все еще погруженная в свои мысли, Амели встала и также вышла из комнаты. Ни г-жа де Монревель, ни Ролан не обратили на это внимания: у них завязался важный спор. Г-жа де Монревель старалась убедить Ролана, чтобы в следующий день он не брал с собой Эдуарда на охоту, а Ролан доказывал, что брат его, назначенный, как он сам и как отец их, быть солдатом, должен как можно раньше привыкать к пороху и пулям. Спор их еще не кончился, когда Эдуард вошел с карабином на ремне через плечо.

— Посмотри-ка, брат, — сказал он Ролану, — какой чудесный подарок сделал мне милорд. — При этом он благодарил взглядом англичанина, который, еще в дверях, искал глазами Амели, но тщетно.

Подарок, в самом деле, был великолепный: без всякого излишнего украшения, простой, изящной формы, какую вообще отличаются английские ружья, карабин сэра Джона был самой высокой работы. Так же, как пистолеты, уже испытанные Роланом на деле, он вышел из мастерской Ментона и по калибру пули был под цифрой 24. Он, вероятно, был сделан для женщины: это показывал короткий приклад и бархатная подушечка подле ложа. Перво-

начальное назначение делало его самым пригодным оружием для двенадцатилетнего мальчика. Ролан снял карабин с плеч Эдуарда, посмотрел оружие, как знаток, попробовал курки, приложился, перебросил карабин с руки на руку и, возвращая Эдуарду, сказал:

— Поблагодари еще раз милорда: у тебя карабин, сделанный, верно, для сына какого-нибудь короля. Пойдем испробовать его.

И все трое вышли, оставив г-жу де Монревель печальную, как Остида в то время, когда Ахиллес в женском платье выхватил из ножен меч Улисса.

Четверть часа спустя Эдуард возвратился с торжеством и принес своей матери картон величиною с шляпную тулью, куда, ша пятидесяти шагах, он всадил десять пуль из двенадцати. Оба его спутника остались поговорить и погулять в парке.

Г-жа де Монревель выслушала немного хвастливый рассказ Эдуарда о его удаестве и потом поглядела на сына с глубокою, святою тоскою матери, для которой слава не вознаграждает крови, проливаемой для нее...

О, как неблагодарен тот сын, который видел этот взгляд, устремленный на него, и не вспоминает о нем вечно!

Несколько секунд смотрела она с горестью на своего второго сына и, прижав его к сердцу, сказала, почти шепотом, с неудержимым рыданием:

— И ты также! И ты когда-нибудь оставишь свою мать!

— Конечно, маменька, — отвечал ребенок, — надо и мне сделаться генералом, как мой отец, или адъютантом, как брат.

— И быть убитым, как твой отец и как будет, может быть, убит твой брат!..

Да, странная перемена в характере Ролана не укрылась от г-жи де Монревель, и это прибавило еще одно беспокойство к другим, тревожившим ее.

В числе их надобно поставить задумчивость и бледность Амели.

До семнадцати лет Амели была веселое, милое дитя, полное жизни и здоровья. Смерть отца накинула черное покрывало на ее веселость и юность, но эти грозы весны проходят скоро: улыбка, прекрасное солнце рассвета жизни, возвратилась и, как улыбка природы, заблестала сквозь капли той росы сердца, которую называют слезами.

Однажды, месяцев за шесть до описываемой нами эпохи, лицо Амели вдруг стало выражать грусть, щеки побледнели, и, как отлетные птички, улетающие при наступлении туманов, улетел с уст Амели детский смех, исчезла улыбка — и уже не возвращались.

Г-жа де Монревель расспрашивала свою дочь; та уверяла, что она все одна и та же; она даже сделала усилие и стала улыбаться; потом, как круги, произведенные камнем, брошенным в озеро, раздвигаются и мало-помалу исчезают, так материнские беспокойства исчезли мало-помалу при взгляде на лицо Амели.

С удивительным инстинктом матери г-жа де Монревель тотчас подумала о любви, но кого могла любить Амели? В замке Черных Фонтанов никого не принимали; политические смуты рассеяли общество, и Амели никогда не выходила из дому одна. Г-жа де Монревель принуждена была ограничиться догадками.

Возвращение Ролана вернуло ей на минуту надежду, но эта надежда тотчас исчезла, когда она увидела, какое впечатление на Амели производило присутствие брата.

Навстречу к нему вышла не сестра, а привидение — мы помним это. Потом г-жа де Монревель, не переставая наблюдать за Амели, с горестным изумлением заметила, какое действие производил молодой офицер на свою сестру, — она почти страшилась его. Прежде, бывало, когда она глядела на него, глаза ее были полны любви; теперь она глядела на него не иначе как с ужасом.

И еще, не воспользовалась ли Амели первым же мгновением, когда смогла удалиться в свою комнату — единственное место в замке, где она казалась почти в хорошем расположении и где, в последние шесть месяцев, проводила большую часть времени.

Только звон колокола к обеду имел власть заставить ее сойти, и то не прежде, как при втором звонке она пришла в столовую.

День прошел для Ролана и сэра Джона в посещении Бура, как мы видели, и в приготовлениях к завтрашней охоте.

Назначено было с утра до полудня гнать зверя, с полудня до вечера охотиться с собаками. Мишель, отчаянный охотник в заповедных лесах, был неподвижен после вывиха, о котором Эдуард сказал брату при первой встрече. Но он востроился, как только слышал об охоте, вскарабкался на лошадку, служившую для разъездов по хозяйству, и отправился в Сен-Жюст и Монтаньяк пригласить загонщиков. Сам он не мог участвовать ни в загоне зверей, ни в охоте и потому должен был с собаками, с лошадьми сэра Джона и Ролана, так же как с пони Эдуарда, оставаться почти в самой середине леса, где были только две проезжие тропинки и большая дорога; загонщики не могли участвовать в охоте: им назначено было воротиться в замок с настрелянной дичью.

На другой день в шесть часов утра они были у ворот. Мишель должен был отправиться с собаками и лошадьми не раньше одиннадцати часов. Замок Черных Фонтанов находился подле самого леса, следовательно, можно было начать охоту вышедши за решетку замка.

В надежде согнать больше всего диких коз и зайцев, готовились стрелять дробью. Ролан дал Эдуарду простое ружье, с которым он сам охотился в ребячестве, и, не желая слишком доверять осторожности ребенка, не дал ему дуствольного ружья. Карабин, накануне подаренный Эдуарду сэром Джоном, был с нарезным стволом, и потому из него надобно было стрелять пулею. Его отдали Мишелю с тем, чтобы он передал его ребенку, когда подымут кабана, во время второй части охоты.

Для этой второй части охоты Ролан и сэр Джон приготовились также переменить оружие, то есть вместо обыкновенных ружей взять двустольные карабины и охотничьи ножи, с остриями, как у кинжала, и наточенные, как бритва. Ножи эти составляли часть дорожного арсенала сэра Джона; их можно было носить на боку в ножнах или привинтить к дулу в виде штыка.

С первого загона оказалось, что охота будет удачна: убили косулю и двух зайцев.

В полдень три лани, семь косуль, две лисицы были застрелены; видели двух кабанов, но два выстрела крупною дробью застали их только тряхнуть шерстью и скрыться.

Эдуард был совершенно счастлив: он убил одну косулю.

Как наперед было условлено, загонщиков щедро наградили за труд и отправили в замок с настрелянною дичью.

Потрубили, желая знать, где был Мишель. Он отозвался — и меньше чем через десять минут трое охотников присоединились к садовнику, ожидавшему их с лошадьми и собаками.

Мишель выследил двугодовалого кабана, и Жак, старший сын Мишеля, уже подогнал этого зверя, засевавшего в трущобу, шагах в ста от охотников. С передовыми собаками Жак пустился в трущобу; и через пять минут показался кабан. Можно было бы тотчас же убить его или, по крайней мере, выстрелить в него, но это слишком скоро окончилось бы охоту. Спустили всю свору на неприятеля, и при виде этого стада пигмеев, кинувшихся на него, он побежал легким шагом.

До пяти часов собаки гонялись за ним, и он, перебегая с места на место, не решался выйти из чащи леса. Наконец, около пяти часов по лаю и завыванию собак можно было понять, что они окружили его. Это было шагах в ста от павильона, принадлежавшего к картезианскому монастырю, в самой густой чаще леса, куда нельзя было проехать на лошади. Всадники спешили и пошли прямо к тому месту, откуда слышался лай собак; они уклонялись от прямой линии только в местах непроходимых. Но временами болезненный вой означал, что одна из нападавших осмеливалась слишком близко подступить к зверю и получала за это наказание. В двадцати шагах от того места, где происходила эта звериная драма, можно было уже различать действующие лица.

Кабан прислонился к скале, так что нельзя было нападать на него сзади; упершись на две передние лапы, он, сверкая налитыми кровью глазами, выставлял собакам только свою голову, вооруженную двумя огромными клыками. Собаки мелькали перед ним, вокруг него, над ним, толпились, волновались. Пять или шесть раненых уже орошали кровью место сражения, но не переставали нападать с остервенением — или с храбростью, как называют это люди.

Трое охотников прибежали на это зрелище, и при этом выразился характер, возраст, национальность каждого.

Эдуард, самый неосторожный, прибежал первый, встретив по малому росту меньше препятствий на пути.

Ролан, невнимательный ни к какой опасности, искавший ее, когда она не встречалась, прибежал второй.

Наконец, сэр Джон, более медлительный, серьезный, рассудительный, прибыл третий.

Зверь, как только заметил охотников, казалось, перестал обращать внимание на собак. Кровавые глаза его остановились на людях, и единственное произведенное им движение состояло в том, что он быстро сжал челюсти и произвел тем угрожающий звук.

Ролан секунду глядел на это зрелище, явно чувствуя желание броситься, с охотничьим ножом в руке, в середину воюющей группы и зарезать кабана, как мясник зарезывает теленка. Движение его было так понятно, что сэр Джон удержал его за руку, между тем как Эдуард успел сказать:

— Брат! Дай мне выстрелить в кабана!

Ролан удержался, поставил свое ружье к дереву, вынул из ножен охотничий нож и сказал брату:

— Хорошо, стреляй, только прицеливайся хорошенько!

— О, будь спокоен! — отвечал мальчик. Зубы его стиснулись, лицо побледнело, но он решительно и спокойно стал подымать дуло карабина против зверя.

— Вы знаете, что если он промахнется или только ранит его, — сказал сэр Джон, — то мы не успеем оглядеться, как зверь будет уже подле нас.

— Знаю, милорд, но я привычен к этой охоте, — отвечал Ролан, и ноздри его расширились, глаза засверкали, губы полуоткрылись. — Эдуард, стреляй!

Почти вместе с этим словом раздался выстрел, но в то же время, если еще не прежде, зверь с быстротою молнии ринулся на ребенка.

Послышался другой выстрел, и среди дыма сверкнули кровавые глаза кабана. Но на пути зверь встретил Ролана, который, став на колени, держал в руке нож. Секунда — и смешанная группа рухнула на землю, кабан и человек.

Раздался третий выстрел из ружья и затем хохот Ролана.

— Ах, милорд! — сказал молодой офицер. — И порох и пуля потеряны даром! Неужели вы не видите, что у него распорото брюхо! Только освободите меня от этой тяжести, проклятый зверь весит четыреста фунтов и задавит меня.

Прежде нежели сэр Джон наклонился, Ролан мощным движением плеча свалил с себя на сторону труп животного и встал, покрытый кровью, но без царапины.

Маленький Эдуард не успел, а может быть, и не хотел отступить и остался на месте. Правда, он был совершенно заслонен телом своего брата, который двинулся вперед него.

Сэр Джон кинулся в сторону, чтобы взять зверя сбоку.*Ро-

лан отряхивался, и англичанин смотрел на него после этой второй дуэли с таким же точно изумлением, как после первой.

Собаки, из которых оставалось еще десятка два нетронутых, бросились на труп кабана и пытались, но тщетно, рвать его покрытую щетиною кожу, непроницаемую, как железо.

— Вы увидите, — сказал Ролан, вытирая батистовым платком свои руки и лицо, покрытые кровью, — что они съедят его и с вашим ножом, милорд.

— А в самом деле, — сказал сэр Джон. — Где нож?

— На своем месте, — отвечал Ролан.

— Ах, только ручка и видна! — промолвил мальчик.

Он бросился к зверю и выдернул кинжал, в самом деле ушедший под лопатку по самую рукоятку.

Острое лезвие, направленное по верному глазомеру и сильною рукою, прошло до самого сердца.

На теле кабана было еще три раны.

Первая, нанесенная ему выстрелом Эдуарда: ее обозначала кровавая полоса над глазом, но пуля не могла пробить кости лба.

Вторая была нанесена первым выстрелом сэра Джона: пуля пошла вкось и скользнула по шерсти зверя.

Третья, от последнего выстрела, сделанного в упор, прошла насквозь, но была нанесена, как сказал Ролан, уже убитому зверю.

Глава XIV

ЩЕКотЛИВОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Охота окончилась; наступала ночь; надо было возвращаться в замок. В пятидесяти шагах от охотников слышно было нетерпеливое ржание лошадей. Они как будто спрашивали: неужели сомневаются в их мужестве, не позволяя им участвовать в разыгрываемой драме?

Эдуард непременно хотел дотащить кабана до них, положить его на крестец одной лошади и привезти с собой в замок, но Ролан заметил ему, что гораздо проще послать за ним двух человек с носилками. Сэр Джон присоединился к тому же мнению, так что Эдуард, не переставая указывать на рану кабана, заметную на лбу, и повторять: «Вот она! Я метил в это место!» — принужден был согласиться.

Трое охотников вышли на поляну, где оставались их лошади, вскочили в седла и менее нежели в десять минут возвратились в замок.

Г-жа де Монревель ожидала их на крыльце. Уже более часу бедная мать была в трепете, что с которым-нибудь из ее сыновей случилось несчастье.

Как только завидел ее Эдуард, он пустил своего пони в галоп и кричал из-за решетки:

— Мама, мама! Убили кабана, большого кабана! Я метил ему в голову, ты увидишь дыру на голове его от моей пули!.. Ролан всадил ему в брюхо свой нож по самую рукоятку, милорд выстрелил в кабана два раза! Поскорее надо послать людей туда! Не бойся, что Ролан в крови: это кровь зверя, а Ролан целехонек.

Все это Эдуард проговорил своею обычною скороговоркою, между тем как г-жа де Монревель шла от крыльца к воротам и отворяла решетку. Она хотела обнять Эдуарда, но он спрыгнул на землю и сам бросился к ней на шею.

В это время подъехали Ролан и сэр Джон, Амели также явилась на крыльцо. Эдуард оставил мать заботиться вокруг Ролана, который казался страшен от крови, бывшей на нем, и подбежал к сестре, пересказывая то же, что уже говорил матери. Амели слушала его рассеянно. Это, по-видимому, задело его самолюбие, и он побежал в кухню, рассказывать свои подвиги Мишелю, зная, что тот выслушает его.

В самом деле Мишель слушал его с величайшим участием, только, когда он назвал место, где лежал кабан, и стал приказывать именем Ролана послать людей за добычею, Мишель покачал головой.

— Что же? Разве ты не хочешь слушаться брата? — спросил Эдуард.

— Боже сохрани, — отвечал садовник. — Сейчас Жак пойдет в Монтаньяк.

— Разве боишься, что он не найдет никого?

— Найдет десятерых вместо одного, да час-то и место не хороши. Ведь вы сказали, что это подле картезианского павильона?

— В двадцати шагах.

— Лучше, кабы за две мили! — сказал Мишель, почесав затылок. — Ну, да все-таки пошлем за рабочими, не говоря, куда идти и зачем. А тут уж ваш братец сам поговорит с ними.

— Да, да! Пусть только придут: я берусь уговорить их.

— Ох! — простонал Мишель. — Если бы не этот проклятый вывих, я сам пошел бы, ну, да сегодня и ему порядком досталось. Жак! Жак!

Эдуард оставался у Мишеля, покуда он не приказал Жаку идти и пока Жак не отправился в Монтаньяк. Потом он пошел к себе переодеться. Ролан и сэр Джон еще прежде ушли за тем же в свои комнаты.

Разумеется, за обедом только и речей было, что о подвигах на охоте. Эдуард был рад говорить об этом, а сэр Джон, изумленный мужеством, ловкостью и счастьем Ролана, дополнял рассказ ребенка. Г-жа де Монревель содрогалась от каждой подробности, однако же заставляла повторять себе каждую двадцать раз. Всего яснее поняла она то, что Ролан спас жизнь Эдуарда.

— По крайней мере, поблагодарил ли ты его хорошенько? — спросила она у ребенка.

— Кого?

— Большого брата.

— А за что благодарить? Разве я не сделал бы того же для него?

— Видите ли, сударыня, — сказал сэр Джон, — вы газель и потому не можете понять, как от вас произошли львы.

Амели также была очень внимательна к рассказу, особенно с той поры, как узнала, что охотники близко подходили к картезианскому монастырю. Тут она слушала с видимым беспокойством и вздохнула спокойно только тогда, как услышала, что не было надобности углубляться в лес и что охотники возвратились прямо к своим коням.

Обед оканчивался, когда слуга доложил, что Жак привел двух крестьян из Монтаньяка и что они просят объяснить им подробно, в каком месте охотники оставили кабана. Ролан встал и хотел идти к ним, но г-жа де Монревель, которая не могла наглядеться на своего сына, сказала, обратившись к слуге:

— Введи сюда этих добрых людей, зачем Ролану идти к ним.

Через пять минут два мужика вошли, перебирая пальцами свои шляпы.

— Вот что, друзья мои, — сказал Ролан. — Надобно отыскать в Сельонском лесу кабана, которого мы убили.

— Можно, — отвечал один из мужиков и посоветовался взглядом со своим товарищем.

— Можно, — сказал и тот.

— Уж будьте уверены, что вы потрудитесь не даром, — прибавил Ролан.

— Да мы и уверены, ведь знаем вас, г. Монревель, — сказал один мужик.

— Да, — продолжал другой, — знаем, что вы, как и батюшка наш, генерал, не привычны заставлять работать людей даром. О, если бы все аристократы были как вы, не было бы и революции, господин Людовик!

— Не было бы революции, — повторил первый, который, казалось, пришел за тем, чтобы быть эхом своего товарища.

— Только надо знать, где остался зверь в лесу.

— Где остался зверь, — повторил другой.

— Найти его будет вам не трудно.

— Тем лучше, — сказал мужик.

— Ведь вы знаете в лесу павильон?

— Какой?

— Да, какой?

— Павильон картезианского монастыря.

Мужики поглядели друг на друга.

— Ну, вы найдете зверя в двадцати шагах с той стороны павильона, которая в Женудской роще.

Крестьяне опять поглядели друг на друга.

— Хм! — промычал один.

— Хм! — повторил другой, верное эхо своего товарища.

— Ну, что за «хм»? — спросил Ролан.

— Да неловко.

— Что неловко, скажите толком?

— Да уж лучше, кабы это было с другой стороны леса.

— Как с другой стороны леса?

— Да уж так, — прибавил другой.

— Но для чего же с другой стороны леса? — спросил Ролан, начинавший терять терпение. — До другой стороны леса отсюда три лье, а до того места, где кабан, вам надо пройти меньше одного.

— Да, — сказал мужик, — то есть кабан-то в таком месте...

Он остановился и почесал в голове.

— Вот оно что! — прибавил другой.

— Что означает «вот оно что»?

— Да немножко близенько к монастырю.

— Не к монастырю, а к павильону.

— Ну, к павильону, ведь одно и то же, а вы знаете, господин Людовик, говорят, что от павильона к монастырю есть подземный ход.

— Есть подземный ход, верно, — сказал второй мужик.

— Хорошо, — возразил Ролан. — Да монастырь, павильон, подземный ход — разве то же, что кабан?

— Не то, да кабан-то в худом месте.

— Да, в худом месте, — прибавил другой.

— Говорите яснее, болваны! — вскричал Ролан, уже рассердившись, между тем как мать его встревожилась, а Амели побледнела.

— Мы не болваны, извините, господин Людовик, — сказал мужик, — мы христиане и боимся Бога, вот и все!

— Еще лучше, — сказал Ролан. — Я также боюсь Бога, и что же дальше?

— А то, что нам не велено ссориться с нечистой силой.

— Не велено.

— С своим братом, человеком, тут один на один.

— Бывает, что и один идешь на двух, — сказал второй мужик, сложенный как Геркулес.

— А с привидениями, мертвецами да с нечистой силой, нет уж, извините! — продолжал первый.

— Уж извините! — промолвил другой.

— Маменька! Сестра! — спросил Ролан, обращаясь к своей матери и сестре. — Понимаете ли вы хоть что-нибудь в речах этих дуралеев?

— Может быть, мы дурален, — сказал первый мужик, — а

все-таки правда, что когда Петр Марей вздумал посмотреть через стену в картезианский монастырь, так ему и свернули шею. И то сказать, день был субботний.

— Шея так и осталась, — подтвердил другой. — И похоронили его так, что голова глядит назад.

— О, да это делается любопытно, — сказал сэр Джон. — Я очень люблю рассказы о привидениях.

— Не как сестра моя Амели! — вскричал Эдуард.

— А что?

— Да посмотрите, как она побледнела. Не правда ли, брат Ролан?

— В самом деле, ей дурно, кажется, — сказал сэр Джон.

— Нисколько, — возразила Амели, — но не чувствуете ли вы, маменька, что здесь жарко? — Она отерла лоб, покрытый потом.

— Нет, мой друг, — отвечала г-жа де Монревель.

— Однако ж, — сказала Амели, — если б я не боялась обеспокоить вас, то попросила бы позволить открыть окно.

— Открой, мое дитя.

Амели с живостью встала, желая воспользоваться позволением, и, шатаясь, подошла к окну, которое и отворила. Окно было в сад. Она осталась подле растворенного окна, полузакрытая его занавесками.

— Ах, здесь можно свободнее дышать, — сказала она.

Сэр Джон поднялся и хотел поднести ей свой флакон с солями, но она поспешила сказать:

— Нет, нет, милорд, благодарю вас, я чувствую себя совершенно хорошо.

— Кончим же, — сказал Ролан в нетерпении, — наша речь не об этом, а о кабане.

— Да уж так, господин Людовик, что за вашим кабаном надо идти завтра!

— Да, — прибавил второй мужик, — завтра утром будет светло.

— А сегодня вечером?..

— О, сегодня вечером...

Мужики посмотрели друг на друга, оба покачали головою и сказали:

— Идти сегодня вечером нельзя.

— Трусы!

— Господин Людовик, — возразил один мужик, — не трус тот, кто боится...

— Не трус, когда страшно, — прибавил другой.

— Ах, — сказал Ролан, — я желал бы послушать, как посильнее вас кто-нибудь стал бы говорить мне, что не трус тот, кто боится, кому страшно!

— Да ведь чего станешь бояться, господин Людовик. Дайте мне хороший большой нож или здоровую дубинку — я не по-

боюсь идти на волка; дайте мне меткое ружье — не побоюсь никакого человека, хоть бы знал, что он подкарауливает меня и хочет убить.

— А мертвого, хоть бы картезианского монаха, боишься? — спросил Эдуард.

— Вы, маленький барин, — сказал мужик, — оставьте вашего братца разговаривать, вы еще молоденьки шутить мертвецами.

— Да, молоденьки, — прибавил другой. — Дайте хоть бороде-то вырасти на вашем подбородке.

— Бороды нет у меня, — возразил Эдуард, выпрямившись, — но это не помешало бы мне, если б только достало сил, принести сюда кабана. Я пошел бы за ним один, днем или ночью, все равно.

— Дай Бог вам здоровья, маленький барин, а вот мой товарищ и я говорим вам, что не пойдем и за луидор.

— А за два луидора? — сказал Ролан, который захотел довести их до крайности.

— Ни за два, ни за четыре, ни за десять, г. де Монревель; десять луидоров хороши, да на что мне ваши десять луидоров, когда у меня будет свернута шея?

— Да, свернута шея, как у Петра Марей, — сказал второй мужик.

— Вашими десятью луидорами не прокормятся дети и жена во всю жизнь.

— И то, ведь ты говоришь: десять луидоров, — сказал своему товарищу другой, — из десяти-то было бы только пять оттого, что другие пять следовали бы мне.

— Ну, так привидения являются в павильоне? — спросил Ролан.

— Я не говорю: в павильоне, не хочу заверять, что в павильоне, а в картезианском монастыре.

— В монастыре? Ты уверен?

— О, что там они бывают, в этом уверен.

— Ты их видел?

— Не я, а есть люди, которые видели.

— Твой товарищ? — спросил молодой офицер, обратившись к другому мужику.

— Я не видел их, но видел огоньки, а Клод Филиппон слышал стук цепей.

— А! Там есть огоньки и цепи? — спросил Ролан.

— Да, — отвечал мужик, — а что огоньки, так я видел, сам видел!

— А Клод Филиппон слышал, как стучали цепями, — повторил другой.

— Прекрасно, прекрасно, друзья мои! — начал опять Ролан насмешливо. — Итак, вы ни за какую цену не пойдете сегодня вечером?

— Ни за какую.

- Ни за все золото целого света.
— А завтра днем пойдете?
— О, господин Людовик! Вы еще не встанете с постели, а уж кабан будет здесь.
— Вы еще не встанете, а он уже будет здесь, — отвечало эхо.
— Хорошо, — сказал Ролан, — приходите повидаться со мной послезавтра.
— Ладно, г. Людовик, но зачем же?
— Приходите, приходите!
— Ну, придем.
— То есть, как уж вы только сказали «приходите», так уж будьте уверены, г. Людовик, что придем.
— Хорошо, а я вам расскажу о них всю правду.
— О ком?
— О привидениях.

Амели сдержала крик, вылетевший из ее груди; одна г-жа де Монревель расслышала этот крик; Людовик сделал крестьянам прощальное приветствие рукой, а они стиснулись в дверях, стараясь пройти в них оба.

В остальное время вечера уже не говорили больше ни о картезианском монастыре, ни о павильоне, ни о сверхъестественных тамошних обитателях, привидениях и призраках.

Глава XV

ХРАБРЕЦ

Когда пробило десять часов вечера, в замке Черных Фонтанов уже все покоились или, по крайней мере, разошлись по своим комнатам.

В продолжение вечера Амели два или три раза подходила к Ролану, как бы желая что-то сказать ему, но всякий раз слова замирали на губах ее.

Когда вышли из гостиной, она опиралась на руку брата и, хотя комната Ролана была этажом выше ее комнаты, проводила его до самых дверей. Там Ролан поцеловал ее, пожелал доброй ночи и запер дверь, уверяя, что он очень устал.

Несмотря на это уверение, Ролан у себя в комнате не думал переодеваться в ночной костюм. Он подошел к тому месту, где у него было оружие, и выбрал пару великолепных пистолетов Версальской мануфактуры, подаренную отцу его Конвентом, попробовал курки, подул в пистолеты, желая узнать, заряжены ли они, и нашел их в совершенной исправности.

Он положил их рядом на столе, отпер тихонько дверь своей комнаты, взглянул на лестницу, чтобы видеть, не подсматривает

ли кто-нибудь, и, удостоверившись, что в коридоре и на лестнице никого нет, подошел к двери сэра Джона и постучал в нее.

— Войдите, — сказал англичанин.

Сэр Джон также еще не начал своего ночного туалета.

— По знаку, который вы сделали мне, — сказал сэр Джон, — я понял, что вам надо что-то сказать мне, и вот видите, я вас ожидал.

— Конечно, мне надо сказать вам нечто, — отвечал Ролан, весело протянувшись в креслах.

— Мой милый хозяин! — возразил англичанин. — Я уже знаю вас немного, и, когда вижу, что вы так веселы, я, как ваши мужики, — боюсь!

— Да, вы слышали, что они говорили?

— То есть они рассказывали великолепную историю о привидениях. У меня в Англии есть замок, где также являются привидения.

— Вы их видели, милорд?

— Да, когда был еще маленький; к несчастью, с тех пор, как я вырос, они исчезли.

— Они всегда так, — сказал весело Ролан, — являются, исчезают! И какое счастье, право, что я возвратился именно в то время, когда они появились в картезианском монастыре.

— Да, это счастье, только уверены ли вы, что там есть привидения?

— Нет, но послезавтра буду в этом уверен.

— Как?

— Я предполагаю провести там завтрашнюю ночь.

— О, — сказал англичанин, — возьмите же и меня с собой!

— Был бы очень рад, милорд, но, к несчастью, это невозможно.

— Невозможно? Э!

— Да, имею честь доложить вам, милый гость!

— Невозможно! Почему?

— Вы знаете обычаи привидений, милорд? — спросил Ролан с важностью.

— Нет.

— Ну, так я их знаю. Привидения показываются только при известных условиях.

— Объясните мне это.

— Да вот, например, Италия, Испания, страны, известные своими суевериями, а там нет привидений или и бывают они, но в десять, в двадцать, во сто лет раз.

— Отчего же это, по вашему мнению?

— Оттого, милорд, что там нет туманов.

— А-а-а!..

— Без сомнения, вы согласитесь сейчас. Атмосфера привидений — туман. В Шотландии, в Дании, в Англии, в этих странах

гуманов, привидения на всяком шагу, там отец Гамлета, тень Банко, там призраки жертв Ричарда III; в Италии всего-навсего один призрак Цезаря, да и тот где является Бруту? В Филиппах Македонских, в Оракии, то есть в Дании, Греции, в Шотландии Востока, где туман нашел средство навести тоску на Овидия, так что он назвал «Печальями» стихи, которые там написал. Почему Вергилий заставляет тень Анхиза явиться Энею? Потому что Вергилий, мантуанец. Знаете вы Мантую? Болото, жилище лигушек, фабрика ревматизмов, атмосфера паров, — следовательно, гнездо привидений.

— Продолжайте, я слушаю.

— Видели вы берега Рейна?

— Да.

— И Германию?

— Да.

— Ну, вот еще страна фей, ундиин, сильфид и, следовательно, — привидений, а все по милости туманов. Но в Италии, Испании куда прикажете вы спрятаться привидениям? Там нет ни облачка! Да будь я в Испании, в Италии, я даже не попытался бы на завтрашнее приключение.

— Из всего этого я еще не вижу, почему вы отказываетесь взять с собой меня.

— А, погодите, я уже объяснил вам, что привидения не смеют показываться в некоторых странах оттого, что не находят там благоприятных атмосферических условий, дайте же мне объяснить, какие вероятности надобно иметь, когда желают видеть привидения.

— Объясните, объясните! — воскликнул сэр Джон. — Право, я никого не слушаю так охотно, как вас, Ролан!

И в свою очередь сэр Джон протянулся в креслах, приготовляясь с наслаждением послушать импровизацию этого фантастического ума, который он уже узнал с самых противоположных сторон в пять или шесть дней их знакомства. Ролан поклонился ему в знак благодарности.

— Вы сейчас поймете, милорд, в чем тут дело. Я столько слышал рассказов о привидениях, что знаю этих шалунов, словно сам приготовлял их на показ. Для чего являются привидения?

— Вы спрашиваете у меня? — молвил сэр Джон.

— Да, спрашиваю вас, милорд.

— Я не изучал привидений, как вы, и не могу дать положительного ответа на ваш вопрос.

— Вот видите ли! Привидения показываются, мой милый лорд, для того, чтобы испугать того, кому они показывают себя.

— Это неоспоримо.

— Да, если они не пугают того, кому являются, то сами боятся его; доказательством служит Тюренн, у которого привиде-

ния оказались делателями фальшивой монеты. Знаете вы эту историю?

— Нет.

— Я расскажу вам ее когда-нибудь; теперь не станем сбиваться. Так вот почему, когда привидения решаются показать себя (что бывает редко), они выбирают ночь бурную, с молнией, громом, с ветром: это их обстановка.

— Я принужден сознаться, что все это совершенно верно.

— Погодите! Бывают мгновения, когда самый храбрый человек чувствует, как холод пробегает в его жилах. В то время, как у меня еще не было аневризма, это случалось со мною десятки раз: я видел над моей головой молнию от блеска сабель и слышал гром пушек. Правда, с тех пор, как у меня аневризм, я бегу туда, где блещет молния, где грохочет гром, но мне кажется вероятным, что привидения не знают этого и верят, что я могу испугаться.

— Тогда как это невозможно, не правда ли? — спросил сэр Джон.

— Что же вы хотите? Когда вместо того, чтобы пугаться смерти, веришь, справедливо или нет, что есть повод искать смерти, — чего же можно бояться? Но, повторяю, может быть, привидения, которые знают много, не знают этого. Они знают, что чувство страха увеличивается или уменьшается от окружающих предметов. Например, где особенно являются привидения? В местах темных, на кладбищах, в старинных монастырях, в развалинах, в подземельях, потому что уже вид этих местностей располагает к страху. После чего являются они? После звука цепей, после стенаний, вздохов, потому что все это очень незабавно. Они не придут туда, где светло, где раздаются звуки кадрили, нет, страх — бездна, в которую нисходят по ступенькам, до того, что голова начинает кружиться, ноги подкашиваются и вы падаете с закрытыми глазами на дно бездны. Читайте описание всех явлений призраков — вот как они обыкновенно действуют: сначала темнеет небо, гремит гром, воет ветер, окна и двери скрипят, лампа — если только она есть в комнате того, на кого хотят навести страх, — лампа бледнеет, потухает, наступает мрак. И тут-то, во мраке, слышатся жалобные стенания, звук цепей, стоны, отворяется дверь, — и перед вами призрак. Я должен сказать, что все явления призраков, которых я не видал, но о которых читал, были окружены такими аксессуарами. Так ли, сэр Джон?

— Совершенно так.

— Видали ли вы когда-нибудь, чтобы призрак явился двум человекам, когда они вместе?

— В самом деле, никогда не читал и не слышал ничего подобного.

— Дело объясняется очень просто, мой милый лорд; вдвоем, разумеется, не страшно; страх — ощущение таинственное, странное,

не зависящее от воли; для него необходимы темнота, уединение. Призрак не опаснее пушечного ядра. Что же, разве солдат боится пушечного ядра днем, когда он идет с товарищами, когда чуть не дотрагивается до них локтями? Нет, он идет прямо против жерла, будет убит или сам убьет. А вот этого-то и не любят призраки, потому и не являются двойм, потому и я хочу идти в картезианский монастырь один. Ваше присутствие, милорд, самому решительному привидению помешало бы явиться. Если я ничего не увижу или увижу что-нибудь стоящее труда идти туда, — ваша очередь будет послезавтра. Согласны вы на это условие?

— Как нельзя больше! Но почему же не идти мне первому?

— Потому, прежде всего, что не вам пришла идея об этом; во-вторых, потому, что я здешний, что я был в сношениях со всеми этими добрыми монахами, откуда они жили, и по такой-то связи имею одну лишнюю вероятность, что они явятся мне и после своей смерти; наконец, потому, что если случится бежать или преследовать, то, зная местность, я лучше вас отделаюсь от нападения и не допущу до бегства. Находите ли вы справедливым все это, милорд?

— Совершенно, но я пойду на другой же день.

— На другой, на третий день, на всякий день, всякую ночь, если угодно; я отстаиваю только мое первенство. Теперь, — продолжал Ролан, вставая, — это останется между нами, не правда ли? Ни слова никому в целом мире! Привидения могут быть предупреждены и станут действовать сообразно этому. Не надо отдавать себя на посмеяние им, затейникам; это было бы смешно до глупости!

— На меня можете положиться. Вы возьмете с собой оружие?

— Если бы я верил, что буду иметь дело только с привидениями, я пошел бы, просто засунувши руки в карманы; но, как я сейчас вам говорил, я помню о фальшивомонетчиках Тюренна и потому беру с собой пистолеты.

— Не хотите ли взять мои?

— Нет, благодарю; как ни хороши они, я почти решился не употреблять их никогда.

С горькою улыбкою, которой нельзя описать, он прибавил:

— Они несчастливы для меня! Доброй ночи, милорд! Эту ночь я должен спать без просыпу, чтобы зато не спать завтра.

Крепко пожав руку англичанину, он вышел от него и возвратился в свою комнату.

При входе туда он удивился: дверь в его комнату была растворена, хотя он знал наверное, что затворил ее. Это объяснилось тем, что он увидел у себя свою сестру.

— Амели! Это ты? — сказал он с удивлением и почти с беспокойством.

— Да, это я! — отвечала Амели.

Она подошла к своему брату, дала ему поцеловать свой лоб и произнесла умоляющим голосом:

— Ты не пойдешь туда, не правда ли, мой друг?

— Куда? — спросил Ролан.

— В картезианский монастырь.

— Кто сказал тебе, что я иду туда?

— О, разве трудно угадать это, когда я тебя знаю!

— Почему же ты не хочешь, чтобы я шел в картезианский монастырь?

— Я боюсь, что с тобой случится несчастье.

— Как? Ты, ты веришь привидениям? — сказал Ролан, глядя Амели прямо в глаза.

Амели потупила глаза, и Ролан, взявший ее под руку, чувствовал, что рука ее дрожит.

— Та Амели, — продолжал он, — которую знал я, по крайней мере прежде, дочь генерала Монревеля, сестра Ролана, настолько умна, что не может пугаться невежественных рассказов. Невозможно, чтобы ты верила привидениям, призракам, звуку цепей и огонькам, о которых говорит простонародье.

— Если бы я верила им, друг мой, я боялась бы меньше. Если привидения существуют, то это бестелесные души, которые не могут выйти из своих гробниц с реальной враждою. И за что ненавидело бы привидение тебя, Ролан, — тебя, который никогда и никому не сделал зла?

— А ты забываешь тех, кого я убил на войне и дуэлях...

Амели покачала головой и произнесла тихо:

— Этих я не боюсь.

— Чего же боишься ты после этого?

Сестра подняла к Ролану свои прекрасные глаза, смоченные слезами, и кинулась в его объятия, говоря:

— Не знаю, Ролан! Но что же мне делать, когда я боюсь?

Молодой человек с легким усилием приподнял голову Амели, которая скрывала ее на груди его, и сказал кротко и нежно:

— Ты не веришь, что завтра мне придется идти в драку с привидениями, не правда ли?

— Брат! Не ходи в картезианский монастырь! — сказала Амели умоляющим тоном, отклоняя вопрос Ролана.

— Признайся, Амели: ведь маменька поручила тебе требовать от меня этого?

— Ах, брат, нет, маменька не сказала мне о том ни слова. Я сама угадала, что ты хочешь идти туда.

— Если я хочу идти туда, Амели, — сказал Ролан твердо, — то вот что должна ты знать: я пойду.

— Даже когда я умоляла бы тебя, — произнесла Амели почти горестно, — умоляла бы, протягивая к тебе руки, на коленях?..

Она склонилась к ногам своего брата.

— О женщины, женщины, — бормотал Ролан, — существа

неизъяснимые! Слова их таинство, и никогда не выскажут они тайн сердца! Они плачут, просят, трепещут. Отчего? Один Бог знает! А мы, мужчины, никогда!.. Я пойду, Амели, потому что решился идти, а когда я решился на что-нибудь, то никакое могущество мира не в силах изменить моего решения. Теперь поцелуй меня и не бойся ничего, а я скажу тебе потихоньку великую тайну.

Амели подняла голову и устремила на Ролана взгляд вопрошающий и вместе отчаянный.

— Уже более года, как я удостоверился, что, к несчастью, не могу умереть. Так ободрись и будь спокойна.

Ролан произнес эти слова с таким горестным выражением, что Амели, до сих пор удерживавшая свои слезы, не могла не зарыдать, когда возвратилась в свою комнату.

Молодой офицер, удостоверившись, что сестра заперлась в своей комнате, запер и у себя дверь, тихо говоря:

— Посмотрим, кто, наконец, утомится: я или судьба.

Глава XVI

ПРИЗРАК

На другой день, почти в тот же час, в какой мы оставили Ролана, молодой офицер тихонько отворил дверь, убедившись наперед, что все уже в замке спали, спустился с лестницы, удерживая дыхание, отпер в сенях дверь, не застучав ничем, и, сошедши с крыльца, обернулся: темнота во всех окнах убедила его, что в доме все уже успокоилось. Тогда он смело подошел к решетке, и она растворилась под его рукою без звука, — вероятно, потому, что ее железные петли были наперед смазаны маслом. Так же тихо затворилась она, когда Ролан перешел за нее. Быстро двинулся он потом к дороге из Понт-Эна в Бур.

Он не прошел еще и ста шагов, как часы на колокольне в Сен-Жюсте, и за ними, как отдаленное эхо, часы в Монтаньяке, пробили полчаса одиннадцатого.

Молодой человек шел так, что двадцати минут довольно было ему на то, чтобы дойти до картезианского монастыря: он шел не вокруг леса, а прямо по тропинке, которая вела к монастырю. Ролан с детства был знаком со всеми просеками Сельонского леса и потому не хотел терять и десяти минут на бесполезный обход. Не задумываясь, углубился он в лес и через пять минут был уже на другой стороне его. Оттуда ему оставалось пройти немного поляною до стены монастырского сада.

Это потребовало также не более пяти минут.

Подошедши к стене, он остановился на несколько секунд, расстегнул плащ, свернул его в комок и перебросил через стену.

На Ролане был бархатный сюртук, белые лосинные панталоны и сапоги с отверстиями. В поясе, окружавшем его талию, были заткнуты два пистолета. Шляпа с широкими полями затеняла его лицо.

Освободившись от платья, которое могло его затруднять, он отыскал ногою углубление в стене, стал в него носком сапога и перекинулся через верхушку стены на другую сторону ее, почти не коснувшись ее своим телом.

Там он поднял свой плащ, накинул его себе на плечи, застегнул застежками, перешел большими шагами через сад к калитке и вступил в монастырь. В это мгновение било одиннадцать часов.

Покуда били часы, он стоял и считал удары, потом тихо обошел подле всей монастырской ограды и нигде не видал и не слышал ничего.

Монастырь представлял картину запустения; двери были растворены во всех зданиях: в кельях, в часовне, в трапезной зале. В этой огромной зале столы еще стояли на своих местах; но Ролан увидел, что в ней летали пять или шесть летучих мышей; испуганная сова выскользнула в разбитое окно, села на ближнее дерево и провыла своим печальным голосом.

— Хорошо, — сказал Ролан громко, — здесь я и устрою свою главную квартиру; летучие мыши и совы — обыкновенный авангард привидений.

Звук человеческого голоса среди этой пустыни, темноты, этого запустения, отозвался как-то странно и заунывно: он заставил бы содрогнуться даже того, кто говорил, если бы Ролан мог утрашиться чего бы то ни было.

Он стал искать такого места, откуда взглядом мог бы обнять всю залу. В одном конце ее стол, отдельно стоявший на небольшом возвышении, где, вероятно, настоятель читывал вслух благочестивые размышления во время обеда братьев или где он обедал отдельно от них, — показался Ролану лучшим местом для его наблюдений. Прислонившись к стене, он не мог быть взят враспех сзади, и глаза его, привыкнув к потемкам, должны были наблюдать всю залу.

Для сиденья он отыскал в трех шагах от стола опрокинутую скамью, служившую некогда, как видно, отдельному чтецу или брату.

Ролан сел перед столом, отстегнул свой плащ, желая быть совершенно свободным в движениях, вынул из-за пояса пистолеты, положил один перед собой, а древком другого ударил три раза по столу и сказал громко:

— Заседание открыто: привидения могут являться!

Только те, кому случилось ночью, проходя вдвоем через кладбище или церковь, безотчетно испытывать непреодолимую потребность говорить тихо и благоговейно, — только те поймут, какое странное впечатление произвел бы этот насмешливый голос

на всякого, кто услышал бы его среди запустения и темноты.

Раздавшись на мгновение в темноте, он, казалось, заставил содрогнуться все окружающее и потом замер, исчез без отзвыва, пылетев вдруг во все отверстия, которые время проделало в этом тьмке.

Глаза Ролана, как он и ожидал, привыкли к темноте, и, благодаря бледному свету луны, появившейся на небе и кинувшей в трапезную залу длинные, белые полосы света сквозь разбитые окна, он мог ясно разглядеть всю обширную залу.

Хотя внутренне и наружно Ролан оставался без всякого страха, однако в нем оставалась бдительность и ухо его различало малейший звук. Пробыло полчаса. Он невольно вздрогнул при этом звуке, раздавшемся над церковью самого монастыря. Каким образом в развалине, где все умерло, часы, этот пульс времени, остались живы?

— Ого! — сказал Ролан. — Это предвещает, что я увижу что-нибудь.

Слова эти были сказаны почти про себя; величие места и безмолвия подействовало на сердце, твердое как бронза колокола, напоминавшего ему время и вечность.

Минуты летели одна за другою. Вероятно, облако заслоняло луну: Ролану показалось, что темнота усиливается. Потом ему показалось, что чем ближе к полуночи, тем яснее слышались тысячи едва ощущаемых звуков, смешанных, разнородных, производимых ночным миром, пробуждающимся тогда, когда другой мир засыпает. Природа не допускает перерыва жизни даже и во время своего успокоения; она создала ночной мир, так же как дневной, создала ночного москита, который пищит вокруг изголовья спящего, и льва, который бродит вокруг шалаша араба...

Но Ролан, привыкший бодрствовать в лагерях, в пустынях, Ролан, охотник и солдат, знал все ночные звуки; они не смущали его. Но вот вдруг к ним присоединился опять звон часов над его головою.

На этот раз было полночь; он сосчитал двенадцать ударов один за другим. Последний раздался, прозвучал в воздухе, как птица с бронзовыми крыльями, и умолк медленно, уныло, печально.

В это время молодому человеку показалось, что он слышит стенания. Ролан обратил слух к той стороне, откуда доносился звук. Стенание послышалось ближе. Он встал, опершись руками на стол и держась за стволы своих пистолетов. Шорох, подобный тому, какой производит платье в траве, послышался налево от него в десяти шагах.

Он выпрямился, как будто двинутый пружиною.

В это мгновение на пороге залы появилась тень, похожая на одну из старинных статуй, лежащих на гробницах. Она была окутана широким саваном, волочившимся позади нее.

Одно мгновение Ролан сомневался в себе. Нё от излишнего

ли внимания, слишком напряженного, видел он то, чего нет? Не является ли он игрушкой собственных чувств, и не то ли явление перед ним, которое медицина называет галлюцинацией, хотя не может объяснить его?

Новое стенание призрака разогнало его сомнения.

— Превосходно! — вскричал он, расхохотавшись. — Ко мне, любезный призрак!

Привидение остановилось и протянуло руку к молодому офицеру, произнося глухо:

— Ролан, Ролан! Ты должен был бы чтить и не преследовать мертвых в могиле, куда сам низвел их!

После этих слов призрак продолжал идти по-прежнему медленно.

Ролан, изумленный на минуту, сошел с эстрады и хотел следовать за привидением; идти было затруднительно, потому что зала была загромождена камнями, скамьями, стоявшими поперек, и опрокинутыми столами. Но для призрака будто была посреди них невидимая дорога: он шел, не останавливаясь. Всякий раз, когда он проходил перед окном, свет извне, как ни был слаб, отражался на его саване и обрисовывал формы привидения, которое, прошедши мимо окна, терялось во мраке, опять появлялось и опять исчезало.

Ролан, не сводя глаз с того, кого преследовал, боясь потерять его из виду, если на мгновение отведет от него глаза, не мог взглянуть на путь, который словно не представлял для призрака препятствий, останавливавших его преследователя. На каждом шагу Ролан спотыкался и отступал; призрак уходил вперед. Наконец, призрак был у двери, противоположной той, в которую он вошел. Ролан видел, что растворился выход в темный коридор, и понял, что тень ускользает от него.

— Человек ты или призрак, разбойник или монах, остановись! Не то — я выстрелю!

— Нельзя убить два раза одно тело; а ты знаешь, что смерть, — продолжал призрак глухим голосом, — не существует для души.

— Кто же ты? — спросил Ролан.

— Призрак того, кого ты исторгнул из здешнего мира.

Молодой офицер захохотал своим пронзительным, нервическим смехом, который казался еще ужаснее в темноте.

— Клянусь, — сказал он, — что, если ты не скажешь другой приметы, я даже не приму труда сам искать ее: предупреждаю тебя.

— Вспомни о Воклюзском фонтане, — произнес призрак, но так тихо, что эта фраза казалась больше вздохом, нежели словесным выражением.

Ролан почувствовал, не то чтобы мужество его упало, но что пот выступил каплями на лбу его; побеждая усилием воли свое ощущение, он крикнул грозно:

— В последний раз предупреждаю тебя, видение ты или действительность, что, если ты не подождешь меня, я выстрелю! Привидение шло, как бы не слушая его.

На мгновение Ролан остановился прицелиться: призрак был от него в десяти шагах, а рука Ролана была верна; он сам опустил пулю в пистолет и за минуту пробовал шомполом, заряжены ли пистолеты. В то мгновение, когда призрак обрисовался на темном своде коридора всею своей белою фигурой, Ролан выстрелил.

Огонь, как молния, осветил коридор — призрак продолжал удаляться, не ускоряя и не замедляя шагов.

Все опять исчезло в темноте, еще более непроницаемой после сильного блеска. Призрак исчез под темною аркадою. Ролан кинулся туда за ним, перехватив пистолет из правой руки в левую.

Но как ни кратко было время остановки, призрак был далеко впереди; Ролан увидел его впереди коридора, когда он ясно обрисовался среди серой атмосферы ночи. Молодой человек удвоил шаги и был в конце коридора, между тем как призрак скрывался за дверь водоема. Ролан пошел еще поспешнее. Когда он был на пороге двери, ему показалось, что призрак углубляется в землю: но туловище его было еще видно.

— Хоть бы ты был сам демон, — сказал Ролан, — я доберусь до тебя!

Он выстрелил из другого пистолета: вспышка пламени и дым наполнили водоем, и в них не стало видно призрака.

Когда дым рассеялся, Ролан не видел уже никого: он был один. С ревом ярости бросился он внутрь водоема, стучал по стенам древком своих пистолетов, топал ногами: но стены и пол отзывались только звуком твердых тел.

Он старался проникнуть взглядом темноту: это было невозможно. Слабый свет луны останавливался на передних ступеньках водоема.

— Факел! Дайте мне факел! — кричал Ролан.

Никто не отвечал ему. Только журчанье воды слышалось в трех шагах от него. Он убедился, что искать больше нечего, вышел из водоема, вынул из кармана пороховницу, две пули, уже обернутые бумагой, и снова зарядил пистолеты. После этого он пошел тем же путем, каким пришел: через темный коридор в обширную трапезную залу, и в ней занял то место в конце, на возвышении, откуда за несколько минут пустился преследовать привидение. Там он стал ждать.

Часы ночи проходили, постепенно превращаясь в часы утра, и напоследок дневной свет начал придавать бледный оттенок монастырским стенам.

— Ну, — бормотал про себя Ролан, — в эту ночь ждать больше нечего; может быть, в другой раз буду счастливее.

Через двадцать минут он уже входил в замок Черных Фонтанов.

РАССЛЕДОВАНИЕ

Двое ожидали в замке возвращения Ролана: одна с тоскою, другой с нетерпением. Это были Амели и сэр Джон. Оба не смыкали глаз во всю ночь.

Тоска Амели выразилась только тем, что дверь комнаты ее начала отпираться в то время, как Ролан всходил на лестницу. Ролан слышал звук замка и не мог, проходя в двух шагах от сестры, не успокоить ее.

— Это я, Амели, будь спокойна! — сказал он. Ему не могло прийти в голову, чтобы сестра его боялась не за него, а за кого-нибудь другого.

Амели в ночном пеньюаре выскочила из комнаты. По бледности ее лица и большим темным полукругам под глазами видно было, что она провела ночь без сна.

— С тобой не случилось ничего, Ролан? — вскричала она, сжимая брата в своих объятиях.

— Ничего.

— Ни с тобой, ни с кем-нибудь другим?

— Ни с кем.

— И ты ничего не видал?

— Этого я не говорю, — сказал Ролан.

— Что же ты видел, Боже великий?

— Расскажу тебе после. Пока нет ни убитых, ни раненых, ни умерших.

— Ах!

— Теперь, милая сестричка, я посоветую тебе вот что: поди ляг в свою постель и спи, если сможешь, до самого завтрака. Я сделаю то же и обещаю тебе, что не понадобится колыбели для усыпления меня. Доброй ночи или, лучше, доброго утра!

Ролан поцеловал свою сестру нежно и, притворяясь беззаботным, пошел по лестнице в верхний этаж, насвистывая охотничью песню.

Сэр Джон откровенно ждал его в коридоре. Он пошел прямо навстречу молодому человеку.

— Ну? — спросил он.

— Ну, я был там не совсем попусту.

— Видели привидение?

— Видел, по крайней мере, что-то, похожее на него.

— Вы расскажете теперь?

— Да, иначе вы не заснете или будете спать дурно. Вот, в двух словах, как это было.

Ролан пересказал свои ночные похождения точно и со всеми подробностями.

— Прекрасно, — сказал сэр Джон, когда Ролан кончил. — Надеюсь, что вы оставили что-нибудь для меня?

— Боюсь, не оставил ли самого трудного, — отвечал Ролан.

И когда сэр Джон требовал подробностей обо всем и заставлял описывать местность, Ролан сказал ему:

— Сегодня после завтрака мы пойдем осмотреть картезианский монастырь днем. Это не помешает вам засесть там на ночь; напротив, дневной визит поможет изучить местность. Только не говорите ничего никому.

— О, — возразил сэр Джон, — неужели я похож на болтуна?

— Нет, — отвечал Ролан, смеясь. — Вы, милорд, не болтливы, но я глуп.

Они разошлись по своим комнатам.

После завтрака оба спустились по отлогостям сада к берегам Рейсусса, как бы для прогулки, взяли влево, прошли шагов четыреста до большой дороги, пробрались сквозь лес, — и очутились подле стены монастыря, в том самом месте, где накануне Ролан перелез через нее.

— Вот дорога, милорд! — сказал Ролан.

— Что ж? По ней и пойдем, — отвечал сэр Джон.

Не торопясь, но с удивительною силою руки — доказательством, что этот человек изучил все гимнастические упражнения, — англичанин ухватился за карниз стены, сел на ее вершину и перемалился на другую сторону.

Ролан последовал за ним с ловкостью, которая показывала, что он также был не новичок в этих упражнениях.

Когда оба очутились за стеной, запустение поразило Ролана днем еще больше, нежели ночью.

Трава, даже в аллеях, была по колено; виноградные лозы совершенно закрывали шпалеры и разрослись так густо, что виноград не мог созревать под тенью листьев. Стена во многих местах разрушалась, и плющ, чужездник, а не друг развалин, начинал распространяться повсюду. Деревья на открытом воздухе, грушевые, персиковые, абрикосовые, росли так же свободно, как в лесу, и как будто завидовали высоте и толщине дубов и ясеней, потребляя все внутренние соки свои на ветви и многочисленные отпрыски, отчего плоды почти не росли на этих фруктовых деревьях.

Покуда шли тут наши посетители, движение травы в двух или трех местах показало им присутствие ужей, этих пресмыкающихся обитателей пустыни, изумленных нарушением их спокойствия.

Ролан провел своего друга прямо к калитке, которая вела из фруктового сада в монастырь, но, еще не входя туда, он взглянул на башенные часы: они шли ночью, а днем стояли.

Из монастыря он прошел в трапезную залу; днем увидел он там в настоящем виде предметы, принимавшие такие фантастические формы в ночном мраке.

Ролан показал сэру Джону опрокинутую скамью, стол, исчерченный железом пистолетов, и дверь, в которую вошел призрак. Вместе с англичанином Ролан прошел тем путем, где следовал он за призраком, увидел, какие препятствия останавливали его, и убедился, что их легко было избежать тому, кто знал местность. На том месте, где он выстрелил, еще валялись пыжи, но он тщетно искал пулю. Между тем, судя по тому, что коридор шел загибом, оказалось невозможным, чтобы пуля не оставила следа на стене, если не попала в привидение. Но если она попала в тело, каким же образом это тело не было поражено или, по крайней мере, ранено? Если же оно было ранено, то отчего на полу не осталось следа крови? Ни пули, ни следа крови не было. Лорд Танлей почти готов был допустить, что друг имел дело с настоящим призраком.

— После меня приходили сюда и подняли пулю, — сказал Ролан.

— Но если вы выстрелили в человека, как же пуля не вошла в него?

— Очень просто: на человеке была кольчуга под саваном.

Это было возможно; однако сэр Джон покачал головой в знак сомнения; ему лучше хотелось верить сверхъестественному происшествию, это меньше затрудняло его.

Продолжая свои исследования, приятели пришли к концу коридора и очутились на другом конце фруктового сада. Там-то Ролан видел снова призрак, после того как он на минуту оставался невидим под темным сводом. Молодой офицер пошел прямо к водоему, как будто опять за призраком, не раздумывая. Там он понял, что темнота ночи должна быть еще больше непроницаема в этом месте, где не было никакого отражения извне: едва можно было различать там что-нибудь и днем.

Ролан вынул из-под своего плаща два факела, каждый в фут длиною, высек огня, зажег трут, а с трута спичку. Факелы запылали. Надо было открыть, каким путем скрылся призрак.

Ролан и сэр Джон поднесли факелы к полу: он был устлан большими плитами известкового камня, по-видимому, скрепленными очень хорошо.

Ролан искал свою вторую пулю с таким же упорством, как первую. У ног его лежал камень; он отодвинул его и увидел кольцо, вделанное в одну плиту. Не говоря ничего, Ролан ухватился за кольцо, уперся ногами в пол и потянул к себе. Плита повернулась на своем стержне очень легко: это показывало, что она часто повиновалась такому движению. Поднятая вверх, она раскрыла вход в подземелье!

— А, вот куда провалился мой призрак! — вскричал Ролан и пошел по ступеням вниз. Сэр Джон не отставал от него. Они шли тем самым путем, где мы видели Моргана, когда он приезжал дать отчет о своей экспедиции. В конце подземелья они встретили решетку перед могильным подвалом. Ролан толкнул ее: она не была

шперта и отворилась. Перешедши подземное кладбище, они очутились подле другой решетки; и эта не была заперта. Там, взошедши на несколько ступенек, Ролан и за ним сэръ Джон очутились в той часовне, где происходило, как мы описывали, совещание Моргана и товарищей Ииуя. Но все было пусто, время уже давно лишило это место священных его принадлежностей.

Ролан убедился, что тут был предел шествию призрака, мнимого в его глазах, хотя сэръ Джон упорно признавал его настоящим. Впрочем, он соглашался, что этот призрак, настоящий или ложный, мог прийти только сюда. Подумав немного, англичанин сказал:

— Все равно мне сегодняшнюю ночь быть на страже; я имею право выбрать место для этого: буду караулить здесь.

Он указал место посередине хор, где была дубовая подставка, похожая на стол или пьедестал.

— Да, — отвечал Ролан с такою беззаботностью, как будто дело шло о нем самом, — вам будет здесь недурно, только может случиться, что вечером вы найдете камень замурованным, а решетки запертыми; поищем выхода прямо отсюда.

Через пять минут они отыскивали выход. Из часовни была дверь в ризницу, а там одно разломанное окно выходило в лес. В это окно они вылезли и очутились в самой чаще леса, шагах в двадцати от того места, где был убит кабан.

— Вот и слажено дело, — сказал Ролан. — Только, мой милый лорд, ночью вам будет трудно найтись в этом лесу, где и днем не скоро проберешься; потому я провожу вас досюда.

— Да, но, когда я войду, вы тотчас удалитесь, — сказал англичанин. — Я помню, что вы мне говорили о щекотливости привидений: когда будут знать, что вы в нескольких шагах от меня, они, пожалуй, и не покажутся; а ведь вы видели призрак; и я хочу увидеть его.

— Я уйду, об этом не беспокойтесь, — отвечал Ролан. — Только, — прибавил он, улыбаясь, — знаете ли, чего я боюсь?

— Чего?

— Да ведь вы — англичанин и еретик. Им будет неловко с вами.

— Что же делать! — с важностью сказал сэръ Джон. — До вечера я не успел бы сделаться католиком.

Между тем, друзья осмотрели уже все, что им нужно было видеть, и возвратились в замок.

Никто, не исключая и Амели, не подозревал, по-видимому, что они совершили необыкновенную утреннюю прогулку. Впрочем, было уже довольно поздно, когда они пришли домой. Их не тревожили ни вопросами, ни выражением беспокойства.

За столом, к великой радости Эдуарда, была речь о новой охоте, и рассуждения о ней сделались предметом разговоров не только во время обеда, но и вечером.

В десять часов, по обыкновению, все разошлись по своим комнатам; только Ролан был в комнате сэра Джона.

Разница в характерах обозначилась в приготовлениях к ночной экспедиции. Ролан готовился к ней весело, как на увеселительную прогулку, сэр Джон серьезно, как на дуэль. Пистолеты были заряжены с величайшим вниманием и заткнуты за пояс англичанина. Сверх платья он надел не плащ, который мог затруднить его движения, а большой сюртук с воротником.

В десять с половиною часов они вышли, с теми же предосторожностями, какие принимал Ролан, когда отправлялся один.

В одиннадцать часов без пяти минут они были под разрушенным окном; камни, упавшие из свода, могли служить вместо лестницы к нему. Тут, по уговору, они должны были расстаться. Сэр Джон напомнил Ролану это условие.

— Да, милорд, — сказал молодой человек, — со мной раз навсегда, что сказано, то сказано; только позвольте мне дать вам совет.

— Какой?

— Я не отыскал моих пуль, потому что их подняли, а подняли для того, чтобы я не видал отпечатка, какой, верно, они получили.

— А какой же это отпечаток, по вашему мнению?

— Отпечаток кольчуги. Мой призрак был человек в броне.

— Тем хуже, — сказал сэр Джон. — Лучше пусть бы это был призрак.

После минутного молчания, причем вздох англичанина показал, как ему было горько отказаться от призрака, он спросил:

— В чем же состоит ваш совет?

— Стреляйте в лицо.

Англичанин сделал головою одобрительный знак, пожал руку молодого офицера, влез по камням в окно и скрылся в глубине ризницы.

— Доброй ночи! — закричал ему Ролан, и с невниманием к опасности, обычным у всех военных в отношении к себе и к товарищам, он, как обещал сэру Джону, пошел по дороге к замку.

Глава XVIII

СУД

Ролан не мог заснуть до двух часов утра и на другой день проснулся в семь часов. Припоминая вчерашние события, он удивился, что сэр Джон не разбудил его по возвращении. Наскоро одевшись, он пошел к нему, не боясь потревожить его в первом сне, и постучал в дверь его комнаты. Ответа не было. Он постучался сильнее — то же молчание.

Тут уже примешалось к любопытству Ролана немного беспо-

койства. Ключ был снаружи; молодой офицер отворил дверь и быстро окинул взглядом комнату.

Там не было сэра Джона; постель его была не смята; сэр Джон не возвращался.

Что же случилось с ним?

Терять времени нельзя было, и так как мы уже знаем быстроту решимости Ролана, то поймем, что он не стал терять ни минуты.

Он бросился в свою комнату, оделся совсем, заткнул за пояс свой охотничий нож, повесил на плечо ружье на ремне и вышел. Еще никто не вставал, кроме одной горничной, которую Ролан повстречал на лестнице и сказал ей:

— Я иду с ружьем в Сельонский лес; ты скажешь это г-же де Монревель, и пусть не беспокоятся, если милорд и я не воротимся к завтраку.

Он быстро вышел из замка и через десять минут был уже подле окна, где накануне расстался с лордом Танлеем.

Там он стал прислушиваться. Изнутри — ни малейшего звука; снаружи — ухо охотника могло различить только утреннее щебетанье птиц в лесу.

С обычной ловкостью Ролан влез в окно, спустился в ризницу и оттуда прошел в часовню. С первого взгляда он увидел, что там никого не было.

Не заставили ли призраки следовать англичанина путем, противоположным тому, которым шел Ролан? Это было возможно. Быстро кинулся молодой человек к решетке; она была отперта. Он вошел в подземное кладбище. Темнота мешала ему видеть там что-нибудь. Он три раза призывал сэра Джона, ответа не было. Дошедши до другой решетки, он нашел и ее отпертою и вступил в коридор со сводами. В темноте нельзя было бы действовать ружьем, и потому он надел его на плечо и взял в руку охотничий нож.

Ощупью шел он вперед, не встречая никого; только чем далее он подвигался, тем непроницаемее делался мрак, и это означало, что плита в водоеме была задвинута. Толкнувшись о первую ступень лестницы, он стал взбираться по ней вверх и, наконец, коснулся головою до подвижной плиты. При небольшом усилии она отворилась — Ролан увидел дневной свет и выскочил в водоем. Дверь в фруктовый сад была растворена, Ролан вышел из нее и прошел часть сада между водоемом и коридором, в конце которого он выстрелил в привидение. Через этот коридор он вступил в трапезную залу. И там не было никого.

Ролан три раза громко произнес имя сэра Джона. Эхо, изумленное, как будто отвкшее отвечать человеческому голосу, невнятно отозвалось и замерло.

Сэр Джон не мог выйти с этой стороны; надо было вернуться к тому месту, откуда он должен был идти. Ролан прошел назад тем же путем и опять вступил в часовню. Там сэр

Джон остался на ночь, там и надобно было отыскивать его следы.

Ролан взошел на возвышение между клиросами, и при первом шаге туда — крик вырвался из его груди. На плитах у ног его было огромное кровавое пятно. В четырех шагах оттуда другое такое же пятно крови, еще не запекшейся, алой...

Одно из этих пятен было направо, другое налево от пьедестала, похожего на стол, где милорд хотел оставаться в засаде. Ролан приблизился к пьедесталу: он также был весь в крови.

Ясно было, что тут произошла драма и, судя по следам, оставшимся от нее, драма была ужасная.

Ролан, как солдат и охотник, должен был искусно разгадывать подобные следы. Он мог исчислить, сколько крови вытекает из человека убитого и сколько из раненого. В прошедшую ночь было трое убитых или раненых.

Что можно было заключить?

Две лужи крови на помосте алтаря, направо и налево, были, вероятно, следами крови двух противников сэра Джона.

Кровь на пьедестале была, вероятно, его кровью.

На него напали с двух сторон, с правой и с левой; он выстрелил из двух своих пистолетов обеими руками и убил или ранил двух человек; их-то кровь произвела два следа на помосте.

В свою очередь он был поражен подле пьедестала, и его кровь брызнула на пьедестал.

После пяти секунд соображения Ролан был уверен во всем сказанном здесь нами, как будто сам видел эту кровавую борьбу. Но что же сделалось с телами нападавших и с телом сэра Джона?

О двух других телах Ролан почти не заботился, но он непременно хотел знать, куда делось тело сэра Джона?

След крови шел от пьедестала до двери. Тело сэра Джона было вынесено в нее. Ролан толкнул эту массивную дверь; она была заперта только задвижкой и при первом ударе растворилась. За порогом он опять увидел следы крови; далее, через кустарники, была дорога, по которой несли тело: это показывали сломанные ветви, помятая трава.

Такой путь привел Ролана к опушке леса на той стороне, где была дорога из Понт-Эна в Бур.

Тут, по-видимому, живой или мертвый, сэр Джон лежал несколько времени на отлогости рва. Далее уже не было никаких следов.

В это время Ролан увидел человека, шедшего от замка Черных Фонтанов. Он поспешил к проходившему и спросил, не видал ли, не встретил ли он кого-нибудь на дороге?

— Как же, — отвечал тот, — видел, как два человека несли на носилках тело.

— Ах! — вскричал Ролан. — Тело умершего или живого?

- Да он похож на мертвого: бледен и без движения.
- Текла ли кровь из него?
- Я заметил капли крови на дороге.
- Стало быть, жив!

Ролан вынул из кармана луидор и сказал:

— Возьми и беги в Бур, к доктору Миллье; скажи ему, чтобы сейчас же сел на лошадь и скакал опрометью в замок Черных Фонтанов; скажи, что там есть человек при смерти.

Крестьянин, поощренный щедрою наградою, побежал к доктору Миллье в Бур, а Ролан бросился к замку.

Между тем, нашему читателю, вероятно, не меньше, чем Ролану, любопытно узнать приключение сэра Джона, и мы расскажем ему события ночи в картезианском монастыре.

Припомним, что было одиннадцать часов без нескольких минут, когда сэр Джон вошел в здание, которое обыкновенно называли Ла-Коррери или павильон картезианского монастыря; оно было не что иное, как часовня посреди леса. Из ризницы он прошел к возвышению между клиросами, где все было пусто. Довольно светлая луна, только иногда задергиваемая облаками, посылала свои бледные лучи сквозь разбитые стекла окон в часовню. Сэр Джон остановился против того места, где был алтарь и где находился пьедестал.

Время проходило, но в этот раз не башенные часы в монастыре, а часы на колокольне в ближайшей деревне означали время. До полуночи все было точно так же, как и при Ролане, то есть до сэра Джона доходили только смутные звуки и мимо-летные отголоски.

Пробило полночь. Этой минуты ждал сэр Джон с нетерпением, потому что при наступлении ее должно было совершиться что-нибудь, — если только могло что-нибудь совершиться.

При последнем ударе колокола ему показалось, что в подземелье слышны шаги и что со стороны решетки, ведущей к могильному подвалу, стал появляться свет. Все внимание его обратилось к этой стороне.

Из подземелья вышел монах с надвинутым на глаза капюшон и с факелом в руке. Он был в картезианском балахоне. За ним следовал другой, третий: всех насчитал сэр Джон двенадцать. Перед алтарем они разделились: шестеро заняли места налево, шестеро направо от сэра Джона. Каждый воткнул свой факел в отверстие, проверченное в перегородках. Все это делалось в совершенном молчании. Появился тринадцатый монах и стал перед алтарем.

Ни один из монахов не представлял собою ничего фантастического, не походил ни на тень, ни на призрак; все явно были жители земли, живые люди.

Сэр Джон стоял с пистолетом в каждой руке, опершись на пьедестал, находившийся на самой середине возвышения, ве-

дущего к алтарю, и смотрел флегматически на маневр, который состоялся в том, что его окружили.

И он и монахи молчали; наконец, последний вошедший сказал:

- Братья! Зачем собрались мстители?
- Судить пришельца, — отвечали монахи.
- Какое преступление совершил пришелец?
- Он покусился проникнуть в тайны товарищей Ииуя.
- Какое наказание заслужил он?
- Смерть!

Монах, стоявший посередине, дал этому приговору, так сказать, проникнуть до сердца того, против кого он был произнесен. Потом, обратясь к англичанину, неизменно спокойному, как будто он смотрел на комедию, монах сказал:

— Сэр Джон Танлей! Вы — чужеземец, англичанин; это было для вас двойным поводом предоставить товарищам Ииуя спокойно решать их дела с правительством, которое они поклялись уничтожить. Вы не последовали внушениям благоразумия; вы поддались суетному любопытству; вы не удалились от пещеры льва, а проникли в нее. За это лев растерзает вас!

Проговорив эти слова, монах помолчал с минуту, ожидая, по-видимому, ответа англичанина, но, видя, что тот не хочет отвечать, он прибавил:

— Сэр Джон Танлей! Ты присужден к смерти. Приготовься умереть.

— А, понимаю! — сказал сэр Джон. — Я попался к разбойникам! Если так, то можно откупиться.

И, обратившись к монаху, он спросил:

— Сколько же вы хотите выкупа, атаман?

Грозный ропот был отзывом на эти оскорбительные слова. Монах протянул руку к англичанину и спокойно, хладнокровно возразил:

— Ошибаешься, сэр Джон, мы не шайка разбойников, а в доказательство, если с тобой есть большая сумма денег или какие-нибудь драгоценные вещи, то скажи, кому передать их, и твое завещание будет свято исполнено.

— А кто будет порукой?

— Мое слово.

— Слово предводителя убийц. Я не верю ему!

— И в этом ты ошибаешься, сэр Джон, я не предводитель убийц, так же как и не атаман разбойников.

— А кто же ты?

— Избранник небесного мщения, посланник Ииуя, царя Израильского, венчанного пророком Елисеем на истребление дома Ахава.

— Если вы точно то, что называетесь, так зачем же скрываете свое лицо, зачем кутаетесь в ваши балахоны? Избранники

поражают открыто и подвергают себя риску смерти, когда наносят ее другим. Откиньте капюшоны, покажите открыто грудь, и я признаю вас теми, за кого выдаете вы себя.

— Братья, вы слышали? — сказал монах.

Сбросив балахон, он вдруг расстегнул свой фрак, жилет и даже раздвинул рубашку.

Все монахи сделали то же и явились с открытым лицом и обнаженной грудью. Все были красивые молодые люди: самому старшему казалось не больше тридцати пяти лет. Костюм их обличал людей модного света, и странное дело, ни один из них не был вооружен. Это были судьи, и больше ничего.

— Будь доволен, сэръ Джон Танлей, — сказал монах, стоявший посередине часовни, — ты умрешь, но, умирая, как изъявил желание, можешь видеть нас и убивать. Пять минут тебе на приготовление отдать душу Богу.

Сэръ Джон воспользовался этим дозволением по-своему: осмотрел курки пистолетов, попробовал шомполом, хорошо ли догнаны пули, и, не дожидаясь окончания пяти минут, сказал:

— Господа! Я готов: готовы ли вы?

Молодые люди взглянули друг на друга и, по знаку своего начальника, пошли прямо к сэру Джону, окружая его со всех сторон.

Начальник оставался на своем месте неподвижно, господствуя взглядом над начинавшейся сценой.

У сэра Джона было два пистолета, следовательно, он мог убить только двоих. На выбор он прицелился, выстрелил, — и двое из товарищей Ииуя повалились, обагрив помост своей кровью. Другие, не обращая внимания на это и не ускоряя шагов, подошли схватить сэра Джона, который между тем обратил пистолеты, взял их за дула и оборонялся ими, как молотками. Он был силен, и схватка длилась минут десять; толпа боролась посреди клиросов, и, наконец, все прекратилось; товарищи Ииуя отступили и стали на свои прежние места; сэръ Джон, связанный веревками, бывшими у них на балахонах, лежал там, где была схватка.

— Обратился ли ты душою к Богу? — спросил начальник товарищей Ииуя.

— Да, душегубец, — отвечал сэръ Джон. — Ты можешь зарезать меня.

Начальник взял кинжал, бывший на алтаре, поднял его высоко и, подошедши к сэру Джону, сказал, держа острие над его грудью:

— Сэръ Джон Танлей: ты храбр и должен быть благороден. Поклянись, что из твоих уст не выйдет ни одного слова о том, что ты видел здесь; поклянись, что ни в каком случае не узнаешь ни одного из нас, и мы пощадим твою жизнь!

— Лишь только выйду отсюда, обличу вас, — отвечал сэръ Джон. — Выйду для того только, чтобы преследовать вас.

— Поклянись в том, чего я требую, — повторил начальник.

— Нет, — сказал сэр Джон.

— Поклянись! — повторил в третий раз тот, кто говорил ему.

— Никогда! — повторил в свою очередь сэр Джон.

— Если такова твоя воля, то умри!

И он вонзил кинжал по самую рукоять в грудь сэра Джона.

Сила воли или мгновенность смерти была тому причиной, — но англичанин не испустил даже стога.

Начальник товарищей Ииуя звучным голосом человека, со-знающего, что он исполнил свою обязанность, произнес:

— Правосудие совершилось!

Он оставил кинжал в груди сэра Джона и, обратившись к товарищам, сказал:

— Братья, помните, что вы приглашены на улицу дю Бак, в дом под № 35-м, на праздник жертв, 21 января, в память смерти короля Людовика XVI.

После этого он первый удалился в подземелье: за ним последовали оставшиеся десять братьев с факелами.

Два факела оставались в часовне и освещали три трупа.

При свете оставленных факелов вошли четверо братьев-служителей и прежде всего вынесли в подвал два трупа, лежавшие на помосте.

Потом они воротились, подняли тело сэра Джона, положили на носилки и вынесли из часовни в главную дверь, которую затворили за собою.

Двое, шедшие перед носилками, унесли с собою два остальные факела.

Если теперь читатели наши спросят, отчего так различно поступили братья Ииуя с Роланом и сэром Джоном, отчего так они были кротки к одному и так строги к другому, — мы скажем в ответ:

Вспомните, что Морган поручил их покровительству жизнь брата Амели и после этого он ни в каком случае не мог умереть от руки одного из товарищей Ииуя.

Глава XIX

ДОМИК НА УЛИЦЕ ПОБЕДЫ

Между тем, как переносят в замок Черных Фонтанов тело сэра Джона Танлея; между тем, как Ролан спешит по тому направлению, которое указано ему; между тем, как крестьянин, посланный им, бежит в Бур уведомить доктора Миллье, что присутствие его необходимо у г-жи де Монревель, — сократим пространство, отделяющее Бур от Парижа и время между 16 октября и 1 ноября, то есть между 24 вандемьера и 16 брюмера, и перенесем в четыре часа пополудни в тот домик на улице Победы, о котором мы уже два раза упоминали.

Он тот же и теперь, и, кажется, сам удивляется, что после стольких перемен правительства на дверях его еще видны изображения консульского достоинства и он еще остается, на правой стороне улицы, под № 60, любопытным предметом для проходящих.

Пройдем по длинной и тесной липовой аллее, ведущей от ворот к дверям дома, войдем в переднюю и через коридор направо взойдем на двадцать четыре ступеньки, а там проникнем в рабочий кабинет, оклеенный зеленою бумагой и меблированный креслами, стульями, занавесями и диванами того же цвета.

Стены комнаты покрыты географическими картами и планами городов. Библиотека, в двухъярусных шкафах кленового дерева, занимает ту стену, посередине которой камин; кресла, стулья, канапе, столы и конторки завалены книгами, так что едва есть место, где сесть, где можно писать.

Посреди рапортов, писем, брошюр и книг сидел человек, едва выгадавший себе местечко между этими горами бумаги. По временам он готов был рвать на себе волосы оттого, что не мог разобрать страницы заметок, написанных так, что в сравнении с ними иероглифы Луксорского обелиска показались бы понятными и ясными.

В ту минуту, когда нетерпение секретаря доходило до отчаяния, дверь открылась, и в нее вошел молодой офицер в адъютантском мундире. Секретарь поднял голову, и живое выражение радости появилось на его лице.

— О, мой милый Ролан, — сказал он. — Наконец-то вы пришли. Я рад вас видеть по двум причинам: во-первых, потому, что без вас скучал до смерти, во-вторых, потому, что генерал ждет вас с нетерпением, волнуется и кричит. Но прежде всего поцелуйте меня.

Секретарь и адъютант обнялись.

— Ну-ка посмотрим, — сказал Ролан, — что это за слово, которое вас так затрудняет, милый Бурьен.

— Ах, дорогой мой, вот так почерк! После каждой разобранный страницы у меня седеет по волоску; сейчас я разбираю третью страницу. Натек-ка, попробуйте прочесть.

Ролан взял бумагу из рук секретаря и, отыскав глазами указанное место, стал читать довольно бегло:

— «Параграф XI. От Асуана до места, лежащего на расстоянии трех миль к северу от Каира, Нил протекает без разветвлений...» Что же вы говорили, что неразборчиво? Напротив, генерал, очевидно, старался писать.

— Дальше, дальше, — сказал Бурьен.

Юноша продолжал:

— «Начиная с того места, которое называется...» Э! Э!

— Вот как раз и подошли к тому слову; что же вы?

Ролан повторил:

— «Которое называется...» Черт возьми! «Которое называется...»

— Да, называется, а дальше?

— А что вы мне дадите, Бурьен, если я разберу? — вскричал Ролан.

— Дам первый бланк приказа о производстве в полковники, за подписью.

— Нет, не надо; я не хочу оставлять генерала; я предпочитаю иметь одного хорошего отца, чем пятьсот дурных детей. Так и быть, я вам прочту даром все три слова.

— Да разве там три слова?

— Три, только они как-то слились. Слушайте же: «Начиная с того места, которое называется *Ventre de la Vache...*»

— А! Вантр-де-ля-Ваш!.. По-французски, и то не разберешь; а уж если он будет писать по-итальянски или на каком другом тарабарском языке, тут не только сойдешь с ума, а просто станешь идиотом!.. Вот оно что!

И он повторил всю фразу:

— «От Асуана до места, лежащего на расстоянии трех миль к северу от Каира, Нил протекает без разветвлений; начиная с того места, которое называется Вантр-де-ля-Ваш (Коровье брюхо), он образует рукава Розетту и Дамьетту». Спасибо, Ролан.

И он стал переписывать конец параграфа, начало которого уже было переписано.

— Что же! — полюбопытствовал Ролан. — У генерала все тот же конек: колонизация Египта?

— Да, да, а кроме того заодно и управление Францией; мы будем колонизовать... на расстоянии.

— Ну, мой милый Бурьен, — сказал адъютант, — наведите же меня на путь современности, чтобы я не походил на приехавшего из Мономотаны.

— Сначала скажите, вы возвратились по своей охоте или по вызову?

— По вызову, самому настоящему.

— Но кто же писал к вам?

— Сам генерал.

— Частная депеша?

— Собственноручная: вот.

Молодой человек вынул из кармана бумагу, где были две строчки, не подписанные, но того же почерка, над которым Бурьен приходил в отчаяние. Там было написано:

«Собирайся в путь и будь в Париже 16 брюмера. Ты мне нужен».

— Да, — сказал Бурьен. — Я думаю, что это к 18-му.

— Что к 18-му?

— Ах, мой друг, вы спрашиваете у меня больше, нежели

я знаю. Вам известно, сообщает ли он свои мысли. Я еще не знаю, что будет 18-го брюмера, однако мог бы отвечать: будет что-то.

— Ну да ведь догадываетесь же?

— Думаю, что он хочет сделаться директором, вместо Сейеса, или президентом, вместо Гойе.

— Вот что! А закон конституции III года!

— Какой закон?

— Да как же; надо иметь не менее сорока лет, чтобы быть членом Директории, а генералу еще десяти лет не хватает до сорока.

— Тем хуже для конституции, ее подвергнут насилию.

— Она еще слишком молода, Бурьен; это семилетнее дитя.

— В руках гражданина Барраса, милый человек, живо вырастешь. Маленькая семилетняя девочка стала теперь уже старой распутной женщиной.

Ролан покачал головой.

— А что ты думаешь? — спросил Бурьен.

— Да думаю, что нашему генералу не расчет стать пятым членом Директории. Посуди сам, — пять королей во Франции! Это уже не диктатура, а целая запряжка.

— Во всяком случае до сих пор у него обнаруживалось только это стремление. Вы знаете, любезный друг, — с нашим генералом, если хочешь что узнать, надобно угадывать...

— Ну, а я слишком ленив и не приму на себя этого труда, Бурьен. Я настоящий янычар: что он сделает, то и будет хорошо. На черта ли мне трудиться составлять себе мнение, оспаривать, защищать его? И просто жить — скука!

Этот афоризм он подтвердил продолжительным зевком и прибавил с выражением глубокого равнодушия:

— А как думаете вы, Бурьен, сабельные удары будут?

— Вероятно.

— Ну, так будет и вероятность быть убитым: мне только того и нужно. Где генерал?

— У г-жи Бонапарте. С четверть часа, как вышел отсюда. Велели ли вы известить о своем приезде?

— Нет, мне приятно было сначала повидаться с вами. Но постойте, я слышу его шаги. Это он.

В эту минуту дверь быстро растворилась, и тот исторический человек, который, как мы видели, в Авиньоне инкогнито исполнял молчаливую роль, явился при входе в комнату, в своем живописном костюме главнокомандующего Египетской армии. Но он был дома и потому без шляпы.

Ролан заметил, что глаза его впали и цвет лица сделался еще больше свинцовым. Как бы то ни было, но при виде молодого адъютанта мрачный или, лучше сказать, задумчивый взгляд его блеснул радостью.

— А, Ролан, это ты, — сказал он. — Надежен, как сталь; явился по призыву! Здравствуй! — Он протянул к нему руку и с усмешкой, едва заметной, прибавил:

— А что ты делаешь у Бурьена?

— Ожидаю вас, генерал.

— А в ожидании вы болтаете, как две старые бабы.

— Признаюсь вам, генерал, я показал ему ваш приказ быть здесь 16 брюмера.

— Как я там написал: 16 или 17?

— 16, генерал; 17 было бы уже поздно.

— А почему 17 поздно?

— А как же, если есть уже большие проекты относительно 18, как говорит Бурьен.

— Черт знает! — проворчал Бурьен. — Теперь мой сумасброд задаст мне трепку.

— Ага! Он тебе сказал, что у меня на 18 уже есть какие-то большие планы?

Он подошел к Бурьену и, взяв его за ухо, сказал:

— Кумушка!

Потом обернулся к Ролану.

— Да, правда, милый мой, у нас большие планы относительно 18: мы с женою обедаем у президента Гойе. Прекрасный человек, он так ласково принимал Жозефину в мое отсутствие. И ты с нами поедешь на обед, Ролан.

Ролан посмотрел на Бонапарте.

— Что же, вы за этим меня вернули, генерал? — сказал он, смеясь.

— И за этим, а может, и за чем-нибудь другим еще. Пиши, Бурьен.

Бурьен схватил перо.

— Готов?

— Диктуйте, генерал.

— «Предупреждаю вас, дорогой президент, что послезавтра, 18, мы приедем к вам обедать втроем: жена, я и мой адъютант. Одним словом, мы удовольствуемся семейным обедом...»

— А дальше? — спросил Бурьен.

— Что дальше?

— Какая подпись: «Свобода, равенство, братство»?

— Или «смерть»! — добавил Ролан.

— Нет, — ответил Бонапарте. — Дай сюда перо.

Он взял у Бурьена перо и подписал своей рукой:

«Преданный вам Бонапарте».

Потом, отодвинув от себя письмо, он сказал:

— Напиши-ка адрес, Бурьен, и пошли с ординарцем.

Бурьен написал, запечатал и позвонил.

Явился дежурный офицер.

— Велите ординарцу снести это письмо, — сказал Бурьен.

— Пусть подождет ответа, — прибавил Бонапарте.

Офицер исчез за дверью.

— Бурьен, — сказал генерал, указывая на Ролана, — посмотри на своего приятеля.

— Смотрю, генерал.

— А знаешь, что он сотворил в Авиньоне?

— Надеюсь, не папу.

— Нет, он швырнул тарелку в лицо одного господина.

— Однако!..

— Этим не ограничилось.

— Воображаю!

— Он еще дрался на дуэли с этим субъектом.

— И, разумеется, уложил его? — сказал Бурьен.

— Именно, а знаешь, за что?

— Не знаю.

Генерал пожал плечами.

— Потому что тот человек назвал меня вором.

И, устремив на Ролана не то насмешливый, не то дружеский взгляд, он прибавил:

— Простофиля.

Потом вдруг спросил:

— Кстати, что англичанин?

— Я только что хотел сказать о нем вам, генерал.

— Он все еще во Франции?

— Да, и я уже думал, что он останется в ней до того дня, когда труба архангела, в день страшного суда, огласит долину Иосафатову.

— Ты и его чуть не убил?

— Нет, генерал, не я; мы с ним искренние друзья; это превосходный человек, и преоригинальный, так что я буду просить у вас немного снисхождения к нему.

— К какому дьяволу? К англичанину-то?

Бонапарте встряхнул головой.

— Терпеть не могу англичан.

— Да! Как нацию, но отдельные личности...

— Ну, так что же случилось с ним, с твоим другом?

— Его судили, осудили и казнили.

— Что за чертовщину рассказываешь ты мне?

— Чистейшую истину, генерал!

— Как? Его судили, осудили и гильотинировали?

— О, не совсем, правда, судили и осудили, но не гильотинировали. Если б гильотинировали, так ему было бы еще хуже, нежели теперь.

— Растолкуй же, в каком суде его судили и осудили?

— В суде товарищей Ииуя!

— А что же такое эти товарищи Ииуя?

— Вот уже и забыли нашего друга Моргана, замаскирован-

ного человека, который привез виноторговцу его двести луидоров.

— Нет, я не забыл его, — сказал Бонапарте. — Мне помнится, Бурьен, что я рассказывал тебе про смелость этого чудака?

— Да, генерал, — ответил Бурьен, — и я вам тогда же заметил, что, будь я на вашем месте, я бы непременно постарался узнать, кто он такой.

— О! Генерал бы давно это знал, если бы не удерживал меня; ведь я собирался схватить его за горло и сорвать маску с него... и вдруг слышу, генерал останавливает меня и как-то особенно говорит мне: друг Ролан!

— Ну, нечего там болтать; рассказывай-ка дальше про своего англичанина. Что ж? Морган зарезал его?

— Не Морган, а его товарищи.

— Но ты говоришь о суде и об осуждении.

— Вы все таковы же, генерал, — возразил Ролан, еще не отвыкший от школьной искренности в разговоре с Бонапарте, — вы хотите знать, не давая времени сказать всего.

— Вот, в Совете Пятисот наговорился бы ты вволю.

— В совете было бы у меня четыреста девяносто девять сочленов, которые все хотят говорить так же, как я: перебили бы на первом же слове. Приятнее, когда перебиваете вы, а не какой-нибудь оратор.

— Закончишь ли ты?

— Сейчас. Вообразите, генерал, что подле Бура есть картезианский монастырь.

— Картезианский, Сельонский, знаю.

— Как же вы знаете это?

— Разве генерал не знает чего-нибудь? — промолвил Бурьен.

— Ну, а есть ли монахи в этом монастыре?

— Нет, там есть только привидения.

— Не о привидениях ли будет история?

— И очень занимательная.

— Чудесно! Бурьен знает, что это моя страсть. Ну?

— Нам сказали у матери моей, что в картезианском монастыре являются привидения; разумеется, мы, сэр Джон и я, или, лучше сказать, я и сэр Джон, хотели вывести дело начистоту, и каждый из нас провел там ночь.

— Где?

— В картезианском монастыре.

Бонапарте, по корсиканской привычке, от которой он не отстал никогда, незаметно перекрестил себя большим пальцем.

— Ну, что ж! Видел ли ты привидения? — спросил он.

— Видел одно.

— Что же ты с ним сделал?

— Выстрелил в него.

— А потом?

— Оно продолжало идти.

— И ты признал себя побежденным.

— Вот как вы меня знаете! Я преследовал его, выстрелил еще, но оно лучше меня знало дорогу в этих развалинах и ускользнуло от меня.

— Черт возьми!

— На другой день была очередь сэра Джона, нашего англичанина.

— Видел ли он твое привидение?

— Видел больше. Двенадцать картезианцев вошли в церковь, судили его за то, что он хотел проникнуть в их тайны, приговорили к смерти и — вообразите — закололи кинжалом!

— Разве он не защищался?

— Защищался, как лев; он убил двоих.

— Он умер?

— Почти; однако я надеюсь, что он не умрет. Его нашли подле дороги и принесли к моей матери с кинжалом в груди, который был воткнут, как тычина в виноградник.

— Это настоящий рассказ из времен средневековых тайных судилищ.

— На лезвии кинжала, чтобы не сомневались в виновниках, вырезано: «Товарищи Ииуя».

— Нельзя допустить, чтобы такие дела совершались во Франции, в последний год XVIII столетия! Это было хорошо в Германии, при Генрихах и Оттонах.

— Нельзя, генерал? А вот и оружие. Как вам нравится форма? Очень мила, не правда ли?

Молодой адъютант вынул из-под мундира кинжал, весь стальной, то есть и с ручкой из стали. Рукоять представляла форму креста, а на лезвии были слова: «Товарищи Ииуя».

Бонапарте со вниманием рассматривал кинжал и спросил:

— Ты говоришь, они всадили эту игрушку в грудь ему, твоему англичанину?

— По самую рукоять.

— И он не умер?

— Пока еще жив.

— Ты слышал, Бурьен?

— С величайшим любопытством.

— Об этом мне надобно еще напомнить, Ролан.

— Когда, генерал?

— Когда? Когда я буду во главе правительства. Ну, а теперь оставим это. Иди, Бурьен, поздоровайся с Жозефиной. Ты пообещаешь с нами; вы смотрите только не проговоритесь, — за обедом будет и Моро. А кинжал я сохранию, как редкость.

И он вышел в сопровождении Ролана, за которым вскоре последовал и Бурьен.

На лестнице ему встретился посланный им к Гойе ординарец.

— Ну что? — спросил он.

— Вот ответ президента.

— Подайте сюда.

Он распечатал письмо и прочел:

«Президент Гойе в восторге от того, что сообщил ему генерал Бонапарте; он ожидает его послезавтра, 18 брюмера, к обеду, вместе с его прелестной супругой и упомянутым адъютантом, кто бы он ни был.

Обед начнется в пять часов.

Если этот час окажется неудобным для генерала Бонапарте, его просят указать то время, в которое он желает назначить обед.

Президент Гойе.

16 брюмера, год VII».

Бонапарте с неопишуемой улыбкой опустил письмо в карман. Потом, обратясь к Ролану, он спросил:

— А ты знаешь президента Гойе?

— Нет, генерал.

— Вот увидишь, это смелый человек.

Последние слова были сказаны с меньшей выразительностью, чем улыбка.

Глава XX

ГОСТИ ГЕНЕРАЛА БОНАПАРТЕ

Жозефина, несмотря на свои тридцать четыре года, и даже скорее вследствие этого своего возраста, столь восхитительного в женщине, в котором она одновременно парит и над своей минувшей молодостью, и над грядущей старостью, — Жозефина была все еще прекрасна, можно даже сказать, что была более чем когда-либо изящна.

Неосторожная болтовня Жюно охладила было отношения ее супруга к ней в момент его возвращения, но трех дней оказалось вполне достаточно, чтобы вернуть чаровнице всю ее власть над победителем при Риволи и пирамидах. В ту минуту, как Ролан вошел в залу, она занимала гостей.

Будучи не в силах, как истинная креолка, сдерживать свои чувства, она с нескрываемым восторгом протянула ему руку; она знала глубокую преданность Ролана ее мужу, знала его безумную отвагу, знала прекрасно, что если бы молодой человек имел двадцать жизней, то он отдал бы их все за генерала Бонапарте.

Ролан поспешно взял протянутую ему руку и с чувством поцеловал ее.

Жозефина знала еще в бытность свою на Мартинике мать Ролана; при встрече с ним она всегда вспоминала о его дедушке со

стороны матери, г. де ла Клемансьере, в великолепном саду которого она, будучи ребенком, рвала роскошные плоды, неведомые в наших суровых странах.

Следовательно, тема для разговора тотчас же нашлась; она с нежным участием осведомилась о здоровье госпожи де Монревель, ее дочери и маленького Эдуарда.

После чего она сказала:

— Любезный Ролан, сегодня я должна занимать всех гостей, но вечером постарайтесь остаться после разъезда или увидеться со мною наедине завтра; мне необходимо с вами потолковать о нем (она глазами указала на Бонапарте) и сообщить вам миллион вещей.

Потом, вздохнув и сжимая руку молодого человека, она прибавила:

— Что бы ни случилось, вы ведь не покинете его, не правда ли?

— То есть как, что бы ни случилось? — спросил изумленный Ролан.

— Я-то понимаю, что говорю, — сказала Жозефина, — и уверена, что, поговорив с Бонапарте минут десять, вы меня поймете. А куда ждите, слушайте и молчите.

Ролан поклонился и отошел в сторону, решившись, по совету, данному ему Жозефиной, ограничиться ролью наблюдателя.

И было что наблюдать.

Три главные группы выделялись в зале.

Первая образовалась около госпожи Бонапарте, единственной женщины в зале; вернее, это был прилив и отлив толпы, а не группа.

Вторая, окружавшая Тальму, состояла из Арно, Парсеваль-Гранмезона, Монжа, Бертоле и из двух-трех других членов Института.

И третья группа, к которой примкнул Бонапарте и где были Талейран, Баррас, Люсьен, адмирал Брюи *, Редерер, Реньо де Сен-Жан д'Анжели, Фуше, Реаль и два-три генерала, среди которых обращал на себя внимание Лефевр.

В первой группе разговор шел о модах, о музыке, о театре; во второй — о литературе, о науке, о драматическом искусстве; в третьей говорили обо всем, кроме того предмета, о котором каждый желал говорить.

Подобная осторожность шла, разумеется, вразрез с мыслями, занимавшими Бонапарте в то время; так что по истечении нескольких минут этого банального разговора он взял под руку бывшего епископа Отена и увлек его в оконную нишу.

— Ну что же? — спросил он его.

Талейран посмотрел на Бонапарте взглядом, свойственным только ему одному.

— Ну, что же я вам говорил про Сейеса, генерал?

* Не следует смешивать с контр-адмиралом де Брюи, убитым в Абукире 1-го августа 1798 года. Адмирал Брюи — участник 18 брюмера вместе с Талейраном, умер только в 1805 году.

— Вы говорили мне: «Ищите поддержки в людях, которые считают якобинцами друзей республики, и будьте уверены, что Сейес стоит во главе этих людей».

— Я не ошибся.

— Так он сдается?

— Тот самый человек, который хотел расстрелять меня за то, что я высадился на берег во Фрежю, не желая выдерживать карантина.

— О, нет, вовсе не за то.

— А за что же?

— За то, что вы не взглянули на него ни разу и не обменялись с ним ни единым словом на обеде у Гойе.

— Признаюсь вам, я это сделал умышленно; просто не выношу этого расстригу.

Бонапарте спохватился, но уже поздно, вылетевшее у него слово было обоюдоострое, как меч архангела; если Сейес был расстрига-монах, то Талейран был расстрига-епископ.

Он бросил быстрый взгляд на своего собеседника; бывший епископ д'Отен улыбался самой кроткой улыбкой.

— Итак, я могу на него рассчитывать?

— Я занялся Сейесом, то есть самым упорным; Брюи говорил с остальными двумя.

Адмирал, стоя в центре своей группы, не спускал глаз с генерала и с дипломата; он подозревал, что их разговор имел некоторое значение.

Бонапарте сделал ему знак подойти.

Менее ловкий человек тотчас бы подошел; Брюи воздержался.

С притворным равнодушием он обошел залу два-три раза; потом, как бы вдруг заметив разговаривавших Талейрана и Бонапарте, направился к ним.

— Этот Брюи — человек с большой силой воли, — сказал Бонапарте, прекрасно судивший о людях как по мелочам, так и по важным вещам.

— А в особенности, очень осторожный человек, генерал! — сказал Талейран.

— Ну, так придется тащить у него слова из глотки чуть не клещами.

— О нет, теперь, раз уже он сам подошел, он заговорит о деле откровенно.

И действительно, едва Брюи присоединился к Бонапарте и Талейрану, как сразу вступил в разговор следующей краткой и ясной фразой.

— Я видел их, они колеблются!

— Они колеблются! Камбасерес и Лебрен колеблются? Лебрен, еще я понимаю: он литератор, умеренный, пуританин, но Камбасерес...

— Однако же это так.

— А не говорили вы им, что я предполагал каждого из них сделать консулом?

— Ну, я так далеко не заходил,— ответил Брюи, смеясь.

— Почему же? — спросил Бонапарте.

— Да потому, что я в первый раз только слышу о ваших намерениях, преданный отечеству генерал.

— Это правда,— заметил Бонапарте, кусая себе губы.

— Что же, прикажете исправить эту оплошность? — спросил Брюи.

— Нет, нет,— подхватил с живостью Бонапарте,— они, пожалуй, заберут себе в голову, что я в них нуждаюсь; я не признаю милыя. Пусть сегодня же решаются, без всяких других условий, кроме предложенных уже вами, а не то — завтра будет слишком поздно; я чувствую себя довольно сильным и один, а теперь на моей стороне еще Сейес и Баррас.

— Баррас? — переспросили удивленные собеседники.

— Да, Баррас, который считает меня за обыкновенного капрала и не отсылает меня обратно в Италию только потому, что мне там повезло, и, следовательно, бесполезно мне туда возвращаться... ну-с, Баррас...

— Баррас?

— Нет...

Потом, сообразив что-то, он продолжал:

— Ах! Впрочем, вам-то уж я мог сказать! Знаете ли вы, в чем признался вчера за обедом передо мною Баррас? В том, что нельзя теперь идти с конституцией III года; что он сознает необходимость диктатуры, что он решился удалиться от дел, оставить бразды правления, присвокупив, что о нем уже теперь в обществе худшего мнения и что республике нужны новые люди. А как вы думаете, кому он рассчитывает передать свою власть? Держу какое угодно пари, что не угадаете! Генералу Гедувилю, этому храбрцу... а, однако, бывало, мне стоило только пристально посмотреть ему в лицо, чтобы он потупил взор; правду сказать, мой взгляд был, вероятно, молниеносный! И в конце концов, сегодня в восемь часов утра Баррас уже был у моей постели и рассыпался в извинениях за свою вчерашнюю глупость, сознаваясь, что только я один в состоянии спасти республику, объявляя мне, что он в полном моем распоряжении, что он готов исполнять все мои приказания и возьмет на себя какую мне будет угодно роль; он просил дать ему слово в том, что если я задумаю что-либо, то смело могу рассчитывать на его содействие... да, да, и что он будет ждать меня под вязом!

— Однако, генерал,— заметил Талейран, не будучи в состоянии преодолеть желания сказать красное словцо,— теперь вяз не считается деревом свободы.

Бонапарте искоса посмотрел на бывшего епископа.

— Да, я знаю, что Баррас — друг ваш, Фуше и Реаля; но он не

друг мне, и я это ему докажу. Брюи, вы вернетесь к Леброну и Камбасеру и прямо предложите им сделку.

Потом он посмотрел на часы нахмурился:

— Мне кажется, что Моро заставляет себя ждать.

И он направился к группе лиц, обступивших Тальму.

Оба дипломата посмотрели ему вслед.

Потом начали разговор тихо:

— Что скажете вы, мой дорогой Морис,— спросил адмирал Брюи,— об этих чувствах к человеку, который огличил его при осаде Тулона, когда он был еще простым офицером, который дал ему защиту Конвента 13 вандемьера, который, наконец, назначил его, двадцатипятилетнего юношу, главнокомандующим армией в Италии?

— Я скажу, любезный адмирал,— возразил Талейран, слегка насмешливо улыбаясь,— что существуют столь великие услуги, что они могут быть оплачены только неблагодарностью.

В ту же минуту дверь открылась,— и доложили о прибытии генерала Моро.

При этом известии, которое было более чем новость, которое прямо повергло в изумление большую часть присутствующих, все взгляды устремились на дверь.

Моро вошел.

Три человека занимали в то время умы Франции, и Моро был одним из них.

Два других были Бонапарте и Пишегрю.

Каждый из них как бы олицетворял собою некий символ.

Пишегрю, со времени 18 фруктидора, был символом монархии.

Моро с тех пор, как его окрестили именем Фабия, стал символом республики.

Бонапарте, символ войны, царил над ними обоими благодаря отличительной черте своего гения — жажде приключений.

В то время Моро был в расцвете своих сил, иначе говоря — своего гения, если бы одна особенность последнего не была обусловлена решимостью. Увы, никто не был более нерешительным, как знаменитый медлитель.

Ему тогда было тридцать шесть лет, он был высокого роста и имел приятное, спокойное и твердое выражение лица; он напоминал собою Ксенофонта.

Бонапарте никогда не видел его, и он также еще не встречался с Бонапарте.

В то время, как один сражался на Эч и Минчио, другой бился на Дунае и Рейне.

Заметив его, Бонапарте пошел ему навстречу.

— Добро пожаловать, генерал! — приветствовал он его.

Моро улыбнулся с чрезвычайной учтивостью:

— Генерал,— ответил он в то время, как гости окружили их,

чтобы видеть, как встретятся новый Цезарь с новым Помпеем, — вы возвращаетесь из Египта победителем, а я из Италии — потерпевшим жестокое поражение.

— Но оно не ваше собственное, и вы за него решительно не ответственны, генерал. Это поражение — вина Жубера; если бы он отправился в итальянскую армию тотчас же по назначении своим главнокомандующим ее, то, более чем вероятно, русские и австрийцы с теми силами, которыми они располагали в то время, не могли бы противостоять ему; но медовый месяц задержал его в Париже; этот роковой месяц, который стоил Жуберу жизни, дал им время соединить все их полки; сдача Мантуи увеличила число их на пятнадцать тысяч человек, прибывших накануне сражения; совершенно нелегко было предполагать, что наша храбрая армия не будет разбита стойкими соединенными силами!

— Увы! Это правда, — сказал Моро, — всегда большая численность побеждает меньшую.

— Великая истина, генерал! — воскликнул Бонапарте. — Неоспоримая истина.

— Однако же, — вмешался Арно в разговор, — вы и с маленькими армиями побеждали большие.

— Если бы вы были самим Марием, вместо того чтобы быть автором Мария, вы бы этого не сказали, господин поэт. Даже когда я разбивал большие армии маленькими, — слушайте это хорошенько в особенности вы, молодые люди, которые сегодня подчиняетесь, а завтра будете командовать сами, — всегда было так, что меньшая численность была разбиваема большей.

— Не понимаю, — сказали вместе Арно и Лефевр.

Но Моро сделал знак головой, показывая, что он понимал вполне.

Бонапарте продолжал:

— Следуйте моей теории, так как в ней заключается все военное искусство. Когда я с маленькими силами стоял против огромной армии, то я быстро стягивал свои полки, делал внезапный натиск на какое-нибудь неприятельское крыло и опрокидывал его; далее, пользуясь тем замешательством, которое неизбежно вносил такой маневр в армию противника, я атаковал ее снова с другого фланга и опять-таки всеми соединенными своими силами; таким образом, я разбивал большую армию по частям, и та победа, которая была результатом моих действий, всегда была, как видите, торжеством преимущества большей численности над меньшей.

В ту минуту, как искусный генерал кончил определение своей гениальности, дверь отворилась, и слуга доложил, что обед подан.

— Пойдем, генерал! — сказал Бонапарте, подводя Моро к Жозефине. — Дайте руку моей супруге и сядем за стол!

И по этому приглашению все прошли из залы в столовую.

После обеда, под тем предлогом, что он желает показать вели-

колепную саблю, вывезенную им из Египта, Бонапарте увел Моро к себе в кабинет.

Там два соперника оставались наедине более часу.

Что произошло между ними? Какое они подписали условие? Какие они делали друг другу обещания? Это осталось для всех вечной тайной.

Только Бонапарте, входя один в залу, отвечал на вопрос Люсьена: «Ну, как же дело с Моро?»

— Как я предвидел, он предпочитает военную власть политической; я обещал ему место командующего армией.

При последних словах Бонапарте улыбнулся.

— А пока...— продолжал он.

— Пока? — переспросил Люсьен.

— Он получит Люксембургскую армию; я ничего не имею против того, чтобы назначить его тюремщиком правителей, раньше чем сделать из него победителя австрийцев.

На следующий день в газете «*Moniteur*» было напечатано:

«Париж, 17 брюмера — Бонапарте подарил Моро саблю из дамаскской стали, осыпанную драгоценными камнями, вывезенную из Египта и оцениваемую в двенадцать тысяч франков».

Глава XXI

ИТОГИ ДИРЕКТОРИИ

Моро, снабженный, разумеется, надлежащими инструкциями, вышел из домика на улице Победы в то время, как Бонапарте вернулся один в залу.

В этот вечер всякое действие учитывалось присутствовавшими; поэтому все заметили отсутствие Моро, возвращение Бонапарте одного и то, что он был, видимо, в хорошем расположении духа.

Жозефиной и Роланом были устремлены на него самые пылкие взгляды: Моро за Бонапарте — увеличивал на двадцать процентов удачу успеха заговора; Моро против Бонапарте — уменьшал ее на пятьдесят процентов.

Жозефина бросала такие умоляющие взоры, что Бонапарте, направив Люсьена в сторону своей супруги, отошел от него.

Люсьен понял; он приблизился к Жозефине.

— Все обстоит благополучно, — сказал он.

— Моро?

— Он за нас.

— А я думала, что он республиканец.

— Ему доказали, что действуют на благо республики.

— А я считал его властолюбивым, — сказал Ролан.

Люсьен вздрогнул и взглянул на него.

— Вы угадали верно, — сказал он.

— Ну, так если властолюбив, он не даст Бонапарте захватить власть.

— А почему?

— Потому, что он захочет сам ее захватить.

— Да, но он подождет, чтобы она досталась ему уже готовой, так как сам он ее создать не сможет, а овладеть ею не посмеет.

В это время Бонапарте подходил к группе, образовавшейся около Тальмы, как было до обеда; выдающиеся люди постоянно служат центром всеобщего внимания.

— Что вы там рассказываете, Тальма? — спросил Бонапарте. — Вас, кажется, слушают с большим интересом.

— Да, но теперь моему владычеству конец, — сказал артист.

— А почему?

— Я, как гражданин Баррас, слагаю с себя сан.

— Так гражданин Баррас действительно оставляет свой пост?

— Да, толкуют об этом.

— Не указывают ли на какого-нибудь заместителя?

— Догадываются.

— Вероятно, один из ваших друзей, Тальма?

— Когда-то, — сказал Тальма, склоняя голову, — он оказывал мне эту честь, считая меня своим другом.

— В таком случае, Тальма, я прошу у вас покровительства.

— Оно вам заранее обеспечено, — сказал Тальма, смеясь, — теперь только вопрос в том, зачем вам оно.

— Затем, чтобы послать меня в Италию, куда гражданин Баррас не желает, чтобы я вернулся.

— Так-с, — промолвил Тальма, — вы знаете песенку, генерал?

В лес мы больше не пойдем,
Лавров там уж не найдем!

— О Россий! Россий! — улыбаясь, сказал Бонапарте. — Неужели ты сделался льстецом за время моего отсутствия?

— Россий был другом Цезаря, генерал, и по возвращении его из Галлии, вероятно, сказал ему приблизительно то же, что я теперь говорю вам.

Бонапарте положил руку на плечо Тальмы.

— А сказал ли бы он то же самое после перехода через Рубикон?

Тальма посмотрел на Бонапарте в упор.

— Нет, — ответил он, — он сказал бы ему, как предсказатель: «Цезарь, берегись мартовской иды!»

Бонапарте сунул руку за пазуху, словно ища там чего-то, и, нащупав кинжал товарищей Ииуя, он конвульсивно сжал его.

Быть может, то было предчувствие заговоров Арены, Сен-Регена и Кадудала?

Дверь отворили и доложили:

— Генерал Бернадот.

— Бернадот? — не удержавшись, прошептал Бонапарте. — Зачем он сюда пожаловал?

Действительно, со времени возвращения Бонапарте Бернадот как-то держался особняком, отстраняя от себя все попытки сближения, которые предлагал ему Бонапарте лично или через своих друзей.

Причина крылась в том, что Бернадот давно уже угадывал политика под солдатской шинелью и диктатора под главнокомандующим, и хотя Бернадот и сделался впоследствии королем, но в то время был еще республиканцем, совершенно иного склада, чем Моро.

Кроме того, Бернадот имел, по его мнению, причины быть довольным Бонапарте.

Его военная карьера была не менее блестящей, чем карьера молодого генерала; удача их обоих всегда была одинакова; разница была в том, что Бернадот оказался счастливее, так как умер королем.

Правда, что он не завоевал трона; его возвели другие.

Сын адвоката из По, Бернадот, родившийся в 1764 году, то есть пятью годами раньше Бонапарте, поступил на службу простым солдатом в семнадцать лет. В 1789 году он был еще фельдфебелем; но то была эпоха быстрых повышений; в 1794 году Клебер провозгласил его бригадным генералом на том самом поле сражения, где он только что одержал победу. Сделавшись дивизионным генералом, он блестяще отличился под Флерю и Жюлье, принудил к сдаче Местрихт, взял Альтдорф и прикрыв против армии вдвое большей, чем собственная, вынужденное отступление Журдана; в 1797 году Директория поручила ему доставить семнадцать тысяч человек Бонапарте: то были его старые вояки, старые солдаты Клебера, Марсо, Гоша, Самбры-и-Мезы, и тогда он позабыл, что они соперники, и помогал Бонапарте всеми силами, участвуя в переходе через Талиаменто, при взятии Градиска, Триеста, Лейбаха, Идрии, являясь по окончании кампании к Директории с отнятыми неприятельскими знаменами и принимая против желания место посла в Вене в то время, как Бонапарте получил звание главнокомандующего египетской армией.

В Вене смута, возбужденная трехцветным флагом, водруженным на двери посольства, смута, от которой посланник ничего не выиграл, принудила его вернуть свои полномочия. По прибытии в Париж он был назначен Директорией военным министром; хитрость Сейеса, которую затмевал собою республиканский дух Бернадота, заставила последнего подать в отставку, каковая и была принята, и, когда Бонапарте высадился в Фрежу, Бернадот уже 3 месяца как был замещен Дюбуа-Крансе.

С возвращением Бонапарте друзья Бернадота хотели вернуть его в министерство; но Бонапарте воспротивился тому; отсюда выяснилась если не явная, то скрытая вражда между двумя генералами.

Таким образом, присутствие Бернадота в гостиной Бонапарте

было явлением почти столь же необычайным, как и присутствие Моро, и по поводу приезда победителя Местрихта присутствующие так же ломали себе голову, как и над посещением победителя Раштадта.

Только Бонапарте не пошел к нему навстречу, как он сделал это по отношению к Моро, а ограничился тем, что обернулся и, не тронувшись с места, стал ожидать.

Бернадот, при входе в дверь, окинул быстрым взглядом зал; он заметил каждую группу, и хотя в центре главной из них увидел Бонапарте, но подошел к Жозефине, которая полулежала на кушетке у камина, прекрасная, задрапированная подобно статуе Агриппины в музее Питти,— поклонился ей с рыцарской вежливостью, сказал ей несколько любезностей, осведомился о здоровье и только после этого поднял голову и, видимо, начал отыскивать глазами Бонапарте.

В такую минуту каждая мелочь имела слишком большое значение, и все обратили внимание на преувеличенную вежливость Бернадота.

Бонапарте со своим быстрым сметливым соображением первый заметил это; его разбирало нетерпение и, не дожидаясь Бернадота, он оставил своих собеседников и направился к нише окна, как будто делая этим вызов бывшему военному министру следовать за собой. Бернадот приветливо раскланялся направо и налево, и, придав своему подвижному лицу спокойное выражение, он приблизился к Бонапарте, ожидавшему как борец своего противника, выставив правую ногу вперед и сжав губы. Они поклонились друг другу; только Бонапарте не сделал ни малейшего движения, чтобы подать Бернадоту руку, и тот тоже.

— Это вы,— сказал Бонапарте,— я рад вас видеть.

— Благодарю, генерал,— ответил Бернадот,— я пришел сюда потому, что мне кажется, будто я должен дать вам некоторые разъяснения.

— Я сначала не узнал вас.

— Однако, генерал, мое имя было произнесено тем слугою, который докладывал обо мне, достаточно громко и внятно, чтобы не оставить ни малейшего сомнения в тождестве его со мною.

— Да, но он доложил о генерале Бернадоте.

— И что же?

— А я увидел человека в штатском платье, и хотя и узнал вас, но все-таки сомневался.

Действительно с некоторых пор Бернадот предпочитал штатское платье военному.

— Вы знаете,— отвечал он, смеясь,— что я только наполовину военный: я привлечен к выработке реформ гражданином Сейесом.

— Мне кажется, что для меня это счастье, что во время моей высадки в Фрежу вы уже не были военным министром.

— Почему же?

— Вы говорили, как уверяют меня, что если бы вы получили приказ арестовать меня за несоблюдение санитарных постановлений, то вы бы это сделали.

— Я это говорил и повторяю; будучи солдатом, я всегда был верен дисциплине; сделавшись министром — я стал рабом закона. Бонапарте кусал губы.

— И после этого вы еще станете уверять, что вы не питаете ко мне личного недоброжелательства?

— Личное недоброжелательство к вам, генерал? — переспросил Бернадот. — За что же? Мы повышались с вами одновременно, я стал генералом даже раньше вас; хотя мои компании на Рейне не были столь блестящи, как ваши на Эче, но они принесли не меньшую пользу в Италии, я полагаю, вы нашли во мне преданного офицера, если не вам, то отечеству. Правда, что со времени вашего отъезда, генерал, я был счастливее вас, так как не имел на своей ответственности большой армии, которую, если верить последним донесениям Клебера, вы оставили в жалком положении.

— Как! По последним донесениям Клебера? Разве Клебер писал?

— Неужели вам это неизвестно, генерал? Неужели Директория не передала вам жалоб вашего преемника? Это было бы с ее стороны крайним малодушием, и я тогда вдвойне доволен, что восстановил в вашей памяти толки обо мне и довел до вашего сведения, что говорят о вас.

Бонапарте устремил на Бернадота мрачный орлиный взгляд.

— А что говорят обо мне? — спросил он.

— Говорят, что, раз вы вернулись, вы обязаны были привести с собою и армию.

— Да разве у меня был флот? И неужели вы не знаете, что Брюи допустил сжечь свой флот?

— Генерал, говорят, что в таком случае, раз вы не могли вернуть армию, лучше бы было вам остаться при ней.

— Разумеется, я бы сделал это, но события во Франции заставили меня вернуться.

— Какие события, генерал?

— Ваши поражения.

— Простите, генерал, вы хотели сказать: поражения Шерера.

— Они и ваши.

— Я отвечаю за генералов, командовавших Рейнской и Итальянской армиями, только с тех пор, как меня назначили военным министром. Давайте перечислим все бывшие с этих пор поражения и победы и сейчас же увидим, на какой стороне окажется перевес.

— Что же вы этим докажете? Что ваши дела в блестящем положении?

— Нет, но я докажу вам, что они не в таком отчаянном состоянии, как вы стараетесь представить их себе.

— Как я стараюсь!.. Право, генерал, слушая вас, можно

подумать, что мне выгодно, чтобы Франция была унижена в глазах чужестранцев.

— Я говорю совсем не про то: я говорю, что я явился для того, чтобы вместе с вами подвести итоги наших побед и поражений за месяц, и, так как я явился сюда за тем именно, явился к вам, явился в качестве обвиняемого...

— Или обвинителя.

— Сначала в качестве обвиняемого... я начинаю.

— А я,— сказал Бонапарте в сильном волнении,— я слушаю.

— Начало моего министерства считается с 30 прериаля, иначе говоря, с 8 июня; у нас не будет недоразумений из-за фактов. Бернадот, не возражая, продолжал:

— Итак, как я уже говорил вам, я стал министром 8 июня, то есть несколько дней спустя после снятия осады с Сен-Жан-д'Акра. Бонапарте закусил губу.

— Я снял эту осаду, разрушив предварительно укрепление,— испыхнул он.

— Клебер пишет не так, но это до меня не касается...

И он прибавил, улыбаясь:

— Это было во время министерства Кларка.

Оба смолкли на минуту; Бонапарте попробовал заставить Бернадота потупить взор, но, видя свою неудачу:

— Продолжайте,— обратился он к нему.

Бернадот склонил голову и начал:

— Вероятно, ни один военный министр,— доказательством тому служат министерские архивы,— ни один военный министр не получал своего назначения при столь критических обстоятельствах; внутри шли распри, неприятель беспокоил извне; падение духа в старых армиях, абсолютная невозможность организовать новые армии; вот в каких условиях находился я 8 июня вечером, но я принял уже портфель. И с этого времени установившиеся деятельные сношения с гражданскими и военными властями начали поднимать их надежды и силы; обращение мое с армией — может, в этом я и не был прав — не было отношением министра к солдатам, но чисто товарищеское, как и отношения мои с гражданами. Я взывал к храбрости армии и к сердечности французов и получил желаемые результаты: снова образовалась национальная гвардия; с беспрецедентным единодушием возникли легионы на Рейне, на Мозеле; целые батальоны ветеранов заступили место прежних полков и пошли на помощь защитникам наших границ; в настоящее время в нашей кавалерии прибавилось сорок тысяч свежих лошадей; сто тысяч экипированных и вооруженных рекрутов получают при криках «Да здравствует республика!» знамена, под которыми они идут сражаться и побеждают...

— Но,— с горечью перебил Бонапарте,— ведь это целая похвальная речь, которую вы произносите по собственному адресу!

— Пусть так; я разделю свою речь на две части: первая будет

спорной апологией, а вторая — изложением неопровержимых фактов; оставим первую в стороне и перейдем к фактам.

17 и 18 июня — дни сражения при Треббии: Макдональд не желает содействия Моро; он переходит к Треббю, нападает на неприятеля, терпит поражение и отступает к Модене. 20 июня Тортонская битва: Моро побеждает австрийца Бельгарда. 22 июля сдача крепости Александрии русско-австрийцам. Весы наклоняются в сторону поражения. 30 — сдача Мантуи: еще урон! 15 августа сражение при Нови; тут уже более чем потеря, это поражение; занесите его в счет, генерал, оно последнее.

В то самое время, как нас бьют при Нови, Массена держится на своих Цугских и Люцернских позициях, укрепляется на Ааре и на Рейне, а Лекурб 14 и 15 августа овладевает Сен-Готардом. 19 битва при Бергене: Брюн расстреливает англо-русскую армию в сорок тысяч человек и берет в плен русского генерала Германа. 25, 26 и 27 того же месяца идут сражения под Цюрихом: Массена разбивает русско-австрийцев под начальством Корсакова; Готц и еще три австрийских генерала взяты в плен, а три убито; неприятель потерял двенадцать тысяч человек, сто пушек и весь фураж! Австрийцы, отбившись от русских, могут с ними соединиться только за Констанским озером — здесь конец успехам неприятеля, бывшим с самого начала кампании; вместе с отобраением Цюриха французская территория оказалась обеспеченной от всякого вражеского нашествия.

30 августа Молитор разбивает австрийских генералов Елачича и Ланкена и отбрасывает их полки к Граубюндену. 1 сентября Молитор атакует и разбивает в Муттатале генерала Роземберга. 2-го Молитор вынуждает Суворова очистить Гларис, оставив в плену раненых, пушки и тысячу шестьсот человек. 6-го генерал Брюн во второй раз поражает англо-русских, под начальством герцога Йоркского. 7-го генерал Гацан овладевает Констанцем. 9-го вы высадились у Фрежу.

И вот, генерал, — продолжал Бернадот, — так как Франция, вероятно, скоро будет в ваших руках, полезно, чтобы вы знали, в каком состоянии вы принимаете ее и что, за неимением расписки, само положение вещей удостоверяет ее теперешнее состояние. Мы в настоящее время делаем историю Франции, и важно, чтобы те лица, которым выгодно будет представить ее впоследствии в извращенном виде, натолкнулись бы на это опровержение Бернадота!

— Это вы говорите для меня, генерал?

— Для льстецов... По слухам, вы рассказываете, что вернулись потому, что наши армии находятся в расстройстве, потому что Франция в опасности, потому что республика при последнем издыхании. В таком тревожном состоянии духа вы могли уехать из Египта; но по приезде во Францию эта тревога должна рассеяться и уступить место совершенно противоположным чувствам.

— Мне очень было бы приятно сойтись с вами во мнениях, ге-

нерал, — ответил Бонапарте с величайшим достоинством, — и чем более великой и могущественной я найду Францию, тем приятнее буду я по отношению к тем людям, которым она обязана своим могуществом и величием.

— О, результаты налицо, генерал! Три армии разгромлены вкопце, с русскими покончено, австрийцы побеждены и сбиты с толку; двадцать тысяч пленников, сто пушек, пятнадцать знамен, все неприятельские припасы в наших руках; девять пленных и убитых генералов, свободная Швейцария, наши границы точно определены, гордый Рейн служит одной из них: вот доля Массены и положение Гельветии. Англо-русская армия, дважды разбитая, в полном бессилии оставляет нам артиллерию, пожитки, военные и съестные припасы, чуть ли не жен и детей, прибывших с англичанами, считавшими себя уже властителями Голландии; восемь тысяч пленных французов, возвращенных родине, все войска выведены из Голландии; вот доля Брюна и положение Голландии.

Арьергард генерала Клено, принужденный сложить оружие в Вилланове; тысяча пленников, три пушки, достаемые нам, и австрийцы, отброшенные за Бормиду; в итоге, считая стурские и пиньерольские сражения, — четыре тысячи пленных, шестнадцать артиллерийских орудий, местность Мондовия, занятие всей территории между Стурой и Танаро; вот доля Шампионне и положение Италии.

Двеститысячная пехота, сорокатысячная конница; это моя доля и положение Франции.

— Но, — насмешливо спросил Бонапарте, — если у вас налицо, как вы изволили сейчас сказать, двести сорок тысяч войска в полной готовности, на что же понадобились вам еще те пятнадцать или двадцать тысяч, которые были у меня в Египте и которые там полезны как колонизаторы страны?

— Если я прошу их вернуть, не потому, что они нам нужны, а из боязни за их участь там.

— А какое же несчастье может постигнуть их под начальством Клебера?

— Клебер может быть убит, генерал, а за Клебером кто на очереди?.. Мену... Клебер и ваши двадцать тысяч погибли, генерал!

— Как погибли?!

— Да, султан пошлет войска, земля его. Англичане пошлют флот; море их. У нас ни суши, ни воды, и мы будем принуждены наблюдать отсюда, как очистится Египет от войск и сдастся в плен наша армия.

— Вы все видите в черном цвете, генерал!

— Будущее скажет, кто из нас двух видел в настоящем цвете.

— А что же вы бы сделали на моем месте?

— Не знаю; но если бы мне даже пришлось их вести обратно через Константинополь, я бы не оставил ни одного человека, вверенного мне Францией. Вспомните, генерал, исторический пример. Ведь

Ксенофонт на берегах Тигра был в более отчаянном положении, чем вы на берегах Нила: он вернулся в Ионию со своими десятью тысячами, а эти десять тысяч не были афинянами, они не были его согражданами, они были просто наемниками!

Едва Бернадот произнес слово «Константинополь», как Бонапарте перестал слушать; казалось, оно пробудило в нем новый источник мыслей, которые всецело овладели им.

Он положил свою руку на плечо удивленного Бернадота и, устремив взор в пространство с видом человека, следящего за исчезающим вдали призраком, промолвил:

— Да, да, я сам думал о том же, и вот причина, по которой я упорствовал во взятии Сен-Жан-д'Акра, этого плохо укрепленного местечка. Вам отсюда видно было только мое упрямство, бесполезная потеря людей да удовлетворение самолюбия посредственного генерала, боящегося, чтобы его не упрекнули в каком-либо промахе, я бы не жалел о снятии осады с Сен-Жан-д'Акра, если бы эта крепость не являлась оплотом более широких замыслов, какие когда-либо создавались в человеческом воображении!.. Города! Ах! Боже мой, я их возьму столько же, сколько взяли их Александр Македонский и Цезарь, но надо было взять Сен-Жан-д'Акр! Если бы я его взял, знаете ли вы, что бы я этим достиг?

И его огненный взор впился в Бернадота, который на этот раз потупил очи перед пламенем гения.

— Что бы я этим достиг,— повторил Бонапарте, и, как Аякс, он угрожающим жестом поднял руку к небу,— возьми я Сен-Жан-д'Акр, я нашел бы там сокровища паши и оружия на триста тысяч человек; я поднял бы к восстанию и вооружил всю Сирию, до того возмущенную зверствами Джебзарра, что при каждом новом моем штурме население молилось бы о его поражении; я пошел бы на Дамаск и Алеппо; я увеличил бы численность своей армии всеми недовольными, по мере углубления моего в страну; я провозгласил бы народу освобождение от рабства и свержение тиранического ига пашей. Я подошел бы к Константинополю с бесчисленным войском; я уничтожил бы турецкую империю и основал на месте ее величайшую империю, благодаря которой мое потомство поставило бы мое имя выше Константина и Магомета III! Может быть, наконец, я вернулся бы в Париж через Адрианополь или Вену, уничтожив предварительно австрийскую династию. Так вот он, дорогой генерал, тот проект, который рухнул из-за ничтожной крепости Сен-Жан-д'Акр.

И он до того забылся, с кем он говорит, упившись воспоминаниями о своих разлетевшихся мечтах, что назвал Бернадота: дорогой генерал.

Бернадот, пораженный смелостью замыслов Бонапарте, отступил на шаг назад.

— Да,— сказал Бернадот,— я теперь понимаю, чего вы добиваетесь, и вы только что выдали свои мысли: трон от востока до запада! Трон! Пусть будет трон, почему бы ему и не быть! Можете

с уверенностью рассчитывать на мою помощь при завоевании его земли, где хотите, кроме Франции: я республиканец и умру им.

Бонапарте тряхнул головой, как бы желая отогнать назойливые мысли.

— И я тоже республиканец, — сказал он, — но взгляните же, что сталося с вашей республикой!

— Ну, так что же! — воскликнул Бернадот. — Ведь я предан не названию или форме, а самому принципу. Пусть правители дадут мне власть, и я сумею защитить республику от ее внутренних врагов так же, как защитил ее от внешних.

При последних словах Бернадот поднял на Бонапарте глаза, и взоры их встретились.

Два скрестившиеся меча не дают при ударе таких сверкающих и страшных искр, как были молниеносны их взгляды.

Жозефина уже давно тревожно и внимательно следила за ними обоими.

Она уловила их красноречивые взоры и прочла в них взаимную угрозу.

Она быстро встала и направилась к Бернадоту.

— Генерал, — промолвила она.

Бернадот обернулся к ней.

— Не правда ли, вы дружны с Гойе! — продолжала она.

— Это один из лучших моих друзей, сударыня, — сказал Бернадот.

— Ну, вот в чем дело: мы приглашены к нему на обед послезавтра, 18 брюмера; приезжайте также и вы к обеду и привозите нашу супругу, мне бы очень хотелось с ней сойтись.

— Сударыня, — сказал Бернадот, — в древние века вы бы считались одной из трех граций; в средние века — вы были бы феей; а в настоящее время — вы самая восхитительная женщина, которую я когда-либо встречал.

И, отступив три шага назад и поклонившись ей, он вышел, не удостоив Бонапарте даже кивком головы.

Жозефина все время глядела ему вслед. Потом, обратясь к мужу, спросила:

— Что, кажется, с Бернадотом дело обстоит иначе, чем с Морво?

— Предприимчив, смел, бескорыстен, неподкупен, убежденный республиканец. Этот человек представляет препятствие: его придется перевернуть, так как повалить его нельзя.

И, выйдя из зала, не простясь ни с кем, он поднялся к себе в кабинет, куда за ним последовали Ролан и Бурьен.

Не прошло и четверти часа со времени их прихода, как замок тихо щелкнул и дверь отворилась. Вошел Люсьен.

ПРОЕКТ ДЕКРЕТА

Очевидно, Люсьена ждали. Хотя Бонапарте еще ни разу не произнес его имени с тех пор, как вошел в кабинет, но он несколько раз взглядывал на дверь с возрастающим нетерпением и при появлении молодого человека с уст Бонапарте сорвалось радостное восклицание человека, который долго ждал и, наконец, дождался.

Люсьен, младший брат главнокомандующего, родился в 1775 году, так что ему было около двадцати пяти лет; с 1797 года, то есть в возрасте двадцати двух с половиной лет, он вступил в Совет Пятисот, который избрал его своим президентом, чтобы польстить Бонапарте.

Это обстоятельство оказалось как раз выгодным для замыслов Бонапарте.

Откровенный и честный, республиканец в душе, Люсьен, помогая осуществлению идей своего брата, думал, что он тем самым еще более служит на пользу республике, чем будущему первому консулу.

По его понятию, никто не мог вернее спасти ее во второй раз, как тот, который уже спасал ее раньше.

Воодушевленный такими чувствами, он и пришел к брату.

— Вот, наконец, ты! — сказал ему Бонапарте. — Я ожидал тебя с нетерпением.

— Я знал это, но мне надо было выждать удобную минуту, чтобы незаметно уйти.

— И тебе, наконец, удалось?

— Да, Тальма начал рассказывать что-то про Марата и Дюмурье. Как ни была интересна история, я лишил себя удовольствия дослушать ее и пришел сюда!

— Я слышал стук отъезжавшего экипажа; не видел ли выходящий, как ты поднимался по лестнице, ведущей ко мне в кабинет?

— Выходивший-то и был я сам; отъезжал мой собственный экипаж; раз экипажа моего нет, то все подумают, что я уехал. Бонапарте вздохнул с облегчением.

— Ну, посмотрим, — сказал он, — что ты сделал за сегодняшний день?

— О, я не терял времени!

— Будет ли у нас декрет Совета Старейшин?

— Сегодня мы его составили, и он у меня с собой — черновик, — чтобы ты посмотрел, не надо ли чего вычеркнуть или добавить.

— Давай его! — сказал Бонапарте.

И, быстро взяв из рук Люсьена бумагу, он прочел:

«Пункт 1. Законодательный корпус переводится в Сен-Клу; заседания обоих Советов будут происходить в двух дворцовых флигелях...»

— Это важный пункт,— сказал Люсьен,— я его попросил поставить первым, чтобы он сразу бросился в глаза народу.

— Да, да,— заметил Бонапарте.

И он продолжал:

«Пункт 2. Он переведется туда завтра, 20 брюмера...»

— Нет, нет,— сказал Бонапарте. — «Завтра 19». Переправьте число, Бурьен.

И он передал бумагу секретарю.

— Ты думаешь, что будешь готов к 18?

— Буду. Фуше меня предупредил третьего дня: «Торопитесь, или я ни за что не ручаюсь».

— «19 брюмера»,— произнес Бурьен, возвращая бумагу.

Бонапарте продолжал:

«Пункт 2. Он переведется завтра, 19 брюмера в полдень. Продолжение совещаний воспрещено где бы то ни было, ранее этого срока».

Бонапарте снова перечитал этот пункт.

— Это хорошо,— сказал он,— здесь смысл ясен.

И продолжал:

«Пункт 3. Генералу Бонапарте поручено привести в действие настоящее постановление: он обязан принять все необходимые меры для безопасности национального представительства».

Насмешливая улыбка тронула сжатые губы чтеца, но тотчас же он продолжал:

«Генерал будет командовать 17-й дивизией; гвардия законодательного корпуса, линейные полки, находящиеся в Парижском районе, в конституционном округе и на всем пространстве, занимаемом 17 дивизией, становятся немедленно под его команду и должны считать его своим командиром».

— Припиши, Бурьен: «Все граждане должны оказывать ему помощь по первому его требованию». Они любят вмешиваться в политические дела, и, когда они могут помочь нам в осуществлении наших замыслов, надо доставить им это удовольствие».

Бурьен повиновался, потом передал бумагу генералу, который продолжал читать:

«Пункт 4. Генерал Бонапарте явится в собрание Совета принять выписку из настоящего декрета и принести присягу. Он условится с комиссарами-надзирателями обоих Советов».

Пункт 5. Настоящий декрет должен быть немедленно передан гоним в Совет Пятисот и в Исполнительный совет.

Он будет напечатан, расклеен, обнародован во всех общинах республики нарочными вестовыми.

Париж, месяца...»

— Число не проставлено,— сказал Люсьен.

— Поставь: «18 брюмера», Бурьен; надо, чтобы декрет изумил всех. Доставленный в 7 часов утра, надо, чтобы в это же самое время, даже раньше, он был уже расклеен на всех стенах Парижа.

— А вдруг Старейшины откажутся издать его?..

— Тем более причин к тому, чтобы он был расклеен, просто-филя! — сказал Бонапарте. — Мы будем так действовать, как будто он уже издан.

— Не надо ли исправить ошибку в выражении в последнем пункте? — спросил Бурьен с улыбкой.

— Какую ошибку? — сказал Люсьен тоном автора, самолюбие которого задето.

— В слове «немедля», — возразил Бурьен, — обыкновенно в подобных случаях говорят не «немедля», а «немедленно».

— Не стоит, — сказал Бонапарте, — будьте покойны, я буду действовать таким образом, точно здесь написано слово «немедленно».

Потом, как бы сообразив что-то, он продолжал:

— Что же касается твоего опасения, что декрет может не пройти, то на это существует очень простое средство сделать так, чтобы он прошел.

— А какое?

— В шесть часов утра созвать собрание из тех членов, в которых мы уверены, а в восемь — из остальных. Раз мы имеем только своих сторонников, сам дьявол не в состоянии помешать нам взять верх.

— Неудобно... В шесть часов для одних, а в восемь для других... — с недоумением промолвил Люсьен.

— Поручи это двум разным секретарям; выйдет так, что один из них как будто ошибся.

Потом, обратясь к Бурьену:

— Пиши, — приказал он.

И, ходя по комнате взад и вперед, он начал диктовать без запинки, как человек, заранее и подробно обдумавший предмет; время от времени он останавливался и заглядывал в бумагу, чтобы убедиться, верно ли записывал Бурьен его слова:

«Граждане!

Совет Старейшин, хранитель национальных заветов, только что издал прилагаемый декрет: он уполномочен на это статьями 102 и 103 конституционного акта.

Он возлагает на меня обязанность принять меры к обеспечению безопасности во время кратковременного перемещения национального представительства...»

Бурьен взглянул на Бонапарте: он хотел сказать «необходимого», но, так как генерал не поправился, Бурьен оставил «кратковременного».

Бонапарте продолжал диктовать:

«Законодательный корпус будет в состоянии оградить представительство от угрожающей опасности, куда ввергло его расстройство всех частей администрации.

Ему необходимы при таких исключительных условиях единодушные и доверие патриотов; сплотитесь вокруг него; это единственное

средство упрочить республику на основаниях гражданской свободы, внутреннего благоустройства, победы и мира».

Бонапарте снова прочел это воззвание и сделал головою знак одобрения.

Затем он вынул часы.

— Одиннадцать часов,— сказал он,— время еще есть.

И, сев на место Бурьена, он набросал коротенькую записку, запечатал ее и надписал адрес: «Гражданину Баррасу».

Окончив это, он сказал:

— Ролан, бери сейчас из конюшни лошадь или наемную карету и отправляйся к Баррасу; я прошу у него завтра в полночь свидания. Будет ответ.

Ролан вышел.

Минуту спустя со двора отеля донесся галоп лошади, удалявшейся по направлению улицы Мон-Блан.

— Теперь, Бурьен,— сказал Бонапарте, прислушиваясь некоторое время к звуку копыт,— завтра в полночь, безразлично — буду ли я дома или нет,— вы велите заложить мою карету, сядете в нее и поедете вместо меня к Баррасу.

— Вместо вас, генерал?

— Да, за целый день, в расчете на то, что я явлюсь вечером, он ничего не предпримет и будет думать, что я его включаю в свою партию. В полночь вы будете у него, вы ему скажете, что жестокая головная боль принудила меня лечь спать, но что я приеду к нему ровно в семь часов утра. Поверит он вам или нет, но во всяком случае будет уже слишком поздно для него противодействовать нам: в семь часов утра в моем распоряжении будет десять тысяч человек.

— Слушаю, генерал. Нет ли у вас для меня еще каких приказаний?

— Сегодня вечером — никаких,— ответил Бонапарте.— Приходите сюда завтра пораньше.

— А мне что делать? — спросил Люсьен.

— Повидай Сейеса; он имеет большое влияние на Совет Старейшин; прими все возможные меры предосторожности относительно его. Я желаю, чтобы ни его не видели у меня, ни меня у него; в случае нашей неудачи этот человек способен выдать нас. Послезавтра я хочу стать сам господином своих поступков и развязаться со всеми.

— Понадоблюсь ли я тебе завтра?

— Ночью явись ко мне и отдай отчет мне во всем.

— Ты вернешься сейчас к гостям?

— Нет, я отправлюсь на половину Жозефины, ждать ее. Шепните, Бурьен, ей мимоходом о том словечко, чтобы поскорее отделалась от своих гостей.

И, распрощавшись жестом руки с Бурьеном и с братом, он прошел особым коридором из кабинета в комнату Жозефины.

Там, освещенный белоснежным светом лампы, от которого лоб шговорщика казался еще бледнее обыкновенного, Бонапарте при-

слушивался к стуку колес отъезжавших один за другим экипажей.

Наконец, уехала последняя карета, и пять минут спустя дверь отворилась и вошла Жозефина.

Она была одна и держала в руке канделябр.

Ее лицо, освещенное двойным светом, выражало глубокую грусть.

— Что с тобой? — спросил ее Бонапарте.

— Я боюсь! — ответила Жозефина.

— Кого? Болванов Директории или заступников обоих Советов? Пустяки! У Старейшин за меня Сейес; у Пятисот — Люсьен.

— Так, значит, все идет хорошо?

— Чудесно!

— Видишь ли: ты велел передать мне, что ждешь меня здесь, а я испугалась — нет ли какой неприятной новости, которую ты хочешь сообщить мне.

— Что за вздор! Если бы у меня были какие-нибудь неприятности, разве я сказал бы тебе про них?

— Как это хорошо!

— Будь покойна, у меня одни хорошие вести; только я и для тебя приготовил в заговоре роль.

— Какую?

— Садись и пиши Гойе.

— Что мы не придем к нему на обед?

— Напротив: пригласи его с женой к нам на завтрак; когда люди так расположены друг к другу, как мы с ним, то хочется видеться почаще.

Жозефина села за письменный столик розового дерева.

— Диктуй, — сказала она, — я буду писать.

— Как же! Чтобы узнали мой слог! Ты лучше меня знаешь, как пишутся те миленькие записочки, против которых нельзя устоять.

Жозефина ответила улыбкой на комплимент, подставила лоб Бонапарте, который нежно поцеловал ее, и написала ту записочку, точную копию которой мы приводим ниже.

«Гражданину Гойе, президенту исполнительного органа Директории французской республики...»

— Хорошо? — спросила она.

— Отлично! Так как ему теперь осталось недолго пользоваться этим титулом, мы его оспаривать не будем.

— Неужели вы не дадите ему никакой должности?

— Я сделаю его кем угодно, если он сделает все, что мне угодно!

Продолжай, дорогая!

Жозефина снова взялась за перо и написала:

«Приезжайте, любезный Гойе, с супругою завтра ко мне позавтракать, в восемь часов утра; пожалуйста, не откажите, у нас с вами будет очень интересный разговор.

До свидания, мой дорогой Гойе! Примите уверение в искренней моей преданности!

Пажери-Бонапарте».

— Я написала: завтра; мне надо поставить на письме: 17 брюмера.

— И ты не солжешь,— сказал Бонапарте,— слышишь, бьет полночь.

И, действительно, еще один день канул в вечность: часы пробили двенадцать.

Бонапарте слушал их в глубокой задумчивости; двадцать четыре часа только отделяли его от того торжественного дня, к которому он готовился целый месяц и о котором мечтал три года.

Сделаем то, чего ему так хотелось, минуем эти двадцать четыре часа, которые нас отделяют от того дня, о котором история еще не высказалась, и посмотрим, что происходило в семь часов утра в разных местах Парижа, где события, которые мы опишем, должны были произвести большие волнения.

Глава XXIII

ALEA JACTA EST (ЖРЕБИЙ БРОШЕН)

В семь часов утра министр полиции Фуше явился к президенту Директории Гойе.

— О! О! — сказал Гойе при входе его. — Что же такое случилось, господин министр юстиции, что я имею удовольствие видеть вас в такой ранний час?

— Вам еще не известен декрет? — спросил Фуше.

— Какой декрет? — спросил честный Гойе.

— Декрет Совета Старейшин.

— Когда же он издан?

— Сегодня ночью.

— Так теперь собрания у Совета происходят по ночам?

— Да, когда является необходимость.

— А о чем гласит декрет?

— О переводе заседаний законодательного корпуса из Парижа в Сен-Клу.

Гойе понял правду. Он сразу сообразил, какую выгоду может извлечь из этого перемещения предприимчивый гений Бонапарте.

— А с которых пор министр полиции переименован в посла Совета Старейшин? — спросил он.

— Вот что вас вводит в заблуждение, гражданин президент, — ответил бывший член народного Конвента. — В эту минуту я более чем когда-либо на своем посту, так как хочу донести вам об одном обстоятельстве, которое грозит серьезными последствиями.

Фуше еще не знал, какой оборот примет заговор на улице Победы; на всякий случай он готовил себе отступление.

Но Гойе, несмотря на свою безупречность, слишком хорошо знал этого человека, чтобы дать обмануть себя.

— Меня еще вчера следовало уведомить о декрете, гражданин начальник полиции, а не сейчас, так как настоящим сообщением вы опередили только несколькими минутами официальное уведомление, которое должно быть мне сделано.

И в ту же минуту слуга отворил дверь и доложил президенту, что гонец Совета Старейшин просит у него позволения войти.

— Пусть войдет! — сказал Гойе.

Гонец вошел и подал президенту письмо.

Тот живо распечатал его и прочел:

«Гражданин президент,

Комитет спешит сообщить вам декрет о перемещении законодательного корпуса в Сен-Клу.

Декрет вы получите своевременно, но меры предосторожности требуют подробностей, разработкой которых мы теперь заняты.

Приглашаем вас в комитет Старейшин; там вы увидите Сейеса и Дюко.

Братский привет: Барильон, Фарг, Корне».

— Хорошо, — сказал Гойе гонцу, отпуская его.

Гонец ушел.

Гойе обернулся к Фуше.

— А, — вымолвил он, — заговор хорошо организован: мне объявили, что есть декрет, но его не прислали; к счастью, вы можете изложить мне его содержание.

— Но я сам его не знаю, — проговорил Фуше.

— Как! Состоялось заседание в Совете Старейшин, а вы, министр внутренних дел, вы об этом ничего не знаете; а между тем было экстренное заседание, собравшееся по повесткам.

— Про заседание я знал, но не мог присутствовать на нем.

— А разве у вас там не было ни секретаря, ни стенографа, который бы слово в слово мог вам передать все? Более чем вероятно, что это заседание решит судьбу Франции?.. Ах, гражданин Фуше, вы очень неумелый министр внутренних дел, или, вернее, — очень ловкий.

— Вы сделаете какие-нибудь распоряжения, гражданин президент? — спросил Фуше.

— Никаких, гражданин министр внутренних дел, — ответил президент. — Если Директория сочтет уместным отдать какие-нибудь приказы, она поручит это людям, которых сочтет достойными доверия. Вы можете вернуться к тем, кто вас послал сюда, — прибавил он, повернувшись спиной к собеседнику.

Фуше вышел. Гойе тотчас позвонил.

Вошел слуга.

— Ступайте к Баррасу, к Сейесу, к Дюко и к Мулену и попросите их явиться ко мне сию минуту... Зайдите перед тем к моей жене

и попросите ее в мой кабинет; пусть она захватит с собою письмо г-жи Бонапарте с приглашением на завтрак.

Пять минут спустя вошла г-жа Гойе, одетая к выходу и с письмом в руке; приглашение было к восьми часам; было уже половина восьмого, и требовалось по крайней мере двадцать минут, чтобы попасть из Люксембурга на улицу Победы.

— Вот, мой друг,— сказала г-жа Гойе, подавая мужу письмо,— приглашают в восемь часов.

— Да,— ответил Гойе,— час я знаю, но не знаю числа.

И, взяв из рук жены письмо, он прочел:

«Приезжайте, любезный Гойе, с супругою завтра ко мне позавтракать, в восемь часов утра; пожалуйста, не откажите: у нас с вами будет очень интересный разговор».

— Ну,— сказал он,— здесь дело чистое.

— Что же, мой друг, мы едем? — спросила г-жа Гойе.

— Ты поедешь, а я останусь. В данную минуту происходят события, которым, вероятно, не чужд Бонапарте; из-за них я и мои коллеги должны остаться в Люксембурге.

— События, имеющие значение?

— Может быть.

— В таком случае я остаюсь при тебе.

— Нет, зачем же, ты мне помочь не можешь. Поезжай к г-же Бонапарте; быть может, я ошибаюсь, но, если там происходит что-нибудь, дай знать об этом; придумай сама — каким способом, а я уж пойму с полупапека.

— Хорошо, мой друг, я сейчас еду; я решаюсь на это только в надежде быть тебе там чем-либо полезной.

— Отправляйся.

В эту минуту вошел слуга.

— Генерал Мулен идет за мной; гражданин Баррас принимает ванну и также придет сейчас; граждане Сейес и Дюко ушли из дома с пяти часов утра.

— Вот они — два изменника! — сказал Гойе.— А Барраса самого надувают.— И, поцеловав жену, он опять повторил:

— Ступай же, ступай!

Выходя, г-жа Гойе столкнулась на пороге с генералом Муленом; благодаря своему вспыльчивому характеру он казался страшно разгневанным.

— Простите, гражданка,— сказал он, врываясь в кабинет Гойе, и воскликнул:

— Знаете ли вы, президент, что теперь происходит?

— Не знаю, а догадываюсь.

— Законодательный корпус переведен в Сен-Клу; на генерала Бонапарте возложено выполнение декрета, и вся вооруженная сила подчинена ему.

— Так вот она, разгадка! — произнес Гойе.— Значит, нам надо объединиться и начать борьбу.

— А вы слышали: Сейес и Роже-Дюко ушли из дворца.

— Ей-богу, они в Тюильри! Но Баррас сидит в ванне; надо бежать к нему. Директория имеет право решать, пока она в силе. Нас трое. Повторяю, будем бороться!

— Так пошлем Баррасу сказать, чтобы он тотчас же, по выходе из ванны, шел сюда.

— Нет, пойдем сами к нему сию минуту.

Оба члена Директории вышли и направились к помещению Барраса.

Они действительно застали его в ванне и вошли прямо к нему.

— Что случилось? — спросил Баррас при входе их.

— Не знаете разве?

— Решительно ничего не знаю.

Тогда они рассказали ему все, что знали сами.

— Ах, — сказал Баррас, — теперь мне все ясно.

— Что именно?

— Да, вот почему он вчера вечером не явился ко мне.

— Кто?

— Да Бонапарте!

— Разве вы ждали его вчера вечером?

— Он прислал своего адъютанта передать мне, что он придет около полуночи.

— И не пришел?

— Нет; он прислал Бурьена в своей карете; тот сказал, что, вследствие сильной головной боли, Бонапарте лег спать, но что он непременно будет у меня рано поутру.

Члены Директории переглянулись.

— Ясное дело! — сказали они.

— Теперь, — продолжал Баррас, — я послал своего секретаря Белло, очень сметливого юношу.

Он позвонил, явился слуга.

— Как только вернется гражданин Белло, вы его попросите прийти сюда.

— Он сейчас вышел из кареты во двор дворца.

— Зовите его скорее!

Белло стоял уже в дверях.

— Ну, что? — заговорили все три члена Директории разом.

— А вот что: генерал Бонапарте в полной парадной форме в сопровождении генералов Бернонвиля, Макдональда и Моро направляется к Тюильри, где во дворце его ждет десять тысяч человек.

— Моро!.. И Моро с ними! — вскричал Гойе.

— По правую руку!

— Я всегда вам говорил! — с резкостью военного воскликнул Мулен. — Моро — это просто гадина!

— А ваше какое мнение? Думаете ли вы сопротивляться, Баррас? — спросил Гойе.

— Разумеется, — ответил Баррас.

— Ну, в таком случае одевайтесь и пойдем в зал заседаний.

— Ступайте, — сказал Баррас, — я сейчас приду.

Оба члена Директории отправились в зал.

Прошло десять минут.

— Нам следовало дожждаться Барраса, — сказал Мулен, — Моро — гадина, а Баррас прохвост!

Прошло еще два часа, а они все дожидались Барраса.

По уходе их в ванную комнату вошли Талейран и Брюи, и в разговоре с ними Баррас забыл, что его ждали.

Теперь посмотрим, что происходило на улице Победы.

В семь часов утра, против обыкновения, Бонапарте уже сидел у себя в кабинете в полной парадной форме.

Вошел Ролан.

Бонапарте был спокоен; впереди ожидалась борьба.

— Никого больше нет, Ролан? — спросил он.

— Нет, генерал, — ответил юноша. — Но мне только что слышался стук колес.

— И мне также, — сказал Бонапарте.

В эту минуту раздалось:

— Граждане: Жозеф Бонапарте и генерал Бернадот.

Ролан бросил на Бонапарте вопросительный взгляд.

Остаться ему или уйти?

Ему приказано было остаться.

Ролан стал у шкапа с книгами, как страж на посту.

— Вот как, — сказал Бонапарте, видя Бернадота одетого, как накануне, в штатское платье, — вы решительно гнушаетесь военной формой, генерал?

— Да за каким же дьяволом я напялю на себя с семи часов утра мундир? — возразил Бернадот. — Ведь я не на службе!

— Но сейчас вы будете на службе.

— Каким же образом, когда я не у дел?

— Да, но я дам вам дело.

— Вы?

— Я.

— Именем Директории?

— Да разве Директория еще существует?

— Как? Директории нет?

— А вы не видели, идя сюда, что по улицам, ведущим к Тюильри, расставлены эшелоны солдат?

— Видел и был изумлен.

— Это мои солдаты.

— Простите! — сказал Бернадот. — Я и думал, что это солдаты Франции.

— Э! Я и Франция, разве это не одно и то же?

— Я этого не знал, — холодно ответил Бернадот.

— Сейчас вы в этом еще сомневаетесь, но к вечеру уже убе-

дитесь. Слушайте, Бернадот, пока не поздно, решайтесь! Берегитесь! Кто не со мной, тот против меня.

— Генерал, обратите внимание на свои слова, вы мне сказали: «берегитесь!». Если это угроза, то ведь вы знаете, что я ее не боюсь. В эту минуту я простой гражданин и останусь им.

Бонапарте опомнился и схватил обе руки Бернадота.

— Ах! Я прекрасно все это знаю, потому-то и хочу, чтобы вы непременно были со мною. Мало того, что я вас уважаю, Бернадот, я еще люблю вас. Я оставляю вас с Жозефом: вы свояки, какие могут быть недоразумения между родственниками?

— А сами вы куда отправляетесь?

— По своим спартанским качествам вы ведь строгий исполнитель закона, не правда ли? Так вот вам декрет, изданный в ночь Советом Пятисот; в нем мне поручают немедленно принять под команду все парижское войско; я был прав, когда говорил вам, что виденные вами солдаты — мои солдаты, так как я их командир, — прибавил он.

И он вручил Бернадоту декрет, изданный в шесть часов утра.

Бернадот прочел декрет от первой до последней строки.

— К этому мне нечего прибавить, — сказал он, — охраняйте безопасность национального представительства, и все добрые граждане будут с вами заодно.

— В таком случае будьте также и вы со мной!

— Разрешите мне, генерал, подождать еще двадцать четыре часа, чтобы увидеть, как вы выполните свои полномочия.

— Черт, а не человек! — вырвалось у Бонапарте.

Потом он взял его за руку и отвел немного в сторону от Жозефа.

— Бернадот, — снова начал он, — я хочу играть в открытую с вами!

— Незачем, — ответил тот, — ведь я не сторонник ваш!

— Ничего! Хоть вы и не действующее лицо, а зритель, все же я хочу, чтобы и зрители сказали, что я не хитрил.

— Вы говорите мне под секретом?

— Нет.

— Хорошо делаете, иначе я бы отказался выслушивать ваши тайны.

— О! Мои тайны заключаются в нескольких словах! Директория ваша всем опротивела, конституция ваша выдохлась; надо все это побрку и учредить совершенно другой образ правления. Что же вы ничего не отвечаете?

— Я жду, пока вы выскажетесь окончательно.

— Мне осталось вам сказать только то, чтобы вы сейчас же надели мундир: дольше я вас ждать не могу. Вы найдете меня в Тюильри, в кругу моих товарищей.

Бернадот покачал головой.

— Вы воображаете, что можете рассчитывать на Моро, Бернонвиля, Лефевра, — подхватил Бонапарте, — а посмотрите-ка в окно,

кого вы там увидите!.. Вот там! Моро и Бернонвиль! Что же касается Лефевра, я сейчас его не вижу, но уверен, что по дороге встречу и его... Так что же, вы решаетесь теперь?

— Генерал, — возразил Бернадот, — я человек, который меньше всего увлекается примерами, а в особенности дурными примерами. Пусть Моро, Бернонвиль и Лефевр делают, что им угодно; я буду делать то, что я обязан делать.

— Так вы наотрез отказываетесь сопровождать меня в Тюильри?

— Я не желаю принимать участия в мятеже.

— Мятеж! Бунт! Против кого же! Против горсти болванов, которые, как стряпчие, только и делают, что скрипят перьями с утра до ночи в своих конурах!

— Болваны эти, генерал, в настоящую минуту представители закона, конституция им покровительствует; они для меня священны.

— Дайте мне по крайней мере одно обещание, упрямая ваша голова!

— Какое?

— Что вы не будете никуда вмешиваться.

— В качестве гражданина я не буду вмешиваться, но...

— Но что?.. Ну-с, я высказался; теперь ваша очередь!

— Но если Директория прикажет мне действовать, я пойду на мятежников, кто бы они ни были.

— А вот что! Так вы меня считаете властолюбивым? — заметил Бонапарте.

Бернадот улыбнулся.

— Я это подозреваю, — сказал он.

— Честное слово! — возразил Бонапарте. — Вы меня совсем не знаете; мне надоела политика, и единственное мое желание — спокойствие. Ах, дорогой мой, будь у меня Мальмезон и пятьдесят тысяч ливров дохода — я сейчас же отстраняюсь от всего. Вы не верите? Так я вас приглашаю ко мне туда через три месяца, и если вы любите жизнь на лоне природы, так мы с вами вместе будем наслаждаться деревенской идиллией. Итак, до свидания! Я вас оставляю с Жозефом, и, несмотря на ваш отказ, я все-таки жду вас в Тюильри... Слышите, как наши друзья волнуются?

Раздавались возгласы: «Да здравствует Бонапарте!»

Бернадот слегка побледнел.

Бонапарте это заметил.

— А! — прошептал он. — Я ошибся, он не спартанец: он афинянин.

Действительно, Бонапарте был прав; его друзья начали выражать нетерпение.

Не прошло и часу со времени объявления декрета, а уже зал, передние и весь двор отеля были запружены народом.

Первый человек, попавшийся Бонапарте вверху на лестнице, был его соотечественник, полковник Себастиани.

Он командовал девятым драгунским полком.

— Ах! Это вы, Себастиани! — сказал Бонапарте. — А где же ваши солдаты?

— Готовы к битве, на улице Победы, генерал.

— В полном порядке?

Бонапарте взял перо и на обороте фуражки адъютанта написал приказ.

Тогда Ролан подал генералу два пистолета.

— А ты осмотрел их? — спросил Бонапарте.

Ролан улыбнулся.

— Будьте покойны, — сказал он, — ручаюсь вам за их исправность.

Бонапарте, засовывая за пояс пистолеты, пробормотал:

— Хотелось бы мне знать, что такое она написала мужу?

— Я вам могу дословно передать ее письмо, генерал.

— Ты, Бурьен?

— Я. Она написала следующее: «Ты хорошо сделал, что не явился: все происходящее здесь подтверждает мне, что приглашение на завтрак — ловушка. Я скоро приеду».

Генерал, Секст Помпей давал обед на своей галере в честь Антония и Лепида; его отпущенник сказал ему: «Хотите, чтобы я сделал вас императором земного шара?» — «Каким образом?» — «Очень просто: я перерублю канаты у вашей галеры, и тогда Антоний с Лепидом — ваши пленники». — «Надо было это сделать, не говоря мне, — отвечал Секст, — а теперь не смей этого делать под страхом смерти!» Я и вспомнил эти слова, генерал: «Надо было это сделать, не говоря мне».

Бонапарте задумался на минуту, потом, очнувшись, сказал Бурьену:

— Ты путаешь, не Антоний, а Октавий был с Лепидом на галере Секста.

И он спустился во двор, ограничив свой упрек исправлением ошибки в знании истории.

Едва генерал показался на крыльце, как возгласы: «Да здравствует Бонапарте!» раздались во дворе, перекатились на улицу и повторялись стоявшими там драгунами.

— Это хорошее предзнаменование, генерал, — сказал Ролан.

— Да, скорей отдай Лефевру его приказ, и, если у него нет лошади, пусть берет одну из моих. Пусть встретит меня во дворе Тюильри.

— Его дивизия уже там.

— Тем более!

Потом, посмотрев вокруг себя, Бонапарте увидел Берноввиля и Моро, которые его ожидали; лошадей их держали под уздцы слуги. Он раскланялся с ними жестом руки, но уже скорее покровительственным, чем товарищеским.

Потом, заметив генерала Дебеля в штатском платье, он, спустившись с крыльца, подошел к нему.

— Почему в штатском? — спросил он.

— Генерал, я ни о чем не был предупрежден; случайно проходя по улице и видя войско у вашего отеля, я вошел сюда узнать, не грозит ли вам какая опасность.

— Ступайте скорее, наденьте мундир.

— Прекрасно! Ведь я живу на противоположном конце Парижа. Это будет очень долго.

Однако он сделал движение, как бы собираясь идти.

— Что же вы будете делать теперь?

— Не беспокойтесь, генерал.

Дебель усмотрел артиллериста верхом: он был приблизительно его роста.

— Друг мой, — обратился он к нему, — я генерал Дебель, по распоряжению генерала Бонапарте дай мне твой мундир и лошадь: сегодня я тебя освобождаю совсем от службы. Вот тебе луидор, выпей за здоровье главнокомандующего. Завтра ты придешь ко мне и получишь все обратно. Я живу на улице Шерш-Миди, № 11.

— А мне за это ничего не будет?

— Нет, будет: ты будешь произведен в бригадиры.

— Слушаю! — отвечал артиллерист.

И он отдал свой сюртук и лошадь генералу Дебелю.

В это время Бонапарте услышал над собою голоса; он поднял голову и увидел у окна его кабинета Жозефа и Бернадота.

— В последний раз спрашиваю вас, генерал Бернадот, идете вы со мною или нет?

— Нет, — ответил непоколебимо Бернадот.

Потом разговор перешел в шепот.

— Вы, кажется, сказали мне: берегитесь? — сказал Бернадот.

— Да.

— А я в свою очередь отвечаю вам: берегитесь!

— Чего?

— Вы отправляетесь в Тюильри?

— Разумеется.

— От Тюильри до площади Революции — рукой подать!

— Пустяки! — сказал Бонапарте. — Гильотина была перенесена к загородке трона.

— Мало ли что! В предместье Сент-Антуана верховодит все тот же пивовар Сантер, а ведь он друг-приятель Мулена.

— Сантер уже предупрежден, что если он только пикнет, так я велю его расстрелять. Что же, вы идете?

— Нет.

— Ну, как хотите. Вы отделяете свою участь от моей, а я не отделяю своей от вашей.

Потом он обратился к берейтору:

— Лошадь! — приказал он.

Ему подвели лошадь.

Вдруг он увидел возле себя простого артиллериста.

— Ты чего лезешь туда, где генералы?

Артиллерист расхохотался.

— Вы не узнали меня, генерал? — спросил он.

— Да неужели это вы, Дебель? Откуда вы достали этот мундир и лошадь?

— А вот у того артиллериста, который стоит в одном жилете. Он вам будет стоять приказа бригадира.

— Вы ошибаетесь, Дебель, — сказал Бонапарте, — он будет мне: стоять двух приказов: бригадирского и дивизионного генерала. Ну, господа, в поход! Мы идем в Тюильри.

И, по обыкновению, пригнувшись к луке, левой рукой держа свободно повод, а правой упершись в бок, наклонив голову, с задумчивым челом, с блуждающим взором, он сделал первый шаг по тому славному и роковому пути, который должен был привести его к трону... и к Святой Елене.

Глава XXIV

18 БРЮМЕРА

На улице Победы Бонапарте нашел драгунов Себастиани, выстроенных в боевом порядке.

Он хотел обратиться к ним с речью, но при первых словах они перебили его:

— Нам не надо объяснений! — закричали они. — Мы знаем, что вы желаете республике только добра! Да здравствует Бонапарте!

И шествие двинулось при криках «да здравствует Бонапарте!» по улицам, которые вели к Тюильри.

Генерал Лефевр, как и обещал, ожидал у ворот дворца.

В Тюильри Бонапарте был встречен теми же восторженными возгласами, которые сопровождали его на всем пути.

Тогда он поднял голову и выпрямился. Быть может, крики «да здравствует Бонапарте» его уже не удовлетворяли; в мечтах ему чудилось «да здравствует Наполеон!».

Он обратился к войскам и, окруженный огромным штатом генералов, прочел вслух декрет Пятисот, в силу которого заседания законодательного корпуса переводились в Сен-Клу и давалось ему, Бонапарте, полномочие на командование войсками, расположенными в столице.

Потом, не то на память, не то по вдохновению — это была тайна самого Бонапарте, — он обратился с нижеследующею прокламацией вместо той, которую он накануне диктовал Бурьену:

«Солдаты,

Экстренное собрание Старейшин возложило на меня командование всей вооруженной силой Парижа.

Я принял на себя эту обязанность для содействия тем мерам, которые оно намеревается принять и которые будут всецело способствовать благосостоянию народа.

Уже два года, как дела республики идут плохо; вы надеялись, что мое возвращение положит конец стольким бедствиям; вы обрадовались ему с восторженным единодушием, наложившим на меня те обязанности, которые я выполняю. Вы исполните свой долг и окажете содействие вашему генералу твердостью и доверием, которые я постоянно находил в вас.

Свобода, победа, мир займут то место французской республики, которое она донныне занимала в Европе и которого лишилась исключительно благодаря нерешительности и измене».

Солдаты приветствовали эту речь с восторгом: то было объявление войны Директории, а солдаты привыкли радоваться при всяком объявлении войны.

Генерал сошел с лошади среди восторженных кликов.

Он вошел в Тюильри.

Теперь он во второй раз переступал порог дворца династии Валуа, своды которого так плохо защитили корону и голову последнего сидевшего на его троне Бурбона.

Возле него выступал гражданин Редерер.

Узнав его, Бонапарте вздрогнул.

— Не правда ли, — сказал он, — гражданин Редерер, что вы были здесь утром 10 августа?

— Был, генерал, — ответил будущий имперский граф.

— Вы, кажется, подали Людовику XVI совет, чтобы он сдался Национальному Собранию.

— Да.

— Плохой совет, гражданин Редерер. Я бы ему не последовал.

— Советы дают людям, судя по тому, какого о них мнения дающие. Генералу, Бонапарте я бы и не посоветовал того, что посоветовал королю Людовику XVI. Когда король имеет в своем прошлом бегство в Варенн и 20 июня, его трудно бывает спасти.

В ту минуту, как Редерер произносил эти слова, они подошли к окну, выходившему в Тюильрийский сад.

Бонапарте остановился и, схватив руку Редерера, произнес:

— 20 июня я стоял там (и он пальцем указал на террасу над водой), за третьей липой; я мог прекрасно видеть в открытое окно бедного короля в красной шапке; он представлял из себя такую несчастную фигуру, что мне стало жаль его.

— И что же вы сделали?

— Ничего, ведь я ничего не мог сделать: я был тогда артиллерийским лейтенантом; только у меня явилось страшное желание войти к нему вслед за другими и тихонько шепнуть ему: «Государь,

дайте мне четыре артиллерийских бригады, и я ручаюсь вам за то, что разгону всю эту сволочь».

Что бы случилось тогда, если бы лейтенант Бонапарте, уступив своему желанию и с согласия Людовика XVI, действительно вывел эту сволочь, то есть парижский народ? Пустив в ход артиллерию 20 июня, спасая короля, не пришлось ли бы ему пустить ее в ход и 13 вандемира, спасая Конвент?

Между тем как бывший уполномоченный старшина мысленно уже набрасывал первые страницы своей «Истории Консульства», Бонапарте предстал перед решеткой Совета Старейшин в сопровождении своего генерального штата и всех тех, которые захотели идти с ним.

Когда волнение, вызванное появлением этой толпы, улеглось, президент прочел генералу декрет, который предоставлял ему военную власть. Потом, предлагая ему принести присягу, он прибавил:

— Тот, который никогда не сулил напрасно побед отечеству, тот только и может свято исполнить свою присягу — служить верой и правдой родине.

Бонапарте поднял руку и торжественно произнес:

— Клянусь.

И все генералы его свиты повторили один за другим:

— Клянусь.

Едва прозвучало последнее «клянусь», как Бонапарте заметил секретаря Барраса, того самого Белло, о котором сегодня поутру говорил член Директории своим сослуживцам.

Он просто затем явился сюда, чтобы дать отчет своему патрону в том, что здесь происходит; Бонапарте же думал, что на него было возложено Баррасом какое-нибудь тайное поручение.

Он решил облегчить ему первый неудобный шаг и прямо обратился к юноше со словами:

— Вы посланы сюда членами Директории?

И, не дав ему времени ответить, он продолжал:

— Что они сделали с той Францией, которую я оставил им в таком блестящем состоянии? Я оставил мир, а нашел войну; я оставил победы, а нашел поражения; я оставил миллионы Италии, а нашел грабеж и нищету. Что случилось с теми ста тысячами французов, которых я всех знал поименно! Их уже нет в живых.

Разумеется, это все должно было относиться не к секретарю Барраса; но Бонапарте чувствовал потребность высказаться, и он не обращал внимания на то, кому он это говорил.

Быть может даже, с его точки зрения, ему следовало это сказать именно тому, кто бы не мог ответить ему.

В эту минуту Сейес встал с своего кресла.

— Гражданин, — сказал он, — члены Директории Мулен и Гойе просят позволения войти.

— Они не могут уже считаться членами Директории, так как теперь ее не существует.

— Но, — заметил Сейес, — они еще не подали в отставку.

— Так пусть войдут и подадут в отставку, — возразил Бонапарте.

Вошли Мулен и Гойе.

Их лица были бледны, но спокойны; они знали, что шли на борьбу и что за их противодействием, быть может, последует ссылка в Гвиану.

— Я с удовольствием вижу, — поторопился сказать Бонапарте, — что вы, наконец, исполняете желание наше и наших двух сослуживцев.

Гойе выступил вперед и твердым голосом заявил:

— Мы выполняем не ваше желание и желание наших двух коллег, которых мы теперь более не признаем за таковых, раз они подали в отставку, но повеление закона. Закон повелевает, чтобы декрет, по которому переводятся заседания законодательного корпуса в Сен-Клу, был немедленно обнародован; мы явились исполнить обязанность, возложенную на нас законом, твердо решившись защищать его против крамольников, кто бы они ни были, которые бы вздумали нарушить его.

— Ваша преданность закону нас вовсе не удивляет, — холодно ответил Бонапарте, — и так как вас все знают за людей, которые страстно любят свою родину, то вы, разумеется, и присоединитесь к нам.

— Присоединиться к вам? А с какой стати?

— Чтобы спасти Республику.

— Спасти Республику! Было время, генерал, когда вы имели честь быть ее опорой, но сегодня предоставляется нам слава спасти ее.

— Спасти ее. А чем же? Теми средствами, которые вам дает ваша конституция? Да взгляните же! Она рушится со всех сторон, и даже если я пальцем не трону ее, так она долее недели не просуществует.

— Вот, — вскричал Мулен, — наконец-то вы признаетесь в своих преступных замыслах!

— Никаких преступных замыслов у меня нет, — перебил его Бонапарте, топнув ногой, — республика в опасности, надо спасти ее, и я это хочу сделать.

— Вы хотите, — сказал Гойе, — но мне кажется, что это дело Директории, а не ваше — говорить «хочу».

— Директории больше нет.

— Действительно, мне сообщили, что за минуту до нашего прихода вы объявили это.

— С того момента, когда Сейес и Роже-Дюко подали в отставку, Директории больше нет.

— Вы ошибаетесь. Директория существует, пока остается еще три члена, и ни Мулен, ни я, ни Баррас, мы еще не подали в отставку.

В это время кто-то сунул в руку Бонапарте бумагу, говоря: — Прочтите!

Бонапарте, пробежав бумагу, сказал:

— Сами вы ошибаетесь: Баррас подал в отставку, вот и бумага. Закон допускает трех членов для существования Директории: вас же только двое! А вы сами сейчас назвали нарушителя закона мятежником.

Потом, передавая бумагу президенту, он прибавил:

— Присоедините к отставкам Сейеса и Дюко и эту и обнародуйте падение Директории. А я объявлю эту новость своему войску.

Мулен и Гойе остались уничтоженными; отставка Барраса перевернула все планы их вверх дном.

Бонапарте нечего было больше делать в Совете Старейшин и оставалось еще много сделать во дворе Тюильрийского дворца.

Он спустился во двор в сопровождении тех, кто последовал за ним, чтобы разделить с ним удачу его замысла.

Едва солдаты увидели его снова, как возгласы «да здравствует Бонапарте!» раздались еще громче и дружнее, чем при его въезде.

Он вскочил на коня и сделал знак, что он желает говорить.

Десять тысяч голосов смолкли сразу, и, как по волшебству, наступило молчание.

— Солдаты! — произнес Бонапарте таким могучим голосом, что все услышали его. — Ваши товарищи по оружию, которые стоят на границах, терпят недостаток в самых необходимых вещах; народ бедствует. Виновники всех бед — мятежники, против которых я вас направляю. Скоро, вероятно, я поведу вас к победе, но надо предварительно обезоружить всех тех, кто вздумает противодействовать общественному порядку и безопасности!

Было ли это следствием утомления диктаторским управлением или ослеплением, навеянным этим волшебником, который призывал к победе, давно позабытой за время его отсутствия, — только в ответ на его воззвание раздался единодушный взрыв восторга и, перекатываясь, достиг Каррузеля и смежных улиц.

Бонапарте воспользовался этим моментом и, обращаясь к Моро, сказал ему:

— Генерал, я сейчас хочу вам представить доказательство того безграничного доверия, которое я питаю к вам. Бернадот, которого я оставил у себя в кабинете и который отказывается быть с нами заодно, имел дерзость сказать мне, что, если он получит от Директории приказ, он приведет его в исполнение против мятежника, кто бы он ни был. Генерал, поручаю вам охрану Люксембурга; теперь спокойствие Парижа и спасение республики всецело в ваших руках.

И, не дожидаясь ответа Моро, он пустил коня вскачь и понесся на противоположный конец линии войск.

Моро, из-за военного властолюбия, согласился играть роль в великой драме, и он принужден был взять ту роль, которую приготавливал для него автор этой драмы.

Гойе и Мулен, вернувшись в Люксембург, не нашли никакой заметной перемены: вся стража была на своих обычных местах. Они удалились в зал собраний для совещания.

Но едва началось их совещание, как генерал Жюбе, комендант Люксембурга, получил приказ явиться вместе с гвардией Директории к Наполеону в Тюильри, а его место занял Моро с солдатами, головы которых еще были отуманены речами Бонапарте.

Между тем Гойе и Мулен составляли доклад в Совете Пятисот, доклад, в котором они энергически протестовали против всего случившегося.

Когда он был написан, Гойе передал его своему секретарю, и Мулен, падавший от изнеможения, прошел к себе, чтобы закусить. Было уже около четырех часов пополудни.

Несколько минут спустя секретарь Гойе вернулся взволнованный.

— Что же? — спросил у него Гойе. — Вы еще не ушли?

— Гражданин президент, — ответил юноша, — мы стали пленниками во дворце!

— Как! Пленниками!

— Стража сменена, и генерал Жюбе уже более не начальник ее.

— А кто же замещает его?

— Мне послышалось, как будто генерал Моро.

— Моро? Невозможно!.. А Баррас, подлец! Где же он?

— Он уехал в свое имение Гробуа.

— Ах! Мне надо видеть Мулена! — вскричал Гойе, бросаясь к двери.

Но у входа в коридор часовой преградил ему путь.

Гойе хотел пройти.

— Здесь нельзя проходить! — сказал часовой.

— Как! Нельзя?

— Нельзя.

— Я — президент Гойе!

— Нельзя проходить! Есть приказ.

Гойе сообразил, что он не может прогнать часового. Употребить силу он не желал. Он вернулся к себе.

А в это самое время генерал Моро входил к Мулену; он хотел оправдаться.

Но, не желая и слушать его, бывший член Директории повернулся к нему спиной; Моро просил выслушать его.

— Генерал, — сказал ему Мулен, — извольте выйти в прихожую; место тюремщиков там.

Моро поник головою и понял, наконец, в какую роковую ловушку он попался.

В пять часов Бонапарте возвращался на улицу Победы; все высшие военные чины Парижа ехали за ним.

Самые недалновидные, те, которые не поняли значения 13 вандемира, не поняли значения возвращения Бонапарте из Египта,

думали, что яркое светило его будущности заблестело над Тюильри; и так как все не могли сделаться планетами, то старались попасть хотя бы в спутники таковых.

Возгласы «да здравствует Бонапарте!», которые неслись подобно рокоту волн с дальних улиц к улице Победы, возвестили Жозефине возвращение ее супруга.

Впечатлительная креолка ждала его с нетерпением; она в таком волнении бросилась к нему навстречу, что не могла произнести ни слова.

— Ну, ну, — сказал ей Бонапарте, становясь опять тем добродушным человеком, которым он был у себя дома, — успокойся, все, что можно было сделать сегодня, — сделано.

— Все уже окончено, друг мой?

— Нет еще, — ответил Бонапарте.

— Значит, завтра опять надо начать действовать?

— Да, но на завтра осталась только одна формальность.

Эта формальность оказалась несколько жестокой, но так как всем известны последствия событий в Сен-Клу, то мы и не станем их описывать, а сразу перейдем к главному действующему лицу нашей драмы, которое на время заслонила собою введенная нами великая историческая личность.

20 брюмера, в час пополудни, Бонапарте был избран первым консулом на одно десятилетие и назначил себе в помощники Камбасереса и Лебрена, в звании вторых консулов, имея твердое намерение сосредоточить в своих руках не только власть своих помощников, но и министров.

20 брюмера, вечером, он уже ложился спать в Люксембурге, в постель гражданина Гойе, которого он выпустил на свободу, как и сослуживца его — Мулена.

А Ролан получил место коменданта Люксембургского дворца.

Глава XXV

ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ

Спустя некоторое время после этой военной революции, отголоски которой пронеслись в Европе, возмутив на время политическое ее спокойствие, подобно буре, волнующей поверхность океана, — итак, спустя некоторое время, однажды утром 30 нивоза или, чтобы было понятнее нашим читателям, 20 января 1800 года, Ролан, вскрывая обширную переписку, каковая была неизменною спутницею его новой должности, нашел в числе сотни прочих просьб об аудиенции письмо следующего содержания:

«Господин комендант!

Я знаю ваше благородство, и вы сейчас увидите, как высоко ценю его.

Мне надобно с Вами поговорить в течение пяти минут, и все это время я буду оставаться в маске.

Я хочу обратиться к вам с одной просьбой.

Исполните Вы или не исполните мою просьбу, но знайте, что я пытаюсь проникнуть в Люксембургский дворец, имея в виду интересы первого консула Бонапарта и воинствующих роялистов, к которым я принадлежу. Прошу Вас дать мне честное слово, что Вы позволите мне не только свободно войти во дворец, но и выйти из него.

Если завтра в семь часов вечера я увижу одинокий огонек в окне над часами, значит, полковник Ролан де Монтревель дает мне честное слово, и я спокойно подойду к маленькой двери, выходящей в сад в левом крыле дворца.

Я постучу три раза, раздельно, на манер франкмасонов.

Чтобы Вы знали заранее, кому Вы дадите слово или откажетесь его дать, я ставлю свою подпись; Вы, вероятно, не забыли, при каких обстоятельствах Вам довелось слышать мое имя.

Морган, глава Соратников Иегу».

Ролан дважды перечитал послание, на минуту задумался, потом быстро встал и, войдя в кабинет первого консула, молча протянул ему письмо.

Бонапарт прочитал послание, причем его лицо оставалось непроницаемым, на нем не отразилось даже удивление.

— Надо зажечь огонь, — лаконично сказал первый консул.

И вернул письмо Ролану.

На другой день в семь часов вечера в окне уже виднелся свет, и в пять минут восьмого Ролан стоял в ожидании у маленькой двери, выходящей в сад. Через несколько мгновений в дверь постучали три раза, как это делают франкмасоны: два быстрых удара и через миг еще один.

Дверь тотчас же открылась, и на сероватом фоне зимнего ночного неба отчетливо выступила фигура в плаще; но пришедший в темноте не мог разглядеть Ролана.

Не видя никого перед собою, человек в плаще застыл на месте.

— Войдите! — сказал Ролан.

— А! Это вы, полковник!

— Откуда вы знаете, что это я? — удивился Ролан.

— Я узнал вас по голосу.

— По голосу? Но ведь мы с вами находились вместе всего несколько минут в авиньонской гостинице, а за это время я не произнес ни слова.

— Значит, я слышал ваш голос где-то в другом месте. Ролан ломал голову, недоумевая, где бы глава Соратников Иегу мог слышать его голос.

Но незнакомец шутливо спросил его:

— Неужели, полковник, из-за того, что мне знаком ваш голос, вы не дадите мне войти?

— Нет, нет, — отвечал Ролан. — Держите меня за фалду мундира и следуйте за мной. Я нарочно не велел освещать лестницу и коридор, который ведет в мой кабинет.

— Благодарю вас за предусмотрительность. Но раз вы мне дали слово, я прошел бы по дворцу из конца в конец, даже если бы он был освещен а giorno note 17, как говорят итальянцы.

— Да, я дал вам слово, поэтому спокойно поднимайтесь по лестнице. Морган не приходилось подбадривать, он смело последовал за своим проводником.

Поднявшись по ступенькам, Ролан углубился в коридор, столь же темный, как и лестница; пройдя шагов двадцать, он отворил дверь и очутился у себя в кабинете.

Морган вошел вслед за ним.

Комната была освещена, но горели всего две свечи. Морган первым делом сбросил плащ и положил свои пистолеты на стол.

— Что вы делаете? — осведомился Ролан.

— С вашего позволения, — весело отвечал его собеседник, — я устраиваюсь здесь как дома.

— Но почему вы сняли с себя пистолеты? — попытался Ролан.

— Что ж, вы думаете, что я взял их с собой, собираясь обороняться от вас?

— От кого же тогда?

— Да от госпожи полиции! Вы понимаете, я не желаю попасть в лапы гражданину Фуше и подпало усы первому из его сборов, который вздумает схватить меня.

— Значит, вы уверены, что вам здесь нечего опасаться?

— Черт возьми! — воскликнул молодой человек. — Да ведь вы дали мне слово!

— В таком случае почему вы не снимаете маску?

— Потому что мое лицо принадлежит не только мне, — в значительной мере оно принадлежит моим соратникам. Ведь если узнают одного из нас, он может потянуть за собой и других на гильотину! И вы, конечно, догадываетесь, полковник, что я знаю, куда ведет наша игра!

— Зачем же тогда вы ее затеяли?

— Вот так вопрос! А зачем вы идете на поле битвы, где пуля может продырявить вам грудь, а бомба — оторвать голову?

— Позвольте вам заметить, это совсем другое дело: на поле битвы меня ждет почетная смерть!

— Вот как! Так вы думаете, я буду обесчещен, когда треугольный нож революции отсечет мне голову? Ничуть не бывало! Ведь я, так же как и вы, солдат. Но люди по-разному борются за свои идеи. У каждой религии есть свои герои и свои мученики. Счастливы в этом мире герои! Блаженны мученики в мире ином!

Молодой человек произнес эти слова с такой убежденностью, что они взволновали Ролана, вернее, поразили его.

— Но я пришел к вам не для того, — продолжал Морган, переходя от вдохновения к характерной для него веселости, — чтобы философствовать на политические темы! Я пришел просить у вас разрешения поговорить с первым консулом.

— Как! С первым консулом?! — воскликнул Ролан.

— Ну да. Перечитайте мое письмо, — ведь я сообщил вам, что у меня есть к вам одна просьба?

— Да.

— Ну так вот, я собирался попросить у вас разрешения поговорить с генералом Бонапартом.

— Извините, я никак не ожидал подобной просьбы...

— Она вас удивляет, даже вызывает у вас беспокойство?

Дорогой полковник, если вы не верите мне на слово, можете обыскать меня с головы до ног и убедиться, что на мне нет никакого оружия, поскольку я положил на стол свои пистолеты. Более того, возьмите в каждую руку по пистолету, встаньте между первым консулом и мной и при первом же моем подозрительном движении пустите мне пулю в лоб. Что, вам подходят такие условия?

— Допустим, что я оторву от дел первого консула и он согласится вас выслушать, но можете ли вы мне поручиться, что ваше сообщение заслуживает его внимания?

— О! Ручаюсь головой! — и Морган добавил жизнерадостным тоном: — В настоящий момент я являюсь посланником коронованной, вернее, развенчанной особы, но от этого не менее чтимой благородными сердцами. Впрочем, я отниму у вашего генерала лишь немного времени, господин Ролан, и если наш разговор затянется, он всегда может меня отослать; будьте спокойны, я ни на секунду не задержусь!

Ролан с минуту помолчал.

— И вы можете сделать это сообщение только первому консулу?

— Только первому консулу, потому что только он один может мне ответить.

— Хорошо. Подождите меня, я доложу ему о вас. Ролан направился было в кабинет генерала, но тут же остановился, бросив тревожный взгляд на заваленный бумагами стол.

Морган перехватил его взгляд.

— Вот как! Вы боитесь, как бы я без вас не прочитал эти бумажонки! Если бы вы знали, как я ненавижу читать! Пусть бы на этом столе лежал мой смертный приговор, я не потрудился бы его прочесть. Я сказал бы: «Это дело судейских — каждому свое!» Господин Ролан, у меня замерзли ноги. Я сяду в ваше кресло и в ваше отсутствие буду их греть. Возвратившись, вы застанете меня здесь в той же самой позе.

— Хорошо, сударь, — отозвался Ролан.

И он направился в кабинет первого консула. Бонапарт разговаривал с генералом Эдувилем, главнокомандующим войсками в Вандее.

Услышав, что дверь открывается, он с досадой обернулся.

— Я сказал Бурьенну, что никого не принимаю!

— Я сейчас слышал от него об этом, генерал, но ответил ему, что для меня можно сделать исключение.

— Ты прав. В чем дело? Говори скорей!

— Он сейчас у меня.

— Кто?

— Тот, что был в Авиньоне.

— Так-так! А чего он хочет?

— Увидеться с вами.
— Как? Со мной?
— Да, с вами, генерал. Это вас удивляет?
— Нет. Но о чем будет речь?
— Он наотрез отказался мне это сказать. Но смею вас уверить, это не какой-нибудь назойливый проситель или помешанный.
— Но, может быть, это убийца? Ролан покачал головой.
— Ну, да тебе лучше знать...
— Вдобавок он не возражает, чтобы я присутствовал при ваших переговорах, я буду стоять между ним и вами.
Подумав, Бонапарт произнес:
— Пусть войдет.
— Но вы знаете, генерал, что, кроме меня...
— Да. Генерал Эдувиль будет так любезен, что минуту подождет. У нас с ним долгий разговор. Ступай, Ролан.
Пройдя через кабинет Бурьенна, Ролан вернулся в свой кабинет. Морган сидел все в том же кресле и грел ноги у камина.
— Идемте. Первый консул вас ждет, — сказал молодой полковник.
Морган встал и последовал за Роланом.
Когда они вошли в кабинет Бонапарта, тот был один.
Генерал бросил быстрый взгляд на главу Соратников Иегу и сразу же удостоверился, что это тот самый человек, которого он видел в Авиньоне.
Морган остановился в нескольких шагах от дверей; он в свою очередь, с любопытством разглядывал Бонапарта и уже не сомневался, что именно его видел за табльдотом в тот вечер, когда с опасностью для жизни возвратил Жану Пико двести луидоров, похищенных у него по ошибке.
— Подойдите, — сказал первый консул.
Морган поклонился и приблизился еще на три шага.
Бонапарт ответил на его поклон легким кивком.
— Вы сказали моему адъютанту полковнику Ролану, что хотите что-то мне сообщить.
— Да, гражданин первый консул.
— Для этого мы должны остаться с вами с глазу на глаз?
— Нет, гражданин первый консул, но это такое важное сообщение...
— ...что вы предпочли бы говорить наедине со мной.
— Разумеется, но осторожность...
— Во Франции, гражданин Морган, быть осторожным — значит быть мужественным.
— Мой приход к вам, генерал, доказывает, что я вполне разделяю ваше мнение.
Бонапарт повернулся к молодому полковнику.
— Оставь нас одних, Ролан.
— Но, генерал... — возразил было адъютант. Бонапарт подошел к нему и прошептал:

— Я вижу тебя насквозь: тебе любопытно узнать, что изречет сей таинственный рыцарь с большой дороги, но успокойся, ты это узнаешь...

— Дело не в этом. А вдруг он, как вы сами только что говорили, окажется убийцей?..

— Ты же сам сказал, что это исключено. Хватит тебе ребячиться! Оставьте нас одних.

Ролан удалился.

— Вот мы и одни, сударь, — сказал первый консул. —
Говорите.

Морган молча вынул из кармана письмо и протянул его генералу.

Бонапарт внимательно рассмотрел конверт: письмо было адресовано ему и на печати вытеснены три французские Лилии.

— О! — вырвалось у него. — Что это такое, сударь?

— Прочтите, гражданин первый консул.

Бонапарт вскрыл конверт и сразу же взглянул на подпись.

— «Людовик», — проговорил он.

— Людовик, — повторил Морган.

— Что за Людовик?

— Я полагаю, Людовик Бурбон.

— Граф Прованский, брат Людовика Шестнадцатого?

— И следовательно, Людовик Восемнадцатый, поскольку его племянник, дофин, умер.

Бонапарт снова посмотрел на незнакомца. Ему было ясно, что имя Морган лишь кличка, под которой скрывается его настоящее имя.

Затем он прочитал следующее: «3 января 1800 года. Такой человек, как Вы, сударь, что бы он ни совершал на политической арене, не внушает мне опасений. Вы заняли высокий пост, и я Вас вполне одобряю: Вы лучше всех знаете, какой силой и могуществом надобно обладать, дабы сделать счастливым великий народ. Спасите Францию, охваченную яростным безумием, и Вы исполните желание сердца моего! Верните ей короля, и потомство будет Вас благословлять! Если Вы хотите убедиться в моей признательности, то назовите какой Вам угодно пост, назначайте Ваших друзей на любую должность! Что до моих убеждений, то я француз. От природы я великодушен и впредь буду проявлять великодушие, подчиняясь велениям разума.

Нет, победитель в битвах при Лоди, Кастильоне, Арколе, завоеватель Италии и Египта не способен предпочесть дешевую популярность истинной славе! Не теряйте драгоценного времени! Мы сможем воскресить славу Франции. Я говорю «мы», ибо для этого мне надобен Бонапарт, но и он не может обойтись без меня. Генерал, Европа смотрит на Вас, Вас ожидает слава, и я с нетерпением жду минуты, когда смогу вернуть счастье моему народу! Людовик».

Бонапарт повернулся к молодому человеку, который стоял в ожидании его ответа, неподвижный и немой, как статуя.

— Вам известно содержание этого письма? Молодой человек наклонил голову.

— Да, гражданин первый консул.

— Но ведь письмо было запечатано.

— Оно было отправлено незапечатанным, и прежде чем доверить мне письмо, человек, его вручивший, дал мне его прочитать, чтобы я имел представление о его значительности.

— А нельзя ли узнать, кто вам его передал?

— Жорж Кадуваль.

Бонапарт едва заметно вздрогнул.

— Вы знакомы с Жоржем Кадувалем?

— Это мой друг.

— Но почему он доверил письмо именно вам, а никому другому?

— Он знал, что я исполню его желание, и оно будет передано в собственные руки.

— И в самом деле, сударь, вы сдержали свое обещание.

— Еще не совсем, гражданин первый консул.

— Как же так? Ведь вы мне его вручили?

— Да, но я обещал принести ответ.

— А если я вам скажу, что ответа не будет?

— В таком случае, вы ответите не так, как мне хотелось бы, но все же это будет ответ.

С минуту Бонапарт помолчал, размышляя. Потом, как бы очнувшись, он пожал плечами.

— Да они совсем обезумели! — воскликнул он.

— Кто, гражданин? — спросил Морган.

— Те, кто пишут мне подобные послания! Это безумцы, сущие безумцы! Неужели они полагают, что я из тех, кто подражает великим мужам прошлого, берет за образец других людей? Что же, мне сыграть роль Монка? Но зачем? Чтобы создать нового Карла Второго? Клянусь, игра не стоит свеч! Когда у человека в прошлом Тулон, тринадцатое вандемьера, Лоди, Кастильоне, Арколь, Риволи, пирамиды, он не имеет ничего общего с Монком и никогда не удовлетворится такой безделицей, как герцогство Эльбмерлское и командование сухопутными и морскими силами его величества Людовика Восемнадцатого!

— Потому-то вам и предлагают диктовать свои условия, гражданин первый консул.

Бонапарт вздрогнул, услышав голос Моргана, будто позабыл о его присутствии.

— Не говоря уже о том, что это обреченный род, сухая ветвь на гнилом стволе! Бурбоны столько раз женились между собой, что это привело их к полному вырождению! Людовик Четырнадцатый впитал в себя все жизненные соки этой династии, и она истощилась. Вы знаете историю, сударь? — спросил Бонапарт, поворачиваясь к молодому человеку.

— Да, генерал, — отвечал Морган. — Во всяком случае, насколько ее может знать человек из «бывших».

— Так вот, вы, наверное, обратили внимание, что в истории, прежде всего в истории Франции, всякий род переживает свой рассвет, зенит и закат. Посмотрите на основную ветвь Капетингов, им дает начало Гуго, они достигают своего апогея в лице Филиппа Августа и Людовика Девятого и переживают свой упадок в лице Филиппа Пятого и Карла Четвертого. Посмотрите на Валуа: им дает начало Филипп Шестой, их

апогей при Франциске Первом и упадок при Карле Девятом и Генрихе Третьем.

Теперь взгляните на Бурбонов: им дает начало Генрих Четвертый, они переживают свой апогей в лице Людовика Четырнадцатого и падение при Людовике Пятнадцатом и Людовике Шестнадцатом. Однако они падают ниже других, превзойдя всех в разврате, как Людовик Пятнадцатый, и в несчастьях, как Людовик Шестнадцатый.

Я говорил вам о Стюартах и упоминал о Монке. Кто воцарился после Карла Второго? Яков Второй. А кто после Якова Второго? Вильгельм Оранский, узурпатор! Не лучше ли было бы самому Монку взойти на трон?

Значит, если бы я имел глупость вернуть престол Людовику Восемнадцатому, у которого, как и у Карла Второго, не было детей, ему наследовал бы его брат Карл Десятый, а его, как Якова Второго, сверг бы какой-нибудь новый Вильгельм Оранский. О нет! Бог вверил мне судьбу великой и прекрасной страны, именуемой Францией, не для того, чтобы я отдал ее тем, кто ставил ее на карту и проиграл!

— Заметьте, генерал, что я не спрашивал вас об этом!

— Но я-то вас спрашиваю...

— Мне кажется, вы оказываете мне высокую честь, принимая меня за грядущее поколение.

Бонапарт вздрогнул, поглядел на своего собеседника и замолк.

— Мне надобно было, — продолжал Морган с достоинством, удивившем генерала, — получить от вас только «да» или «нет».

— А почему это вам надобно?

— Чтобы знать, будем ли мы продолжать с вами войну или же упадем перед вами на колени как перед своим спасителем.

— Война! — воскликнул Бонапарт. — Война! Безумцы те, которые воюют со мной! Разве они не видят, что я избранник Божий?

— Аттила говорил то же самое, — заметил Морган.

— Да, но он был избран для разрушения, а я избран положить начало новой эре! Трава засыхала там, где он проходил. Нивы будут созрывать всюду, где я пройду с плугом! Война! Скажите мне, что стало с теми, кто со мной воевал. Они сложили свои кости на равнинах Пьемонта, Ломбардии или Каира!

— Вы забываете про Вандею! Вандея еще не сломлена!

— Пусть так! Но где ее вожди? Где Кателино, Лескюр и Ларошжаклен? Где д'Эльбе, Боншан, Стофле, Шарет?

— Вы говорите о людях, люди были уничтожены, но идея жива, и во имя ее сегодня сражаются д'Отишан, Сюзанет, Гриньон, Фротте, Шатийон, Кадуваль! Быть может, младшие не стоят старших, но и от них можно потребовать только одного, чтобы они, в свою очередь, погибли!

— Берегитесь! Если я найду нужным предпринять поход на Вандею, я не пошлю туда ни сантеров, ни россиньолей!

— В свое время Конвент направил туда Клебера, а Директория — Гоша!

— Я никого не буду посылать, я пойду сам!

— В худшем случае наши вожди будут убиты, как Лескюр, или расстреляны, как Шарет.

— Но, возможно, я их помилую.

— Катон показал нам, как избегают прощения Цезаря!

— Имейте в виду, что вы приводите в пример республиканца!

— Катон из тех людей, примеру которых можно следовать независимо от того, к какой партии принадлежишь.

— А если я вам скажу, что Вандея в моих руках?

— В ваших руках?!

— И если я захочу, она будет усмирена за три месяца!

Молодой человек покачал головой.

— Вы мне не верите?

— Мне трудно поверить.

— А если я утверждаю, что дело обстоит именно так? Если я вам это докажу, сказав, к каким мерам прибегну или, вернее, каких людей привлеку?

— Если такой человек, как генерал Бонапарт, утверждает нечто, я готов ему поверить. Но если он утверждает, что может усмирить Вандею, я в свою очередь скажу ему: «Берегитесь! Лучше для вас иметь дело со сражающейся Вандеей, чем с Вандеей-заговорщицей! Сражающаяся Вандея — это шпага, Вандея-заговорщица — кинжал!»

— О! Я знаком с вашим кинжалом, — заявил Бонапарт. — Вот он!

Подойдя к бюро, он вынул из ящика кинжал, полученный им от Ролана, и положил на стол с таким расчетом, чтобы Морган мог дотянуться до него рукой.

— Но, — прибавил он, — кинжал убийцы не коснется труда Бонапарта! Хотите попробовать?

И он приблизился к молодому человеку, устремив на него свой пылающий взор.

— Я пришел сюда не для того, чтобы убивать вас, — холодно возразил Морган. — Впоследствии, если я найду, что ваша смерть необходима для торжества нашего дела, я приложу к этому все усилия, и если мне это не удастся, то Не потому, что вы уподобитесь Марию, а я — кимвру... Вам больше нечего мне сказать, гражданин первый консул? — спросил он, отвешивая поклон.

— Есть. Скажите Кадудало, что, если он захочет сразиться с врагом, вместо того чтобы драться с французами, то в моем бюро лежит его уже подписанный диплом на звание полковника.

— Кадудаль командует не полком, а целой армией. Вы не захотели уронить себя, превратившись из Бонапарта в Монка, так почему же вы требуете, чтобы он стал из генерала полковником?.. Вам больше нечего мне сказать, гражданин первый консул?

— Есть. Можете ли вы переслать мой ответ графу Прованскому?

— Вы хотите сказать: королю Людовику Восемнадцатому?

— Не будем придираться к словам: тому, кто мне написал.

— Его посланец находится в лагере Обье.

— Ну, так я изменил свое решение: я ему отвечу. Эти Бурбоны до того слепы, что он способен превратно истолковать мое молчание.

Бонапарт сел за письменный стол и написал следующее послание, старательно выводя буквы, чтобы его можно было прочитать: «Я получил, сударь, Ваше письмо. Благодарю Вас за лестное мнение обо мне. Вам не следует желать возвращения во Францию, ибо Вам пришлось бы попирать ногами сто тысяч трупов. Пожертвуйте своими интересами ради спокойствия и счастья Франции, и история поставит Вам это в заслугу! Я не могу оставаться равнодушным к несчастьям Вашей семьи, и мне будет приятно узнать, что Вам обеспечен покой в Вашем уединении. Бонапарт».

Сложив письмо и запечатав в конверт, он надписал адрес: «Господину графу Прованскому» и передал Моргану. Потом он позвал Ролана, предполагая, что тот где-то рядом.

— Генерал? — спросил мгновенно появившийся Ролан.

— Проводите этого господина до самой улицы, — сказал Бонапарт, — вы отвечаете за него, пока он не уйдет.

Ролан склонился в знак повиновения, пропустил вперед молодого человека, который вышел, ни слова не говоря, и последовал за ним. Но прежде чем удалиться, Морган в последний раз взглянул на Бонапарта.

Тот стоял неподвижный и безмолвный, скрестив руки на груди и устремив взгляд на кинжал, который его смутно тревожил, хотя он и не хотел в этом себе признаться.

Войдя в кабинет Ролана, глава Соратников Иегу взял свой плащ и пистолеты и заложил их за пояс.

— Кажется, гражданин первый консул показывал вам клинок, который я ему передал, — сказал полковник.

— Да, сударь, — ответил Морган.

— И вы его узнали?

— Не могу сказать, что именно его — все наши кинжалы одинаковы.

— Ну, так я вам скажу, откуда он взялся, — проговорил Ролан.

— А!.. Откуда же он?

— Из груди моего друга: его вонзили ваши сообщники, а может быть, и вы сами.

— Возможно, — с беспечным видом ответил молодой человек. — Вашего друга, я вижу, постигла справедливая кара.

— Мой друг решил посмотреть, что происходит по ночам в Сейонском монастыре.

— Напрасно он так поступил.

— Но ведь я точно так же поступил накануне, — почему же со мной ничего не случилось?

— Вероятно, вас оберегал какой-нибудь талисман.

— Вот что я вам скажу, сударь: я люблю прямые пути и яркий дневной свет, из этого следует, что мне ненавистно все таинственное.

— Счастлив тот, кто может ходить при свете дня по большой дороге, господин де Монтревель!

— Поэтому я скажу вам, господин Морган, про клятву, которую я дал. Извлекая этот кинжал из груди моего друга, со всеми

предосторожностями, чтобы при этом не извлечь его душу, я поклялся, что буду вести войну с его убийцами не на жизнь, а на смерть! И мне хотелось лично сообщить вам об этом, когда я давал слово обеспечить вам безопасность.

— Надеюсь, вы позабудете об этой клятве, господин де Монтревель.

— В любом случае я исполню свою клятву, господин Морган, и вы будете так любезны как можно скорей предоставить мне такой случай.

— Каким же образом, сударь?

— Ну хотя бы согласившись встретиться со мной в Булонском или Венсенском лесу. Разумеется, мы никому не скажем, что дрались из-за кинжального удара, нанесенного вами или вашими друзьями лорду Тенли. Нет, мы скажем все, что угодно... — Ролан задумался на секунду-другую. — Например, из-за лунного затмения, которое произойдет двенадцатого числа ближайшего месяца. Вам подходит такой предлог?

— Он подошел бы мне, сударь, — ответил Морган неожиданным для него печальным тоном, — если бы дуэль была мне доступна. Вы говорите, что дали клятву и намерены ее сдержать? Так вот, когда кого-нибудь принимают в ряды Соратников Иегу, он тоже должен поклясться, что ни с кем не будет затевать ссоры, подвергая опасности жизнь, принадлежащую уже не ему, а общему делу.

— Да? И поэтому вы убиваете, но не сражаетесь?

— Вы ошибаетесь: иной раз мы сражаемся.

— Будьте добры, господин Морган, познакомьте меня с таким феноменом!

— Охотно. Если вам, господин де Монтревель, случится ехать с пятью-шестью такими же, как вы, смельчаками в дилижансе, который везет казенные деньги, — попробуйте их защищать, когда мы нападём! Вот вам и случай! Но поверьте мне, лучше вам не попадаться на нашем пути!

— Что это, сударь, угроза? — спросил Ролан, вскидывая голову.

— Нет, сударь, это просьба, — отвечал Морган, и в его словах прозвучала нежность, почти мольба.

— Вы обращаетесь с этой просьбой лично ко мне или остерегли бы всякого другого?

— Я прошу лично вас, — сделал ударение на последнем слове глава Соратников Иегу.

— Вот как! — удивился молодой полковник. — Значит, я имею счастье вас интересовать?

— Как брат, — ответил Морган все тем же нежным, ласковым голосом.

— Полно! — воскликнул Ролан. — Это же немыслимо! В этот момент вошел Бурьенн!

— Ролан, — сказал он, — вас спрашивает первый консул.

— Я доведу этого господина до улицы — и мигом к нему!

— Торопитесь, вы же знаете, что он не любит ждать.

— Не угодно ли вам, сударь, последовать за мной? — обратился Ролан к своему таинственному спутнику.

— Я уже давно в вашем распоряжении, сударь.
И Ролан повел Моргана тем же путем, но не до двери, выходявшей в сад, ворота которого были заперты, а до двери, открывавшейся на улицу.
— Сударь, — заявил он Моргану, — я дал вам слово и честно его сдержал, но во избежание недоразумений согласитесь со мной, что я дал его только на один раз, что оно имело силу только на нынешний день.
— Да, именно так я вас и понял, сударь.
— Значит, я могу взять свое слово назад?
— Мне бы этого не хотелось, сударь, но, конечно, вы вольны взять его обратно.
— Мне только это и было надобно. До свидания, господин Морган.
— С вашего позволения, я воздержусь от такого пожелания, господин де Монтревель.
Молодые люди раскланялись с отменной учтивостью. Ролан вернулся в Люксембургский дворец, а Морган, держась в тени, отбрасываемой стеною дворца, свернул на небольшую улицу, ведущую к площади Сен-Сюльпис.
Мы последуем за ним.

XXVI. БАЛ ЖЕРТВ

Не пройдя и сотни шагов, Морган снял маску: на улицах Парижа в маске он сразу же привлек бы к себе внимание, хотя и без нее был достаточно приметен.

Добравшись до улицы Таран, он постучал в дверь маленькой гостиницы, находившейся на углу улицы Дракона, вошел в прихожую, взял со стола подсвечник, снял с гвоздя ключ от двенадцатого номера и поднялся по лестнице, не возбудив никаких подозрений: на него смотрели как на своего жильца, вернувшегося после небольшой отлучки.
Когда он затворил за собой дверь своей комнаты, часы начали бить.

Он внимательно прислушивался к бою часов, ибо свеча не освещала камина, над которым они висели, и насчитал десять ударов.
«Хорошо, — подумалось ему, — я не опоздаю».

Но все же он, как видно, решил не терять времени. В камине все уже было приготовлено, и как только он поднес к дровам лист горящей бумаги, они запылали. Затем Морган зажег четыре свечи, то есть все имевшиеся в комнате; две свечи он поставил на камин, а две другие — на стоящий напротив комод; выдвинув ящик, он вынул оттуда и стал раскладывать на постели полный костюм «невероятного», сшитый по последней моде.

Это были: сюртук нежного бледно-зеленого цвета, переходящего в жемчужно-серый, с прямоугольным вырезом спереди и очень длинный сзади; светло-желтый жилет из панбархата, застегивающийся на восемнадцать перламутровых пуговиц; огромный галстук из тончайшего батиста; панталоны в обтяжку из белого казимира,

перехваченные пышными лентами над самыми икрами; жемчужно-серые шелковые чулки с косыми бледно-зелеными полосками под цвет сюртука и изящные туфли с бриллиантовыми пряжками.

Тут же красовался неизбежный лорнет.

Шляпа была из тех, какие водружает на голову щеголей времен Директории Карл Верне.

Когда все предметы туалета были разложены, Морган «тал кого-то поджидать, проявляя нетерпение.

Минут через пять он позвонил; вошел коридорный.

— Что, цирюльник не приходил? — спросил Морган. В ту эпоху парикмахеров еще называли цирюльниками.

— Приходил, — отвечал коридорный, — да вас еще не было, и он обещал вернуться. Но как раз, когда вы позвонили, кто-то постучал в дверь, наверное, это он.

— Вот и я! Вот и я! — послышался голос на лестнице.

— Bravo! — воскликнул Морган. — Входите, метр Каднет! Вы должны сделать из меня некое подобие Адониса.

— Это будет нетрудно, господин барон, — ответил цирюльник.

— Вы, я вижу, хотите непременно меня подвести, гражданин Каднет!

— Господин барон, умоляют вас, зовите меня попросту Каднет, этим вы окажете мне честь, и я буду чувствовать себя с вами непринужденно. Только не зовите меня гражданином! Фи! Ведь это революционное обращение, а я даже во время террора всегда называл свою супругу госпожой Каднет. Прошу прощения, что я не дождался вас, но ведь нынче вечером состоится большой бал на Паромной улице, бал жертв (цирюльник сделал ударение на последнем слове). Я полагаю, господин барон тоже будет там.

— О! — Морган засмеялся. — Вы, я вижу, по-прежнему роялист, господин Каднет!

Цирюльник с трагическим видом прижал руку к сердцу.

— Господин барон, — отвечал он, — теперь это не только дело совести, но и дело сословия.

— Я понимаю, дело совести, метр Каднет, — но почему сословия? Черт возьми, какое отношение к политике имеет почтенная корпорация цирюльников?

— Как, господин барон? — удивился Каднет, уже собравшийся приступить к своим обязанностям. — И вы еще спрашиваете, меня, вы, аристократ!

— Тише, Каднет!

— Господин барон, мы, «бывшие», можем друг с другом говорить откровенно!

— Так вы тоже из «бывших»?

— Самый настоящий «бывший»! Какую прическу угодно господину барону?

— «Собачьи уши» и высоко зачесанные назад волосы.

— А немножко пудры?

— Сколько угодно, Каднет.

— Ах, сударь, подумать только, уже добрых пять лет у меня одного достают пудру «а ля маршалл»! Господин барон, а ведь еще недавно за коробку пудры гильотинировали!

— Я знал людей, которые были гильотинированы еще не за такую безделицу, Каднет! Но объясните мне, каким образом вы оказываетесь «бывшим»? Я люблю доискиваться до причины любого явления.

— Очень просто, господин барон! Не правда ли, вы допускаете, что существуют своего рода аристократические корпорации?

— Я полагаю, это те, что имеют дело с высшими классами общества.

— Вот именно, господин барон. Так вот, мы держали за волосы эти высшие классы. Я, тот самый человек, который стоит перед вами, однажды вечером причесывал госпожу де Полиньяк: мой отец причесывал госпожу Дюбарри, а мой дед — госпожу де Помпадур. Мы пользовались особыми привилегиями, сударь, мы носили шпагу. Правда, во избежание кровавых столкновений, — цирюльники горячие головы! — мы обыкновенно ходили с деревянной шпагой, но если это и не была настоящая шпага, то все же она выглядела внушительно. Да, господин барон, — продолжал, вздыхая, Каднет, — чудесное было времечко, и не только для нас, цирюльников, но и для всей Франции! Мы были осведомлены обо всех секретах, обо всех интригах, от нас ничего не скрывали, и не было случая, господин барон, чтобы цирюльник разболтал секрет. Возьмите, например, нашу бедную королеву: кому она доверила свои бриллианты? Великому, прославленному Леонару, королю цирюльников! И подумать только, господин барон, нашлись два человека, которые ухитрились опрокинуть здание власти, державшейся на париках Людовика Четырнадцатого, на «пуфах» Регентства, на «кречах» Людовика Пятнадцатого и на «башнях» Марии Антуанетты.

— А кто же эти два человека? Должно быть, это революционеры, проповедники равенства? Назовите мне их, Каднет, и я постараюсь вызвать к ним всеобщую ненависть!

— Это господин Руссо и гражданин Тальма! Руссо изрек такую глупость: «Возвращайтесь к природе!», а гражданин Тальма избрал прическу «под Тита».

— Правда, Каднет, правда!

— Наконец-то при Директории нам блеснул луч надежды.

Господин Баррас никогда не обходился без пудры, а гражданин Мулен даже сохранил косичку. Но вы понимаете, восемнадцатое брюмера все разрушило! Попробуйте-ка завить волосы господину Бонапарту!.. О! Взгляните только! Великолепно! — приговаривал Каднет, взбивая «собачьи уши». — Вот настоящие волосы аристократа, мягкие, тонкие, как шелк! Они замечательно поддаются завивке, можно подумать, что вы носите парик. Взгляните-ка на себя, господин барон. Вы хотели быть красивым, как Адонис... О, если бы вас увидела Венера, то Марс приревновал бы ее не к Адонису, а к вам!

Закончив свой труд, гордясь своим произведением, Каднет протянул ручное зеркало Моргану, и тот посмотрел на себя не без удовольствия.

— Что и говорить, — обратился он к цирюльнику, — вы, друг мой, настоящий артист! Запомните эту прическу. Если когда-нибудь мне будут отсекать голову, то ради женщин, что будут смотреть на мою казнь, я выберу именно эту прическу.

— Вы хотите, господин барон, чтобы о вас пожалели, — серьезным тоном сказал цирюльник.

— Да, а пока что, милый Каднет, вот вам эюю за труды. Будьте добры, скажите, когда спуститесь вниз, чтобы вызвали для меня экипаж.

Каднет вздохнул.

— Господин барон, — сказал он, — в былые времена я ответил бы вам: «Покажитесь при дворе в этой прическе, и мои труды будут оплачены!» Но, увы! Больше нет двора, господин барон, а ведь нужно как-то жить... У вас будет экипаж.

Тут Каднет снова вздохнул, положил в карман полученный им от Моргана эюю, подобострастно склонился перед ним, по обычаю цирюльников и учителей танцев, и удалился, предоставив молодому человеку довершить свой туалет.

Теперь, когда он был причесан, с остальным можно было быстро покончить, только вот с замысловатым узлами галстука пришлось немного повозиться; но опытный в этом деле Морган блестяще справился с трудной задачей, и, когда пробило одиннадцать, он был готов ехать на бал.

Каднет не забыл его поручения: у крыльца уже стоял фиакр.

Морган вскочил в него и крикнул:

— Паромная улица, дом тридцать пять!

Фиакр поехал по улице Гренель, поднялся на Паромную улицу и остановился перед домом №35.

— Я даю вам двойную плату, любезный, — сказал Морган, — но только с условием, что вы не будете стоять у подъезда.

Возница получил три франка и скрылся за углом улицы Варенн.

Морган взглянул на фасад дома. Можно было бы подумать, что он ошибся номером: в окнах было темно и не слышно ни звука. Но Морган без колебаний постучался особенным образом.

Ворота отворились.

В глубине двора виднелось большое ярко освещенное здание.

Молодой человек направился к этому дому; по мере того как он приближался, все громче слышалась музыка.

Он поднялся на второй этаж и очутился в гардеробной.

Там он протянул свой плащ служителю, охранявшему верхнее платье.

— Вот вам номерок, — сказал гардеробщик. — А оружие положите в галерее так, чтобы вы потом могли его узнать.

Морган сунул номерок в карман панталон и вошел в длинную галерею, превращенную в арсенал.

То была настоящая коллекция оружия: там были представлены всевозможные его виды — пистолеты, мушкетоны, карабины, шпаги, кинжалы. Налет полиции мог внезапно прервать бал, и тогда каждому танцору предстояло мгновенно превратиться в бойца.

Сняв с себя оружие, Морган вошел в танцевальный зал. Возможно ли передать словами впечатление, какое производил этот бал?!

В большинстве случаев на бал допускались лица, имевшие на то особое право, а именно те, чьи родные были посланы на эшафот Конвентом или Парижской Коммуной, расстреляны Колло д'Эрбуа или потоплены Каррье. Но поскольку за только что пережитые три года террора чаще всего гильотинировали, большинство присутствующих носили такие же костюмы, как у жертв гильотины.

Многие девушки, у которых матери или сестры пали от руки палача, явились в таком самом наряде, какой осужденные женщины надевали для последней мрачной церемонии; на них было белое платье, красная шаль, а волосы были коротко подстрижены на затылке.

Иные из них к этому и без того выразительному туалету добавили еще одну знаменательную деталь: они обвязали себе шею тонкой красной нитью, уподобившись призраку Маргариты на шабаше: эта нить отмечала разрез, проделанный ножом гильотины между сосцевидным отростком височной кости и ключицами.

Мужчины, родственники погибших, надели сюртуки с отогнутым назад воротником, причем ворот рубашки был распахнут, шея открыта и волосы на затылке коротко подстрижены.

Но у многих, помимо жертв в семье, было иное право явиться на бал: они и сами были палачами, у каждого имелись свои жертвы. У этих было двойное право.

Некоторые из них, лет сорока — сорока пяти, воспитанные в будуарах красавиц-куртизанок XVIII века, в свое время встречались с г-жой Дюбарри в мансардах Версаля, с Софи Арну — у г-на де Лораге, с Дюте — у графа д'Артуа; насквозь пропитанные порочной учтивостью, они прятали свою неимоверную жестокость под покровом светского лоска. Они были еще молоды и хороши собой. Входя в гостиную, они встряхивали надушенной шевелюрой и обмахивались благоухающими носовыми платками; то была отнюдь не излишняя предосторожность, ибо, если бы не аромат амбры или вербены, от них разлило бы кровью.

Другие, молодые люди двадцати пяти — тридцати, поражавшие своей элегантностью, принадлежали к Лиге мстителей; казалось, ими владела мания убийства, безумный смертоносный порыв, неутолимая жажда крови, и, получив приказ, они приканчивали без разбора и друга и врага; это был своего рода промысел: они орудовали с холодным расчетом, и когда им предъявляли кровавый вексель, они тут же расплачивались головами якобинцев.

Третьи были юноши от восемнадцати до двадцати лет, почти дети, вскормленные, как Ахилл, костным мозгом диких зверей или, как Пирр, — медвежатиной; их можно было сравнить с начинающими разбойниками Шиллера или с подручными вольных судей святой Феме. Такие необычайные поколения являются на свет после великих потрясений, как титаны появились из недр хаоса, гидры — после потопа, как грифы и вороны слетаются на поле битвы после побоища.

Это было само Возмездие, призрак с лицом бронзового изваяния, невозмутимый, безжалостный, непреклонный...

И этот призрак действовал среди живых; входил в раззолоченные гостиные, подавая знак взглядом, движением руки, кивком головы, и молодежь следовала за ним.

«Иные юнцы, — говорит автор, у которого мы почерпнули эти почти никому не известные, но правдивые подробности, — прерывали партию в буйот, не дав партнеру отыгаться, вскакивали из-за стола и отправлялись в карательную экспедицию».

Для периода террора характерно невиданное бесстыдство в одежде, чисто спартанская простота в пище и глубочайшее презрение одичалого народа ко всякого вида искусствам и зрелищам.

Термидорианскую реакцию, напротив, характеризует элегантность, изысканность, пышность; тогда, как и в царствование Людовика Пятнадцатого, утопали в роскоши, предавались всевозможным наслаждениям, но теперь ко всему этому прибавилось роскошество мщения и наслаждения кровью.

Это молодое поколение окрестили «молодежь Фрерона», или «золотой молодежь».

Почему именно Фрерону, а не кому-либо другому, выпала такая странная и роковая честь?

Не берусь вам ответить на этот вопрос: мои разыскания (а люди, знающие меня, подтвердят, что когда я ставлю себе какую-нибудь цель, то не жалею сил), — мои разыскания на сей раз ни к чему не привели.

То был каприз моды, а мода — богиня еще более причудливая, чем фортуна. Едва ли современные читатели знают, кто такой был этот Фрерон, и Фрерон, над которым издевался Вольтер, более известен, чем патрон этих элегантных убийц.

А между тем эти два Фрерона были в тесном родстве: Луи Станислас был сыном Эли Катрина, который умер в припадке гнева, когда издававшаяся им газета была закрыта хранителем печатей Мироменилем.

Сын, возмущенный несправедливостями, жертвой которых стал его отец, сначала горячо уверовал в идеи революции и вместо газеты «Литературный год», задушенной в 1776 году, стал издавать в 1789 году газету «Оратор народа». Он был послан на Юг в качестве чрезвычайного уполномоченного, и в Марселе и Тулоне до сих пор еще помнят совершенные им зверства.

Но все это было им позабыто, когда 9 термидора он выступил против Робеспьера и помог свергнуть с престола Верховного Существа воссевшего там гиганта, который из апостола стал богом. Но Фрерона отвергла Гора и бросила его на растерзание тяжелым челюстям Монза Бей ля. Потом Фрерона с презрением прогнала Жиронда и предоставила Инару его проклинать. По словам свирепого и красноречивого оратора от Вара, Фрерон, нагой и покрытый проказой преступлений, был принят, обласкан, взлелеян термидорианцами. Затем из их лагеря он переметнулся в лагерь роялистов и, как это ни странно, оказался во главе молодых рьяных мстителей, потакая их бешеным страстям и пользуясь бессилием закона.

щественной юностью, силой, мщением и ставшей между современными страстями, которые вели ко всему, и бессилием законов, которое терпело все.

Посреди этой-то раззолоченной молодежи, или юношества Фрерона, которое картавило, шепелявило, клялось честью кстати и не кстати, — проходил Морган.

Надобно сказать, что вся эта молодежь, несмотря на то, что была одета в странные костюмы и что эти костюмы должны были вызывать печальные воспоминания, — вся эта молодежь веселилась безумно.

Непостижимо — но так! Объясните, если можете, ту пляску мертвецов, которая в XV столетии на Парижском кладбище Невинных оставила между могилами пятьдесят тысяч своих гробовых танцовщиков!

Морган явно искал кого-то.

В это время какой-то молодой щеголь готов был опустить в бомбоньерку, подставленную ему какую-то прелестною жертвою, — окровавленный палец, единственную часть своей нежной руки, не вымытую миндальным мылом; он хотел остановить Моргана и рассказать подробности эспедиции, из которой он возвратился с этим кровавым трофеем; но Морган улыбнулся и пожал ту руку его, которая была в перчатке, а вместо ответа сказал ему:

— Я ищу одного человека.

— Спешное дело?

— Товарищество Ииуя.

Молодой человек с окровавленным пальцем отпустил его.

Очаровательная фурия — как сказал бы Корнель, — волосы которой поддерживались кинжалом с тонким лезвием, как у иглы, — загородила Моргану дорогу, говоря:

— Морган самый красивый, самый храбрый и самый достойный любви из всех, кто только есть здесь. Какой ответ даст он женщине, которая говорит ему это?

— Скажу в ответ, что я уже люблю, — отвечал Морган, — и что мое сердце не может вмещать ненависти к врагу и любви к двум женщинам.

Он продолжал свои поиски, но два молодых человека, бывших в споре, остановили его, говоря:

— А вот кто может решить наш спор!

— Нет, — возразил Морган, стараясь освободиться от них, — мне недосуг!

— Да только одно слово, братец! Сент-Аман и я побились об заклад, что человек, осужденный и казненный в Сельонском картезианском монастыре, был, по моему мнению, англичанин, а по его — немец.

— Я не знаю, — отвечал Морган, — я не был при том. Обратитесь к Гектору: он был там президентом в этот вечер.

— Так скажи, где Гектор?

— Скажи лучше мне, где Тиффож, я ищу его.

— Он там, — сказал один из молодых людей, указывая на тот конец залы, где с особенною живостью и веселостью плясали конгрданс. — Ты узнаешь его по жилету, да и панталоны его достойны внимания. Я непременно закажу себе такие же из кожи первого Маеарона, с которым буду иметь дело.

Морган не стал терять времени на расспросы о том, чем был замечателен жилет Тиффожа и каким странным фасоном или какую драгоценною тканью панталоны его могли заслужить одобрение знатока нарядов. Он прямо пошел к указанному ему месту и увидел там того, кого искал, танцующего с искусством, достойным ученика Вестриса.

Морган сделал ему знак.

Тиффож тотчас остановился, отдал поклон своей даме, отвел ее на место, извиняясь экстренным делом, которого нельзя откладывать ни на минуту, и после этого взял под руку Моргану.

— Видели ли вы его? — спросил Тиффож у Моргану.

— Я сейчас от него, — отвечал Морган.

— Отдали ему письмо короля?

— Лично.

— Он прочитал его?

— В ту же минуту.

— И он отвечал?

— Отвечал на словах и письмом. Довольно и одного письменного ответа.

— Этот ответ у вас?

— Вот он.

— Вы знаете его содержание?

— Отказ.

— Положительный?

— Самый что ни на есть положительный.

— Знает ли он, что с той минуты, когда он отнимает у нас надежду, мы делаемся его врагами?

— Я сказал ему это.

— Что же он отвечал?

— Не отвечал, а пожал плечами.

— Какие же у него намерения?

— Угадать не трудно.

— Неужели он думает удержать верховную власть в своих руках?

— Очень похоже на то.

— Власть, но не трон.

— А почему же не трон?

— Он не осмелится провозгласить себя королем.

— Я не могу утверждать, что он провозгласит себя именно королем, но отвечаю, что провозгласит себя чем-нибудь.

Молодой человек задумался и прибавил:

— Я передам все это Кадудалю.

— Передайте ему еще вот эти собственные слова первого консула: «Вандея в моих руках, и, если я захочу, там через три месяца уже не раздастся ни одного выстрела».

— Это знать не худо.

— Вы это знаете, пусть знает Кадудаль, и постарайтесь воспользоваться таким сведением.

В это мгновение музыка вдруг прекратилась, шарканье танцующих умолкло, настало полное молчание, и посреди его были произнесены звучным и твердым голосом четыре имени: Морган, Монбар, Адлер и д'Ассас.

— Ну, — сказал Морган, — верно, готовится какая-нибудь экспедиция, где я должен участвовать. Как ни жаль мне, но я принужден проститься с вами, дайте только прежде поближе рассмотреть ваш жилет и панталоны, о которых мне говорили, что им на любителя — цены нет; надеюсь, вы извините мое любопытство.

— С величайшим удовольствием извиняю, — отвечал молодой вандеец.

Глава XXVII

МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА

Он подошел к канделябрам, горевшим на камине, предупреждая с вежливостью светского человека желание Моргана.

Жилет и панталоны были, по-видимому, из одной материи, но из какой? Это затруднился бы сказать самый опытный знаток. Панталоны были обыкновенные, в обтяжку, цвета нежного, между замшей и телесным. Замечательно было только, что эти панталоны были без швов, однако одевали ноги очень ловко. На жилете были, напротив, два характеристических признака, которые обращали на себя внимание: это были пробоины от трех пуль, не только оставленные незашитыми, но еще подмалеванные кармином так, что, казалось, на них была кровь. Кроме того, на левой стороне было изображено окровавленное сердце — знак вандейца.

Морган рассматривал с величайшим вниманием оба предмета, но ничего не понимал.

— Если б я не торопился, — сказал он, — то желал бы очистить совесть и узнать это по собственной догадке, но вы слышали, верно, комитет получил какие-нибудь новые сведения, можете возвестить Кадудалю, что у него будут деньги, только надобно еще отправиться за ними. Обыкновенно я начальствую такими экспедициями, а если опоздаю прийти, то вместо меня вызовется кто-нибудь другой. Скажите же мне, что это за ткань?

— Вы, может быть, слышали, мой милый Морган, — сказал вандеец, — что брат мой был взят и расстрелян синими?

— Знаю.

— Синие отступили и оставили тело на углу около изгороди, мы крепко теснили их, и я нашел тело моего брата еще теплым. В одну из его ран была воткнута ветка с ярлычком, где написано было: «Расстрелял его, как разбойника, я, Клод Флажол, капрал 3-го Парижского батальона». Я поднял тело брата, велел снять кожу с его груди, пробитой тремя пулями, и, чтобы она вечно напоминала о мщении, велел сделать себе из нее военный жилет.

— Ага! — промолвил Морган с некоторым изумлением, в котором в первый раз было заметно нечто похожее на ужас. — Так этот жилет из кожи вашего брата! А панталоны?

— О, это совсем другое дело! — отвечал вандеец. — Панталоны мои сшиты из кожи гражданина Клода Флажол, капрала 3-го Парижского батальона.

В эту минуту раздался вновь тот же голос, призывавший во второй раз Моргана, Монбара, Адлера и д'Ассаса.

Морган бросился из кабинета.

Он перешел танцевальную залу во всю длину ее и оттуда пришел в небольшую гостиную, на другой стороне входной комнаты. Три его приятеля — Монбар, Адлер и д'Ассас — уже ожидали его в гостиной, где находился также молодой человек в костюме курьера кабинета правительства, то есть в зеленом фраке с золотом. На нем были высокие сапоги, покрытые пылью, фуражка с длинным козырьком и сумка с депешами — необходимые принадлежности курьера кабинета.

Карта Кассини, где можно видеть даже малейшие географические подробности, была развернута на столе.

Прежде, нежели скажем, что тут делал курьер и с какою целью была развернута карта, взглянем на трех новых наших героев, имена которых прозвучали в бальной зале: эти лица будут играть значительные роли в нашей истории.

Читатель уже знает Моргана, Ахиллеса и вместе Париса этого странного сообщества. Черные глаза, светлые волосы, стройная талия, высокий рост, ловкость, живость, прелесть движений, глаза — всегда оживленные, уста — свежие, улыбающиеся, показывающие белые зубы; физиономия, которой нельзя забыть, раз увидев ее, где была сила и нежность, кротость и твердость, и все это соединенное с веселостью, которая своим шумным выражением приводила иногда в ужас при мысли, что этот человек всегда ходил подле смерти, самой ужасной, смерти на эшафоте, — вот что соединял в своей особе Морган.

Д'Ассас был человек приблизительно тридцати восьми лет, с густыми волосами, начинавшими седеть, но его брови и усы были черны, как смоль, а глаза с тем удивительным оттенком каштанового цвета, которым отличаются глаза индейцев. Это был драгун-

ский капитан в отставке, удивительно сложенный для борьбы физической и нравственной: мускулы его выражали силу, а физиономия — упрямство. Впрочем, он отличался также благородными и изящными манерами, был раздушен как щеголь и, по привычке, обыкновенно нюхал флакон с солью или с самыми нежными духами.

Настоящих имен Монбара и Адлера, так же как имен д'Ассаса и Моргана, не знал никто, но в обществе их всегда называли неразлучными. Вообразите Дамона и Пифия, Эвриала и Низуса, Ореста и Пилада в двадцать два года; один из них веселый, говорливый, шутливый, другой печальный, молчаливый, мечтательный; они всегда делили друг с другом опасности, деньги, все, дополняли друг друга, достигали вдвоем границ всего чрезвычайного, и каждый в опасности забывал о себе, сберегая другого, как молодые спартанцы священного отряда. Таковы были Монбар и Адлер.

Не нужно прибавлять, что все трое принадлежали к товариществу Ииуя и, как справедливо предполагал Морган, были созданы по делам общества.

Морган подошел прямо к мнимому курьеру и пожал ему руку.

— А, любезный друг, — сказал тот, пошатнувшись (доказательство, что самый опытный ездок не проскачет безнаказанно пятьдесят лье на почтовых скакунах), — вы, парижане, наслаждаетесь жизнью, и в сравнении с вами Аннибал в Капуе был на терниях. Я только мимоходом заглянул в бальную залу, как подбает бедному курьеру, везущему депеши генерала Массены к гражданину первому консулу. Но мне кажется, у вас там отличный выбор хорошеньких жертв. Вы должны, однако ж, бедные друзья мои, на этот раз проститься с весельем! Это неприятно, ужасно, убийственно, а все-таки — дом Ииуя прежде всего.

— Мой милый Гатье, — сказал Морган.

— Стой! — вскричал Гатье. — Собственные имена здесь не существуют. Фамилия Гатье — честная фамилия в Лионе, где она производит торговлю, как говорят, на площади Терро, уже очень давно. Она почла бы себя униженною, если бы узнала, что ее наследник сделался курьером и катается по большим дорогам с сумкой правительства на спине. Лекок — сколько вам угодно, но Гатье здесь нет, я не знаю Гатье. А вы, господа, — продолжал молодой человек, обращаясь к Монбару, Адлеру и д'Ассасу, — знаете ли его?

— Нет, — отвечали все трое, — и мы просим извинения за Моргана, который оговорился.

— Мой милый Лекок, — сказал Морган.

— Вот это так, на это имя я отказываюсь, — прервал его Гатье. — Ну, посмотрим, что хотел ты сказать мне?

— Я хотел сказать, что если бы ты не был антипод бога Гарпократа, которого египтяне изображали с пальцем, приложенным

ко рту, то, не кидаясь в цветистые отступления, ты уже сказал бы нам, что значит этот костюм и эта карта?

— Прекрасно! Если ты еще не знаешь этого, — возразил молодой человек, — так виноват ты сам, а не я. Если б не надобно было призывать тебя два раза, пропадавшего с какою-нибудь хорошенькой Эвменидой, ты знал бы столько же, сколько эти господа, и я не был бы принужден повторять мою каватину два раза. Вот в чем дело: все оно в остатке казны Бернских медведей, который, по приказанию генерала Массены, генерал Лекурб отправил к гражданину первому консулу. Безделица, всего сто тысяч франков, но их не смели отправить через Юру, опасаясь партизан г-на Тейсоне, которые, как говорят, способны были захватить их, и потому отправили их через Женеву, Бур, Макон, Дижон и Труа по дороге надежной, как вскоре удостоверятся в том.

— Очень хорошо!

— Нас известил об этом Ренар, прискакавший к нам сломя голову. Он передал известие Иронделлю, который теперь на страже в Шалоне на Сене; а этот известил меня, Лекока, и Лекок, в свою очередь, проскакал сорок лье, чтобы передать известие сюда. Дополнительные подробности состоят в том, что казна отправлена из Берна в последнее октиди, 28 нивоза VII года республики, тройственной и разделимой. Сегодня дуоди, и казна должна быть в Женеве, откуда отправится завтра, триди, с женеvским дилижансом, в Бур, так что, отправляясь сегодня ночью, послезавтра, в винтиди, вы можете, любезные сыны Израиля, встретить казну господ медведей между Дижоном и Труа, около Бар-сюр-Сен. Что вы скажете об этом?

— Что мы скажем, — отвечал Морган, — в том, кажется, не может быть никакого спора; скажем, что никогда мы не позволили бы себе прикоснуться к деньгам господ Бернских медведей, покуда они оставались бы в их сундуках; если они один раз переменили свое назначение, почему же не переменить его в другой раз? Но как мы отправимся?

— Разве у вас нет почтовой кареты?

— Есть, ждет нас в сарае.

— Разве у вас нет лошадей для переезда до ближайшей почты?

— Лошади в конюшне.

— Разве нет у каждого из вас паспорта?

— У каждого есть по четыре паспорта.

— Так что же вам надобно?

— Но мы не можем остановить дилижанс, находясь в почтовой карете; мы не церемонимся, однако еще не дошли до такой свободы в действиях.

— Отчего же? — возразил Монбар. — Право, это было бы оригинально. Не вижу, почему, если берут корабль на abordаж лодкой, почему не взять дилижанса на abordаж, подъехавши в

почтовой карете? Раньше мы просто не додумались до этого. Попробуем, Адлер! Не правда ли?

— Чего бы лучше, — отвечал тот. — Но куда ты денешься с ямщиком?

— Правда, — сказал Монбар.

— Эта случайность предусмотрена, дети мои, — сказал курьер. — В Труа послана эстафета, и вы оставите карету у Дельбоса, а сами поедете на четырех оседланных лошадях, которые там стоят на овсе. Рассчитайте время. Послезавтра или, лучше сказать, завтра, потому что уже полночь прошла, между седьмым и восьмым часом утра, деньгам господ медведей придется худо.

— Не переоденемся ли мы? — спросил д'Ассас.

— Зачем? — сказал Морган. — Мне кажется, мы одеты очень прилично, и никогда дилижанс не был облегчен от излишней тяжести людьми, лучше одетыми. Бросим последний взгляд на карту, велим отнести из буфета паштет, холодной дичи и дюжину бутылок шампанского в каретный ящик, возьмем в арсенале оружие, завернемся в плащи и — погоняй, кучер!

— Чудесная идея! — сказал Монбар.

— Если понадобится, — продолжал Морган, — мы загоним лошадей, возвратимся сюда к семи часам вечера и появимся в Опере.

— Так что мы как будто и не уезжали из Парижа, — заметил д'Ассас.

— Именно, — продолжал Морган с неизменною своею веселостью. — Кто подумает, что люди, которые аплодируют Клотильде и Вестрису в восемь часов вечера, занимались утром, между Баром и Шатильоном, расчетами с кондуктором дилижанса? Ну, дети, взглянем еще на карту и выберем на ней место.

Четверо молодых людей наклонились к карте Кассини.

— Если нужен мой совет относительно топографии, — сказал курьер, — то я посоветую вам засесть дальше Мюссю; там есть брод, против Рисе; стойте, вот он, — и молодой человек указал пальцем точку на карте, — оттуда в Шаурс, а из Шаурса у вас большая прямая дорога до Труа; в Труа вы опять возьмете свою коляску и пойдете уже не на Куломьер, а на Сан; тогда провинциальные зеваки — они есть и в провинции, — которые видели, как вы проезжали накануне, не удивятся, что вы на другой день едете назад; вы будете в Опере вместо восьми часов в десять, что гораздо моднее; никто не увидит, никто не узнает ничего.

— За себя согласен, — сказал Морган.

— Согласны, — повторили хором остальные.

По современной моде на Моргане было двое часов, от которых цепочки болтались у его пояса. Он вынул одни часы, с драгоценною живописью на эмали работы Петито. На двойном корпусе, предохранявшем живопись, блистал бриллиантовый шифр. Проис-

хождение этой драгоценной игрушки было известно, как происхождение кровного арабского коня. Она была сделана для Марии Антуанетты, подарена ею герцогине Поластрон, а герцогинею подарена матери Морган.

— Час утра, — сказал Морган. — Отправляемся, господа! В три часа мы должны переменять лошадей в Ланьи.

С этой минуты экспедиция была начата, и Морган делался начальником ее. Он уже не требовал совета, он приказывал.

Д'Ассас, отставной драгунский капитан, всегда повелевавший, при нем повиновался прежде всего.

Спустя полчаса карета, где сидели четыре молодые человека, закутанные в плащи, была остановлена у Фонтенблосской заставы смотрителем, который спрашивал паспорта.

— Это что за штука? — проговорил один из молодых людей, высунувшись из кареты и нарочно произнося слова по тогдашней моде. — Неужели теперь надобны паспорта тем, кто едет на охоту в Гробуа, к гражданину Баррасу (*pou passer à Grosbois, chez le citoyen Vaas*). *Ma parole d'honneur rapachée*, право, ты с ума сошел, любезный друг (*mon ché hamî*)! Кучер, погоняй!

Кучер ударил по лошадям, и карета помчалась уже без затруднений.

Глава XXVIII

СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА

Пусть четверо «охотников» едут в Ланьи, где со своими паспортами, которыми обязаны снисходительности чиновников гражданина Фуше, они переменят своих городских лошадей на почтовых и вместо кучера возьмут ямщика. Мы посмотрим, зачем первый консул звал к себе Ролана, который, расставшись с Морганом, поспешил к своему генералу и нашел его в задумчивости стоящего перед камином.

При входе Ролана он поднял голову.

— Что вы говорили друг другу? — спросил он без предисловия, зная, что Ролан привык отвечать на его мысли.

— Говорили друг другу комплименты всех родов и расстались, как лучшие друзья.

— Каким он показался тебе?

— Благовоспитанный человек.

— Сколько ему лет, по-твоему?

— Не больше, чем мне.

— Да, пожалуй, молодой голос. Но, Ролан, неужели я ошибался? Неужели есть молодое поколение роялистов?

— Ах, генерал, — отвечал Ролан, сделав движение плечами, — это остаток старого поколения.

- Так надобно, чтоб было другое, преданное моему сыну, если когда-нибудь у меня будет сын.
- Ролан сделал движение, как будто хотел сказать:
- Я не против этого.
- Бонапарте понял его движение.
- Мало того, что ты не против этого, надобно способствовать этому.
- Нервное содрогание прошло по телу Ролана.
- Каким же образом, генерал? — спросил он.
- Надобно жениться.
- С моим аневризмом! — вскричал Ролан и расхохотался.
- Бонапарте посмотрел на него.
- Мой милый Ролан, — сказал он, — мне очень кажется, что твой аневризм только предлог остаться холостяком.
- Вы думаете?
- Да. А как человек нравственный, я хочу, чтобы молодые люди женились. Август, — продолжал Бонапарте, — издавал законы против неженатых, он лишал их прав римского гражданина.
- Август...
- Ну?
- Я подожду того времени, когда вы сделаетесь Августом, вы еще только Цезарь.
- Бонапарте подошел к молодому человеку и сказал ему, положив руку на плечо:
- Мой милый Ролан, я желаю, чтобы некоторые фамильные имена не угасали, и к числу их принадлежит имя Монревель.
- Да что же, генерал, если по моей вине или, предположим, по упрямству, по капризу, по фантазии я откажусь увековечить это имя — разве нет у меня брата?
- Какого брата? Разве у тебя есть брат?
- Конечно есть, почему же не быть у меня брату?
- Сколько ему лет?
- Двенадцатый год.
- Почему же ты никогда не говорил мне о нем?
- Я полагал, что жизнь и подвиги шалуна этих лет не могли быть для вас занимательны.
- Ошибаешься, Ролан, мне занимательно все, что касается моих друзей, надобно было бы попросить чего-нибудь для этого брата.
- Чего, генерал?
- Чтобы его поместили в одно из парижских училищ.
- И без меня вокруг вас довольно просителей!
- Слышишь ли: он должен быть в одном из парижских училищ; а когда позволят его лета, я помещу его в военную школу или в какое другое училище, которое между тем устрою.
- Право, генерал, я будто угадал ваши добрые намерения

в отношении к нему: именно теперь он в дороге или готовится к отъезду.

— Куда? Зачем?

— Три дня назад я писал моей матери, чтобы она привезла мальчика в Париж. Я полагал определить его здесь в училище, не говоря вам о том, а когда настали бы годы для того, поговорил бы с вами о нем, предполагая, разумеется, что аневризм еще не свалил бы меня. Но если бы случилось это...

— Тогда бы что?

— Тогда я оставил бы крошечное завещаньице на ваше имя и поручил бы вашей благосклонности мать, сына, дочь, все гнездо...

— Дочь? Какую?

— Мою сестру, дочь моей матери.

— У тебя есть еще сестра?

— Есть сестра.

— Каких лет?

— Семнадцати.

— Хорошенькая?

— Прелестная.

— Я берусь пристроить ее.

Ролан захохотал и тем заставил первого консула спросить:

— В чем дело?

— Знаете ли, генерал, я сейчас велю выставить над большими воротами Люксембурга надпись.

— Какую?

— Контора свадеб.

— Ну, если ты сам не хочешь жениться, это еще не причина, чтобы и твоя сестра осталась незамужнею. Я так же не люблю старых дев, как и старых холостяков.

— Я не говорю, генерал, что моя сестра останется старою девою, довольно, что и один член семейства Монревель заслужит ваше неудовольствие.

— Ну, так что же ты говоришь?

— Говорю, что, если вам угодно, мы посоветуемся с ней об этом, потому что это ее дело.

— А! Нет ли какой провинциальной страстишки?

— Не скажу: нет! Я оставил бедную Амели цветущую, веселую, а по возвращении нашел ее печальную, бледную. Все это я приведу с ней в ясность, и так как вам угодно, чтобы я возобновил речь об этом, то я возобновлю речь.

— Непременно, по возвращении твоим из Вандеи.

— А! Так я еду в Вандею?

— Что же? И это противно тебе, как женитьба?

— Нимало.

— Ну, так ты едешь в Вандею.

— Когда?

— Это не так к спеху, и если ты отправишься завтра утром...

— Чудесно. Скорее, если вам угодно. Скажите, зачем я туда еду?

— По чрезвычайно важному делу, Ролан.

— О? Надеюсь, однако ж, что не дипломатическое поручение?

— Именно дипломатическое, для которого мне надобен не дипломат.

— Так я удивительно окончу ваше дело, генерал! Разумеется, однако, что чем меньше я дипломат, тем больше необходимы мне точные инструкции.

— Я сейчас дам их тебе. Посмотри на эту карту. — Он указал молодому человеку огромную карту Пьемонта, растянутую на полу и освещенную висючей лампой.

— Вижу, — сказал Ролан, привыкший следовать за всеми внезапными прыжками гения своего генерала, — только это карта Пьемонта.

— Да, это карта Пьемонта.

— А! Так речь была об Италии?

— Все-таки о ней.

— Я думал, что дело идет о Вандее.

— Это второстепенное.

— Но, генерал, вы не ушлете меня в Вандею, когда сами пойдете в Италию.

— Нет, будь спокоен.

— И прекрасно! А не то предупреждаю вас, что я дезертирую и приеду к вам в Италию.

— Позволяю, но возвратимся к Меласу.

— Извините, генерал, о нем мы еще не говорили.

— Да, но я думаю о нем давно. Знаешь ли, где я разобью его?

— Как же не зная!

— Где, однако?

— Да где встретите.

Бонапарте засмеялся и с совершенной искренностью в обращении произнес:

— Простофиля! — Потом, растянувшись на карте, сказал Ролану:

— Подойди сюда, — а когда Ролан растянулся рядом, прибавил:

— Смотри: вот где я разобью Меласа.

— Подле Александрии.

— В двух или трех лье. У него в Александрии магазины, госпитали, артиллерия, резервы. Он не отойдет от нее. Надобно нанести сильный удар, без этого я не добьюсь мира. Я перехожу через Альпы, — он указал на большой Сен-Бернард, — опрокидываю на Меласа, когда он меньше всего ждет этого, и разбиваю его в прах.

— О, в этом отношении я за вас уверен.

— Но ты понимаешь, Ролан, что я могу удалиться спокойно,

когда не будет воспаления внутри, то есть не будет позади меня Вандеи.

— А, вот в чем дело, не надо Вандеи! Вы посылаете меня уничтожить Вандею!

— Тот молодой человек сказал мне о Вандее очень важные подробности. Вандейцы храбрые солдаты, когда ими предводительствует человек с головой, а у них там есть Жорж Кадудаль. Я предложил ему полк, но он не примет его.

— Я думаю! Ему надоело.

— Но есть одно обстоятельство, которого он и не подозревает.

— Кто? Кадудаль?

— Кадудаль. Он не подозревает, что аббат Бернье сделал мне предложение.

— Аббат Бернье?

— Да.

— Да кто же такой этот аббат Бернье?

— Это сын анжуйского крестьянина, ему теперь тридцать три или тридцать четыре года. Он был священником в Анжере во время восстания, отказался дать присягу и бросился к вандейцам. Два или три раза Вандея была усмирена, раз или два почитали ее умершей. Ошибались. Вандея была усмирена, только аббат Бернье не подписал мира. Вандея умирала, но аббат Бернье был жив. Однажды Вандея была благодарна к нему: он хотел, чтобы его назначили главным агентом всех внутренних роялистских армий, но Стоффле употребил свое влияние, и агентом назначили графа Кольбера де Молеврье. В два часа утра разошелся совет, и аббат Бернье исчез. Что сделал он в эту ночь, знают только Бог да он, но в четыре часа утра отряд республиканцев окружил ферму, где спал Стоффле, безоружный и беззащитный. В четыре с половиною часа Стоффле был взят и через неделю казнен в Анжере. На другой день д'Отишан сделался главнокомандующим и в тот же день, чтобы не впасть в ошибку, погубившую его предшественника, назначил аббата Бернье главным агентом. Понял ли ты?

— Вполне.

— Ну, теперь аббат Бернье, главный агент воюющих держав, уполномоченный графа д'Артуа, сделал мне предложения.

— Вам? Вам, первому консулу республики, он удостаивает... Знаете ли, что это очень хорошо со стороны аббата Бернье? И вы принимаете его предложения?

— Да, Ролан, пусть только Вандея усмирится, я снова отворю ее церкви, я возвращу ей священников.

— А если они станут петь «*Domine, salvum fac regem*» (молитву за короля)?

— Это лучше, нежели не петь никаких гимнов Богу. Пусть решит сам Бог: он всемогущ. Но скажи теперь, когда я объяснил мое поручение, по тебе ли оно?

Как речья больше.

— Хорошо. Вот письмо к генералу Гедувиллю. Он будет вести переговоры с аббатом Бернье в качестве главнокомандующего западной армии. Ты будешь находиться при всех совещаниях; он будет только слово, а ты моя мысль. Отправляйся же как можно поспешнее. Чем скорее ты возвратишься, тем скорее Мелас будет разбит.

— Прошу вас, генерал, дать мне только время написать к моей матери.

— Где она остановится, когда приедет сюда?

— В гостинице Посланников.

— Когда она приедет по твоему расчету?

— Теперь ночь с 21-го на 22-е января: она приедет вечером 23-го или утром 24-го числа.

— И прямо в гостиницу Посланников?

— Да, генерал.

— Я устрою все.

— Как же? Вы это принимаете на себя?

— Разумеется. Твоя мать не может оставаться в гостинице.

— А где же ей оставаться?

— У друзей.

— Она никого не знает в Париже.

— Извините, господин Ролан, она знает гражданина Бонапарте, первого консула, и гражданку Жозефину, его супругу.

— Вы не поместите ее в Люксембурге, предупреждаю вас, генерал, что это стеснило бы ее.

— Нет, я помещу ее на улице Победы.

— О, генерал!

— Ну, ну, все решено! Поезжай и возвращайся скорее.

Ролан взял руку первого консула и хотел поцеловать ее, но Бонапарте обнял его и сказал, целуя:

— Вот так, мой милый Ролан, и добрый путь тебе!

Спустя два часа Ролан уже катил по дороге в Орлеан в почтовой карете.

На следующий день, в девять часов утра, он въезжал в Нант, после тридцати трех часов путешествия.

Глава XXIX

ЖЕНЕВСКИЙ ДИЛИЖАНС

Почти в тот самый час, когда Ролан въезжал в Нант, дилижанс, тяжело нагруженный, остановился перед трактиром Золотого Креста, посреди большой улицы в Шантильоне на Сене.

Тогдашние дилижансы состояли только из двух отделений: передней и задней части кареты. Места наверху — новое изобретение.

Едва остановился дилижанс, как ямщик сошел с козел и отворил дверцы. Из дилижанса вышло семь путешественников и путешественниц. Трое мужчин, две женщины и грудной ребенок находились в задней части кареты, а в передней части были мать и сын.

Трое мужчин были: лекарь из Труа, женеvский часовщик и архитектор из Бура. Две женщины, сидевшие в задней части дилижанса, были: служанка, ехавшая к своей госпоже в Париж, и кормилица с грудным младенцем, которого она везла к его родителям. Сидевшие в передней части: мать была женщина лет сорока, еще сохранявшая черты необыкновенной красоты, сын был лет одиннадцати или двенадцати. Третье место передней части кареты занимал кондуктор.

Завтрак был приготовлен, по обыкновению, в большой общей зале гостиницы, и, как обыкновенно, кондуктор, — конечно, по соглашению с хозяином, — никогда не давал путешественникам времени съесть его.

Служанка и кормилица вышли из дилижанса за тем только, чтобы взять у булочника два мягких хлеба, и кормилица прибавила еще к своему хлебу колбасу с чесноком. Обе они снова вошли в карету и спокойно уселись там завтракать, избавляя себя таким образом от издержки, вероятно, не соразмерной с их бюджетом, — завтрака в трактире.

Лекарь, архитектор, часовщик, мать и сын вошли в гостиницу и, мимоходом погревшись перед огнем камина в кухне, перешли в столовую, где сели за стол.

Мать удовольствовалась чашкою кофе со сливками и съела несколько фруктов.

Мальчик был рад хоть аппетитом доказать, что он мужчина, и храбро принялся завтракать.

Первая минута, посвященная удовлетворению голода, прошла, как обыкновенно, в молчании. Прежде других заговорил женеvский часовщик.

— Право, гражданин, — сказал он (в публичных местах еще назывались гражданами), — откровенно доложу вам, что я не сердился, когда начало светать.

— Верно, вы не можете спать в карете? — спросил лекарь.

— Как не могу! Напротив, я обыкновенно сплю ночью без просыпу, но беспокойство было сильнее утомления.

— Вы боялись, что нас опрокинут? — спросил архитектор.

— О, нет! В этом отношении кажется всегда мне, что карета, в которую я сяду, никогда не опрокинется. Нет-с, не то.

— Да что ж такое? — спросил лекарь.

— А то, что в Женеве говорят, будто дороги во Франции не безопасны.

— Ну, это смотря по обстоятельствам, — сказал архитектор.

— Как по обстоятельствам? — перебил женевец.

— Да, — продолжал архитектор, — например, если бы мы везли с собой какие-нибудь суммы, принадлежащие правительству, мы наверное были бы остановлены или, лучше сказать, уже были бы остановлены.

— Вы думаете? — сказал женевец.

— Да уж так, непременно. Не знаю, откуда эти проклятые товарищи Ииуя добывают сведения, но от них не укроются деньги правительства никогда.

Лекарь сделал утвердительный знак головой.

— Как? — спросил у него женевец. — И вы такого же мнения, как этот господин?

— Совершенно.

— Но, зная, что в дилижансе есть деньги правительства, неужели вы были бы так неосторожны, что поместились бы в нем?

— Признаюсь вам, — сказал лекарь, — я еще подумал бы.

— А вы, милостивый государь? — спросил архитектора любопытный земляк Жан-Жака Руссо.

— О, я, — отвечал архитектор, — если б дело было спешное, я все-таки поехал бы.

— Мне очень хочется, — сказал женевец, — снять мой чемодан и ящики с этого дилижанса да подождать завтрашнего: ведь у меня в ящиках-то на двадцать тысяч франков часов. До сего дня мы ехали счастливо, но Бог весть, что с нами будет дальше.

— Разве вы не слышали, — сказала, вмешавшись в разговор, мать, — что, по крайней мере, как уверяют эти господа, мы только в том случае подвергались бы опасности быть остановленными, когда в дилижансе были бы деньги правительства?

— Ну да, — возразил часовщик, с беспокойством оглядевшись вокруг, — в том-то и дело, что они есть тут.

Мать побледнела немного и посмотрела на сына: каждая мать прежде боится за свое дитя, а потом уже за себя.

— Как? Мы везем деньги правительства? — спросили вдруг и в один голос, но с разными оттенками беспокойства архитектор и лекарь. — Уверены ли вы в том, что говорите?

— Совершенно уверен, милостивый государь!

— В таком случае надо было сказать это раньше или, сказывая теперь, говорить тихонько.

— Но, — прибавил лекарь, — может быть, почтенный наш спутник не уверен в том, что говорит?

— Может быть, он забавляется? — сказал архитектор.

— Боже сохрани меня!

— Женевцы любят посмеяться, — прибавил лекарь.

— Милостивый государь, — возразил женевец, оскорбленный подозрением, что он любит смеяться, — я видел, как нагружали их при мне.

— Кого их?

— Деньги.

— И много?

— Я видел много мешков.

— Откуда же эти деньги?

— Из казны Бернских медведей. Вам известно, господа, что у Бернских медведей было до пятидесяти и даже до шестидесяти тысяч ливров дохода.

— Решительно этот господин хочет испугать нас, — сказал медик.

— Господа, — возразил часовщик, — клянусь вам честью!

— Пожалуйста в карету, господа! — провозгласил кондуктор в дверях. — Мы опоздали на три четверти часа.

— Одну минуту, кондуктор, дайте нам одну минуту, — сказал архитектор, — мы советуемся.

— О чем?

— Заприте-ка дверь, кондуктор, и подойдите сюда.

— Выпейте с нами рюмку вина, кондуктор.

— С удовольствием, господа, — сказал кондуктор. — От рюмки вина нельзя отказываться.

Он протянул руку с рюмкой, трое путешественников чокнулись с ним, и, когда он готов был поднести рюмку ко рту, лекарь удержал его руку, говоря:

— Ну, любезный кондуктор, будем говорить откровенно: правда это?

— Что?

— Да что говорит этот господин? — Он указал на женева.

— Г.Феро?

— Я не знаю, называется ли он г.Феро.

— Да, это мое имя, к вашим услугам, — сказал женева, наклоня голову. — Феро и Компания, часовщики в Женеве, на улице Защиты, № 6-й.

— Господа! Пожалуйста в карету! — сказал кондуктор.

— Но вы не отвечаете нам.

— Да что же я стану вам отвечать? Вы ничего не спрашиваете у меня.

— Как ничего? Спрашиваем: правда ли, что вы везете в нашем дилижансе значительную сумму, принадлежащую французскому правительству?

— Ну, так! Это вы разболтали? — сказал кондуктор часовщику.

— Ну, ну, любезный друг!

— Господа! Пожалуйста в карету!

— Но прежде, нежели мы сядем в нее, мы желали бы знать...

— Что такое? Есть ли у меня деньги правительства? Да, есть. Теперь, когда остановят нас, не говорите ни словечка, и все кончится как нельзя лучше.

— Уверены ли вы в том?

— Уж оставьте меня уладить дело с этими господами.
— Что вы намерены делать, если нас остановят? — спросил
лекарь у архитектора.

— Я? Последую совету кондуктора.

— И всего лучше сделаете! — прибавил этот.

— И я! — сказал лекарь.

— И я! — сказал часовщик.

— Пожалуйте, господа, в карету, надо поспешить.

Мальчик слушал весь этот разговор, нахмурив брови и стиснув
зубы.

— А я, — сказал он своей матери, — если нас остановят,
знаю, что сделаю.

— Что же ты сделаешь? — спросила мать.

— А вот увидишь!

— Что говорит этот ребенок? — спросил часовщик.

— Я говорю, что вы все трусы! — отвечал мальчик, не за-
пинаясь.

— Эдуард! Это что значит? — промолвила мать.

— Я желал бы, чтобы остановили дилижанс! — сказал ребе-
нок, сверкая глазами и выражая готовность на все.

— Ради Бога, господа, пожалуйста в дилижанс! — вскричал
в последний раз кондуктор.

— Кондуктор! Я полагаю, что с вами нет оружия? — спросил
лекарь.

— Как не быть, есть пистолеты.

— Несчастный!

Кондуктор наклонился к его уху, говоря тихонько:

— Будьте спокойны, доктор: они заряжены без пуль.

— Ну, это хорошо.

— Пошел, ямщик! — сказал кондуктор, запирая дверцы. В то
время как ямщик ударил по лошадям и тяжелая махина тронулась,
он запер дверцы передней части кареты.

— Разве вы не сядете с нами, кондуктор? — спросила мать.

— Благодарю вас, г-жа де Монревель, — отвечал кондуктор, —
у меня есть дело на имперiale. — Проходя перед окном кареты,
он прибавил:

— Смотрите, чтобы г. Эдуард не трогал пистолетов, которые
в сумке: может ранить себя.

— Как же! — сказал Эдуард. — Разве мы не знаем, что такое
пистолеты! У меня есть свои, получше ваших; мои выписал мне
из Англии друг мой сэр Джон, не правда ли, мамаша?

— Все равно, — сказала г-жа де Монревель. — Я прошу тебя,
Эдуард, не прикасаться к этим.

— О, будь спокойна! — Но вполголоса он прибавил:

— Если только остановят нас товарищи Ииуя, я знаю, знаю,
что сделаю!

Дилижанс катился тяжелым ходом по дороге к Парижу. День

был прекрасный, один из тех зимних дней, которые воочию убеждают, что природа не умирает зимою, а только спит. Человек, проживший семьдесят или восемьдесят лет, жалуется в долгие годы своей жизни на длинные ночи, которые, занимая десять и двенадцать часов, сокращают дни. Природа существует бесконечно, деревья живут по тысяче лет, и сон их продолжается четыре или пять месяцев. Для нас это зимы, для них ночи. Поэты в своих завистливых стихах воспевают бессмертие природы, умирающей каждую осень и воскресающей каждую весну; поэты ошибаются: природа не умирает, а засыпает каждую осень; она не воскресает, а пробуждается каждую весну. Когда умрет она, тогда не будет ни деревьев, ни цветов, ни зелени, ни поэтов.

Итак, в прекрасный день 23 февраля 1800 года уснувшая природа, казалось, мечтала о весне; солнце заставляло блистать на траве двойного рва, шедшего подле дороги, те обманчивые перлы инея, которые растаивают под пальцами детей и радуют земледельца, когда трепещут на озими, выходящей из земли. В дилижансе открыли окна, желая дать и в него доступ весне, этой ранней улыбке Божией, и как бы говоря солнечному лучу, долго бывшему в отсутствии: здравствуй, путешественник, мы полагали, что ты еще затерян в густых облаках и в бурных волнах океана.

Вдруг после того, как уже ехали с час из Шатильона, на загибе реки, дилижанс остановился без всякого видимого препятствия; только четверо всадников приближались, спокойно, шагом, и один из них, ехавший на два или три шага впереди других, сделал ямщику знак рукой остановиться. Тот повиновался.

— О, мамаша! — сказал маленький Эдуард, который, несмотря на увещания матери, стоял и глядел в открытое каретное окно. — Какие чудесные лошади! Но для чего эти всадники в масках? Ведь карнавал прошел!

Г-жа де Монревель мечтала. Женщина всегда мечтает немного: молодая о будущем, пожилая о прошедшем. Она очнулась от своей мечтательности, высунула голову из дилижанса и вскрикнула.

— Что с тобой, мамаша? — спросил Эдуард, быстро повернувшись к ней. Не отвечая ему, бледная, схватила она его в свои объятия. В другой половине дилижанса слышны были крики ужаса.

— Но что такое случилось! Что случилось? — спрашивал маленький Эдуард, стараясь освободиться от рук матери, охвативших его.

— А вот что, дружок! — сказал кротким, ласкающим голосом один замаскированный, подошедший к окну кареты. — У нас расчеты с кондуктором, но это несколько не относится к путешественникам. Попросите же маменьку вашу принять выражение нашего глубокого уважения к ней и больше не думать о нас, как будто нас и нет тут.

Перешедши к окну другого отделения кареты, он прибавил:

— Господа, не опасайтесь за ваши кошельки и драгоценные вещи и успокойте кормилицу.

Наконец, обратившись к кондуктору, он сказал:

— Ну, дядя Жером, на империале и в сундуках есть наших сто тысяч франков, не так ли?

— Господа, уверяю вас...

— Это деньги правительства, из казны Бернских медведей: семьдесят тысяч франков золотом, остальные серебром; золото в ящиках передней кареты, а серебро на империале; так ли, и верны ли наши сведения?

При словах: «в ящиках передней кареты» г-жа де Монревель снова крикнула от ужаса; неизбежное столкновение с этими людьми, как ни старались они быть учтивыми, приводило ее в неопиcуемый ужас.

— Да что сделалось с тобой, мамаша, скажи ты мне, пожалуйста? — спрашивал мальчик в нетерпении.

— Ах, Эдуард, молчи, ради Бога!

— Для чего молчать?

— Разве ты не понимаешь?

— Нет.

— Дилижанс остановили.

— Зачем? Да скажи мне!.. А, мамаша, понимаю!

— Нет, нет, — возразила г-жа де Монревель, — ты не понимаешь.

— Эти господа — разбойники.

— Не говори этого, не говори!

— Как же не разбойники... Да вот они отнимают деньги у кондуктора.

В самом деле один из них привязывал к седлу своей лошади мешки с серебром, которые кондуктор кидал ему с империала.

— Нет, — сказала г-жа де Монревель, — они не разбойники, — и тихо прибавила: — они, знаешь, товарищи Ииуя.

— А! — прошептал мальчик. — Так это они зарезали моего друга сэра Джона! — И он побледнел в свою очередь, дыхание его сперлось и производило шипение сквозь сжатые зубы.

В это мгновение один из замаскированных отворил дверцы передней кареты и с самою изысканною вежливостью сказал:

— Графиня! К совершенному сожалению нашему, мы принуждены беспокоить вас! Нам или, лучше сказать, кондуктору необходимо отворить сундук в вашей карете, и потому позвольте попросить вас на одну минуту выйти из дилижанса. Жером окончит свое дело как можно скорее.

С выражением веселости, никогда не исчезавшей в звуках его голоса, он прибавил:

— Не правда ли, Жером?

Утвердительный ответ Жерома послышался сверху дилижанса.

Г-жа де Монревель, безотчетно желая быть между опасностью

и своим сыном — если опасность ожидала их, — повиновалась сделанному ей приглашению так, что Эдуард был позади ее. В это мгновение мальчик успел схватить пистолеты кондуктора.

Сладкоречивый молодой человек, с самым почтительным вниманием помогая г-же де Монревель выходить, сделал одному из своих товарищей знак, чтобы он подал ей руку, а сам обернулся к карете. Тогда раздался двойной выстрел: Эдуард выстрелил из двух пистолетов, которые держал в обеих руках, — товарищ Ииуа исчез в облаках дыма.

Г-жа де Монревель вскрикнула и лишилась чувств; смешанные восклицания отвечали на крик матери: внутри кареты они были выражением ужаса, потому что наперед согласились не сопротивляться и вот кто-то сопротивлялся; трое других товарищей Ииуа вскрикнули от изумления, потому что в первый раз был с ними такой случай.

Полагая, что товарищ их убит, молодые люди бросились к нему, но увидели, что он не только жив и здоров, но хохочет, между тем как кондуктор, сложив руки, восклицал:

— Милостивый государы! Клянусь вам, что в них не было пулы! Клянусь, что они были заряжены холостыми зарядами!

— Я думаю, — сказал молодой человек, — ясно, что заряды были холостые, но доброе намерение все-таки остается, не правда ли, мой маленький Эдуард?

Обратившись к товарищам, он прибавил:

— Сознайтесь, господа, что ребенок очень мил? Достойный сын своего отца и брат своего брата! Прекрасно, Эдуард: ты будешь со временем человеком.

Он обхватил мальчика обеими руками и насильно поцеловал в обе щеки. Эдуард отбивался, как сумасшедший, считая себя униженным. Как же: его целовал человек, в которого он выстрелил из двух пистолетов!

Между тем, один из трех товарищей отнес мать Эдуарда на несколько шагов от дилижанса и положил на развернутый плащ подле рва. Тот, который обнимал и целовал Эдуарда так настойчиво, искал глазами г-жу де Монревель, и когда увидел, то сказал:

— Она в обмороке, и мы не можем, господа, оставить женщину в таком состоянии. Кондуктор! Поручаю тебе г-на Эдуарда.

Он передал мальчика в руки кондуктора, а сам обратился к одному из своих товарищей:

— Ну, предусмотрительный человек, нет ли у тебя флакона с летучей солью или склянки с душистой водой?

— Есть, — отвечал тот, кому он говорил, и вынул из кармана флакон с английским уксусом.

— Теперь, — сказал молодой человек, по-видимому, начальник других, — окончи без меня с дядей Жеромом, а я принимаю на себя труд помочь г-же де Монревель.

Это было давно необходимо: обморок г-жи де Монревель

постепенно принял характер нервного припадка: внезапные вздрагивания подергивали все ее тело, и глухие стоны вырывались из ее груди. Молодой человек наклонился и дал ей вдохнуть душистого укуса из флакона; она открыла испуганные глаза и, повторяя: «Эдуард! Эдуард!» — нечаянным движением руки сшибла маску с того, кто помогал ей.

Лицо молодого человека было открыто. Этот смеющийся, вежливый молодой человек — читатели наши угадали — был Морган. Г-жа де Монревель изумилась, увидев перед собой прекрасные черные глаза, грациозные губы, сквозь улыбку которых видны были два ряда белых зубов, и поняла, что ей нечего опасаться в руках такого человека, нечего страшиться за своего Эдуарда. Глядя на Моргана не как на бандита, который заставил ее упасть в обморок, но как на светского человека, который помогает ей, она сказала:

— Вы очень добры!

В этих словах и в тоне голоса, какими были они произнесены, заключался целый мир благодарности, не только за себя, но и за свое дитя.

С кокетством, странным, но бывшим в его рыцарском характере, Морган вместо того, чтобы поднять свою маску поскорее и надеть на свое лицо так быстро, что г-жа де Монревель сохранила бы о нем только смутное, мимолетное воспоминание, Морган отвечал поклоном на ее вежливость, дал своей физиономии время произвести все действие и, передав флакон Ле-Претра в руки г-жи де Монревель, только тогда надвинул на лицо и снова привязал свою маску. Г-жа де Монревель поняла эту нежную внимательность молодого человека.

— Ах, милостивый государь, — сказала она, — будьте покойны, в каком бы месте и положении ни встретила я вас, вы останетесь мне неизвестны.

— В таком случае, сударыня, — отвечал Морган, — мне остается благодарить вас и сказать в свою очередь: вы слишком добры.

— Господа путешественники, пожалуйста в карету, — провозгласил кондуктор своим обыкновенным тоном, как будто не случилось ничего чрезвычайного.

— Вполне ли вы оправились, сударыня, и не надо ли вам отдохнуть еще несколько минут? Дилижанс подождет, — сказал Морган.

— Я чувствую себя хорошо и благодарю вас, — отвечала г-жа де Монревель.

Морган подал ей руку. Опираясь на его руку, она прошла от окраины дороги до кареты и ступила на ее подножку. Кондуктор уже усадил Эдуарда на место, и, когда г-жа де Монревель заняла свое, Морган, примирившись с матерью, хотел примириться и с сыном.

— Не сердитесь же, мой юный герой! — сказал он, протягивая к нему руку. Но ребенок отодвинулся назад.

— Я не подаю руки разбойнику, который грабит на больших дорогах, — проговорил он.

Г-жа де Монревель ужаснулась от этих слов, но Морган с неизменною вежливостью сказал ей:

— Сын ваш очень мил, сударыня, только в нем есть пред-
рассудки. Желаю вам счастливого пути! — прибавил он, кланяясь и затворяя дверцы кареты.

— Ступай! — закричал кондуктор. Дилижанс двинулся.

— Ах, позвольте... ваш флакон, ваш флакон, милостивый государы! — вскричала г-жа де Монревель.

— Оставьте его у себя, сударыня, — отвечал Морган, — хотя я надеюсь, он вам не понадобится.

Но мальчик вырвал из руки матери флакон и выкинул его за окошко, говоря:

— Не принимай подарка от разбойника, мамаша!

Товарищи Моргана в первый раз услышали, что он вздохнул, бормоча про себя:

— Чертенюк! Кажется, я хорошо сделал, что не просил руки бедной моей Амели!

— Все ли кончено, господа? — громко сказал он, обратившись к товарищам.

— Да! — отвечали они в один голос.

— Так на коней и в путь! Не забудем, что сегодня в девять часов вечера мы должны быть в Опере!

Он вскочил в седло, первый перепрыгнул через ров и пустился к речке, где, не задумываясь, переехал брод, указанный на карте Кассини мнимым курьером.

На другом берегу речки, пока подъезжали остальные товарищи, д'Ассас спросил у Моргана:

— Скажи, пожалуйста, давеча с тебя спала маска?

— Да, но только одна г-жа де Монревель видела мое лицо.

— Гм! — пробормотал Монбар. — Лучше, если бы никто не видел его.

Все четверо они пустились галопом через поля и вскоре исчезли в направлении к Шаурсу.

Глава XXX

ДОНЕСЕНИЕ ГРАЖДАНИНА ФУШЕ

На другой день, утром, часов около одиннадцати, г-жа де Монревель подъехала к гостинице Посланников и очень удивилась, что ее ожидал не Ролан, а какой-то незнакомец, который тотчас подошел к ней и сказал:

— Вы вдовствующая супруга генерала де Монревеля?
— Да, милостивый государь, — отвечала она с удивлением.
— Вы приехали к вашему сыну?
— Да, и не понимаю, что после его письма ко мне...
— Человек предполагает, а первый консул располагает, — отвечал, смеясь, незнакомец, — первый консул распорядился на несколько дней временем вашего сына и вместо его послал меня встретить вас, сударыня!
— И я имею честь говорить?.. — спросила г-жа де Монревель, наклонив голову.

— С гражданином Фовле де Бурьеном, секретарем первого консула, — отвечал незнакомец.

— Прошу вас благодарить от меня первого консула и выразить глубокое сожаление, что не могу лично изъявить ему моей благодарности.

— Но вы можете очень легко исполнить это, сударыня.

— Каким образом?

— Первый консул приказал мне проводить вас в Люксембург.

— Меня?

— Вас и вашего сына.

— Ах, я увижу генерала Бонапарте, увижу генерала Бонапарте! — вскричал Эдуард. — Ах, какое счастье! — И он запрыгал от радости, хлопая в ладоши.

— Тише, Эдуард, тише! — сказала г-жа де Монревель и, обратившись к Бурьену, прибавила:

— Вы извините этого дикаря, выходца с гор Юры.

Бурьен протянул руку к мальчику, говоря:

— Я друг вашего брата, надо поцеловать меня.

— Очень рад, — отвечал Эдуард, — ведь вы не разбойник?

— Кажется, что так, — отвечал, смеясь, секретарь.

— Еще раз извините его, он вспомнил, что дорогою нас остановили.

— Как остановили?

— Да.

— Разбойники?

— Не совсем.

— Послушайте, — сказал Эдуард, — разве люди, которые отнимают деньги, не разбойники?

— Вообще, мой милый друг, их так называют.

— Вот видишь ли, мамаша!

— Ну, полно же, Эдуард, я прошу тебя.

Бурьен взглянул на г-жу де Монревель и ясно увидел, по выражению лица ее, что предмет разговора был ей неприятен. Но не стал продолжать речи о нем и сказал:

— Позвольте напомнить вам, сударыня, что я, как уже имел честь сказать вам, получил приказание проводить вас в Люксембург, и позвольте прибавить, что там ожидает вас г-жа Бонапарте.

— Прошу дать мне время только переодеться и одеть сына.
— А сколько вам понадобится времени на это, сударыня?
— Не слишком будет много, если я попрошу у вас полчаса?
— О, нет, и, если вам надо только полчаса, я нахожу, что это очень немного.

— Я буду готова: в этом могу вас уверить.

— В таком случае, сударыня, — сказал секретарь, кланяясь, — я успею сделать одну поездку и через полчаса явлюсь к вашим услугам.

— Благодарю вас, милостивый государь.

— Не сердитесь на меня, если я возвращусь точно в назначенное вами время.

— Я не заставлю вас ждать.

Бурьен уехал.

Г-жа де Монревель сначала одела Эдуарда, потом переоделась сама, и, когда Бурьен возвратился, она уже пять минут ожидала его.

— Смотрите, сударыня, — сказал Бурьен, смеясь, — чтобы я не сказал первому консулу о вашей пунктуальности.

— А что же мне опасаться этого?

— Он вздумает оставить вас при себе, чтобы вы давали уроки г-же Бонапарте.

— О, — возразила г-жа де Монревель, — креолкам надо прощать многое.

— Но, сударыня, кажется, вы сами креолка?

— Так, но г-жа Бонапарте видит своего мужа каждый день, а я увижу первого консула в первый раз, — отвечала г-жа де Монревель.

— Поедем, мама, поедем, — торопил Эдуард.

Секретарь предоставил г-же де Монревель идти впереди. Через четверть часа она была уже в Люксембурге.

Бонапарте занимал в малом Люксембурге комнаты нижнего этажа направо, комнаты Жозефины были в первом этаже, к ним вел коридор от кабинета первого консула.

Жозефина была предуведомлена, потому что, когда увидела г-жу де Монревель, протянула к ней руку, как к другу.

— Ко мне! Ко мне, сударыня! — сказала Жозефина. — Я знаю вас с того времени, как знаю вашего милого и достойного сына! Сказать ли вам, чем я успокаиваю себя, когда Бонапарте уезжает от меня? Тем, что Ролан следует за ним, а когда Ролан при нем, то мне кажется, что и не может случиться никакого несчастья. Что же, неужели вы не хотите поцеловать меня?

Г-жа де Монревель не знала, что отвечать на выражение такой доброты.

— Ведь мы с вами соотечественницы! — продолжала Жозефина. — О, я очень хорошо помню г-на де ла Клемансьера, у которого был такой прекрасный сад и такие чудесные фрукты! Припоминаю даже, что видела там, когда отец приводил меня, еще

ребенка, в этот сад есть фрукты, припоминаю, что видела прекрасную молоденькую девушку, которая казалась там царицей. Вы очень молодой вышли замуж?

— Четырнадцать лет.

— Так и должно быть, раз у вас сын таких лет, как Ролан. Но садитесь же.

Она подала пример и сделала г-же де Монревель знак садиться.

— А это милое дитя, — продолжала она, указывая на Эдуарда, — тоже ваш сын? — Жозефина вздохнула. — Бог был щедр к вам, — сказала она, — и, если исполняет все ваши желания, вы должны помолиться, чтобы он дал и мне сына.

Она завистливо прижала свои губы ко лбу Эдуарда.

— Муж мой будет очень счастлив видеть вас, сударыня. Он так любит вашего сына! И вас не проводили бы сначала ко мне, если бы он не был занят с министром внутренних дел. Впрочем, — прибавила она, смеясь, — вы приехали не в добрую минуту, он ужасно рассержен.

— О, — вскричала г-жа де Монревель, почти испугавшись, — если так, то я лучше подожду.

— О, нет, нет, напротив, вид ваш успокоит его. Я не знаю, что такое творится: кажется, останавливают, как в Шварцвальде, днем, на большой дороге, дилижансы. Фуше не устоит, если это еще возобновится.

Г-жа де Монревель хотела отвечать, но дверь растворилась и явился лакей со словами:

— Первый консул ожидает г-жу де Монревель.

— Ступайте, ступайте, — сказала Жозефина, — у Бонапарте время всего дороже, и он почти так же нетерпелив, как Людовик XIV, которому нечего было делать. Он не любит ждать.

Г-жа де Монревель встала с живостью и хотела вести с собою сына.

— Нет, — сказала Жозефина, — оставьте этого красавца мне, вы будете с нами обедать, и Бонапарте увидит его в шесть часов; впрочем, если он вздумает увидеть его, то позовет, а куда я остаюсь второю мамашей вашего сына. Только чем бы мне занять его?

— У первого консула, верно, есть прекрасное оружие, сударыня? — сказал мальчик.

— О, есть! Вам сейчас покажут его.

Жозефина вышла в одну дверь и увела с собой мальчика; г-жа де Монревель вышла в другую в сопровождении лакея. Она встретила белокурого мужчину с бледным лицом и с тусклыми глазами, который посмотрел на нее с беспокойством, по-видимому, никогда не оставлявшим его. Он быстро посторонился и дал ей пройти. Человек, провожавший г-жу де Монревель, сделал невольное движение и сказал ей тихо: «Это префект полиции».

Г-жа де Монревель с любопытством посмотрела вслед Фуше,

которого имя уже тогда пользовалось страшною известностью.

Между тем дверь в кабинет Бонапарте отворилась и посреди ее обрисовалась голова первого консула. Он увидел г-жу де Монревель и сказал ей еще издали:

— Пожалуйте, пожалуйста, г-жа де Монревель!

Она ускорила шаги и вошла в кабинет.

— Пожалуйте, — повторил Бонапарте, затворяя за собой дверь.

— Я заставил вас ждать против моей воли, мне хотелось задать головомойку Фуше. Вы знаете, что я чрезвычайно доволен Роланом и надеюсь произвести его в генералы при первом случае. В котором часу вы приехали?

— Только что, генерал.

— Откуда? Ролан сказал мне, но я забыл.

— Из Бура.

— По какой дороге?

— По дороге из Шампани.

— Из Шампани? Так вы были в Шатильоне? Когда?..

— Вчера утром, в девять часов.

— В таком случае вы должны были слышать, что там остановили дилижанс.

— Генерал...

— Да, остановили дилижанс, в десять часов утра, между Шатильоном и Бар-сюр-Сен.

— Генерал, это был наш.

— Как ваш?

— Да.

— Вы были в том дилижансе, который остановили на дороге?

— Была.

— А, так вот где я узнаю верные подробности! Извините, но вам понятно мое желание иметь сведения? В культурной стране, где генерал Бонапарте первый блюститель порядка, нельзя безнаказанно останавливать дилижансы на большой дороге, среди бела дня, или...

— Генерал, я могу сказать вам только то, что люди, которые остановили дилижанс, были верхом и в масках.

— Сколько было их?

— Четверо.

— А сколько было мужчин в дилижансе?

— Четверо, вместе с кондуктором.

— И они не защищались?

— Нет, генерал.

— В донесении полиции, однако же, сказано, что было сделано два выстрела из пистолета.

— Да, генерал, но это выстрелил...

— Ну?

— Это выстрелил мой сын.

- Ваш сын! Но ваш сын в Вандее!
- Ролан, да, но Эдуард был со мной.
- Эдуард? Какой Эдуард?
- Брат Ролана.
- Он говорил мне о нем, но ведь это ребенок!
- Ему еще нет двенадцати лет.
- И он выстрелил из двух пистолетов?
- Да, генерал.
- Для чего вы не привели его ко мне?
- Он со мной.
- Но где же он?
- Я оставила его у г-жи Бонапарте.

Бонапарте позвонил и сказал вошедшему дежурному:

- Скажите Жозефине, чтобы она пришла сюда с мальчиком.
- И, расхаживая по своему кабинету, он говорил сам с собою:
- Четверо мужчин! И ребенок дает им пример мужества!
- И ни один из этих бандитов не был ранен!
- Пистолеты были заряжены без пуль.
- Как без пуль?
- Пистолеты принадлежали кондуктору, а он из предосторожности зарядил их только порохом.
- Хорошо же. Имя его будет известно.

В эту минуту дверь отворилась, и г-жа Бонапарте вошла, ведя за руку мальчика.

— Подойди сюда, — сказал Бонапарте ребенку.

Эдуард подошел без застенчивости и отдал честь по-военному.

- Так это ты стреляешь из пистолетов в разбойников?
- Видишь, мама, это были разбойники! — прервал его Эдуард.
- Разумеется, разбойники! Не вздумает ли кто сказать мне противное? Но, к слову сказать, ты стреляешь из пистолетов в разбойников, когда взрослые люди трусят?

— Да, генерал, но, к несчастью, трус-кондуктор зарядил свои пистолеты без пуль, иначе я убил бы главного разбойника.

— Стало быть, ты не боялся?

— Я? Нет, — сказал ребенок, — я никогда не боюсь.

— Ваши дети львиной породы, сударыня, — сказал Бонапарте, обратившись к г-же де Монревель, которая опиралась на руку Жозефины, потом, снова обращаясь к ребенку, он сказал, целуя его:

— Прекрасно, я позабочусь о тебе: кем ты хочешь быть?

— Сначала солдатом.

— Как сначала?

— Да, а потом полковником, как брат, и генералом, как мой отец.

— Ну, — сказал первый консул, — если ты не сделаешься полковником и генералом, так это будет не моя вина.

— И не моя, — возразил ребенок.

— Эдуард! — промолвила г-жа де Монревель боязливо.

— Что ж, сударыня, не вздумаете ли вы пожурить его за то, что он отвечал хорошо? — сказал Бонапарте.

Он взял мальчика, поднял его в уровень своего лица и поцеловал.

— Вы обедаете с нами, — сказал он, — а вечером Бурьен, который приезжал за вами в гостиницу, поместит вас на улице Победы; вы останетесь там до возвращения Ролана. Он приищет вам квартиру, какую ему угодно. Эдуард поступит в школу, а я выдам замуж вашу дочь.

— Генерал!

— Мы условились об этом с Роланом. — Обратившись к Жозефине, он сказал:

— Уведи к себе г-жу де Монревель и постарайся, чтобы она не очень скучала. Г-жа де Монревель! Если ваш друг, — Бонапарте выговорил эти слова сильнее, — вздумает ехать в магазин мод, не пускайте ее: шляпок у нее должно быть достаточно, потому что в последний месяц она купила их тридцать восемь.

Дружески потрепав по щеке Эдуарда, он движением руки распростился с обеими дамами.

Глава XXXI

СЫН МЕЛЬНИКА В ЛЕГЕРНО

Мы сказали, что в то самое время, когда Морган и его трое товарищей остановили дилижанс между Бар-сюр-Сен и Шатильоном, Ролан въезжал в Нант.

Если хотим узнать, как выполняется данное ему поручение, то мы должны шаг за шагом идти по следам его, среди извилин, по которым аббат Бернье проводил свои честолюбивые желания, и застать его в местечке Мюзильяке, между Амбоном и Гверно, в двух лье повыше небольшого залива, в который впадает Вилен.

Там мы в самом сердце Морбигана, то есть в том месте, где зародились шуаны: подле Лавалья, в даче Пуарье, родились от Пьера Коттро и от Жанны Муайнэ четыре брата шуанов. Один из их предков, нелюдимый дровосек, угрюмый поселянин, жил в уединении от других поселян, как сова живет в отдалении от других птиц. От этого происходит и название шуан, искаженное слово chat-hua. Это имя сделалось именем целой партии. На правом берегу Луары говорили: шуаны, желая сказать: бретонцы, как на левом берегу, вместо: вандейцы, говорили: разбойники.

Не наше дело описывать смерть и гибель этого семейства героев и следовать за двумя сестрами и братом на эшафот или на те поля сражений, где пали раненые или убитые Жан и Рене, мученики своей веры. Прошло много лет после казни Перрины, Рене,

Пиерра и после смерти Жана: гибель сестер и подвиги братьев сделались достоянием легенды.

Мы будем говорить об их преемниках. Правда, эти люди верны преданиям. Как сражались они под предводительством Ла Руэри, Буа-Гарди, Бернара де Вильнев, так же сражаются они под предводительством Бурмона, де Фротте и Жоржа Кадудала; у них то же мужество, та же преданность, это те же христиане, солдаты и восторженные роялисты; у них тот же вид, грубый и дикий, то же оружие — ружье или простая палка, *une ferte*, по народному названию, тот же самый костюм — шерстяной колпак темного цвета или шляпа с широкими полями, едва прикрывающая длинные, висячие волосы, в беспорядке падающие на плечи, словом, это те же старинные *Aulerci Cenomani*, как во времена Цезаря, *promisso capillo*, те же бретонцы в широких шальварах, про которых Марциал сказал: «*Tam laxa est Quam veteria braciae Bretonis pauperis*».

Для защиты от дождя и холода они носят казакин из меха диких коз, с опушкой, а знаком сообщества служат им наплечник и четки или сердце, носимое на груди, — признаки братства, которое каждый день собирается для общей молитвы.

В то время, когда мы переходим границу, отделяющую департамент Нижней Луары от Морбигана, эти люди рассеяны от Ла-Рош-Бернара до Ванна и от Квертембера до Биллье, то есть окружают местечко Мюзильяк.

Но только глаз орла, плавающего в воздушной вышине, или совы, которая видит в темноте, мог бы разглядеть их среди рош, кустарников и высокой травы, где они скрываются.

Пройдем посреди этой цепи невидимых часовых и, перешедши вброд два ручья, которые вливаются в безымянную реку, впадающую в море близ Биллье, между Арзалом и Дамганом, войдем смело в деревушку Мюзильяк.

Там темно и тихо, свет виден сквозь щели ставней только в одном доме или, лучше сказать, в хижине, ничем не отличающейся от других. Эта хижина четвертая направо от входа в деревню.

Посмотрим, что делается в ней.

Перед нами человек, одетый как богатый морбиганский поселенин, только золотой галун шириной в палец нашит на его воротнике, на краях платья и на шляпе.

Кожаные панталоны и сапоги с отворотами дополняют его костюм.

На стуле валяется его сабля; вблизи пара пистолетов.

У камина дула двух или трех карабинов отражают блеск огня. Лампа на столе, перед которым сидит человек, освещает бумаги, прочитываемые им со вниманием, она же освещает его лицо.

Это лицо человека лет тридцати. Когда заботы войны не омрачают его, в нем видно откровенное и веселое выражение;

большие голубые глаза оживляют эту белокурую голову, красивую, но отличенную особенною формою бретонских голов, зависящую, если верить системе Галля, от необычайного развития органов упрямота. Потому-то у этого человека два имени: солдаты за-просто называют его Большая Голова; но имя, полученное им от почтенных и достойных родителей, — Жорж Кадудаль.

Жорж был сын земледельца в Керлеаноском приходе, и предание называет этого земледельца мельником. Жорж ходил в школу в Ванне и приобретал там хорошие познания, когда огласились первые призывы роялистской инсurreкции в Вандее. Жорж собрал несколько человек товарищей, охотников, перешел с ними за Луару и предложил свои услуги Стоффле. Но Стоффле хотел сначала видеть его в бою, а потом присоединить к себе, да Жорж и сам требовал этого. Таких случаев не нужно было долго ждать в Вандейской армии. На другой же день было сражение; Жорж бросился в схватку и так отчаянно напал на синих, что бывший ловчий г-на де Молеврье не мог удержаться и громко сказал бывшему подле него Боншану:

— Если ядро не снесет этой большой круглой головы, она пойдет далеко, предсказываю вам!

Название осталось за Кадудалем. Он не выходил из Вандеи до поражения при Савене, где Вандейская армия вся легла на поле сражения или исчезла, как дым.

В продолжение трех лет Жорж выказывал чудеса храбрости, ловкости и силы. Он возвратился за Луару и вступил в Морбиган с одним из тех, которые за ним следовали. Этот, в свою очередь, будет его адъютантом или, лучше сказать, спутником на войне; он не расстанется с ним и в награду за тяжелый поход, совершенный вместе, переменит имя Лемерсье на имя Тиффожа. Мы видели его на балу жертв с поручением к Моргану.

Возвратившись на родную землю, Кадудаль уже от себя поднял восстание. Ядра оказали уважение к большой голове, и Кадудаль, оправдывая обещание Стоффле, наследуя Ла-Рошжакленам, д'Эльбе, Боншанам, Лескюрам, самому Стоффле, сделался соперником их в славе и превзошел в могуществе, потому что ему пришлось — это лучшая мера его славы — одному или почти одному — бороться с правительством Бонапарте, за три месяца перед тем ставшего первым консулом.

Два предводителя, оставшиеся вместе с Кадудалем верными династии Бурбонов, были Фротте и Бурмон.

В тот день, на котором мы остановились, то есть 26 января 1800 года, Кадудаль начальствует тремя или четырьмя тысячами человек и приговаривается блокировать в Ванне генерала Гатри. Он прекратил неприятельские действия на все то время, покуда ждал ответа первого консула на письмо Людовика XVIII, но уже два дня как Тиффож приехал и привез ему ответ.

Ответ уже отправлен в Англию, откуда перешлют его в Ми-

таву, и так как первый консул не хочет мира на условиях, продиктованных Людовиком XVIII, то Кадудаль, главнокомандующий Людовика XVIII на западе, будет продолжать войну против Бонапарте, хотя бы с одним другом своим Тиффожем, который, впрочем, находится в Пуансе, на совещании с Шатильоном, д'Отишаном, аббатом Бернье и генералом Гедувиллем.

Последний из великих бойцов междоусобной войны, Кадудаль погружен в размышления об известиях, только что привезенных ему, да о них и надобно поразмыслить.

Генерал Брюн, победитель при Алькмааре и Кастрикуме, спаситель Голландии, назначен главнокомандующим республиканских армий на Западе, и уже три дня как он приехал в Нант. Он должен, чего бы то ни стоило, уничтожить Кадудаль и его шуанов.

Кадудаль размышляет, потому что, какой бы ни было ценою, надо доказать новому главнокомандующему, что его не боятся и что невозможно навести страх на шуанов.

В это время послышался лошадиный топот, верно, всадник знал пароль, если без препятствия проехал среди патрулей, расставленных по дороге из Ла-Рош-Бернара, без препятствия въехал в местечко Мюзильяк.

Наконец, он остановился перед воротами той хижины, где находился Жорж.

Жорж, подняв голову, слушает и на всякий случай кладет свою руку на пистолеты, хотя, вероятно, к нему войдет один из его друзей. Всадник соскочил с лошади, вошел в аллею и отворяет дверь комнаты Жоржа.

— А, это ты, Кер-де-Руа! — сказал Кадудаль. — Откуда?

— Из Пуансе, генерал.

— Что нового?

— Письмо от Тиффожа.

— Подай.

Жорж взял с живостью и прочитал письмо.

— А! — промолвил он и прочитал в другой раз. — Видел ли ты того, кто едет ко мне, как он пишет?

— Да, генерал, — отвечал курьер.

— Что это за человек?

— Красавец лет двадцати шести или семи.

— А вид его?

— Решительный.

— Так и должно быть. Когда он придет?

— Вероятно, теперь же ночью.

— Объявил ли ты по дороге, чтобы его везде пропускали?

— Да, он проедет свободно.

— Объяви об этом еще раз, чтобы он не встретил ничего неприязненного: Морган покровительствует ему.

— Это уже объявлено.

— Что еще скажешь?

- Авангард республиканцев в Ла-Рош-Бернаре.
- Сколько их?
- Человек тысяча. С ними гильотина и комиссар исполнительной власти Милльер.
- Ты уверен в этом?
- Я встретил их на дороге: комиссар ехал верхом подле полковника, и я узнал его как нельзя лучше. Он казнил моего брата, и я поклялся, что он умрет не иначе, как от моей руки.
- И ты, чтобы сдержать слово, рискнешь своею жизнью?
- При первом случае.
- Может быть, его и не придется долго ждать.
- На улице снова послышался лошадиный топот.
- А, — сказал Кер-де-Руа, — вот, вероятно, тот, кого ждете вы.
- Нет, — возразил Жорж, — этот всадник едет со стороны Ванна.
- В самом деле, когда топот стал слышнее, можно было убедиться, что Кадудаль не ошибся.
- И этот всадник, так же как первый, остановился перед воротами, спрыгнул с коня и вошел к Жоржу, который с первого взгляда узнал его, несмотря на то, что вошедший был закутан в плащ.
- Это ты, Бенедисите, — сказал он.
- Да, генерал.
- Откуда ты?
- Из Ванна, куда вы посылали наблюдать за синими.
- Ну, что же делают синие?
- Боятся умереть с голоду, если вы блокируете город; чтобы достать себе съестных припасов, генерал Гатри намерен в эту ночь завладеть магазинами в Граншане; он сам будет командовать и, желая быть налегке, ведет колонну только в сто человек.
- Ты устал, Бенедисите?
- Я никогда не устаю, генерал.
- А твоя лошадь?
- Бежала скоро, но может еще часов пять бежать так же скоро и не пасть.
- Дай ей два часа отдыха, двойную порцию овса, и пусть бежит еще десять часов.
- На таких условиях она сделает это.
- Через два часа ты отправишься, на рассвете будешь в Граншане, прикажешь моим именем очистить деревню, а уж я берусь управиться с генералом Гатри и его колонною. Все ли ты сказал мне?
- Нет! Привез вам еще одну новость.
- Какую?
- В Ванне новый епископ.
- А! Так нам возвращают епископов?
- Кажется, но если все таковы, как этот, то могут поберечь их для себя.

— А кто же этот?

— Одрен.

— Один из убийц короля?

— Да, и один из ренегатов.

— Когда приедет он?

— В эту ночь или завтра.

— Я не пойду навстречу ему, но худо ему будет, если попадет-ся в руки нашим!

Бенедисите и Кер-де-Руа захохотали, смех их дополнил мысль Жоржа.

— Тише, — сказал он, и все трое стали прислушиваться.

— Вот это должен быть он, — промолвил Кадудаль, слыша топот лошадей, скачущей от Ла-Рош-Бернара.

— Точно, — проговорил Кер-де-Руа.

— Хорошо, друзья мои, оставьте меня одного. Ты, Бенедисите, в Граншан, и как можно скорее, ты, Кер-де-Руа, во двор с тридцатью человеками. Может быть, мне понадобится отправить гонцов по разным дорогам. Кстати, распорядись, чтобы мне принесли поужинать, что найдется в деревне получше.

— На сколько человек, генерал?

— На двух.

— Но вы уходите?

— Нет, я только иду встретить приезжего.

Двое или трое малых уже провели во двор лошадей обоих гонцов, которые в свою очередь также скрылись.

Жорж вышел из ворот на улицу в то самое время, когда всадник, остановив своего коня, глядел во все стороны, по-видимому, в нерешимости.

— Здесь, милостивый государь, — сказал Жорж.

— Здесь? Кто здесь? — спросил всадник.

— Тот, кого вы ищете.

— А почему вы знаете, кого я ищу?

— Предполагаю, что ищете Жоржа Кадудалья, иначе называемого Большая Круглая Голова.

— Точно так!

— Приветствую вас, г. Ролан де Монревель, потому что я тот, кого вы ищете.

— Ага! — промолвил молодой человек, удивляясь и слезая с коня. Он, казалось, искал глазами, кому бы отдать свою лошадь.

— Бросьте поводья на шею вашего коня и не беспокойтесь о нем. Вы найдете его, когда он вам понадобится. В Бретани не пропадает ничто.

Молодой человек не сделал никакого замечания, бросил поводья на шею своего коня, как советовали ему, и пошел вслед за Кадудалем.

— Я должен показать вам дорогу, полковник, — сказал предводитель шуанов, и оба вошли в хижину, где невидимая рука уже развела огонь в камине.

Глава XXXII

БЕЛЫЙ И СИНИЙ

Ролан, как мы уже сказали, вошел с Жоржем и, входя, огляделся вокруг с беззаботным любопытством, с первого взгляда он увидел, что они были совершенно одни.

— Эта ваша главная квартира? — спросил Ролан, улынувшись и приближая к огню подошвы своих сапог.

— Да, полковник.

— Странно оберегают ее.

— Вы говорите это, — сказал, улыбаясь в свою очередь. Жорж, — оттого, что с самого Ла-Рош-Бернара проезжали свободно?

— То есть не встретил живой души!

— Это несколько не доказывает, что дороги не оберегают.

— Да кто же оберегает? Разве совы и филины, которые перелетали с дерева на дерево и таким образом сопутствовали мне? В таком случае беру назад мое предположение.

— Точно, — отвечал Кадуаль, — совы и филины мои часовые, и глаза их очень хороши, лучше глаз человеческих, потому что видят и ночью.

— Однако же счастье мое, что я хорошенько осведомился в Ла-Рош-Бернаре, а иначе не встретил бы даже кошки, которая сказала бы мне, где могу я вас найти.

— В каком месте дороги ни спросили бы вы громким голосом: «Где найду я Жоржа Кадуаля?» — вам отвечал бы голос: «В местечке Мюзильяке, в четвертом доме на правой стороне». Вы не видали никого, полковник, а в настоящую минуту полторы тысячи человек знают, что полковник Ролан, адъютант первого консула, находится на совещании с сыном Керлеаноского мельника.

— Но если они знают, что я полковник в службе республики и адъютант первого консула, как же они пропустили меня?

— Так им приказано.

— Стало быть, вы знали, что я еду?

— Знал не только, что вы едете, но и зачем.

Ролан внимательно поглядел на того, с кем разговаривал.

— В таком случае мне и не нужно говорить, вы отвечали бы мне, если б я не сказал ничего?

— Да, почти так.

— О, право, любопытно видеть такое превосходство вашей полиции над нашею!

— Я удовлетворю любопытство ваше, полковник.

— А я слушаю, и это тем приятнее, что я хочу воспользоваться вашим чудесным огоньком, который тоже, кажется, ожидал меня.

— Вы и не думаете, что говорите правду, полковник, а точно, и огонь ожидал вас и для вас разложен.

— Да, но и он не больше вас говорит о том, зачем я приехал.

— Вы приехали и делаете честь мне вашим посещением, которое первоначально было назначено только аббату Бернье. К несчастью, аббат Бернье, в письме, доставленном им другу его Мартену Дюбуа, немножко поторопился назвать свои силы и предложил первому консулу свое посредничество.

— Извините, — прервал его Ролан, — но вот этого обстоятельства я не знал, то есть что аббат Бернье писал к первому консулу.

— Я сказал, что он писал к своему другу Мартену Дюбуа, а это большая разница. Мои люди перехватили письмо и принесли его ко мне, я велел снять с него копию и отправил подлинник, который, конечно, дошел по своему назначению. Это доказывает ваш приезд к генералу Гедувиллю.

— Вы знаете, что уже не генерал Гедувилье командует в Нанте, а генерал Брюн.

— Вы можете сказать даже, кто командует в Ла-Рош-Бернаре, потому что тысяча республиканских солдат вступила в этот город сегодня вечером, в шесть часов, с ними гильотина и гражданин главный комиссар Тома Милльер. При орудии казни палач необходим.

— Так вы говорите, генерал, что я приехал к аббату Бернье?

— Да. Аббат Бернье предложил свое посредничество, но он забыл, что теперь две Вандеи: одна на левом берегу, другая на правом, и что если можно вести переговоры с д'Отишаном, Шатильоном и Сюзанне в Пуансе, то остается еще вступить в переговоры с Фротте, Бурмоном и Кадудалем, а где — этого не может сказать никто.

— Кроме вас, генерал.

— Тогда, с вашим рыцарским характером, вы взялись привезти мне трактат, подписанный 25-го числа. Аббат Бернье, д'Отишан, Шатильон и Сюзанне дали вам открытый лист для проезда, и вот вы здесь.

— Право, генерал, я должен сказать, что сведения ваши совершенно верны. Первый консул желает мира от всего сердца; он знает, что имеет в вас противника храброго и прямодушного, но он не может видаться с вами, полагая, что вы, вероятно, не приедете в Париж, и потому отправил меня к вам.

— То есть к аббату Бернье?

— Не все ли равно вам, генерал, если я могу ручаться,

что первый консул утвердит то, в чем мы согласимся с вами? На каких условиях заключите вы мир?

— О, условия очень простые: пусть первый консул возвратит трон Людовику XVIII, сделается его коннетаблем, наместником, главнокомандующим морскими и сухопутными силами, и я делаюсь у него первым солдатом.

— Первый консул уже отвечал на это требование.

— И вот почему я решился сам отвечать на этот ответ.

— Когда?

— В нынешнюю ночь, если представится случай.

— Но как отвечать?

— Возобновлением военных действий.

— Вы знаете, что Шатильон, д'Отишан и Сюзанне сложили оружие?

— Они предводители вандейцев и от имени вандейцев могут делать что им угодно, а я предводитель шуанов и от имени шуанов сделаю то, что мне надобно.

— Но вы осуждаете эту несчастную страну на опустошение войной.

— На мученичество, к которому призываю христиан и роялистов.

— Генерал Брюн в Нанте с восемью тысячами пленных, которых возвратили нам англичане после своих поражений при Алькмааре и Кастрикуме.

— Это в последний раз. Синие привили нам дурную привычку не брать никого в плен. Что же касается до числа наших неприятелей, то мы не заботимся о нем, это дело мелочное.

— Если генерал Брюн и восемь его тысяч освобожденных из плена вместе с двадцатью тысячами солдат, которых принимает он от генерала Гедувилля, будут недостаточны, первый консул решился идти против вас сам с ста тысячами человек.

— Мы, — сказал, усмехнувшись, Кадудаль, — постараемся доказать ему, что достойны сражаться с ним.

— Он выжжет ваши города!

— Мы удалимся в наши хижины.

— Он сожжет ваши хижины!

— Мы будем жить в наших лесах.

— Надо поразмыслить, генерал!

— Сделайте мне честь остаться у меня двое суток, полковник, и вы увидите, что мои размышления кончены.

— Желал бы принять ваше предложение.

— Только, полковник, не требуйте от меня больше, нежели я могу дать: сон под соломенной кровлею или в плаще под ветвями дуба, одну из моих лошадей для езды вместе, охранный лист для вашего возвращения.

— Принимаю.

— Ваше слово, полковник, что вы не станете противиться

ни в чем приказаниям, которые я буду отдавать, и не помешаете внезапным нападениям, которые я попытаюсь сделать.

— Мне так любопытно видеть все это, что уже из любопытства не стал бы вам мешать! Даю вам мое слово.

— Что бы ни происходило перед вашими глазами?

— Что бы ни происходило! Отказываюсь от роли актера и хочу быть зрителем, чтобы после сказать первому консулу: «Я видел!»

— Вы и увидите! — промолвил Кадудаль, улыбнувшись.

В это мгновение дверь растворилась и два мужика внесли в хижину накрытый стол, над которым расстился пар от капустного супа и куска свиного сала. Огромная кружка сидра, только что нацеженного из бочки, была покрыта выше краев пеною, подле нее стояли два стакана. Несколько рисовых лепешек были назначены для десерта при этом скромном угощении.

На столе было два прибора.

— Видите, г. де Монревель, — сказал Жорж, — мои ребята надеются, что вы сделаете мне честь поужинать со мною.

— И, право, они большие умницы! Я попросил бы у вас ужина, если бы вы не предложили его сами, и постарался бы взять силою, если бы вы отказали мне в нем.

— Так сядем же за стол.

Молодой полковник весело сел к столу.

— Извините, что предлагаю вам такой ужин, — сказал Кадудаль, — у меня нет, как у ваших генералов, наградных денег за походы, меня кормят мои солдаты. Чем еще попотчешь нас, Бриз-Бле?

— Еще есть, генерал, фрикасе из цыплят.

— Вот весь список блюд вашего ужина, г. де Монревель.

— Это пир! Боюсь только одного, генерал.

— Чего же?

— Все будет хорошо, пока мы едим, но когда придется пить?

— Вы не любите сидра? Ах, это меня страшно затрудняет. Сидр и вода: вот все, что есть в моем погребе.

— Дело не в том, за чье здоровье мы будем пить?

— Так только об этом заботитесь вы? — спросил Кадудаль с высоким достоинством. — Мы будем пить за наше отечество, за нашу Францию. Каждый из нас служит Франции, одушевляясь различно, однако, надеюсь, одинаково искренне. За Францию, милостивый государь! — воскликнул Кадудаль и наполнил оба стакана.

— За Францию, генерал! — отвечал Ролан, чокаясь стаканами с Жоржем.

Оба они снова сели весело и с спокойной совестью принялись за суп, который приправляла их здоровая молодость: старшему из них еще не было тридцати лет.

ВОЗМЕЗДИЕ

— Теперь, генерал, — сказал Ролан, когда ужин был окончен и оба молодые человека, облокотившись руками на стол, вытянув ноги перед огнем, начинали испытывать то наслаждение, которое всегда чувствуют здоровые люди, сытно поевши, — теперь вы обещали мне показать то, что мог бы я передать первому консулу.

— А вы обещали мне не противиться ничему?

— Да, но с условием, что если совесть моя будет слишком возмущена, то я могу удалиться.

— Стоит только надеть седло на вашего коня, коли он не очень устал, или на моего, если ваш будет слишком утомлен, и вы свободны.

— Очень хорошо.

— А, право, полковник, — сказал Кадудаль, — обстоятельства благоприятны вам. Я здесь не только генерал, но и верховный судья, а мне давно надо совершить правосудие. Вы сказали мне, что генерал Брюн был в Нанте: я знал это; вы сказали мне, что авангард его был в четырех лье отсюда, в Ла-Рош-Бернаре: я знал и это; но, может быть, вы не знаете, что этим авангардом командует не солдат, как вы и я, а гражданин Тома Милльер, комиссар исполнительной власти. Другое, чего, может быть, вы не знаете, это то, что гражданин Тома Милльер сражается не так, как мы с вами, пушками, ружьями, штыками, пистолетами и саблями, а инструментом, который изобрел один из ваших республиканских филантропов и который называется гильотиной.

— Быть не может, милостивый государь, — вскричал Ролан, — чтобы при первом консуле так вели войну!

— А, полковник, условимся в словах. Я не говорю, что так ведет ее первый консул, а говорю, что так ее ведут от его имени.

— Какой же мерзавец так во зло употребляет власть, вверенную ему, и ведет войну, составив себе штаб из палачей?

— Я сказал вам: он называется гражданин Тома Милльер. Осведомитесь, полковник, и во всей Вандее, во всей Бретани, все в один голос скажут вам, что это за человек. Со дня первого вандейского и бретонского восстания, то есть уже лет шесть, всегда и везде был он самым деятельным агентом Террора. Для него Террор не кончился с Робеспьером. Донося высшим властям или заставляя доносить себе на бретонских и вандейских солдат, на их родственников, друзей, братьев, сестер, жен, дочерей, даже на раненых и умирающих, он приказывал всех расстреливать, всех гильотинировать без суда. В Домре, например, он оставил след крови, который еще не изгладился и никогда не изгладится, более восьмидесяти жителей были умерщвлены на его глазах, дети убиты в руках их матерей, которые до сих пор тщетно

подымают окровавленные руки к небесам, испрашивая у них мщения. Усмирена Вандея, усмирена Бертань, но это не утолило жажды убийства, пожирающей его. В 1800 году он таков же, как был в 1793-м. Вот этого человека...

Ролан пристально смотрел на Жоржа.

— Этого человека, — продолжал начальник шуанов с величайшим спокойствием, — приговорил я к смерти... Общество оставляет его безнаказанным — я совершу правосудие. Он умрет.

— Вы говорите о его смерти, когда он в Ла-Рош-Бернаре, посреди республиканцев?

— Час его пробил: он скоро умрет.

Кадуаль произнес эти слова с такою торжественностью, что в уме Ролана не осталось сомнения не только о приговоре, но и об исполнении его. С минуту оставался он в задумчивости, потом спросил:

— Вы почитаете себя вправе судить и осудить этого человека?

— Да, потому что он судил и осуждал не виновных, а невинных.

— Если бы я сказал вам: по возвращении в Париж я буду просить, чтобы отдали под суд и судили этого человека, неужели вы не поверили бы моему слову?

— Поверил бы, но сказал бы вам: бешеный зверь вырывается из своей клетки, убийца уходит из своей тюрьмы, люди всегда люди и способны заблуждаться. Иногда они обвиняют невинных, могут оправдать и виновного. Мое правосудие вернее вашего, полковник, потому что оно правосудие Божеское. Этот человек умрет.

— А по какому праву называете вы Божеским ваше собственное правосудие? Вы человек, так же как и другие, подверженный ошибкам.

— В моем суде наполовину участвует Бог. О, суд произведен давно!

— Каким образом?

— Во время грозы, когда гром гремел непрерывно, молния сверкала каждую минуту, я поднял руки к небу и воскликнул: «Всемогущий! Эта молния — твой взор, этот гром — твой голос! Если этот человек должен умереть — утишь на десять минут твой гром и твои молнии!» И, глядя на часы, я сосчитал одиннадцать минут без молний и без раскатов грома. В страшную бурю я увидел, что человек, в лодке, на море, был в опасности погибнуть. Волна подняла его вверх, как перо от дуновения ребенка, и бросила с лодкою на скалу. Лодка разлетелась в куски, человек уцепился за скалу; все вскрикнули: «Он погиб!» Его отец и два брата были тут и не смели пуститься на помощь к нему. Я поднял руки к Богу и сказал: «Создатель мой! Если Милльер осужден Тобой так же, как мной, я спасу этого человека и с Твоею

помощью спасу себя». Я сбросил с себя платье, привязал к руке веревку и поплыл к скале. Море будто сгладилося под моею грудью, и я доплыл до человека. Отец его и братья держали конец веревки, другой конец которой был привязан к моей руке. Он переплыл к берегу, держась за веревку, и я мог бы возвратиться так же, при помощи веревки, привязав ее к себе. Я отбросил ее далеко от себя, вверился Богу и поплыл; волны принесли меня к берегу тихо и так же верно, как воды Нила принесли колыбель Моисея к дочери Фараона. Неприятельский часовой стоял перед деревнею Сен Нольд; я находился в засаде, в рощице у Граншана, с пятьюдесятью людьми. Я вышел из рощи один, поручив свою душу Богу и говоря: «Господи! Если ты решил, чтобы Милльер не жил, этот часовой выстрелит в меня и не попадет и я возвращаюсь к своим, не делая ему зла, потому что на минуту будешь Ты при нем». Я пошел к республиканцу; в двадцати шагах он выстрелил в меня и не попал. Вот, на моей шляпе дыра от пули, пробившей ее на дюйм выше головы. Рука самого Бога приподняла ружье. Это случилось вчера. Я думал, что Милльер в Нанте. Сегодня вечером известили меня, что Милльер и его гильотина были в Ла-Рош-Бернаре. Тогда я сказал: «Бог привел его ко мне: он умрет».

Ролан слушал с некоторым уважением суеверное повествование бретонского начальника. Ему понятны были и это верование и эта позиция в человеке, привыкшем жить подле дикого моря и дикарей земляков. Он понял, что Милльер действительно осужден и что один Бог, по-видимому, три раза подтвердивший приговор ему, один Бог может его спасти. Оставалось предложить последний вопрос, и Ролан спросил:

— Как вы умертвите его?

— О, — сказал Жорж, — об этом я не забочусь; он будет умерщвлен.

Один из принесших ужин вошел в эту минуту.

— Бриз-Бле, — сказал ему Кадудаль, — предупреди Кер-де-Руа, что мне надо сказать ему два слова.

Через минуту явился названный бретонец.

— Не ты ли, Кер-де-Руа, — спросил у него Кадудаль, — сказал мне, что убийца Тома Милльер был в Ла-Рош-Бернаре?

— Я видел, как он въезжал туда бок о бок с республиканским полковником, которому, кажется, было нелестно такое соседство.

— Не ты ли прибавил, что за ним везли гильотину?

— Я сказал, что гильотину его везли между двумя пушками, и, если бы пушки могли отдделиться от нее, ее, конечно, везли бы одну.

— Какие предосторожности принимает Милльер в тех городах, где он живет?

— Вокруг него бывает особенная стража; он велит укреплять

баррикадами улицы, ведущие к его дому; у него под рукой всегда пара пистолетов.

— Несмотря на то, что его охраняют и стража, и баррикады, и пистолеты, возьмешься ли ты добратся до него?

— Готов, генерал.

— За преступления этого человека я осудил его на смерть!

— А! — воскликнул Кер-де-Руа. — Настал, наконец, час правосудия!

— Берешь ли ты на себя исполнить мой приговор?

— Беру, генерал.

— Ступай же, возьми с собой столько человек, сколько тебе надобно, доберись до злодея и порази его.

— А если меня убьют, генерал?

— Будь спокоен: наш священник отслужит столько молебствий за твою бедную душу, что она не долго останется в чистилище, но тебя не убьют!

— Ладно, ладно, генерал. Уж коли станут служить за мою душу молебствия, так и довольно, у меня свой план.

— Когда ж ты отправляешься?

— В эту ночь.

— Когда он умрет?

— Завтра.

— Ступай. Чтобы триста человек были готовы следовать за мною через полчаса.

Кер-де-Руа вышел так же просто, как вошел.

— Вы видите, — сказал Жорж, — какие люди находятся под моим начальством. Так ли хорошо служат вашему первому консулу, г. де Монревель?

— Некоторые да.

— Ну, а у меня таковы не некоторые, а все.

Бенедисите вошел и спрашивал что-то взглядом.

— Да, — отвечал Кадудаль голосом и движением головы. Бенедисите вышел.

— Вы не видали ни одного человека, когда ехали сюда? — спросил Кадудаль.

— Ни одного.

— Я потребовал триста человек через полчаса, и они будут здесь через полчаса; если бы я потребовал пятьсот, тысячу, две тысячи, они были бы готовы так же скоро.

— Но, — сказал Ролан, — число их, по крайней мере, ограничено у вас до известной степени.

— Очень естественно, что вы хотите знать действительное число моих войск. Но если я скажу вам его сам, вы не поверите мне. Погодите, я заставлю других сказать.

Он отворил дверь и крикнул:

— Бранш-Дор!

Через две секунды явился кликнутый.

— Это мой начальник штаба, — сказал Кадудаль, улыбаясь, — он занимает при мне ту же должность, какую генерал Бертье занимает при первом консуле. Бранш-Дор!

— Что прикажете, генерал?

— Сколько человек расставлено от Ла-Рош-Бернара досюда, то есть около дороги, по которой этот господин приехал ко мне?

— Шестьсот в Арзальских ландах, шестьсот в Марзанских кустарниках, триста в Поле, триста в Биллие.

— Всего тысяча восемьсот. Сколько между Нойялем и Мюзильяком?

— Четыреста.

— Итого две тысячи двести. Сколько отсюда и до Ванна? — Пятьдесят в Тэ, триста пятьдесят в Трините, шестьсот между Трините и Мюзильяком.

— Три тысячи двести. А между Амбоном и Легерно?

— Тысяча двести.

— Четыре тысячи четыреста. А здесь, вокруг меня, в домах, в садах, в подвалах?

— До шестисот человек, генерал.

— Спасибо! — Кадудаль сделал знак головой. Начальник штаба его вышел.

— Вот, вы видите, — сказал простодушно Кадудаль, — около пяти тысяч. С этими пятью тысячами человек, которые все местные, знают каждое дерево, каждый камень, каждый куст, я могу вести войну против ста тысяч человек, которых первый консул угрожает выслать против меня. Что же? Это кажется вам преувеличением? — спросил Кадудаль, заметив улыбку Ролана.

— Я думаю, генерал, что вы немножко хвастаете, или, лучше сказать, хвастаетесь своими людьми.

— Нет, потому что мне помогают все жители. Ни один из ваших генералов не может сделать движения, о котором бы я не знал; он не найдет убежища, где бы я не мог добраться до него, здесь сама земля роялистская и христианская: она заговорит, если не будет на ней жителей, которые могли бы сказать мне: «Синие прошли здесь, душегубцы скрываются там». Впрочем, скоро вы сами будете судить об этом.

— Каким образом?

— Мы отправляемся за шесть лье отсюда. Который час теперь?

Оба вынули свои часы.

— Без четверти двенадцать, — сказали они вместе.

— Прекрасно, — промолвил Жорж. — Наши часы идут минуту в минуту: добрый знак! Может быть, когда-нибудь наши сердца будут так же согласны, как часы.

— Вы сказали, генерал?..

— Я сказал, полковник, что теперь без четверти полночь,

а в шесть часов, до рассвета, мы должны быть за шесть лье отсюда. Не нужно ли вам отдохнуть?

— Мне?

— Да, вы можете спать целый час.

— Благодарю.

— Не то отправляемся, если угодно.

— А ваши люди?

— О, мои люди готовы!

— Где же они?

— Везде.

— Я желал бы их видеть.

— И увидите.

— Когда?

— Когда вам вздумается. О, мои люди очень скромны, они показываются только тогда, когда я приказываю.

— Так что если бы я пожелал видеть их?..

— Только скажите мне: я сделаю знак, и они явятся.

— Отправляемся, генерал!

— Отправляемся.

Оба молодых человека завернулись в свои плащи и вышли.

В дверях Ролан столкнулся с группой, состоявшею из пяти человек. Эти пять человек были в республиканских мундирах; у одного из них на рукавах были сержантские галуны.

— Это что такое? — спросил Ролан.

— Ничего, — отвечал Кадуаль, смеясь.

— Однако что это за люди?

— Кер-де-Руа и его товарищи: отправляются по известному нам делу.

— Итак, они рассчитывают при помощи этих мундиров...

— Вы сейчас узнаете все, полковник, для вас у меня нет секретов. Кер-де-Руа! — сказал Кадуаль, обратившись к группе людей.

Человек, у которого рукава были украшены двумя галунами, отделился от группы и подошел к Кадуально.

— Вы звали меня, генерал? — спросил мнимый сержант.

— Да, я желаю знать твой план.

— О, генерал, план очень простой.

— Увидим, расскажи мне.

— Я заткну за шомпол моего ружья эту бумагу (он показал огромный пакет, запечатанный красною печатью и, вероятно, заключающий в себе какой-нибудь приказ республиканцев, перехваченный шуанами); явлюсь к часовому с словами: «Приказ дивизионного генерала!» На первом посту спрошу, где живет гражданин комиссар, и, когда мне скажут это, поблагодарю: надобно всегда быть вежливым; приду к его квартире, нахожу там другого часового и повторяю ему ту же сказку, которую сказал первому, потом взойду или сойду к гражданину Милльеру, смотря по тому,

где он живет, на чердаке или в подвале. К нему вхожу без затруднения, понимаете: приказ дивизионного генерала! В кабинете ли или где бы то ни было я подаю ему бумагу, и, пока он распечатывает пакет, я убью его вот этим кинжалом, который у меня в рукаве.

— Да, но ты и твои люди?

— А помощь Господа Бога? Ведь мы защищаем его дело, так он и позаботится о нас!

— Ну, вот, видите ли, полковник, — сказал Кадудаль. — Это не так-то трудно. На коней, полковник! А тебе, Кер-де-Руа, желаю успеха!

— На которого же из двух коней должен я сесть? — спросил Ролан.

— Все равно, полковник. Оба равно хороши, и на каждом в чушках пара превосходных пистолетов английского изделия.

— А пистолеты заряжены?

— Как нельзя лучше, полковник; этого я не доверяю никому кроме себя.

— Так на коней!

Оба молодых человека сели на коней и поехали по дороге в Ванн. Кадудаль служил проводником Ролану, а Бранш-Дор, начальник штаба армии, как назвал его Жорж, был шагах в двадцати позади.

При выезде из деревни Ролан устремил внимательный взгляд на дорогу, которая шла почти по прямой линии от Мюзильяка к Трините. Она казалась совершенно пустынною. Проехали уже половину лье, а нигде не заметно было живой души. Тогда Ролан спросил:

— Но где же ваши люди, генерал?

— Направо от нас, налево, впереди, позади нас.

— Шутка недурна! — промолвил Ролан.

— Я не шучу, неужели вы считаете меня настолько неосторожным, что думаете, что у меня нет разъездов и передовых?

— Вы говорили, мне кажется, что, когда я пожелаю увидеть ваших людей, мне надо только сказать вам это?

— Да, точно так.

— Ну, я желаю видеть их!

— Всех или только часть?

— Сколько их с вами, сказали вы?

— Триста.

— Я желаю видеть из них полтораста.

— Стой! — сказал Кадудаль, и, приложив обе руки ко рту, он произнес звуки, сначала похожие на крик совы, потом на вой филина: первые были произнесены направо, вторые налево. Почти в то же мгновение по обеим сторонам дороги начали двигаться человеческие фигуры, которые, перепрыгивая через ров,

отделявший дорогу от перелесков и кустарников, становились рядами по обеим сторонам ехавших.

— Кто командует на правой стороне? — спросил Кадудаль.

— Я, Мусташ! — отвечал, приближаясь, крестьянин.

— Кто командует на левой стороне?

— Я, Шант-Ан-Ивер, — отвечал другой крестьянин, приближаясь.

— Сколько человек с тобой, Мусташ?

— Сто.

— А с тобой? — сказал начальник другому.

— Пятьдесят.

— Так всего полтораста?

— Точно так, — отвечали шуаны.

— Столько ли желали вы, полковник? — спросил Кадудаль.

— Волшебник вы, генерал! — сказал Ролан.

— Нет, я бедный мужик, такой же, как они; только я начальствую войском, где каждый дает себе отчет в том, что делает, где каждое сердце бьется для двух великих основ человеческого общества: религии и королевской власти.

Обратившись к своим, Кадудаль спросил:

— Кто командует авангардом?

— Фан-Лер, — отвечали оба шуана.

— А арьергардом?

— Ла-Жиберн, — отвечали они так же быстро и согласно.

— Так мы можем спокойно продолжать наш путь?

— Так спокойно, генерал, как будто вы едете к обеду в церковь вашей деревни.

— Ну, отправимся дальше, полковник! — сказал Кадудаль. — Ребята! Забавляйтесь!

В то же мгновение шуаны стали прыгать обратно за ров и скрылись. Еще несколько секунд слышны были шорох ветвей и звуки шагов в кустарниках, потом стало совершенно тихо.

— Теперь, — спросил Кадудаль, — думаете ли вы, что с такими людьми я могу сколько-нибудь опасаться ваших синих, как бы ни были они храбры!

Ролан вздохнул. Он совершенно разделял мнение Кадудалья.

Они продолжали путь и были не далее одного лье от Трините, когда на дороге стала заметна черная точка; она постепенно и быстро увеличивалась; сделавшись совершенно отчетливой, она остановилась и как будто ожидала чего-то.

— Это что такое? — спросил Ролан.

— Вы очень хорошо видите, — отвечал Кадудаль, — это человек.

— Конечно, да что это за человек?

— Вы могли бы угадать по быстроте его езды, что он везет известие.

— Зачем же он остановился?

- Увидел нас и не знает, ехать ли вперед или ехать назад.
- Что же он делает?
- Чтобы решить это, ожидает.
- Чего?
- Сигнала.
- А по сигналу будет отвечать?

— Больше нежели отвечать: будет повиноваться. Угодно вам, чтобы он ехал вперед? Угодно, чтобы ехал назад? Угодно, чтобы бросился в сторону?

— Я желаю, чтобы он подъехал к нам: это даст средство узнать, какое известие везет он.

Спутник Ролана прокукувал кукушкой, но с таким совершенством, что молодой полковник стал оглядываться.

- Не ищите: это я, — сказал Жорж.
- Так вестник поедет сюда?
- Не поедет, а уж едет.

В самом деле, всадник уже скакал и быстро приближался. Через несколько секунд он был перед своим генералом.

— А, это ты, Монт-Аль-Ассо! — сказал Жорж и наклонился к подъехавшему, который прошептал ему несколько слов на ухо. — Меня уже предупредил об этом Бенедисите! — промолвил Кадудаль и, обратившись к Ролану, сказал:

— Через четверть часа в деревне Трините будет важный случай, который вы должны видеть. Галопом!

Он подал пример и поскакал галопом. Ролан за ним. При въезде в деревню можно было различить вдали множество народа, который двигался на площади при свете факелов. Крики и движение толпы показывали, что случилось в самом деле что-нибудь важное.

— Поспешим! — сказал Кадудаль, и Ролан, следуя его примеру, дал шпоры своей лошади. Топот скачущих всадников заставил расступиться толпу, состоящую из шестисот вооруженных крестьян. Кадудаль и Ролан въехали в круг света, где народ волновался и кричал. Особенно теснились в начале улицы, ведущей в деревню Тридон. По этой улице ехал дилижанс, провожаемый двенадцатью шуанами: двое шли по обеим сторонам почтальона, остальные десять подле дверец. Посередине площади экипаж остановился. Все были так заняты дилижансом, что едва обратили внимание на Кадудаль.

— Эй! — крикнул Кадудаль. — Что у вас тут происходит?

При этом знакомом голосе все обернулись и сняли шапки. «Большая Круглая Голова», — шептало множество голосов.

— Да! — сказал начальник. К нему приблизился один человек, спрашивая:

— Разве вас не предупредили Бенедисите и Монт-Аль-Ассо?

— Конечно, но, стало быть, вы захватили дилижанс из Плермеля в Ванн?

— Да, генерал; его остановили между Трефлеоном и Сен-Польфом.

— А он в нем?

— Так полагают.

— Действуйте же по совести; если будет грех перед Богом, вы и отвечайте ему; я принимаю на себя ответ только перед людьми; буду свидетелем, что у вас произойдет, но не приму в том участия ни за, ни против.

— Ну? Ну? — спрашивало множество голосов. — Что он сказал, Сабр-Ту?

— Сказал, что мы можем поступать по совести, а он умывает руки.

— Да здравствует Большая Круглая Голова! — воскликнули все стоявшие вблизи и кинулись к дилижансу.

Кадудаль остался неподвижен посреди этого волнения людей; Ролан тоже не двигался и ждал с величайшим любопытством, что будет. Он совершенно не знал, о ком и о чем шла речь.

Тот, с кем говорил Кадудаль и кого товарищи означили именем Сабр-Ту (Руби все!), отворил дверцы дилижанса. Там видны были путешественники, от страха забившиеся в углы кареты.

— Если вам не в чем упрекать себя против веры и короля, — сказал громким и звучным голосом Сабр-Ту, — выходите без боязни. Мы не разбойники, а христиане и роялисты.

Видно, это уверение ободрило путешественников: из них один явился в дверцах и вышел, за ним сошли две женщины, потом мать, прижимавшая к груди своего ребенка, потом девочка и еще один человек.

Шуаны встречали их при выходе, рассматривали тщательно и, не признавая того, кого искали, говорили: «Проходите!»

Внутри дилижанса оставался еще кто-то. Один шуан всунул туда зажженный факел. Оказалось, что там был какой-то духовный.

— Служитель алтарей! — сказал Сабр-Ту. — Почему же ты не выходишь вместе с другими? Разве не слыхал, что сказал я? Мы роялисты и христиане.

Духовный не двигался с места, только зубы его стучали.

— Отчего этот страх? — продолжал Сабр-Ту. — Разве твоя одежда не говорит за тебя? Человек, одетый как духовная особа, не мог сделать ничего против религии и короля.

Духовный, бывший в дилижансе, сжался и пробормотал:

— Пощадите! Пощадите!

— Для чего пощадить? — спросил Сабр-Ту. — Стало быть, ты чувствуешь себя виновным?

— Кто это? — спросил Ролан.

— Этот человек, — отвечал Кадудаль, — атеист и убийца короля; он отрекся от Бога и подал голос казнить короля; это бывший член Конвента — Одрен.

Ролан содрогнулся и спросил: «Что же они с ним сделают?»

— Он убивал других, и его убьют, — отвечал Кадудаль.

Между тем шуаны вытащили Одрена из дилижанса.

— Так это ты, епископ ваннский? — сказал Сабр-Ту.

— Пощадите! — кричал епископ.

— Мы знали, что ты будешь проезжать, и ожидали тебя.

— Пощадите! — повторил Одрен в третий раз.

— С тобой ли твоя епископская одежда?

— Да, друзья мои, со мной.

— Ну, оденься же прелатом: мы уж давно не видали этого.

С дилижанса сняли чемодан, означенный именем прелата, вынули оттуда полное епископское облачение и заставили Одрена одеться в него. Тогда крестьяне составили обширный круг, каждый был с ружьем в руке. Пламя факелов отражалось на дулах их ружей, как зловещая молния.

Два человека ввели епископа в круг, поддерживая его под руки. Он был бледен, как смерть. На минуту водворилось ужасное молчание. Его прервал голос Сабр-Ту.

— Мы будем судить тебя, — сказал шуан. — Служитель алтарей, ты изменил церкви; сын Франции, ты осудил на смерть твоего короля.

— Ах! Ах! — бормотал Одрен.

— Правда ли это?

— Не отрицаю...

— Потому что этого нельзя отрицать. Что скажешь ты в свое оправдание?

— Гражданин...

— Мы не граждане, — сказал громовым голосом Сабр-Ту, — мы роялисты.

— Господа!..

— Мы не господа, а шуаны.

— Друзья мои...

— Мы не друзья твои, а судьи; судьи спрашивают — отвечай.

— Я раскаиваюсь в том, что сделал, и прошу прощения у Бога и людей.

— Люди не могут простить тебя, — отвечал тот же неумолимый голос. — Сегодня простят тебя, а завтра ты начнешь прежнее. Ты можешь переменить свою одежду, но никогда не переменишь сердце. От людей ты можешь ожидать только смерти, а у Бога — проси милосердия.

Убийца склонил голову, ренегат преклонил колена, но, вдруг выпрямившись, произнес:

— Я подал голос казнить короля, правда, но с условием...

— С каким условием?

— Чтобы помедлили с исполнением приговора.

— Раньше или позже, но все-таки ты приговорил казнить короля, а он был невиновен.

— Правда, правда, но я боялся.

— Так ты не только убийца, не только отступник, но и трус! Мы не духовные особы, но будем справедливее тебя. Ты осудил на смерть невинного, а мы осуждаем на смерть виновного. Готовься предстать пред Богом. Даем тебе на это десять минут.

Епископ вскрикнул и упал на колени. На колокольне раздался звон колоколов, как будто они зазвучали сами, и два человека, привычные к церковному пению, возгласили молитвы за умирающих. Несколько времени епископ не находил слов, которые должен был он произносить, и только с ужасом обращал на своих судей умоляющие взгляды; но он не имел утешения встретить ни на одном лице кроткого выражения жалости. Напротив, колеблющийся от ветра огонь факелов придавал всем этим лицам выражение дикое, ужасное. Тогда он решил присоединить свой голос к голосам, молившим за него. Судьи дали провозгласить до последнего слова грустную молитву. Между тем несколько человек приготовляли костер.

— О! — вскричал епископ, с возрастающим ужасом видевший эти приготовления. — Неужели вы готовите мне такую ужасную смерть?

— Нет, — отвечал неумолимый обвинитель, — огнем сжигали мучеников: ты не достоин такой смерти. Ну, отступник, час твой пробил!

— О, Боже мой, Боже мой! — восклицал Одрен, поднимая руки к небу.

— Вставай! — сказал шуан.

Епископ пытался подняться, но не мог: от бессилия он снова упал на колени.

— Неужели вы допустите совершить это убийство перед вашими глазами? — сказал Ролан Кадудалю.

— Я сказал, что умываю свои руки, — отвечал предводитель шуанов.

— Это слова Пилата, а руки Пилата остаются обгагранными кровью Иисуса Христа.

— Потому что Иисус Христос был праведен: а этот человек... Варрава!

— Целуй крест! Целуй крест! — кричал Сабр-Ту.

Прелат глядел мутными глазами и не повиновался: явно было, что он уже ничего не видит и не понимает.

— А! — вскрикнул Ролан, сделав движение, которое показало, что он хочет сойти с лошади. — Так не скажут же, что при мне убили человека и я не подал ему помощи.

Ропот и угрозы послышались вокруг Ролана: слова его были услышаны. Но именно это и могло подстрекнуть неукротимого молодого человека.

— Так-то? — сказал он и занес правую руку на один из пистолетов. Но Кадудаль с быстротою мысли схватил его руку,

и, покуда он старался освободить ее, Кадудаль scomандовал:
— Стреляй!

Двадцать ружейных выстрелов грянули разом, и расстрелянный епископ повалился, как глыба.

— Ах! — вскричал Ролан. — Что это вы сделали?

— Заставил вас сдержатъ слово, — отвечал Кадудаль. — Вы обещали смотреть, слышать все и не противиться ничему!

— Так погибнет всякий враг Бога и короля! — воскликнул Сабр-Ту торжественным голосом.

— Аминь! — отвечали все присутствовавшие в один голос.

Затем они сняли с трупа духовные одежды и украшения и кинули их на пылавший костер, заставили других путешественников снова войти в дилижанс, посадили почтальона на его место и, расступившись, дали дорогу дилижансу, говоря:

— Поезжайте с Богом!

— Отправимся и мы поскорее, — сказал Кадудаль, — нам надобно проехать еще четыре лье, а мы потеряли здесь целый час. — Обратившись к своим, он прибавил:

— Этот человек был виновен; теперь он наказан; правосудие человеческое и Божеское удовлетворено. Пусть же будут прочитаны над трупом молитвы за усопших, и пусть он будет похоронен по-христиански. Слышите?

Уверенный, что его приказание будет исполнено, Кадудаль пустил своего коня галопом. Ролан, казалось, колебался одно мгновение, ехать ли ему? Но, как будто решившись исполнить обязанность, он сказал: «Докончим!» — и поскакал вслед за Кадудалем, которого вскоре догнал. Они оба исчезли в темноте, господствовавшей тем больше, чем дальше удалялись они от площади, где огонь факелов освещал мертвого прелата и пламя костра пожирало его одежду.

Глава XXXIV

ДИПЛОМАТИЯ ЖОРЖА КАДУДАЛЯ

Чувство, с каким Ролан ехал за Жоржем Кадудалем, походило на ощущения человека полупробудившегося: он еще под обаянием сновидения и мало-помалу приближается к границе, отделяющей для него ночь от дня; он старается дать себе отчет: в области мечты или действительности находится он? И чем больше хочет рассеять этот мрак, тем больше погружается в сомнение.

Был человек, на которого Ролан привык смотреть почти как на божество, привык жить в атмосфере славы, окружавшей этого человека, видеть, как другие повинуются его велениям, и сам всегда повиновался ему с самоотвержением почти восточным. Он не мог не изумляться, встретив на двух оконечностях

Франции две власти, неприязненные могуществу этого человека и готовые бороться с ним. Вообразите одного из сподвижников Иуды Маккавея, одного из обожателей Иеговы, слышавшего с детства, что его называют Богом сильным, Богом мстителем, Богом сил, наконец, Вечным, и вдруг встретившего таинственного Озириса египтян или громовержца-Юпитера греков.

Приключения в Авиньоне и Буре с Морганом и товарищами Ииуя, в Мюзильяке и деревне Трините с Кадудалем и шуанами казались Ролану каким-то странным посвящением его в таинства неведомой религии, и он, как те смелые неофиты, которые не страшились смерти, когда желали проникнуть в неведомую тайну, решился идти до конца в своем изыскании.

Впрочем, он не без удивления встретил эти исключительные характеры, не без удивления узнавал непокорных Титанов, боровшихся с его полубогом; он чувствовал, что не к пошлым людям принадлежали те, которые пронзили кинжалом грудь сэра Джона в Сельонском монастыре и расстреляли ваннского епископа в деревне Трините.

Что увидит он еще? Он вскоре должен был узнать это. Уже пять с половиною часов они находились в пути, и рассвет был близок. За деревню Тридоном пустились через поле и, оставив Ванн слева, прибыли в Трефлеон. В Трефлеоне Кадудаль, имевший при себе своего начальника штаба Бранш-Дора, съехался с Монт-Аль-Ассо и Шант-Ан-Ивером, отдал им приказание и продолжал путь, держась влево и приближаясь к опушке небольшой рощи, которая идет от Граншана к Ларре.

Там Кадудаль устроил роздых, прокричал три раза по-совиному, — и через минуту был окружен своими тремястами человеками.

Со стороны Трефлеона и Сен-Польфа виднелся сероватый свет; это были еще не лучи солнца, но первый блеск дня. Густой пар выходил из земли и мешал видеть что-либо в пятидесяти шагах. Не пускаясь далее, Кадудаль, по-видимому, ожидал известий. Вдруг шагов за пятьсот раздалось пение петуха. Кадудаль прислушивался, люди его глядели друг на друга, улыбаясь. Пение повторилось в другой раз, но ближе.

— Это он, — сказал Кадудаль, — отвечайте!

В трех шагах от Ролана послышался вой собаки, но подражание было так совершенно, что молодой человек искал глазами животное, издающее эти жалобные звуки.

Почти в то же мгновение в тумане стал виден двигавшийся человек; он быстро приближался, и формы его обрисовывались по мере того, как он подходил.

Заметив двух человек верхом, он направился прямо к ним.

Кадудаль выдвинулся на несколько шагов вперед и в то же время дал рукою знак подходившему, чтобы он говорил тише. Тот и остановился не прежде, как подошедши вплотную к генералу.

— Ну, Флер-Депин, — сказал Кадудаль, — в руках ли у нас они?

— Как мыши в ловушке, и ни один не воротится в Ванн, если только вы захотите.

— Разумеется, таково мое намерение. Сколько их?

— Сто человек, под командой самого генерала.

— Сколько у них повозок?

— Семнадцать.

— Когда они выступают?

— Они должны быть за три четверти лье отсюда.

— По какой дороге идут они?

— Из Граншана в Ванн.

— Так что, двинувшись от Мансона к Плеско...

— Вы загородите им дорогу.

— Только это нам и надо.

Кадудаль подозвал к себе четырех своих помощников: Шант-Ан-Ивера, Монт-Аль-Ассо, Фан-Лера и Ла-Жиберна и, когда они подошли, отдал им приказания.

Каждый из них прокричал в свою очередь по-совиному и исчез с пятьюдесятью человеками.

Туман был так густ, что каждая группа, состоявшая из пятидесяти человек, отдаляясь на сто шагов, исчезала, как тень.

При Кадудале остались сто человек, Бранш-Дор и Флер-Депин. Он воротился к Ролану.

— Ну, генерал, — спросил молодой полковник, — все ли идет по вашему желанию?

— Да, почти, — отвечал шуан. — Через полчаса вы сами будете судить о том.

— Трудно будет судить о чем-нибудь при этом тумане.

— Через полчаса, — сказал Кадудаль, осмотревшись во все стороны, — тумана не будет. Не хотите ли употребить эти полчаса с пользой, съесть чего-нибудь и выпить чарку?

— Да, сознаюсь вам, что поход заставил меня проголодаться.

— А я, — сказал Жорж, — имею привычку перед боем завтракать как можно лучше.

— Стало быть, у вас будет бой?

— Я полагаю.

— С кем?

— Да с республиканцами, а так как ими командует сам генерал Гатри, то, вероятно, он не сдастся без сопротивления.

— А республиканцы знают ли, что будут сражаться с вами?

— Даже не предполагают.

— Так это нападение врасплох?

— Не совсем, потому что туман поднимется. Тогда они увидят нас так же, как и мы их.

Обратившись к тому, кто, по-видимому, заведывал у него департаментом продовольствия, Кадуваль спросил:

— Есть ли у тебя, Бриз-Бле, что-нибудь дать нам позавтракать?

Бриз-Бле сделал утвердительный знак, вошел в рощу и вывел оттуда осла, на котором были две корзины.

Тотчас разостлан был плащ на холмике и выложены из запаса жареный цыпленок, кусок холодной солонины, хлеб и пшениные лепешки.

На этот раз Бриз-Бле дошел до роскоши. Он достал где-то бутылку вина и стакан.

Кадуваль указал Ролану импровизированный таким образом завтрак.

Ролан соскочил с коня и отдал поводья одному шуану; Кадуваль сделал то же и, обращаясь к одному из своих людей, сказал:

— В полчаса, которые остаются у вас, вы также можете позавтракать. А кто не сделает этого, тот будет сражаться на голодное брюхо, так и извольте знать.

Приглашение начальника было исполнено, как приказание: скоро и точно. Каждый вынул из сумы или из кармана кусок хлеба и лепешку или оладью и стал есть, по примеру своего генерала, который уже разрезал цыпленка для себя и для Ролана. Стакан был один, и они пили из него поочередно.

Покуда они попивали друг подле друга, как друзья на отдыхе во время охоты, солнце начало всходить и, по предсказанию Кадуваля, туман постепенно редел. Вскоре можно было различать ближайшие деревья, потом очертания рощи, тянувшейся вправо от Мекона к Граншану, между тем как влево долина Плескопская, перерезанная ручьем, шла уклоном к Ванну. Уже заметно было естественное склонение земли, по мере того как она приближалась к океану.

На дороге из Граншана к Плеско вскоре разглядели ряд возов, из которых последние были еще в роще. Вozy стояли неподвижно; легко было понять, что какое-нибудь неожиданное препятствие задержало их на пути.

В самом деле, на расстоянии четверти лье от переднего воза можно было разглядеть двести человек шуанов, посланных Кадувалем; они загородили собой дорогу. Республиканцев было меньше числом. Мы сказали, что их было сто; они остановились и ждали, чтобы туман совершенно рассеялся и можно было бы поточнее узнать число неприятелей и рассмотреть, кто они были. Люди и вozy составляли треугольник; Кадуваль с своею сотнею шуанов находился на одной из сторон его.

При виде этого небольшого числа людей, окруженных тройными силами, при виде мундира, по которому республиканцев прозвали синими, Ролан встал с живостью. Кадуваль, напротив,

беспечно раскинувшись, доканчивал свой завтрак. Да и вся сотня людей, окружавших генерала, как будто нисколько не занималась тем, что было перед ее глазами; они будто ждали, чтобы Кадудаль велел им обратиться на это внимание.

Ролан с первого взгляда убедился, что гибель республиканцев была неизбежна. Жорж наблюдал на лице молодого человека различные ощущения его.

— Ну, полковник, — сказал он после некоторого молчания, — как вы находите, хороши ли мои распоряжения?

— Вы могли бы сказать даже, ваши предосторожности, генерал, — отвечал Ролан с насмешливою улыбкою.

— А разве у первого консула нет этой привычки пользоваться преимуществами, где они встречаются?

Ролан закусил губы и вместо ответа на вопрос предводителя шуанов сказал:

— Я намерен просить у вас одной милости, генерал, и надеюсь, что вы не откажете мне в ней.

— Что вам угодно?

— Дозвольте мне удалиться к товарищам и умереть с ними.

— Я ожидал этой просьбы! — промолвил Кадудаль, вставая.

— Так вы мне позволяете? — сказал Ролан, и глаза его блистали от радости.

— Да, но прежде я потребую от вас одной услуги, — сказал предводитель шуанов с невыразимым достоинством.

— Какой?

— Съездить парламентаром к генералу Гатри.

— С какой целью?

— Я могу сделать ему несколько предложений, прежде нежели начну сражение.

— В числе предложений, которые хотите вы поручить мне, генерал, надеюсь, не будет предложения положить оружие?

— Напротив, полковник, вы понимаете, что оно будет прежде других.

— Генерал Гатри не примет его.

— Вероятно.

— Что же потом?

— Потом я предоставлю ему на выбор два других, которые он может принять, кажется, не роняя своей чести.

— Какие же это?

— Я скажу вам какие, но после, начнем с первого.

— Изложите его.

— Вот оно: генерал Гатри и сто человек его окружены тройными силами; я предлагаю им сохранить жизнь, но с тем, что они положат оружие и присягнут, что в продолжение пяти лет не будут служить в Вандее.

Ролан покачал головой.

— Это было бы, однако, лучше, нежели погубить людей?

— Может быть, но генерал Гатри скорее погибнет вместе с ними.

— Во всяком случае, не думаете ли вы, — сказал Кадудаль, улыбаясь, — что прежде всего не худо спросить у него об этом?

— Справедливо, — отвечал Ролан.

— Так сделайте одолжение, полковник, сядьте на коня, дайте опознать себя вашим и передайте генералу Гатри мои предложения.

— Извольте, — сказал Ролан.

— Лошадь полковника! — крикнул Кадудаль, сделав знак шуану, который держал ее. Лошадь привели, Ролан вскочил на нее и быстро переехал пространство, отделявшее его от остановленного обоза. Там была кучка людей, по всем приметам состоявшая из генерала Гатри и его офицеров. Они были не далее как на три ружейных выстрела от шуанов, и к ним-то направился Ролан.

Приближение офицера в мундире республиканского полковника чрезвычайно изумило генерала Гатри. Он выступил шага на три к подъезжавшему всаднику. Ролан дал опознать себя, а приблизившись, пересказал, почему находится посреди белых, и потом передал предложение Кадудалья генералу Гатри. Тот наотрез отказал, как это предвидел Ролан. Молодой человек, с радостью и гордостью в сердце, возвратился к Кадудалю и еще издали, насколько мог быть услышан, прокричал:

— Отказ!

Кадудаль сделал знак головой, что нисколько не удивляется отказу, и сказал подъезжавшему Ролану:

— В таком случае отвезите ему второе мое предложение. Я не желаю в чем-нибудь упрекать себя, ответствуя перед таким судьей чести, как вы.

Ролан поклонился, говоря:

— В чем же состоит второе предложение?

— А вот в чем: генерал Гатри выйдет навстречу ко мне, в том пространстве, которое лежит между нашими войсками; у него будет такое же оружие, как у меня, то есть сабля и пара пистолетов, и мы двое решим вопрос: если я убью его, войско его останется у меня пленным на сказанных прежде условиях; если он убьет меня, люди его свободно, без всякого преследования, пройдут в Ванн. Надеюсь, что это предложение вы приняли бы, полковник?

— Я и принимаю его, за себя, — сказал Ролан.

— Да, но вы не генерал Гатри; пока удовольствуйтесь быть его парламентаром, и, если это предложение, за которое я на его месте ухватился бы, также не понравится ему, вы возвратитесь, и он получит еще третье предложение.

Ролан поехал в другой раз. Республиканцы ожидали его с видимым нетерпением. Он передал свое поручение генералу Гатри. Тот отвечал:

— Гражданин! Я должен дать отчет в моих поступках первому консулу. Вы адъютант его, и я поручаю вам по возвращении в Париж дать ему отчет в моих действиях. Что сделали бы вы на моем месте?.. Что вы сделали бы, то и я сделаю.

Ролан вздрогнул; лицо его приняло строгое выражение человека, спорящего с самим собою о вопросе чести. Через несколько секунд он сказал:

— Генерал, я не принял бы этого предложения.

— По каким причинам, гражданин?

— Потому, что дуэль зависит от случайностей; потому что вы не можете отдавать судьбы ста храбрых этим шуанам; потому что в деле такого рода, где каждый отвечает за себя, каждый должен и защищать свою кожу, как умеет.

— Это ваше мнение, полковник?

— По чести!

— Оно также и мое. Отвезите же мой ответ роялистскому генералу.

Ролан возвратился галопом к Кадудалю и передал ему ответ генерала Гатри.

— Я так и полагал, — сказал, усмехнувшись, Кадудаль.

— Вы не могли полагать, потому что этот совет дал ему я!

— Вы были, однако ж, недавно противоположного мнения.

— Да, но вы сами заметили мне, что я не генерал Гатри. Теперь посмотрим ваше третье предложение, — прибавил Ролан, видя улыбку Кадудалья и приходя в нетерпение, потому что он начинал понимать, или, лучше сказать, понял с самого начала, насколько роль генерала шуанов была выше его роли.

— Третье предложение мое, — сказал Кадудаль, — не предложение, а приказание: приказание двумстам из моих людей удалиться. У генерала Гатри сто человек, и я оставляю себе сто. Предки мои, бретонцы, имели привычку биться голова на голову, грудь против груди, человек на человека и скорее один против трех, нежели трое против одного. Если генерал Гатри победит, он пройдет через наши тела и спокойно вступит в Ванн; если мы победим, он не скажет, что мы победили числом. Поезжайте, г. де Монревель, и останьтесь с вашими друзьями. Теперь я даю им преимущество числа: вы один стоите десяти человек.

Ролан поднял свою шляпу.

— Что это вы делаете? — спросил Кадудаль.

— Я всегда приветствую то, что кажется мне великим, милостивый государь, и приветствую вас.

— Ну, полковник, — сказал Кадудаль, — выпьем последний стакан вина, каждый за то, что он любит, что жаль ему оставить на земле и что надеется он увидеть снова в небе.

Он взял бутылку и единственный свой стакан, налил его до половины и поднес Ролану.

— У нас только один стакан, г. де Монревель, пейте вы первый.

— Почему же я первый?

— Потому, прежде всего, что вы мой гость; далее потому, что есть поговорка, будто кто пьет после другого, тот знает его мысли. А я желаю узнать вашу мысль, г. де Монревель, — прибавил он, смеясь.

Ролан осушил стакан и подал его пустой Кадудалу, который, так же как и для Ролана, налил его до половины вином и выпил.

— Ну, теперь знаете ли вы мою мысль, генерал? — спросил Ролан.

— Нет, видно, поговорка врет.

— Моя мысль, — сказал он с обыкновенною своею откровенностью, — что вы, генерал, доблестный человек, и я почел бы за честь, если б в ту минуту, когда мы готовимся сражаться, вы пожали мне руку.

Молодые люди протянули и пожали друг другу руку, больше как друзья, которые расстанутся надолго, нежели как неприятели, которые готовы встретиться в бою. В том, что происходило, было величие, простое, но торжественное. Оба сняли шляпы.

— Желаю успеха, — сказал Ролан Кадудалу, — но позвольте мне сомневаться, чтобы это желание исполнилось. Впрочем, признаюсь, что я произношу его устами, но не от сердца.

— Бог да сохранит вас, — сказал Ролану Жорж, — и надеюсь, что мое желание исполнится, потому что я его высказываю от всей души.

— Какой сигнал будет означать, что вы готовы? — спросил Ролан.

— Выстрел из ружья в воздух и такой же выстрел с вашей стороны.

— Хорошо, генерал!

Он пустил свою лошадь в галоп и в третий раз проскакал пространство, разделявшее роялистского генерала от республиканского. Указывая рукою на Ролана, Кадудаль сказал:

— Вы видите этого молодого человека, друзья мои?

Глаза всех обратились к Ролану, все головы отвечали утвердительным знаком, все рты пробормотали: «Да».

— Ну, его поручили нашему покровительству наши южные братья, и потому жизнь его для вас священна. Можете взять его живого, но чтобы волос не пал с головы его.

— Ладно, генерал, — отвечали шуаны.

— Теперь, друзья мои, вспомните, что вы дети тех тридцати бретонцев, которые сражались с тридцатью англичанами между Плермелем и Жоссленом, в десяти лье отсюда, и были победителями.

Он со вздохом и вполголоса прибавил:

— К несчастью, против нас теперь не англичане.

Туман рассеялся совершенно, и, как почти всегда бывает в таком случае, немногие лучи зимнего солнца расцвели желтым

оттенком Плескопскую долину. Можно было различить все движения, какие делались в войсках с обеих сторон.

В то время как Ролан возвращался к республиканцам, Бранш-Дор поскакал к двумстам человекам, которые отрезали им дорогу. Едва только переговорил он с четырьмя предводителями шуанов, как сто человек из них отделились и сделали пол-оборота направо и сто другие произвели такое же движение влево. Оба отряда стали удаляться в противоположных направлениях: один пошел к Плермелю, другой к Сент-Аву, оставив дорогу свободной, и каждый отряд остановился в четверти лье от нее. Люди опустили ружья к ногам и стали неподвижно.

Бранш-Дор возвратился к Кадудалю и спросил у него:

— Нет ли каких особых приказаний?

— Одно: возьми с собой восемь человек и не отходи от меня; когда же увидишь, что молодой республиканец, с которым я завтракал, упадет под лошадь, бросься к нему с своими людьми прежде, нежели он высвободится, и возьми его в плен.

— Слушаю, генерал.

— Ты знаешь: я желаю, чтобы он был жив и цел.

— Знаем, генерал.

— Выбери себе восемь человек. Взяв в плен г-на де Монревель, оставьте его на слово и тогда работайте с нами сколько угодно.

— А если он не захочет дать слова?

— Окружите его так, чтобы он не мог убежать, и берегите до окончания сражения.

— Хорошо, — сказал Бранш-Дор и вздохнул. — А ведь скучненько будет стоять сложа руки, когда другие станут тешиться!

— Как знать, — возразил Кадудаль. — Вероятно, всем будет дело!

Он взглянул на долину и, видя, что его шуаны уже отошли и республиканцы выстроились, сказал:

— Ружье!

Подали ружье.

Кадудаль поднял его выше головы и выстрелил в воздух. Почти в то же мгновение выстрел в рядах республиканцев, пушечный на воздух, отвечал как эхо выстрелу Кадудалья. Послышался бой двух барабанов, призывавший к атаке, звук трубы сопровождал его. Кадудаль стал на стремяна и спросил:

— Дети! Все ли вы совершили утреннюю молитву?

— Да! Да! — отвечали почти все.

— Если кто из вас забыл или не успел исполнить этого, пусть молится теперь.

Пятеро или шестеро шуанов тотчас стали на колени и начали молиться. Звук барабанов и трубы становился слышнее.

— Генерал! Генерал! — проговорили многие шуаны в нетерпении. — Вы видите, они подходят.

Кадудаль указал на тех, которые молились.

— Правда! Правда! — проговорили нетерпеливые.

Молившиеся вставали постепенно, смотря по тому, кто как долго молился. Когда встал последний, республиканцы прошли уже почти треть расстояния. Они приближались, держа ружья наперевес, тремя отделениями, каждое в три шеренги. Ролан ехал впереди первого отделения, генерал Гатри между первым и вторым. Их обоим легко было узнать, потому что они одни были верхом на лошадях. У шуанов остался единственным всадником Кадудаль, Бранш-Дор сошел с лошади, когда принял начальство над восемью человеками, которым Кадудаль велел быть при нем.

— Генерал, — сказал кто-то, — молитва кончена, и все на ногах.

Уверившись, что это было справедливо, Кадудаль произнес громким голосом:

— Ну, ребята! Потешьтесь теперь!

Это дозволение для шуанов и вандейцев было то же, что бой барабана или звук трубы, означающий атаку. Едва услышав его, Кадудалева шуаны рассыпались по долине с криком: «Да здравствует король!» Они махали шляпою в одной руке и ружьем в другой. Не оставаясь в строю, как республиканцы, они образовали собой застрельщицкую цепь в виде обширного полумесяца, на середине которого был Кадудаль на лошади. В одну минуту республиканцы были обойдены с флангов, и ружейные выстрелы затрещали.

Почти все Кадудалева шуаны были тайные охотники (браконьеры), следовательно, превосходные стрелки, притом еще вооруженные английскими карабинами, которые брали вдвое дальше солдатских ружей. Хотя первые выстрелы их, кажется, не могли бы достать до республиканцев, однако они уже несли смерть, и человека три или четыре упали.

— Вперед! — закричал генерал. Солдаты продолжали идти, держа ружья наперевес, но вскоре перед ними никого не было. Сто человек, рассеянных в стрелки, не представляли строя. Генерал скомандовал построиться направо и налево; вслед за тем послышалось: «Пли!» И два залпа были произведены с точностью и одновременностью, как стреляют хорошо обученные войска. Но огонь их сделал мало вреда, потому что противники держались каждый отдельно. Не то было со стороны шуанов: они стреляли в плотный строй и каждый выстрел их попадал в него.

Ролан увидел и понял невыгоду положения. Осматриваясь вокруг, он заметил Кадудаль, в дыму, неподвижного и походившего на конную статую. Понимая, что начальник роялистов ждет его, он крикнул, дал шпоры лошади и поскакал прямо на него. Кадудаль с своей стороны, желая сократить ему переезд, также поскакал навстречу к Ролану, но в ста шагах от него остановился.

— Смотрите же, — сказал он Бранш-Дору и его товарищам.

— Будьте спокойны, генерал, мы тут, — отвечал Бранш-Дор.

Кадудаль вынул пистолет из чушки и зарядил его. Ролан, с обнаженной саблей в руке, неся быстро и был уже не более как в двадцати шагах, когда Кадудаль медленно поднял руку и, допустив его на десять шагов, — выстрелил. У лошади, на которой сидел Ролан, было белое пятно посреди лба: пуля ударила в самую середину его, и лошадь, смертельно раненная, рухнула, вместе с седоком, у ног Кадудалья. Кадудаль кольнул шпорами свою лошадь, и она перескочила через лошадь, упавшую с всадником. Бранш-Дор и его люди, бывшие подле, бросились, как тигры, на Ролана, который старался освободиться от своего коня, выпустил из руки саблю и хотел схватить свои пистолеты, но прежде, нежели он успел взяться за них, два человека уже держали его руки, а четверо других вытащили из-под ног его лошадь. Это было исполнено быстро и ловко; не оставалось сомнения, что наперед условились, кому что делать.

Ролан был в бешенстве от гнева и закричал подошедшему к нему Бранш-Дору:

— Я не сдаюсь!

— Да и не нужно, г. де Монревель, — отвечал Бранш-Дор, очень вежливо и сняв с себя шляпу.

— Это что значит? — спросил Ролан, истощая свои силы в борьбе, отчаянной, но бесполезной.

— Да что же сдаваться, когда уже вы взяты.

Это было до такой степени справедливо, что отвечать не находилось ничего.

— Ну, так убейте меня! — кричал Ролан.

— Не хотим убивать вас, сударь, — возразил Бранш-Дор.

— Чего же вы хотите от меня?

— А вот дайте нам слово, что вы уже не станете участвовать в сражении, так мы вас выпустим из рук, и вы свободны.

— Никогда не дам слова!

— Извините меня, г. де Монревель, — сказал Бранш-Дор, — а ведь это неблагоприятно.

— Как! — вскричал Ролан вне себя от гнева. — Неблагоприятно? Ты оскорбляешь меня, мерзавец, когда видишь, что я не могу ни защищаться, ни наказать тебя!

— Я не мерзавец и не оскорбляю вас, г. де Монревель, а только сказал, что, не дав слова, вы лишаете генерала помощи девяти человек, которые могут быть полезны ему и будут принуждены оставаться здесь стеречь вас. А Большая Круглая Голова не так поступил с вами: у него было против вас лишних двести человек — он отослал их: теперь наших остается уж только девятью один.

Румянец выступил на лице Ролана, но почти тотчас сменился бледностью.

— Ты говоришь правду, Бранш-Дор, — сказал молодой полковник. — Придут ли на помощь ко мне или нет, я сдаюсь, и ты можешь идти с своими товарищами сражаться.

Шуаны вскрикнули от радости, освободили из своих рук Ролана и бросились против республиканцев, махая шляпами и ружьями и крича: «Да здравствует король!»

Ролан, не удерживаемый больше руками неприятелей, но обезоруженный падением лошади и данным словом, пошел и сел на холмике, еще накрытом плащом, служившим вместо скатерти для завтрака.

Оттуда видел он все сражение и не пропустил ни одной подробности его.

Кадудаль был на коне, посреди огня и дыма, как демон войны, и так же, как он, свирепый и неуязвимый.

В разных местах виднелись трупы шуанов: их можно было насчитать двенадцать: но республиканцы, сражаясь строем, потеряли уже верно вдвое.

Раненые влачили на пустом пространстве, сближаясь, подымались, как раздавленные змеи, и опять сражались: республиканцы штыком, шуаны своим ножом. Те из раненых шуанов, которые находились слишком далеко от других раненых и не могли биться с ними, заряжали свои ружья, подымались на колени, стреляли и вновь падали.

С обеих сторон борьба была ожесточенная, безжалостная, непрерывная: тут чувствовалась война междоусобная, то есть война без пощады и помилования.

Кадудаль скакал на коне вокруг живого редута и в двадцати шагах стрелял то из пистолетов, то из двуствольного ружья, которое бросал и брал вновь заряженное. При каждом из его выстрелов падал человек. Когда он в третий раз возобновил этот маневр, его встретил огонь целого взвода: генерал Гатри сделал ему честь, велел выстрелить в него одного. Он исчез в дыму и пламени. Ролан видел, как он повалился вместе с конем, будто от удара молнии.

Десять или двенадцать республиканцев двинулись вперед из своих рядов; навстречу им столько же шуанов. Произошла схватка ужасная, рукопашный бой, где шуаны должны были иметь преимущество, потому что резались ножами.

Вдруг Кадудаль опять явился, уже пеший, с пистолетом в обеих руках: два человека пали от его выстрела.

В промежутки, оставшийся после падших десяти или двенадцати республиканцев, он бросился с тридцатью человеками. Схватив солдатское ружье, он стал бить прикладом в обе стороны, и от каждого удара его падал человек. Пробившись на другую сторону, он, как вепрь, который оборачивается против сбитого с ног охотника, чтобы разворотить ему внутренности, повернулся и пошел обратно, расширяя промежутки.

Тогда все было кончено. Генерал Гатри собрал вокруг себя человек двадцать и двинулся напролом против цепи неприятелей, идя сам впереди, потому что лошадь была убита под ним. Десять человек пало, прежде чем они прорвались за цепь. Когда генерал

был уже за цепью, шуаны хотели преследовать его, но Кадудаль громовым голосом прокричал им:

— Зачем дали пройти! А уж прошел, так пусть отступает свободно.

Шуаны повиновались с обыкновенным своим благоговением к словам начальника.

— Теперь, — кричал Кадудаль, — прекратить пальбу, не убивать, не брать в плен никого!

Шуаны сблизилась, окружив груды мертвых и несколько человек живых, раненых и убитых, которые находились посреди трупов.

Сдаться значило все-таки сражаться в этой войне, где обе стороны расстреливали пленных; с одной стороны расстреливали потому, что почитали шуанов и вандейцев разбойниками, и с другой потому, что не знали, куда деть пленных. Республиканцы бросили далеко от себя ружья, чтобы не отдавать их, а когда неприятели подходили, они показывали пустые сумы: заряды были расстреляны до единого. Кадудаль направился к Ролану.

Во время самой отчаянной схватки этот молодой человек оставался на холмике. Глаза его были устремлены на сражавшихся, волосы были смочены потом, грудь подымалась — он ждал. Когда же увидел отступление своих, он опустил голову на руки и не подымал ее.

Кадудаль подошел к нему, и он как будто не слышал шагов его; тот тронул его за плечо, и молодой человек тихо поднял голову, не стараясь скрыть своих слез.

— Генерал, — сказал Ролан, — располагайте мной, я ваш пленник.

— Посланника первого консула не берут в плен, — отвечал Кадудаль, смеясь, — а просят его оказать услугу.

— Приказывайте, генерал!

— У меня нет лазарета для больных, нет тюрьмы для пленных; возьмите на себя отвести в Ванн республиканских солдат, пленных и раненых.

— Как, генерал! — воскликнул Ролан.

— Я вам отдаю их или, лучше сказать, доверяю. Жаль, что ваша лошадь убита, да и моя также, но осталась лошадь Бранш-Дора, возьмите ее.

Молодой человек сделал движение.

— По крайней мере, пока достанете себе другую, — прибавил Кадудаль, кланяясь.

Ролан понял, что надо было, по крайней мере, простотою быть на высоте того, с кем имел он дело.

— Увижу ли я вас, генерал? — спросил он, вставая.

— Не думаю. Мои военные действия призывают меня в Порту, ваша обязанность призывает вас в Люксембург.

— Что должен я сказать первому консулу?

— Что вы видели, пусть он рассудит о дипломатии аббата Бернье и о дипломатии Жоржа Кадудалья.

— Судя по тому, что я видел, сомневаюсь, чтобы вы когда-нибудь имели нужду во мне, — сказал Ролан. — Однако же, во всяком случае, если встретится надобность, вспомните, что у вас есть друг вблизи первого консула.

Он в другой раз протянул Кадудалю руку, и тот пожал ее с такою же искренностью и простотою, как в первый раз.

— Прощайте, г. де Монревель, — сказал он. — Кажется, я не имею надобности просить вас оправдать генерала Гатри? Такое поражение не меньше победы.

В это время подвели к республиканскому полковнику лошадь Бранш-Дора. Он вскочил в седло.

— Кстати, — сказал ему Кадудаль, — осведомитесь, проезжая через Ла-Рош-Бернар, что сделалось с гражданином Тома Милльером.

— Его уже нет в живых! — произнес кто-то.

— Кер-де-Руа и его четверо спутников, покрытые пылью и грязью, только что возвратились, но уже опоздали принять участие в сражении.

Ролан бросил последний взгляд на окровавленное поле, вздохнул и, еще раз простившись с Кадудалем, поскакал через поле, чтобы на дороге в Ванн подождать телеги с ранеными и пленными, которых он взялся препроводить к генералу Гатри.

Кадудаль роздал каждому по шести ливров. Ролан не мог не подумать, что роялистский предводитель был щедр деньгами Директории, которые отсылали на запад Морган и его товарищи.

Глава XXXV

СВАТОВСТВО

По возвращении в Париж Ролан прежде всего явился к первому консулу. Он привез ему два известия: одно об усмирении Вандей, другое о разгаре восстания в Бретани, сильнеешего нежели прежде.

Бонапарте знал Ролана. Тройной рассказ об убийстве Тома Милльера, о суде над епископом Одреном, о Граншанском сражении произвел на него глубокое впечатление, но в словах молодого человека было особого рода мрачное отчаяние, в котором нельзя было ошибиться. Отчаяние Ролана происходило оттого, что он пропустил новый случай найти себе смерть. Сверх того, ему казалось, что неведомая власть бодрствует над ним, что он выходит жив и цел из опасностей, которые другим стоят жизни: где сэр Джон встретил двенадцать судей и смертный приговор, там он видел призрак, правда, неуязвимый, но безобидный. Он горько обвинял себя в том, что вздумал вызывать на одиночный бой Жоржа Кадудалья, предвиденный со стороны того, а не бросился в общую схватку, где по крайней мере мог бы убивать и быть убит.

Первый консул с беспокойством глядел на него, пока он говорил, замечая в нем прежнее упорное желание умереть, которое он считал исчезнувшим на родной земле и среди семейной любви.

Ролан обвинял себя и превозносил генерала Гатри, желая оправдать его, но как солдат, беспристрастный и правдивый, он отдавал Кадудалю справедливость, которой тот был достоин за великодушие и храбрость.

Бонапарте слушал его с важностью, почти с печалью. Он был так же пылок и славен в войне с чужеземцами, как ненавидел междоусобную войну, где государство проливает свою собственную кровь и само себя терзает. В этом случае казалось ему, что переговоры должны заменить войну. Но можно ли переговаривать с непреклонным Кадудалем?

Бонапарте знал, как сильно было его обольщение, когда он прибегал к нему. Он решил — иметь свидание с Кадудалем и, ничего не говоря о том Ролану, рассчитывал на него при этом свидании.

Между тем, питая большое доверие к военным дарованиям Брюна, он хотел знать, не будет ли этот генерал счастливее своих предшественников.

Бонапарте сказал Ролану о приезде матери и о том, что он поместил ее в небольшом доме на улице Победы; наконец он отпустил его от себя.

Молодой человек вскочил в карету и велел везти себя на улицу Победы. Он нашел г-жу де Монревель счастливую, гордую, сколько может быть горда женщина и мать. Эдуард уже был помещен во французский Пританей.

Г-жа де Монревель собиралась уехать из Парижа к Амели, потому что здоровье дочери не переставало ее беспокоить.

Что же касается сэра Джона, то он был вне опасности и почти выздоровел. Он находился в Париже, приезжал с визитом к г-же де Монревель, но, не застав ее дома — она отвозила в этот день Эдуарда в Пританей, — оставил у нее свою карточку. На этой карточке был и адрес его. Сэр Джон квартировал на улице Ришелье, в отеле Мирабо.

Было одиннадцать часов утра. В это время сэр Джон обыкновенно завтракал, и Ролан имел вероятность застать его дома. Он снова сел в карету и велел заехать в отель Мирабо. В самом деле он застал сэра Джона за столом, сервированным по-английски, что тогда было редкостью. Англичанин пил из большой чашки чай и ел полусырые котлеты. Увидев Ролана, он вскрикнул от радости, встал из-за стола и бросился к нему.

Ролан глубоко полюбил эту исключительную натуру, где качества сердца как будто старались скрыть себя под национальными особенностями.

Сэр Джон похудел, был бледен, но, впрочем, здоров как нелзя лучше. Рана совершенно зажила и кроме стеснения в груди, которое уменьшалось с каждым днем и вскоре должно

было совсем исчезнуть, он почти восстановил свое здоровье.

Он с своей стороны оказал Ролану столько нежности, что этого нельзя было и ожидать от его сосредоточенной натуры; уверял, что радость свидания с ним довершит его выздоровление, и прежде всего предложил ему завтракать вместе, обещая угостить его на французский лад.

Ролан принял приглашение, но, как все солдаты, участники тяжелых войн революции, у которых часто не бывало даже хлеба, Ролан был плохой гастроном и привык есть кушанья всякой стряпни.

Таким образом, готовность сэра Джона угостить его французскими кушаньями была выказана попусту, но что не было потеряно и что очень заметил Ролан — это был озабоченный вид сэра Джона. Явно было, что какая-то тайна мелькает на губах его и что он только не решается высказать ее. Ролан думал, что надо ему по-мочь.

Когда завтрак был уже в последнем периоде, Ролан оперся локтями о стол и, положив подбородок на ладони, сказал с откровенностью, которая иногда доходила у него до грубости:

— Итак, мой милый лорд, вы хотите сказать вашему другу Ролану что-то, чего не смеее высказать?

Сэр Джон затрепетал; бледное лицо его сделалось пурпуровым.

— Тьфу! Как это должно быть трудно! — продолжал Ролан. — Видно, вы, сэр Джон, собираетесь требовать очень многого, хотя я знаю очень немного, в чем имел бы право вам отказать. Говорите же, я слушаю.

И он зажмурился, как бы желая сосредоточить все внимание на том, что скажет ему сэр Джон. Но в самом деле, как видно, с точки зрения сэра Джона, было очень трудно высказать это, потому что прошло секунд десять, а он оставался нем. Ролан открыл глаза. Сэр Джон сделался опять бледен, еще бледнее, нежели был до той минуты, когда покраснел. Ролан протянул к нему руку.

— Послушайте, — сказал он. — Я вижу, что вы хотите пожаловаться мне на то, как обращались с вами в замке Черных Фонтанов?

— Точно, мой друг, в том смысле, что, со времени, которое провел я в этом замке, начнется счастье или несчастье моей жизни.

Ролан пристально поглядел на сэра Джона.

— Ах, Боже мой! — сказал он. — Неужели я могу быть так счастлив... — И он остановился, вспомнив, что, с точки зрения общества, он мог нарушить условные приличия.

— О, договаривайте, мой милый Ролан! — воскликнул сэр Джон.

— Вы хотите этого?

— Умоляю вас!

— А если я ошибаюсь и скажу глупость?

— Мой друг, мой друг, договаривайте!..

— Хорошо, милорд. Я сказал: неужели я могу быть так счастлив, что высокостепенный лорд сделал моей сестре честь влюбиться в нее?

Сэр Джон радостно вскрикнул и быстро, как нельзя было ожидать от этого флегматика, кинулся в объятия Ролана.

— Ваша сестра ангел, мой милый Ролан, — кричал он, — и я люблю ее всею душою!

— Совершенно ли вы свободны, милорд?

— Совершенно, с двенадцати лет, как я говорил вам, я владею моим именем, а оно дает двадцать пять тысяч фунтов стерлингов дохода.

— Это, мой милый, слишком много для женщины, которая имеет только пятьдесят тысяч франков.

— О, — пробормотал англичанин с своим родным акцентом, который проявлялся у него иногда при сильных ощущениях, — надо уменьшить богатство, это можно.

— Нет, этого не нужно, — сказал, смеясь, Ролан. — Вы богаты — это несчастье, но что же с ним делать? Нет, задача не в том. Вы любите мою сестру?

— О, я ее обожаю!..

— Но она, — возразил Ролан, — любит ли вас она?

— Вы понимаете, — отвечал сэр Джон, — что я не спрашивал ее об этом. Прежде всего я должен был обратиться к вам, мой милый Ролан, и, если это вам угодно, я должен просить вас ходатайствовать за меня у вашей матери; потом, когда бы я получил от вас обоих согласие, я объявил бы, или, лучше сказать, мой милый Ролан, вы за меня объявили бы о моей любви. Сам я никогда не посмел бы!

— Следовательно, мне первому вверяете вы свою тайну?

— Так и должно быть, вы — мой лучший друг.

— Ну, мой любезнейший, что касается до меня, то, разумеется, дело ваше выиграно.

— Остаются ваша мать и сестра.

— Это одно и то же. Мать моя предоставит Амели совершенную свободу в выборе, и я не имею надобности прибавлять, что, если сестра моя изберет вас, мать будет совершенно счастлива. Остается еще некто, кого забыли вы.

— Кто же это? — спросил сэр Джон, как человек, который долго взвешивал в своей голове все случайности, благоприятные и противные для успеха в его намерении, и вдруг видит новое, неожиданное препятствие.

— Это первый консул, — сказал Ролан.

— God! — вырвалось у англичанина, но он проглотил другую половину своего народного выражения.

— Он перед моим отъездом в Вандею, — продолжал Ролан, — говорил о замужестве моей сестры, выражаясь, что это уже не касается нас, то есть меня и моей матери, что это его дело.

— Тогда, — сказал сэр Джон, — я пропал!

— Почему же?

— Первый консул не любит англичан.

— Скажите лучше: англичане не любят первого консула.

— Но кто станет говорить о моем желании?

— Я.

— И вы будете говорить об этом желании, как о предмете, приятном для вас?

— Я превращу вас в голубку мира между двумя народами, — сказал Ролан, вставая.

— О, благодарю! — вскричал сэр Джон, схватив руку Ролана, и тотчас прибавил: — А вы уходите от меня?

— Милый друг, я отпущен лишь на несколько часов. Из них отдал один матери, два вам, один должен вашему другу Эдуарду. Еду поцеловать его, попросить наставников давать ему свободу драться с товарищами и потом возвращусь в Люксембург.

— Ну, кланяйтесь ему от меня и скажите, что я заказал для него пару пистолетов, чтобы уж ему не нужно было, когда опять нападут на него бандиты, братья за пистолеты кондуктора.

— Это еще что такое? — спросил Ролан, с изумлением глядя на сэра Джона.

— Как? Вы не знаете?

— Нет, но что это такое, чего я не знаю?

— Случай, который привел в ужас нашу бедную Амели, так что она чуть не умерла.

— Какой случай?

— Нападение на дилижанс!

— На какой дилижанс?

— В котором была ваша мать.

— Дилижанс, в котором была моя мать?

— Да.

— Дилижанс, где ехала моя мать, был остановлен?

— Вы видели г-жу де Монревель, и она вам ничего не сказала?

— Ни слова.

— Как же! Мой дорогой Эдуард был при этом героем; никто не защищался, так он защищался: взял пистолеты кондуктора и выстрелил.

— Славное дитя! — вскрикнул Ролан.

— Да, но, к несчастью или к счастью, кондуктор был предусмотрителен и зарядил пистолеты без пуль, так что бедный Эдуард не убил, не ранил никого, и эти же господа товарищи Ииуя стали целовать и ласкать его, как храброго из храбрых.

— И вы уверены в том, что говорите мне?

— Повторяю вам, что недаром же ваша сестра чуть не умерла от ужаса.

— Хорошо, — молвил Ролан.

— Что хорошо? — спросил сэр Джон.

— Да еще новый повод мне видется с Эдуардом.

— У вас опять что-то такое?

— Предприятие.

— Вы скажете мне о нем?

— Лучше не говорить. Мои предприятия обходятся вам слишком дорого.

— Но, мой Ролан, вы понимаете, что если надо получить удовлетворение...

— Я получу его за обоих нас. Вы теперь влюблены, мой милый лорд, живите своей любовью.

— Ну, а помочь мне вы все-таки обещаете?

— Разумеется, так как мне хочется называть вас братом.

— Разве вам не довольно называть меня другом?

— Да, именно, мне уже этого мало.

— Благодарю!

Они пожали друг другу руки и расстались.

Через четверть часа Ролан был уже во Французском Пританее, который находился там, где теперь Лицей Людовика Великого, за Сорбонною.

При первых словах, сказанных им директору заведения, Ролан увидел, что молоденький брат его был поручен особенному вниманию начальства. Его тотчас привели. Он кинулся с восторгом в объятия своего старшего брата.

После первых выражений взаимной любви Ролан свел разговор на приключение с дилижансом. Если г-жа де Монревель не говорила о нем ничего и лорд Танлей не входил в подробности, то иначе вспоминал о нем Эдуард. Это была его Илиада. Он рассказал Ролану со всеми мельчайшими подробностями, как остановили дилижанс, объяснил стачку Жерома с бандитами, описал, как пистолеты оказались с холостыми зарядами, как бандиты привели в чувство его мать, как называли ее по имени, следовательно, знали его, наконец, как упала маска с лица того, кто помогал г-же Монревель, так что г-жа де Монревель могла разглядеть это лицо. На эту последнюю подробность Ролан обратил особенное внимание.

Потом мальчик пересказал своему брату, как он был представлен первому консулу, как первый консул обласкал его, поцеловал, приглубил и, наконец, поручил директору Французского Пританея.

Ролан таким образом выведал от ребенка все, что хотел узнать, и так как Пританей находился в пяти минутах пути от Люксембурга, то через пять минут он был уже там.

Глава XXXVI

СКУЛЬПТУРА И ЖИВОПИСЬ

Дворцовые часы показывали четверть второго, когда Ролан вернулся в Люксембург.

Первый консул и Бурьен занимались делами.

Если бы нашей целью было написать обыкновенный роман, то

мы поспешили бы с развязкой, и, чтобы поскорее подойти к ней, мы пропустили бы некоторые подробности, без которых, как говорят иные, исторические лица могут и обойтись.

Но мы с таким рассуждением не согласны.

С того дня, как мы в первый раз взяли в руки перо, — а тому уже скоро будет тридцать лет, — сосредоточивалась ли наша мысль на драме или обнимала собою роман, мы всегда преследовали двойную цель: поучать и занимать.

И мы слову «поучать» отводим первое место, так как интерес у нас служил только маской к поучению.

Удалось ли нам это? Думаем, что удалось.

Мы уже обняли своими повествованиями огромный период: между «Графиней Салисбюри» и «Графом Монте-Кристо» протекло пять веков.

И мы имеем смелость уверить читателей, что на протяжении этих пяти веков мы им дали больше сведений из истории Франции, чем любой историк.

Скажем более, хотя наше направление резко очерчено и мы открыто его высказывали в эпоху старшей и младшей ветви Бурбонов, и во времена республики, и в настоящие времена, мы все же смело можем сказать, что это направление не проявлялось не вовремя ни в одном из наших повествований.

Мы восхищались маркизом Позой в «Доне-Карлосе» Шиллера; но на месте этого писателя мы не посягнули бы на дух времени до такой степени, чтобы поместить философа восемнадцатого века в среду героев шестнадцатого века — энциклопедиста при дворе Филиппа II.

Итак, выражаясь литературно, мы были монархистами во времена монархии, республиканцами во времена республики, а в настоящее время мы стали обновленцами при наступлении времен консульства.

Но это не мешает, однако, нашей мысли парить над людьми и эпохой и беспристрастно описывать их.

Право же воздаяния каждому по заслугам принадлежит единому Богу. Те египетские цари, которые, переходя в вечность, были судимы у гроба, воспринимали осуждение не человека, а целого народа.

Потому и существует изречение: «Глас народа — глас Божий».

Историк же, романист, поэт, драматический писатель есть не кто иной, как председатель того суда, который излагает вынесенный народом приговор.

Книга представляет собою этот приговор.

А читатели — судьи.

Вот почему предстоящее описание одного из великих людей не только современной эпохи, но эпохи всех времен, — предстоящее описание этой личности в его, если можно так выразиться, переходный период, то есть в то время, когда он из Бонапарте стал

Наполеоном, а из генерала — императором, — заставляет нас, — во избежание быть несправедливыми, — не касаться оценки, а просто излагать факты.

Мы отнюдь не придерживаемся мнения тех, которые говорят (эти слова принадлежат перу Вольтера): «Лакей не может признавать героя в своем господине».

Это возможно при тех условиях, когда лакей близорук или завистлив, — два качества, которые соединяются в людях чаще, чем кажется.

Мы согласны, что герой может быть хорошим человеком, но все же, чтобы быть хорошим человеком, необходимо быть до известной степени героем.

Что представляет собой герой в глазах людей?

Человек, гений которого в минуту его проявления берет верх над сердцем.

Историки, судите гения!

Народ, суди сердце!

Кто дал оценку личности Карла Великого? Историки.

Кто дал оценку личности Генриха IV? Народ.

А какая личность, на ваш взгляд, читатель, правильнее оценена?

И вот, для того, чтобы оценка была справедливой, чтобы апелляционный суд, выразителем коего служит потомство, утвердил приговор современников, не следует освещать только одну сторону изображаемой личности: надо личность эту осмотреть кругом и ту сторону, куда не достигает солнце, осветить факелом и в крайнем случае свечкой.

Вернемся к Бонапарте.

Как мы уже сказали, он и Бурьен занимались делами.

Какое же было распределение занятий первого консула в Люксембурге?

Он вставал около восьми часов утра, тотчас призывал к себе кого-нибудь из своих секретарей, — большею частью Бурьена, — работал с ним до десяти часов. В десять часов ему докладывали, что подан завтрак; Жозефина, Гортензия и Евгений ожидали его или даже сидели за столом по-семейному, то есть с дежурными адъютантами и Бурьеном.

После завтрака беседовали с придворными сановниками и приглашенными гостями, когда они бывали; на эту беседу полагался один час; в ней принимали участие, по обыкновению, два брата первого консула, Люсьен и Жозеф, Рено де Сен-Жан д'Анжели, Булэ (де ля Мерт), Монж, Бертолле, Лаплас, Арно. В полдень являлся Камбасерес. Вообще Бонапарте посвящал полчаса своему канцлеру; потом вдруг, неожиданно, он поднимался с места, говоря:

— До свидания, Жозефина! До свидания, Гортензия! Бурьен, идем заниматься.

С этими словами, которые он повторял каждый день в один и тот же час, Бонапарте оставлял гостиную и шел к себе в кабинет.

Занятия их не подчинялись никакой программе; они сообразовывались с неотложностью предмета или с желанием Бонапарте: иногда он диктовал, иногда Бурьен читал ему вслух, после чего первый консул отправлялся в совет.

Первое время ему надо было идти туда через двор малого Люксембурга — обстоятельство, которое в дождливое время года раздражало его, но к концу декабря он распорядился сделать над двором крышу, и с тех пор он входил к себе, почти всегда напевая что-нибудь.

Пел он так же фальшиво, как и Людовик XV.

Придя в свой кабинет, он просматривал дела, подписывал письма, разваливался в кресле, по ручке которого он имел обыкновение чертить перочинным ножичком во время разговора, если ему не хотелось разговаривать, он перечитывал присланные накануне письма или злостные брошюры, смеясь иногда с видом добродушного взрослого ребенка; потом вдруг, словно очнувшись от сна, он быстро вскакивал, говоря:

— Пишите, Бурьен!

И тогда он или определял план какого-нибудь воздвигаемого памятника, или диктовал один из тех великих проектов, которые изумляли, вернее, — страшили земной шар.

В пять часов обедали; после обеда первый консул поднимался в покои Жозефины; там обыкновенно он принимал министров, из которых чаще всех являлся министр иностранных дел, г. Талейран.

В полночь, иногда раньше, но никогда не позже, он подавал знак к разъезду, говоря резко:

— Пойдем спать.

На следующий день с семи часов утра начиналась та же жизнь, прерываемая иногда какими-нибудь непредвиденными событиями.

После подробного описания привычек великого гения пора заняться его портретом.

Первый консул Бонапарте оставил после себя менее памятников своей собственной особы, чем император Наполеон; одним словом, в императоре 1812 года нет и тени первого консула 1800 года. Итак, попробуем пером набросить те черты его, которые не в состоянии изобразить ни одна кисть, и тот облик, который бессильны воспроизвести бронза и мрамор.

Большая часть живописцев и скульпторов, которыми было так богато то время, когда были в расцвете сил таланты Гро, Давидов, Прюдонов, Жироде и Бозио, пытались передать потомству черты человека Рока в различные эпохи его жизни. Так, у нас сохранились портреты Бонапарте-главнокомандующего, Бонапарте — первого консула и императора Наполеона, и хотя живописцы и скульпторы и уловили более или менее верно выражение его лица, однако можно сказать, что не существует ни единого точного изображения ни генерала, ни первого консула, ни императора.

Все оттого, что не дано свыше, даже гению, сотворить невоз-

можное; все оттого, что в первый период жизни Бонапарте можно было нарисовать или изваять его выпуклый череп, его величественное чело с печатью мысли, его бледное продолговатое лицо, гранитный оттенок его и мечтательное его выражение; а во второй — можно было изобразить его широкий лоб, прекрасно очерченные брови, прямой нос, сжатые губы, упрямый подбородок, — одним словом, лицо, напоминающее изображение Августа на медалях, но ни изваяние, ни портрет не могли передать самого существенного — выражения смены ощущений. Человеческий взгляд есть, как молния Бога, выражение его божественности.

И взгляд этот передавал желание Бонапарте с быстротою молнии; он был то мрачным и острым, как кинжал, то светлым, ласковым, как луч солнца, то строгим, как допрос, то страшным, как угроза.

Каждая мысль, волновавшая душу Бонапарте, имела свое особое проявление в его взгляде.

У Наполеона этот взгляд, за исключением великих моментов его жизни, утрачивает подвижность и становится пронизательным, но в последнем случае он еще более неуловим для изображения: это бурав, сверлящий насквозь сердце своей жертвы, который будто желает проникнуть в самый тайник мыслей.

Разумеется, и мрамор и живопись могут передать пристальность взгляда, но ни тот, ни другая не в состоянии одушевить его, то есть выразить его понизывающее и гипнотизирующее действие.

Смушение сердца выражается в тусклом взгляде.

У Бонапарте даже во время исхудания тела оставалась прекрасная форма руки; говорят, что, сознавая это, он старался как бы щеголять своими руками. Когда же он пополнил, то его руки стали просто восхитительными; он холил их особенным образом и во время разговора сам любовался ими.

Он также внимательно следил и за своими зубами; они, действительно, были превосходны, но далеко по впечатлению уступали рукам.

Когда он гулял, — один или с кем-нибудь, — по саду или у себя по комнатам, он всегда шел слегка наклонив голову, точно ему было тяжело ее носить на плечах; руки он всегда закладывал за спину, и время от времени нервная дрожь подергивала его правое плечо, и при этом подергивании губы его также делали какое-то движение слева направо; однако эти движения не были конвульсивного происхождения: это был привычный его жест. Этот жест чаще всего обнаруживался в то время, когда у генерала, первого консула или императора созревали новые, колоссальные проекты. После таких прогулок, с подергиванием плеча и губ, он принимался обыкновенно диктовать секретарю свои важные соображения. В компании, с армией, верхом на лошади он был неутомим и почти столь же неутомим и в обыденной жизни, когда нередко он оставался на ногах в продолжении пяти, шести часов кряду, сам того не замечая.

Когда ему случалось прогуливаться таким образом с кем-нибудь из близких, он брал обыкновенно своего собеседника под руку и опирался на него.

В то время, о котором идет речь, недовольный своей худобой, он старался пополнеть; обыкновенно он поверял это странное желание только Бурьену.

— Смотрите, Бурьен, какой я худой и как мало ем, а между тем никто не разуверит меня в том, что в сорок лет я буду есть много и располнею; я предвижу свою будущую полноту и все-таки делаю много физических упражнений! Это предчувствие — оно непременно сбудется.

Всем известно, до каких размеров полноты дошел пленник острова Святой Елены.

Он имел какую-то необъяснимую страсть брать ванны; это обстоятельство также способствовало развитию полноты. Он принимал ванны ежедневно в течение двух часов; в это время ему обыкновенно читали газеты или какие-нибудь пасквили; в продолжение чтения он постоянно открывал кран с горячей водой и так поднимал температуру, что даже чтец не мог выносить ее и ничего не видел за паром.

Тогда только он разрешал открыть дверь ванной комнаты.

Ходили слухи о каких-то припадках эпилепсии, которыми он будто бы страдал с начала Итальянской кампании, но Бурьен одиннадцать лет провел с ним и никогда не видел у него этих припадков.

С другой стороны, неутомимый днем, он чувствовал настоятельную потребность выспаться хорошенько ночью, в особенности в тот период времени, который описывается сейчас; Бонапарте, будучи генералом и первым консулом, заставлял других бодрствовать, а сам высыпался прекрасно. Как мы уже упоминали, он ложился спать в полночь, а иногда и раньше, и, когда в семь часов утра являлись будить его, он спал еще крепким сном; чаще всего он вставал при первом зове, но нередко он впросонках бормотал:

— Бурьен, пожалуйста, дай мне еще минуточку поспать.

И когда не было ничего спешного, то Бурьен снова приходил будить его в восемь часов; в противном случае Бурьен настаивал, и Бонапарте кончал тем, что ворчал, но вставал.

За весь день он спал только семь или восемь часов, да дремал еще с полчаса после обеда.

А потом он делал особые распоряжения на ночь.

— Ночью, — говорил он, — старайтесь совсем не входить в мою комнату, никогда не будите меня, чтобы сообщить мне что-либо приятное, добрые вести могут и подождать, но, если дело идет о каком-нибудь неприятном происшествии, будите меня немедленно, так как тогда времени терять уже не приходится.

Как только Бонапарте вставал и одевался в полный утренний костюм, являлся его человек, брил и причесывал его, а в это время

секретарь его или адъютант читал ему газеты, начиная с «Le Moniteur». Он серьезно интересовался только английскими и немецкими газетами.

— Читайте дальше, — говорил он, когда слушал французскую газету, — я знаю, что они пишут, потому что они ведь пишут только то, что мне угодно.

По окончании туалета он спускался к себе в кабинет. Выше мы рассказывали о том, что он делал в своем кабинете.

В десять часов, как известно, его звали завтракать.

Метрдотель сам являлся с докладом, говоря:

— Завтрак генералу подан.

Он не величал его даже первым консулом.

Завтрак был простой: каждое утро ему подавалось одно какое-нибудь любимое им кушанье, например цыпленок, жаренный в прованском масле с чесноком, — кушанье, которое рестораторы впоследствии называли «цыпленок а ля Маренго».

Бонапарте пил мало; пил он бордо или бургундское вино и предпочтительно последнее.

После завтрака и после обеда он неизменно выпивал чашку черного кофе, но никогда не пил его в промежутках между приемом пищи.

Если ему случалось заработать до поздней ночи, ему приносили не кофе, а шоколад; секретарю, работавшему с ним, подавалась также чашка шоколада.

Большая часть его историков, хроникеров и биографов, упомянув о том, что он пил много кофе, прибавляли еще неумеренное им употребление табаку.

Двойное заблуждение.

Бонапарте приобрел привычку нюхать табак с двадцатичетырехлетнего возраста, но он никогда не отуманивал им своей головы; табак он никогда не держал, как рассказывали о нем, в жилетном кармане, а всегда в табакерке, которые он менял почти ежедневно; у него была такая коллекция этих табакерок, что в этом отношении он напоминал собою Фридриха Великого; ему случалось держать табак в кармане жилета только в дни сражений; было бы совершенно немыслимо в пылу битвы верхом на лошади держать узду и табакерку вместе; в таких случаях он надевал жилет, правый карман которого был подбит надушенной кожей, а в сюртуке прорезь на уровне этого кармана давала ему возможность когда угодно засунуть в карман большой и указательный пальцы, чтобы взять щепотку табака.

В бытность свою генералом и первым консулом он никогда не надевал перчаток на руки, ограничиваясь тем, что держал и мял их левой рукой; сделавшись императором, он проявил в этом отношении некоторый прогресс: надевал перчатку только на одну руку, и так как он менял эту перчатку не только каждый день, а даже по два, по три раза в день, то у его камердинера явилась счастливая мысль

заказывать перчатки на одну руку и в пару к ним подавать ненадеванную перчатку.

Бонапарте имел две страсти, которые наследовал и Наполеон: к войнам и к памятникам.

В военное время он был весел и часто хохотал, в мирное же он становился мрачным и задумчивым; и тогда, чтобы рассеять это настроение, он прибегал к искусству и обдумывал проекты сооружения будущих грандиозных памятников, из которых некоторые он успел привести в исполнение, а другие только успел начать. Он знал, что памятники составляют отражение народной жизни, что они представляют историю народов, написанную крупными буквами, что и по исчезновении с лица земли нескольких поколений эти вехи времен все-таки будут говорить о себе, что Рим живет еще в своих развалинах, что Греция говорит о себе своими памятниками и что монументы Египта, подобно таинственным, светлым призракам, стоят на пороге цивилизации.

Но что он любил больше всего на свете и ставил выше всего, так это славу и шум; отсюда вытекала его потребность вести войны и жажда известности.

Он часто говаривал:

— Большая известность похожа на большой шум: чем более он увеличивается, тем он слышнее вдали; законы, учреждения, памятники, целые нации, все это исчезает с лица земли, но слава бессмертна, и отголоски ее будут звучать и в грядущих поколениях. Вавилон и Александрия пали, Семирамида и Александр Македонский остались; они кажутся еще величественнее благодаря из века в век переходящей славе о них, быть может, даже величественнее после смерти, чем при жизни, чем они были в действительности.

Потом, останавливая свои мысли на себе самом, он говорил:

— Власть моя зависит от славы, а слава зависит от одержанных мною побед; им я обязан моим теперешним положением, и они одни могут удержать меня на верху власти. Новорожденное правительство должно изумить и ослепить народ; коль скоро факел перестает пылать, он тухнет и его выбрасывают.

В нем долго жил корсиканский дух; он с волнением следил за поражением своей родины, но после 13 вандемира он стал настоящим французом и кончил тем, что страстно полюбил Францию; его мечтой было создать ее великой, счастливой, могущественной страной, стоящей во главе всех государств по развитию и славе; правда, возвеличивая Францию, он возвеличивал и себя и всегда с ее могуществом связывал и свое имя. Эти мысли не покидали его ни на одну минуту, и потому все настоящее как бы не существовало для него, оно поглощалось будущим; куда бы ни мчал его ураган войны, мысль о Франции преследовала его повсюду. «Что подумают обо мне Афиняне», — говорил Александр Македонский после Иссы и Арбел. «Надеюсь, что французы останутся мною довольны», — говорил Бонапарте после Риволи и пирамид.

Перед битвой современный Александр Македонский не думал о том, что он предпримет в случае победы, но постоянно думал о результатах возможного поражения; он был положительно убежден, что иногда пустяк имеет последствием величайшие перевороты, и он заботился о том, чтобы предупредить все события, а не вызывать их; он видел, как они зарождались и как назревали; потом, выбрав удобную минуту, он являлся на сцену, клал на них свою мощную длань, усмирал их, покорял их, как опытный ездок усмирят и направляет бешеного коня.

Быстрое возвышение его во время революции, политические перемены, подготовленные им, или наблюдаемые им события, в которых он играл главную роль, — все это вселило в него презрение к человечеству, которое он и по природе своей не очень-то был склонен уважать. Он часто говаривал следующее изречение, давно убедившись в справедливости его:

— У человечества есть два рычага, способные сдвинуть его с места: страх и выгода.

Обладая такими чувствами, Бонапарте не мог верить и не верил действительно в дружбу.

«Сколько раз, — говорил Бурьен, — он повторял мне: «Дружба только пустой звук; я никого не люблю, даже своих братьев... может быть, еще немного люблю Жозефа, и то или по привычке, или потому, что он старше меня. Еще, пожалуй, я люблю Дюрока, а почему? Потому что мне нравится его характер, потому что он холоден, сух и строг; еще потому, что Дюрок никогда не плачет!.. Да и с какой стати буду я любить кого-нибудь? Вы думаете, что у меня есть истинные друзья? Пока я буду занимать мое настоящее положение, я могу приобрести их себе сколько угодно, по крайней мере кажущихся друзей, но пусть только изменит мне счастье, и вы увидите! На деревьях зимою нет ни листочка... Знаете ли, Бурьен, предоставим женщинам хныкать, это уж их дело, но я не допускаю никаких нежностей, иначе не стоит и соваться в государственные дела».

В отношении своих домашних Бонапарте был, как выражаются школьники, «задира», но к его надоедливости никогда не примешивались зло или грубость; дурное расположение духа, часто находившее на него, скоро рассеивалось, как тучи, гонимые ветром; чаще всего оно проходило от перемены темы разговора. Когда же были задеты общественные дела, выяснялась оплошность какого-нибудь государственного лица или министра, он страшно горячился; его упреки были тогда грубы и язвительны, иногда даже унижительны; слова его звучали как удар молота по голове, так что виновному поневоле приходилось склонять ее. Припомнил его сцены с Жомини и с герцогом Беллюном.

У Бонапарте было два врага: якобинцы и роялисты. Первых он не выносил, а вторых боялся; в разговорах он называл якобинцев не иначе как убийцами Людовика XVI; роялисты же — это была другая

статья, можно было думать, что он предвидел эпоху реставрации.

В числе его приближенных находились два человека, голосовавших за смертную казнь королю: Фуше и Камбасерес.

Он удалил Фуше из своего министерства, а если оставил Камбасереса, то только в надежде на те услуги, которые мог он оказать в качестве опытного юриста, но все же он частенько брал своего помощника, второго консула, за ухо и приговаривал:

— Дело ваше ясное, мой милый Камбасерес, и не хочется, а надо сказать: если династия Бурбонов восстановится, то вас непременно вздернут.

Раз даже Камбасерес, возмущившись, тряхнул головой и выдернул ухо из живых тисков.

— Будет вам, — сказал он, — оставьте, пожалуйста, ваши злые шутки!

Всякий раз, как Бонапарте удавалось избежать какой-либо опасности, к нему возвращалась его детская привычка, чисто корсиканского характера: он быстро крестил грудь большим пальцем.

Когда ему было не по себе или какие-нибудь неприятные мысли лезли ему в голову, он начинал напевать. Но какой мотив? Какой-то своего собственного изобретения, так как никакого известного мотива в его пении уловить было невозможно, до того фальшивил; напевая, он садился за свой письменный стол, разваливался так в кресле, что оно чуть не опрокидывалось, и начинал чертить ножичком по его ручке; другого употребления он из ножика не делал никогда; он сам никогда не чинил своих перьев; эта обязанность лежала на его секретаре; надо отдать ему справедливость, что выполнял он ее с большим старанием, так как сам был заинтересован в том, чтобы неразборчивый ужасный почерк Бонапарте не представлял бы собою сплошных иероглифов.

Всем известно то впечатление, которое производил на Бонапарте звон колоколов: это была единственная музыка, которую он любил и понимал; при первом звуке колокола он заставлял всех присутствующих молчать и наклонял голову и слушал, и все время, пока колокол звонил, он оставался неподвижным; едва замирали последние звуки, как он снова принимался за свое прерванное занятие. На просьбу некоторых лиц объяснить им эту странную любовь к голосу бронзы он отвечал:

— Колокол напоминает мне первые годы, проведенные мною в Бриенне, тогда я был счастлив.

В тот период жизни Бонапарте, на котором мы остановились, его очень занимало только что купленное им имение Мальмезон; каждую субботу вечером он уезжал туда и оставался там на все воскресенье, иногда даже и на понедельник, проводя время как школьник, отпущенный на каникулы. Там он совсем не занимался делами, а только гулял; в течение этих прогулок он сам наблюдал за работами по разным улучшениям и нововведениям. Иногда, в особенности в первое время, он заходил далеко за границы своего

имения, но вскоре донесения полиции ограничили его прогулки только землею Мальмезона, а после заговора Арены и дела об адской машине они прекратились совершенно.

Имение Мальмезон, по собственным расчетам Бонапарте, включая сюда и доход от продажи фруктов и овощей, могло приносить ежегодно до шести тысяч франков.

— Это недурно, — говорил он Бурьену, но тут же, вздыхая, прибавил: — Мне нужен доход в тридцать тысяч по моим здешним расходам.

Бонапарте любил поэзию деревенской жизни; ему мерещилась высокая, стройная женщина, гуляющая в темных аллеях парка, только она должна была иметь непременно белую одежду: он терпеть не мог платья темного цвета и ненавидел толстых женщин, а к временным он чувствовал такое отвращение, что почти никогда не приглашал их к себе ни на вечера, ни на празднества; будучи по натуре своей не особенно изыскан в выражениях и слишком величествен, чтобы привлекать к себе сердца, он редко говорил комплименты даже самым красивым женщинам; он приводил в смущение своей нелюбезностью даже самых лучших приятельниц Жозефины. Одной даме он говорил: «Ах! Какие у вас красные руки!» А другой: «Фи, какая у вас уродливая прическа!» Этой: «У вас грязное платье, уже оно мне глаза намозолило!» А той: «Вам бы нужно переменить портниху, потому что вы ужасно скверно одеты».

Однажды он сказал герцогине де Шеврез, прелестной блондинке, волосами которой все восхищались:

— Как странно, что вы рыжая!

— Может быть, я и рыжая, — отвечала герцогиня, — только, признаюсь, я в первый раз слышу такие слова от мужчины.

Бонапарте не любил игр, и когда ему случалось играть, то он играл в «двадцать один», причем он, как и Генрих IV, плутовал, но, как только кончалась игра, он оставлял на столе все свое золото и бумажки, говоря:

— Вы дурачье! Я в продолжение своей игры плутовал, а из вас никто и не заметил. Получайте свое, кто проиграл.

Бонапарте, родившийся и воспитанный в католической вере, не оказывал предпочтения никакому догмату; когда он восстановил религиозные обряды, это был скорее политический акт, чем религиозный. Но разговоры на эту тему он любил, хотя заявлял с своей стороны:

— Разум мой держит меня в неверии относительно многого, а впечатления детства и наставления юношеских лет повергают меня снова в сомнение.

Однако о материализме он и слышать не хотел; ему никакого дела не было до догмата, лишь бы этот догмат признавал Творца. Как-то раз, в прекрасный вечер мессидора, когда его корабль вырисовывался на двойном лазурном фоне неба и моря, математики в разговоре начали доказывать, что Бога нет, а есть только материя;

Бонапарте посмотрел на небесный свод, звезды которого горят ярче между Мальтой и Александрией, чем в Европе, и в ту минуту, когда думали, что мысли его были далеко от предмета разговора, он воскликнул, указывая на звезды:

— Напрасны ваши рассуждения, только Бог мог создать все это!

Бонапарте, очень аккуратно плативший свои частные долги, был гораздо менее щепетилен относительно общественных расходов; он был уверен, что торги, заключающиеся между министрами и поставщиками, — если только министр не был обманут, — обкрадывали государство, поэтому он старался как можно более отдалять сроки платежей по поставкам в казну, в этом случае он прибегал ко всевозможным ухищрениям и проделкам; это у него было точкой помешательства: неоспоримая истина, что всякий поставщик плут.

Однажды к нему привели подрядчика, который выполнил поставку.

— Как вас зовут? — спросил его с обычной резкостью Бонапарте.

— Ворр, гражданин первый консул.

— Прекрасное прозвище для поставщика.

— Моя фамилия, гражданин, пишется с двумя «р».

— Потому-то вы, вероятно, и воруете вдвое против других, — возразил Бонапарте и повернулся к нему спиной.

Бонапарте редко изменял принятое раз решение, даже тогда, когда он сам сознавал всю его неосновательность; никто еще никогда не слышал, чтобы он сказал: «Я был неправ»: совершенно наоборот, его любимым изречением было: «Я всегда стараюсь видеть во всем сначала дурное». Правило, скорее достойное Тимона, чем Августа.

Но, со всем тем, чувствовалось, что Бонапарте умышленно представлялся человеконенавистником, а вовсе не был им на самом деле, как не был и мстительным; часто, по его словам, жестокости его были вызваны необходимостью; вне политики он был отзывчив, добр, жалостлив, любил детей, — признак теплого нежного сердца. В частной жизни он снисходительно относился к людским слабостям и бывал добродушен, напоминая этим Генриха IV, игравшего с детьми во время посещения его испанским послом.

Если бы мы писали историю, то пришлось бы долго говорить о Бонапарте, — а кончив с Бонапарте — продолжать говорить о Наполеоне.

Но мы пишем обыкновенный рассказ, в котором Бонапарте играет также свою роль, и выходит, что, как только является на сцену Бонапарте, он тотчас же становится, независимо от рассказчика, главным лицом.

Да простят нам читатели это отступление. Этот человек, который представляет собою мировую величину, это он увлек нас помимо нашей воли.

Вернемся к Ролану, а следовательно, и к нашему рассказу.

Глава XXXVII
ПОСЛАННИК

Мы остановились на том, что Ролан, вернувшись, спросил, где первый консул, и получил ответ, что он занимается с министром полиции.

Как ближайшее лицо к первому консулу, Ролан пользовался правом входить к нему в кабинет даже в такое время, когда Бонапарте занимался с кем-нибудь из высших сановников. Особенно по возвращении из какого-нибудь путешествия или после какой-нибудь поездки. Он отворял дверь кабинета, высовывал из нее голову, и часто случалось, что первый консул, слишком занятый своею работой, не обращал внимания на высовывшуюся голову; тогда Ролан произносил только одно слово: «Генерал!» Это значило на товарищеском языке, еще сохранявшемся между двумя бывшими соучениками: «Генерал, я здесь; не нужен ли я вам? Ожидаю приказаний». Когда первый консул не имел надобности в Ролане, он отвечал: «Хорошо!» Если, напротив, имел в нем надобность, то произносил одно слово: «Войди». Тогда Ролан входил и ожидал, пока генерал не обращался к нему с объяснением, для чего он его позвал.

Как обыкновенно, Ролан просунул в дверь свою голову и произнес: «Генерал!»

— Войди, — отвечал первый консул с видимым удовольствием. — Войди, войди.

Ролан вошел. Точно, как сказали ему, Бонапарте занимался с министром полиции, и таким делом, которое, по-видимому, казалось ему очень важным. Оно и для Ролана было занимательно. Речь шла о дилижансах, вновь остановленных товарищами Ииуя.

На столе лежали протоколы о задержании одного дилижанса и двух почтовых карет. В одной из почтовых карет находился казначей Итальянской армии Трибе. Дилижанс был остановлен на большой дороге из Мексимье в Монлюэль, на земле общины Белинье. Одну почтовую карету остановили близ озера Силана, около Нантюа, другую на дороге из Сент-Этьена в Бур, на местности, называемой Карроньеры.

При этих нападениях были замечательные случаи. Сумма в четыре тысячи франков и ящик с драгоценными вещами были отняты у путешественников вместе с деньгами правительства. Путешественники уже считали их пропавшими, когда мировой судья в Нантюа получил письмо без подписи, в котором ему указывали место, где зарыты похищенные предметы, и просили передать их, кому они принадлежат, потому что товарищи Ииуя ведут войну не с частными лицами, а с правительством. В Карроньерах, где почтовая карета не останавливалась по приглашению разбойников, а старалась ускакать, товарищи Ииуя принуждены были застрелить одну лошадь, но потом сочли обязанностью вознаградить содержателя почты и доставили

ему пятьсот франков за убитую лошадь. А именно столько за нее заплатили за неделю перед тем. Верность оценки доказывала, что имели дело с людьми, знающими толк в лошадях.

К протоколам были приложены показания путешественников.

Бонапарте напевал свою обычную песню, что доказывало, что он был взбешен. Потому-то и повторил он три раза приглашение Ролану войти, надеясь получить от него новые сведения.

— Ну, — сказал он. — Твой департамент решительно бунтует против меня. Вот, посмотри.

Ролан взглянул на бумагу и тотчас понял.

— Да, — сказал он. — Я затем и воротился, чтобы поговорить об этом, генерал.

— Поговорим, но сначала спрости у Бурьена мой атлас департаментов.

Ролан принес атлас и, угадывая желание Бонапарте, открыл его на Энском департаменте.

— Да, именно, — сказал Бонапарте, — покажи мне, где это происходило.

Ролан поставил палец на оконечность карты, со стороны Лиона.

— Вот где, генерал, было первое нападение: вот, прямо против деревни Белинье.

— А второе?

— Вот здесь, — продолжал Ролан, перенося палец на другую сторону департамента, — около Женевы; вот озеро Нантюа, вот озеро Силан.

— Ну, а третье?

— Здесь, генерал, — сказал Ролан и перенес палец на середину департамента. — Карроньеры не означены на карте по их незначительности.

— Да, что это такое: карроньеры? — спросил первый консул.

— Карроньерами называют у нас, генерал, черепичные фабрики; они принадлежат гражданину Террье. Вот место, которое они должны были бы занимать на карте. — Говоря это, Ролан поставил конец карандаша на указываемое место.

— Как? — сказал Бонапарте. — Да оттуда меньше половины лье до Бура.

— Да, генерал, и этим объясняется, почему раненая лошадь была приведена в Бур и кончила жизнь в конюшнях Бель-Аллианса.

— Вы слышите все эти подробности, милостивый государь? — сказал Бонапарте, обратившись к префекту полиции.

— Да, гражданин первый консул, — отвечал он.

— Знайте, что я желаю, чтобы эти грабежи прекратились!

— Я употреблю все усилия.

— Мало того, что употребите усилия; надобно сделать это.

Префект поклонился.

— Только на этом условии, — продолжал Бонапарте, — я признаю вас действительно искусным человеком, каким вы считаете себя.

— Я помогу вам, гражданин, — сказал Ролан.

— Я не смел просить вас о содействии, — сказал префект.

— Да, я предлагаю вам себя; не приступайте ни к чему, не посоветовавшись наперед со мной.

Префект посмотрел на Бонапарте.

— Да, это хорошо, — сказал Бонапарте. — Ступайте, Ролан придет в префектуру.

Префект поклонился и вышел.

— В самом деле, — продолжал первый консул, — твоя честь требует истребить этих бандитов. Во-первых, они разбойничают в твоём департаменте; во-вторых, по-видимому, они особенно хотят зла тебе и твоему семейству.

— Напротив, — возразил Ролан, — меня бесит именно то, что они шадят меня и мое семейство.

— Объясни подробнее, Ролан. Тут важна каждая подробность. Ведь это настоящая война с бедуинами.

— Заметьте вот что, генерал: я провожу ночь в Сельонском монастыре, потому что меня уверяли, будто там являются привидения. В самом деле явилось одно, но удивительно смиренное: я два раза выстрелил в него из пистолета, оно и не обернулось. Мать моя едет в дилижансе, его останавливают; ей дурно, и один из разбойников оказывает ей самые нежные попечения, трет виски уксусом, дает нюхать соли. Брат мой Эдуард защищается как умеет: его обнимают, целуют, хвалят на все лады его мужество, и только не хватает, чтобы ему дали конфет за чудесный его поступок. Напротив, когда мой друг сэръ Джон, так же как я, идет туда же, где я был, его схватывают, как шпиона, и закалывают кинжалом.

— Но ведь он не умер?

— Нет, напротив, теперь так здоров, что хочет жениться на моей сестре.

— Ага! И сделал предложение?

— Официальное.

— Что же ты отвечал?

— Отвечал, что сестра моя зависит от двух особ.

— От твоей матери и тебя, справедливо.

— Нет, от самой себя и от вас.

— От себя, так. Но почему же от меня?

— Разве не вы сказали, генерал, что выдадите ее замуж?

Бонапарте скрестил руки и в размышлении прошелся по комнате; потом, вдруг остановившись перед Роланом, спросил:

— Что он такое, твой англичанин?

— Вы видели его, генерал.

— Я говорю не о наружности, англичане все похожи друг

на друга: голубые глаза, рыжие волосы, белое лицо и выступающая нижняя челюсть.

— Это the, — сказал с важностью Ролан.

— Как, the?

— Да; вы учились по-английски, генерал?

— То есть пытался учиться.

— Так ваш учитель, верно, говорил вам, что the можно произнести не иначе, как упершись языком в зубы; ну, произнося the, следовательно, толкая языком зубы, англичане, наконец, удлиняют свою нижнюю челюсть, что, как вы сейчас сказали, и есть отличительный признак их физиономии.

Бонапарте глядел на Ролана, желая знать, шутит или серьезно говорит этот вечный насмешник. Ролан остался бесстрастным.

— Это твое мнение? — спросил Бонапарте.

— Да, генерал, и я полагаю, что в физиологическом отношении оно не хуже других. У меня множество таких мнений, и я высказываю их, когда представляется случай к тому.

— Возвратимся к твоему англичанину.

— Я прошу вас о том, генерал.

— Ну, я спрашивал, что он такое?

— Он настоящий джентльмен: храбрый, очень спокойный, очень бесстрастный, очень благородный, очень богатый и, сверх того, что, конечно, не рекомендация в ваших глазах, он племянник лорда Гренвилля, первого министра его британского величества.

— Ты говоришь?

— Племянник первого министра его британского величества.

Бонапарте начал опять ходить по комнате.

— Могу ли я видеть твоего англичанина? — сказал он, обратившись к Ролану.

— Вы знаете, генерал, что можете все.

— Где он?

— В Париже.

— Ступай и привези его ко мне.

Ролан привык повиноваться ему без возражений: взял шляпу и пошел к двери.

— Пошли ко мне Бурьена, — сказал первый консул в то мгновение, когда Ролан переходил в кабинет его секретаря.

Через несколько секунд Ролана уже не было; явился Бурьен.

— Садитесь к столу, Бурьен, и пишите, — сказал первый консул.

Бурьен сел, приготовил бумагу, обмакнул перо в чернила и ожидал.

— Готовы? — спросил Бонапарте, садясь на самый стол, за которым сидел Бурьен, что также было одной из его привычек и приводило в отчаяние секретаря, потому что Бонапарте не переставал покачиваться все время, пока диктовал, отчего стол

качался почти так, как будто был среди океана во время сильной качки.

— Я готов, — отвечал Бурьен, который кое-как прилаживался ко всем особенностям первого консула.

— Ну, так пишите. — И он продиктовал ему:

«Бонапарте, первый консул республики, Его Величеству, Королю Великобритании и Ирландии.

Призванный французским народом занять место первого саванника республики, я почитаю приличным сообщить о том непосредственно Вашему Величеству.

Война, уже восемь лет опустошающая четыре части света, должна ли быть вечной? Неужели нет никакого средства прийти к мирному соглашению?

Как могут два народа, самые просвещенные в Европе, могущественные и сильные больше, нежели требуют безопасность и независимость, жертвовать идеям суетного величия или бестолковой ненависти благом торговли, внутренним благосостоянием, счастьем семейств? Как не чувствуют они, что мир есть первая из потребностей и лучшая слава?

Эти чувствования не могут быть чужды сердцу Вашего Величества, ибо вы управляете свободным народом с единою целью сделать его счастливым.

Ваше Величество увидит в моем предложении одно искреннее желание существенно содействовать, уже во второй раз, восстановлению общего мира быстро, с доверчивостью и без форм, может быть, необходимых для государств незначительных и слабых, но скрывающих в правительствах сильных желание обманывать друг друга.

Франция и Англия злоупотреблением своих сил могут еще надолго, к несчастью всех народов, продлить истощение их, но смею сказать, что жребий всех образованных наций соединен с окончанием войны, пылающей в целом мире».

Бонапарте остановился.

— Кажется, так будет хорошо, — сказал он, — перечитайте мне это, Бурьен.

Бурьен прочел написанное им письмо. После каждого параграфа первый консул одобрял его движением головы и приговаривал: «Далее». Прежде, нежели были прочтены последние слова, он взял письмо из рук Бурьена и подписал его новым пером. Такова была его привычка, что он только раз употреблял одно и то же перо и терпеть не мог чернильного пятна на пальцах.

— Да, хорошо, — сказал он, — запечатайте и надпишите адрес: лорду Гренвиллю.

Бурьен исполнил сказанное, и в это самое время послышался стук экипажа, который остановился во дворе Люксембурга. Через минуту дверь отворилась и в ней показался Ролан.

— Ну? — сказал вопросительно Бонапарте.

— Я вам говорил, что вы можете все, что хотите, генерал.

— Твой англичанин с тобой?

— Я встретил его на перекрестке Бюси и, зная, что вы не любите ожидать, взял как он был и заставил войти со мной в карету. Право, я думал, что буду принужден провести его сюда окольным путем, потому что он в сюртуке и в сапогах.

— Пусть войдет, — сказал Бонапарте.

— Войдите, милорд, — проговорил Ролан, обернувшись. Лорд Танлей явился на пороге двери.

Бонапарте с первого взгляда увидел, что это был совершенный джентльмен. Худоба и остаток бледности придавали сэру Джону еще больше благородной выразительности. Он поклонился и, как истый англичанин, ждал, чтобы его представили.

— Генерал, — сказал Ролан, — имею честь представить вам сэра Джона Танлея, который хотел, чтобы только иметь честь увидеть вас, ехать до третьих порогов Нила, а сегодня едва не с бою согласился приехать в Люксембург.

— Пожалуйста, милорд, пожалуйста, — говорил Бонапарте. — Мы и видимся не в первый раз, и я не в первый раз изъявляю желание познакомиться с вами, следовательно, было бы почти неблагодарностью с вашей стороны отказываться от моего желания.

— Если я не решался, генерал, — отвечал сэру Джон по своему обыкновению прекрасным французским языком, — то единственно потому, что не мог верить чести, которую вы мне делаете.

— И сверх того, очень естественно, что по своему национальному чувству вы, как и все ваши земляки, ненавидите меня, не правда ли?

— Я должен сознаться, генерал, — отвечал сэру Джон, улыбаясь, — что англичане пока только удивляются вам.

— Неужели вы разделяете нелепый предрассудок и верите, что народная честь требует ненавидеть сегодня неприятеля, который завтра может быть вашим другом?

— Франция была для меня почти вторым отечеством, генерал, и друг мой Ролан скажет вам, что я ничего так не желаю, как той минуты, когда из двух моих отечеств буду я особенно обязан Франции.

— Так вы не без удовольствия увидели бы, что Франция и Англия подают одна другой руку для блага мира?

— День, в который я увидел бы это, был бы для меня счастливый день.

— А если бы вы могли способствовать успеху такого сближения, решились бы вы ему способствовать?

— Готов был бы отдать жизнь мою за это!

— Ролан сказал мне, что вы родственник лорда Гренвилля.

— Я племянник его.

— В хороших ли вы отношениях с ним?

— Он очень любил мою мать, которая была его старшею сестрой.

— Наследовали ли вы его нежность к вашей матери?

— Да, только я думаю, что он бережет ее до того дня, когда я возвращусь в Англию.

— Возьметесь ли вы доставить ему письмо от меня?

— А к кому адресованное?

— К королю Георгу III.

— Это была бы величайшая честь для меня.

— Возьметесь ли вы передать дяде вашему словесно то, чего нельзя написать в письме?

— Не изменяя ни одного слова, потому что слова генерала Бонапарте — история.

— Хорошо, так скажите ему...

Но он прервал себя и, обратившись к Бурьену, прибавил:

— Бурьен, отыщите последнее письмо Императора Российского.

Бурьен открыл папку и прямо вынул оттуда письмо, которое подал Бонапарте. Первый консул взглянул на письмо и, отдавая его лорду Танлею, сказал:

— Сначала и прежде всего объявите ему, что вы сами читали это письмо.*

Сэр Джон поклонился и прочитал:

«Гражданин первый консул.

Ко мне доставлены с оружием и одетые заново, в мундирах своих команд, девять тысяч русских, взятых в плен в Голландии, которых вы возвращаете мне без выкупа, не в обмен, без всяких условий.

Это чисто по-рыцарски, и я сам желаю быть рыцарем.

Полагаю, лучшее, что могу предложить вам, гражданин первый консул, в обмен за ваш великолепный подарок, это мою дружбу.

Хотите ли вы ее?

Как залог этой дружбы, я посылаю паспорта лорду Витворту, посланнику Англии в С.-Петербурге. Сверх того, если вы хотите быть, не скажу моим секундантом, но моим свидетелем, я лично и отдельно вызываю на дуэль всех королей, которые не станут действовать против Англии и не запрут для нее своих портов. Начинаю с моего соседа, короля Датского, и вы можете прочесть в Придворной Газете вызов, который я посылаю к нему.

Скажу ли вам еще что-либо? Нет. Разве только то, что мы вдвоем можем предписывать законы миру и что я удивляюсь вам и есть ваш искренний друг.

Павел».

— Право, император — человек странный! — сказал он.

— Вероятно, ваше мнение вы вывели из чтения этого письма, милорд, — спросил Бонапарте.

— Письмо утверждает меня в этом мнении.

— Однако Генрих VI Ланкастерский получил корону святого Людовика от сумасброда, и на английском гербе до сих пор еще сохранились лилии Франции, пока я не соскоблю их своей шпагой.

Сэр Джон ухмыльнулся; его национальная гордость возмущалась от такого самомнения покорителя Египта.

— Но, — возразил Бонапарте, — теперь об этом нет и речи; все придет в свое время.

— Да, — пробормотал сэр Джон, — мы еще слишком близко от Абукира.

— О, не на море поражу я вас! — сказал Бонапарте. — Мне понадобилось бы пятьдесят лет на то, чтобы сделать французов морской нацией. Вот где, — он указал рукою на Восток, — вот где вас поражу. Но теперь, повторяю, вопрос не о войне, а о мире. Мне мир необходим для осуществления моей мечты и особенно мир с Англией. Вы видите, что я свободен в действиях и настолько силен, что могу быть откровенным: дипломат, который скажет правду, будет первый дипломат во вселенной, потому что никто не поверит ему и таким образом он достигнет своей цели без препятствия.

— Следовательно, я должен сказать моему дяде, что вы желаете мира?

— Прибавив, разумеется, что я не боюсь войны. Если я один могу и не справиться с королем Георгом, то, как видите, при содействии императора Павла это мне будет нетрудно, но Россия, по моему мнению, не стоит на одном уровне цивилизации с Францией, и поэтому для Франции неподходящая вещь делать из нее свою союзницу.

— Хорошее ружье — лучший союзник.

— Да, но вы уже изволили заметить, что император свое- нравен. Вот на этом основании я и говорю вам, что такие два народа, как Франция и Англия, должны быть либо неразрывными друзьями, либо заклятыми врагами: в качестве друзей они представляют два полюса земного шара, удерживающие последний в равновесии своим одинаковым весом; если же они враги — один должен уничтожить другого и сделаться земной осью.

— А в случае, если лорд Гренвилль, не сомневаясь в вашем гении, усомнился бы в вашем могуществе; если он разделяет мнение нашего поэта Кальриджа, что глухой рокот океана стережет остров и служит ему защитой, — что прикажете ему сказать?

— Бурьен, разверните-ка нам карту, — попросил Бонапарте.

Бурьен развернул карту; Бонапарте подошел к столу.

— Видите эти две реки? — спросил он. И указал сэру Джону на Волгу и на Дунай.

— Вот путь в Индию, — прибавил он.

— А я думал, генерал, что через Египет... — заметил сэр Джон.

— Я сам некоторое время так думал, или, вернее, я избрал тот путь, потому что у меня не было другого. А царь открывает мне этот путь, так пусть ваше правительство не заставляет меня идти по нему! Вы следите за моими указаниями?

— Да, гражданин, продолжайте.

— Вот видите, если Англия принудит меня к войне, я сейчас же заключаю союз с преемником Екатерины и поступаю так: я беру сорок тысяч русских и везу их ехать Волгой до Астрахани; там они переправляются через Каспийское море и ожидают меня у Астрабада.

Сэр Джон слушал с напряженным вниманием; Бонапарте продолжал:

— По Дунаю я спускаю сорок тысяч французов.

— Простите, гражданин первый консул, но Дунай ведь австрийская река.

— К тому времени я уже овладею Веной.

Сэр Джон посмотрел на Бонапарте.

— Значит, Вена взята, — продолжал он. — Итак, по Дунаю я спускаю сорок тысяч французов; в устье Дуная стоят русские корабли, которые переправляют их в Таганрог; далее следуют сушей параллельно Дону до Пятисбянской станицы, а оттуда — в Царицын; из Царицына они едут Волгой в Астрабад на тех же самых судах, которые доставили туда русских; следовательно, через две недели у меня сосредоточена восьмидесятитысячная армия на западе Персии. Из Астрабада соединенные силы двинутся на Индию; Персия же, как враг Англии, представляет собою нашу естественную союзницу.

— Хорошо; но когда вы очутитесь в Пенджабе, содействие вашей союзницы прекратится, а доставлять продовольствие восьмидесятитысячной армии нелегко.

— Да вы забываете одно обстоятельство, — сказал Бонапарте, точно экспедиция уже совершена, — что в Тегеране и Кабуле у меня банкиры; припомните случай, бывший во время войны лорда Корнваллиса с Типпо-Саибом девять лет тому назад: у главнокомандующего не хватило съестных припасов, и вот простой капитан... позабыл, как его звали...

— Капитан Малькольм, — подсказал Танлей.

— Вот, вот, — подхватил Бонапарте, — так вы знаете этот случай! Капитан Малькольм прибегнул к бенжариям, этим цыганам Индии, таборы которых разбросаны по всему Индостанскому полуострову, где они торгуют исключительно зерном; так вот эти бродяги преданы, как собаки, тому, кто им хорошо платит, они и будут снабжать нас продовольствием.

— Придется переправиться через Инд.

— Так что же! У меня местность в шестьдесят миль между Дера-Измаель-Ханом и Аттоком; я знаю Инд так же хорошо, как Сену; течение его очень медленно, он не глубок: в том месте не глубже двенадцати, пятнадцати футов; кроме того, там имеется не меньше десяти бродов.

— Следовательно, ваша операционная линия уже намечена? — спросил, улыбаясь, сэр Джон.

— Да, потому что это прямой путь к плодородным местностям, к которым я пойду, обогнув песчаные пустыни нижней долины Инда; наконец, потому, что по этому пути делались все мало-мальски успешные вторжения в Индию, начиная с Махмуда Гизни в 1000 году и кончая Надир-Шахом в 1739 году; давайте сочтем, сколько прошло по моей дороге: после Махмуда Гизни Махмуд Гури в 1184 году с армией в сто двадцать тысяч человек, после него Тимур-Лунг или Тимур Хромой, которого мы окрестили Тамерланом, с шестидесятитысячной армией, затем Бабур, затем Гумаюн и т. д. Индия так расположена, что ею может овладеть всякий, кому не лень и кто сумеет сделать это.

— Вы забываете, гражданин первый консул, что все эти завоеватели имели дело только с индийцами, а вы уже будете иметь дело с англичанами. У нас в Индии...

— Двадцать, двадцать две тысячи войска.

— И сто тысяч сипаев.

— Я все это учел и смотрю на английское войско с уважением, а на индийское с презрением, которого оно достойно. Везде, где стоят европейские войска, я заготовил себе вторую, третью, а иногда и четвертую линии резервов, предполагая, что три первых могут пасть от английского штыка, но там, где я встречаю только сипаев, мне достаточно кучерских кнутов. Может быть, вы желаете еще задать мне какие-нибудь вопросы, милорд?

— Только один, гражданин первый консул: вы серьезно желаете мира?

— Вот письмо, где я прошу вашего короля о мире: оно все написано в этом смысле, и я, желая быть уверен, что оно дойдет до Его Величества, прошу вас быть моим вестником.

— Желание ваше будет исполнено, гражданин, и, если бы я был не племянник, а дядя, я обещал бы больше.

— Когда вы можете отправиться?

— Через час я еду.

— Но еще до отъезда не желаете ли вы чего-нибудь от меня?

— Ничего. Если бы я имел какое-нибудь желание, то оставляю полномочие другу моему Ролану.

— Дайте мне вашу руку, милорд, это будет добрым предзнаменованием, потому что вы представитель Англии, а я — Франции.

Сэр Джон принял честь, которую делал ему первый консул, но с благоразумною умеренностью, которая в одно и то же время означала сочувствие его к Франции и памятование о своей национальной чести, потом он пожал руку Ролана с истинно братским увлечением, поклонился в последний раз первому консулу и вышел.

Бонапарте глядел вслед ему, как бы оставаясь в размышлении, и вдруг сказал:

— Ролан! Не только я согласен на свадьбу твоей сестры с лордом Танлеем, но я желаю этого: слышишь ли? Я желаю.

Он так выразительно произнес эти последние слова, что для того, кто знал первого консула, они ясно означали уже не только: я желаю, но: я хочу.

Эта тиранья была сладка для сердца Ролана, и потому он принял ее с искреннею благодарностью.

Глава XXXVIII

ДВА СИГНАЛА

Скажем, что происходило в замке Черных Фонтанов через три дня после событий, только что рассказанных нами и совершившихся в Париже.

После того, как сначала Ролан, потом г-жа де Монревель и ее сын, наконец, сэр Джон, друг за другом, отправились в Париж, — Ролан к своему генералу, г-жа де Монревель с намерением поместить Эдуарда в училище, а сэр Джон с желанием открыть Ролану свои брачные намерения, — Амели осталась в замке Черных Фонтанов одна с Шарлоттою.

Мы говорим: одна, потому что Мишель и сын его Жак жили собственно не в замке, а в небольшом домике подле решетки, что было очень удобно для Мишеля, соединяющего в своей особе должности привратника и садовника.

Оттого-то вечером, кроме одной комнаты Амели в первом этаже, выходившей в сад, и комнаты Шарлотты, на верху третьего этажа, все три ряда окошек, которых насчитали мы двенадцать, оставались неосвещенными. Г-жа де Монревель взяла с собою свою другую горничную.

Может быть, молодые девицы жили в этом здании, состоявшем из двенадцати комнат в трех этажах, слишком уединенно, особенно, когда молва беспрестанно повторяла, что на больших дорогах происходят разбои; Мишель даже говорил своей молодой госпоже, что он готов ложиться на ночь в большом доме, чтобы в случае надобности быть подле, для помощи, но она твердым голосом объявила ему, что не боится ничего и желает, чтобы обыкновенный порядок в доме не переменался ни в чем.

По-видимому, не нравилось также Амели, что Мишель расхаживает по нему, но вскоре она успокоилась. Мнимые караульные обходы Мишеля ограничивались тем, что он с Жаком сторожил на опушке Сельонского леса, и частое появление на столе то спины кролика, то бедра дикой козы доказывало, что Мишель не усиливал своих караульных обходов. Потому она перестала беспокойно думать об этих обходах, происходивших в стороне, совершенно противоположной той, за которую она сначала боялась.

Через три дня после событий, рассказанных нами, или, чтобы выразиться правильнее, ночью после третьего дня, те, кто привык видеть только два освещенных окошка в замке Черных Фонтанов, то есть окно в первом этаже, в комнате Амели, и окно в третьем, в комнате Шарлотты, не без удивления могли бы заметить, что с одиннадцати часов вечера до полуночи в первом этаже было освещено четыре окошка. Правда, каждое из них было освещено только одной свечой. Любопытные могли бы также сквозь занавес видеть формы молодой женщины, пристально глядевшей в направлении к деревне Сейзера.

Это была Амели.

Бледная, тяжело дыша, она, по-видимому, с тоскою ожидала сигнала. Через несколько минут она отерла лоб и почти радостно вздохнула. В направлении, по которому был устремлен ее взгляд, показался огонек. Она тотчас перешла из одной комнаты в другую и погасила там три свечи, оставив гореть только ту, которая была в ее комнате. Отдаленный огонек, казалось, только и ждал этого: он также погас.

Амели села подле окна и оставалась неподвижною, вперив глаза в сад. Ночь была темная, без звезд, без луны; однако через четверть часа она увидела или, лучше сказать, угадала, что какая-то тень переходит через лужайку к балкону. Она поставила одну оставшуюся у нее свечу в самый дальний угол комнаты и ворочилась к окну отворить его. Тот, кого она ожидала, уже же на балконе. Как в первый раз, когда мы видели их на этом же балконе, он обвил рукой стан Амели и увлек ее в комнату. Но она не совершенно повиновалась ему: отыскала рукой шнурок жалюзи и так скоро сняла его с гвоздя, к которому был он припутан, что жалюзи упало с шумом, какого надо было бы остерегаться. Она заперла окно, бывшее за жалюзи, и пошла взять свечу, поставленную ею в темном углу.

Когда она возвратилась со свечой, лицо ее было освещено ею. Молодой человек вскрикнул: оно было покрыто слезами.

— Что случилось? — спросил он.

— Большое несчастье! — отвечала она.

— Я так и думал! Когда увидел твой сигнал, которым ты призывала меня, после того, как я был здесь вчера, сердце почувало горе! Но скажи: неужели неотвратимое несчастье?

— Почти, — проговорила Амели.

— Надеюсь, по крайней мере, что оно угрожает мне одному?

— Нам обоим.

Молодой человек провел рукой по лбу, на котором выступил пот.

— Говори, — сказал он. — Во мне есть сила его выслушать.

— Если в тебе есть сила его выслушать, то во мне нет силы все сказать.

Она взяла письмо, лежавшее на камине, и сказала:

— Прочитай, вот что я получила сегодня вечером.

Молодой человек взял письмо, развернул и прежде всего взглянул на подпись.

— Это от г-жи Монревель? — сказал он.

— Да, с припиской Ролана.

Молодой человек читал:

«Милая моя дочь! Желаю, чтобы известие, которое сообщаю тебе, обрадовало тебя так же, как оно обрадовало меня и нашего милого Ролана. Ты говорила, что у сэра Джона нет сердца, и уверяла, что он механическая кукла из мастерской Вокансона. Он сознается, что ты была права до той минуты, когда он увидел тебя, но утверждает, что с этой минуты у него точно есть сердце, которое обожает тебя.

Могла ли ты подозревать это, моя милая Амели, в его аристократически вежливом обращении, когда даже глаза твоей матери не видели тут ничего нежного? Сегодня, завтракая с твоим братом, он официально просил твоей руки. Брат твой принял его предложение с радостью, но сначала не обещал ничего. Первый консул, еще перед отправлением его в Вандею, говорил ему, что берет на себя устроить твой брак. Но после этого он пожелал видеть лорда Танлея, видел его, и лорд Танлей, с первого раза, сохраняя всю свою национальную осторожность, так понравился первому консулу, что он тут же дал ему дипломатическое поручение к его дяде, лорду Гренвиллю, и лорд Танлей немедленно отправился в Англию. Не знаю, долго ли сэр Джон останется в отсутствии, но по возвращении своем он, верно, будет просить позволения представиться тебе как жених.

Лорд Танлей еще молод, приятен наружностью, чрезвычайно богат, в родстве с знатнейшими фамилиями в Англии и друг Ролана. Не знаю человека, у которого было бы столько прав, не скажу: на любовь твою, милая моя Амели, но на твое глубокое уважение.

Все остальное могу передать тебе в двух словах:

Первый консул по-прежнему совершенно благосклонен ко мне и к обоим твоим братьям. Г-жа Бонапарте дала мне понять, что она ждет только твоего брака, чтобы приблизить тебя к себе. Говорят, что Люксембург оставляют и будут жить в Тюильри. Понимаешь ли ты всю важность этой перемены жительства?

Любящая тебя мать, Клотильда де Монревель».

Не останавливаясь, молодой человек перешел к приписке Ролана, которая состояла из следующих слов:

«Ты прочитала, милая сестричка, что пишет к тебе наша добрая маменька. Брак этот хорош во всех отношениях. Тут ребячиться нельзя: первый консул желает, чтобы ты сделалась леди Танлей, то есть он хочет, чтобы так было.

Я уезжаю из Парижа на несколько дней, и если ты не увидишь меня, то услышишь обо мне. Целую тебя. Ролан».

— Что же скажешь ты об этом, Шарль? — спросила Амели, когда молодой человек прочитал все письмо.

— Что этого мы должны были ожидать, не сегодня, так завтра, мой бедный ангел, но тем не менее это ужасно.

— Что делать?

— Есть против этого три средства.

— Какие?

— Прежде всего, сопротивляйся, если у тебя есть на то силы; это всего короче и всего вернее.

Амели поникла головой.

— Ты не осмелишься, не правда ли?

— Никогда.

— Однако ты моя жена, Амели. Священник благословил наш союз.

— Они говорят, что этот брак ничтожен перед законом потому, что был совершен только священником.

— А тебе, супруге человека, которого преследует закон, — сказал Морган, — тебе недостаточно этого?

Голос его дрожал, когда он произносил эти слова. Амели готова была кинуться в его объятия.

— Но мать моя! — сказала Амели. — Она не была при нашем браке, она не благословила его.

— Потому что она подверглась бы опасностям, а мы хотели подвергнуться им одни.

— Ну, а этот человек? Разве ты не прочитал в письме моего брата, что он хочет?

— О, если бы ты любила меня, Амели, этот человек увидел бы, что он может переменить строй государства, пройти войной от одного конца света до другого, утвердить законодательство трона, но не может принудить сказать устам «да», когда сердце говорит «нет».

— Если бы я любила тебя! — сказала Амели нежно укоризненным голосом. — Теперь полночь, ты в моей комнате, я плачу в твоих объятиях, я, дочь генерала де Монревеля и сестра Ролана, а ты говоришь: если б я любила тебя!

— Виноват, виноват, моя обожаемая Амели. Да, я знаю, что ты воспитана в идолопоклонстве этому человеку; ты не понимаешь, что можно противиться этому человеку, и кто противится ему, тот в твоих глазах бунтовщик.

— Шарль, ты говорил, что есть три средства, какое же второе?

— Принять союз, который предлагают тебе, но, замедляя его под разными предлогами, выигрывать время. Человек не бес- смертен.

— Нет, но он молод и рассчитывать на его смерть мы не можем. Третье средство, мой друг?

— Бежать. Но против этого крайнего средства есть два препятствия. Во-первых, ты не согласишься, Амели.

— Я твоя, Шарль, я превозмогу себя.
— Потом, — прибавил молодой человек, — мои обязательства.
— Твои обязательства?

— Мои товарищи связаны со мной, Амели, но и я связан с ними. У нас также есть человек, от которого мы зависим, которому клялись повиноваться. Этот человек — будущий король Франции. Если ты допускаешь преданность твоего брата Бонапарте, допусти и нашу Людовику XVIII.

Амели опустила свою голову на руки и глубоко вздохнула.

— Итак, — сказала она, — мы погибли.

— Почему же? Под разными предложениями, особенно под предложением здоровья, ты можешь выиграть целый год, а раньше нежели через год он будет принужден опять начать войну, вероятно, в Италии, и одно поражение отымет у него все его очарование; и вообще в год может случиться многое.

— Шарль, стало быть, ты не читал приписки Ролана?

— Читал, но не вижу в ней ничего больше, как то же, что в письме твоей матери.

— Перечитай последнюю фразу.

Амели поднесла письмо к глазам молодого человека. Он прочитал:

«Я уезжаю из Парижа на несколько дней, и если ты не увидишь меня, то услышишь обо мне».

— Ну?

— Знаешь ли, что это значит?

— Нет.

— Это значит, что Ролан следит за тобой.

— Что же такое! Ведь ни один из нас не умертвил его.

— Но ты, несчастный, ты можешь умереть от его руки!

— Не думаешь ли ты, что я должен очень сердиться на него, если он убьет меня?

— О, это еще не представлялось уму моему в самых мрачных его опасениях!

— Так ты думаешь, что брат твой старается попасть на наши следы?

— Я уверена в этом.

— Откуда же пришла к тебе эта уверенность?

— Над умиравшим сэром Джоном, которого он считал умершим, брат мой поклялся отомстить за него.

— Если бы он умер, а не был только умирающим, — сказал с горечью молодой человек, — мы не были бы с тобой, Амели, в таком положении.

— Бог спас его, Шарль, следовательно, хорошо, что он не умер.

— Для нас хорошо?

— Я не испытываю намерений Господних. Я говорю тебе, мой милый Шарль, берегись Ролана, — он здесь, и близко.

Шарль усмехнулся с недоверчивым видом.

— Говорю тебе, что он не только близко, он здесь: его видели.

— Видели! Где? Когда? Кто видел его?

— Шарлотта, моя горничная, дочь тюремщика. Она просила у меня позволения навестить своих родителей в воскресенье; я ожидала тебя и отпустила ее до сегодняшнего утра.

— Ну?

— Она осталась ночевать у своего отца. В одиннадцать часов жандармский капитан привел арестантов. Между тем как их размещали, приехал какой-то человек, завернутый в плащ, и спросил, где капитан. Голос приехавшего показался Шарлотте знакомым; она стала внимательно смотреть, и, когда плащ распахнулся и видно было лицо, она узнала моего брата.

Молодой человек сделал движение.

— Понимаешь ли ты, Шарль? Брат мой приезжает в Бур, закутывается в плащ и не дает мне знать о своем приезде; брат мой совещается с жандармским капитаном, идет к нему даже в тюрьму, говорит только с ним и исчезает! Разве это не страшная угроза для моей любви?

В самом деле, по мере того как Амели говорила, лоб человека, любящего ее, покрывался мрачным облаком.

— Амели, — сказал он, — я и товарищи мои никогда не скрывали от себя опасности, которой мы окружены.

— По крайней мере, — спросила простодушно Амели, — ведь вы переменили свое убежище и оставили Сельонский монастырь?

— Там остаются теперь только мертвые.

— А грот в Сейзериа безопасен?

— Сколько может быть безопасно убежище с двумя выходами.

— И в Сельонском подземелье было у вас два выхода, однако вы оставили там мертвых.

— Мертвым нечего опасаться, они уже не умрут на эшафоте.

Амели содрогнулась всем телом.

— Шарль! — пробормотала она.

— Послушай, — сказал молодой человек. — Бог и ты сама свидетели мне, что во время наших свиданий всегда улыбка моя и веселость являлись среди твоих предчувствий и моих опасений, но теперь, Амели, все меняется: перед нами борьба. Какова ни будет развязка, мы близки к ней. Я не стану теперь, когда угрожает великая опасность, требовать от тебя, как сумасшедший, как эгоист, невозможных жертвований — вечной любви к умершему, к трупу.

— Мой друг, — сказала Амели, положив руки на его плечо, — берегись, ты хочешь сомневаться во мне.

— Нет, я уважаю тебя больше, давая тебе свободу самопожертвования, но не хочу связывать тебя никакой клятвой, никаким обетом.

— Хорошо, — сказала Амели.

— Но чего я требую от тебя и в чем ты поклянешься мне нашей любовью, — увы! — столь пагубной для тебя, это вот что: если меня схватят — надеюсь, что меня не возьмут живого, но как знать, можно попасть в раскинутые сети! — если меня схватят, обезоружат, посадят в тюрьму, приговорят к смерти, я прошу, я требую от тебя, Амели, чтобы всеми возможными средствами ты достала оружие, не только мне, но и моим товарищам. Мы должны всегда иметь в своей власти нашу жизнь.

— Но в таком случае, Шарль, разве не позволишь ты мне сказать все, обратиться к нежности моего брата, к великодушию первого консула...

Она не успела кончить. Морган схватил ее за руку и прервал ее речь словами:

— Амели! Так я требую от тебя не одной клятвы, а двух, прежде всего поклянись, что ты не будешь просить пощады мне. Клянись, Амели, клянись!

— Надо ли клясться, мой друг! — отвечала она, рыдая. — Я обещаю тебе.

— Клянись той минутой, когда я сказал тебе, что люблю тебя, когда ты отвечала, что я любим.

— Твоей и моей жизнью, прошедшим, будущим, нашими улыбками, нашими слезами!

— Потому что, видишь ли, Амели, я все-таки умру, хотя бы для этого надо было разбить себе голову о стену, но тогда я умер бы обесчещенным.

— Я обещаю тебе, Шарль.

— Остается вторая просьба моя, Амели, если нас схватят и приговорят к смерти и если оружие или яд и какое бы то ни было средство умереть дойдет ко мне от тебя — смерть еще будет счастьем для меня!

— Подле тебя или вдали от тебя, свободен ли ты или в тюрьме, жив или мертв, я твоя раба: приказывай, я буду повинаться.

— Вот все, Амели. Ты видишь: просто и ясно — не просить пощады и доставить оружие.

— Просто и ясно, но ужасно.

— Так будет? Не правда ли?

— Ты хочешь этого?

— Я умоляю тебя.

— Просьба или приказание, Шарль, но это твоя воля; она будет исполнена.

Молодой человек должен был поддержать ее своею левой рукой, потому что она была готова упасть в обморок, и, когда

он хотел прижать ее к себе правой рукой, вдруг послышался крик совы, так близко под окном, что Амели вздрогнула, а Шарль поднял голову. Крик повторился в другой раз, в третий раз.

— Ах, — прошептала Амели, — ты слышишь крик зловещей птицы? Горе нам, мой друг!

— Это крик не совы, Амели, — отвечал Шарль. — Это призывный крик одного из моих товарищей. Погаси свечу.

Амели задула свечу; между тем молодой человек отпирал окно.

— Ах, — шептала она, — и здесь ищут тебя!

— Это мой друг, наш наперсник, граф Жаиа. Никто другой не знает, где я был.

Вышедши на балкон, он спросил:

— Это ты, Монбар?

— Да, а это ты, Морган?

— Я.

Из-под деревьев вышел человек и поспешно сказал:

— Нельзя терять ни минуты: вести из Парижа. Дело идет о жизни всех нас.

— Слышишь, Амели?

Молодой человек судорожно прижал ее к своему сердцу.

— Ступай, — сказала она умирающим голосом, — спеши, ты слышал, что дело идет о жизни всех вас.

— Прощай, Амели, милая Амели, прощай!

— Ах, не говори: прощай!

— Нет, нет, до свидания!

— Морган! Морган! — сказал голос того, кто ожидал под балконом.

Молодой человек в последний раз поцеловал Амели и, бросившись к окну, перешагнул за балкон, а оттуда одним прыжком очутился подле своего друга.

Амели вскрикнула и вышла до самых перил балкона, но она видела только, как две тени скрылись во мраке, который был еще непроницаемее под деревьями парка.

Глава XXXIX

ГРОТ В СЕЙЗЕРИА

Оба молодых человека углубились во мрак между высокими деревьями. Морган служил путеводителем товарищу, менее его знакомому с расположением парка, и вывел его прямо к тому месту, где он обыкновенно перелезал через стену. Оба они исполнили это и теперь в одну секунду. Через минуту они были уже на берегах Рейсусса, где под ивой ожидала их лодка. Они вскочили в нее и тремя взмахами весел перенеслись к другому берегу. Тропинка шла по склону берега, к роще, занимающей все про-

странство между Сейзера и Этрезом, то есть около трех лье в длину, так что по другую сторону Рейсусса она составляет как бы продолжение Сельонского леса.

Пришедши на опушку рощи, они остановились. До тех пор они шли так скоро, как только можно идти не бегом, ни тот, ни другой не произнесли ни слова. Весь пройденный путь казался пустынею; можно было наверное сказать, что никто не мог их заметить. Надо было отдохнуть.

— Где товарищи? — спросил Морган.

— В гроте, — отвечал Монбар.

— Чего же не идем мы туда немедленно?

— Под этим буком мы должны встретить одного из наших, и он скажет, можно ли идти дальше без опасности.

— Кто же это?

— Д'Ассас.

От дерева отделилась тень и сказала:

— Вот я.

— А, это ты! — проговорили молодые люди.

— Что нового? — спросил Монбар.

— Да ничего. Ждут вас для решения одного дела.

— Так пойдем же скорее.

Все трое пошли далее. Через триста шагов Монбар снова остановился.

— Арман! — сказал он вполголоса.

На этот зов послышался шорох сухих листьев, и четвертая тень вышла из-за деревьев к трем товарищам.

— Ничего нет нового? — спросил Монбар.

— Как нет, а посланный от Кадудалы?

— Который уже приехал?

— Да.

— Где же он?

— С братьями, в гроте.

— Пойдем.

Монбар бросился первый. Тропинка сделалась так узка, что по ней могли идти не иначе как один за другим. Почти на пятьсот шагов дорога шла на отлогое возвышение, но была извилиста.

Выйдя на лужайку, Монбар остановился и три раза прокричал совой, так же как он дал знать о себе Моргану. Ему отвечали почти таким же криком.

С густых ветвей дуба соскользнул на землю человек: это был страж, охранявший вход в грот. Вход был шагах в десяти от дуба, но заслонявшие его деревья расположились в этом месте так, что нельзя было заметить его, не подойдя к нему вплоть. Страж переговорил что-то потихоньку с Монбаром, который, по видимому, исполняя должность начальника, хотел предоставить Моргану его мыслям. Время стражи караульного, как видно, еще не прошло, потому что он опять влез на ветви дуба и через

несколько секунд так приютился там, что его вовсе не было видно, и те, перед которыми он исчез, тщетно желали бы увидеть его в воздушном бастионе.

Ущелье становилось теснее по мере того, как приближались ко входу в грот. Монбар шел впереди и из знакомого ему углубления вынул огниво, кремь, трут, спички и факел. Искра сверкнула, трут зажегся, спичка загорелась синеватым, неопределенным пламенем, и вслед за тем явился огонь на факеле, с треском и смолистым запахом. Он осветил три или четыре дорожки; Монбар не задумываясь пошел по одной из них. Эта дорога поворачивалась назад и углублялась в землю. Можно было подумать, что молодые люди возвращались под землею тем путем, которым шли до тех пор по земле.

Явно было, что они проходили извилинами древней каменоломни, может быть, той, откуда за тысячу девятьсот лет взяты были материалы для трех римских городов, ныне превратившихся в деревушки, и для Цезарева лагеря, который возвышается над ними.

В некоторых местах подземная дорожка была перерезана во всю ширину глубоким рвом, и единственное сообщение через ров было по доске, перекинутой через него, но доску можно было одним ударом ноги сбросить в бездну. Были также в некоторых местах насыпи, откуда легко можно было защищаться и стрелять в неприятеля, не будучи даже видимым.

Наконец, шагов через пятьсот от входа баррикада, вышиною в человеческий рост, служила последним препятствием для тех, кто желал бы проникнуть на круглую площадку, где было человек десять, которые, лежа и сидя, занимались чтением и игрою. Они и не думали прерывать своих занятий при звуке шагов подходивших людей и при свете, отражавшемся на стенах каменоломни: так были они уверены, что только друзья могли дойти до них при тех предосторожностях, какие их окружали.

Впрочем, этот странный лагерь представлял зрелище истинно живописное: свет множества восковых свечей — товарищи Ииуа были такие аристократы, что освещали себя не иначе как восковыми свечами, — отражался на пирамидах оружия всякого рода, где первое место занимали двуствольные ружья и пистолеты; рапиры и маски были развешаны в промежутках; кое-где были видны музыкальные инструменты; наконец, два зеркала в позолоченных рамах доказывали, что туалет был не в пренебрежении у этих необыкновенных обитателей подземного убежища.

Все они казались так спокойны, как будто известие, вырвавшее Моргана из объятий Амели, было им вовсе неизвестно или считалось очень неважным.

Когда приблизилась небольшая группа, вошедшая снаружи, и послышались слова: «Капитан! Капитан!» — все встали, не с подобострастием солдат при виде их начальника, а с почтительною

любовью образованных и сильных людей к сильнейшему и более разумному.

Морган выпрямился, поднял голову и, опередив Монбара, вступил в середину круга, который составился при его входе.

— Ну, друзья, — спросил он, — есть новые известия?

— Да, начальник, — ответил один голос, — уверяют, что полиция первого консула делает нам честь, занимается нами.

— Где посланный? — спросил Морган.

— Вот я, — сказал молодой человек в мундире курьера, еще покрытый пылью и грязью.

— У вас есть депеши?

— Писанных нет, словесные есть.

— Откуда они?

— Из тайного кабинета префекта.

— Следовательно, им можно верить?

— Отвечать за них, как за самые официальные.

— Хорошо иметь везде друзей, — сказал Монбар.

— А особенно вблизи г-на Фуше, — прибавил Морган. — Ну, какие же известия?

— Сказать вслух или вам наедине?

— Я предполагаю, что они касаются всех нас, и потому говорите громко.

— Извольте. Первый консул призвал гражданина Фуше в Люксембургский дворец, намылил ему голову за нас.

— Прекрасно! Потом?

— Гражданин Фуше отвечал, что мы очень ловкие плуты, которых очень трудно настичь и еще труднее взять, когда они настичены. Словом, он хвалил нас как нельзя больше.

— Это очень любезно с его стороны. Потом?

— Первый консул отвечал, что он не хочет знать этого, что мы разбойники и что мы нашими грабительствами поддерживаем войну в Вандее, что с того дня, когда мы не станем пересылать денег в Бретань, шуаны перестанут действовать.

— Это суждение кажется мне удивительно основательным.

— Что на востоке и на юге надо поразить запад Франции.

— Как Англию в Индии.

— Что вследствие этого он дает полномочие гражданину Фуше, и что хотя бы необходимо было пожертвовать миллион франков и пятьсот солдат, а ему нужны наши головы.

— Да, он знает, у кого требовать наших голов, но остается узнать, отдадим ли мы их.

— Гражданин Фуше в бешенстве возвратился к себе и объявил, что через неделю не должен существовать ни один товарищ Ииуа во Франции.

— Срок слишком короток.

— В тот же день курьеры поскакали в Лион, в Макон, в Лон-ле-Сонье, в Безансон и Женеу с приказанием к начальникам

гарнизонов лично употребить все средства, которые пригодны для истребления нас; а сверх того приказано им повиноваться г-ну Ролану де Монревелю, адъютанту первого консула, без замедлений, без возражений и предоставить в его распоряжение, для всех действий, какие угодно будет ему производить, столько войска, сколько понадобится.

— Я могу прибавить к этому, — сказал Морган, — что г. Ролан де Монревель уже действует. Вчера в Бурской тюрьме он был на совещании у жандармского капитана.

— Известно ли, с какой целью? — спросил один голос.

— Разумеется, — отвечал другой, — там готовят помещение для нас.

— Неужели и теперь ты станешь требовать, чтобы его щадили? — спросил д'Ассас у Моргана.

— Больше нежели когда-нибудь.

— О, это уж слишком! — проворчал кто-то.

— А почему так? — возразил Морган повелительным голосом. — Это мое право, как товарища.

— Конечно, — произнесли другие голоса.

— Итак, я пользуюсь своим правом, как простой товарищ и как ваш старшина.

— Ну, а если в схватке какая-нибудь пуля невзначай?.. — сказал один голос.

— Тогда я не требую и не приказываю, а прошу вас, друзья мои, обещать мне честью, что жизнь Ролана де Монревеля будет для вас священна.

Единогласно все присутствующие отвечали, подняв руку:

— Клянемся в том честью!

— Теперь, — продолжал Морган, — надо серьезно взглянуть на наше положение и не обольщать себя мечтами. С того дня, когда смышленная полиция станет преследовать нас и начнет с нами действительную войну, нам невозможно сопротивляться. Мы будем хитрить, как лиса, бросаться, как дикий вепрь, но сопротивление наше может только продлиться, без успеха, по крайней мере таково мое мнение.

Морган вопросительно посмотрел на своих товарищей; все были того же мнения; они с улыбкой на устах сознавались, что гибель их была неизбежна. Такова была эта странная эпоха, встречали смерть без страха и отнимали жизнь равнодушно.

— Ну, что же ты прибавишь к этому еще? — спросил Монбар.

— А вот что: нет ничего легче нам, как достать себе лошадей или даже уйти пешком; мы все охотники и горные жители. На лошадях будем вне Франции через шесть часов, пешком через двенадцать часов. Перебравшись в Швейцарию, мы станем смеяться над гражданином Фуше и его полицией. Вот что хотел я прибавить.

— Очень весело смеяться над гражданином Фуше, — сказал Адлер, — но очень скучно уезжать из Франции.

— Потому-то я и не предложу на голосование этого крайнего решения, пока мы не выслушаем посланного от Кадудаля.

— Да, правда! — сказали два, три голоса. — Бретонец... Где же бретонец?

— Он спал, когда я ушел отсюда, — сказал Монбар.

— Он и теперь спит, — промолвил Адлер, указав на человека, лежавшего на соломенной постели в углублении грота.

Бретонца разбудили. Он поднялся на колени и, протирая глаза одною рукой, другою по привычке искал свой карабин.

— Ты среди друзей, — произнес кто-то, — не бойся!

— Не бойся! — проговорил бретонец. — А кто это говорит, что я боюсь?

— Кто, конечно, сам не знает страха, мой любезный Бранш-Дор, — сказал Морган (он узнал в посланном Кадудаля того самого, который уже приходил и был принят в подземелье картезианского монастыря в ту ночь, когда Морган возвратился из Авиньона), — я извиняюсь за него перед тобой.

Бранш-Дор, окруженный молодыми людьми, посмотрел на них с таким видом, что ясно было, как не нравились ему шутки известного рода. Но, так как никто не смеялся над ним и потому нельзя было обижаться, он спросил довольно любезно:

— Кто из вас, господа, начальник? У меня есть письмо к нему от генерала.

— Я начальник, — отвечал Морган, выступив вперед.

— Ваше имя?

— У меня их два.

— Военное имя?

— Морган.

— Так, точно так назвал генерал; я и признаю вас: ведь это вы вечером, когда меня принимали монахи, отдали мне мешок с шестьюдесятью тысячами франков. Ну, у меня к вам письмо.

— Подай.

Крестьянин взял свою шляпу, оторвал от нее подкладку и между нею и наружной оболочкой взял клочок бумаги, похожий на картон, по виду совершенно белый. С военным поклоном передал он его Моргану. Морган стал переворачивать и рассматривать бумагу, но, не видя ничего написанного на ней, по крайней мере явно, сказал: «Свечу!» Свечу подали; Морган поднес бумагу к ее пламени и держал над ним до тех пор, пока на горячей бумаге не выступили все буквы и строки.

Этот опыт, по-видимому, был знаком молодым людям, только бретонец смотрел на него с некоторым изумлением. Простодушному человеку виделось тут что-то похожее на волшебство, но, как скоро дело шло о пользе короля, он готов был примириться с самим дьяволом.

— Господа! — сказал Морган. — Угодно ли вам знать, что пишет к нам начальник?

Все поклонились в знак, что готовы слушать; молодой человек читал:

«Мой милый Морган! Если вам говорили, что я отрекся от нашего дела и вступил в переговоры с правительством первого консула, так же как вандейские предводители, — не верьте ни слову; я уроженец коренной Бретани и, следовательно, упрям, как истый бретонец. Первый консул присылал ко мне одного из своих адъютантов с предложением полного прощения моим подчиненным и чина полковника мне; я даже не спрашивал у моих, а просто отказался за них и за себя.

Теперь все зависит от вас; мы не получаем он наших принцев ни денег, ни ободрения, и вы наш единственный казначей; запрете вы нам свой ящик, или, лучше сказать, перестанете отпирать для нас ящики правительства, — и роялистская оппозиция, у которой сердце еще бьется только в Бретани, мало-помалу затихнет и, наконец, совершенно умрет.

Мне нет надобности говорить вам, что, когда она умрет, это будет значить, что и мое сердце перестало биться.

Дело наше опасно; вероятно, мы сложим за него наши головы; но прекрасно будет услышать после себя — если только слышат что-нибудь за могилой: «Все отчаивались, они не отчаивались».

Один из нас двух переживет другого, разумеется, чтобы пасть в свою очередь, но пусть переживший скажет, умирая: *Etiamsi omnes ego non.*

Будьте уверены во мне, как я уверен в вас.

Жорж Кадудаль

Р. S. Вы знаете, что можно передать Бранш-Дору все деньги, какие есть у вас на общее дело».

Восторженный говор раздался между молодыми людьми, когда Морган окончил чтение письма.

— Вы слышали, господа? — сказал он.

— Да, да, да, — повторили все голоса.

— Во-первых, какую сумму можем мы отдать Бранш-Дору?

— Тринадцать тысяч франков от озера Силана, двадцать две тысячи из Карроньеры, четырнадцать тысяч из Мексимье, всего сорок девять тысяч, — сказал Адлер.

— Вы слышите, мой милый Бранш-Дор? — сказал Морган. — Немного, и мы наполовину беднее, чем в последний раз, но вам известна пословица: чем богаты, тем и рады.

— Генерал знает, чему вы подвергаетесь для этих денег, и сказал, что, как мало ни пришлете, он все примет с благодарностью.

— Тем более что следующая посылка будет лучше, — сказал один молодой человек, вмешавшийся в толпу так, что его

и не заметили при общем внимании к письму Кадудаля и к тому, кто читал его, — особенно, если вздумаем перемолвиться словечком с Шамберийской почтой в будущую субботу.

— А, это ты, Балансоль, — сказал Морган.

— Сделайте милость, без собственных имен, барон; позволим расстреливать себя, гильотинировать, колесовать, четвертовать, но спасем честь фамилии. Меня зовут Адлер, и я не откликаюсь на другое имя.

— Виноват, извини; так ты говорил...

— Что почта из Парижа в Шамбери будет проходить в субботу между часовой Генше и Бельвиллем с пятьюдесятью тысячами франков, которые правительство отправляет монахам горы Сен-Бернард, а к этому я прибавлю, что между Генше и Бельвиллем есть место, называемое Белым Домом, вполне пригодное, как мне кажется, для засады.

— Что скажете вы, господа? — спросил Морган. — Сделаем ли честь гражданину Фуше и станем опасаться его полиции? Отправимся ли мы? Уедем ли из Франции или останемся верными товарищами Ииуя?

— Останемся! — единодушно крикнули все.

— Слава Богу, — сказал Морган, — я узнаю вас, братья; в чудесном письме своем Кадудаль указал нам путь; примем же и его геройский девиз: *Etiamsi omnes ego pop.* Бранш-Дор, — продолжал он, обратившись к крестьянину, — сорок девять тысяч франков в твоём распоряжении. Отправляйся когда угодно и обещаю от нашего имени что-нибудь получше на будущий раз. Скажи генералу от меня, что, куда бы он ни шел, даже на эшафот, я почту за честь идти за ним или перед ним. До свидания, Бранш-Дор!

Обратившись к молодому человеку, который так желал, чтобы уважали его инкогнито, Морган сказал ему, как человек, опять сделавшийся веселым после минутной грусти:

— Мой милый Адлер, я принимаю на себя угостить тебя и уложить спать в эту ночь, если только ты удостоишь принять мое гостеприимство.

— С благодарностью, друг Морган, — отвечал вновь прибывший, — только предупреждаю: постель годится мне всякая, потому что я падаю от усталости, но поужинать надо хорошенько, потому что я умираю от голода.

— У тебя будет хорошая постель и превосходный ужин.

— Как же добраться до них?

— Надо только идти за мной.

— Готов.

— Итак, идем. Доброй ночи, господа! На карауле ты, Монбар?

— Да...

— В таком случае можем спать спокойно.

Морган взял под руку своего друга, в другую руку взял

зажженный факел и пошел в глубину грота. Мы последуем за ним, если читатель не слишком устал от этого длинного заседания.

Валансолль, как мы видели, приехал из окрестностей Э и в первый раз имел случай быть в гроте Сейзера, очень недавно избранном товарищами Ииуя для тайных совещаний. Во время прежних собраний он бывал в Сельонском монастыре и так изучил все тамошние закоулки, что, когда понадобилось разыграть комедию перед Роланом, Валансоллю была вверена роль привидения. Потому-то ему было все чуждо и любопытно в новом убежище, где в первый раз собирался он выспаться и где, по-видимому, хоть на несколько дней была учреждена главная квартира Морган.

Как во всех остальных каменоломнях, похожих с первого взгляда на подземный город, разные улицы, прорытые там для вывоза камня, оканчивались глухим или безвыходным концом, где работы выломки прекратились навсегда. Только одна улица продолжалась как будто бесконечно. Но и в ней встречалась точка, откуда уже не было продолжения, только в углублении глухого конца ее было прорыто — с какою целью, это осталось тайной даже для местных жителей — отверстие, на две трети уже того, от которого оно шло, и где могли пройти два человека почти рядом.

Оба друга вошли в это отверстие. Воздух там был таков, что факел на всяком шагу готов был погаснуть. Валансолль чувствовал, что холодные капли воды падали на его плечи и руки.

— Смотри, — сказал он, — здесь идет дождик.

— Это не дождик, — отвечал, смеясь, Морган, — а только мы проходим под Рейсуссом.

— Так мы идем в Бур?

— Почти.

— Хорошо, ты ведешь меня, ты обещался дать поужинать и выспаться, стало быть, мне беспокоиться не о чем, разве что вот лампа наша тухнет; однако ж... — прибавил молодой человек, следя глазами за бледнеющим светом факела.

— И об этом нечего беспокоиться: мы все-таки найдем друг друга.

— Еще бы.. А когда подумаешь, что это для принцев, которые даже не знают нашего имени, да если бы и узнали, так забыли бы его на другой же день, мы в три часа утра расхаживаем в гроте, проходим под рекой и будем спать неведомо где, с вероятною будущностью, что нас схватят, будут судить и гильотинировать... Знаешь ли, Морган, ведь это нелепо!

— Мой милый, — отвечал Морган, — что кажется нелепым и чего не понимает толпа в подобных случаях, очень может быть высоким подвигом.

— Ну, — сказал Валансолль, — я вижу, что ты теряешь в этом

занятии еще больше, нежели я: я отдаю ему только преданность, а ты энтузиазм.

Морган вздохнул.

— Мы пришли, — сказал он, прекращая разговор, который начинал невыносимо тяготить его.

В самом деле он толкнулся ногою в первые ступени лестницы. Идя впереди и освещая путь Валансоллю, он взошел на десять ступеней и остановился подле решетки. Ключом, вынутым из кармана, решетка была отперта, и они вступили в могильный подвал. Там, по обеим сторонам, стояли две гробницы на железных треножниках. Герцогские короны и лазоревый герб с серебряным крестом показывали, что это были гробницы членов Савойской фамилии, живших прежде, нежели эта фамилия стала носить королевскую корону.

В углублении подвала видна была лестница, ведущая вверх. Валансолль с любопытством огляделся вокруг и при колеблющемся свете факела увидел, в каком печальном месте он был в эту минуту.

— Кажется, — сказал он, — мы совершенная противоположность спартанцев.

— В том, что они были республиканцы, а мы роялисты? — спросил Морган.

— Нет, в том, что у них является скелет в конце пира, а у нас является в начале.

— Уверен ли ты, что спартанцы так философствовали? — спросил Морган, запирая дверь.

— Они или другие, право, мне мало нужды, — сказал Валансолль. — Довольно, что цитата сделана. Я этим удовольствуюсь, больше не буду.

— Ну, так в другой раз приведи в пример египтян.

— Хорошо, — промолвил Валансолль беззаботно, однако с небольшим оттенком меланхолии. — Вероятно, я сам превращусь в скелет прежде, нежели случится мне вновь блеснуть своєю ученостью. Но что ты делаешь? На что ты гасишь факел? Надеюсь, ведь не здесь хочешь ты дать мне ужинать и уложить меня спать?

Морган действительно погасил факел на первой ступени лестницы, которая вела вверх. — Дай мне руку, — сказал он своему товарищу. Валансолль ухватился за его руку с такою поспешностью, что это показало, как ему не хотелось оставаться долее в потемках и в могильном подвале герцогов Савойских, сколь лестно ни было для живого человека находиться посреди знаменитых мертвых.

Морган взошел по ступеням. Напряжение руки его показало, что он сделал усилие, от которого поднялась одна плита, и в отверстие заиграл перед глазами Валансолля рассвет, а благоуханный запах сменил для его обоняния тяжелую атмосферу подвала.

— Вот это прекрасно! — сказал он. — Мы в сеновале! Все-таки лучше.

Морган не отвечал и помог ему выйти наверх, а потом опустил плиту.

Валансолль огляделся: он был среди обширного здания, наполненного сеном; свет проникал туда в окошки, так изящно очерченные, что они не могли быть окнами сеновала. Между тем Морган придвинул на плиту пять или шесть связок сена, и ее не стало видно.

— Но, — сказал Валансолль, — мы не в сеновале?

— Влезь вон туда, на сено, да сядь подле окна, — отвечал Морган.

Валансолль повиновался: влез на сено, точно школьник, и уселся подле окна, как велел ему Морган, который немедля положил подле своего друга салфетку, где был пирог, хлеб, бутылка вина, два стакана, два ножа и вилки.

— Лукулл ужинает у Лукулла! — воскликнул Валансолль. В это же время он поглядел сквозь стекло окна и увидел здание со множеством окон, составлявшее, по-видимому, отдельную часть от того, в котором они находились. Перед боковым зданием расхаживал часовой.

— Мне и ужин будет не ужин, — сказал он, — если я не узнаю, где мы и что это за здание? И для чего там перед дверью расхаживает часовой?

— Если ты непременно хочешь знать, так я скажу тебе, — отвечал Морган. — Мы в Бурской церкви, превращенной постановлением муниципального совета в фуражный магазин. Это ближайшее к нам здание — казарма здешних жандармов, а часовой на карауле затем, чтобы кто-нибудь не помешал нам ужинать или не схватил нас во время сна.

— Храбрые люди! — сказал Валансолль, наливая стакан. — Выпьем за их здоровье, Морган!

— И за наше! — отвечал молодой человек, смеясь. — Головою отвечаю, что и не подумают искать нас здесь.

Едва Морган осушил свой стакан, как наперекор его словам послышался резкий возглас часового: «Кто идет?»

— Ага! — промолвили оба молодые человека. — Это что значит?

В самом деле, отряд человек из тридцати приближался со стороны Понт-Эна. Обменявшись паролем с часовым, взвод разделился: большая часть его, предводимая двумя человеками, должно быть, офицерами, вошла в казарму; остальные отправились дальше.

— Смотри, смотри, — сказал Морган. Оба они, привстав на колени, наострив слух, пристально глядя в окно, ожидали.

Объясним читателю, что было причиной этого внезапного случая, который не дал спокойно поужинать молодым людям, несмотря на то, что было уже три часа утра.

НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА

Дочь тюремщика не ошиблась: она точно видела Ролана, когда он говорил в тюрьме с жандармским капитаном. И Амели беспокоилась не напрасно, потому что Ролан, действительно, начал следить за Морганом. Он не явился в замок Черных Фонтанов не потому, что имел подозрение об участии Амели в судьбе начальника товарищей Ииуя, а потому, что опасался болтливости слуг.

Он также узнал Шарлотту, бывшую в гостях у своего отца, но так как она не показала ни малейшего удивления при виде его, то он подумал, что она не узнала его, тем более что, обменявшись несколькими словами с вахмистром, он пошел ждать его капитана на площади Бастиона, совершенно пустой в ночное время.

Туда пришел к нему жандармский капитан, окончив свои распоряжения в тюрьме. Ролан нетерпеливо ждал его, расхаживая вдоль и поперек. В присутствии тюремщика он только дал знать о себе, но тут он мог говорить подробно и вполне объяснил капитану цель своего путешествия.

Ролан выпросил у первого консула, чтобы ему была поручена организация преследования товарищей Ииуя.

Приказ военного министра предоставлял в его распоряжение гарнизоны не только Бура, но и окрестных городов. Приказ префекта полиции обязывал всех жандармских офицеров содействовать ему всеми их средствами.

Ролан, очень естественно, решил прежде всего обратиться к жандармскому капитану в Буре, потому что был знаком с ним давно и знал, что это человек исполнительный и смелый. Он нашел в нем то, чего искал: бургундский капитан жандармов был раздражен против товарищей Ииуя, которые останавливали дилижансы в четверти лье от города, и ему никак не удавалось наложить на них руку. Он знал донесения, посланные к министру полиции о трех последних нападениях, и понимал, как должен был гневаться министр. Но Ролан привел его в совершенное изумление, когда рассказал о своих приключениях в Сельонском монастыре, о ночи, проведенной им там, и особенно о том, что случилось в том же монастыре с сэром Джоном в следующую ночь.

До него доходили слухи, что гость г-жи де Монревель был ранен кинжалом, но так как никто не приносил жалобы на это, то он не почел себя вправе рассеивать мрак, в котором, казалось ему, Ролан хотел оставить это происшествие. В ту смутную эпоху хранители общественного порядка были снисходительнее, нежели в другое время. А Ролан не сказал ничего, представляя себе после, в удобное время, рассчитаться с жителями картезианского монастыря, обманщиками или убийцами.

На этот раз он приступил к исполнению своего намерения со всеми средствами и твердо решил, не иначе явиться к первому консулу, как с успехом. Впрочем, тут представлялось одно из тех приключений, каких искал Ролан: можно было и встретить опасность, и покрасоваться. Разве это не был случай пустить в игру свою жизнь против людей, которые, не щадя своей, вероятно, не пощадят и его жизни. Ролан и не думал приписывать истинной причине, то есть охранной отметке о нем Моргана, то счастье, с каким он избежал опасности в ночь, проведенную в картезианском монастыре, и в день сражения с Кадудалем. И как он мог предполагать, что крестик, написанный над его именем, служил ему таким надежным покровительством на двухстах пятидесяти лье расстояния, в разных концах Франции?

Впрочем, прежде всего надо было окружить картезианский монастырь в Сельонском лесу и обшарить все его тайные уголки; Ролан полагал, что он может выполнить это как нельзя лучше. Но в ночь его приезда уже нельзя было начать этого за поздним временем, и потому поиски были отложены до следующей ночи. В ожидании Ролан решил скрываться в жандармской казарме и не выходил из комнаты капитана, чтобы кто-нибудь не узнал, что он тут, и не стал догадываться о причине его приезда в Бур. На другой вечер он поведет команду, а в продолжение дня портной, из жандармов же, изготовит ему полный костюм вахмистра. Он станет выдавать себя за прикомандированного из Лон-ле-Сонье, от тамошней команды, и при помощи мундира не будет узнан, когда станет производить обыск в монастыре. Все исполнилось, как он предполагал.

В час пополудни Ролан возвратился с капитаном в казарму, пришел в его комнату, устроил себе там походную постель и заснул, как человек, прошедший два дня и две ночи в почтовой карете. На другой день он терпеливо стал чертить для руководства вахмистра план Сельонского монастыря, так что с этим планом, даже без помощи Ролана, можно было распорядиться осмотром.

У капитана было под командой всего восемнадцать солдат, а так как ими нельзя было окружить картезианского монастыря, или, лучше сказать, нельзя было стеречь два выхода и производить обыск внутри, и так как понадобилось бы дня два или больше для сбора всей команды, рассеянной по окрестностям, следовательно, надо было бы ждать, — то капитан, по приказанию Ролана, отправился днем к полковнику драгунского полка, стоявшего гарнизоном в Буре, сообщить о предстоявшей экспедиции и попросить у него двенадцать человек, так чтобы с жандармами составилось тридцать человек команды.

Полковник не только согласился дать двенадцать человек, но, услышав, что экспедиция будет под начальством начальника бригады Ролана де Монревеля, адъютанта первого консула, объ-

вил, что сам желает участвовать в этой экспедиции и примет начальство над своими двенадцатью людьми.

Ролан согласился, и после этого условились, что полковник — мы употребляем без различия названия полковника или начальника бригады, потому что это означает одинаковый чин, — полковник и двенадцать драгунов присоединят к себе мимоходом Ролана и восемнадцать жандармов с их капитаном, так как жандармская казарма находилась на дороге в Сельонский монастырь. Выступить назначено было в одиннадцать часов.

В одиннадцать часов по-военному, то есть ровно в одиннадцать часов, полковник со своими двенадцатью драгунами присоединился к жандармам, и все вместе выступили из казарм.

Ролан, бывший в костюме жандармского вахмистра, сказал о себе только драгунскому полковнику, но для драгунов и жандармов он, как условились наперед, был вахмистр, прикомандированный из команды, стоявшей в Лон-ле-Сонье. А чтобы не удивлялись, как мог вахмистр, не знакомый с местностью, быть путеводителем, сказали солдатам, что Ролан в молодости находился послушником в Сельоне, почему и знает лучше, нежели кто-нибудь, самые тайные закоулки монастыря.

По первому впечатлению, эти добрые солдаты сочли себя немного униженными, что их будет вести бывший монах, но так как треугольная шляпа сидела на голове его довольно молодежато, а выправка показывала, что этот человек, нося мундир, совершенно забыл о монашеском наряде, который он когда-то носил, то солдаты примирились со своим маленьким унижением и хотели составить себе окончательное мнение о незнакомом вахмистре, когда увидят, как он будет владеть ружьем, которое держал на руке, пистолетами, которые были у него за поясом, и саблю, висевшую сбоку.

Запасшись факелами и соблюдая совершенную тишину, выступили тремя отрядами: в первом было восемь человек под командою капитана, во втором десять человек под командою драгунского полковника, в третьем двенадцать человек под командой Ролана. По выходе из города разделились. Жандармский капитан, знавший местность лучше полковника драгунов, взялся стеречь окно в Ла Коррери, выходившее в Сельонский лес. С ним было восемь жандармов. Драгунскому полковнику Ролан поручил стеречь большие ворота монастыря. С ним было пять драгунов и пять жандармов. Ролан принял на себя обыск внутри здания; с ним было пять жандармов и семь драгунов. Условились, что, когда на часах церкви в Перрона будет бить одиннадцать с половиной. Ролан с своими людьми перелезет через стену в сад.

Жандармский капитан шел по Понт-Энской дороге до опушки леса и потом, все по той же опушке, пришел к назначенному ему месту. Драгунский полковник прошел по окольному пути от большой Понт-Энской дороги к воротам монастыря. Ролан

не держался никакой дороги и подошел к стене сада, где уже прежде, при других обстоятельствах, как мы помним, перелезал два раза.

Когда было одиннадцать с половиной часов, он дал знак своим людям и перелез через стену: жандармы и драгуны за ним. Перекинувшись через стену, они еще не знали, был ли Ролан храбр, но увидели, что он очень ловок. В темноте он указал им ворота, к которым надо было идти: они вели в самый монастырь. Потом он первый пошел по высокой траве, первый толкнул ворота и очутился в ограде.

Там все было мрачно, немо, пустынно. Ролан, продолжая служить путеводителем другим, вошел в трапезную залу. Везде безмолвие, пустыня. Он прошел под сводами коридора и до самого выхода из него в сад не спугнул никого, кроме сов и летучих мышей. Из сада оставалось пройти только водоем, могильный склеп и павильон или, лучше сказать, лесную часовню. Ролан вступил в водоем и там, на последней ступени, зажег три факела; один отдал жандарму, другой драгуну, третий оставил себе и поднял плиту, закрывавшую вход. Люди, шедшие с ним, начали верить, что он столь же храбр, сколько и ловок.

Пройдя подземный переход, нашли, что первая решетка в нем была задвинута, но не заперта. За нею в могильном склепе господствовали не только безмолвие и уединение, но и смерть. У самых храбрых волосы становились дыбом. Ролан переходил от могилы к могиле, стучал в гробницы деревом своего пистолета — отзыве не было. За могильным склепом встретили вторую решетку и вошли в часовню. То же безмолвие, та же пустыня; все покинуто, и, можно было подумать, уже с давних лет. Ролан подошел прямо к хорам; там, на плитах, еще видна была кровь; никто не позаботился стереть ее. Дальше искать было нечего, но Ролан не мог решиться уйти. Он подумал, что не нападали на него, может быть, потому, что видели его многочисленное прикрытие. Он оставил десять человек с одним факелом в часовне и велел им, через разрушенное окно, вступить в сообщение с жандармским капитаном, скрытым в лесу, в нескольких шагах от окна, а сам с двумя человеками пошел назад.

На этот раз два человека, шедшие за ним, подумали, что он более нежели храбр — дерзок. Но Ролан даже не беспокоился, следовал ли за ним кто-нибудь, и шел по своим собственным следам, не находя следа разбойников. Два человека шли за ним, потому что не идти было бы им стыдно. Положительно, монастырь казался оставленным.

Пришедши к главным воротам, Ролан перекликнулся с полковником драгунов; полковник и с ним десять человек были тут. Ролан отпер ворота и присоединился к ним. Они ничего не видали, ничего не слышали. Все вместе вступили в ворота, задвинули и заперли их за собой, чтобы разбойники не могли выйти, если бы,

по счастью, они еще встретились; потом пошли к своим товарищам, которые уже соединились с отрядом капитана и вместе с ним ожидали Ролана в часовне.

Надо было решиться идти назад: пробило два часа утра; почти три часа было посвящено бесполезному обыску.

Ролан восстановил свою добрую славу в глазах драгунов и жандармов. Они находили, что бывший послушник — ничего, хорош. А он с большим сожалением дал знак к возвращению, отворив дверь часовни, выходящую в лес. На этот раз, уже не надеясь встретить никого, Ролан только затворил дверь за собой. Ускоренным шагом пошел весь небольшой отряд по дороге в Бур.

Капитан с своими восемнадцатью жандармами и Роланом возвратился в казарму после оклика часового, а полковник и двенадцать драгунов пошли далее, в город.

Этот-то оклик часового привлек к себе внимание Моргана и Валансолля. Возвращение восемнадцати человек в казарму прервало их ужин, и, наконец, этот непредвиденный случай заставил Моргана сказать: «Смотри!» В самом деле оба молодых человека находились в таком положении, что надо было смотреть зорко.

Ужин был прерван; челюсти перестали работать и предоставили глазам и ушам полную свободу отправлять свою обязанность.

Жандармы входили в свои помещения, не зажигая огня, так что в многочисленных окошках казармы ничто не привлекало к себе внимания молодых людей, и оно могло сосредоточиться на одном предмете. Среди темных окошек осветились два, почти напротив того окна церкви, где ужинали двое друзей. Эти два окна были в первом этаже, но так как Морган и Валансолль сидели высоко на сене, то и находились немного выше противоположных окон, то есть могли глядеть на них с возвышения.

Освещенные окна были в комнате капитана. От беззаботности ли его или от нищеты казны, в окнах не было занавесок, так что, благодаря двум свечам, зажженным капитаном в честь гостя, Морган и Валансолль могли видеть все, что происходило в комнате.

Вдруг Морган схватил Валансолля за руку и крепко сжал ее.

— Ну? — спросил Валансолль. — Что еще нового?

Ролан кинул свою треугольную шляпу на стул, и Морган узнал его.

— Ролан де Монревель в мундире жандармского вахмистра! — сказал он. — Теперь мы попали на его след, пока он еще только ищет нашего. Не надо же терять его из виду.

— Что ты делаешь? — спросил Валансолль, видя, что друг хочет удалиться от него.

— Иду предупредить наших товарищей, а ты оставайся здесь и не теряй его из виду; он отстегивает свою саблю и кладет пистолеты; вероятно, он проведет ночь в комнате капитана, а завтра,

какую бы он ни избрал дорогу, один из нас будет везде по его пятам.

Морган скатился по сему вниз и исчез из глаз своего товарища, который, сидя, как сфинкс, не терял Ролана из виду.

Через четверть часа Морган возвратился, и уже окна жандармского офицера были темны, так же как все остальные окна казармы.

— Ну? — спросил Морган.

— Да что «ну»! — отвечал Валансолль. — Все кончилось самым прозаическим образом. Они разделись, погасили свечи и легли, капитан на своей постели, а Ролан на матраце. Вероятно, теперь они храпят один другого лучше.

— В таком случае желаю спокойной ночи им, да и нам, — сказал Морган.

Через десять минут желание это уже исполнилось: оба спали, как будто опасность не была подле них.

Глава ХLI

ПОЧТОВАЯ ГОСТИНИЦА

В тот же самый день, около шести часов утра, то есть при восходе солнца, в холодную и сырую погоду февраля месяца, всадник на почтовой лошади, и перед ним, также верхом, ямщик, который должен был привести почтовую лошадь обратно, выезжали из Бура по дороге в Макон или Сен-Жюльен.

Говорим: в Макон или Сен-Жюльен потому, что в одном лье от Бресской столицы дорога раздваивается далее; направо ведет она в Сен-Жюльен, налево в Макон.

На этом распутье всадник готов был повернуть в Макон, когда услышал, что голос, выходящий, как казалось, из-под опрокинутой телеги, призывал на помощь. Всадник велел почтальному посмотреть, что там такое.

Бедный огородник лежал под опрокинутым возом овощей. Верно, он хотел поддержать воз в то время, как колесо, слишком подвинувшись к канаве, теряло равновесие, и воз опрокинулся на возницу, но так счастливо, что, кажись, говорил он, не изломал его самого, поэтому он и просил только пособить ему поднять телегу, а уж он надеялся сам стать на ноги.

Всадник был жалостлив к ближнему: он не только позволил ямщику остановиться и высвободить огородника, но сам слез с коня и своею силой, какой нельзя было бы ожидать от человека среднего роста, помог ямщику поднять телегу и даже вытащить ее на дорогу.

После этого он хотел пособить и человеку подняться на ноги, но огородник правду сказал, что он был цел, и если ноги плохо поддерживали его, то единственно оттого, что пьяный уж непременно

но выписывает ими кренделя. Он рассыпался в благодарности и взял свою лошадь под уздцы для того, чтобы вести ее, да вместе и держаться за нее.

Между тем всадники вскочили на своих лошадях и быстро поскакали. Но едва не стало их видно за поворотом дороги в лес Монне, как огородник вдруг переменялся во всем. Он остановил свою лошадь, выпрямился, поднес к губам небольшую трубу и протрубил в нее три раза.

Из леса, окружающего дорогу, человек, вроде конюха, вышел, ведя за собой господскую лошадь. Огородник поспешно сбросил с себя блузу и брюки из толстой ткани и очутился в камзоле, в лосинных панталонах и в сапогах с отворотами. Он отыскал в телеге узел, вынул оттуда зеленый охотничий фрак с золотыми нашивками, отряхнул его и надел, а сверху накинул на плечи плащ каштанового цвета. Конюх подал ему шляпу, приличную при таком щегольском костюме, привинтил шпоры к его сапогам, и после этого щеголь вскочил на лошадь с ловкостью опытного наездника.

— Будь сегодня вечером в семь часов, — сказал он конюху, — между Сен-Жюстом и Сейзериа: там встретишь Моргана, так скажи ему, что тот, кого он знает, едет в Макон, но что я буду там прежде его.

В самом деле, не заботясь о телеге с овощами, которую, впрочем, он оставлял своему слуге, мнимый огородник, а в действительности наш старый знакомый Монбар обернул голову своего коня к лесу Монне и пустился вскачь.

Он ехал не на плохой почтовой лошадке, как Ролан, а на превосходной скаковой лошади, так что вскоре настиг и обогнал двух всадников, ехавших через лес Монне. Его конь, кроме краткого отдыха в Сен-Сир-сюр-Мантон, в один переезд и меньше чем в три часа перенес его от Бура в Макон. В Маконе Монбар остановился в почтовой гостинице, тогда единственной, которая славилась как сборное место всех знатных путешественников. Впрочем, хозяин ее встретил Монбара как старого знакомого.

— Это вы, г. де Жаиа, — сказал хозяин. — А мы еще вчера говорили, куда это вы девались, что больше месяца не видать было вас в нашей стороне.

— Будто так давно, любезный друг? — сказал молодой человек, картавя по-модному. — А, да честное слово! Был у друзей, у Треффов, у Готкуров; знаете их, хоть по имени?

— И по имени, и лично знаем.

— Охотились, у них чудесные экипажи, честное слово! А что, завтракают у вас сегодня?

— Почему же нет!

— Ну, так велите подать мне цыпленка, бутылку бордо, две котлеты, немного фруктов.

— Сию минуту. Прикажете подать в вашей комнате или в общей зале?

— В общей зале, там веселее: только велите накрыть мне особый столик. Да, — не забудьте моего коня; это чудесное животное; люблю его больше, нежели иных христиан, честное слово!

Хозяин отдал приказание; Монбар стал против камина, откинул свой плащ и грел свои икры.

— А почту вы еще все содержите? — спросил он у хозяина, как бы не желая прекратить разговора.

— Я думаю!

— Так у вас останавливаются дилижансы?

— Не дилижансы, а почтовые кареты.

— Ах, так скажите, — мне надо на днях ехать в Шамбери, — сколько мест в почтовой карете?

— Три: два внутри и одно с провожатым.

— А могу ли я рассчитывать на свободное место?

— Иногда еще можно; а все-таки вернее иметь свою коляску или свой кабриолет.

— А вперед нельзя записаться на место?

— Нет, потому что, видите ли, г. де Жаиа, когда есть путешественники от Парижа до Лиона, так места уже за ними.

— Каковы аристократы! — сказал, смеясь, Монбар. — Да, кстати, об аристократах. Сюда едет один на почтовой лошади. Я обогнал его за четверть лье от Поллиа. Мне показалось, что клепер его с одышкой.

— Не диво, — отвечал хозяин. — Собратья мои держат плохих лошадей.

— А, да вот он и сам, — сказал Монбар. — Я думал, однако ж, что опередил его больше.

Действительно, в эту минуту Ролан быстро проехал перед окнами во двор.

— Вы займете по-прежнему комнату № 1, г. де Жаиа? — спросил хозяин.

— А на что вам знать?

— Да ведь эта комната лучшая, и, когда вы не возьмете ее, мы отдадим ее новому приезжему, если только он здесь остановится.

— О, пожалуйста, не думайте обо мне. Я только в продолжение дня узнаю, останусь ли или уеду. Если новый приезжий останется, как вы говорите, отдайте ему № 1; я удовольствуюсь № 2-м.

— Подано кушанье! — провозгласил Монбару слуга, явившийся в дверях, которые ввели к кухне.

По этому приглашению Монбар вошел в общую залу в то самое время, когда Ролан проходил в кухню. Кушанье было уже на столе. Он сел так, чтобы оставаться спиной к двери. Но предосторожность его оказалась излишней: Ролан не входил в общую

залу и не помешал ему спокойно окончить свой завтрак. Только во время десерта сам хозяин принес кофе, и Монбар понял, что этот почтенный человек в сильном расположении поговорить с ним, а гостю это было чрезвычайно кстати: он желал выведать от него кое-что.

— Ну, что же случилось с этим господином? — спросил Монбар. — Он только переменял здесь лошадь?

— Нет, нет, нет, — отвечал хозяин. — Как вы сказали, это аристократ. Потребовал завтрак к себе в комнату.

— В свою или в мою? — спросил Монбар. — Потому что, я уверен, вы отдали ему знаменитый № 1-й?

— Вот, г. де Жаиа, да ведь вы сами виноваты; вы сказали, что я могу располагать номером?

— А вы хорошо сделали, что распорядились, как я сказал. Я удовольствуюсь номером 2-м.

— О, там будет вам не хорошо: комната отделена от № 1-го только перегородкой; слышно все, что делается и говорится.

— А, любезный хозяин, так вы думаете, что я приехал к вам вести себя неприлично или петь возмутительные песни? Вы боитесь, что подслушают мои слова, узнают, что я делаю?

— О, совсем не то!

— А что же?

— Я не боюсь, что вы помешаете другим; боюсь, что вам помешают.

— А, так этот молодой человек буян?

— Нет, но с виду он похож на офицера.

— Что же заставило вас подумать это?

— Во-первых, его манеры; потом он спрашивал, какой полк стоит в Маконе; я сказал: 7-й конно-егерский, а он: прекрасно, говорит, знаю, говорит, бригадного начальника, друг мне; не может ли, говорит, ваш мальчик отнести к нему мою карточку да спросить, не пожелает ли завтракать со мной.

— Ага!

— Ну, известное дело, сойдутся офицеры, так будет и крик, и стук. Может быть, станут не только завтракать, но и обедать и ужинать.

— Я уже сказал вам, мой любезный хозяин, что не надеюсь иметь удовольствие провести у вас ночь; ожидаю с сегодняшнему почтой писем из Парижа, и они решат, что мне делать. Между тем, велите затопить камин в № 2-м, но чтобы как можно меньше стучали и беспокоили моего соседа. Велите также принести мне перо, чернил и бумаги, мне надо писать.

Приказания Монбара были исполнены в точности, и он сам вошел в комнату вслед за прислужником, желая проследить, чтобы Ролана не потревожило его соседство. Комната была точно такова, как описал ее хозяин: в ней и в смежной с нею нельзя было сделать движения, ни сказать слова, чтобы это не было слышно соседу.

Потому-то Монбар ясно услышал, как слуга гостиницы известил Ролана о приезде бригадного командира Сен-Мориса, как звучали шаги в коридоре, как раздались восклицания друзей, обрадованных свиданием после долгой разлуки.

Ролан, с своей стороны, развлеченный на минуту стуком в соседней комнате, забыл о нем, так как не слышал его больше, и не боялся, что он возобновится. А Монбар, оставшись один, сел к столу, где было все нужное для письма, и оставался неподвижен.

Ролан и Сен-Морис знали друг друга в Италии, где первый даже находился под командою второго, когда этот был капитаном, а Ролан поручиком. Теперь чины их были равны; кроме того, Ролан имел двойное поручение, от первого консула и от префекта полиции; а это давало ему право приказывать не только равным, но, в границах поручения, даже и старшим его.

Морган не ошибался, когда предполагал, что брат Амели преследует товарищей Ииуя: если бы не доказывали этого ночные разыскания в Сельонском монастыре, то доказал бы разговор молодого офицера с товарищем, а можно догадаться, что разговор их слышали. Первый консул точно посылал пятьдесят тысяч франков в виде подарка Сен-Бернардским отшельникам; эти пятьдесят тысяч точно были посланы с почтой, но служили только ловушкой, в которую думали изловить грабителей дилижансов, если бы эти господа не были захвачены в Сельонском монастыре или в каком-нибудь другом убежище.

Оставалось узнать: как схватят их? Об этом-то, завтракая, долго спорили два офицера. За десертом они договорились, и план был утвержден.

В тот же вечер Морган получил письмо, где писали ему:

«Три места в почтовой карете: переднее и два внутри уже взяты для трех путешественников, которые сядут — первый в Сан, два другие в Тоннерре. Эти путешественники будут: в переднем месте один из самых храбрых агентов гражданина Фуше, а внутри Ролан де Монревель и начальник 7-й конно-егерской бригады, квартирующей в Маконе. Они, чтобы отклонить подозрения, будут в партикулярном платье, но вооружены с головы до ног. Двенадцать конных егерей, с мушкетонами, пистолетами, саблями, будут ехать за почтовой каретой на таком расстоянии, чтобы подоспеть к самому разгару дела. Первый выстрел из пистолета послужит им сигналом скакать во весь карьер и напасть на грабителей.

Мое мнение: несмотря на все эти предосторожности, и даже именно потому, что они приняты, все-таки напасть в назначенном месте, то есть около Белого Дома.

Если таково же мнение товарищей, пусть дадут мне знать. Я буду править лошадьми почтовой кареты от Макона до Белльвиля. Мое дело будет управиться с начальником бригады; пусть один из вас управится с агентом гражданина Фуше. Что же

касается Ролана де Монревеля, ему не приключится ничего, потому что я беру на себя, известным мне и мной изобретенным способом, помешать ему выйти из кареты.

Шамберийская почта будет проходить мимо Белого Дома в субботу, ровно в шесть часов вечера.

В ответ напишите только: суббота, шесть часов вечера, и все пойдет как по маслу.

Монбар»

Пожаловавшись своему хозяину, что шумливый сосед не дает ему покоя, Монбар был перемещен в комнату на другой стороне гостиницы. Там в полночь разбудил его курьер, в виде которого явился тот же самый конюх, который вывел ему на дорогу оседланную лошадь. Он привез к г-ну де Жаиа письмо, где были только следующие слова, с припиской:

«Суббота, шесть часов вечера.

Морган

P.S. Не забывать, даже во время боя, то есть особенно во время боя, что жизнь Ролана де Монревеля обеспечена».

Молодой человек прочитал этот ответ с видимой радостью. Дело шло уже не об обыкновенной остановке дилижанса: на этот раз готовились состязаться за честь различных мнений храбрые люди. Дело шло не только о золоте, которое рассыплют на большой дороге, но и о крови. Не на пистолетах кондуктора, без пуль, в руках ребенка, будет сражение, а смертоносным оружием в руках опытных солдат, привыкших владеть им.

Впрочем, для приготовлений оставался еще целый день, только что начинавшийся, и весь следующий день, Монбар спросил у конюха об одном: кто будет очередной ямщик, который повезет почту в субботу, в пять часов из Макона до Белльвиля? Он велел ему купить четыре пробоа и два висячих замка с ключами. Он уже знал, что почта придет в четыре с половиной часа в Макон и отправится оттуда ровно в пять часов. Видно, что Монбар наперед принял все меры, потому что, отдав свои поручения слуге, он отпустил его, как человек, которому надо хорошенько выспаться.

На другой день он встал или, лучше сказать, вышел из своей комнаты в девять часов утра. Очень непринужденно спросил он у хозяина, что подельывает его шумливый сосед? В шесть часов утра сосед уже отправился в почтовой карете, проходившей из Лиона в Париж, с своим другом бригадным начальником конных егерей, и хозяин слышал, что они оставили за собой места до Тоннера.

Впрочем, как де Жаиа заботился о молодом офицере, так с своей стороны офицер заботился о нем; расспрашивал, кто он, обыкновенно ли приезжает в гостиницу и не согласится ли продать свою верховую лошадь. Хозяин отвечал, что он очень хорошо знает г-на де Жаиа, что г. де Жаиа обыкновенно останавливается в его гостинице, когда по своим делам приезжает в Макон, а что

касается до его лошади, то он, конечно, не продаст ее, потому что очень любит этого коня и не расстанется с ним ни за какую цену. Путешественник не настаивал больше на этом и уехал.

После завтрака де Жаиа, по-видимому, ничем не занятый, велел оседлать своего коня, сел на него и выехал по Лионской дороге. Пока он ехал по городу, он позволял своему коню красоваться поступью, приличной благородному животному; но за городом он подобрал поводья и сжал колени. Этого было довольно смышленной лошади: она понеслась галопом.

Монбар проехал через деревни Варенн, Крешь, Генше и остановился у Белого Дома. Местно это было такое, как описал Валан-солль, и удивительно удачно избрано для засады. Белый Дом находился в глубине небольшой долины, между спуском с одной стороны и подъемом с другой; на углу его сада протекал безымянный ручеек, впадавший в Сону около Шалля. Густые и высокие деревья росли по берегам реки и, продолжаясь полукругом, окружали дом. Самый дом, бывший когда-то гостиницей разорившегося содержателя, уже лет семь или восемь был заперт и начинал разрушаться. В некотором расстоянии от этого дома дорога от Макона делала загиб.

Монбар обозрел местность с таким вниманием, как инженер, которому поручено избрать место для сражений; вынул из кармана портфель, карандаш и начертил верный план позиции. Затем он воротился в Макон.

Через два часа конюх его уже отправился к Моргану с планом, а своему господину передал имя ямщика, который должен был везти почту. Человек этот назывался Антуан. Слуга исполнил и другое поручение: купил четыре пробоيا и два замка.

Монбар велел принести к себе бутылку старого бургонского вина и позвать Антуана. Через десять минут Антуан входил в комнату. Он был высокий и красивый малый лет двадцати пяти или шести, почти роста Монбара: это заметил Монбар с удовольствием, смерив его глазами. Ямщик остановился на пороге и, поднося руку к шляпе по-военному, сказал:

— Гражданин спрашивал меня?

— Ты Антуан?

— К вашим услугам, если могу служить вам и честной компании.

— Ну да, мой друг, ты можешь услужить мне; запри-ка дверь, да поди сюда.

Антуан запер дверь, вошел в комнату и остановился в двух шагах от Монбара, опять приложив руку к шляпе.

— Вот и мы, хозяин.

— Во-первых, — сказал Монбар, — выпьем по стакану вина за здоровье твоей возлюбленной.

— Какая у нашего брата возлюбленная, — промолвил Антуан, — это у господ бывают возлюбленные, а уж нам куда!

— Не хочешь ли ты уверить меня, плут, — сказал Монбар, — что такой молодец, как ты, ведет монастырскую жизнь?

— Ну, нет, я не говорю, что я свят, как монах; нет, там и сям, по большой дороге, есть зазнобушки.

— То есть, в каждом шинке, где ты останавливаешься на обратном пути с лошадьми выпить чарку или закурить трубку?

— Дело! — промолвил Антуан, сделав особенное движение плечами. — Надо и повеселиться.

— Ну так выпей же этого винца, приятель; уверяю, что от него ты и не заплачешь.

Монбар взял сам стакан вина и сделал ямщику знак, чтобы он взял другой.

— За здоровье ваше и вашей честной компании.

Это приятельское выражение у молодцеватого ямщика означало нечто особенно учтивое, без всяких отношений к какой бы то ни было честной компании.

— Да! — сказал он, выпив и прищелкнув языком. — Винцо-то с букетом, а я проглотил его, как молодую бурду, и не посмаковал.

— Напрасно, Антуан.

— Известно, что напрасно.

— Ну, да это можно поправить, — сказал Монбар, наливая второй стакан.

— Только не выше пальца, хозяин, — промолвил лукавый ямщик, держа свой стакан так, что палец был вровень с краями.

— погоди! — заметил Монбар в то мгновение, когда Антуан готов был поднести стакан ко рту.

— Вовремя сказали, — отвечал тот, — а то бы уже проскользнул он, бедняжка. Что же надобно?

— Ты не хотел, чтобы я пил за здоровье твоей возлюбленной, но уж, верно, не откажешься выпить за здоровье моей.

— В этом отказать нельзя! Да, никак нельзя не выпить таким винцом! За здоровье вашей возлюбленной и ее честной компании! — Он проглотил красный напиток, посмаковав его на этот раз.

— Ну, ты все-таки поторопился, любезный друг! — сказал Монбар.

— Неужели? — спросил почтальон.

— Да. Что, если у меня не одна возлюбленная? Когда не назвать, за здоровье которой пьем, то какая ей польза от этого?

— А ведь правда!

— Хоть и жаль, а надо начать снова, мой друг.

— Что же, начнем! С таким барином, как вы, нельзя не быть исправным. Ошибся, так и поправляй ошибку.

Антуан протянул руку, держа стакан, а Монбар наполнил его до краев. Ямщик бегло взглянул на бутылку и увидел, что она совершенно опорожнена.

— Теперь, — сказал он, — уже не надо ошибаться. Как зовут ее?

— За здоровье хорошенькой Жозефины! — провозгласил Монбар.

— За здоровье хорошенькой Жозефины! — повторил Антуан и выпил бургонское с наслаждением, которое, кажется, возрастало у него с каждым глотком. Потом он вытер губы рукавом и, ставя свой стакан на стол, промолвил:

— Послушайте, хозяин...

— Слушаю, — отвечал Монбар. — Разве еще что-нибудь не ладно?

— Кажись, так. Мы оплошали; ну, да уж теперь не воротись.

— Отчего так?

— Да бутылка-то опорожнена.

— Эта, а не эта, — сказал Монбар, взявши из угла камина другую раскупоренную бутылку.

— Ага! — промолвил Антуан, и лицо его просветлело от радостной улыбки.

— Что же? Можно воротить?

— Можно! — отвечал почтальон и опять подставил свой стакан, который Монбар наполнил так же добросовестно, как и в первые три раза.

— Ну, — продолжал Антуан, рассматривая к свету рубиновый напиток, блиставший в его стакане, — так я говорил вам, что мы выпили за здоровье хорошенькой Жозефины?

— Да.

— Но ведь во Франции Бог знает сколько Жозефин.

— Правда, Антуан. А сколько их? Как ты думаешь?

— Я думаю, тысяч сто.

— Согласен, что ж потом?

— Ну, из этих ста тысяч, я полагаю, только десятая часть хороших.

— Это много.

— Ну, положим, двадцатая.

— Положим.

— Выходит пять тысяч.

— Да ты хорошо знаешь арифметику, Антуан!

— Я сын школьного учителя.

— Ну?

— За какую же из этих пяти тысяч пили мы, а?

— Действительно, ты прав, Антуан. К имени надобно прибавить фамилию; так за здоровье хорошенькой Жозефины...

— Постойте, постойте: стакан уже почат, не годится, чтобы здоровье пошло впрок, надо опорожнить стакан и снова налить.

Он поднес стакан ко рту и тотчас сказал:

— Вот и опорожнен.

- А вот и наполнен, — прибавил Монбар и наполнил его из бутылки.
- Так договаривайте же: за здоровье хорошенькой Жозефины...
- Жозефины... Лоллие.
- Монбар опорожнил свой стакан, но Антуан сказал: «Постойте же, погодите... Жозефина Лоллие, я знаю Жозефину Лоллие».
- Я и не спору.
- Да ведь у содержателя почты в Бельвилле дочь Жозефина Лоллие.
- Именно.
- Тю, тю, тю! — произнес, ослабившись, Антуан. — Ну, хозяин, счастье вам! Как не выпить за здоровье хорошенькой Жозефины Лоллие! — И он проглотил пятый стакан бургонского.
- Ну, теперь понимаешь ли ты, — спросил Монбар, — зачем я позвал тебя к себе?
- Нет, но, право, я не сержусь на вас.
- Какой ты добряк.
- Я? О, право, добряк.
- Слушай же, я скажу тебе.
- Я только и делаю, что слушаю. Да не были ли вы лекарем глухих, хозяин?
- Нет, но я довольно живал с пьяницами, — отвечал Монбар, снова наполняя стакан ямщика.
- Тот еще не пьяница, кто любит вино, — заметил Антуан.
- Совершенно так, приятель: пьяница, кто не переносит вина и падает от него.
- Вот это так, — сказал Антуан, который, кажется, очень хорошо переносил вино. — Ну-с?
- Ты сказал, что не понимаешь, зачем я позвал тебя?
- Сказал.
- Но, конечно, догадываешься, что позвал я тебя с каким-нибудь намерением?
- У всякого человека есть хорошее или дурное, как говорит наш патер, — нравоучительно заметил Антуан.
- Мое намерение, приятель, очень хорошее: пробраться ночью, так чтобы никто не заметил, во двор Николая Лоллие, содержателя почты в Бельвилле.
- В Бельвилле, — повторил Антуан, следя за словами Монбара со всем вниманием, к какому был еще способен, — понимаю, вы хотите пробраться во двор Николая Лоллие, содержателя почты в Бельвилле, чтобы повидаться с хорошенькой Жозефиной. А, какой проказник!
- Ты ведь угадал, любезный Антуан: я хочу пробраться потихоньку, скрытно, потому что старик Лоллие все узнал и запретил своей дочери принимать меня.
- Смотри, пожалуй! Да я-то что же могу тут?

- Ты еще не совсем понимаешь, Антуан. Выпей вот этот стакан, так и поймешь.
- Что правда, то правда, — отвечал Антуан и выпил шестой стакан вина.
- Так что ты можешь, Антуан?
- Да, что же я могу? О том и спрашиваю.
- Ты можешь все, любезный друг!
- Я?
- Ты.
- А, любопытно узнать это! Поясните, поясните, — прибавил он, подставляя стакан.
- Ты отвозишь завтра почту в Шамбери?
- Да, кажись, что так, в шесть часов.
- Ну, что, если бы Антуан был добрый малый?
- Он и есть таков.
- Ну, так вот что делает Антуан...
- Посмотрим, что он делает.
- Сначала осушает свой стакан.
- Это не так трудно... Вот и готово.
- Потом он берет себе десять луидоров.
- Монбар раздвинул на столе десять луидоров.
- Ах, ох! — заговорил Антуан. — Желтушки, настоящие! А я думал, что эти чертенки все перебрались за границу.
- Ты видишь, что и остались.
- А что должен сделать Антуан, чтобы они перешли в его кошелек?
- Антуан должен ссудить мне лучшее свое платье.
- Вам?
- И уступить свое место завтра вечером.
- Да, да, чтобы вы могли повидаться с хорошенькой Жозефиной и другие не заметили бы этого.
- Ну, да! В восемь часов я в Белльвилле; приезжаю, говорю, что лошади устали, и даю им отдыхать до десяти часов; а от восьми до десяти...
- Невидимкой, и назло дяде Лоллие!
- Ну, что же, Антуан: идет?
- Идет! Сам молод, так и стараюсь за молодых, сам не женат, так и держу сторону неженатых, а когда состарюсь, да буду папаша, так буду за папаш и за стариков!
- Итак, мой честный Антуан, ты ссудишь мне свою лучшую куртку и лучшие штаны?
- Как нарочно у меня есть куртка и штаны, которых не надевал ни разу.
- Ты отдаешь мне свое место?
- С удовольствием.
- Вот же тебе пять луидоров.
- А остальные?

— Завтра, как стану надевать сапоги, только ты не забудь, для безопасности...

— Что такое?

— Да ведь говорят много о разбойниках, которые грабят дилижансы, так не забудь привязать чушки к седлу.

— На что?

— А сунуть в них пистолеты.

— Подите! Да неужели вы станете драться с этими славными молодыми людьми?

— Как? Ты называешь славными молодыми людьми разбойников, которые обирают дилижансы?

— Да какие же они разбойники, когда грабят деньги правительства?

— Ты так думаешь?

— Да не один я, а многие другие так думают. Я знаю только то, что будь я судья, так я не осудил бы их.

— А еще выпил бы за их здоровье, может быть?

— Почему же нет, когда б вино было хорошо?

— Ну-ка, ну! — сказал Монбар, выливая в его стакан все остальное вино из второй бутылки.

— А знаете пословицу, хозяин?

— Какую?

— Сказал дурак слово, так скажет и другое. За здоровье товарищей Ииуя.

— На здоровье! — промолвил Монбар.

— А пять луидоров? — заметил Антуан, ставя на стол свой стакан.

— Вот они.

— Спасибо, чушки будут у подседельной, но, пожалуйста, не кладите в них пистолетов, а уже если положите, то сделайте как дядя Жером, женевский кондуктор: не заряжайте пистолетов пулями.

После этого человеколюбивого совета ямщик раскланялся с Монбаром и вышел, напевая пьяным голосом:

Возьму поутру встану

И в рощицу пойду,

Там спящую пастушку

Наверно я найду.

— Дружок, — шепну ей нежно,

Она проснется: — Что?

— Бонтесь пастуха вы?

— Не страшен мне никто!

Монбар усердно прислушивался к пению до конца второго куплета, но голос певца стал теряться в отдалении, и надобно было сказать прости и ему, и песне.

ШАМБЕРИЙСКАЯ ПОЧТОВАЯ КАРЕТА

На другой день, в пять часов после обеда, Антуан, верно, боясь опоздать, уже надевал сбрую на трех лошадей, которые должны были везти почтовую карету. Помня требование Монбара, он привязал к подседельной лошади чушки и, оставаясь во дворе почтовой гостиницы, иногда посматривал на окошко, выходявшее во двор над черной лестницей. Занавеска в окошке была немного отдернута, и кто жил в маленькой комнате, откуда было это окошко, тот мог видеть в сумерках зимнего вечера, что происходило во дворе. Антуан как будто давал отчет в каждом своем движении и действии какому-то неведомому наблюдателю, скрытому за занавеской.

В пять часов тридцать пять минут послышался стук едущей почтовой кареты и хлопанье бича. Через минуту карета быстро въехала во двор и остановилась под окнами комнаты (на которую так внимательно поглядывал Антуан), не более как в трех шагах от последней ступени черной лестницы.

Если бы кто-нибудь мог, хотя и без особенного участия, обратить внимание на мелочную подробность, то заметил бы, что занавеска окна вдруг отдернулась настолько, что обитатель комнаты над лестницей мог видеть, кто выходил из почтовой кареты.

Оттуда вышли три человека. Они с обыкновенной поспешностью проголодавшихся путешественников направились к той стороне гостиницы, где были ярко освещены окна общей залы.

Едва вошли они туда, как по черной лестнице сошел щеголеватый ямщик, но еще не в больших своих сапогах, а в тоненьких башмаках, на которые он должен был надеть сапоги. Он свистнул очень тихо, но так, что привлек внимание Антуана, который подбежал к нему с своими большими сапогами и плащом. Щеголеватый ямщик надел большие сапоги Антуана, сунул ему в руку пять луидоров и повернулся, чтобы он накинул ему на плечи свой плащ, необходимый в холодное время года. Антуан помог ему нарядиться таким образом и тотчас ускользнул в конюшню, где скрылся в самом темном углу.

Тот, кому он уступил свое место, вероятно, в надежде, что высокий воротник плаща скрывает половину его лица, подошел прямо к трем лошадям, на которых Антуан уже надел сбрую, всунул пару дуствольных пистолетов в чушки и, пользуясь тем, что он оставался один, пока ямщики, привезшие почту, ушли с отпряженными лошадьми, ввинтил при помощи острого орудия, которое в случае нужды могло служить кинжалом, четыре пробоя в карету, то есть в каждую дверцу по два: один в дерево кареты, другой в самую дверцу против первого.

После этого он начал запрягать лошадей.

Известно, с какою быстротою оканчивались обеды несчастливцев, вынужденных подчиниться требованиям почтовых карет. Не прошло полчаса, как уже послышался голос кондуктора, который кричал:

— Господа путешественники, пожалуйста в карету!

Монбар стоял подле одной из дверей и, несмотря на то, что путешественники были не в своих костюмах, узнал Ролана и начальника 7-й бригады егерей, которые вошли в карету и заняли свои места, не обратив внимания на возницу. А ямщик запер дверцу, вложил замок в пробой и запер его ключом. Обежавши вокруг кареты, он сделал вид, будто уронил бич перед другою дверцею, наклонился, вложил другой замок в пробой, запер его, подымаясь, и с уверенностью, что оба офицера уже не выйдут из кареты, вскочил на подседельную лошадь, ругая кондуктора, который заставляет его исправлять чужую должность.

В самом деле, третий путешественник был уже на своем месте, а кондуктор все еще спорил с хозяином о расчете за обед.

— Что же, сегодня или завтра поедем, дядя Франсуа? — кричал мнимый ямщик, как можно лучше подражая голосу настоящего.

— Сейчас, сейчас, — отвечал кондуктор и, оглядываясь вокруг, спросил:

— Да где же путешественники?

— Мы здесь, — отвечали в один голос оба офицера внутри кареты и агент полиции впереди.

— А дверцы хорошо ли заперты? — спросил Франсуа.

— Хорошо, я запер, — отвечал Монбар.

— Ну так трогай же, чего стоять! — крикнул кондуктор, садясь на место и захлопывая за собой дверцу.

Ямщик не медлил: прищпорил лошадь, на которой сидел, хлестнул бичом по двум другим, — и карета понеслась.

Монбар управлял лошадьми, как будто век свой занимался этим. Он проехал через весь город, заставляя прыгать стекла в окнах и дрожать дома. Никогда настоящий ямщик не хлопал бичом с такими учеными приемами.

При выезде из Макона он заметил толпу всадников: это были двенадцать конных егерей, которым приказано было следовать за почтовой каретой, но незаметно. Бригадный начальник высунул голову из окна кареты и сделал знак вахмистру, командовавшему отрядом. Монбар как будто ничего не замечал, но, отъехав шагов на пятьсот, оглянулся и увидел, что прикрытие также двинулось в путь.

— Погодите, детушки, — сказал про себя Монбар, — я заставлю вас прогуляться.

Он удвоил понуканье шпорами и бичом. Лошади неслись, как на крыльях; карета летела по мостовой, как громовая колесница. Кондуктор встревожился.

— Послушай, Антуан! — вскрикнул он. — Не пьян ли ты?
— Пьян, пьян, — отвечал Монбар. — За обедом ел салат из свеклы.

— Черт его побери! — вскрикнул Ролан, выглянув из окна. — Если он и дальше так поедет, то прикрытие отстанет от нас.

— Слышишь, что тебе говорят! — кричал кондуктор.

— Нет, не слышу, — отвечал Монбар.

— Тебе говорят, что если ты будешь так ехать, то прикрытие не поспеет за нами.

— Разве за нами едет прикрытие? — спросил Монбар.

— Ну да, потому что с нами есть деньги правительства.

— А это другое дело. Надобно было сказать это сначала.

Но вместо того, чтобы ехать тише, карета неслась все по-прежнему, разве с той переменной, что еще немного ускорила ход.

— Знаешь, — сказал ему кондуктор, — если с нами случится что-нибудь, я разможу тебе голову из пистолета.

— Знаем мы ваши пистолеты, — возразил Монбар, — вы заряжаете их без пуль.

— Зато в моих есть пули! — крикнул агент полиции.

— Увидим, когда придется, — отвечал Монбар и продолжал ехать по-прежнему, не заботясь о напоминаниях. Карета уже пролетела деревни Варренн, Лакреш и городок Ла Шапель де Генше. Оставалось не больше четверти лье до Белого Дома. Лошади были в пене и ржали от бешенства. Монбар взглянул назад: более нежели в тысяче шагах за каретою искры выскакивали из-под копыт лошадей. Перед ним начинался спуск под гору. Он пустил своих лошадей вскачь, но между тем подбирал в руки поводья так, чтобы управиться с ними по желанию. Кондуктор перестал кричать, удостоверившись, что возница был искусен и силен. Только бригадный начальник по временам выглядывал из окна кареты, желая видеть, далеко ли его люди.

На половине съезда Монбар совершенно овладел лошадьми, нисколько не замедляя их бега. Тут он звучным голосом затынул «Le Réveil du peuple». Это была роялистская песня, как «Марсельеза» — якобинская.

— С ума сошел он, что ли? — закричал Ролан, высунув голову из окна. — Кондуктор! Скажите ему, чтобы он замолчал, или я пошлю ему пулю в ребро.

Может быть, кондуктор повторил бы ямщику угрозу Ролана, но перед глазами его, впереди, мелькнула черная линия, которая загоразживала дорогу.

В это самое время громовой голос провозгласил:

— Стой, кондуктор!

— Ямщик! Переезжай через этих бандитов! — закричал агент полиции.

— Да, переезжай! — возразил Монбар. — Разве переезжают через друзей? Тпрр...

И карета остановилась, как заколдованная.

— Ступай! Ступай! — крикнули в один голос Ролан и бригадный начальник, понимая, что прикрытие не успеет подъехать к ним на ручку.

— Ах, разбойник ямщик! — заревел агент полиции и соскочил с кареты на землю, направляя пистолет на Монбара. — Ты заплатишься за всех!

Он еще не закончил речи, как Монбар предупредил его движение: выстрелил, — и агент, смертельно раненный, покатился под колеса кареты. Палец его, замиравший от предсмертной судороги, прижал собачку пистолета и выстрелил, но пуля, никуда не направленная, исчезла в воздухе.

— Проклятый кондуктор, отпирай! — кричали оба офицера в карете.

— Господа! — сказал им подошедший Морган. — Мы не сражаемся с вами, а только возьмем деньги правительства. Выдавай же, кондуктор, пятьдесят франков, да живо!

Два выстрела изнутри кареты служили ответом обоих офицеров, которые, тщетно потрясая дверцы, так же тщетно пытались выскочить из окна. Верно, один из выстрелов попал метко: послышался бешеный крик, и в то же время огневая полоса осветила дорогу. Бригадный начальник тяжело вздохнул и упал на Ролана: он был убит наповал.

Ролан выстрелил из другого своего пистолета, но в него не стрелял никто. Запертый в карете, он не мог употребить в дело своей сабли и рычал от гнева.

Между тем кондуктора заставили, приставив пистолет к горлу, выдать деньги; два человека взяли мешки с пятьюдесятью тысячами франков и навьючили их на лошадь Монбара, которому конюх вывел оседланную и взнузданную лошадь, как будто на условленном месте во время охоты. Монбар снял с себя большие сапоги и в башмаках вскочил в седло.

— Изъявите от нас почтение первому консулу, г. де Монревель! — закричал Морган и, обратившись к своим товарищам, сказал:

— Теперь, дети, в поле, по какой кому угодно дороге. Вы знаете сборный пункт. До завтрашнего вечера!

— Да, да! — отвечали десять или двенадцать голосов.

Как стая птиц, рассеялась вся шайка в долине, под сумраком деревьев, которые росли по берегам речки и окружали Белый Дом.

В эту минуту послышался топот лошадей; прикрытие, извещенное выстрелами, показалось на высоте склона и, как лавина, полетело вниз. Но было уже поздно. Оно нашло кондуктора, сидящего на краю канавы, агента полиции и начальника бригады убитых, а Ролана взаперти. Он рычал, как лев, который грызет железо своей клетки.

ОТВЕТ ЛОРДА ГРЕНВИЛЛЯ

Между тем, как события, рассказанные нами, совершались и занимали умы и газеты в провинции, другие события, гораздо более важные, готовились в Париже и вскоре должны были занять умы и газеты в целом свете.

Лорд Танлей возвратился с ответом своего дяди лорда Гренвилля. Ответ состоял в письме, адресованном на имя г-на Талейрана, и в ноте, назначенной для первого консула. Вот письмо:

Даунинг-стрит, 14 февраля 1800

«Милостивый Государь.

Я получил и представил Королю письмо, переданное мне от вас племянником моим, лордом Танлеем. Его Величество, не видя никакого повода отступить от форм, издавна принятых в Европе при сношениях о делах с иностранными государствами, приказал мне доставить вам от его имени официальный ответ, при сем прилагаемый.

С высоким уважением имею честь быть, м.г., вашим покорнейшим слугою

Гренвилль».

Ответ отличался сухостью, нота определенностью. Сверх того, первый консул писал лично к королю Георгу, а король, не отступая от форм, принятых в Европе для сношений о делах с иностранными государствами, отвечал простою нотою, написанною первым попавшимся секретарем. Правда, что нота была подписана лордом Гренвиллем. Но она была не что иное, как длинное обвинение Франции в том, что ее волнует дух беспорядка, что этот дух беспорядка внушает опасения всей Европе и что забота о самосохранении налагает на всех царствующих государей необходимую обязанность усмирить ее. Вообще, нота значила — продолжение войны.

Когда Бонапарте читал ее, в глазах его блистало пламя, которое предвещало великие события, как молния предвещает гром.

— Итак, милостивый государь, — сказал он, обращаясь к лорду Танлею, — вы не могли добиться ничего больше?

— Да, гражданин первый консул.

— Стало быть, вы не повторили дяде вашему всего, что я поручил вам сказать ему?

— Я не забыл ни одного слога из ваших слов.

— Но вы не сказали ему, что живете во Франции уже два или три года, что вы видели, изучали ее, что она сильна, могущественна, счастлива, желает мира, но готова к войне?

— Я сказал ему все это.

— Стало быть, вы не прибавили, что они ведут с нами войну

бессмысленную; что дух беспорядка, о котором говорят они, означает только всплеск свободы, слишком долго стесненной, и что в самой Франции надобно усмирить его всеобщим миром; что этот мир есть единственный охранительный кордон, которым можно помешать ему перейти за наши границы; что, зажигая во Франции вулкан войны, ее заставят, как лаву, разлиться на другие страны. Италия освобождена, говорит английский король, но от кого? От своих освободителей; Италия освобождена, почему? Потому что я завоевал Египет от Дельты до третьего порога; Италия освобождена, потому что не было в Италии меня — но вот я! Через месяц я могу быть в Италии, и, чтобы завоевать ее от Альпов до Адриатики, много ли надобно мне? Одну битву. Как вы думаете: что делает Массена, защищая Геную? Он ждет меня. Да!.. Европейским государям необходима война, чтобы сохранить свои короны!.. А я вам говорю, милорд, что корона заколеблется на голове не одного из них: таковы будут удары, которые нанесу я Европе! Им надобна война! Подождите. Бурьен! Бурьен!

Дверь, вышедшая из кабинета первого консула в кабинет старшего его секретаря, отворилась быстро, и Бурьен явился с таким испуганным лицом, как будто он подумал, что Бонапарте зовет его к себе на помощь. Он увидел, что Бонапарте, сильно взволнованный, комкал в одной руке дипломатическую ноту, а другою ударял по своему письменному столу; лорд Танлей, безмолвный и спокойный, стоял в трех шагах от него. Бурьен тотчас понял, что первый консул раздражен ответом Англии.

— Вы звали меня, генерал? — спросил он.

— Да, садитесь здесь и пишите, — сказал первый консул.

Прерывистым голосом, но твердо, не ища слов, а как будто не имея возможности удерживать те, которые теснились в его уме, он продиктовал следующую прокламацию:

«Солдаты! Обещая мир французскому народу, я был вашими устами. Я знаю ваше мужество. Вы те же люди, которые завоевали Рейн, Голландию, Италию и дали мир под стенами изумленной Вены. Солдаты! Теперь надобно не защищать границы вашей страны, а занять неприятельские страны. Солдаты! Когда настанет время, я буду среди вас; изумленная Европа вспомнит, что вы принадлежите к племени храбрых».

Бурьен поднял голову, ожидая, что должно следовать после этих слов.

— Больше ничего, — сказал Бонапарте.

— А законные слова: «Да здравствует Республика!» Прибавить ли?

— Почему вы спрашиваете об этом?

— Потому что мы не составляли прокламаций четыре месяца; могло измениться что-нибудь в принятых формах.

— Прокламация хороша, как она есть: не прибавляйте ничего, — сказал Бонапарте. Он взял перо, подписал и сказал

Бурьену, чтобы прокламация была немедленно опубликована.

Бурьен ушел и унес бумагу.

Бонапарте стал расхаживать по комнате и как будто забыл, что тут был лорд Танлей, но вдруг остановился перед ним, говоря:

— Думаете ли вы, милорд, что добились от своего дяди всего, чего мог бы добиться другой на вашем месте?

— Нет, более, гражданин первый консул.

— Более, более! В чем же это?

— Я полагаю, гражданин первый консул прочитал королевскую ноту не со всем вниманием, какого она заслуживает.

— Хорошо! — промолвил Бонапарте. — Я знаю ее наизусть.

— В таком случае вы не взвесили смысла одного параграфа ее, не взвесили слов.

— Вы думаете?

— Уверен в том, и если вы позволите мне прочитать параграф, о котором я говорю...

Бонапарте разжал руку, где была скомканная нота, расправил бумагу и, подавая ее лорду Танлею, сказал: «Читайте».

Сэр Джон взглянул на ноту, по-видимому, очень знакомую ему, остановился на десятом параграфе и читал:

«Лучшим и надежнейшим залогом действительности мира и прочности его было бы восстановление на престоле той царственной фамилии, которая в продолжение многих веков поддерживала благосостояние французского народа внутри государства и уважение к нему извне. Такое событие отклонило бы и всегда отклонит препятствия на пути переговоров и мира; оно утвердило бы за Францией спокойное владение землей, издавна составляющею ее достояние, и доставило бы всем другим народам Европы, спокойствием и миром, ту безопасность, которой теперь должны они достигать другими средствами».

— Ну, — сказал Бонапарте нетерпеливо, — я очень хорошо прочитал это и понял как нельзя лучше. Будьте Монком, работайте для другого, и вам простят ваши победы, вашу славу, ваш гений; склонитесь, и вам позволят быть великим.

— Гражданин первый консул, — сказал лорд Танлей, — никто лучше меня не знает, какая разница между вами и Монком и как вы превышаете его и гением, и славою.

— Так что же вы мне читаете?

— Я читаю вам этот параграф только для того, чтобы вы благоволили вникнуть в истинный смысл следующего.

— Посмотрим следующий, — сказал Бонапарте, удерживая свое нетерпение.

Сэр Джон продолжал:

«Но как ни было бы желательно подобное событие для Франции и целого света, Его Величество не ограничивает им возможности прочного и твердого примирения».

Сэр Джон произнес эти последние слова выразительно.

— Ага! — пробормотал Бонапарте и с живостью подошел к сэру Джону, который продолжал:

«Его Величество не имеет притязания предписывать Франции ни формы ее правления, ни того, в чьи руки должна быть отдана власть, необходимая для отправления дел великого и могущественного народа».

— Перечитайте это, — сказал с живостью Бонапарте.

— Перечитайте сами, — отвечал сэр Джон и подал ему ноту. Бонапарте перечитал.

— Вы заставили прибавить этот параграф? — спросил он.

— По крайней мере я настаивал, чтобы он был включен в ноту.

— Вы правы, — сказал после некоторого размышления Бонапарте. — Это большой шаг. Возвращение Бурбонов уже не *conditio sine qua non*. Меня принимают не только как военное могущество, но и как политическую власть.

Протягивая руку сэру Джону, он прибавил:

— Нет ли у вас какой просьбы ко мне?

— Единственная просьба моя уже передана вам моим другом Роланом.

— И я уже отвечал ему, что рад увидеть вас супругом его сестры. Если бы я был побогаче или если бы вы не были так богаты, я предложил бы вам наделить ее приданым, — сэр Джон сделал движение, — но я знаю, что вы достаточно богаты для вас обоих и даже, — прибавил он, улыбаясь, — больше нежели для двоих. Итак, оставляю вам наслаждение наделить не только счастьем, но и богатством любимую женщину. Бурьен! — сказал он призывным голосом.

Бурьен тотчас явился.

— Уже отправлено, генерал, — сказал он.

— Это хорошо, но я не за тем призвал вас.

— Ожидаю ваших приказаний.

— В какой бы час дня или ночи ни явился лорд Танлей, я почту за счастье принять его, не заставляя ожидать ни минуты. Слышите, любезный Бурьен? Слышите, милорд?

Лорд Танлей поклонился в знак благодарности.

— Теперь, — сказал Бонапарте, — я полагаю, вы желаете поскорее отправиться в замок Черных Фонтанов, и я не удерживаю вас, но только с одним условием.

— Каким, генерал?

— Если я буду иметь надобность в вас для нового посольства...

— Это не условие, гражданин первый консул, это благосклонность ваша.

Лорд Танлей поклонился и вышел. Бурьен готов был идти за ним, но Бонапарте вернул его.

— Подана ли карета? — спросил он.

Бурьен взглянул в окно.

— Подана, генерал.

— Ну так будьте готовы: мы едем вместе.

— Я готов, генерал; только захвачу пальто и шляпу; они у меня в кабинете.

— Так едем, — сказал Бонапарте.

И, быстро одевшись, он спустился по боковой лестнице и помянул карету.

Как ни спешил Бурьен, он все же пришел вторым.

Выездной лакей открыл дверцу; Бонапарте вскочил в карету.

— Куда мы едем, генерал? — спросил Бурьен.

— В Тюильри, — отвечал Бонапарте.

Удивленный Бурьен отдал приказание кучеру и обернулся к первому консулу, как бы в ожидании дальнейших объяснений, но тот, казалось, был так занят какими-то соображениями, что секретарь, бывший еще в то время другом Бонапарте, не решился отвлекать его от дум.

Карета понеслась, — Бонапарте всегда ездил быстро, — по направлению к Тюильрийскому дворцу.

После 5 и 6 октября этот дворец занимал Людовик XVI, позднее там помещался Конвент и Совет Пятисот, но теперь, после 18 брюмера, он был пуст и разорен.

С самого 18 брюмера у Бонапарте не выходил из ума этот древний дворец королевской власти, но надо было устроить так, чтобы никто и не подозревал об его намерениях — устроиться королем во дворце изгнанных королей.

Бонапарте вывез из Италии превосходный бюст Юния Брута; ему не нашлось места в Люксембурге, и в конце ноября первый консул позвал республиканца Давида и поручил ему постановку этого бюста в тюильрийской галерее.

Нельзя было даже подумать, чтобы Давид, друг Мюрата, содействовал устройству жилища будущего короля тем, что поставил бюст убийцы Цезаря в галерее Тюильри.

А потому никто даже не обратил внимания на эти толки, не только что не поверил им.

Когда Бонапарте отправился посмотреть, хорошо ли исполнена работа Давидом, он заметил, что дворец Екатерины Медичи был разорен. Правда, Тюильри не представлял собой королевской резиденции, но ведь то был национальный дворец, а потому немислимо, чтобы один из национальных дворцов оставался в опустошенном виде.

Бонапарте позвал дворцового архитектора, гражданина Леконта, и приказал ему почистить Тюильри.

Можно было понять это выражение и в физическом, и в нравственном смысле.

Архитектору поручено было сделать смету, чтобы знать, во сколько обойдется такая чистка.

Смета достигала пятисот тысяч франков.

Бонапарте осведомился, может ли дворец после такой чистки выполнять назначение государственного дворца.

Архитектор ответил, что этой суммы достаточно не только для приведения дворца в прежний вид, но даже в жилое помещение.

Этого только и добивался Бонапарте: дворец, годный для жилья; ведь ему, как республиканцу, решительно не нужно было королевской роскоши... Для государственного дворца понадобились украшения в строгом стиле — мрамор, статуи. Какие же именно статуи? Их должен был выбрать сам первый консул.

Бонапарте выбрал их из среды деятелей трех великих эпох и наций: у греков, у римлян, у нас и у наших великих соперников.

Из греческих героев он выбрал Александра Македонского и Демосфена — гениев победы и красноречия.

Из римских — Циципона, Цицерона, Катона, Брута и Цезаря, ставя рядом великую жертву с великим убийцей.

Из современников он выбрал Густава Адольфа, Тюренна, великого Конде, Дюго-Труэна, Мальборо, принца Евгения и маршала Саксонского; наконец, Фридриха Великого и Вашингтона (лжефилософия на троне и истинная мудрость, основывающая Свободные Штаты).

Далее он прибавил к этим воинственным иллюстрациям Дампиера, Дюгомие и Жубера, чтобы показать, что ему не страшны воспоминания о Бурбонах, в лице великого Конде, и что он не завидует славе трех братьев по оружию — жертве той вины, к коей он, лично, не был причастен.

Вот как обстояло дело в то время, о котором мы говорим, то есть в конце февраля 1800 г.; Тюильрийский дворец был вычищен, бюсты расставлены на цоколях, а статуи — на пьедесталах; выжидался только благоприятный случай.

И он явился: только что получено было известие о смерти Вашингтона.

Основатель независимости Соединенных Штатов почил 14 декабря 1799 года.

Обо всем этом и думал Бонапарте, когда Бурьен увидел, по выражению его лица, что его не следовало беспокоить расспросами.

Карета остановилась у ворот Тюильри; Бонапарте так же стремительно вышел из нее, как и вошел, взбежал по лестнице, сделал беглый осмотр всего здания, остановив дольше свое внимание только на покоех, служивших пребыванием Людовику XVI и Марии Антуанетте.

В кабинете Людовика XVI он вдруг сказал, как бы продолжая вслух свои думы:

— Здесь мы поместим Бурьена; да, именно здесь; третий консул займет павильон Флоры; Камбасерес останется в канцелярском флигеле.

— Значит, — заметил Бурьен, — когда пробьет желанный час, вам придется освободиться только от одного консула.

Бонапарте взял Бурьена за ухо.

— Ах ты шельма! — сказал он.

— А когда же мы переедем, генерал? — спросил Бурьен.

— Во всяком случае не завтра; надо не менее недели, чтобы подготовить парижан к тому, что я переселяюсь из Люксембурга в Тюильри.

— Ну, недельку можно и подождать, — заметил Бурьен.

— В особенности, если начать действовать немедленно. Ну, теперь, Бурьен, едем в Люксембург.

И быстро (что всегда случалось с ним в особенно важные минуты, когда на карту ставился жгучий интерес) пробежал он снова по всем покоям дворца, спустился с лестницы и, бросившись в карету, сказал:

— В Люксембург!

— Что же это, — кричал Бурьен, не успевший догнать Бонапарте, — разве вы не подождете меня, генерал?

— Экая черепаха! — воскликнул Бонапарте.

И карета понеслась, как всегда.

Войдя в кабинет, Бонапарте застал там ожидавшего его министра полиции.

— Ну, гражданин Фуше, — сказал Бонапарте, — что случилось? На вас лица нет! Уж не убили ли меня?

— Гражданин первый консул, — сказал министр, — вы, кажется, почитали очень важным истребление разбойничьих шаек, называющих себя товарищами Ииуя?

— Да. А что? Нет ли известий о них?

— От самого предводителя бандитов.

— Как, от их предводителя?

— Он имел дерзость прислать мне отчет о своем последнем разбое.

— Против кого?

— Против пятидесяти тысяч франков, посланных вами Сен-Бернардским братьям.

— Что же с ними сделалось?

— С пятьюдесятью тысячами франков? Они в руках товарищей Ииуя, и предводитель их извещает меня, что деньги вскоре будут переданы Кадудалю.

— Стало быть, Ролан убит?

— Нет.

— Как нет?

— Мой агент убит, бригадный начальник Сен-Морис убит, но ваш адъютант жив и здоров.

— Ну, теперь он повесится, — сказал Бонапарте.

— Каким образом? Веревка порвется; вы знаете его счастье.

— Или несчастье. Да. Где же донесение?

— Письмо, хотите вы сказать?

— Письмо, донесение, словом, бумага, где вам пишут о том, что вы мне пересказываете.

Префект полиции подал первому консулу раздушенный паке-тик, в котором была изящно сложенная бумажка.

— Это что такое?

— То, чего вы требуете от меня.

Бонапарте прочитал адрес:

«Гражданину Фуше, префекту полиции, в Париже».

Он развернул и прочел:

«Гражданин префект, имею честь известить вас, что пятьдесят тысяч франков, назначенные Сен-Бернардским отцам, перешли в наши руки вечером 25 февраля 1800 года (прежнего счисления) и что через неделю они будут в руках гражданина Кадудалья.

Это исполнено было как нельзя лучше; жаль, что убиты ваш агент и бригадный начальник Сен-Морис, но мне приятно известить вас, что г. Ролан де Монревель не пострадал нисколько. Я не забыл, что он вел меня в Люксембург.

Пишу к вам, гражданин префект, предполагая, что г. Ролан де Монревель теперь очень занят преследованием нас и потому не может сам писать. Но я уверен, что в первую минуту отдыха он напишет вам донесение со всеми подробностями, в которые не могу войти по недостатку времени и удобства.

Взамен услуги, оказываемой мною вам, я попрошу вас, гражданин префект, сделать мне одолжение уверить как можно скорее г-жу де Монревель, что сын ее жив и здоров.

Морган

Белый Дом, на дороге из Макона в Лион. Суббота, 9 часов вечера».

— Какой смелый негодяй! — сказал Бонапарте и, вздохнув, прибавил:

— Какими капитанами и полковниками были бы у меня эти люди!..

— Что угодно первому консулу приказать мне? — спросил префект полиции.

— Ничего; это дело Ролана, а он постоит за свою честь. Оставшись жив, он отомстит им.

— Следовательно, первый консул оставляет это дело?

— На время, по крайней мере. — Обратившись к своему секретарю, Бонапарте сказал:

— Есть и другие звери, которых надо преследовать, не правда ли, Бурьен?

Бурьен сделал утвердительный знак головой.

— Когда угодно первому консулу видеть меня опять? — спросил министр.

— Будьте здесь сегодня вечером, в десять часов. Через неделю мы переселяемся.

— Куда?

— В Тюильри.

Фуше сделал изумленный вид.

— Знаю, это противно вашим мнениям, — сказал первый консул. — Но я устрою все так, что вам останется только повиноваться.

Фуше поклонился и готов был выйти.

— Да, кстати, — прибавил Бонапарте.

Фуше воротился.

— Не забудьте уведомить г-жу де Монревель, что сын ее жив и здоров; надобно хоть это исполнить за услугу, оказанную вам гражданином Морганом.

Он повернулся спиной к префекту полиции, который удалился, кусая себе губы до крови.

Глава XLIV

ПЕРЕМЕНА КВАРТИРЫ

В тот же день первый консул, оставшись с Бурьеном, продиктовал ему следующий приказ по консульской гвардии и армии:

«Вашингтон умер! Этот великий человек сражался против тирании власти; он упрочил свободу Америки; память его да будет навеки священна французам, как и всему свободному человечеству обоих полушарий, а особенно французским солдатам, которые сами, подобно ему и американским воинам, дрались за свободу и равенство; посему первый консул повелевает обвить черным крепом все флаги и вымпела Республики».

Но этим указом первый консул не ограничился.

В числе средств, долженствовавших обеспечить его переезд из Люксембурга в Тюильри, было намечено одно из тех торжеств, которыми Бонапарте так умел очаровывать и покорять себе умы; праздник этот устраивался в Инвалидном доме, или, как его тогда называли, в храме Марса; предполагалось открытие памятника Вашингтону и передача генералом Ланом абукирских знамен.

Это была удачная комбинация, чисто в духе Бонапарте: оригинальное сочетание контрастов.

Так, у Нового Света он брал героя, а у Старого — победу и молодую Америку венчал лаврами Фив и Мемфиса.

В назначенный для торжества день шеститысячная кавалерия была расставлена эшелонами от Люксембурга до дома Инвалидов.

В восемь часов Бонапарте сел на коня в большом дворе дворца консулов и, проехав по улице Турнон, направился к набережной, сопровождаемый штатом генералов, из которых самому старшему не было и тридцати пяти лет.

Во главе всех находился генерал Лан; за ним следовали шестьдесят флигельманов с шестьюдесятью отнятыми у неприятеля знаменами; за ними, впереди своей свиты, ехал Бонапарте.

Военный министр Бертье ожидал шествие под куполом храма; он стоял, прислонившись к статуе отдыхающего Марса; все министры и сановники окружали его. К колоннам, поддерживающим купол, были прибиты знамена Денена, Фонтенуа и первой итальянской кампании; по бокам Бертье стояли два престарелые инвалида, сражавшиеся еще под начальством маршала Саксонского; они напоминали собой древние кариатиды, глядящие на человечество из глубины веков; направо, на возвышении, стоял бюст Вашингтона, который и должны были осенить знамена Абукира. Против бюста, на другом возвышении, стояло кресло Бонапарте.

Снизу, амфитеатром, шли места, где находилось все высшее парижское общество, сочувствовавшее предстоящему торжеству.

При появлении знамен своды храма огласились звуками военных труб.

Первым вступил Лан, и, по данному им знаку, флигельманы попарно всходили на эстраду и ставили древки знамен в заранее сделанные для них трубки.

В это время Бонапарте занял место на своем кресле при общем ликовании.

Затем Лан приблизился к военному министру и начал свою речь тем же громовым голосом, которым он распоряжался на поле военной брани:

— Гражданин министр, — сказал он, — вот все знамена оттоманской армии, уничтоженной на глазах ваших под Абукиром. Египетская армия, пройдя знойные пустыни, перенеся голод и жажду, стала лицом к лицу с врагом, гордым своей численностью и победами и видящим легкую добычу в наших войсках, изнуренных от вечных войн; а он того не ведал, что французский солдат велик не так уменьем побеждать, как выносливостью, и что его храбрость растет с увеличением опасности. В данном случае, как вам уже известно, три тысячи французов напали на восемнадцать тысяч варваров, смяли их, опрокинули и оттеснили к морю и навели такой ужас на неприятеля, что он предпочел лучше найти могилу в Средиземном море, чем сдаться в плен французам.

В тот памятный день решила участь Египта, Франции и всей Европы, спасенных храбростью французов.

Теперь, если бы все государства соединенными силами посмели напасть на Францию, стоит только герою Абукира сделать воззвание к французам — и ваши успехи окажутся более роковыми для вас, чем несчастья! Какой француз откажется идти на верную победу под знаменами первого консула и приобретать опыт славы!

Потом, обращаясь к инвалидам, стоявшим на почетном месте в центре, он продолжал, возвышая голос:

— И вы, храбрые ветераны, священные жертвы битв, вы также по первому зову станете под знамена того, кто облегчает ваши страдания и упрочивает славу, помещая эти трофеи, приобретенные ценою ваших ран, среди вас и под вашу охрану! Да, я понимаю,

храбрые ветераны, что вы горите желанием отдать и последний остаток жизни за родину и свободу!

Этот образец военного красноречия победителя Монтебелло был покрыт взрывом рукоплесканий: трижды пытался военный министр отвечать на овации, и трижды прерывали его слова восторженные крики; наконец, все успокоилось, и Бертье продолжал:

— Воздвигнуть на берегах Сены трофеи берегов Нила, прибить к стенам наших храмов священные знамена мечетей Византии и Кипра, рядом с венскими, петербургскими и лондонскими знаменами, видеть их поднесенными родине теми самими воинами, молодыми годами, но старыми славой, которых так часто венчала лавраная победа, — это преимущество принадлежит только республиканской Франции!

В общем, это только часть того, что совершил в цвете лет этот герой, увенчанный лаврами Европы; он явился победителем пирамид, с высот которых его созерцали сброк веков, освободил от гнета родную страну искусств и внес в нее, окруженный учеными и воинами, свет цивилизации.

Солдаты, утвердите же в храме военных доблестей эти изображения полумесяца, отнятые на Канопских скалах тремя тысячами французов у восемнадцати тысяч столь же храбрых, как и жестоких воинов; да сохранят они память об этом знаменитом походе, цель и успех которого оправдали то зло, которое наносит война; да упречат они этим не храбрость французского солдата (слава о ней гремит на весь мир), но его беззаветную преданность отечеству; пусть вид этих знамен радует и утешает вас, воины, изувеченные на поле брани: вашей доблести остаются теперь одни эти желания и воспоминания; пусть с высоты этих сводов знамена прощумят врагам французского народа о величии гения, о славе победивших их героев и предвестят им все несчастные последствия будущих попыток воевать, если они останутся глухи к предлагаемому им миру; да, если только они пожелают снова воевать, то мы будем сражаться, но бой будет смертелен!

Удовлетворенная родина с чувством гордости взирает на армию Востока.

Эта непобедимая армия узнает с радостью, что храбрецы, сражавшиеся вместе с нею, были ее опорой; да будет ей известным, что первый консул охраняет детей славы; что она служит предметом самой искренней заботливости со стороны Республики; что мы почтили ее в своих храмах, пока еще не настало время показать и нам на полях Европы те же воинские доблести, которым мы были свидетелями в глужих пустынях Африки и Азии.

Так примите же этот залог благодарности всей нации во имя этой армии и тех героев, среди которых вы теперь находитесь, бесстрашный генерал!

Но в ту минуту, как вы снова берете в руки оружие — оплот нашей независимости, — если слепая ярость королей нарушит тот

мир, который мы предлагаем всему земному шару, тогда, товарищи, покроем лаврами останки Вашингтона, этого героя, который освободил Америку от ига самых неумолимых врагов нашей свободы, и пусть его великая тень вещает нам из-за могилы о славе, которая выпадает на долю освободителей родины!

Бонапарте сошел с возвышения и от лица всей Франции получил лобызание Бертье.

Г. Фонтан, на которого возложена была обязанность произнести похвальное слово Вашингтону, предупредительно подождал, пока излился, до последней капли, весь поток восторга необъятного амфитеатра.

Между этими славными военными героями г. Фонтан представлял собой любопытную личность, как в политическом, так и в литературном отношении.

После 18 фруктидора он был приговорен к смерти вместе с Сьюардом и Лагарпом, но он все-таки нашел средство остаться в Париже, скрываясь в доме своего друга.

Непредвиденный случай обнаружил его присутствие.

На Карузельской площади его сбила с ног мчавшаяся коляска, и полицейский агент, прибежавший к нему на помощь, узнал его. Однако же Фуше, которому донесли не только о его присутствии, но даже указали на место его пребывания, притворился, что ему ничего неизвестно.

Спустя некоторое время после 18 брюмера Маре, ставший потом герцогом Бассанским, Лаплас, оставшийся просто ученым, и Ренью де Сен-Жан-д'Анжели, умерший в сумасшедшем доме, говорили первому консулу о г-не Фонтане и о его пребывании в Париже.

— Приведите его ко мне, — отвечал спокойно первый консул.

Г. Фонтан был представлен Бонапарте, который, зная его податливый нрав и умение тонко и красноречиво льстить, выбрал его, чтобы сказать похвальную речь Вашингтону, а может быть, заодно и самому себе.

Речь его была слишком длинна, чтобы приводить ее здесь; единственно, что можно о ней сказать, это то, что она по содержанию вполне отвечала желанию Бонапарте.

Вечером состоялся большой прием в Люксембурге; во время этих торжеств прошел слух о возможном переселении первого консула в Тюильри; некоторые смельчаки и самые любопытные из гостей попробовали даже заговорить с Жозефиной об этом; но несчастная женщина, которая никак не могла отделаться от впечатления, произведенного на нее повозкой и эшафотом Марии Антуанетты, инстинктивно содрогалась при одной мысли о возможности сидеть королевой; поэтому она отправляла всех за ответами на такие вопросы к своему мужу.

Потом, как бы в противовес этой новости, распространилась другая.

Мюрат сделал предложение Каролине Бонапарте.

Эта свадьба, если только ей суждено было совершиться, также имела немаловажное значение.

Некоторое время, то есть приблизительно в продолжение года, Бонапарте был в ссоре с тем, кто мечтал о счастье стать его шурином.

Причина этой ссоры может показаться нашим читателям несколько странной.

Мюрат, львиная храбрость которого вошла в поговорку, Мюрат, который мог бы послужить скульптору моделью для статуи бога войны, этот самый Мюрат падал духом от того, что он дурно выпался или плохо позавтракал.

Дело происходило под Мантуей, где принужден был запереться Вурмсер с двадцатитысячным войском, после сражения под Риволи. Генерал Миоллис, только с четырьмя тысячами солдат, должен был вести блокаду крепости; случилось, что во время вылазки, которую попробовали сделать австрийцы, Мюрат, у которого под командой было только пятьсот человек, получил приказ атаковать три тысячи неприятеля.

Мюрат повиновался, но как-то вяло.

Бонапарте, у которого он состоял адъютантом, был так взбешен этим, что тотчас же устранил его от этой должности.

Мюрат был в отчаянии, тем более что с этого времени он начал лелеять мечту стать зятем своего генерала: он был влюблен в Каролину Бонапарте.

Каким образом могла возникнуть у него эта любовь?

Скажем это в двух словах.

Быть может, те, которые читают наши книги вразбивку, очень удивляются, что мы останавливаемся иногда на некоторых подробностях, которые кажутся замедляющими ход событий.

Дело в том, что мы не пишем отдельных повестей, но, как уже сказано выше, описываем события в хронологическом порядке, в огромном масштабе времени.

Для нас действия выведенных здесь лиц не ограничиваются только появлением их в одной какой-нибудь книге: тот, который в этом рассказе является адъютантом, фигурирует в другом уже в качестве короля, а в третьем — он уже осужден на смерть и расстрелян.

У Бальзака есть прекрасное столикое произведение, озаглавленное «Человеческая Комедия».

Вернемся к Мюрату.

Расскажем, как зародилась эта любовь, имевшая такое неотразимое, а может быть, роковое влияние на его судьбу?

В 1796 году Мюрат был послан в Париж; ему дано было поручение доставить Директории знамена, отбитые французами в сражениях при Дего и Мондови; во время этой поездки он познакомился с господами Бонапарте и Тальен.

У г-жи Бонапарте он снова встретился с Каролиной Бонапарте.

Мы употребили выражение «снова», потому что не здесь увидел он в первый раз ту женщину, с которой ему предстояло впоследствии разделить неаполитанскую корону; он встречался с ней еще в Риме, у брата ее Жозефа, и там был замечен ею, несмотря на соперничество молодого, прекрасного римского принца.

Объединившись, три женщины выхлопотали у Директории чин бригадного генерала для Мюрата.

Мюрат вернулся в итальянскую армию влюбленный до безумия в Каролину Бонапарте и, невзирая на свой чин бригадного генерала, усердно стал добиваться и добился великой, по его уверению, милости — остаться адъютантом Бонапарте.

К несчастью, подвернулась эта роковая вылазка под Мантуей, последствием которой явилось устранение его от должности адъютанта Бонапарте.

Долгое время эта опала являла собой все отличительные признаки настоящей вражды.

Бонапарте, поблагодарив Мюрата за службу его в качестве адъютанта, назначил его сперва в Нейльскую дивизию, а затем перевел в другую.

Вышло так, что, когда Бонапарте возвратился в Париж после Толентинского трактата, Мюрата с ним не было.

Это очень не понравилось трем покровительницам Мюрата.

Они опять затеяли поход на Директорию, и, так как к этому времени назрел вопрос об египетской экспедиции, они добились от военного министра согласия на зачисление Мюрата в эту экспедицию.

Он отплыл на том же самом корабле «Восток», на котором ехал и Бонапарте, но за время их совместного плавания главнокомандующий не сказал с ним ни слова.

Когда они высадились в Александрии, Мюрат ничем не мог растопить лед его отношений с генералом, который, не столько для отличия, сколько из желания удалить Мюрата от себя, послал его против Мурад-Бея.

Но в этой кампании Мюрат показал чудеса отваги; он совершенно загладил ею свою минутную вялость; он так храбро, так отчаянно вел атаку Абукира, что у Бонапарте не хватило духу злобствовать долее.

Впоследствии Мюрат вернулся во Францию уже вместе с Бонапарте.

Мюрат принимал деятельное участие в событиях 18, а в особенности 19 брюмера. Итак, он был в большой милости у Бонапарте, и, в подтверждение таковой, он получил место командира консульской гвардии.

Он сообразил, что теперь как раз настало время признаться в любви девице Бонапарте, тем более что о таковой его страсти Жозефина была давно осведомлена и даже поощряла ее.

На это она имела две причины.

Прежде всего Жозефина была женщина, во всем прекрасном смысле этого слова, а именно, она была очень отзывчива на все нежные проявления чувства; Иоаким любил Каролину, Каролина любила Мюрата — этого ей было совершенно достаточно, чтобы покровительствовать их любви.

Затем, Жозефину терпеть не могли братья Бонапарте. Жозеф и Люсьен были ее яркими врагами, поэтому ей хотелось создать себе преданных друзей в лице Мюрата и Каролины.

Она ободряла и поощряла Мюрата в предстоявшем ему объяснении с Бонапарте по этому вопросу.

За три дня до вышеупомянутого торжества Мюрат вошел в кабинет Бонапарте и после долгих колебаний и бесконечных подходов, наконец, изложил свою просьбу.

По всей вероятности, и первому консулу взаимная любовь Мюрата и Каролины не представлялась неожиданностью.

Но Бонапарте принял строгий вид и сказал, что он подумает.

И действительно, подумать было необходимо: Бонапарте был благородного происхождения, а Мюрат был сыном трактирщика. Такой союз в подобное время имел большое значение.

Вопрос мог стать ребром: действительно ли убежденный республиканец и демократ первый консул, чтобы пренебречь благородством своей фамилии и своим высоким саном и смешать свою кровь с кровью разночинца?

Он не долго думал: его природный здравый смысл подсказал, что ему полный расчет дать согласие на этот брак, каковое и последовало в тот же день.

Таким образом, две новости облетели разом весь Париж: предстоящая свадьба и переезд Бонапарте в Тюильри, причем первая служила противовесом второй.

Первый консул должен был жить в резиденции прежних королей, или, как выражались в то время, спать в постели Бурбонов, но он выдавал свою сестру замуж за сына трактирщика.

Какое же приданое приносила будущая неаполитанская королева абукирскому герою?

Тридцать тысяч франков деньгами и бриллиантовое ожерелье, которое первый консул взял у жены, так как сам не имел средств купить новое.

Жозефина немного покапризничала; ей было жалко расстаться с бриллиантами, но это обстоятельство закрыло рты всем тем, кто распускал слухи, будто Бонапарте нажился в Италии; была и другая причина: раз Жозефина содействовала этому браку, она обязана была и помочь собрать приданое.

Результат этой хитрой комбинации получился следующий: когда консулы, в сопровождении сына трактирщика, покинули Люксембург (30 плювиоза VIII года), чтобы переселиться во дворец правительства, восторгу и ликованию народа, видевшего всю эту процессию, не было пределов.

И действительно, шествие было удивительное и достойное ова-ции: во главе его находился Бонапарте, а в рядах — Мюрат, Моро, Брюн, Лан, Жюно, Дюрок, Ожеро и Массена.

В этот день был назначен большой смотр во дворе Карузеля; г-жа Бонапарте присутствовала на нем, но она сидела не на балконе с часами, — то был все-таки королевский балкон, — а в павильоне Флоры, находившемся в части дворца, занятой Лебреном.

В назначенный час Бонапарте выехал из Люксембургского дворца со свитой из трех тысяч отборного войска, в числе которых находился главный полк колонновожатых, сформированный три года тому назад, в память избавления Бонапарте от опасности, угрожавшей ему в итальянской кампании: изнуренный после переправы через Минчио, он расположился отдохнуть в маленьком замке. Он собирался уже взять ванну, как вдруг беглый австрийский отряд, сбившись с дороги, окружил замок, охраняемый только часо-выми; Бонапарте успел убежать в одной рубашке.

Утром 30 плювиоза случилось маленькое затруднение, о кото-ром необходимо упомянуть.

У генералов были свои верховые лошади, у министров каре-ты, но прочая свита не находила своевременным делать такие за-траты.

Карет не хватало.

Их заменили наемными экипажами, номера которых закрасили под цвет кузова.

Карету первого консула везли шесть белых коней, но так как в ней сидели все три консула — Бонапарте и Камбасерес на пер-вых местах, а Лебрен на втором, то выходило по паре коней на кон-сула.

К тому же, эти шесть белых коней сами по себе представляли военный трофей, так как они были подарком императора Франца главнокомандующему Бонапарте после кампоформийского дого-вора.

Карета проехала часть Парижа по улице Тионвиль, по набе-режной Вольтера и по Королевскому мосту.

От Карузельской калитки, вплоть до больших Тюильрийских ворот, стояла гвардия консулов.

Поравнявшись с калиткой, Бонапарте поднял голову и прочел сверху надпись:

10 августа 1792 года

Королевский титул уничтожен во Франции

И никогда не воскреснет.

Мимолетная улыбка промелькнула на лице первого консула.

У Тюильрийских ворот Бонапарте вышел из кареты и сел вер-хом на своего боевого коня, чтобы приготовиться к смотру.

Едва он предстал в таком виде перед народом, как со всех сторон раздались взрывы восторга.

По окончании смотра он занял место перед балконом с часами;

направо от него находился Мюрат, налево — Лан, а позади — весь главный штат итальянской армии.

Началось шествие.

Организовано оно было согласно плану Бонапарте, имевшего способность действовать на сердца солдат.

Когда мимо него пронесли знамена 96, 30 и 33 полурот (знамена представляли собой древки с болтавшимися на них лоскутьями материи, продырявленными пулями и закопченными порохом), то он обнажил голову и отдал им поклон.

По окончании шествия он сошел с коня и смело поднялся по лестнице Валуа и Бурбонов.

Вечером, когда они остались вдвоем с Бурьеном, последний спросил:

— Ну, что, генерал, довольны ли вы?

— Да, — отвечал как-то неопределенно Бонапарте, — все обошлось хорошо, не правда ли?

— Чудесно!

— Я видел вас рядом с г-жой Бонапарте у окна, в нижнем этаже павильона Флоры.

— И я, генерал, видел вас: вы читали надпись вверху Карузельской калитки.

— Да, — сказал Бонапарте, — 10 августа 1792 года. Королевский титул уничтожен во Франции и никогда не воскреснет.

— Не надо ли снять эту надпись, генерал? — спросил Бурьен.

— Не стоит, — отвечал первый консул, — она и сама отвалится.

Потом, вздохнув, прибавил:

— Знаете, Бурьен, кого мне сегодня не хватало?

— Не знаю, генерал.

— Ролана... Какого дьявола он там делает, что не шлет никаких известий о себе?

Мы сейчас узнаем о том, что делал Ролан.

Глава XLV

СЛЕДОПЫТ

Мы сказали, в каком положении прикрытие от 7-го конноегерского полка застало Шамберийскую почтовую карету.

Прежде всего занялись отыскиванием препятствия, которое мешало Ролану выйти из кареты. Когда увидели висячие замки, разломали дверцы. Ролан выпрыгнул на волю, как тигр из клетки.

Мы упомянули, что земля была покрыта снегом. Ролан, охотник и солдат, имел только одну мысль в эту минуту: выследить товарищей Ииуя по пороше. Он видел, в которую сторону удалились они, но знал, что нельзя было им следовать по этому направлению; там была река Сона, через которую мосты существовали

только в Белльвилле и Маконе. Он приказал прикрытию и кондуктору ждать себя на большой дороге, а сам, пешком и не подумав даже снова зарядить свои пистолеты, пустился по следам Моргана и его товарищей.

Он не ошибся: в четверти лье от дороги беглецы встретили Сону, там они останавливались, совещались одну минуту — это видно было по следам, вытоптаным лошадьми, — потом разделились на две партии: одна поехала по берегу реки к Макону, другая в противоположную сторону, по берегу же, к Белльвиллю. Они разделились тут явно для того, чтобы сбить с толку тех, которые вздумали бы их преследовать. Ролан слышал возглас их предводителя: «Завтра вечером, вы знаете где». Таким образом, он не мог сомневаться, что по какому бы следу ни идти за ними, вверх или вниз по Соне, этот след, если только снег не растает до завтра, непременно приведет его к сборному их месту, потому что, идя вместе или отдельно, товарищи Ииуя должны были иметь одну цель.

Ролан возвратился по собственным своим следам, приказал кондуктору надеть сапоги, оставленные мнимым ящиком на большой дороге, сесть на подседельную лошадь и отвезти почту на ближайшую станцию, то есть в Белльвилль. Вахмистр и четверо егерей, грамотные, должны были сопровождать его и подписать вместе с ним протокол. Было строго подтверждено не упоминать имени Ролана и не говорить о нем ничего, чтобы как-нибудь не надоумить обирателей дилижансов о будущих его планах. Остальная часть прикрытия должна была отвезти тело бригадного начальника в Макон и с своей стороны также составить протокол, согласный с показаниями кондуктора, но и в нем также запрещалось упоминать о Ролане.

Ролан взял у одного из конных егерей лошадь, которая показалась ему лучше и надежнее других, зарядил свои пистолеты и положил их в сумки седла, вместо пистолетов конного егеря; после этого, обещая кондуктору и солдатам скорое отмщение, но с условием, что прежде они сохранят его тайну, он сел на коня и исчез в том же направлении, по которому уже следовал перед этим.

Доехав до места, где две партии разделились, он должен был избрать один из двух следов и избрал тот, который шел вниз по Соне, к Белльвиллю. Для такого выбора было несколько причин. Во-первых, Белльвилль был ближе Макона. Во-вторых, Ролан пробыл в Маконе целые сутки и мог быть там узнан, а в Белльвилле, напротив, он в разные времена останавливался только мимоездом для перемены лошадей.

Все рассказанные нами события едва заняли час времени. Восемь часов вечера било на колокольне в Туане, когда Ролан пустился по следам беглецов. Путь был обозначен ясно: пять или шесть лошадей оставили свои следы на снегу; одна из них шла иноходью. Ролан переехал через два или три ручья, которые перерезывали луг впереди и позади Белльвилля. Во ста шагах от города он остано-

вился: тут беглецы снова разделились. Двое из шести поехали влево, то есть продолжали свой путь к Белльвиллю. Перед первыми домами города они снова разделились. Трое всадников поехали вокруг города, один въехал на улицу. Ролан пустился по следам этого, зная, что следы других он найдет. Тот, который въехал на улицу, остановился у хорошенького домика, построенного между двором и садом, под № 67-м; он звонил; к нему выходили отворить; сквозь решетку видны были шаги того, кто выходил отворить ворота, и подле них следы лошади, которую отвели в конюшню. Ясно было, что тут остановился один из товарищей Ииуя. Ролан мог бы тотчас захватить его, явившись к мэру, где предъявил бы свои полномочия и потребовал помощи жандармов. Но не такова была его цель: он хотел не захватить одного человека отдельно, а изловить всю шайку сразу.

Твердо запомнив № 67-й, он продолжал свой путь через весь город и уже проехал шагов сто за ним, не видя никакого следа. Он хотел даже воротиться, но вспомнил, что следы явятся опять перед мостом, бывшим впереди. В самом деле, там опять встретил он следы трех лошадей. Ошибиться было нельзя в том, что это следы тех же лошадей: одна из них шла иноходью. Ролан поскакал по их следам и перед Монсо увидел, что тут употреблена была прежняя предосторожность: деревню объехали кругом, но, как опытный разведчик, Ролан не смутился от этого, проехал прямо через деревню и за нею нашел следы трех беглецов.

Недалеке от Шатильона одна из трех лошадей своротила с большой дороги вправо к небольшому замку, стоявшему на возвышении, в нескольких шагах от дороги из Шатильона в Треву. На этот раз два остальных всадника, полагая, что уже довольно сбили с толку того, кто вздумал бы преследовать их, спокойно проехали через Шатильон и направились по дороге в Цевиль. Это обрадовало Ролана: они явно ехали в Бур, потому что иначе направились бы по дороге в Марлье. А в Буре была главная квартира, избранная самим Роланом как средоточие его действий; Бур был его город, и с твердостью воспоминаний детства он знал в окрестностях его каждый кустарник, каждую лачугу, каждую пещеру.

В Невилле беглецы объехали деревню; Ролана не беспокоила эта хитрость, уже понятная для него, но за Невиллем он увидел следы только одной лошади, хотя ошибиться в них нельзя было: это были следы иноходца. Уверенный, что оставленные им двойные следы отыщутся по этим, он поехал назад. Ехавшие вместе разлучились на дороге в Ванн: один отправился по деревне, другой объехал ее и, как мы видели, воротился на Бурскую дорогу. За этим надо было следить; сверх того, побежка его лошади облегчила преследование, потому что следов иноходца нельзя было не отличить от других. Наконец, по дороге от Невилля до Бура не было другой деревни кроме Сен-Дени, и, по всей вероятности, последний беглец не мог ехать далее Бура. Лошадь не повезла бы его дальше, потому что, если она сделала два лье от Белого Дома до Белльвилля, четыре лье

от Белльвиля до Шатильона, шесть лье от Шатильона до Бура, следовательно, двенадцать, даже тринадцать лье с объездами, то это все, что могла выдержать лошадь, и еще в дурную погоду. В самом деле, около Сен-Дени шаги ее видимо были короче, ливнее, и Ролан думал даже, что всадник остановился в этой деревне, но нет, он объехал ее, как и другие, и за последними домами опять были следы той же лошади. Явно, что он ехал в Бур.

Ролан с новым жаром пустился по следам, видимо, приближаясь к своей цели. И точно, всадник не объезжал Бура, а смело въехал в город.

Там Ролану показалось, что всадник долго не мог решить, куда ехать, если только этой нерешительностью не хотел сбить с толку своих преследователей. Минут десять Ролан прослеживал его переезды в разные стороны и, наконец, убедился, что это была не хитрость, а точно нерешительность. Шаги человека шли из боковой улицы; пеший и всадник совещались минуту; затем пеший согласился быть проводником всадника, и далее шаги человека сопровождали следы лошади. Те и другие оканчивались у гостиницы Белль-Аллианс.

Ролан вспомнил, что в эту гостиницу привели раненую лошадь после нападения у Карроньеры. По всем вероятностям, между гостиницей и товарищами Ииуя существовали сношения. Впрочем, расудив, что путешественник должен оставаться в Белль-Аллиансе до вечера следующего дня, Ролан по собственной усталости чувствовал, что ему должен быть необходим отдых. А Ролан, чтобы не изнурить своего коня и притом лучше высмотреть следы, употребил на проезд двенадцати лье шесть часов. Три часа пробило на старинной колокольне в городе. Что делать Ролану? Остановиться в какой-нибудь городской гостинице? Невозможно: его слишком многие знали в Буре; сверх того, лошадь его под конно-егерским чепраком возбудила бы подозрение. Одним из условий успеха было то, чтобы никто не знал о прибытии его в Бур. Он мог скрыться в замке Черных Фонтанов и наблюдать оттуда; но мог ли он быть уверен в скромности слуг? Мишель и Жак станут молчать; Ролан был в том уверен; Амели тоже молчала бы, но Шарлотта, дочь тюремщика, не разболтает ли?

В три часа утра все спали, и самое верное было пробраться к Мишелю, который найдет средство скрыть молодого барина.

К великому горю своего коня, который, верно, уже чуял гостиницу, Ролан поворотил его на Понт-Энскую дорогу и поехал по ней. Проезжая мимо церкви, он взглянул на жандармские казармы. Вероятно, и жандармы и капитан их спали сном праведников.

Ролан проехал небольшую часть леса, окружавшую дорогу с обеих сторон, и когда выбрался на открытое место, то увидел, что два человека шли вдоль придорожной канавы и несли убитую дикую козу на палке, к которой она была привязана четырьмя ногами.

Ролану показалась знакомою наружность этих людей. Он по-

скакал к ним; но когда они заметили, что к ним подъезжает всадник, то бросили козу в канаву и побежали через поле, к Сельонскому лесу. «Эй, Мишель!» — закричал Ролан, более и более убеждаясь, что видит своего садовника. Мишель тотчас остановился; другой человек продолжал бежать по полю. «Эй! Жак!» — закричал Ролан. И другой человек остановился. Если их узнали, то бежать было бесполезно; сверх того, в призыве не было ничего враждебного.

— Послушай, — сказал Жак, — это как будто г. Ролан.

— Да, точно, он сам, — промолвил Мишель.

Оба они уже не бежали к лесу, а возвращались к дороге. Ролан не слышал, что сказали друг другу браконьеры, но угадал и крикнул им:

— Да! Это я!

Через минуту Мишель и Жак были уже подле него. Отец и сын его перебивали один другого вопросами, и, правду сказать, было о чем спросить! Ролан в партикулярном платье, на конно-егерской лошади, в три часа утра, на дороге из Бура к Черным Фонтанам!.. Он тотчас прервал их расспросы.

— Молчать, браконьеры! — крикнул он. — Положите убитую козу за мое седло и ступайте к дому, но чтобы там не знал обо мне никто, даже моя сестра!

Ролан говорил твердо, как военный, и все знали, что, когда он приказал что-нибудь, возражать нельзя было. Козу взвалили за его седло, и оба молодца побежали за ним. В десять минут были уже вблизи замка, и в ста шагах от него Ролан остановился. Он послал обоих спутников своих удостовериться, что там все тихо. Исполнив это, они дали ему знак, и Ролан подъехал, сошел с лошади, увидел дверь павильона отворенной и вошел туда.

Мишель отвел лошадь в конюшню, а козу отнес в кухню. Он принадлежал к тем почтенным браконьерам, которые стреляют заповедную дичь из удовольствия, а не из интереса и не продают ее. Нечего было заботиться ни о лошади, ни о козе; Амели так же мало беспокоилась о том, что происходило в конюшне, как и о том, что подавали ей обедать.

Между тем Жак развел огонь. Мишель возвратился и принес с собой остаток бараньей ноги и для приготовления яичницы полдюжины яиц. Жак устроил постель в кабинете. Ролан грелся и ужинал, не произнося ни слова. Слуги смотрели на него с изумлением и не совсем спокойно. До них дошел слух об обыске Сельонского монастыря и о том, что начальником при этом был Ролан. Ясно, что он возвратился для какого-нибудь подобного дела.

Когда Ролан поужинал, он поднял голову и позвал Мишеля. Тот подошел.

— А! Ты был здесь! — спросил Ролан.

— Ожидал ваших приказаний.

— Вот мои приказания: слушай хорошенько.

— Слушаю обоими ушами.

— Дело идет о жизни и смерти, и еще больше: о моей чести.

— Извольте говорить.

Ролан вынул часы.

— Теперь пять часов. Когда отворят гостиницу Белль-Аллианс, ты будешь там, как будто мимоходом, и остановишься поговорить с тем, кто отворит дверь.

— Отворит, верно, Пьер.

— Пьер или другой, но ты узнаешь от него, какой путешественник приехал к ним на лошади, которая ходит иноходью. Ты знаешь, что такое иноходь?

— Еще бы! Это когда лошадь ходит по-медвежьи. Сразу двумя ногами с одной стороны.

— Bravo!.. Ведь ты можешь узнать так же, намерен ли путешественник отправиться сегодня утром или располагается провести день в гостинице?

— Наверно узнаю.

— Хорошо, когда узнаешь все это, приди сказать мне, только ни слова о том, что я здесь. Если станут спрашивать обо мне, скажи, что вчера получили от меня письмо: я в Париже, при первом консуле.

— Ладно.

Мишель отправился. Ролан лег в постель и заснул. Жак остался караулить павильон.

Мишель воротился к тому времени, когда проснулся Ролан. Он разведал обо всем, что поручил ему господин. Путешественник, приехавший ночью, отправится не раньше вечера, а в списке приезжающих, какой обязан был иметь каждый содержатель гостиницы, он вписал следующее:

«Суббота, 30 плувиоза, десять часов вечера: гражданин Валансолль прибыл из Лиона; едет в Женеву».

Таким образом, отсутствие его на месте происшествия уже подготовлено: запись удостоверяет, что гражданин Валансолль приехал в десять часов вечера, следовательно, невозможно, чтобы в восемь с половиной он остановил почтовую карету у Белого Дома и был в десять уже в гостинице Белль-Аллианс.

Но особенно поразило Ролана то обстоятельство, что человек, за которым он следил часть ночи и, наконец, открыл его убежище, узнал его имя, был не иной кто, как секундант Альфреда де Баржоля, убитого им на дуэли подле Воклюзского фонтана; и что этот секундант, по всем вероятностям, играл роль привидения в Сельонском монастыре. Следовательно, товарищи Ииуя были не простые разбойники, а точно, как были слухи, дворяне хороших фамилий. Между тем как благородные бретонцы на западе Франции отдавали свою жизнь за право Короля, эти подвергали свои головы эшафоту для того только, чтобы доставлять сражающимся деньги, которые захватывали на другом краю Франции во время своих отважных наездов.

ВДОХНОВЕННАЯ МЫСЛЬ

Мы видели, что в предыдущую ночь Ролан мог бы захватить двух или трех из тех, кого он преследовал. Так же мог бы он захватить и де Валансолля, который, вероятно, делал то же, что Ролан: отдыхал день после утомительной ночи. Стоило только написать два слова жандармскому капитану или к начальнику драгунской бригады, бывшему с Роланом на поисках в Сельоне, де Валансолля окружили бы в его постели; он выстрелил бы из пары пистолетов, убил или ранил бы человек двух и был бы взят.

Но взятие де Валансолля всполошило бы всю остальную толпу, и она тотчас скрылась бы за границу. Надо было остаться при первой мысли Ролана, то есть выждать, следить по разным направлениям, которые должны сойтись к одному центру, и, хотя бы пришлось дать для этого настоящее сражение, изловить разом всех товарищей Ииуя. Для этого надо было не захватить Валансолля, а только следить за ним в его мнимом путешествии в Женеву, бывшем, по всей вероятности, предлогом, выдуманном для того, чтобы сбить преследователей с толку.

Ролан и переодетый мог быть узан; поэтому условились, что он останется в павильоне, а Мишель и Жак в следующую ночь отправятся на поиски. Де Валансолль, судя по всему, должен был выехать из гостиницы не раньше ночи.

Ролан расспрашивал, как проводит время его сестра с тех пор, как уехала их мать. Амели ни разу не отлучалась из замка Черных Фонтанов. Ничто не изменилось в обычаях ее, кроме того, что без г-жи де Монревель она никуда не выезжала. Вставая утром часов в семь или восемь, она рисовала или занималась музыкой до завтрака; после завтрака читала или занималась вышиванием; в ясные дни, пользуясь лучами солнца, выходила из дома в сопровождении Шарлотты до реки, иногда призывала Мишеля, приказывала ему отвязать лодку и, закутанная в шубу, плыла по Рейсуссу до Монтаньяка или в противоположную сторону до Сен-Жюста; потом возвращалась, обыкновенно не говоря ни слова; обедала, а после обеда уходила с Шарлоттой в свою комнату и уже не показывалась до другого дня. Следовательно, в половине седьмого Мишель и Жак могли отлучиться, не заботясь, чтобы ктонибудь спросил о них.

В шесть часов Мишель и Жак оделись в блузы, взяли свои сумы, ружья и отправились. Им приказано было идти по следам иноходца до тех пор, пока не узнают, куда он привезет своего всадника, или пока не потеряют его следов. Мишель должен был спрятаться против Белль-Аллианса, Жак стать на том месте Бурской дороги, где она расходится в Сент-Амур и Сен-Кло и в Нантуа. Дорога в Нантуа ведет и в Женеву. Ясно было, что де Валан-

солль, — если только не вздумал ехать назад, а это казалось невероятным, — поедет непременно по одной из этих дорог.

Отец отправился в одну сторону, сын в другую. Мишель прошел в город по Понт-Энской дороге, мимо Бурской церкви. Жак переправился через Рейсусс, шел по правому берегу речки и, отдалившись от него шагов на сто к предместью, очутился на том месте дороги, где она расходится на три ветви. Почти в то время, когда сын занимал свой пост, отец должен был прийти на свой.

И в то же время, то есть около семи часов вечера, почтовая карета нарушила обычную тишину и уединение замка Черных Фонтанов и остановилась у его решетки. Ливрейный слуга дернул железную цепь звонка. Мишель должен был выйти к решетке; но вы знаете, где находился Мишель. Вероятно, Амели и Шарлотта надеялись на него, потому что звонок был слышен уже три раза, никто не выходил отворить. Наконец, горничная появилась на крыльце и робко позвала Мишеля. Он не показывался. Надеясь на защиту решетки, Шарлотта решила подойти к ней. Несмотря на темноту вечера, она узнала слугу.

— Ах, это вы, г. Джемс? — вскричала она, ободрившись.

— Да это не я, госпожа Шарлотта, — вежливо сказал слуга. — Это не я, а милорд.

В то же время послышался из кареты голос сэра Джона, который говорил:

— Милая Шарлотта, потрудитесь сказать вашей госпоже, что я приехал из Парижа и явился к ней не для того, чтобы представиться сегодня, а чтобы попросить позволения явиться завтра, если ей угодно будет принять меня. Попросите назначить час, в который я меньше обеспокою ее.

Шарлотта питала величайшее уважение к сэру Джону и поспешила исполнить его поручение. Через пять минут он уже знал, что будет принят на другой день, в первом часу пополудни.

Ролан знал, зачем приехал сэр Джон. В уме Ролана брак сестры был дело решенное, и он считал милорда своим зятем. С минуту он колебался, дать ли знать ему о себе и сообщить ли о том, зачем он тут? Но он сообразил, что лорд Танлей не допустит его действовать одного; что он имеет право на возмездие товарищам Ииуя и захочет сопутствовать Ролану в самом опасном деле, а предстоящие поиски были не без опасности. Ролан знал по опыту, что не все так неуязвимы, как он. Сэр Джон, тяжело раненный, едва не умер; начальник конно-егерской бригады был убит подле Ролана. Сообразив все это, Ролан дал уехать сэру Джону, не извещая его о себе.

Шарлотта несколько не удивилась, что Мишель не подходил к решетке; по-видимому, в замке привыкли к его отлучкам и они не беспокоили ни горничную, ни госпожу ее. А Ролан не удивлялся такому невниманию: Амели, слабая перед нравственной скорбью, неведомой Ролану, который приписывал нервным припадкам изменчивость характера своей сестры, Амели явилась бы высокой и силь-

ной пред реальной опасностью. Потому-то, вероятно, так мало боялись обе молодые девицы, оставаясь одни в уединенном замке, без всяких оберегателей, кроме двух человек, которые проводили ночи в том, что охотились в заповедных лесах.

А мы знаем, что Мишель и его сын, отлучаясь, служивали Амели гораздо больше, нежели услужили бы, оставшись дома. Их отсутствие оставляло свободный путь Моргану, а больше Амели ничего не желала.

Весь вечер и часть ночи Ролан оставался без известий. Он пытался заснуть: не спалось; каждую минуту казалось ему, что дверь отворяется. Дневной свет начинал пробиваться сквозь ставни, когда дверь в самом деле отворилась. Это были Жак и Мишель. Вот что с ними случилось.

Каждый явился на свой пост: Мишель к дверям гостиницы, Жак на распустье дороги. В двадцати шагах от гостиницы Мишель встретил Пьера; из нескольких слов его он убедился, что де Валансолль все еще был у них. Проезжий сказал, что так как ему надобно ехать далеко, то он дает отдых своей лошади и отправится ночью. Пьер не сомневался, что путешественник отправляется в Женеву, как он говорил.

Мишель предложил Пьеру выпить стакан вина; не удалось дело вечером, так удастся утром. Пьер согласился. После этого Мишель был уверен, что его известят. Пьер смотрел за лошадьми в гостинице, и без его ведома не делалось в конюшне ничего. Трактирный мальчик обещал известить его; в награду он получил от Мишеля три заряда пороха на хлопушки.

В полночь путешественник еще не уезжал. Выпито было четыре бутылки вина, но Мишель берег себя; он нашел средство из четырех бутылок три перелить в стакан Пьера, где, разумеется, они не остались. В полночь Пьер воротился домой осведомиться; но что было делать Мишелю? Кабак готовились запирать, а Мишелю оставалось четыре часа ждать до утренней сторожи. Пьер предложил Мишелю соломенную постель в конюшне: тепло и мягко можно было полежать. Мишель принял предложение, и оба приятеля вошли в ворота, взявшись под руки: Пьер покачивался, Мишель делал вид, что покачивается.

В три часа утра слуга из гостиницы позвал Пьера: путешественник отправлялся в путь. Мишель, сославшись на то, что ему уже пора, встал. За туалетом ему не нужно было оставаться долго: стоило только отряхнуть солому, приставшую к блузе. После этого Мишель простился с другом и пошел в засаду, на угол улицы.

Через четверть часа ворота растворились, и из них выехал всадник на лошади, шедшей иноходью: это был де Валансолль. Он поехал по улицам, выведившим на женевскую дорогу. Мишель следовал за ним, как будто идя сам по себе, и насвистывал охотничью песню, но он не мог бежать за всадником: тот заметил бы это, и через минуту Мишель потерял де Валансолля из вида.

Правда, еще Жак ожидал его на распутии, но Жак был там уже больше шести часов, в зимнюю ночь, когда холод усиливался до шести градусов. Достало ли у него храбрости оставаться шесть часов в снегу, под деревьями большой дороги?

Мишель пустился во всю прыть по улицам и переулкам, стараясь сократить дорогу, но как ни спешил он, а всадник и лошадь все-таки опережали его. Подбегая к расходящимся дорогам, он не видел уже никого. Следов также нельзя было различить на этом месте, где в предшествовавший воскресный день снег смешался с грязью после множества проезжавших. Мишель не стал и заботиться о следах лошади, видя, что отыскать их нельзя, но он хотел знать, где Жак? Узнать это оказалось легко. Жак, долго ли, коротко ли, оставался под деревом, и, видно, столько, что прозяб: снег был утопан огромными его охотничьими башмаками. Он старался согреться, ходя взад и вперед. Вдруг, как видно, он вспомнил, что по другую сторону дороги была землянка, где укрывались от дождя работники, исправлявшие дорогу, и по другую сторону ее был виден тот же след, терявшийся посередине. Этот след привел Мишеля прямехонько к землянке. Явно было, что там Жак провел ночь. Но давно ли вышел он, и зачем вышел из землянки? Трудно было решить первое, но самый плохой егерь догадался бы, зачем он вышел — разумеется, вслед за де Валансоллем. Шаги, которые оканчивались у землянки, шли опять от нее в направлении к Сейзериа. Следовательно, всадник точно ехал по дороге к Женеве: это ясно было по следам Жака, удлиненным, как шаги человека бегущего. Он бежал подле канавы, со стороны полей, вдоль линии деревьев, которые могли скрывать его от всадника. Шаги прекращались перед дрянной гостиницей, одной из тех, где над воротами бываюи написаны слова: «Здесь можно выпить и закусить; может остановиться пеший и конный». Путешественник, верно, останавливался в этой гостинице, потому что в двадцати шагах от нее и Жак останавливался, за деревом. Только через минуту, вероятно, когда ворота затворились за всадником и лошадью, Жак от своего дерева перешел через дорогу, осторожно, легкими шагами, и направился не к воротам, а к окну.

Мишель, ступая по следам своего сына, дошел до окна. Когда внутри был свет, то сквозь худо сплоченный ставень можно было видеть, что там делается. Но внутри было темно и не видно ничего. Верно, Жак потому и подходил к окну, что внутри было освещено и он видел что-нибудь. Куда пошел он от окна? Это легко было увидеть. Он обошел вокруг дома, подле стены. По этому пути, на свежем снегу, ясны были его следы. Не трудно было угадать, для чего он обошел вокруг дома: как сметливый малый, Жак сообразил, что путешественник не затем выехал в три часа утра в Женеву, как говорил он, чтобы в четверти лье от города остановиться в такой гостинице. Он, верно, выехал из нее задними воротами. Жак направил шаги свои подле стены, конечно, в надежде открыть по дру-

гую сторону дома следы лошади или, по крайней мере, следы самого всадника. В самом деле, от небольшой калитки, выходящей к лесу, который занимает пространство между Котрезом и Сейзериа, видны были следы в прямом направлении к опушке леса. Это были следы человека в щеголеватой обуви, со шпорами, которые также оставили полосы на снегу. Жак не раздумывая пошел за ним. На снегу отпечатались следы грубых башмаков и щеголеватых сапог, широкой ступни мужика подле маленького следа городского щеголя.

Было пять часов утра; время приближалось к рассвету; Мишель решил не идти дальше. Жак попал на след; а молодой браконьер стоил старого. Мишель сделал большой обход по равнине, как будто возвращался от Сейзериа; он хотел войти в гостиницу и там дожидаться Жака. Как не понять Жаку, что отец должен был идти по следам его и остановиться в придорожном доме?

Мишель постучался в ставень и велел отворить себе ворота. Он знал хозяина, у которого был обычным гостем во время своих ночных прогулок, спросил бутылку вина, жалуясь, что попусту бродил всю ночь и, распивая вино, попросил позволения дождаться своего сына: сын также на охоте и, может быть, воротится с удачей. Разумеется, хозяин охотно согласился на его просьбу. Мишель хотел смотреть на дорогу, и для этого отворили ставни.

Через несколько минут кто-то постучался в окно: это был Жак. Отец позвал его. И Жаку не повеселилось, так же как отцу: ничего не подстрелил и только иззяб. Развели огонь и подали другой стакан. Жак грелся и пил, но надо было воротиться в замок Черных Фонтанов до рассвета, чтобы там не заметили отсутствия слуг. Мишель заплатил за бутылку вина, за тепло и вместе с сыном ушел.

Покуда они оставались в гостинице, ни тот ни другой не проронили ни слова о том, что занимало их обоих: надобно было не подавать подозрения, что они были на поисках чего-то другого, а не дичи. Но переступив за порог, Мишель с живостью подошел к сыну. Тогда Жак рассказал ему, что он углубился в лес по следам довольно далеко, но на одной лужайке вдруг ему заслонил дорогу человек с ружьем, спрашивая, что он делает в лесу в такой час. Жак отвечал что ищет местечка для охоты.

— Так ступай дальше, — сказал человек с ружьем, — ты видишь, что здесь место уже занято.

Но в то время, когда он, послушавшись благоразумного совета, отошел шагов на сто и взял влево, чтобы воротиться на ту черту, с которой его прогнали, другой человек, вооруженный как первый, так же внезапно встал перед ним и повторил тот же вопрос. Жак с своей стороны повторил прежний ответ. Тогда, указывая пальцем на опушку леса, этот человек почти с угрозой сказал ему:

— А я советовал бы тебе, любезный друг, идти вон туда: там лучше, нежели здесь.

Жак последовал его совету, по крайней мере, сделал вид, что последовал, потому что, дойдя до указанного места, стал пробираться по канаве; но, убедившись, что, по крайней мере, в эту минуту невозможно было снова напасть на следы де Валансолля, вышел на открытое место, потом через поле на дорогу и воротился к харчевне-гостинице, где надеялся дожидаться своего отца. Встретившись там, отец и сын воротились в замок Черных Фонтанов, как мы сказали, в то время, когда дневной свет пробивался сквозь ставни.

Мишель и Жак пересказали Ролану все свои приключения, со множеством подробностей, не нужных для нас, но их рассказ убедил молодого офицера в том, что два человека с ружьями, загородившие Жаку путь, хотя и казались браконьерами, но в действительности были товарищи Ииуя.

Где же, однако, их убежище? В этой стороне не было ни запустелого монастыря, ни развалин.

Ролан вдруг ударил себя по лбу.

— Ах ты, дурачина! — сказал он сам себе. — Да как же ты не подумал об этом прежде?

Торжественная улыбка мелькнула на его губах. Обратившись к Мишелю и Жаку, бывшим в отчаянии, что они не могли принести ему сведений, более определенных, он сказал:

— Друзья мои, теперь я знаю все, что хотел узнать. Ложитесь и спите спокойно. Вы заслужили это!

Он сам подал им пример: лег и заснул, как человек, решивший важную задачу, которая долго занимала его.

Идея, блеснувшая в уме Ролана, была та, что товарищи Ииуя оставили Сельонский монастырь и переселились в грот Сейзерии. Он вспомнил также, что между этим гротом и Бурской церковью есть подземное сообщение.

Глава XLVII

РЕКОГНОСЦИРОВКА

В тот же день, по приглашению, полученному накануне, сэръ Джон явился в замок Черных Фонтанов около часа пополудни.

Все исполнилось по желанию Моргана. Сэра Джона принимали как друга семейства; лорд Танлей был принят как человек, которого предложение вменяют в честь себе.

Амели не противилась желаниям своего брата и своей матери и приказанию первого консула; ссылалась только на свое нездоровье, оно требовало отсрочки. Лорд Танлей преклонился перед Амели, лучшее желание его осуществлялось: его не отвергали. Он понял, однако же, что, оставаясь в Буре слишком долго, нарушил бы приличия, потому что Амели, и все под предлогом нездоровья, жила од

на, без матери и брата. Лорд Танлей объявил, что посетит ее еще на другой день и потом, вечером, отправится в Париж. Он надеялся снова увидеть ее, когда она придет в Париж или когда г-жа де Монревель возвратится в Бур. Последнее казалось вероятнее: Амели уверяла, что для восстановления здоровья ей необходимы весна и родной воздух.

Благодаря нежной вежливости сэра Джона желания Амели и Моргана исполнялись: они видели перед собой отсрочку времени и уединение.

Мишель узнал все подробности о посещении сэра Джона от Шарлотты, а Ролан от Мишеля. Молодой полковник решил дать уехать сэру Джону и потом сделать свою новую попытку. Но это не мешало ему рассеять последнее сомнение.

Когда настала ночь, Ролан оделся егерем, сверху надел на себя блузу Мишеля, спрятал лицо под огромной шляпой, заткнул пару пистолетов за пояс, где был охотничий нож, скрытый, так же как пистолеты, под блузой, и отправился в Бур.

Там он остановился у жандармской казармы и сказал, что ему нужно переговорить с капитаном. Допущенный в комнату капитана, он открыл ему свое лицо, но, так как было еще только восемь часов вечера и проезжие на улице могли узнать его, он погасил лампу. Оба остались в потемках. Капитан уже знал о случившемся за три дня на Лионской дороге, знал, что Ролан не был убит, и ждал его посещения.

К, великому удивлению капитана, Ролан потребовал дать ему только ключ от Бурской церкви и небольшой лом. Капитан немедленно дал ему и то и другое и вызвался идти вместе с ним, но в этом Ролан отказал. Ясно было, что кто-то изменил ему во время экспедиции у Белого Дома, а он не хотел вновь подвергнуться неудаче. Он просил капитана только не говорить о нем никому и подождать его возвращения, даже хотя бы оно замедлилось на час или на два. Капитан дал слово.

Ролан, с ключом в правой руке и с ломом в левой, тихо пробрался к боковой двери церкви, отпер ее, запер ключом, когда вошел внутрь, и увидел перед собой гору сена. Он стал прислушиваться; глубокое безмолвие господствовало в пустынной церкви. Возобновив воспоминания своей юности, он припомнил местность, спрятал ключ в карман и влез на гору сена: она была футов пятнадцать в высоту и образовала собой род платформы. По склону ее на другую сторону он скатился до полу, который весь был составлен из могильных плит. На хорах не было сена, потому что этому мешали боковые стены и амвон. Решетка на амвоне была открыта, и вход туда не представлял затруднения. Ролан очутился там перед надгробием Филибера Лебо. Над головой этого князя была большая четырехугольная плита: под нею-то находился вход в подземные погреба. Ролан знал это и потому, став на колени, начал ощупывать выемку на плите, нашел ее, встал, подвел под плиту лом

и поднял ее. Поддерживая ее одной рукой, он стал спускаться в подземелье и потихоньку опустил за собой плиту.

Можно было бы сказать, что ночной посетитель отделяется от мира живых и нисходит в мир усопших. Тот, кто видит при дневном свете и в ночной темноте, на земле и под землей, мог видеть бесстрашие этого человека, который шел среди умерших, желая открыть живых, и, несмотря на то что его окружали темнота, уединение, безмолвие, не содрогался даже от прикосновения к могильному камню.

Ощупью шел он между могил, пока не встретил решетки, бывшей дверью в подземелье. Он ощупал замок; замок был заперт, но так, что концом лома легко было отодвинуть защелку его, и решетка отворилась. Он растворил дверь и оставил не запертой, чтобы через нее же возвратиться, а лом спрятал в углу, за дверью.

Внимательно прислушиваясь, расширив глаза, стараясь всеми чувствами наблюдать при невозможности видеть, Ролан тихо двигался вперед, держа в одной руке заряженный пистолет, а другой прикасаясь к стене. Так шел он с четверть часа. Несколько капель холодной воды, просачивавшейся сквозь подземный свод, упало на его плечи и руки: это показало ему, что он проходил под Рейсуссом. Наконец, он был подле двери, выходившей из подземелья в каменоломню. Тут он остановился: надобно было подышать более легким воздухом, и, сверх того, ему показалось, что вдали слышны какие-то звуки и на столбах, поддерживавших свод, как будто мелькали отблески огоньков.

Если бы кто-нибудь мог различать только темную фигуру этого слушающего человека, он подумал бы, что его остановила нерешительность, но кто мог бы поглядеть ему в лицо, увидел бы, что оно выражало надежду.

Он пошел дальше, направляясь к свету, который, казалось, видел, к звукам, которые, казалось, слышал.

По мере того, как он приближался, звуки, доходившие до него, становились явственнее, свет казался живее. Ясно было, что в каменоломне есть обитатели, но кто они? Ролан еще не знал этого, но скоро должен был узнать.

Он был, наконец, не больше как в десяти шагах от гранитного перекрестка, описанного нами во время первого нашего посещения грота Сейзера. Ролан прижался к стене, подвигаясь незаметно вперед. В полусвете можно было принять его за движущийся барельеф. Подле самого угла он выставил свою голову — и глаза его открыли то, что можно было назвать лагерем товарищей Ииуя. Их было человек двенадцать или пятнадцать: они ужинали.

Безумное желание овладело Роланом: ему вздумалось броситься к этим людям, напасть на них и сражаться до смерти. Но он удержал себя, так же тихо отклонил свою голову назад, как тихо выставил ее, и с пылающими глазами, с радостным сердцем пошел обратно тем же путем, каким пришел. Никто не слышал, не

видал его, никто даже не подозревал, что он был так близко.

Все объяснилось ему: опустение Сельонского монастыря, направление пути де Валансолля, мнимые браконьеры, поставленные на караул вблизи входа в грот Сейзера.

Теперь он может отомстить, и отомстить ужасно, отомстить смертью — да, смертью! Как его жизнь до сих пор берегли, так он будет беречь жизнь других; только его щадили для жизни, а он пощадит их для верной смерти.

Почти на половине обратного пути ему показалось, что позади его слышен шум; он оборотился и как будто увидел отблеск света. Он удвоил шаги; пришедши к отверстию, он уже не мог заблудиться: тут оканчивалась каменоломня с тысячью закоулков; далее шел тесный путь, приводивший к железной решетке. Через десять минут он снова прошел под рекой; две или три минуты еще, и он толкнулся в решетку рукой, протянутой вперед. Тут он взял свой лом, отворил дверь и, войдя в могильный подвал, снова затворил ее тихо, без стука, и посреди могил отыскал лестницу, взошел по ней, поднял своею головой плиту и очутился снова на почве живых. Там показалось ему почти светло.

Он сошел с хор, отворил решетку у амвона, чтобы оставить ее в таком положении, в каком нашел; по-прежнему перебрался через стог сена, вынул из кармана ключ, отворил им дверь и вышел из церкви. Там его ожидал жандармский капитан. Несколько минут они совещались и затем вошли в город окольной дорогой, чтобы не быть замеченными, шли боковыми улицами и расстались на углу одного перекрестка. Ролан остался тут, а капитан продолжал идти до драгунских казарм, к начальнику драгунской бригады, нашел его уже в постели, но, когда сказал ему несколько слов, тот вскочил, оделся, и они вместе отправились на площадь.

В то же время, когда они явились на площади, от стены отделилась тень и приблизилась к ним: это был Ролан.

В продолжении десяти минут три человека разговаривали друг с другом: Ролан отдавал приказания, двое других слушали и одобряли. Потом бригадный начальник отправился к себе; Ролан и жандармский капитан вышли через несколько улиц на Понт-Энскую дорогу. Капитан остался подле своих казарм; Ролан шел далее, к замку Черных Фонтанов. Там он не стал звонить у решетки, боясь разбудить Амели, а постучал в ставень павильона. Мишель отворил окно, и Ролан одним прыжком вскочил в павильон. Его пожирала та горячка, которая всегда овладевала им, когда он предвидел опасность или хоть мечтал о ней.

Только напрасно боялся он разбудить Амели. Амели не спала.

Шарлотта также возвратилась из города, куда ходила она под предлогом видеть отца, а в самом деле для того, чтобы отдать письмо Моргану. Ей удалось видеть его, и она принесла своей госпоже ответ Морганана. Амели читала его письмо, написанное в следующих выражениях:

«Любовь души моей!

Да, у тебя все идет хорошо, потому что ты ангел; но я очень опасюсь, не все ли идет худо у меня, потому что я демон.

Мне непременно надо видеть тебя, прижать тебя к моему сердцу. Какое-то предчувствие тяготит меня, мне грустно смертельно. Пошли завтра Шарлотту удостовериться, что сэр Джон точно уехал, а когда уверишься в том, подай условленный сигнал. Не бойся, не говори, что на снегу увидят мои шаги. На этот раз не я пойду к тебе, а ты придешь ко мне; понимаешь ли почему? Ты можешь прогуливаться в парке, и никто не танет следить за твоими шагами. Ты завернешься в самую теплую шаль, в самую теплую шубку, и в лодке, которая находится под ивами, мы проведем час, поменявшись ролями; я выскажу тебе свои опасения, ты выскажешь мне свои надежды. Но выходи тотчас, как только будет подан сигнал; я буду ждать тебя в Монтаньяке, а от Монтаньяка до Рейсусса для меня, любящего тебя, нет и пяти минут пути.

До свидания, моя бедная Амели; если бы ты не встретила меня, ты была бы счастливая из счастливых. Судьба поставила меня на пути твоей жизни, и я страшусь, что из-за меня ты сделалась мученицей.

Итак, до завтра! Разве помешают препятствия выше сил человеческих».

Глава XLVIII

ПРЕДЧУВСТВИЯ МОРГАНА СБЫВАЮТСЯ

Часто бывает, что самые спокойные и светлые часы предшествуют сильнейшей буре.

День был ясный, солнечный, один из тех прекрасных февральских дней, когда, несмотря на резкий холод атмосферы, несмотря на белый саван, покрывающий землю, солнце улыбается людям и обещает весну.

В продолжение дня сэр Джон был у Амели с прощальным визитом. Ему было довольно, что он слышал согласие Амели; по крайней мере, он думал, что она согласна на его предложение. Он не говорил о своем нетерпении, но Амели не отказала ему, хотя отсрочила союз с ним до неопределенного времени; согласие ее делало его счастливым. Всего остального ожидал он от воли первого консула и дружбы Ролана. Он возвращался в Париж ради г-жи де Монревель, потому что не мог оставаться вблизи Амели.

Через четверть часа после выезда сэра Джона из замка Черных Фонтанов Шарлотта отправилась в Бур. Около четырех часов она возвратилась к Амели с известием, что видела своими глазами, как сэр Джон у крыльца «Hotel de France» вошел в карету и отправился по дороге в Макон. Следовательно, по отношению к нему

Амели могла быть совершенно спокойна. Она вздохнула свободнее.

Амели пыталась внушить Моргану спокойствие, которого не было в ней самой. С того дня, когда Шарлотта сказала ей, что видела Ролана в Буре, Амели, вместе с Морганом, предчувствовала, что приближается страшная развязка. Она знала все подробности событий, случившихся в Сельонском монастыре; она видела борьбу, начатую ее братом с Морганом; была уверена, что брат ее безопасен благодаря покровительству Моргана, но трепетала за жизнь своего мужа. Сверх того, она уже знала, что Шамберийская почтовая карета была остановлена, причем бригадный начальник конных егерей убит, а брат ее спасен, но исчез. Она не получила от него ни одного письма. Зная Ролана, она чувствовала, что хуже открытой и явной войны с его стороны было то, что он скрывается и не пишет к ней. Моргана не видела Амели после той сцены, когда она дала слово доставить ему оружие всюду, где бы ни был он, если будет приговорен к смерти. Потому-то она ожидала свидания, назначенного Морганом, так же нетерпеливо, как он.

Когда можно было полагать, что Мишель и сын его уже спят, Амели поставила на четырех окнах зажженные свечи, которые должны были служить сигналом Моргану. Потом, исполняя совет его, она завернулась в шаль, привезенную братом ее с поля сражения при пирамидах, где он сам снял ее с головы бея, убитого им; сверху накинула она на себя меховую шубку, поручила Шарlotte известить себя тотчас, если бы случилось что-нибудь, и, надеясь, что не случится ничего, вышла в парк и отправилась к реке.

В продолжение дня она два или три раза доходила до Рейсусса и возвращалась оттуда, чтобы оставить на снегу много следов, посреди которых ночные шаги ее были бы незаметны. Потому-то если не спокойно, то, по крайней мере, смело сошла она по склону берега до Рейсусса и, остановившись на берегу, искала глазами лодку, привязанную под ивами. Там ждал ее Морган.

Двумя взмахами весел он перенесся к тому месту берега, где можно было сойти; Амели бросилась туда, и он принял ее в свои объятия. Первое, что заметила Амели, было радостное выражение, которым сияло его лицо.

— О, — вскричала она, — ты скажешь мне что-то радостное!

— Почему ты думаешь это, милый друг? — спросил Морган, нежно улыбаясь.

— На твоём лице, Шарль, есть что-то большее, нежели счастье видеть меня.

— Ты права, — сказал Морган, обвивая цепь лодки вокруг ивового дерева и оставляя весла по сторонам. — Да, милая Амели, — продолжал он, снова схватив ее в свои объятия, — предчувствия мои обманывали меня. Слабое и слепое существо человек! Он отчаивается, сомневается в ту минуту, когда рука его уже прикасается к счастью!

— О, говори, говори! — сказала Амели. — Что же случилось?

— Помнишь ли, милая Амели, что ты отвечала мне во время последнего нашего разговора, когда я говорил о бегстве и о том, что ты не согласишься на него?

— О, да, помню, Шарль, я отвечала, что принадлежу тебе и что, как ни тяжело будет мне бегство, я превозмогу себя.

— А я отвечал тебе, что у меня есть обязанности, которые мешали мне бежать; что так же, как товарищи связаны со мною, так и я связан с ними; что есть человек, от которого мы зависим, которому обязаны повиноваться беспрекословно, и что этот человек — будущий король Франции Людовик XVIII.

— Да, ты сказал мне все это.

— Ну, теперь мы свободны от нашего обета: нас разрешил от него не только наш король Людовик XVIII, но и наш генерал Жорж Кадудаль.

— О, мой друг! Так ты снова будешь свободен, будешь как все другие, будешь лучше всех!

— Я буду не больше, как осужденный изгнанник, Амели. Мы не можем надеяться на прощение, данное вандейцам и бретонцам.

— Почему же?

— Потому что мы не военные, мой милый друг, мы даже не бунтовщики, а товарищи Ииуа.

Амели глубоко вздохнула.

— Мы разбойники, бандиты, обиратели дилижансов, — произнес Морган нарочно с особенным выражением.

— Молчи! — проговорила Амели, протягивая свою руку ко рту Моргана. — Молчи! Не станем говорить об этом; скажи мне, каким образом король снял с вас обет, как уволил вас ваш генерал?

— Первый консул хотел видеться с Кадудалем. Сначала он послал к нему твоего брата с предложениями; Кадудаль отказался от всякого соглашения; но так же, как мы, он получил от Людовика XVIII приказание прекратить неприязненные действия. В одно время с этим приказанием пришло новое приглашение от первого консула: просто охранный лист с приглашением приехать в Париж, словом, точно договор одной державы с другой. Кадудаль согласился принять его, и теперь он должен быть на пути в Париж или уже там. Это если и не мир, то, по крайней мере, перемирие.

— А от короля Людовика XVIII?

— Еще больше: приказ к нам и к Кадудалю прекратить неприязненные действия.

— О, какая радость, милый Шарль!

— Не радуйся слишком, душа моя!

— Почему же?

— Потому что, знаешь ли, по какому случаю прислан этот приказ?

— Нет.

— Фуше человек могучий. Он понял, что когда нельзя победить нас, то должно обесчестить. Он устроил подложных товарищей Ииуа и рассыпал их в Мене и в Анжу. Эти не только берут деньги правительства, но и грабят, обируют путешественников, входят по ночам в замки и в фермы, мучат владельцев, кладут ногами на пылающие уголья, выпытывая, где у них спрятаны деньги и сокровища. Вот эти-то люди, эти мерзавцы, разбойники, зажигатели называют себя так же, как мы, и говорят, что действуют заодно с нами, так что полиция Фуше лишает нас покровительства не только закона, но и чести.

— О!..

— Вот что я хотел сказать тебе, Амели, прежде нежели во второй раз предложу вместе бежать. В глазах Франции, в глазах иностранцев, даже в глазах самого государя, которому мы служили, для которого подвергали свои головы риску, отныне будем мы, если уже не сделались, — мерзавцами, достойными казни.

— Но для меня, мой милый, дорогой Шарль, ты преданный, верный своему убеждению человек, упорный роялист, который не переставал сражаться и в то время, когда все другие положили оружие; для меня ты благородный барон де Сент-Эрмин или, если угодно, возвышенный, храбрый, непобедимый Морган.

— Вот и все, что хотел я узнать от тебя, душа моя! Ты не задумаешься ни на минуту, несмотря на облако бесчестия, которое стараются бросить между нами и честью, не задумаешься отдать мне себя, предать себя моей судьбе, остаться моею супругою?

— Что ты говоришь? Ни минуты, ни секунды: напротив, это будет радостью моей души, счастьем моей жизни. Я супруга твоя перед Богом, и Бог довершит все мои желания в тот день, когда позволит мне быть твоей супругой и перед людьми.

Морган упал перед ней на колени, говоря:

— Амели! У ног твоих, протягивая к тебе руки, умоляющим голосом сердца говорю тебе: Амели! Хочешь ли бежать со мною? Хочешь ли оставить Францию, быть моей супругой?

Амели вся выпрямилась и с силой охватила руками голову, будто вся кровь ее прилила туда и была готова уничтожить в ней сознание. Морган схватил обе ее руки и, с беспокойством глядя на нее, сказал глухим, дрожащим, едва слышным голосом:

— Ты колеблешься?

— Нет, о, нет, ни на одну секунду! — вскричала Амели. — Я твоя, в прошедшем и в будущем, во всем везде! Но потрясение слишком сильно, тем более что было неожиданно.

— Амели, подумай, что я предлагаю тебе оставить отечество и семейство, то есть все, что тебе дорого и священо. Следуя за мной, ты оставляешь замок, где родилась, мать, которая дала тебе жизнь и видит в тебе свое счастье, брата, который любит тебя, а когда узнает, что ты жена разбойника, возненавидит и, верно, будет презирать.

Говоря таким образом, Морган с тоской вопрошал лицо Амели.

Оно постепенно оживлялось нежной улыбкой, и, как бы нисходя с неба на землю, эта любящая молодая женщина, наклоняясь к молодому человеку, который все еще стоял перед нею на коленях, сказала тихим голосом, походившим на ропот светлых струй, катившихся под ее ногами:

— О, Шарль! Видно, любовь могущественна и идет прямо от Бога, когда, несмотря на ужасные слова, произнесенные тобой, я без страха, почти без сожаления, не задумываясь, говорю тебе: Шарль! Я готова, я иду с тобой!.. Шарль, когда мы уходим?

— Судьба наша, Амели, такова, что с ней нельзя ни спорить, ни рассуждать; если ты следуешь за мной, если мы уходим, то сию же минуту; завтра мы должны быть уже за границей.

— А наши средства к побегу?

— У меня в Монтаньяке две оседланные лошади; одна для тебя, Амели, другая для меня; со мной на двести тысяч франков кредитных писем, на Лондон и на Вену. Куда желала бы ты ехать?

— Где будешь ты, Шарль, там буду и я; что значит для меня та или другая земля, тот или другой город?

— Так отправляемся сейчас.

— Пять минут, Шарль... Могу ли я остаться еще пять минут?

— Но куда же ты идешь?

— Иду сказать прости многому. Надобно взять твои письма, дорогие мне; надобно взять четки из слоновой кости, с которыми я в первый раз причащалась; у меня есть некоторые вещи, памятные, священные для меня, воспоминания детства — а ведь это все, что останется у меня от Франции, от моего семейства, от моей матери; я только возьму их и возвращусь.

— Амели!

— Что же?

— Я не желал бы оставить тебя; мне кажется, что в минуту, которая соединяет нас, оставить тебя значит потерять навсегда. Амели! Хочешь ли, я пойду с тобой?

— О, пойдем! Теперь не все ли равно, если и увидят твои следы? Завтра к рассвету мы будем далеко. Пойдем.

Молодой человек выпрыгнул из лодки и подал руку Амели, потом обнял ее стан, и так пошли они к дому. На крыльце он остановился и сказал:

— В религии воспоминаний есть свое целомудрие, и хотя я понимаю его, но боюсь смутить тебя; ожидаю и стерегу тебя здесь. Когда мне стоит только протянуть руку и взять тебя, я уверен, что тебя уже не отнимут у меня. Ступай, милая Амели, и возвращайся скорее.

Амели отвечала на эти слова поцелуем, быстро взошла на лестницу, потом вошла в свою комнату, взяла там дубовый резной ящик с стальными ковками, в котором хранилось ее сокровище: все письма Шарля, от первого до последнего, отвязала от зеркала камина белые, девственные четки из слоновой кости, прицепила к

своему кушаку часы, подаренные ей в детстве отцом, перешла в комнату своей матери, преклонилась у изголовья ее постели, поцеловала подушку, к которой прикасалась голова г-жи де Монревель, стала на колени перед Распятием, стоявшим вблизи, и начала благодарственную молитву, но не смела продолжать ее; хотела молиться и вдруг остановилась. Ей показалось, что Шарль зовет ее.

Она стала прислушиваться, и во второй раз было произнесено ее имя, с каким-то отчаянным выражением, в котором она не могла дать себе отчета. Амели затрепетала, поднялась и быстро сбежала с лестницы.

Шарль был все на том же месте, но, наклонившись вперед, с напряженным вниманием прислушивался к чему-то, как бы к звуку, долетавшему до него издали.

— Что такое? — спросила Амели, схватив его за руку.

— Слушай, слушай! — сказал он.

Амели в свою очередь начала слушать, и ей как будто послышались ружейные выстрелы. Они доходили от Сейзера.

— О, — вскричал Морган, — так я не напрасно сомневался в своем счастье до последней минуты! На друзей моих сделано нападение! Амели, прощай, прощай!

— Как прощай? — воскликнула Амели, бледнея. — Ты оставляешь меня?

Звуки ружейных выстрелов стали раздаваться явственнее.

— Разве ты не слышишь? Они сражаются, а я не с ними! Я не разделяю их опасности!

Дочь и сестра солдата, Амели поняла все и даже не подумала противиться.

— Ступай, — сказала она, и руки ее опустились. — Ты говорил правду: мы погибли.

Молодой человек застонал в отчаянии, обхватил Амели и прижал к своей груди, как будто хотел задушить ее, потом одним прыжком соскочил с крыльца и бросился в том направлении, откуда доносились звуки перестрелки. Как лань, преследуемая охотниками, бежал он, восклицая:

— Вот я, друзья мои! Вот я!

Амели упала на колени, протянула к нему руки, но не имела сил призывать его к себе или призывала таким слабым голосом, что Морган не отвечал ей и скоро исчез из ее глаз.

Глава XLIX

ОТМЩЕНИЕ РОЛАНА

Читатель угадывает, что случилось.

Ролан не терял времени с жандармским капитаном и драгунским полковником; они с своей стороны не забыли, что надобно от-

платить неприятелям. Ролан сказал жандармскому капитану о существовании подземного хода, который ведет из Бурской церкви в грот Сейзера.

В девять часов вечера капитан и восемнадцать жандармов, бывших под его командой, должны были войти в церковь, спуститься в могильный подвал герцогов Савойских и штыками преградить сообщение между каменоломней и подземельем. Ролан, с двадцатью драгунами, должен был окружить рошу и проходить через нее, растянув своих людей полукругом так, чтобы концы этого полукруга сблизились у самого грота Сейзера. В девять часов движение должно было начаться со стороны роши, одновременно с приближением жандармского капитана.

Из слов, сказанных Морганом Амели, мы видели, каковы были в это время предположения товарищей Ииуя. Известия, в одно время полученные из Англии и Бретани, развязали руки всем; каждый видел себя свободным и, понимая, что эта война была только отчаянным усилием, радовался своей свободе. Потому-то в гроте было полное собрание, почти празднество.

В полночь союзники должны были расстаться, и каждый, сообразно средствам, какие представлялись ему для переезда через границу, готовился навсегда уехать из Франции.

Мы видели, чем в эти минуты был занят их начальник. Другие, у которых не было таких сердечных связей, собрались вместе, на площадке, великолепно освещенной, за прощальным столом, потому что, когда Вандея и Бретань были усмирены и армия Конде не существовала, где, вне Франции, на чужой земле, могли бы они встретиться? Один Бог знает!

Вдруг раздался ружейный выстрел, и звук его, как электрический удар, заставил всех вскочить на ноги. Послышался другой выстрел. Затем из-за бесчисленных, ветвистых переходов каменоломни долетели до них, как трепет крыльев ночной птицы, злое слово:

— К оружию!

Для товарищей Ииуя, подвергавшихся всем случайностям жизни бандитов, минутное спокойствие никогда не было миром. Кинжалы, пистолеты, карабины были у них всегда под рукой. Когда раздался крик, по всей вероятности, долетевший к ним от часового, каждый бросился к своему оружию и оставался, превратившись весь в ожидание. Посреди глубокого молчания товарищей слышались шаги человека, бежавшего так быстро, как только позволяла темнота, в которой он находился. Наконец, в кругу света от факелов и свечей показался человек.

— К оружию! — вскричал он во второй раз. — На нас нападают!

Два выстрела, раздавшиеся перед этим, были отзывом двустольного охотничьего ружья, из которого выстрелил часовой. Он прибежал теперь, держа свое ружье в руке; оно еще дымилось.

— Где Морган? — произнесли вдруг почти все.

— Отлучился, — отвечал Монбар, — и, следовательно, я делаю начальником. Погасите все огни и начнем отступление к церкви. Сражаться теперь бесполезно, и кровь пролита была бы напрасно.

Ему повиновались немедленно, показывая тем, что каждый оценивал опасность. Затем все стали плотно друг к другу, и Монбар, знавший извилины подземелья так же хорошо, как Морган, взялся вести колонну и начал, идя впереди своих товарищей, углубляться в каменоломню.

Вдруг ему показалось, что шагах в пятидесяти перед ними кто-то произнес тихо командные слова, и затем слышно было, как будто, бряцанье заряженных ружей.

Монбар раскинул свои руки и так же, почти шепотом, сказал: «Стой!»

В то же мгновение ясно послышалось: «Пли!», и едва было произнесено это слово, как вместе с громким выстрелом осветилось все подземелье. Выстрел был произведен сразу из десяти карабинов. При мгновенной вспышке огня Монбар и его товарищи могли ясно разглядеть и узнать жандармские мундиры. «Пли!» — скомандовал в свою очередь Монбар. Раздался выстрел из семи или восьми ружей. Темный свод снова осветился. Двое товарищей Ииуя были на земле: один убитый наповал, другой смертельно раненный.

— Отступление отрезано, — сказал Монбар, — налево кругом, друзья мои; если мы можем спастись, то со стороны леса.

Движение было исполнено с воинской правильностью. Монбар опять впереди других пошел обратно. В это мгновение жандармы выстрелили в другой раз. Никто не отвечал на их выстрелы: одни заряжали свои ружья после первого выстрела, другие оставались наготове к настоящему сражению, которое должно было завязаться при выходе из грота. Только один или два вздоха показали, что второй залп жандармов не остался без последствий.

Через пять минут Монбар остановился. Были уже почти подле площадки.

— Все ли ружья и все ли пистолеты заряжены? — спросил он.

— Все, — отвечала дюжина голосов.

— Помните общий приказ всем, кто из нас попадетя в руки правосудия: мы принадлежим к партиям Тейсонне, мы набирали людей для королевского войска, мы не знаем, что хотят сказать нам, когда говорят о нападениях на почтовые кареты и дилижансы.

— Это мы помним.

— Во всяком случае нас ожидает смерть: это мы знаем, но смерть солдата, а не разбойника; пусть расстреляют, а не гильотинируют.

— А расстреливание, — сказал один насмешливый голос, — не велика важность! Да здравствуют ружейные выстрелы!

— Вперед, друзья мои, — сказал Монбар, — продадим нашу жизнь за настоящую цену, то есть как можно дороже.

— Вперед! — повторили товарищи.

Как только можно было быстрее в темноте двинулась снова эта небольшая толпа, предводимая Монбаром.

По мере того, как они шли вперед, Монбар с беспокойством чувствовал запах дыма. В то же время какой-то отблеск отражался на стенах и углах столбов, предвещая что-то недоброе у выхода из грота.

— Я думаю, что эти каналы хотят выкурить нас, — сказал Монбар.

— И я то же думаю, — прибавил Адлер.

— Верно, они принимают нас за лисиц.

— А вот, — отвечал тот же голос, — они увидят по нашим когтям, что мы не лисицы, а львы!

Дым делался гуще, свет ярче, и, когда повернули за последний угол, увидели, что грота сухих ветвей была зажжена внутри каменоломни, в пятидесяти шагах от входа в нее, не для дыма, а для освещения места. При свете пылающего костра видны были у входа в грот ружья драгунов. Перед ними шагах в десяти стоял, опершись на карабин, офицер: он не только выставил себя, но как будто ожидал и вызывал, чтобы в него попали первые пули. Это был Ролан. Его не трудно было узнать, потому что он сбросил с себя шляпу и оставался с открытой головой: отблеск пламени играл на его лице. Что должно было бы погубить его, то его спасло. Монбар узнал его и сделал шаг назад.

— Ролан де Монревель, — сказал он своим, — помните завет Моргана.

— Хорошо, — глухо отвечали товарищи.

— Теперь, — отвечал Монбар, — умрем, но в бою!

Он первый бросился на то пространство, которое было освещено пламенем костра, и выстрелил из своего двуствольного ружья в драгунов; они отвечали залпом.

Невозможно рассказать, что происходило после этого: грот наполнился дымом от выстрелов, как молния блиставших посреди его; обе стороны сражавшихся сошлись и начали рукопашный бой: тут действовали уже пистолеты и кинжалы. На шум сражения прибежали жандармы, но они не могли стрелять: так были перемешаны друзья и враги. Казалось только, что к этой борьбе демонов прибавилось еще несколько демонов.

В красной и дымной атмосфере видны были смешанные кучки сражавшихся людей, которые падали, вставали и опять падали; слышны были крики бешенства и предсмертные вопли, но оставшийся в живых искал нового противника и начинал новую борьбу.

Эта резня продолжалась с четверть часа, может быть, минут двадцать. Тогда можно было сосчитать в гроте Сейзериа двадцать два трупа: тринадцать принадлежали драгунам и жандармам, девять товарищам Ииуя. Пятеро из товарищей были живы: израненные.

подавленные числом, они были взяты в плен. Их окружили драгуны и жандармы в числе двадцати пяти. У жандармского капитана была раздроблена левая рука; у начальника драгунской бригады прострелено бедро.

Только Ролан, покрытый кровью, но кровью чужой, не получил ни одной царапины.

Двое из пленных были тяжело ранены, так что не могли идти: надо было нести их на носилках. Зажгли нарочно приготовленные факелы и отправились в город.

В то время, когда переходили от леса к большой дороге, послышался топот лошади. Он быстро приближался.

— Вы продолжайте свой путь, — сказал Ролан, — я останусь позади узнать, что это такое.

Это был всадник; он скакал во всю прыть.

— Кто идет? — воскликнул Ролан, когда всадник был уже не более как в двадцати шагах от него. Он приготовил свой карабин между тем.

— Еще один ваш пленник, г. де Монревель, — отвечал всадник. — Я не мог быть с моими друзьями во время сражения, хочу по крайней мере быть с ними на эшафоте. Где они?

— Там, милостивый государь, — отвечал Ролан. Он узнал не лицо, а голос молодого человека, который слышал уже в третий раз. Он указал рукой на небольшую толпу, шедшую по пути от Сейзериа к Буру.

— Как счастлив я, что вижу вас здоровым и целым, г. де Монревель, — сказал молодой человек с совершенной вежливостью. — Клянусь вам, это радует меня.

Он пришпорил свою лошадь и в несколько скачков был уже подле жандармов и драгунов.

— Извините, господа, — сказал он, сходя с лошади, — но я требую места подле трех моих друзей, виконта де Жаиа, графа де Валансолля и маркиза де Рибье.

Трое пленников невольно вскрикнули от удивления и протянули руки к своему другу. Двое раненых приподнялись на своих носилках и пробормотали:

— Хорошо, хорошо, Сент-Эрмин.

— Боже, прости меня! — вскричал Ролан. — А, кажется, лучшая сторона в деле останется до конца за этими бандитами...

Глава L

КАДУДАЛЬ В ТЮИЛЬРИ

Через день после того, как случились рассказанные нами события, два человека расхаживали друг подле друга в большой гостиной Тюильрийского дворца, в той, которая окнами в сад. Они

разговаривали с живостью и оба сопровождали свои слова быстрыми и оживленными движениями.

Эти два человека были Бонапарте и Жорж Кадудаль.

Глубоко чувствуя несчастье, какое могло навлечь на Бретань более продолжительное сопротивление, Жорж Кадудаль заключил с Брюном мир. В то же время, как подписан был мирный договор, он освободил товарищей Июя от их присяги. К несчастью, увольнение их, как мы видели, опоздало сутками.

Заключая мир, Жорж Кадудаль, верный своему характеру, ничего не выговорил для себя, кроме свободы немедленно удалиться в Англию.

На другой день после подписания мирного договора Кадудаль, возвратившись в свой лагерь с растерзанною душой, получил письмо от английского адмирала, бросившего якорь в Кибронском заливе. Адмирал извещал его в своем письме, что Англия отдает в распоряжение ему шестьсот тысяч франков для продолжения войны. Если бы такое известие пришло двумя днями раньше, оно, по всей вероятности, изменило бы обстоятельства, но оно явилось слишком поздно, и Кадудаль отвечал:

«Вчера я подписал мирный договор и не могу сегодня получить денег, назначенных для войны. Вследствие этого прошу у вас теперь только одной милости: перевезти меня в Англию».

Но Брюн так настаивал, что Кадудаль согласился иметь свидание с первым консулом и для этого приехал в Париж.

В самый день своего приезда, утром, явился он в Тюильри, назвал себя и был принят. За отсутствием Ролана ввел его Рапп, который, уходя, оставил растворенными обе половинки двери, чтобы видеть все из кабинета Бурьена и в случае надобности тотчас подать помощь первому консулу.

Но Бонапарте понял намерение Раппа и запер дверь, а потом, с живостью обратившись к Кадудалю, сказал:

— Наконец, вот и вы! Я очень рад вас видеть. Один из ваших неприятелей, мой адъютант Ролан де Монревель, говорил мне о вас много доброго.

— Это не удивляет меня, — отвечал Кадудаль, — в короткое время, покуда мы были вместе с г-м Монревелем, я заметил в нем самые рыцарские чувства.

— Да, и это вас тронуло? — отвечал вопросительно Бонапарте. Он уставил свои соколиные глаза на предводителя роялистов и прибавил:

— Послушайте, Жорж, мне надобны сильные люди для исполнения труда, который я начинаю. Хотите ли быть в числе моих? Я предлагал вам чин полковника; вы заслуживаете больше: предлагаю вам чин дивизионного генерала.

— Благодарю вас от глубины души, гражданин первый консул, — отвечал Жорж, — но вы стали бы презирать меня, если бы я принял ваше предложение.

— Почему? — с живостью спросил Бонапарте.

— Потому что я присягал дому Бурбонов.

Первый консул с важностью поклонился.

— Остается ли за мною пользование свободой, и могу ли я удалиться, куда мне вздумается?

Бонапарте подошел к двери, отворил ее и громко сказал:

— Дежурный адъютант!

Он ожидал увидеть Раппа, явился Ролан.

— А, это ты! — сказал он и, обратившись к Кадудалю, прибавил:

— Не имею надобности представлять вам полковника, адъютанта моего Ролана де Монревеля: старый ваш знакомый. Ролан, скажи своему другу, что он так же свободен в Париже, как ты был у него в лагере и в Мюзильяке, и что, если ему надобен паспорт в какую бы то ни было страну, Фуше приказано выдать паспорт.

— Мне довольно вашего слова, гражданин первый консул, — отвечал, поклонившись, Кадудаль. — Сегодня вечером я уезжаю.

— А можно ли спросить куда?

— В Лондон, генерал.

Жорж поклонился первому консулу и вышел.

— Ну, генерал, — спросил Ролан, когда они остались одни, — тот ли это человек, о котором я вам говорил?

— Да, — отвечал Бонапарте в задумчивости, — только он глядит на положение с дурной стороны; но преувеличенные его правила порождены благородными чувствами и должны производить сильное действие на его единомышленников.

Тихим голосом он прибавил:

— А надо кончить это.

Потом, обращаясь к Ролану, он спросил:

— А ты?

— Я? Кончил, — отвечал Ролан.

— Право? Так что товарищи Ииуя...

— Не существуют больше, генерал; три четверти из числа их убиты, остальные под стражей.

— А ты жив и здоров?

— Не говорите мне об этом, генерал. Я начинаю верить, что, сам не знаю как, заключил договор с сатаною.

Вечером в тот же день Кадудаль отправился в Англию.

При известии, что бретонский предводитель благополучно приехал в Лондон, Людовик XVIII написал ему:

«С величайшим удовольствием известился я, генерал, что вы, наконец, вырвались от рук тирана, который так мало знает вас, что даже предлагал вам служить у него. Я скорбел о несчастных обстоятельствах, принудивших вас вести с ним переговоры, но никогда ни малейшее беспокойство не тревожило меня, ибо мне слишком хорошо известны сердца верных моих бретонцев, и ваше в осо-

бенности. Теперь вы свободны и находитесь при моем брате; надежда моя вполне возрождается: не имею надобности говорить более французу, такому как вы.

Людовик».

К этому письму были присовокуплены: диплом на чин генерал-лейтенанта и орден Святого Людовика.

Глава LI

РЕЗЕРВНАЯ АРМИЯ

Первый консул достиг, чего желал: Вандея была усмирена, товарищи Ииуя не существовали.

Предлагая мир Англии, он, однако, надеялся, что будет война; он прекрасно сознавал, что, получив всемирную известность благодаря войне, он мог возвеличиться только войной: казалось, он предугадывал, что некогда поэт назовет его «гением битв».

Но как же он будет теперь вести эту войну?

Один из параграфов конституции VIII года не позволял первому консулу лично командовать армией и покидать Францию.

— В конституциях всегда есть хоть один нелепый параграф, — говорил Бонапарте, — счастливы те конституции, где их не более одного...

Первый консул нашел возможность обойти его.

Он учредил военный лагерь в Дижоне и армию эту назвал резервной армией.

В состав ее вошли войска, бывшие в Бретани и Вандее, приблизительно тридцать тысяч человек; к ним прибавили еще двадцать тысяч рекрутов. Генерал Бертье получил звание главнокомандующего этой армией.

План же действий, который изложил некогда Ролану Бонапарте в своем Люксембургском кабинете, остался в уме его тот же самый.

Он рассчитывал завоевать Италию с одного сражения, долженствовавшего олицетворить собой великую победу.

Моро, за содействие 18 брюмера, получил то назначение, которого добивался, он был назначен главнокомандующим восьмидесятитысячной рейнской армией.

Ожеро командовал галло-батавской, двадцатипятидесятитысячной армией, а Массена — армией в окрестностях Генуи, где с яростью выдерживал ее осаду с суши австрийским генералом Оттом, а с моря — английским адмиралом Кейтом.

Во время этих событий в Италии Моро орудовал на Рейне и разбил неприятеля при Стоках и Мескирхе.

Одна победа должна была послужить сигналом резервной армии для открытия военных действий и с ее стороны; а две победы не оставляли уже ни малейшего сомнения в своевременности этих действий.

Вопрос заключался только в том, как же эта армия попадет в Италию?

Первой мыслью Бонапарте было подняться по Валлису, выйти из Симплонского горного ущелья, обогнуть Пьемонт и войти в Милан; но исполнение этого плана заняло бы много времени, и, к тому же, он слишком бросался в глаза.

Бонапарте отказался от него; он решил заставить врасплох австрийцев и очутиться со всей своей армией в долинах Пьемонта в то время, когда все думали бы, что он еще не переходил Альп.

И он решился перевалить армию через Сен-Бернард.

Он тогда именно и послал святым отцам монастыря, устроенного на вершине горы, пятьдесят тысяч франков, которыми овладели товарищи Ииуя.

Следующие же пятьдесят тысяч франков дошли благополучно по назначению.

Благодаря этим деньгам монахи могли с избытком дать подкрепление пятидесятитысячной армии, остановившейся у них на один день.

Поэтому к концу апреля вся артиллерия была направлена на Лозанну, Вильнев, Мартины и Сен-Пьеро.

Генерал Мармон, начальник артиллерии, отправился вперед для наблюдения за доставкой орудий, каковая оказалась сопряженной с большими затруднениями; однако, надо было ее выполнить.

Тут даже нельзя было руководствоваться историческими примерами; ни Аннибал с своими слонами, нумидийцами и галлами, ни Карл Великий со своими франками не сталкивались с подобными препятствиями.

И во время итальянской кампании 1796 года Альп не переходили, их обходили; спускались из Ниццы в Кераско по Корнишской дороге.

На этот раз предстояло преодолеть страшное затруднение. Надо было сперва удостовериться, что на горе нет неприятеля, но и с свободной горой трудно было справиться!

Лана с дивизией пустили вперед, в качестве разведочного отряда; он прошел Сен-Бернардское ущелье без артиллерии и фуража и овладел Шатильоном.

Выяснилось, что австрийцы оставили в Пьемонте пустячные кавалерийские склады запасов и несколько пикетов; следовательно, оставалось победить только природу.

Начался перевал.

Соорудили было сани для перевозки пушек, но и они оказались слишком широкими для ущелья.

Надо было придумать другое орудие.

Выдолбили еловые стволы, вложили в ложбины пушки, сверху прикрепили канат, за который тащили бревна, а внизу — рычаги для направления движения.

Двадцать гренадеров тянули канат, а другие двадцать несли

их багаж. Артиллерист распоряжался этой операцией и имел власть над жизнью и смертью подчиненных.

При подобных обстоятельствах человеческое мясо не имело никакой ценности по сравнению с бронзой.

Перед отправлением в поход каждого солдата снабдили парой новых башмаков и двадцатью сухарями. Башмаки они надели на ноги, а сухари повесили на шею.

Первый консул, поместившись у подошвы горы, подавал каждой партии знак к отходу.

Для составления себе понятия о том, что это было за путешествие, надо быть самому туристом, т. е. самому испытать этот переход пешком или на муле и видеть все представляющиеся на пути пропасти: вечно идти по крутым склонам, по узким тропинкам, по камням, которые осыпаются из-под ног.

Время от времени останавливались, переводили дыхание и снова, без звука ропота, пускались дальше в путь.

Достигли ледников, но, прежде чем углубляться в них, люди получали другую обувь: утренняя была вся в клочьях; съели по куску сухаря, выпили водки и снова пустились в путь.

Никто не знал, куда они взбираются; одни спрашивали, сколько дней продлится еще поход, другие — будет ли позволено передохнуть ночью.

Наконец, вступили в область вечных снегов.

Там передвижение становилось легче; пушки скользили по снегу, и можно было переступать скорее.

Следующий факт может дать представление о том, какими полномочиями обладал артиллерист, начальствующий над каждой партией.

Генералу Шамберлаку показалось, что двигались недостаточно быстро, и, желая поторопить, он подошел к канониру и начал вести разговор в тоне начальника.

— Не вы здесь начальник, а я, — ответил артиллерист, — на мне лежит ответственность за орудие, я перевожу его, проходите.

Генерал приблизился к канониру, как бы собираясь схватить его за шиворот.

Но тот, отступив назад, воскликнул:

— Генерал, не троньте меня, а не то я сию же минуту спихну вас в пропасть рычагом.

После неслыханных изнурений достигли, наконец, монастыря. Генерал ушел обратно.

Там отыскивали следы прохождения дивизии Лана: так как склон был очень крут, то солдаты устроили род гигантской лестницы. Взошли по ней.

На площадке ждали отцы Сен-Бернардского монастыря. Они провели к себе в больницу последовательно каждую партию. По коридорам были расставлены длинные столы, и на этих столах был приготовлен хлеб, швейцарский сыр и вино.

Оставляя монастырь, солдаты крепко жали монахам руки и целовали их собак.

Сначала спуск показался им удобнее подъема, поэтому офицеры объявили, что теперь их очередь тащить орудия. Но на этот раз орудия увлекли тянувших, и частенько приходилось спускаться бегом.

Генерал Лан со своей дивизией подвигался все в качестве авангарда. Он спустился первым в долину; он вступил в Аосту и получил приказ двинуться на Иврея, при входе в Пьемонтскую долину.

Но тут он натолкнулся на препятствие, которого никто не предвидел: то было Бардское укрепление.

Деревня Бард расположена в восьми милях от Аосты; на спуске по дороге, ведущей к Иврее, несколько позади деревни, находится бугор, загораживающий почти вплотную проход в долину. Между этим бугром и горой направо протекает Дуара.

Эта речка или, вернее, поток заполняет собой весь промежуток гор.

Гора, находящаяся слева, представляет почти то же самое, только там, вместо речки, идет дорога.

С этой стороны и возвышается Бардское укрепление. Оно расположено на вершине бугра и захватывает собой почти половину его к спуску.

Как же случилось, что никто не подумал об этом препятствии, которое было прямо-таки непреодолимо?

Не представлялось никакой возможности выдолбить там туннель, а взобраться по скалам было немислимо.

Однако, по долгом исследовании, отыскали тропинку, которую утрамбовали, по которой могла пройти пехота и кавалерия; но напрасно пытались перевалить артиллерию, употребляя даже те приемы, которыми пользовались при переходе через Сен-Бернард. Это не удалось.

Тогда Бонапарте распорядился выставить две пушки и открыть огонь по крепости; но вскоре убедились, что ядра не достигали до цели; к довершению всего, ядром, пущенным с крепости, приведена была одна из пушек в полную негодность.

Первый консул отдал приказ взять крепость приступом. Стоявшие в деревне войска, разбившись на колонны, устремились по захваченным ими приставным лестницам вверх на гору к крепости, с разных концов одновременно; для успеха такой атаки требовалась не только быстрота, но и полнейшая тишина: это нападение должно было явиться для неприятеля неожиданностью. Вместо всех этих предосторожностей полковник Дюфур, командовавший одной из колонн, заставил бить барабан, и командир получил смертельную рану.

Тогда набрали лучших стрелков; их снабдили съестными припасами и мушкетами; они добрались ползком до площадки, расположенной выше крепости.

С высоты этой площадки видна была другая, пониже, которая спускалась уже к крепости; с большим трудом втащили туда две пушки батареи.

Два орудия с одной стороны, а стрелки — с другой принялись беспокоить неприятеля.

В то же самое время генерал Мармон предложил первому консулу такой смелый план, что неприятелю он не мог бы никак прийти в голову.

План состоял в том, что следовало просто-напросто провести артиллерию по большой дороге ночью, не обращая внимания на близость крепости.

По дороге разбросали навоз и волос из всех тюфяков, которые оказались в деревне, потом обернули сеном колеса, цепи и все гремящие части повозок.

Из-под пушек и фур выпрягли лошадей и заменили их людьми, которых впрягали по пятидесяти человек в каждое орудие.

Перевозка на людях имела два преимущества: во-первых, лошади могли ржать, а люди, в собственных интересах, должны были соблюдать строжайшую тишину; во-вторых, убитая лошадь останавливала всех других лошадей, убитый же человек отпихивался в сторону, а за его канат хватался другой — заместитель его, и шествие продолжалось.

К каждой повозке было приставлено по одному артиллерийскому офицеру и по одному унтер-офицеру и назначено по шестисот франков за перевозку фур вне поля зрения форта.

С первой повозкой отправился сам генерал Мармон, подавший совет.

К счастью, вследствие грозы ночь была очень темная.

Шесть орудий и шесть фур прошли благополучно; ни единого выстрела не раздалось с крепости.

На цепочках гуськом вернулись люди той же дорогой, но на этот раз неприятель, слышав какой-то шорох и желая знать причину его, выпустил несколько гранат.

По счастью, гранаты перелетели через дорогу.

Спрашивается, зачем возвращались эти люди назад?

За ружьями и багажом. Можно было бы, разумеется, избавиться их от этой опасности, сложив ружья и багаж на повозки, но предусмотреть все трудно, доказательством чего служит непредвиденная крепость Бард.

Раз уже обнаружилась возможность прохода по дороге, то стали перевозить и артиллерию; только предупрежденный неприятель становился еще опаснее. Крепость, подобно вулкану, изрыгала пламя и дым; но так как стрелять с крепости приходилось в вертикальном направлении, то больше было грохоту, чем вреда.

Потеря определялась в пять, шесть человек с отряда, т. е. в одну десятую часть, но артиллерия прошла, а это обстоятельство решало участь кампании.

Позже обнаружилось, что можно было пройти ущельем Сен-Бернарда и провести всю артиллерию, не разбирая ее.

Правда, что этот перевал не был бы так славен, если бы был менее затруднителен.

Наконец, добрались до прекрасных пьемонтских равнин.

На Тессине встретили двенадцатитысячный корпус, отделенный от Рейнской армии генералом Моро, который, после двух одержанных побед, мог дать итальянской армии свою подмогу.

Перейдя Сен-Готард и получив подкрепление в двенадцать тысяч, первый консул вступил в Милан без кровопролития.

Как же обошел Бонапарте тот параграф конституции VIII года, по которому он не мог выезжать из Франции и становиться во главе армий?

Мы сейчас это скажем.

Накануне того дня, в который он должен был уехать из Парижа, т. е. 5 мая, или, по современному календарю, 15 флореаля, он созвал к себе двух остальных консулов и министров и сказал Люсьену:

— К завтрашнему дню изготовьте префектам циркуляр.

Потом, обращаясь к Фуше, продолжал:

— Вы велите перепечатать этот циркуляр в газетах; в нем будет известие о моем отъезде в Дижон на смотр резервной армии; не утверждая, разумеется, что я, быть может, проеду до Женевы; вы прибавите, что я отлучился не более как на две недели. В случае каких-либо необыкновенных происшествий я вернусь немедленно. Поручаю всем вам великие интересы Франции; надеюсь, что обо мне скоро заговорят в Вене и в Лондоне.

6-го мая он уехал.

С этих пор его заветной мечтой было спуститься в пьемонтские долины и там дать большое сражение; а потом, так как он не сомневался в победе, он ответил тем, которые посмели бы упрекнуть его в нарушении конституции, как ответил обвиненный Сципион: «В такой-то день и час я разбил карфагенян; пойдем в Капитолий и возблагодарим богов».

В качестве главнокомандующего он отправился из Парижа 6 мая и 26-го того же месяца был с своей армией между Туринном и Казале. Дождь лил весь день; к вечеру буря утихла, и небо, как обыкновенно в Италии, явилось, вместо покрытого дождевыми тучами, чисто лазуревым, а через несколько минут уже блистали на нем звезды.

Первый консул дал знак Ролану идти за ним. Оба вышли из городка Кивассо и шли по берегу реки. Во ста шагах от последних домов дерево, сваленное грозой, приглашало гуляющих отдохнуть. Бонапарте сел и показал Ролану рукой место подле себя. Видно было, что главнокомандующий хотел вверить своему адъютанту какую-нибудь задушевную мысль. Оба молчали с минуту; наконец, Бонапарте сказал:

— Помнишь ли, Ролан, наш разговор в Люксембурге?

— Генерал, — отвечал Ролан, улыбнувшись, — много было у нас разговоров в Люксембурге; в один из них вы объявили мне, что весной мы спустимся с гор в Италию, разобьем генерала Меласа при Торре ди Гарофоло или при Сан-Джулиано; ведь так и будет?

— Да, но я спросил тебя не об этом разговоре.

— Не угодно ли вам навести меня на ваш, генерал?

— Речь шла о браке.

— Ах, да, о браке моей сестры? Это должно быть теперь уже кончено, генерал.

— Не о браке твоей сестры, Ролан, а о твоём.

— О моем? — сказал Ролан с горькой усмешкой. — Я полагал, генерал, что этот разговор уже исчерпан.

Он сделал движение, как бы хотел встать, Бонапарте удержал его за руку.

— Когда я говорил тебе об этом, Ролан, — продолжал он с важностью, давая тем знать, что хочет быть выслушан, — знаешь ли, кого я назначил тебе?

— Нет, генерал.

— Ну так я назначил тебе мою сестру Каролину.

— Вашу сестру?

— Да; это удивляет тебя?

— Я никогда не думал, чтобы вы оказали мне такую честь.

— Ты неблагодарный, Ролан, или говоришь мне не то, что у тебя на уме; ты знаешь ведь, что я люблю тебя.

— О, генерал! — воскликнул Ролан.

И он схватил обе руки Бонапарте и крепко сжал их в знак глубокой признательности.

— Вот и я хотел иметь тебя своим зятем.

— Ведь ваша сестра и Мюрат любят друг друга, генерал, — сказал Ролан, — поэтому будет лучше, если ваш проект не осуществится. Кроме того, — прибавил он глухим голосом, — кажется, я уже говорил вам, генерал, что я никогда не женюсь.

Бонапарте усмехнулся.

— Скажи уж лучше, что ты решил сделаться монахом!

— Честное слово, генерал, если вы снова восстановите монастыри и тем избавите меня от случаев быть убитым (кажется, их, слава Богу, не мало), то, пожалуй, вы и угадали, как я думаю окончить свою жизнь.

— Верно, есть какая-нибудь сердечная рана или коварство женщины?

— Славно! — заметил Ролан. — Вы, кажется, считаете меня влюбленным! Только этого не доставало, чтобы получить подобающую оценку от вас!

— Ты еще смеешь говорить об оценке, когда я хотел дать тебе в жены свою сестру?

— Да, но, к несчастью, это оказалось невозможным! Все ваши

три сестры замужем, генерал; младшая вышла за генерала Леклерка, вторая — за принца Бачиокки, а старшая — за Мюрата.

— Так что ты теперь спокоен и счастлив, — заметил, смеясь, Бонапарте, — ты думаешь, что не попадешь в родство ко мне...

— О! Генерал! — воскликнул Ролан.

— Ты, вероятно, не честолюбив?

— Генерал, позвольте мне любить вас за то добро, которое вы мне уже сделали, а не за то, которое вы собираетесь мне сделать.

— А если бы из эгоизма я бы хотел связать тебя с собой не одними дружескими, но и родственными узами? Если бы я сказал тебе: в моих планах на будущее я не могу положиться на братьев, но в тебе не усомнился бы ни на минуту.

— Вы были бы правы, в отношении сердца...

— Во всех отношениях! Что мне делать с Леклерком? Ведь это посредственность; Бачиокки не француз... Мюрат хоть и получил кличку «львиное сердце», но он сумасброд. Разумеется, мне придется сделать всех их принцами, так как они мужья моих сестер. А что же мне делать с тобой?

— Я буду маршалом Франции.

— А потом?

— Что потом? Я нахожу, что и этого довольно.

— Но ты будешь двенадцатым, а не самостоятельной единицей.

— Позвольте мне просто быть вашим другом, позвольте мне вечно говорить вам правду, и уверяю вас, что и этим вы мне сделаете достаточное отличие.

— Для тебя это, может быть, и достаточно, но не для меня, — настаивал Бонапарте на своем.

Потом, видя, что Ролан все молчит, он сказал:

— Правда, сестер у меня нет, но я думал, что ты мог бы быть мне еще ближе, чем братом.

Ролан продолжал молчать.

— Есть в мире очаровательная девочка, и я люблю ее как родную дочь; ей недавно исполнилось семнадцать лет; тебе теперь двадцать шесть; и ты уже бригадный генерал, до окончания похода будешь дивизионным генералом. Итак, Ролан, когда кончится поход, мы возвратимся в Париж, и ты женишься на...

— Генерал, — прервал его Ролан, — вот, кажется, Бурьен к вам идет.

В самом деле Бурьен был в десяти шагах от разговаривавших.

— Это вы, Бурьен? — сказал Бонапарте почти с нетерпением.

— Да, генерал, курьер из Франции.

— А!

— И письмо от г-жи Бонапарте.

— Хорошо, — сказал первый консул, быстро вставая. — Подай.

Он почти вырвал из рук его письмо.

— А ко мне ничего нет? — спросил Ролан.

— Ничего.

— Странно! — промолвил молодой человек, нахмутив брови.

Луна плыла по небу, и при свете ее, при свете прекрасной итальянской луны, Бонапарте мог читать. При чтении первых двух страниц на лице его видно было совершенное спокойствие; Ролан, глядя на своего генерала, угадывал впечатления его души. Но к концу письма лицо Бонапарте омрачилось, брови сдвинулись; он украдкой взглянул на Ролана.

— Видно, есть что-нибудь обо мне в этом письме? — промолвил молодой человек.

Бонапарте не отвечал, окончил чтение, сложил письмо и спрятал в свой карман.

— Хорошо, — сказал он, — мы сейчас возвратимся. Вероятно, я отправлю курьера. Подождите меня там и очините мне побольше перьев.

Бурьен поклонился и пошел обратно в Кивассо.

Тогда Бонапарте подошел к Ролану, положил руку на его плечо и сказал:

— Не счастливятся мне браки, задуманные мной!

— Почему так? — спросил Ролан.

— Брак твоей сестры расстроился.

— Она отказала?

— Нет, не она.

— Как не она? Неужели лорд Танлей отказался?

— Да.

— Он отказался от моей сестры, после того как просил руки ее у меня, у моей матери, у вас, у нее самой?

— погоди, погоди, не вспыхивай, а постарайся сначала догадаться, что тут есть что-то непонятное.

— Я не вижу ничего непонятного, а вижу оскорбление.

— Ну, так, так! Вот почему и не хотели писать тебе ни мать, ни сестра, но Жозефина признала обстоятельство важным и должна была сказать тебе о нем. Она извещает меня, предоставляя передать тебе известие, если я сочту нужным. Ты видишь, что я не стал раздумывать.

— Искренно благодарю вас, генерал. Но сказал ли лорд Танлей причину своего отказа?

— Сказал, но эта причина не причина.

— Что же такое?

— То есть это не может быть истинная причина.

— Но какая она, наконец?

— Стоит взглянуть на этого человека, поговорить с ним пять минут, и можно знать его.

— Однако, генерал, на чем основывает он отступление от своего слова?

— На том, что сестра твоя не так богата, как он полагал.

- Ролан захохотал нервным смехом, который обыкновенно вызывал у него сильное волнение.
- Да, это было первое, что я сказал ему! — проговорил Ролан.
 - А что он отвечал?
 - Что он довольно богат для двух.
 - Ты видишь, что это не могло быть причиной отказа.
 - Итак, отказ?
 - Да.
 - Решительный?
 - Решительный отказ.
 - Вы видите, генерал, я думаю, что такой отказ есть оскорбление!
 - Я не противоречу тебе в этом.
 - Вы согласны в том, что один из ваших адъютантов не может быть оскорблен в лице своей сестры и не потребовать в том отчета?
 - В положениях такого рода, мой милый Ролан, тот, кто считает себя обиженным, сам должен решить вопрос.
 - Генерал! — спросил Ролан. — Через сколько дней, как вы полагаете, будет у нас решительное сражение?
 - Не прежде как через две или три недели.
 - Я прошу у вас отпуска на две недели.
 - С одним условием.
 - Каким?
 - Что ты поедешь через Бур и расспросишь свою сестру, чтобы узнать, от кого исходит отказ.
 - Я это и собирался сделать.
 - Так не теряй же ни минуты.
 - Вы видите, что я не теряю ни минуты, — сказал молодой человек, ступив уже несколько шагов к двери.
 - Постой, ведь ты возьмешься доставить мои депеши в Париж?
 - Понимаю: я — курьер, о котором вы сейчас говорили Бурьену.
 - Именно.
 - В таком случае пойдемте.
 - Постой еще. Молодые люди, которых ты взял под стражу...
 - Товарищи Ииуя?
 - Да. Они, кажется, все принадлежат к дворянским фамилиям и больше фанатики, нежели преступники. И кажется, что твоя мать, сделавшись жертвой какой-то юридической хитрости, была свидетельницей во время судопроизводства и причиной их осуждения.
 - Очень может быть. Вам известно, что моя мать была задержана ими и видела лицо их предводителя.
 - Ну, твоя мать, через Жозефину, умоляет меня пощадить этих бедных безумцев: так она называет их. Они подали апелляцию. Ты приедешь прежде, нежели им откажут, и, если найдешь

это возможным, скажи от меня министру юстиции, чтобы дело отсрочили. По твоём возвращении мы увидим, как надобно будет поступить окончательно.

— Благодарю, генерал. Не угодно ли сказать мне еще что-нибудь.

— Нет, только прошу подумать о сегодняшнем разговоре.

— По поводу?..

— По поводу брака.

Глава LII

СУД

— Вот видите, я вам скажу то, что вы сами только что сказали: мы поговорим об этом по возвращении моем, если только я вернусь.

— Я знаю, — ответил Бонапарте, — ты и этого убьешь, как убил остальных; однако признаюсь тебе, что если ты убьешь его, то мне будет жаль.

— Если вы будете жалеть его, то ведь легко устроить так, чтобы я был убит, а не он.

— Ты смотри, дуралей, не натвори действительно беды, — заговорил живо первый консул, — мне тебя еще более жаль.

— Правду сказать, — заметил Ролан с нервным смехом, — на вас не угодишь.

На этот раз он пошел к Кивассо, и генерал уже не останавливал его.

Через полчаса Ролан скакал по Иврейской дороге, в почтовой карете; так должен был он ехать до Аосты, а в Аосте взять мула, переехать через Сен-Бернард, спуститься в Мартиг и через Жене-ву приехать в Бур, а из Бура в Париж.

Пока Ролан скачет, посмотрим, что происходило во Франции, и поясним то, что может оставаться темным для наших читателей в разговоре первого консула с его адъютантом. Пленники, захваченные Роланом в гроте Сейзера, только одну ночь оставались в Бурской тюрьме и немедленно были перевезены в Безансон, где должны были судить их военным судом.

Вспомним, что двое из пленников были так тяжело ранены, что их несли на носилках: один умер в тот же вечер, а другой через три дня по прибытии в Безансон.

Таким образом, число пленников ограничивалось четырьмя, это были: Морган, сдавшийся по собственной воле, совершенно здоровый, Монбар, Адлер и д'Ассас, раненые, но раны их были не опасны. Припомним, что под этими четырьмя псевдонимами скрывали свои имена барон де Сент-Эрмин, граф де Жаиа, виконт де Валансоль и маркиз де Рыбе.

Покуда производилось в Безансонской военной комиссии дело о четырех обвиняемых, истек срок закона, по которому дела о грабеже дилижансов на больших дорогах подвергались рассмотрению и суду военных комиссий. Таким образом, товарищи Ииуя сделались подсудны гражданским судам; и в этом была для них величайшая разница, в отношении не к приговору, а к исполнению его. Осужденных военным судом, их расстреляли бы; осужденные гражданским судом, они подвергались казни на гильотине. Расстреливание не было позорной казнью, а казнь на гильотине была.

Как скоро они подверглись суду присяжных, процесс их перешел по принадлежности в Бур, и к концу марта обвиняемые были перевезены из Безансона в Бурскую тюрьму, где и началось следствие. Но четверо обвиняемых оправдывали себя так, что это чрезвычайно затрудняло следователей. Они объявили, что их имена: барон де Сент-Эрмин, граф де Жаиа, виконт де Валансолль, маркиз де Рибье и что они никогда не имели ни малейшего сношения с обирателями дилижансов, называвшими себя Морган, Монбар, Адлер и д'Ассас. Они сознавались, что принадлежали к военным партиям, собиравшимся под руководством и управлением де Тейсоне, составляли часть бретонской армии, но ту, которая назначена была для действия на юге и востоке, между тем как бретонская армия, подписавшая мирный договор, действовала на Западе. Они говорили, что ждали только, когда покорится Кадудаль, и тогда объявили бы свою покорность; что, вероятно, они и получили бы от него известие в те дни, когда на них напали и взяли в плен.

Трудно было доказать противное. Грабеж дилижансов всегда производили люди в масках, и кроме г-жи де Монревель и сэра Джона никто и никогда не видал ни одного лица этих искателей приключений. Припомним, что сэр Джон видел их в ту ночь, когда был схвачен ими, осужден и поражен в грудь кинжалом; а г-жа де Монревель видела лицо одного во время остановки дилижанса, когда в нервном припадке, произведенном испугом, она нечаянно сбила маску с Моргана. И сэр Джон и г-жа де Монревель были призваны на очную ставку с четверьмя обвиняемыми, но вместо обличения их объявили, что не знают ни одного из этих лиц. Отчего? Это было понятно со стороны г-жи де Монревель: она хранила двойную признательность к тому, кто охранял ее сына Эдуарда и помогал ей самой. Молчание со стороны сэра Джона было труднее объяснить, потому что из числа четырех арестантов он, верно, узнал хоть двух. И они узнали его: невольное содрогание пробежало по их жилам при виде его, но они тем не менее решительно глядели ему в лицо.

К величайшему их изумлению, сэр Джон, несмотря на все домогательства следователей, упорно отвечал: «Я не имею чести знать этих господ».

Амели — мы не говорили о ней: есть скорби, которых не должно пытаться изобразить пером, — Амели, бледная, слабая, умираю-

шая со времени той ужасной ночи, когда Морган был взят под стражу, Амели с тоской ожидала возвращения своей матери и лорда Танлея от следственного судьи.

Лорд Танлей первый вошел в комнату; г-жа де Монревель осталась несколько позади, отдавая какие-то приказания Мишелю. Завидев сэра Джона, Амели бросилась к нему навстречу, спрашивая:

— Ну? Что?

Сэр Джон огляделся кругом, желая увериться, что г-жа де Монревель не могла ни видеть, ни слышать его, и отвечал на вопрос Амели:

— Ни мать ваша, ни я не узнали никого.

— О, как вы благородны, как вы великодушны, как вы добры, милорд! — вскричала она и хотела целовать руки сэра Джона. Но он спрятал свои руки и поспешил сказать:

— Я только исполнил то, что обещал вам, но молчите: вот мать ваша!

Амели отступила шаг назад и спросила, обращаясь к своей матери:

— Так вы не способствовали обвинению этих несчастных?

— Как могла я, — отвечала г-жа де Монревель, — послать на эшафот человека, который заботился обо мне и не убил Эдуарда, а еще ласкал его?

— Вы его узнали, однако ж? — спросила Амели, трепеща всем телом.

— Как нельзя лучше: это он, тот самый чернобровый блондин, который называет себя бароном Шарлем де Сент-Эрмином.

Амели задушила крик в груди своей и, сделав усилие над собой, сказала:

— Стало быть, уж это кончено, и ни вы, ни милорд не будете больше призваны в свидетели?

— Надеюсь, что нет, — отвечала г-жа де Монревель.

— Во всяком случае, — прибавил сэр Джон, — я думаю, что, так как я в самом деле не узнал никого и г-жа де Монревель также, мы останемся при наших показаниях.

— О, конечно! — промолвила г-жа де Монревель. — Боже меня сохрани быть причиной смерти этого несчастного молодого человека! Я никогда не простила бы себе этого. Слишком довольно того, что он и его товарищи были захвачены Роланом!

Амели вздохнула, но в лице ее выразилось несколько больше спокойствия. Она с признательностью взглянула на сэра Джона и возвратилась в свои комнаты, где ожидала ее Шарлотта.

Шарлотта сделала для Амели больше нежели горничной: она сделала почти другом ее.

С тех пор, как обвиняемые были перевезены в Бурскую тюрьму, Шарлотта каждый день приходила к своему отцу и оставалась у него с час. В это время все разговоры шли о новых арестантах, которых чрезвычайно жалел почтенный тюремщик, завзятый роялист.

Шарлотта осведомлялась о всех словах их и сообщала о них известия.

В это время приехали в замок Черных Фонтанов г-жа де Монревель и сэр Джон. Первый консул, уезжая из Парижа, сказал г-же де Монревель через Ролана и повторил через Жозефину, что он желает заключения брака Амели во время своего отсутствия и как можно скорее. В таком положении дела г-жа де Монревель, утром того дня, когда она и сэр Джон должны были явиться к судье на очную ставку, позволила сэру Джону переговорить с Амели наедине.

Разговор между ними продолжался больше часу, и тотчас после него сэр Джон отправился вместе с г-жой де Монревель в суд, на очную ставку. Мы видели, что их показания совершенно оправдывали обвиняемых; видели также, как встретила Амели сэра Джона по возвращении его.

Вечером г-жа Монревель также имела разговор с дочерью. На все убеждения своей матери Амели отвечала только, что болезненное состояние заставляет ее желать отсрочки брака, но что, впрочем, она предоставляет решение нежному чувству лорда Танлея.

На другой день г-жа де Монревель принуждена была оставить Бур и ехать в Париж, потому что положение ее при г-же Бонапарте не позволяло ей продолжать своего отсутствия. В утро своего отъезда она очень упрашивала Амели ехать с нею в Париж, но в этом отношении Амели отговаривалась слабостью своего здоровья. Наставали теплые, живительные месяцы в году, апрель и май; она просила дать ей провести их в деревне, потому что, как говорила она, верно, они помогут ей оправиться. Г-жа де Монревель не могла ни в чем отказать ей, тем более когда дело шло о здоровье дочери. Она согласилась на новую отсрочку для своей больной.

Как в Бур приехала г-жа де Монревель с лордом Танлеем, так и обратное путешествие в Париж совершила она с ним же, но, к великому ее удивлению, в продолжение двух дней, сидя с ней в одной карете, сэр Джон не сказал ни слова о своем браке с Амели.

Г-жа Бонапарте, свидевшись с новым своим другом, обратилась к ней с обыкновенным своим вопросом:

— Когда же будет свадьба Амели с сэром Джоном? Вы знаете, что вместе с нами желает этого первый консул.

— Свадьба зависит всецело от лорда Танлея, — отвечала г-жа де Монревель.

Такой ответ заставил г-жу Бонапарте задуматься. Отчего лорд Танлей сначала казался таким нетерпеливым в этом отношении, а теперь сделался холоден? Только время могло познать эту тайну.

А время шло, и процесс обвиняемых продолжался. Их сводили на очную ставку со всеми проезжими, подписавшими протоколы, составленные после каждого нападения на дилижансы и переданные префектом полиции следователям. Ни один из проезжих не мог

признать их, потому что ни один не видел в лицо. Кроме того, путешественники свидетельствовали, что ничего из принадлежавшего им не было отнято. Жан Пико засвидетельствовал, что деньги, захваченные у него по ошибке, были возвращены ему сполна.

Уже два месяца продолжалось следствие, и к концу двух месяцев никто не мог удостоверить, что обвиняемые были товарищи Ииуя. Виновность их ограничивалась тем, в чем сознавались они сами, объявляя себя участниками в Бретонском и Вандейском возмущениях и называясь партизанами в области Юры, под начальством Тейсонне.

Судьи замедляли, сколько можно было, открытие публичного суда перед присяжными, надеясь, что явится какой-нибудь новый обвинитель, но ожидание их было тщетно. В самом деле, никто не пострадал от тех событий, в которых их обвиняли; а об интересах казны никто не заботился. Надобно было, наконец, начать судопроизводство.

Обвиняемые, с своей стороны, не без пользы употребили время.

Мы видели, что посредством ловкого обмена паспортами Морган путешествовал под именем де Рибье, а де Рибье под именем де Сент-Эрмина, и так все другие. От этого в показаниях содержателей гостиниц выходила путаница, которую еще увеличивали их книги. Прибытие путешественников, означенное в статьях о приезжающих, часом раньше или позже неоспоримо подтверждало отсутствие обвиняемых на месте преступления. Судьи были убеждены в противном, но нравственное убеждение их было бессильно перед свидетельствами. Надобно сказать при том, что публика оказывала полное сочувствие к обвиняемым.

День публичного судопроизводства был назначен.

Бурская тюрьма находится в зданиях, смежных с судилищем. Посредством внутренних коридоров можно было приводить арестантов прямо в судейскую залу.

Как ни велика была эта зала, но в день открытия она вся наполнилась публикой. Весь город Бур теснился у дверей суда, и тут же были приехавшие из Макона, из Лон-ле-Сонье, из Безансона и Нантюа. Грабежи дилижансов на дороге наделали шуму в окрестностях, и проделки товарищей Ииуя сделались предметом народных рассказов.

Когда обвиняемые были введены в зал, появление их встретил говор, не выражавший ничего враждебного; напротив, это было столько же выражение любопытства, сколько сочувствия. Нужно сказать, что вид этих господ и не мог пробудить других чувств. Все они красавцы, одетые по последней современной моде, смелые без нахальства, улыбающиеся публике, вежливые с судьями, хотя иногда насмешливые. Вид их лучшей их защитой. Самому старшему из четырех едва было тридцать лет.

На обычные вопросы об имени, возрасте, месте рождения они отвечали:

«Шарль де Сент-Эрмин, родился в Туре, департамента Эндра и Луары, двадцати четырех лет;

Луи-Андре де Жаиа, родился в Баже-ле-Шато, Энского департамента, двадцати девяти лет;

Рауль-Фредерик-Огюст де Валансолль, родился в Сент-Коломбе, Ронского департамента, двадцати семи лет;

Пьер-Гектор де Рибье, родился в Боллене, Воклюзского департамента, двадцати шести лет».

Спрошенные о звании и состоянии, все четверо объявили, что они дворяне и роялисты.

Мы уже сказали, какую систему защиты приняли они: отрицать всякое участие в задержании дилижансов и почтовых карет, чтобы тем отклонить от себя обвинение в грабеже и остаться виновными в вооруженном восстании.

Четверо красивых молодых людей, защищавших себя от гильотины, а не от расстрела, требовавших смерти, но смерти, приличной солдату, представляли группу, поражающую юностью, мужеством и великодушием. Но судьи видели, что если эти люди будут обвинены только в вооруженном восстании, когда Вандея покорна и Бретань усмирена, то их освободят от всякого наказания. Не того хотел министр полиции; даже смерть по военным законам не удовлетворяла его: ему надобна была смерть позорная, смерть злодеев, преступников.

Открытый суд продолжался уже три дня; и еще не было сделано ничего в том направлении, какого желали обвинители. Шарлотта могла, через тюрьму, являться первой в судейскую залу, каждый день была там во время прений и каждый вечер приносила Амели утешительное слово.

На четвертый день Амели не могла удерживать себя более: она сделала себе костюм, точно такой же, как Шарлоттин; только черное кружево на шляпе было длиннее и плотнее, чем на обыкновенных шляпах. Оно служило вместо вуали, и сквозь него нельзя было видеть лица. Шарлотта представила своему отцу Амели как свою подругу, которой любопытно посмотреть судопроизводство; добряк Куртуа не узнал дочери г-жи Монревель и, чтобы дать обоим подругам случай поближе видеть обвиняемых, поставил их в коридоре, который вел от внутренних комнат в зал, тут должны были проходить обвиняемые. Коридор был так тесен в одном месте, что из четырех жандармов, провожавших арестантов, двое шли впереди, потом арестанты один за другим, потом два остальные жандарма. Шарлотта и Амели поместились при самом выходе из коридора, подле двери.

Когда Амели услышала, что двери растворяются, она должна была опереться на Шарлотту: ей казалось, что земля проваливается под ее ногами и стены падают. Послышались звук шагов, бряцанье жандармских сабель; наконец, последняя дверь растворилась. Прошел жандарм, за ним другой. Сент-Эрмин шел первый, как будто он

все еще назывался Морганом. В то мгновение, когда он проходил, Амели прошептала: «Шарль». Он узнал обожаемый голос, слабый крик вырвался из его груди, и он почувствовал, что в руку его всунули записочку. Он сжал милую руку, прошептал имя Амели — и пошел.

Другие, шедшие за ним, не заметили или сделали вид, что не заметили двух молодых женщин. Что же касается жандармов, то они ничего не видели и не слышали.

Дойдя до такого места, где было светло, Морган развернул записочку. В ней было написано:

«Будь спокоен, мой милый Шарль; я всегда останусь твоя верная Амели, на жизнь и на смерть. Я открыла все лорду Танлею; это великодушнейший из всех людей; он дал мне слово отказаться от нашего с ним брака и принять ответственность на себя. Я люблю тебя».

Морган поцеловал записку и положил к своему сердцу; потом он взглянул в коридор: две молодые бретонки стояли, прислонившись к дверям.

Амели отважилась на все, только бы еще раз увидеть его. Предполагалось, что заседание будет последним, если не явится никто вновь обвинителем подсудимых; а обвинить их без доказательств не могли.

Лучшие адвокаты департамента, адвокаты из Лиона, из Безансона были приглашены обвиняемыми для защиты. Они говорили каждый в свою очередь, уничтожая обвинения одно за другим, как на турнирах в Средние века искусный боец выбивал из рук своего противника его оружие, копье, меч и щит. Одобрительные знаки замечательнейшим частям защитительных речей выражались публичкой, несмотря на призывы к порядку со стороны президента и его помощников, приказывавших соблюдать тишину.

Амели, сложив руки, благодарила Бога, так явно милосердного к обвиняемым; тяжкое бремя отделялось от ее растерзанной груди; она дышала с наслаждением, глядя на изображение Спасителя, находившееся над головой президента: слезы признательности были в глазах ее.

Прения оканчивались. Вдруг вошел экзекутор, приблизился к президенту и сказал ему что-то на ухо.

— Господа! — сказал президент. — Заседание на время прерывается; вывести обвиняемых.

Тревожное выражение беспокойства пробежало по лицам присутствующих. Что случилось новое? Что предстоит еще неожиданное? Каждый с тоской посматривал на своего соседа. Предчувствие сжало сердце Амели; она приложила руку к своей груди, чувствуя, как до самого ее сердца проникало что-то похожее на холодное железо.

Жандармы встали; обвиняемые пошли за ними тем же путем, каким пришли. Когда они проходили мимо Амели, рука ее сблизи-

лась с рукой шедшего прежде других, но была холодна, как лед.

— Что ни случилось бы, благодарю, — промолвил Шарль. Амели хотела ответить, но слова замерли на губах ее.

Между тем президент перешел в комнату совещаний и встретил там даму под вуалью, только что вышедшую из кареты у дверей судилища и проведенную так, что она не успела ни с кем промолвить слова.

— Сударыня, — сказал он ей, — приношу извинения в том, что я в силу неограниченной моей власти немножко бесчеловечно заставил вас внезапно приехать из Парижа сюда; но дело идет о жизни человека, и при этом умолкают все другие соображения.

— Вам не нужно извиняться, милостивый государь, — отвечала дама. — Я знаю права судьи и явилась по вашему призыву.

— Сударыня, — продолжал президент, — я, вместе с судьями, знаю цену нежного чувства, которое заставило вас на очной ставке с обвиняемыми не узнать того из них, который заботился о вас; тогда обвиняемые утверждали, что не они обирали дилижансы. Но теперь они во всем сознались. Нам надо узнать только, кто из них с такой вежливостью оказал вам помощь, чтобы поручить его милосердию первого консула.

— Как, — воскликнула дама под вуалью, — они сознались?

— Да, сударыня, только упорно молчат о том, кто из них подавал вам помощь; нет сомнения, что они боятся поставить вас в противоречие с вашим свидетельством и не хотят, чтобы один из них купил такой ценой свое помилование.

— Чего же вы требуете от меня?

— Чтобы вы спасли вашего спасителя.

— О, совершенно готова, — сказала дама, вставая. — Что я должна сделать?

— Отвечать на вопрос, который я предложу вам.

— Извольте, я буду отвечать.

— Подождите здесь одну минуту. Вас введут сейчас.

Президент возвратился в залу. Жандармы, поставленные у всех дверей, не допускали никого к даме под вуалью.

— Господа! — сказал президент, снова заняв свое место. — Заседание открыто.

Сильный ропот раздался в зале; но экзекуторы заставили умолкнуть нетерпеливых. Тогда президент произнес:

— Введите свидетеля.

Один экзекутор отворил дверь из комнаты совещаний; оттуда явилась дама под вуалью. Взгляды всех обратились на нее. Кто была она? Зачем явилась? С какой целью ее призвали? Прежде всех других устремились на нее глаза Амели.

— О, Боже мой, — прошептала она, — неужели я не ошибаюсь?

— Сударыня, — сказал президент. — Обвиняемые сейчас войдут в зал; укажите правосудию на того из них, который во время остановки женевского дилижанса, когда с вами сделалось нехоро-

шо и вы были без чувств, оказывал вам такие трогательные попечения.

Трепет пробежал по всем бывшим в зале: они поняли, что какая-то пагубная сеть раскинута под ногами обвиняемых. Десять голосов готовы были закричать: «Не говорите!», когда, по знаку президента, эзекутор повелительно крикнул: «Тише!»

Смертельный холод проник в сердце Амели; ледяной пот выступил на лбу ее; колени ее сгибались и дрожали.

— Введите обвиняемых, — сказал президент, заставляя взглядом своим соблюдать молчание, как за минуту требовал того голос эзекутора. — А вы, сударыня, выступите вперед и подымите вашу вуаль.

Дама исполнила требования президента.

— Моя мать! — вскрикнула Амели, но таким глухим голосом, что расслышать ее могли только окружающие.

— Г-жа де Монревель! — шептали друг другу все присутствовавшие.

В эту минуту показался в дверях жандарм, за ним другой, потом шли обвиняемые, но в новом порядке: Морган был третьим, чтобы отделяться от передних жандармов Монбаром и Адлером, шедшими перед ним, а от задних — шедшим за ним д'Ассасом и свободнее пожать руку Амели.

Монбар приблизился первый. Г-жа де Монревель сделала отрицательный знак головой.

После него явился Адлер. Г-жа Монревель сделала тот же знак.

В это мгновение Морган проходил подле Амели.

— О, мы погибли! — произнесла она.

Он с изумлением взглянул на нее; рука ее судорожно пожала его руку. Он вошел.

— Вот этот господин! — сказала г-жа де Монревель, увидев Моргана или, если угодно, барона Шарля де Сент-Эрмина, потому что это был уже один и тот же человек, как скоро г-жа де Монревель указала на него и тем подтвердила подозрение судей.

Присутствующие в зале выразили свою скорбь болезненным восклицанием. Монбар захохотал.

— Превосходно! — сказал он. — Вперед наука тебе, любезный друг, любезничать с дамами, которым делается дурно!

Обратившись к г-же де Монревель, он прибавил:

— Сударыня! Тремя словами вы отправляете на эшафот четыре головы.

Посреди страшного молчания публики раздалось чье-то рыдание.

— Эзекутор! — сказал президент. — Разве вы не предупредили публику, что всякое выражение ее, одобрительное или порицательное, запрещается?

Эзекутор осведомился, кто нарушил устав юстиции своим ры-

данием. Это была женщина в одежде бретонки, которую уже унесли в комнату тюремщика.

Обвиняемые не пытались уже после этого отрицать что-либо.

Как Морган присоединился к ним произвольно, так теперь остальные присоединились к нему. Четыре головы друзей должны были или спастись, или пасть вместе.

В тот же день, в десять часов вечера, по суду присяжных, они были приговорены к смертной казни.

Через три дня, по неотступным просьбам своих адвокатов, обвиненные подали просьбу о пересмотре их дела в кассационном суде. Но ничем нельзя было убедить их, чтобы они просили о помиловании.

Глава LIII

АМЕЛИ ИСПОЛНЯЕТ СВОЕ ОБЕЩАНИЕ

Приговор суда присяжных произвел ужасное впечатление не только в судейской зале, но и во всем городе Буре. Четверо обвиняемых представляли зрелище такого рыцарского братства, так благородно вели себя, показали такую непоколебимую твердость в своих убеждениях, что даже враги их удивлялись странной преданности, которая превращала родовых дворян в разбойников и грабителей на больших дорогах.

К несчастью, не было надежды, чтобы они прибегли к милосердию высшей власти. В отчаянии от участия, принятого ею в процессе, и от роли, которую невольно разыграла она в этой драме, где развязкой являлась смерть, г-жа де Монревель видела только одно средство поправить зло, сделанное ею: тотчас отправиться в Париж, упасть к ногам первого консула и испросить у него помилования четверем осужденным. Дорожа всякой минутой, она даже не заехала в замок Черных Фонтанов поцеловать Амели, ибо знала, что Бонапарте отправлялся в первых числах мая, а уже было 6-е число. Во время отъезда ее из Парижа все было готово к его отбытию. Она только написала своей дочери несколько слов, объясняя, каким пагубным внушением, думая спасти одного из обвиняемых, сделалась причиной осуждения всех четырех. Потом, как будто стыдясь, что не сдержала обещания, данного Амели, и еще больше самой себе, она послала за почтовыми лошадьми, села в карету и немедленно поспекала в Париж.

Она приехала туда утром 8-го числа; Бонапарте уехал 6-го вечером. Отправляясь, он сказал, что едет только до Дижона, может быть, до Женевы, но что, во всяком случае, будет в отсутствии не больше трех недель. Если бы осужденным и отказали в пересмотре их дела, то это не могло случиться раньше как через пять недель. Следовательно, еще не вся надежда была потеряна.

Она была потеряна, когда узнали, что Дижонский смотр был только предлогом, что путешествие в Женеву было только отводом и что Бонапарте, вместо Швейцарии, отправился в Италию.

Тогда г-жа де Монревель, зная клятву, данную сыном ее после смертельного удара, нанесенного лорду Танлею, зная участие его в поимке товарищей Ииуя, не хотела обращаться к Ролану и обратилась к Жозефине. Жозефина обещала написать к Бонапарте и в тот же вечер сдержала свое слово.

Но процесс наделал много шума; с обвиненными в нем действовали не с обыкновенной медленностью, а спешили кончить, и в тридцать пятый день после осуждения просьба их о пересмотре дела была отвергнута. Немедленно сообщили о том в Бур, приказывая исполнить приговор в двадцать четыре часа.

Но, как ни спешила юстиция, а не судебное начальство получило о том первое известие.

Арестанты прогуливались во внутреннем дворе тюрьмы, когда камень перелетел через стену и упал подле них. К нему было привязано письмо. Морган, и в тюрьме сохранявший первенство начальника над своими товарищами, поднял камень, развернул письмо и прочитал его. После этого, обратившись к своим друзьям, он сказал:

— Господа, просьба наша о пересмотре дела отвергнута, чего мы должны были ожидать, и очень вероятно, что церемония совершится завтра.

Валансоль и Рибье, которые играли в палет луидорами и шестиливровыми монетами, прекратили свою игру, выслушали известие, но потом продолжали партию, не сделав замечания.

Жаиа в это время читал «Новую Элоизу»; он опять взялся за свою книгу, говоря:

— Кажется, я не успею дочитать мастерского произведения Жан-Жака Руссо, но, право, не жалею о том: это самая ложная и самая скучная книга, какую читал я в своей жизни.

Сент-Эрмин провел рукой по лбу и пробормотал:

— Бедная Амели!

Он увидел Шарлотту, которая стояла у окна, выходящего во двор тюрьмы, подошел к ней и сказал:

— Передай Амели, что в будущую ночь она должна сдержать данное мне обещание.

Дочь тюремщика затворила окно, поцеловала своего отца и сказала ему, что, вероятно, увидится с ним еще в тот же вечер. Потом она отправилась в замок Черных Фонтанов. В последние два месяца она ходила по этому пути каждый день два раза: в полдень, из замка в тюрьму, и вечером, обратно в замок. Возвращаясь вечером, она каждый раз находила Амели на том же месте, то есть сидящую подле окна, которое в дни более счастливые открывалось для милого ей Шарля.

С того дня, когда она упала в обморок во время суда присяж-

ных, Амели не выронила ни одной слезы и, можно сказать, не произнесла ни одного слова. Это был уже не древний мрамор, оживлявшийся в виде женщины; это, казалось, было живое существо, которое мало-помалу каменело. Каждый день делалась она более бледной, ледяной. Шарлотта глядела на нее с изумлением. Люди обыкновенные, очень чувствительные при шумных выражениях горести, то есть при слезах и криках, не понимают немой скорби. Безмолвие кажется им равнодушием. Потому-то Шарлотта изумилась, что Амели тихо выслушала слова, которые она передала ей по поручению Моргана. Она не видала, при полусвете сумерек, что лицо Амели сделалось из бледного омертвелым. Она не почувствовала, что сердце, и без того страдающее, разрывалось на части. Она не поняла и того, что, когда Амели встала и пошла к двери, в ее движениях было что-то автоматическое, еще больше обыкновенного затруднявшее ее. Шарлотта хотела идти за ней, но, дошедши до двери, Амели протянула руку, говоря: «Подожди здесь». Шарлотта повиновалась.

Амели заперла за собой дверь и пошла в комнату Ролана, истинно солдатскую и охотничью, где главное украшение составляли арматуры и оружие всякого рода, собранное из всех стран. Там были версальские пистолеты с лазоревыми дулами и каирские пистолеты с серебряным яблочком, каталонские ножи и турецкие канджары. Она взяла с арматур четыре кинжала, острые и наточенные, и отобрала восемь пистолетов различных форм. В мешке нашла она пули и в пороховнице порох.

Через десять минут по выходе из комнаты Ролана Амели при помощи Шарлотты оделась в крестьянский костюм и стала ожидать ночи, которая настает поздно в июне. Неподвижная, безмолвная стояла Амели, опершись о камин, где не было огня, и глядела в окно, открытое к деревне Сейзера, постепенно исчезающей под сумраком ночи. Когда, наконец, там видны были только огоньки, зажившиеся в некоторых домах, она сказала:

— Пора, пойдем.

Мишель не обратил внимания на проходившую мимо него Амели, которую он принял за подругу Шарлотты и подумал, что горничная провожает ее.

Било десять часов, когда они проходили подле Бурской церкви, и почти в десять с четвертью Шарлотта постучалась у ворот тюрьмы. Старик Куртуа вышел отворить.

Мы уже говорили, каковы были политические мнения почтенного тюремщика. Дядя Куртуа был роялист. Потому-то он глубоко сочувствовал четверем осужденным, надеялся, как и все, что г-жа де Монревель, отчаяние которой от случившегося было известно, умилитив первого консула, и, сколько мог, не нарушая своих обязанностей, облегчал заключение своих арестантов, избавляя их от всякой бесполезной строгости. Правда, несмотря на все свое сочувствие, он отказался от шестидесяти тысяч франков золотом, зна-

чивших тогда втрое больше, нежели теперь, предложенных ему за их спасение, но мы видели, что он допустил Амели, одетую крестьянкой, быть при судопроизводстве, оттого что дочь вверила ему тайну своей госпожи. Вспомним и то, какие попечения оказывал этот достойный человек самой Амели, когда она находилась в тюрьме вместе с г-жою де Монревель.

И на этот раз, тем более что он еще не знал об отказе в пересмотре дела осужденных, Куртуа легко сдался. Шарлотта сказала ему, что молодая госпожа в ту же ночь отправляется в Париж, чтобы ускорить дело о помиловании осужденных, и что перед отъездом необходимо ей проститься с Сент-Эрмином и получить от него наставления.

Дядя Куртуа знал, что арестантам его нельзя убежать из тюрьмы: для этого надо было бы пробиться сквозь пять запертых дверей, везде оберегаемых часовыми. Поэтому он позволил Амели увидеться с Морганом.

Нас извинят, что мы говорим то Морган, то Шарль, то барон де Сент-Эрмин: читатели знают, что это тройкое название означает одного и того же человека.

Куртуа взял свечу и пошел впереди Амели. Она, как будто приготовившись ехать в почтовой карете по выходе из тюрьмы, держала в одной руке дорожный мешок. Шарлотта шла за своей госпожой.

— Вы, сударыня, — говорил Куртуа, — сами узнаете тюремку: это та самая, где вы были заперты с вашей маменькой. Начальник этих несчастных молодых людей, барон Шарль де Сент-Эрмин, просил меня, как о великой милости, посадить его в камеру под № 1-м. Вы знаете, что так мы называем ваши комнаты. Я подумал, зачем же отказывать ему в утешении, когда знаю, что бедняжка любит вас. Вы будьте спокойны, сударыня: эта тайна никогда не выйдет из моего рта. Потом он расспрашивал меня: где стояла кровать вашей маменьки, где ваша. Я сказал ему. Тогда он попросил, чтобы кушетка его была поставлена на том самом месте, где была ваша; а это нетрудно сделать: она и стоит на том же месте, да и кушетка-то та же самая. Да что же вышло? С того дня, как молодой человек вошел в тюрьму, он почти не сходит с кушетки.

Амели вздохнула, но вздох ее походил на стон. Она почувствовала — чего уже давно не испытывала — слезу, готовую смочить ее глаза. Он любит ее, как любим ею! Доказательство этого услышала она от человека постороннего и беспристрастного. Перед вечной разлукой такое убеждение было прекраснейшей жемчужиной, какую только могла она найти в убранстве горести.

Дядя Куртуа растворял двери одну за другой. Перед последней из них Амели положила руку на плечо тюремщика. Ей послышалось нечто похожее на пение. Она стала прислушиваться со вниманием: чей-то голос читал стихи. Но это был голос не Моргана: голос ей незнакомый. Он читал что-то печальное, похожее на элегию, и вместе религиозное, напоминающее псалмы.

Амели не хотела прерывать предсмертного размышления осужденных, покада голос не умолк, вероятно, потому, что последняя строфа была сказана. В стихах, долетавших до слуха Амели, она узнала прекрасную оду Жильбера, написанную им в госпитале накануне смерти*.

Когда голос умолк, Амели сделала знак тюремщику, что он может отпереть дверь.

Дядя Куртуа, хотя и тюремщик, разделял, как видно, внутреннее волнение своей спутницы и повернул ключ в замке возможно тише. Дверь отворилась.

Амели одним взглядом окинула всю внутренность тюрьмы и всех жильцов ее.

Валансоль стоял, прислонившись к стене, и еще держал в руке книгу, из которой только что читал стихи, слышанные Амели; Жаиа сидел подле стола, облокотившись и положив голову на руку; Рибье сидел на самом столе, в глубине комнаты; Сент-Эрмин с закрытыми глазами, как бы в глубоком сне, лежал на кушетке.

При виде молодой женщины, в которой они узнали Амели, Жаиа и Рибье встали. Морган оставался неподвижен, он не слышал ничего.

Амели пошла прямо к нему, и, как будто чувство любви сделалось в ней священным от приближения смертного часа, она насколько не смущалась присутствием трех незнакомых человек. Подойдя к Моргану, она приблизила свои губы к его губам и тихо сказала:

— Проснись, милый Шарль! Твоя Амели пришла исполнить слово, данное тебе.

Морган очнулся с радостным криком и обвил ее своими руками.

— Г. Куртуа! — сказал Монбар. — Вы славный человек, оставьте этих бедных молодых людей. Безбожно было бы смущать нашим присутствием немногие минуты, которые еще могут они пробыть на земле вместе.

Куртуа, не говоря ни слова, отворил двери в ближайшую тюрьму; Валансоль, Жаиа и Рибье вошли туда, и он запер за ними дверь; потом, приказывая знаком Шарлотте идти за собой, он также вышел. Морган и Амели остались одни...

Есть сцены, которых не должно пытаться изобразить, есть слова, которых не должно осмеливаться повторять; только Бог слышит их с высоты своего вечного трона и наклоняет голову, прислушиваясь к ним. Как знать, сколько в них мрачных радостей и горькой роскоши.

Через час молодые супруги услышали, что ключ повертывает-

* Я открыл свое сердце Богу невинности;
Он видел мои покаянные слезы;
Он исцеляет угрызения моей совести.
Он вооружает меня терпением.
Все несчастные — Его дети.

ся в замке. Они были печальны, но спокойны; уверенность, что разлука их будет непродолжительна, придавала ясность их душам. Добрый тюремщик при этом втором своем появлении был еще мрачнее и печальнее, нежели при первом. Морган и Амели благодарили его улыбкой. Он подошел к двери тюрьмы, где были заперты трое друзей, и отворил ее, бормоча про себя:

— Бог с ними, пусть остальную ночь побудут вместе, ведь эта для них уже последняя.

Валансолль, Жаиа и Рибье вошли. Амели, обвив одною рукой Моргана, протянула другую к ним. Все трое, один после другого, поцеловали ее руку, холодную и влажную; после этого Морган проводил ее до двери и произнес:

— До свидания!

— До близкого свидания! — сказала Амели.

Это свидание в могиле было запечатлено долгим поцелуем — и они расстались с таким тяжким горестным чувством, как будто вместе с ним разорвались их сердца. Дверь затворилась; затворы и ключ в замке проскрипели.

— Ну? — спросили в одно время Валансолль, Жаиа и Рибье.

— Вот, — отвечал Морган, высыпая из мешка то, что было в нем. Трое молодых людей вскрикнули от радости, когда увидели блестящие пистолеты и острые кинжалы. Если не свободы, то оружия могли желать они и чувствовать прискорбную, тяжкую радость, видя себя властителями своей жизни и, в крайнем случае, жизни других.

Между тем тюремщик провожал Амели до ворот на улицу. Там с минуту он колебался и, наконец, останавливая ее за руку, сказал:

— Послушайте! Простите меня, что я скажу вам горькое слово... Не ездите в Париж: это уже бесполезно...

— Потому что апелляция отвергнута и казнь будет завтра, не правда ли? — отвечала Амели.

Тюремщик от удивления пошатнулся.

— Я знала это, мой друг! — прибавила она и, обратившись к своей горничной, сказала:

— Шарлотта! Проводи меня до ближайшей церкви. Ты придешь за мной завтра, когда все будет кончено.

Ближайшая церковь Святой Клары была недалеко. Месяца три назад, по повелению первого консула, ее открыли для богослужения. В полночь, разумеется, двери в нее были заперты, но Шарлотта знала квартиру дьячка и пошла к нему.

Когда Шарлотта возвратилась в сопровождении дьячка, она нашла Амели на коленях. Дьячок сначала затруднился было отворить церковь в необыкновенное время, но золотая монета и имя де Монревель уничтожили его сомнения. Другая золотая монета принудила его зажечь свечи перед алтарем. Перед этим алтарем Амели, еще ребенком, в первый раз причащалась. Когда свечи были зажжены, Амели стала на колени и просила оставить ее одну.

Часа в три утра солнечные лучи осветили окно с разноцветными стеклами, возвышавшееся над алтарем, посвященным Богородице. Окно было на восток, так что первый луч солнца проник в него и казался посланником Божиим.

Мало-помалу город стал пробуждаться, и Амели чувствовала, что он был шумнее обыкновенного. Около шести часов слышно было, что проходил отряд кавалерии: он направлялся к тюрьме. Часов в десять послышалось необыкновенное движение; казалось, что все стремились в одну сторону. Амели пыталась еще более углубиться в молитву, чтобы не слышать этих звуков, которые говорили ее сердцу неведомым языком, но скорбь, ими производимая, показывала ясно, что она понимает каждый из этих звуков.

В самом деле в тюрьме происходило нечто ужасное, и недаром все бежали туда.

Когда, часов около девяти утра, Куртуа вошел в тюрьму осужденных, чтобы объявить им, что апелляция их отвергнута и что им надо готовиться к смерти, он нашел их вооруженными. Не успел он опомниться, как его втащили в тюрьму и заперли дверь, в которую он вошел. В изумлении он даже не пытался защищаться, и Морган, вырвав из рук его связку ключей, отпер дверь, бывшую против той, через которую вошел тюремщик, и тотчас запер, оставив Куртуа запертым вместо себя, потому что сами осужденные уже перешли в соседнюю тюрьму, где ночью Валансолль, Жаа и Рибье ждали, покада окончится свидание Амели с Морганом.

Морган отыскал ключ от двери из двора арестантов, отпер ее, бросился с своими товарищами через переход в швейцарскую и оттуда во двор перед судилищем. С первого взгляда они убедились, что всякая надежда к спасению потеряна. Решетка была заперта, и человек восемьдесят жандармов и драгунов стояли перед ней.

Страшное восклицание, выразившее вместо ужас и удивление, раздалось в толпе, когда она увидела четырех осужденных, свободно выбегающих из швейцарской и прыгающих на крыльцо. В самом деле они явились в грозном виде. Желая сохранить свободу в движениях, а может быть, и для того, чтобы кровь не так скоро выступила на белом полотне, они обнажили себя до пояса. У каждого за платком, повязанным в виде пояса, торчало оружие. Между тем как в народе раздавались крики и жандармы и драгуны звучали саблями, вынимая их из ножен, они, видя, что не свобода, а только жизнь остается в их власти, с минуту советовались, потом пожали друг другу руки, и Монбар отделился от своих товарищей, сошел с пятнадцати ступенек и стал подходить к решетке. В четырех шагах от нее он еще раз взглянул на своих товарищей, еще раз улыбнулся им, грациозно поклонился умолкшей толпе и, обращаясь к солдатам, сказал:

— Очень хорошо, господа жандармы, очень хорошо, господа драгуны!

Он вложил дуло пистолета себе в рот, выстрелил и упал мертвым.

Смешанные, безумные крики раздались в толпе, но почти тотчас прекратились: Валансолль сходил с крыльца. Он держал в руке кинжал, прямой, твердый, острый. По-видимому, он не хотел употребить своих пистолетов, которые оставались у него за поясом. Он подошел к небольшому навесу на трех столбах, остановился у первого столба, приставил к нему кинжал рукоятью, а острие направил на свое сердце, обнял столб, в последний раз кивнул головой друзьям и до тех пор прижимал к себе столб, покуда кинжал не вошел весь в его грудь. С минуту он оставался на ногах, но смертная бледность покрыла его лицо, руки опустились, и труп его повалился подле столба. На этот раз толпа безмолвствовала, ужас оледенил ее.

Была очередь Рибье. Он держал в обеих руках пистолеты, подошел почти к самой решетке и уставил дула своих пистолетов против жандармов. Он не выстрелил, но выстрелили жандармы. Прогремел залп из трех или четырех ружей, и Рибье упал, простреленный двумя пулями.

Нечто, похожее на удивление, выразилось в говоре толпы после различных ощущений, которые были возбуждены тремя убийствами, совершенными перед нею. Она поняла, что эти молодые люди хотели умереть, но умереть подобно древним гладиаторам, умереть торжественно. Потому-то она смолкла, когда Морган, оставшийся один, сошел, усмехаясь, с крыльца и сделал знак, что хочет говорить.

Впрочем, чего недоставало этой толпе, жадной до крови? Ей давали больше, нежели было обещано. Ей обещали четыре смерти, но четыре смерти однообразные, четыре отрезанные головы, а давали четыре смерти различные, живописные, неожиданные; поэтому было естественно, что она смолкла, когда увидела, что подходит Морган. У него не было в руках ничего: кинжал и пистолеты оставались за поясом. Он прошел мимо трупа Валансолля и, остановившись между трупами Жаиа и Рибье, сказал:

— Господа! Условимся.

Все утихло, как будто каждый притаил дыхание.

— Вот у вас человек, который застрелился, — он указал на Жаиа, — другой закололся, — он указал на Валансолля, — третий расстрелян, — он указал на Рибье. — Вы желали бы видеть четвертого гильотинированным; я понимаю это.

Страшное содрогание выразилось в толпе.

— Очень хорошо, — продолжал Морган, — я рад доставить вам это удовольствие, готов отдать себя вам, но желаю идти до эшафота свободно, так, чтобы никто не прикасался ко мне: кто вздумает приблизиться, я размозжу голову всякому, кроме вот этого господина, — продолжал Морган, указывая на палача, — между нами и кончится дело, потому что это уже его искусство.

Вероятно, требование не показалось толпе чрезвычайным, потому что со всех сторон закричали:

— Да, да, да!

Жандармский офицер увидел, что всего короче было кончить дело так, как требовал Морган.

— Обещаете ли вы, — сказал он, — не стараться убежать, если вам оставят свободными руки и ноги?

— Даю мое честное слово, — отвечал Морган.

— Хорошо, — сказал жандармский офицер, — так посторонитесь и дайте нам убрать трупы ваших товарищей.

— Это совершенно справедливо, — прибавил Морган.

Он отошел шагов на десять в сторону и прислонился к стене. Решетка растворилась. Три человека в черном вошли во двор и подняли одно за другим три тела. Де Рибье еще не совсем умер: он открыл глаза и как будто искал Моргана.

— Я здесь, — сказал тот, — будь спокоен, милый друг, я не отстану от вас!

Де Рибье не отвечал и закрыл глаза.

Когда три тела были отнесены, жандармский офицер сказал:

— Готовы ли вы, милостивый государь?

— Готов, милостивый государь, — отвечал Морган с самою изысканною вежливостью.

— Так пожалуйста!

— Вот я, — сказал Морган и занял место между взводом жандармов и отрядом драгун.

— Пешком, пешком, милостивый государь; мне очень важно убедить присутствующих, что я по собственной фантазии отдаю себя гильотинировать.

Ужасная процессия прошла через площадь и шла подле стены сада одного большого дома. Шествие открывала тележка с тремя трупами; за нею следовали драгуны; потом шел Морган, один, в промежутке шагов в десять между драгунами и ехавшими сзади жандармами, впереди которых ехал их капитан.

Там, где стена оканчивается, процессия повернула влево, и Морган вдруг увидел между садом и рынком — эшафот; два красные столба возвышались, как две кровавые руки.

— Фи! — произнес он. — Я никогда не видел гильотины и не думал, что это так гадко!

Не объясняя больше ничего, он вынул из-за пояса кинжал и вонзил его себе в грудь по самой рукоятке.

Жандармский капитан не успел предупредить этого движения, но двинул свою лошадь к Моргану, который, к величайшему удивлению всех окружающих и самого себя, оставался на ногах. Заметив движение капитана, он выхватил из-за пояса пистолет и вскричал:

— Подальше! Мы уговорились, что ко мне не прикоснется никто. Я умру один, или умрем все трое. Выбирайте.

Капитан осадил свою лошадь.

— Идем! — сказал Морган и пошел дальше.

Дойдя до подножия гильотины, он вырвал кинжал из своей раны и ударил им себя в другую раз так же глубоко, как в первый. У него вырвался крик, скорее от бешенства, нежели от боли.

— Видно, в самом деле у меня душа свинчена с телом! — сказал он.

Потом, когда прислужники хотели помочь ему взойти по ступеням на возвышение, где находился палач, он сказал:

— Еще раз повторяю, не прикасайтесь ко мне!

Он взошел на шесть ступеней, не шатаясь. Ставши на платформу, он вынул кинжал из своей раны и в третий раз ударил им себя. Тогда страшный хохот вылетел из его уст; он бросил к ногам палача кинжал из своей третьей раны, столько же бесполезной, как две первые, и вскричал:

— Это уж слишком!.. Теперь кончи это, как знаешь.

Через минуту голова неустрашимого молодого человека упала на эшафот и, как бы усиливая странный феномен жизненности, проявившейся в нем, отскочила и покатила от страшного орудия смерти.

В Буре скажут вам, как сказали мне, что голова, катясь с эшафота, произнесла имя Амели.

Мертвые были обезглавлены после живого, так что зрители, вместо одного, имели два зрелища, то есть видели больше, нежели ожидали.

Глава LIV

ИСПОВЕДЬ

Через три дня после того, что мы рассказали, около семи часов вечера, коляска, покрытая пылью и запряженная двумя почтовыми лошадьми, которые были все в пене, остановилась у решетки замка Черных Фонтанов.

К великому изумлению того, кто, по-видимому, так спешил приехать, ворота были отворены настежь, бедные толпились во дворе, и на крыльце стояли люди на коленях.

Чувство слуха было возбуждено в приехавшем тем, что поражало чувство его зрения, и ему показалось, что он слышит звон колокольчика. Он поспешно отворил дверцы своего экипажа, выпрыгнул из него, быстро перешел через двор, вбежал на крыльцо и на лестнице в верхний этаж увидел множество людей. Так же быстро вошел он на внутреннюю лестницу и услышал церковное чтение, доходившее до него, казалось, из комнаты Амели. Он пошел к этой комнате: дверь была отворена.

У изголовья постели стояли г-жа де Монревель и Эдуард; не-

сколько подалее Шарлотта, Мишель и его сын. Священник церкви Святой Клары оканчивал причащение Амели. Эта печальная сцена была освещена только горящими свечами.

В путешественнике, только что приехавшем, узнали Ролана и дали ему свободно пройти. Он вошел с открытой головой и стал на колени подле своей матери. Умиравшая лежала на спине, сложив руки; голова ее была приподнята подушками, глаза устремлены к небу в религиозном самозабвении; она, казалось, не заметила прибытия Ролана. Можно было сказать, что тело ее находилось еще в здешнем мире, но душа уже витала между землей и небом.

Рука г-жи де Монревель искала руку Ролана, и, когда нашла ее, бедная мать, рыдая, преклонила свою голову на плечо сына. Амели, по-видимому, так же не слышала рыданий своей матери, как не заметила присутствия Ролана, потому что оставалась в совершенной неподвижности. Только, когда она приняла причастие, когда вечное блаженство было обещано ей в утешительных словах священника, мраморные губы ее как будто оживились и она произнесла внятным, хотя слабым голосом: «Аминь».

Тогда колокольчик прозвенел снова, и мальчик-крилошанин вышел с ним первый, за ним вышли два другие со свечами, а за ними и тот, который держал крест. Наконец, вышел и священник с сосудом. Все чужие последовали за духовною процессией, остались только домашние и члены семейства. Дом, еще за минуту наполненный людьми и движением, опустел и стал безмолвен. Умиравшая не двигалась; губы ее были сжаты, руки оставались сложенными, глаза поднятыми к небу.

Через несколько минут Ролан наклонился к уху матери и сказал ей тихим голосом:

— Пойдемте, маменька, мне надо поговорить с вами.

Эдуард выходил из комнаты первый; г-жа де Монревель и Ролан следовали за ним и приблизились к двери. Когда они готовы были выйти, все трое вдруг остановились и вздрогнули. Они услышали имя Ролана, внятно произнесенное. Ролан обернулся. Амели в другой раз произнесла имя своего брата.

— Ты зовешь меня, Амели? — спросил Ролан.

— Да, — отвечал голос умирающей.

— Одного или с мамой?

— Одного.

Этот голос, однозвучный, но совершенно внятный, леденил душу: он казался эхом другого мира.

— Ступайте, маменька, — сказал Ролан, — вы видите, что со мною одним хочет говорить Амели.

— О, Боже мой! — прошептала г-жа де Монревель. — Нсужели еще остается надежда!

Как тихо ни произнесла она эти слова, умирающая услышала их и сказала:

— Нет, маменька, Бог позволил мне свидеться с братом, но в эту ночь я буду им отозвана.

Г-жа де Монревель тяжело вздохнула и промолвила:

— Ролан, Ролан! Кто не скажет, что она уже в лоне Бога!

Ролан сделал знак оставить его одного; г-жа де Монревель вышла с маленьким Эдуардом. Ролан вступил в комнату, запер дверь и с неизъяснимым чувством возвратился к изголовью постели Амели.

— Сестра! — сказал он. — Я здесь, что тебе угодно?

— Я знала, что ты скоро приедешь, — отвечала она, оставаясь неподвижна, — я ожидала тебя.

— Почему же знала ты, что я скоро приеду? — спросил Ролан.

— Я видела, что ты едешь.

— Но, — сказал Ролан, содрогнувшись, — знала ли ты, зачем я ехал сюда?

— Знала и усердно молилась Богу, чтобы он дал мне силы встать и написать к тебе.

— Когда?

— В прошедшую ночь.

— Где же письмо?

— У меня под подушкой; возьми и прочитай.

Ролан колебался, думая, не в бреду ли его сестра?

— Бедная Амели! — прошептал он.

— Не надо жалеть обо мне, — сказала она, — я соединюсь с ним.

— С кем это? — спросил Ролан.

— С тем, кого я любила и кого ты убил.

Ролан вскрикнул, она, казалось ему, была в бреду и потому, думал он, так говорила.

— Амели, — сказал он, — я приехал спросить тебя.

— О лорде Танлее? Знаю, — отвечала она.

— Знаешь? Но каким же образом?

— Разве я не сказала тебе, что видела, как ты ехал, и знала зачем.

— Так отвечай мне.

— Не удаляй меня от Бога и от него, Ролан; я написала тебе: прочитай мое письмо.

Ролан сунул руку под подушку в полном убеждении, что сестра его бредит. К величайшему удивлению, он нащупал там бумагу и вытащил ее. Это было письмо в пакете с надписью: «Ролану, который придет завтра».

Он подошел к ночнику, желая прочитать это письмо, писанное накануне, в одиннадцать часов вечера, как было на нем означено. Он прочитал:

«Брат, мы должны простить друг другу ужасные грехи».

Ролан посмотрел на сестру: она оставалась неподвижной. Он продолжал:

«Я люблю Шарля де Сент-Эрмина, и еще больше, нежели любила: была втайне его женой».

— О, — пробормотал молодой человек сквозь зубы, — он умрет.

— Он умер, — сказала Амели.

Ролан вскрикнул от изумления: он произнес так тихо слова, на которые отвечала Амели, что сам едва слышал их, глаза его опять обратились к письму.

«Никакой союз между сестрой Ролана де Монревеля и начальником товарищей Ииуя не был возможен; вот ужасная тайна, которой не могла я открыть и которая пожирала меня. Один человек должен был узнать ее и узнал: это сэр Джон Танлей. Бог да благословит его, благородного сердцем! Он обещал мне расстроить наш брак и сдержал свое слово.

Да будет для тебя, Ролан, священна жизнь лорда Танлея: это единственный друг, бывший у меня в горести моей, единственный человек, слезы которого мешались с моими слезами.

Я любила Шарля де Сент-Эрмина, я была его женой, не уважая и не соблюдая гражданских законов; но ты должен простить меня.

Ты сделался причиной его смерти: это ужасное дело я прощаю тебе, взамен твоего прощения мне.

Теперь, Ролан, приезжай скорее, потому что я должна умереть не прежде твоего приезда. Умереть! Это значит опять увидеть его, опять соединиться с ним, чтобы уже не расставаться никогда».

Все было ясно и определено: в письме не оказывалось и следа умственного расстройства. Ролан перечел два раза это письмо. С минуту он оставался неподвижен, нем; горечь и гнев стеснили его грудь. Наконец, жалость превозмогла. Он подошел к Амели, протянул руку над ней и тихо произнес:

— Сестра, я тебя прощаю.

Легкий трепет явился в теле умирающей.

— Теперь, — сказала она, — позови нашу мать: я должна умереть в ее объятиях.

Ролан подошел к двери и позвал г-жу де Монревель. Комната ее была отворена; она ждала, как видно было, и поспешила к сыну.

— Ну, что? Что? — спросила она с живостью.

— Ничего, — отвечал Ролан, — только Амели желает умереть в ваших объятиях.

Г-жа Монревель вошла и бросилась на колени подле постели своей дочери. Амели, как будто отделенная невидимой рукой от своего смертного одра, тихо приподнялась, опустила руки, до тех пор сложенные на груди, и, подвинув одну из них к рукам матери, сказала:

— Маменька, вы дали мне жизнь, вы и отняли ее; благословляю вас; ничем не могли вы мне лучше доказать вашей материнской любви, потому что для вашей дочери счастье было уже невозможно в здешнем мире.

Ролан между тем стал по другую сторону ее постели, и она, протянув к нему другую свою руку, сказала:

— Мы простили друг другу, брат.

— Да, бедная Амели, — отвечал он, — простили и, надеюсь, от чистого сердца.

— У меня есть к тебе последняя просьба.

— Какая?

— Не забывай, что лорд Танлей был мой лучший друг.

— Будь спокойна, — сказал Ролан, — жизнь лорда Танлея для меня священна.

Амели облегчила грудь вздохом и потом сказала голосом, в котором заметна была только увеличивающаяся слабость:

— Прощай, Ролан, простите, мамаша! Поцелуйте за меня Эдуарда.

Наконец, из сердца ее вырвался крик, где больше слышно было радости, нежели печали:

— Вот и я, Шарль, вот и я!

Она опять упала на свою постель и при этом мгновенно сложила руки на груди, как были они прежде. Ролан и г-жа де Монревель встали и преклонили свои головы.

Амели лежала в прежнем положении; только веки ее смежились, и слабое дыхание, выходившее из ее груди, прекратилось совершенно.

Страдания несчастной кончились; Амели была мертва.

Глава LV

НЕУЯЗВИМЫЙ

Амели умерла ночью с понедельника на вторник, то есть с 2-го на 3-е июня 1800 года.

Вечером в четверг, то есть 5-го числа, в Парижской Большой Опере была толпа: давали во второй раз «Оссиан, или Барды». Зная, что первый консул выражает глубокое удивление к песнопениям, собранным Макферсоном, Академия Музыки, из лести или по литературному и музыкальному выбору, заказала оперу, которая, как ни спешили с нею, была готова через месяц после отъезда генерала Бонапарте из Парижа в резервную армию. Мы знаем, что случилось с этой резервной армией, которая очутилась между Турином и Казале.

В Опере, по окончании первого действия, к одному из любителей музыки, на балконе с левой стороны, проскользнув между двумя рядами кресел, подошла театральная служительница и вполголоса спросила:

— Извините, сударь: не вы ли лорд Танлей?

— Я, — отвечал любитель музыки.

— Так вас, милорд, просит один молодой человек потрудиться выйти к нему в коридор, где он ожидает вас, имея сообщить вам какое-то очень важное известие.

— Ого, — промолвил сэр Джон, — офицер?

— Он в партикулярном платье, милорд, но видом точно похож на военного.

— Хорошо, — сказал сэр Джон, — я знаю, в чем дело.

Он встал и пошел за придверницей. В коридоре ожидал его Ролан. Лорд Танлей, по-видимому, нисколько не удивился, когда увидел его; только строгое выражение лица молодого человека удержало в нем порыв дружбы, который заставил бы его броситься на шею тому, кого он увидел перед собой.

— Вот я, милостивый государь! — сказал сэр Джон.

— А я сейчас из вашего отеля, милорд, — сказал Ролан, поклонившись ему. — Вы из предусмотрительности, по-видимому, сказываете с некоторого времени, куда отлучаетесь из дому, чтобы те, кому вы понадобится, могли вас отыскать.

— Это правда, милостивый государь.

— Предусмотрительность прекрасная, особенно для тех, кто приехал издалека, спешит и, как я, не имеет возможности терять времени.

— Стало быть, — спросил сэр Джон, — вы оставили армию и приехали в Париж для свидания со мной?

— Единственно желая иметь эту честь, милорд, и надеюсь, что вы понимаете ее причину и избавите меня от объяснений.

— С этой минуты, — сказал сэр Джон, — я в вашем распоряжении.

— В котором часу двое моих друзей могут явиться к вам завтра?

— С семи часов утра до полуночи, если только вам не угодно, чтобы это было сейчас...

— Нет, милорд; я только что приехал, и мне необходимо еще отыскать двух друзей и дать им наставления, так что, по всей вероятности, они обеспокоят вас своим посещением не ранее как завтра, между одиннадцатым часом и полуднем, но вы обязали бы меня, если бы наше дело при их посредничестве могло быть кончено завтра же.

— Я полагаю, что это очень возможно, милостивый государь; задержка будет не с моей стороны.

— Вот все, что желал я узнать, милорд, и был бы в отчаянии, если бы стал беспокоить вас долее.

Ролан поклонился, сэр Джон отвечал тем же, и, когда молодой человек пошел от него, он воротился и занял прежнее свое место в театре. Слова, сказанные ими обоими, были произнесены так спокойно, с таким бесстрастным видом, что ближайшие свидетели не могли бы подозревать ничего, кроме самого обыкновенного разговора.

Ролан возвратился в свою квартиру, переоделся и поехал к военному министру, зная, что в этот день у него был прием вечером. В девять часов Ролан вышел из кареты перед домом военного министра и явился к гражданину Карно. Было две причины для этого посещения: первая — передать словесно то, что поручил сказать военному министру первый консул; вторая — найти в гостиной у военного министра двух секундантов, которые могли бы устроить дуэль с сэром Джоном.

Все исполнилось по желанию Ролана: он передал гражданину Карно самые точные подробности о переходе через Сен-Бернард и о положении армии; он нашел двух друзей, которых искал для своей дуэли. Несколькими словами объяснил он им дело; военные легко принимают такие поручения своих товарищей. Ролан упомянул о личной обиде, которая должна оставаться тайной даже для секундантов, и, объявляя себя оскорбленным, требовал в выборе оружия и в подробностях дуэли всех выгод, принадлежащих оскорбленному. Молодые друзья его должны были на другой день в девять часов утра явиться в отель Мирабо на улице Ришелье и условиться там с двумя секундантами лорда Танлея. Оттуда они должны были приехать к Ролану, жившему на той же улице.

В одиннадцать часов вечера Ролан возвратился в свою квартиру, почти час писал, лег спать и заснул. В девять с половиной часов утра явились к нему его секунданты от сэра Джона.

Сэр Джон признал все права Ролана, объявил, что не станет спорить ни об одном условии дуэли и что, как скоро г. де Монревель считает себя оскорбленным, ему и принадлежит назначить условия. На замечание одного из его друзей, что они рассчитывали вести переговоры с двумя друзьями лорда, сэр Джон отвечал, что не знает в Париже близко никого, кому он мог бы вверить подобное дело, и надеется, что по прибытии на место один из двух друзей Ролана будет посредником с его стороны. Словом, они нашли лорда Танлея джентльменом во всех отношениях.

Ролан признал не только справедливым, но и совершенно правильным требование своего противника о секунданте и уполномочил одного из двух своих друзей принять на себя посредничество со стороны сэра Джона.

Ролану оставалось объяснить условия дуэли. Он назначил: стреляться на пистолетах; когда пистолеты будут заряжены, противники станут в пяти шагах друг от друга; по третьему удару в ладоши секундантов они стреляют.

Ясно, что это была дуэль на смерть, где тот, кто не убил бы противника, явно дал бы ему пощаду. Оба молодых человека сделали множество замечаний об этом, но Ролан упорно объявил, что он, как единственный судья в оценке нанесенной ему обиды, считает ее столь важной, что удовлетворение должно совершиться так, а не иначе. Надобно было уступить его упорству.

Тот из двух друзей Ролана, который должен быть стать на за-

шиту выгод сэра Джона, предупредил, однако, что он не согласится на предлагаемое условие иначе как по прямому приказанию своего клиента и что в противном случае не допустит явного убийства.

— Не горячитесь, любезнейший друг, — сказал Ролан, — я знаю сэра Джона и думаю, что он будет более вас сговорчив.

Оба молодые человека снова отправились к сэру Джону и нашли его завтракающим по-английски, бифштексом, картофелем и чаем. При входе их в комнату он встал, пригласил их разделить с ним завтрак и, когда они отказались, сказал, что находится в их распоряжении.

Друзья Ролана прежде всего объявили лорду Танлею, что один из них готов быть посредником с его стороны, затем оставшийся секундантом Ролана изложил условия дуэли. При каждом требовании Ролана сэра Джон кивал головой в знак согласия и только приговаривал: «Очень хорошо».

Тот из молодых людей, который взял на себя быть секундантом с его стороны, хотел заметить, что дуэль такого рода, если не будет почти невероятной случайности, кончится непременно смертью обоих противников, но лорд Танлей просил его не упорствовать в этом отношении.

— Г. де Монревель благородный человек, — сказал он, — я не хочу стеснять его ни в чем, что он сделает, то и будет хорошо.

Оставалось назначить час, когда съехаться. И в этом отношении лорд Танлей предоставлял все решению Ролана.

Оба секунданта удалились и после второго посещения были в восторге от сэра Джона, еще больше, нежели после первого. Ролан ждал их; они пересказали ему все.

— А, что говорил я вам! — промолвил он.

Они спросили у него, где и когда будет дуэль. Ролан назначил семь часов вечера и аллею Ла Мюетт; в этот час там обыкновенно никого не было, а солнце тогда — в середине июня — светило по-летнему, и, следовательно, противники могли сражаться каким угодно оружием.

Еще ничего не говорили о пистолетах; молодые люди предложили Ролану взять их у оружейника.

— Нет, — сказал Ролан, — у лорда Танлея есть пара превосходных пистолетов, из которых я уже стрелял; если он согласен стреляться этими, я предпочитаю их всем другим.

Молодой человек, принявший на себя обязанности секунданта сэра Джона, поехал к нему и предложил последние вопросы, а именно: находит ли он удобными час и место и согласен ли стреляться своими пистолетами. Вместо ответа лорд Танлей проверил свои часы по часам секунданта и отдал ему ящик с пистолетами.

— Приехать мне за вами, милорд? — спросил молодой человек.

— Не нужно, — сказал с грустной улыбкой сэра Джон. — Вы друг г-на де Монревеля, и дорога будет вам приятнее с ним, нежели

со мной. Поезжайте с ним. Я приеду верхом, и со мной будет слуга; вы встретите меня в назначенном месте.

Молодой офицер отвез этот ответ Ролану, и тот опять промолвил: «Что я вам говорю?»

Был полдень; оставалось еще семь часов времени. Ролан отпустил обоих своих друзей веселиться или заняться собственными делами. Ровно в шесть с половиной часов они должны были находиться у крыльца его квартиры, с тремя лошадьми и двумя слугами. Чтобы не помешали, необходимо было придать всем приготовлениям к дуэли вид прогулки.

Било шесть с половиной часов, когда комнатный слуга известил Ролана, что его ожидают у крыльца на улице. Это были два секунданта с двумя слугами, из которых один держал лошадь. Ролан вышел, дружески пожал руку обоим офицерам и вскочил в седло. Во время проезда через бульвары и площадь Людовика XV на Елисейские поля возобновился странный феномен, поразивший сэра Джона в тот день, когда Ролан дрался с г-м де Баржолем. Веселость его была так велика, что ее можно было бы считать преувеличением, если бы она не была явно искренняя. Оба молодые человека, ехавшие с ним, хорошо знакомые с мужеством, изумлялись его беззаботности. Она была бы понятна им в дуэли обыкновенной, где хладнокровие и ловкость дают тому, кто обладает ими, надежду победить противника, но в таком бою, какого искал он, ни ловкость ни хладнокровие не могли спасти сражавшихся от смерти или, по крайней мере, от смертельной раны. Сверх того, он понукал свою лошадь, как человек, который спешит приехать, и оттого за пять минут до назначенного времени был уже в конце аллеи Ла Мюетт.

Там разъезжал всадник, за которым ехал слуга. Ролан узнал сэра Джона.

Молодые спутники Ролана, по одинаковому чувству, оба в одно время, стали вглядываться в физиономию его при виде противника. К величайшему их удивлению, лицо Ролана выражало в это мгновение доброту почти нежную. Через минуту все четверо главных действующих лиц съехались и раскланялись друг с другом.

Сэр Джон казался совершенно спокоен, но лицо его выражало глубокую грусть. Ясно было, что для него эта встреча была так же прискорбна, как, по-видимому, была она приятна Ролану.

Сошли с коней. Один из секундантов взял ящик с пистолетами из рук слуги и приказал ему и другому слуге идти далее по аллее, как бы прогуливая лошадей своих господ. Они должны были воротиться не прежде, как после выстрелов, которые услышат. В то же время должен был приблизиться и грум сэра Джона.

Оба противника и оба секунданта вошли и углубились в самую рощу, желая найти там удобное место для предстоящей дуэли. Впрочем, как предвидел Ролан, роща была густа; обеденный час выгнал из нее всех прогуливавшихся. Там нашлась лужайка, будто нарочно заказанная.

Секунданты поглядели на Ролана и сэра Джона. Оба они изъяснили согласие знаком головами.

— Изменений не будет никаких? — спросил один из секундантов у лорда Танлея.

— Спросите у г-на де Монревеля, — отвечал лорд, — я здесь в совершенной зависимости от него.

— Никаких, — промолвил Ролан.

Вынули из ящика пистолеты и начали заряжать их; между тем сэр Джон, оставаясь в стороне, перебирал концом своего хлыстика высокую траву. Ролан, смотря на него, казалось, колебался, но вдруг, решившись, подошел прямо к нему. Сэр Джон поднял голову и ожидал с видимой надеждой.

— Милорд! — сказал Ролан. — Я могу, в некоторых отношениях, быть в споре с вами, но тем не менее уверен, что на ваше слово можно положиться.

— Вы не ошибаетесь, милостивый государь, — отвечал сэр Джон.

— Готовы ли вы, если переживете меня, исполнить обещание, данное мне вами в Авиньоне?

— Нет вероятности, чтобы я пережил вас, милостивый государь, — отвечал лорд Танлей, — но вы можете располагать мной, покауда останется во мне хоть одно дыхание жизни.

— Речь идет о последних распоряжениях моим телом.

— А они остаются таковы же, как в Авиньоне?

— Таковы же, милорд.

— Можете быть совершенно спокойны.

Ролан поклонился сэру Джону и возвратился к своим друзьям. Один из них спросил у него:

— Нет ли у вас, на случай несчастья, какого-нибудь особенного распоряжения, которое мы должны исполнить?

— Есть одно.

— Скажите.

— Вы не станете противиться лорду Танлею ни в каких распоряжениях касательно моего тела и моих похорон. Впрочем, вот, в левой моей руке, сжата записка к нему на тот случай, что я буду убит и не успею произнести нескольких слов. Вы разожмете мою руку и отдадите ему записку.

— Больше ничего?

— Ничего.

— Пистолеты заряжены.

— Хорошо, предупредите о том лорда.

Один из молодых людей пошел к сэру Джону; другой отмерял пять шагов. Ролан увидел, что расстояние выходит больше, нежели он предполагал.

— Извините, — сказал он, — я говорил: три шага.

— Пять, — отвечал офицер, измерявший расстояние.

— Извините, любезнейший друг, вы ошиблись.

Он оборотился к сэру Джону и к своему секунданту, спрашивая их взглядом.

— Три шага, очень хорошо, — отвечал сэр Джон, кланяясь.

Возражать нельзя было, потому что оба противника оказались согласны. Расстояние убавили с пяти шагов на три. Потом положили на землю две сабли: они должны были служить границей.

Сэр Джон и Ролан стали сходитьсь; каждый с своей стороны, и остановились, когда носки их сапог были на остриях сабель. Каждому из них подан был заряженный пистолет. С пистолетами в руках они поклонились друг другу в знак того, что были готовы. Секунданты отошли на то расстояние, откуда должны были дать знак тремя ударами в ладоши. По первому удару противники взводили курки, по второму прицеливались, по третьему стреляли.

Три удара были сделаны через равные промежутки времени среди глубокой тишины; казалось, что даже ветер стих: листья оставались неподвижны.

Противники были спокойны; зато лица обоих секундантов выражали сильную тоску.

При третьем ударе раздались два выстрела так одновременно, что, казалось, это был один выстрел. Но, к величайшему изумлению секундантов, оба противника оставались на ногах.

Стреляя, Ролан отвел свой пистолет к земле, а лорд Танлей поднял свой настолько, что отшиб ветку позади Ролана, в трех футах над его головой. Каждый из сражавшихся явно был удивлен только тем, что он жив, избавив от смерти своего противника.

Первый начал говорить Ролан:

— Милорд! — вскричал он. — Сестра моя сказала мне правду, что вы великодушнейший человек на земле!

Он далеко отбросил от себя пистолет и протянул руки к сэру Джону; тот бросился к нему в объятия, говоря:

— А! Я понимаю: вы и в этот раз хотели умереть, но, к счастью, Бог не допустил меня быть вашим убийцей.

Молодые секунданты подошли к ним, спрашивая:

— Что случилось?

— Ничего, — отвечал Ролан, — кроме того, что, решившись умереть, я хотел умереть от руки человека, которого люблю больше всех на свете; к несчастью, вы видели, он предпочел лучше умереть сам, нежели убить меня. Ну, — прибавил Ролан глухим голосом, — вижу, что надобно предоставить это австрийцам.

Еще раз бросился он в объятия лорда Танлея, пожал руки друзей своих и сказал:

— Извините меня, господа. Первый консул скоро даст сражение в Италии, и я не могу терять времени, если хочу участвовать в нем.

Он оставил сэра Джона объяснять двум молодым офицерам все, что желали бы они узнать от него, а сам бросился в аллею, вскочил на своего коня и быстро поскакал в Париж.

Пагубное желание умереть не оставило его. Мы видели, где надеялся он, наконец, найти осуществление своей мечты.

Глава LVI

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тем временем французская армия продолжала свой поход: и 2-го июня вступила в Милан. Она встретила некоторое сопротивление: миланский форт был подвергнут блокаде. Мюрат, отправленный в Пиаченцу, скоро завладел ею без единого выстрела. Наконец, Ланн побил генерала Отто при Монтебелло.

При таком обороте дел французская армия оказалась в тылу австрийской армии, а та и не подозревала этого.

В ночь на 8 июня прибыл курьер от Мюрата, который, как мы уже говорили, занял в это время Пиаченцу. Мюрату удалось перехватить депешу генерала Меласа, и он отправил ее к первому консулу.

Эта депеша извещала о капитуляции Генуи. Массена после того, как его люди съели всех лошадей, собак, кошек и крыс, был вынужден сдаться. Мелас относился к резервной армии с полнейшим пренебрежением. Слухи о появлении Бонапарте в Италии он называл баснями и знал (как ему казалось) из самого надежного источника, что первый консул все еще находится в Париже.

Все эти новости надо было немедленно сообщить Бонапарте, тем более что в числе их была очень неприятная — известие о сдаче Генуи.

Вследствие этого Бурьен разбудил генерала в три часа утра и прочел ему депешу.

Первое слово Бонапарте было:

— Бурьен, вы не знаете немецкого языка!

Бурьен снова начал читать депешу, переводя ее слово за словом. После этого второго чтения генерал встал сам, велел поднять всех на ноги, роздал приказания, потом снова улегся и уснул.

В тот же день он выбыл из Милана и учредил свою главную квартиру в Страделле. Здесь он оставался до 12-го июня. 13-го он тронулся дальше, прошел через Скривию и Монтебелло, где осмотрел поле битвы, все еще окровавленное и изрытое после боя, который выдержал здесь Ланн. Смерть оставила здесь свои следы повсюду; церковь была переполнена мертвыми и ранеными.

— Черт возьми, — сказал первый консул, обращаясь к победителю, — тут, должно быть, было очень жаркое дело!

— До такой степени жаркое, генерал, что в моей дивизии кости трещали, словно град, ударяющийся в окна.

11-го июня в то время, как генерал находился в Страделле, к нему присоединился Дезэ. После сдачи Эль-Ариша он оказался

свободен и 6-го мая вернулся в Тулон, т. е. как раз в тот день, когда Бонапарте выбыл из Парижа. Первый консул получил от него письмо у подошвы Сен-Готара. В этом письме Дезэ спрашивает, что ему делать — направляться ли в Париж или присоединиться к армии.

— Ну, вот, с какой стати в Париж! — сказал Бонапарте. — Напишите ему, чтобы он присоединился к нам в Италии, где бы мы ни были.

Бурьен так и написал, и, как мы видели, Дезэ 12-го июня прибыл в Страделлу.

Первый консул принял его с двойной радостью. Прежде всего ему было приятно вновь встретиться с этим умным офицером, человеком свободным от мелочного самолюбия и преданным другом; во-вторых, Дезэ явился как раз вовремя, чтобы заменить собой убитого дивизионного командира Будэ.

Основываясь на неверном сообщении генерала Гардана, первый консул думал, что неприятель уклоняется от боя и стягивается к Генуе. Он отправил Дезэ с его дивизией на дорогу к Нови, чтобы отрезать ему отступление.

Ночь с 13-го на 14-е прошла спокойно. Накануне, невзирая на ужасную грозу, происходил бой, в котором австрийцы были биты. Можно было подумать, что и природа, и люди утомились и отдыхают. Сам Бонапарте был спокоен. На р. Бормиде был всего один только мост, и его уверили, что этот мост был разрушен. На Бормиду были выдвинуты авангарды, как можно дальше, и все они посылали партии разведчиков.

Неприятель всю ночь занят был переправой через реку. В два часа утра две группы разведчиков наткнулись на неприятеля. Из них семеро были убиты, а восьмому удалось бежать. Он добрался до одного из аванпостов с криком: «К оружию!» В ту же минуту к первому консулу был отправлен курьер. Бонапарте ночевал в эту ночь в Торре-ди-Гарофало. В ожидании его приказаний по всей линии началась общая тревога. Надо самому присутствовать при подобной сцене, чтобы представить себе, какое действие на спящую армию производит грохот барабанов, призывающий солдат к оружию в три часа утра. Тут самого храброго прохватывает дрожь.

Солдаты спали одетые. Каждый вскакивал на ноги, бежал к ружьям, составленным в козлы, хватал свое ружье.

Линии войск выстраивались на обширной равнине Маренго. Барабанная дробь бежала по линии войск, словно вспыхнувшая пороховая дорожка, и в утренней полутьме мелькали тревожно передвигавшиеся авангарды.

Когда начался день, наши войска уже занимали следующие позиции: дивизия Гардана и дивизия Шамберлака, образовавшие передовой авангард, стояли около Петра-Бона, т. е. занимали угол, который образует с дорогой из Маренго в Тортоне река Бормида, пересекающая эту дорогу перед своим впадением в Танаро. Корпус генерала Ланна стоял впереди деревни Сан-Джульяно, той са-

мой, которую первый консул три месяца тому назад показывал на карте Ролану, сказав ему при этом, что здесь решится участь будущей кампании. Гвардия была помещена позади войск генерала Ланна, на расстоянии около версты. Кавалерийская бригада под командой генерала Келлермана вместе с несколькими эскадронами гусаров и егерей образовали левое крыло и заполняли интервалы между дивизиями Гардана и Шамберлака.

Вторая кавалерийская бригада под командой генерала Шампо образовала правый фланг и заполняла интервалы в кавалерии генерала Ланна. Наконец, 12-й гусарский полк и 21-й егерский, отданные Мюратом под команду генерала Риво, занимали место около Сало, на крайнем правом фланге.

Все это вместе составляло армию в 25 или 26 тысяч человек, не считая дивизий Монье и Будэ, состоявших, в общем, из 10 тысяч человек, под командой Дезэ, отделенных от армии для того, чтобы отрезать неприятелю отступление по Генуэзской дороге.

Однако, вместо того чтобы отступить, неприятель начал атаку. 13-го числа, в течение дня, главнокомандующий австрийской армией генерал Мелас окончил стягивание отрядов генералов Хаддига, Кайма и Отто, переправился через Танаро и расположился лагерем перед Александриею с 36-ю тысячами пехоты, 7-ю тысячами кавалерии и многочисленной артиллерией в полном боевом порядке.

В четыре часа утра завязалась перестрелка на правом фланге, и генерал Виктор каждому указал его место в бою.

В пять часов Бонапарте был разбужен пушечной пальбой. В то время как он поспешно одевался, к нему прискакал адъютант генерала Виктора с известием, что неприятель переправился через Бормиду и что бой идет по всей линии. Первый консул приказал привести своего коня и, вскочив на него, помчался к месту битвы. С вершины горки он видел расположение обеих армий.

Неприятель расположился в трех колоннах. Левая состояла из всей кавалерии и легкой пехоты и направлялась в Кастель-Чериоло, в то время как колонны центральная и правая, опираясь одна на другую и включая в себя пехотные корпуса генералов Хаддига, Кайма и О'Рельи и резерв из гренадеров под командой генерала Отто, шли по дороге в Тордоне, поднимаясь вверх по течению Бормиды.

Тотчас после переправы через реку эти две последние колонны столкнулись с войсками генерала Гардана, стоявшими, как мы сказали, у фермы и оврага Петра-Бона. Грохот идущей впереди их артиллерии и привлек Бонапарте на поле битвы. Он подоспел как раз в тот момент, когда дивизия Гардана, разгромленная артиллерией, начинала подаваться и генерал Виктор двинул ей на помощь дивизию Шамберлака.

Поддержанные этим движением войска Гардана совершали свое отступление и стягивались к деревне Маренго.

Положение было тяжкое: все расчеты главнокомандующего были опрокинуты. Вместо того, чтобы по своему обыкновению нападать, расчетливо сосредоточив свои силы, он оказался сам атакованным, прежде чем успел стянуть свои войска.

Пользуясь местностью, которая расширялась перед ними, австрийцы разбили свои колонны и развернулись в линии, параллельные линиям Гардана и Шамберлака. Они были двое против одного!

Первой линией командовал генерал Хаддиг, второй генерал Мелас, третьей — генерал Отто.

На небольшом расстоянии впереди Бормиды течет ручей, называемый Фонтаноне. Его ложем служит глубокая рытвина, описывающая полукруг около деревни Маренго и служащая ей защитой. Генерал Виктор уже взвесил выгоду, которую можно было извлечь из этого природного укрепления, и воспользовался им для того, чтобы стянуть дивизии Гардана и Шамберлака. Одобряя его распоряжения, Бонапарте послал ему приказ — оборонять Маренго до последней крайности. Ему нужно было время для того, чтобы хорошо распознать свою игру на этой величественной шахматной доске, заключающейся между Бормидой, Фонтаноне и Маренго.

Первой предпринятой им мерой был призыв обратно корпуса Дезэ, который, как мы сказали, двигался к Генуэзской дороге, чтобы отрезать по ней отступление. Бонапарте послал двух или трех своих адъютантов, приказав им не останавливаться до тех пор, пока они не догонят Дезэ.

Потом он стал ждать, понимая, что ничего другого не остается делать, как отступить в полном порядке, до тех пор, покада сплотившаяся масса войска не представит ему возможности не только остановить отступление, но и двинуться вперед.

Ожидание было ужасно. Не прошло и минуты, как бой возобновился по всей линии. Австрийцы подошли к берегу Фонтаноне, противоположный берег которого заняли французы. Перестрелка шла через эту рытвину, на расстоянии, не превышавшем пистолетный выстрел. Под прикрытием грозной артиллерии неприятель, имевший численное превосходство, мог легко вышибить нас из занятой позиции. Генерал Риво, из дивизии Гардана, первый увидел, что неприятель готовится к решительному натиску. Он выступил из деревни Маренго, поставил за нею один батальон и приказал ему держаться на месте до последнего человека, не отступая ни на шаг. И вот в то время, как этот батальон служил точкой прицела для неприятельской артиллерии, он построил свою конницу в колонну, обошел батальон, налетел на 3 тысячи австрийцев, двигавшихся в атаку, смял их, привел в беспорядок и, несмотря на полученную им штыковую рану, вынудил их отступить за свою линию. После того он встал на правом фланге батальона, который выдержал и не подвинулся ни на шаг.

Но в течение этого времени дивизия Гардана, которая сражалась с самого утра, была отброшена в Маренго, преследуемая

передней линией австрийцев; эта же линия принудила и дивизию Шамберлака отступить за деревню. Здесь адъютант главнокомандующего передал обоим дивизиям приказ соединиться и во что бы то ни стало снова овладеть Маренго. Генерал Виктор привел их в порядок, принял над ними командование и проник в улицы деревни. Австрийцы еще не успели их забаррикадировать. Деревня была взята, вновь утрачена, еще раз взята, и, наконец, французский отряд, подавленный численностью неприятеля, был вынужден окончательно уступить ее.

Тем временем две дивизии Ланна подоспели на помощь дивизиям, участвующим в бою. Это подкрепление помогло Гардану и Шамберлаку перестроить свои отряды параллельно с неприятельскими линиями, которые выступали из самой деревни, а также справа и слева от нее.

Тогда Ланн, образовав центр своего отряда из дивизии Виктора, поставил на флангах свои две, еще свежие, дивизии. Теперь две армии, одна уже предвкушающая победу, другая же совсем свежая, с яростью столкнулись между собой, и бой снова закипел по всей линии.

После часового боя врукопашную корпус генерала Кайма не выдержал и отступил. Генерал Шампо с своими драгунами бросился на него и еще более привел его в беспорядок. Генерал Ватрен принялся преследовать Кайма и отбросил его на несколько верст от ручья. Но это движение отделило его от армии. Центральные дивизии от этого несколько ослабели, и потому оба генерала Шампо и Ватрен были вынуждены вернуться на свои места.

В эту минуту Келлерман на левом фланге проделал то же самое, что Ватрен и Шампо проделали на правом. Две кавалерийских атаки пронизали неприятеля насквозь. Но позади первой линии Келлерман наткнулся на вторую, и, не решаясь нападать на численно превосходящего неприятеля, он потерял плоды своей первой победы.

Настал полдень. Французская линия, извивавшаяся подобно огненной змее на протяжении четырех верст, была разбита в своем центре. Отступая, этот центр оставлял за собой фланги, и те волею-неволею были принуждены следовать за ним. Отступление велось под огнем 80 орудий, которые шли впереди австрийских батальонов. Ряды французов, видимо, расстраивались. Всюду виднелись бесчисленные носилки, на которых люди доставляли своих раненых товарищей к перевязочным пунктам. Одна дивизия отступала сквозь созревшую пшеницу. Пущенная сюда бомба взорвалась и зажгла сухую солому созревшего хлеба. Две или три тысячи человек были охвачены кругом этим пожаром. Огонь пробрался к пороховницам, и начался треск беспрестанных взрывов. В рядах водворился полнейший беспорядок.

Тогда Бонапарте двинул вперед свою гвардию. Она беглым шагом подоспела на место боя, быстро выстроилась и сразу задержала

движение неприятеля. Конные гренадеры в свою очередь кинулись в бой во весь карьер и опрокинули австрийскую кавалерию. Тем временем дивизия, спасаясь от пожара, была снабжена свежими патронами и вернулась в бой. Но это движение не имело другого результата, кроме того, что воспрепятствовало отступлению превратиться в бегство.

Было два часа пополудни. Бонапарте смотрел на это отступление с высоты дорожной насыпи. Он был один. Он держал поводья своего коня в одной руке, а другой рукой, в которой был хлыстик, он ударял по камешкам, усеивавшим насыпь. Ядра бороздили землю вокруг него. Он казался равнодушным к великой драме, с развязкой которой были связаны все его надежды. Ему никогда еще не случалось вести такой ужасной игры, в которой ставкой были шесть лет побед против французской короны.

Но вот он вдруг как бы вышел из задумчивости. Среди ужасающего грохота битвы ему послышался топот скачущего коня. Он поднял голову. И в самом деле со стороны Нови мчался во всю прыть всадник на коне, покрытом белой пеной. Когда всадник подъехал на полсотни шагов, Бонапарте вскрикнул:

— Ролан!

Тот в свою очередь кричал:

— Дезз! Дезз! Дезз!

Бонапарте раскрыл объятия. Ролан соскочил с коня и бросился на шею первому консулу. Бонапарте вдвойне радовался. Он радовался свиданию с человеком, который, он знал это, был ему предан на жизнь и на смерть, и радовался известию, которое он принес.

— Дезз, говоришь ты?..

— Дезз близко, в нескольких верстах отсюда. Его видел один из ваших адъютантов.

— Это хорошо, — сказал Бонапарте, — может быть, он еще вовремя подоспеет.

— Как вовремя?..

— Смотри!

Ролан бросил взгляд на поле битвы и немедленно оценил положение, которое в течение нескольких последних минут сделалось еще более затруднительным. Первая австрийская колонна, двигавшаяся на Кастель-Чериоло, появлялась на поле битвы с правого фланга французской армии. Если бы ей удалось принять участие в бою, отступление французов обратилось бы в бегство. Оказывалось, что Дезз опоздал.

— Возьми два моих последних гренадерских полка, — сказал Бонапарте, — присоедини к ним гвардию и поспеши на крайний правый фланг... Ты понимаешь? Постройся в каррэ и останови эту колонну.

Нельзя было терять ни единой минуты. Ролан вскочил на коня, взял два гренадерских полка, присоединил к ним гвардию и бросил-

ся на правый фланг. Остановившись в 50 шагах от колонны генерала Эльсница, он скомандовал:

— В каррэ! Первый консул смотрит на нас!

Отряд выстроился в каррэ. Каждый солдат, казалось, пустил корни в почву, на которой стояли его ноги.

Вместо того, чтобы продолжать дорогу, спеша на помощь генералам Меласу и Кайму, вместо того, чтобы пренебречь этими 900 людьми, которые были вовсе не страшны в тылу победоносной армии, генерал Эльсниц с ожесточением бросился на них.

Это была ошибка, и эта ошибка спасла французскую армию.

Эти 900 человек образовали собой настоящий гранитный редут, как и надеялся Бонапарте. Против них были бессильны пушки, ружья, штыки. Они не отступили ни на шаг. Он с восхищением смотрел на них. И вот в это время, случайно оборотившись в сторону Нови, он вдруг увидел первые штыки отряда Дезэ. Он стоял на высоком месте и видел то, что еще не было видно неприятелю. Он махнул рукой в сторону группы офицеров, которые держались в нескольких шагах позади его. Около них стояли люди, держа под уздцы верховых лошадей. Офицеры и люди с конями приблизились к нему. Бонапарте указал одному из офицеров на лес штыков.

— Летите во весь каррьер к этим штыкам, — сказал он, — и скажите, чтобы они спешили. Скажите Дезэ, что я здесь и жду его.

Офицер помчался, а Бонапарте снова обратил глаза на поле битвы. Отступление все еще продолжалось, но генерал Эльсниц и его колонна были задержаны Роланом и его людьми. Гранитный редут обратился в вулкан. Он изрыгал пламя со всех своих фасадов.

Бонапарте, обращаясь к трем другим офицерам, приказал им:

— Один из вас в центр, два другие на фланги. Скажите там всем, что подошло подкрепление, чтобы остановили отступление и перешли в атаку.

Трое офицеров пустились, как три стрелы, постепенно разъезжаясь в стороны, к местам своего назначения.

Проследивши за ними некоторое время, Бонапарте обернулся и увидел в полсотне шагов от себя всадника в генеральском мундире. Это был Дезэ, тот самый Дезэ, которого он оставил в Египте и который в тот день утром со смехом говорил ему:

— Европейские ядра не знают меня. Со мной приключится несчастье.

Они обменялись рукопожатием. Затем Бонапарте протянул руку к месту боя. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять все без лишних слов.

Из 20 тысяч человек, которые начали бой в пять часов утра, теперь на пространстве двух миль оставалось не более 9 тысяч человек пехоты, тысяча коней, да десять пушек, годных в дело. Четверть армии была выбита из строя, а другая четверть была занята переноской раненых. Все отступало, за исключением Ролана и его 900 удалцов.

Обширная площадь между Бормидою и тем местом, до которого отступила армия, была усеяна трупами людей и лошадей, сбитыми пушками, сломанными зарядными ящиками. Местами виднелся густой дым: горели хлебные поля.

Дезэ одним взглядом охватил все это.

— Что вы думаете, о битве? — спросил Бонапарте.

— Думаю, что все пропало, — сказал Дезэ. — Но теперь ведь всего еще только три часа. У нас еще есть время для нового сражения, которое мы можем выиграть.

— Только для этого нам нужны пушки, — раздался сзади них чей-то голос. Это был голос Мармона, главного начальника артиллерии.

— Вы правы, Мармон, но где же их взять?

— Я вывез с поля битвы пять еще годных в дело пушек, да пять других мы оставили в Скривии; они сейчас сюда прибыли.

— Да восемь штук я привез с собою, — сказал Дезэ.

— Значит, всего восемнадцать, — сказал Мармон. — Это все, что мне нужно.

Один из адъютантов поскакал, чтобы поторопить прибытие пушек Дезэ. Подкрепление подходило и теперь находилось уже в какой-нибудь версте от поля битвы. Для него нашлась и позиция, словно бы заранее избранная. Налево от дороги возвышалась громадная изгородь, тянувшаяся отвесно к дороге и защищенная откосом. Вдоль этой изгороди и выстраивалась пехота по мере ее прибытия. Даже кавалерия не была видна за этим прикрытием. Тем временем Мармон собрал свои восемнадцать пушек и поставил их в батарею на правом фланге армии. Они дали залп и изрыгнули целый поток ядер на австрийцев. В их рядах обнаружилось колебание, Бонапарте воспользовался этим, чтобы промчаться по всей французской армии.

— Товарищи, — вскричал он, — будет вам отступать! Помните, что я привык ложиться спать на поле битвы!

В то же время как бы в ответ на канонаду Мармона на левом фланге началась ружейная пальба по флангу австрийцев. Это их расстреливала дивизия Дезэ, почти в упор. Вся армия разом поняла, что подошло подкрепление, вступило в дело и что надо сделать последнее усилие, чтобы поддержать его. Команда: «вперед» пронеслась с одного конца армии до другого. Барабаны забили наступление. Австрийцы не видали, как подошло подкрепление. Они были совершенно спокойны за исход сражения и шли, словно на прогулку, держа ружья на плечах. Но, увидав, что в наших рядах произошло что-то особенное, они спохватились и старались удержать победу в своих руках. Но французы успели уже повсюду перейти в наступление, и в их рядах повсюду звучали победоносные слова «Марсельезы». Батарея Мармона изрыгала огонь. Келлерман со своими кирасирами пронизал обе линии неприятеля.

Дезэ, прыгая через канавы, перелезая через изгороди, взобрал-

ся на холмик и пал мёртвый в ту минуту, как обернулся для того, чтобы взглянуть; следует ли за ним его дивизия. Но его смерть не охладила солдат, а, наоборот, удвоила их пыл. Они бросились на колонну генерала Заха. В эту минуту Кейллерман, который, как сказано, пронизал обе линии неприятеля, увидел, что дивизия Дезе схватилась с чрезвычайно плотной и стойкой массой неприятеля. Он налетел на эту массу, раздвоил ее, расстроил, потом разбил на части. В какие-нибудь четверть часа пять тысяч австрийских гренадер, входивших в состав этого отряда, были опрокинуты, рассеяны, уничтожены, исчезли, как дым. Генерал Зах вместе со своим штабом был взят в плен. Тогда неприятель, в свою очередь, хотел пустить в ход свою громадную кавалерию, но она была встречена непрерывным огнем, пожирающею канонадой и грозной щетиной штыков.

Мюрат действовал на флангах, имея с собой два легких полевых орудия и мортиру. Он на минуту приостановился около отряда Ролана, чтобы помочь ему. Одна из его бомб падает в ряды австрийцев и разрывается. В рядах образуется просвет. Ролан устремляется в этот просвет с пистолетом в одной руке и с саблей в другой. За ним кидается вся гвардия, разворачивая ряды австрийцев, подобно железному клину, загоняемому в дубовую колоду. Он добирается до разбитого зарядного ящика, окруженного плотной толпой австрийцев. Он засовывает руку с пистолетом внутрь ящика и стреляет. Раздается ужасающий взрыв. Словно вулкан раскрывается и пожирает все вокруг. Армия генерала Эльсница обращается в бегство, а вслед за ней начинается и общий беспорядок в рядах австрийцев. Напрасно их генералы стараются установить правильное отступление; французская армия в полчаса переходит через всю равнину, которую она шаг за шагом отстаивала в течение восьми часов.

Неприятель останавливается в деревне Маренго. Тут он делает попытку сосредоточиться под артиллерийским огнем Карра-Сен-Сира, которому в это время удалось найти пушки, забытые в Кастель-Чериоло. А тем временем подходят дивизии Дезе, Гардана и Шамберлака и преследуют австрийцев из одной улицы в другую. Маренго остается в руках французов. Неприятель отступает на позицию у Петра-Боны, но французы овладевают и ею. Австрийцы кидаются к мостам через Бориду, но Карра-Сен-Сир поспекает туда прежде них. Беглецы переходят реку вброд под огнем всей нашей армии, который утихает только к десяти часам вечера.

Остатки австрийской армии добрались до своего лагеря под Александрией. Французская армия остановилась бивуаком у Бориды.

Австрийцы в этот день потеряли 4500 человек убитыми; 6000 — ранеными, 5000 — пленными. У них отняли двенадцать знамен и тридцать пушек.

Никогда еще фортуна не проявляла с такой резкостью два лица своих. В третьем часу пополудни Бонапарте терпел поражение со всеми его несчастными последствиями, а в шестом часу он сразу отвоевал всю Италию, и перед ним в перспективе был французский трон.

В тот же вечер первый консул написал следующее письмо госпоже де Монревель:

«Милостивая Государыня!

Сегодня я одержал блестящую из моих побед, только эта победа стоит мне двух половин моего сердца — Дезэ и Ролана. Не плачьте, милостивая государыня. Ваш сын уже давно хотел умереть и не мог бы умереть более славной смертью.

Бонапарте».

Розыски тела молодого адъютанта не привели ни к чему. Он, подобно Ромулу, исчез во время бури. И никто никогда не узнал, что побуждало его с таким ожесточением искать смерти, которая так долго убегала от него.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Критико-биографический очерк	3
<i>Пролог. Город Авиньон</i>	20
<i>Глава I. Обед за общим столом</i>	33
<i>Глава II. Итальянская поговорка</i>	41
<i>Глава III. Англичанин</i>	50
<i>Глава IV. Дуэль</i>	56
<i>Глава V. Ролан</i>	64
<i>Глава VI. Морган</i>	77
<i>Глава VII. Сельонский картезианский монастырь</i>	84
<i>Глава VIII. На что употреблялись деньги Директории</i>	88
<i>Глава IX. Ромео и Джульетта</i>	92
<i>Глава X. Семейство Ролана</i>	95
<i>Глава XI. Замок Черных Фонтанов</i>	100
<i>Глава XII. Провинциальные развлечения</i>	107
<i>Глава XIII. Кабан</i>	114
<i>Глава XIV. Щекотливое поручение</i>	121
<i>Глава XV. Храбрец</i>	127
<i>Глава XVI. Призрак</i>	133
<i>Глава XVII. Расследование</i>	138
<i>Глава XVIII. Суд</i>	142
<i>Глава XIX. Домик на улице Победы</i>	148
<i>Глава XX. Гости генерала Бонапарте</i>	156
<i>Глава XXI. Итоги Директории</i>	162
<i>Глава XXII. Проект декрета</i>	172
<i>Глава XXIII. Alea jacta est (Жребий брошен)</i>	177
<i>Глава XXIV. 18 брюмера.</i>	186
<i>Глава XXV. Важное сообщение</i>	192
<i>Глава XXVI. Бал жертв</i>	203
<i>Глава XXVII. Медвежья шкура</i>	211
<i>Глава XXVIII. Семейные дела</i>	216
<i>Глава XXIX. Женевский дилижанс</i>	221
<i>Глава XXX. Донесение гражданина Фуше</i>	230
<i>Глава XXXI. Сын мельника в Легерно</i>	236
<i>Глава XXXII. Белый и Синий</i>	242
<i>Глава XXXIII. Возмездие</i>	246
<i>Глава XXXIV. Дипломатия Жоржа Кадудала</i>	258
<i>Глава XXXV. Сватовство</i>	271
<i>Глава XXXVI. Скульптура и живопись</i>	276
<i>Глава XXXVII. Посланник</i>	288
<i>Глава XXXVIII. Два сигнала</i>	298

Глава XXXIX. Грот в Сейзериа	305
Глава XL. Неудачная попытка	316
Глава XLI. Почтовая гостиница	321
Глава XLII. Шамберийская почтовая карета	333
Глава XLIII. Ответ лорда Гренвилля	337
Глава XLIV. Перемена квартиры	345
Глава XLV. Следопыт	353
Глава XLVI. Вдохновенная мысль	359
Глава XLVII. Рекогносцировка	364
Глава XLVIII. Предчувствия Моргана сбываются	368
Глава XLIX. Отмщение Ролана	373
Глава L. Кадудаль в Тюильри	377
Глава LI. Резервная армия	380
Глава LII. Суд	390
Глава LIII. Амели исполняет свое обещание	399
Глава LIV. Исповедь	408
Глава LV. Неуязвимый	412
Глава LVI. Заключение	419

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИСКРА РЕВОЛЮЦИИ»
Москва, Тверской б-р, 18
Тел. 2-10-10
Сдано в набор 05.12.90. Подписано к печати 11.06.91.
Формат 60×90^{1/16}. Бумага офсетная. Гарнитура «Тип Таймс».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 27,00. Уч.-изд. л. 30,00. Усл. хр.-отт. 27,25.
Тираж 100 000 экз. Заказ № 813. Цена 10 руб.
ТПО «Фабула». 103009. Москва, Тверской б-р, 18.

Дюма Александр
ТАЙНЫЙ ЗАГОВОР

Ответственный за выпуск *Г. Н. Кондрашев*

Редактор *Т. Б. Березовская*

Художник *К. А. Вечерин*

Технический редактор *Т. В. Луговская*

Корректор *Т. Р. Поливанова*

Сдано в набор 05.12.90. Подписано к печати 11.06.91.
Формат 60×90^{1/16}. Бумага офсетная. Гарнитура «Тип Таймс».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 27,00. Уч.-изд. л. 30,00. Усл. хр.-отт. 27,25.
Тираж 100 000 экз. Заказ № 813. Цена 10 руб.

ТПО «Фабула». 103009. Москва, Тверской б-р, 18.

Ордена Трудового Красного Знамени московская типография № 7
«Искра революции» В/О «Союзспорткнига» Государственного комитета СССР по печати.
121019. Москва, Аксаков пер., 13.

